

# ВУСКІЕ ВОКЛЪ

**ИСТОРИЯ  
ЦИВИЛИЗАЦИЙ**



Генри Томас  
**БОКЛЬ**

**ИСТОРИЯ  
ЦИВИЛИЗАЦИЙ**

ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ В АНГЛИИ Т. 1



Москва  
«Мысль» 2000

УДК 930.85  
ББК 71.05  
Б 79

РЕДАКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Федеральная программа  
книгоиздания России

Печатается по: Бокль.  
История цивилизации в Англии.  
Перевод А. Н. БУЙНИЦКОГО. СПб., 1895.

ISBN 5-244-00770-X

© Издательство «Мысль». 2000  
© Составление. Оформление.  
От издательства. 2000



Немногим книгам выпадает судьба, подобная той, что выпала на долю книги англичанина Генри Томаса Бокля «История цивилизации в Англии». Говоря современным языком, она стала бестселлером, была переведена на многие европейские языки, не раз переиздана. Особенный интерес книга вызвала в России, где также выдержала свыше десятка изданий. В какой-то мере ее успех был повторен в 20-е годы XX века не менее нашумевшей книгой немца Освальда Шпенглера «Закат Европы».

Книга спорная, безусловно. Диаметральные противоположные оценки. Достаточно вспомнить, прямо скажем, убийственную статью-брошюру Василия Розанова, хотя он и сам не избежал обаяния Бокля. Да и статью свою назвал «Книга особенно замечательной судьбы».

Теперь о самой книге. Прежде всего выскажем два, на наш взгляд, принципиальных соображения. Во-первых, предупредим читателя, что озаглавили книгу «История цивилизаций» вовсе не потому, что это звучит более привлекательно, а потому, что сам Бокль задумывал именно такой многотомный труд и именно под таким названием. Сегодня, полтора столетия спустя, совершенно в ином историческом контексте, именно это название наиболее адекватно отражает содержание книги и ту задачу, которую ставил перед собой автор.

Что же касается второго, не менее существенного соображения, то читателю предлагается взглянуть на труд не только, и даже не столько, как на историческое исследование. Нельзя не сказать о том, что Бокль, по мнению современных историков, привлек к себе внимание тем, что был одним из первых на пути исследования цивилизационного среза истории и расширения границ понимания исторической науки и ее методов, попытался вывести на первый план принцип единства исторического процесса, еще раз привлек внимание к влиянию на него географического фактора. Но нельзя не привести и ту точку зрения, согласно которой исторический материал служил Боклю всего лишь иллюстрацией к его философско-историческим и социологическим взглядам. В этой связи напомним его соображение о том, что накопление знаний является причиной изменений в политическом и экономическом устройстве общества.

Или другое, весьма пессимистическое, как ни странно, созвучное Шпенглеру, высказывание типа: умственный прогресс единственно возможный прогресс, наличие прогресса нравственного исключено. И уже совсем современно звучащее: история цивилизованной страны—история ее интеллектуального развития, которое правительство более замедляет, чем ускоряет, а государи, государственные люди и законодатели суть случайные и недостаточные представители духа своего времени...

Возвращаясь к истории, приведем слова нашего замечательного историка Сергея Михайловича Соловьева: «До какой степени при изучении истории мы не привыкли к внимательному, многостороннему наблюдению, показывает всего лучше книга Бокля...»

## ПРЕДИСЛОВИЕ

### ГЕНРИ ТОМАС БОКЛЬ

Однажды Бокль сам в немногих и простых строках, уместившихся на листе почтовой бумаги, рассказал свою жизнь. «Я родился,— писал он,— в Ли, графстве Кент, 24 ноября 1821 г. Мой отец был купцом. Звали его Томасом Генри Боклем, и он происходил из рода, один из членов которого пользовался большой известностью как лондонский лорд-мэр в царствование Елизаветы. Отец мой умер в 1840 г. Моя мать в девичестве носила фамилию Мидделтон. В детстве я обладал очень слабым здоровьем, и мои родители по совету одного доктора, м-ра Биркбека, решились не давать мне обычного образования, опасаясь вызвать им переутомление мозга. Благодаря этому я не пошел по пути школьной науки и никогда не посещал колледжа. Когда мне исполнилось 18 лет, мой отец умер, оставив мне независимое состояние. До этого времени я читал очень мало, преимущественно Шекспира, арабские сказки и «Путешествие пилигрима»— книги, постоянно приводившие меня в восторг. В возрасте от 18 до 20 лет я задумал, разумеется в смутной форме, план моего сочинения и принялся разрабатывать его. Я стал работать по 9 или 10 часов ежедневно. Метод моих занятий был таков: утром я изучал естественные науки, после завтрака— языки, в которых был круглым невеждой, вечером— историю, юриспруденцию и всемирную литературу. Я никогда не писал ни для газет, ни для журналов, твердо решившись посвятить свою жизнь более крупному труду».

Простота и скромность, которыми дышат эти строки, не могут, однако, удовлетворить нашей любознательности. Нам бы хотелось знать, например, каким путем грандиозный план «Истории цивилизации» зародился в голове 18-летнего юноши, не знакомого ни с одним из иностранных языков и не читавшего ничего систематически? К сожалению, этот вопрос должен остаться без ответа; обстоятельнейшие биографы Бокля обходят его молчанием, и перед нами— голый факт во всей своей загадочности. Мы знаем лишь, что накануне возникновения плана, которому суждено было подчинить себе всю жизнь Бокля, он долго путешествовал по Европе, удовлетворяя свою недюжинную любознательность обильным и беспорядочным чтением всего, что попадалось под руку, и не расставаясь с книгой ни в почтовой карете, ни в гостинице. Но как бы то ни было, сочинение задумано и дальнейшая жизнь Бокля оказывается вытянутой в одну

линию. Преследуя свою цель, он занимается 9 или 10 часов ежедневно, не желая даже слушать предостережений со стороны своего слабого здоровья; он отказывается от соблазнов честолубия, не желая выступать перед публикой ни с единой строчкой; целые годы и даже десятки лет он проводит в стенах своей библиотеки, которую составляет сам, изо дня в день обходя букинистов. Ничто не нарушает его однообразной, постоянно повторяющей себя жизни. Материальные затруднения неизвестны, твердая воля, преобразившаяся в трогательную преданность поставленной себе огромной задаче, легко справляется с искушениями юности, работа завлекает все больше, здоровье скрипит, но не отказывается пока служить. А рядом с этим горячая честолубивая голова рисует привлекательную картину возможности в одном сочинении нарисовать полную картину «Истории всемирной цивилизации» и представить жизнь человечества в свете обширной и мощной идеи.

Чтобы проникнуть в жизнь Бокля, надо перенестись мысленно в обстановку его громадного рабочего кабинета, с окном наверху, с бесконечными полками книг, всегда аккуратно стоящих на своем месте, заботливо переплетенных рукою самого хозяина и любовно охраняемых от пыли. Утром ли или вечером, мы всегда застанем здесь Бокля. Он выходит только на прогулку и лишь изредка, чтобы навестить своих немногочисленных друзей. Кабинет устроен так, что шум лондонских улиц не долетает до него; груды аккуратно сложенных газет говорят, что историк интересуется современностью; однако отчеты о театрах, концертах, выставках остаются непрочитанными. Бокль не интересуется изящными искусствами, он не умеет отличить Бетховена от Моцарта, никогда не посещает спектаклей, не находит наслаждения ни в картинах, ни в статуях. Только наука пользуется его вниманием и любовью, и ей отдает он все свои силы. Он изучает анатомию, физиологию, ботанику, физику, химию, право; он не видит и не ставит предела своим занятиям; он хочет быть первым историком нового типа и понимает, что такой историк должен знать все. Читая и перечитывая груды книг, он убеждается, что его избранная история не вышла еще из своего хаотического состояния, что это не более как беспорядочный лепет ребенка. Он изумляется невежеству своих предшественников, из которых один «ничего не знает по части политической экономии, другой — права, третий — церковных дел и развития убеждений, четвертый — пренебрегает теорией статистики или естественными науками, хотя все это вопросы существенные, обнимающие все главнейшие обстоятельства, действующие на темперамент и характер рода человеческого». Но все это историк обязан знать, и Бокль работает. Доктора находят, что он переутомляет себя. Он отказывается от любимой шахматной игры, от чтения романов, лишь бы иметь возможность посвящать своей будущей книге 9—10 часов ежедневно. Параллельно изучаются история, естествознание, 19 языков, параллельно идет и другая подготовительная работа:

Бокль учится писать. Книга, плохо или недоступно написанная, имеет в его глазах лишь половину цены; он хочет, чтобы его речь проникла в массы, и больше всего боится, что ее заметят лишь в кружке ученых. С этой целью он выучивает наизусть целые страницы из Бёрка и Питта, переписывает по несколько раз уже законченные главы. Выступить перед публикой во всеоружии точного знания, заковать свои выводы в броню сотен примечаний и вместе с тем не остаться непонятым массой — «этим лучшим судьей во всем, что касается практических выводов и применения мыслей к жизни», — такова грандиозная утопия, на осуществление которой уходит 20 лет.

Но неужели за весь этот долгий промежуток жизни Бокль не знал ничего романтического, не любил женщины, не страдал и не радовался? Чтение может наполнить часы, бездну часов, но не бездну человеческих чувств и вожделений. Сохранившиеся до нас отрывки из дневника Бокля и его обширная переписка дают нам ответ на поставленный вопрос. На первых порах следы романтических увлечений несомненны. Бокль влюбляется в одну кузину, потом в другую, дерется даже на дуэли с своим счастливым соперником, страстно мечтает о поездке в Дамаск, рисующийся его воображению во всем блеске ярких красок «Тысячи и одной ночи», — но скоро это внешнероманическое исчезает. Любовь и нежность, преданность и даже самоотвержение, страстные мечты и муки бессонных ночей, повторяющихся все чаще, сосредоточиваются возле одного центра — будущей «Истории цивилизации». Только неизменная привязанность и дружба к матери освещает ровным светом эту замкнутую трудовую жизнь, эту сосредоточенную кропотливую работу.

Характер Бокля был хорошо приспособлен к подвигу, возложенному им на себя. Бокль обладал горячей головой и холодной кровью. Первая создала проект, вторая позволила осуществить хотя и одну только часть его. Несмотря на всю грандиозность предпринятого, Бокль не растерялся в необозримом материале, не отступил ни на шаг в сторону от задуманного: не его вина, что он умер, едва дожив до 40 лет, не успев, выражаясь метафорически, переписать набело своего чернышка. Лично он верил, что это возможно; верили и все знавшие его. На самом деле он удивительно умел работать «ohne Hast, ohne Rast», т. е. без торопливости и без остановки; он не скушал однообразием дела, не утомлялся его прямолинейностью. В нем не было и следа дилетантизма. Те, кто думает, что он только «перелистывал» естественные науки, сильно ошибаются. Он доводит свою серьезность в отношении к делу до того, что изучал специальные медицинские работы. Говоря, что он знает 19 языков, он нисколько не преувеличивал факта и действительно знал их настолько, сколько это нужно было для его работы, т. е. понимал без словаря иностранные книги. В большом он не чувствовал необходимости и считал бесполезным тратить время на усовершенствование, например,

в произношении. Он так экономно распоряжался своим временем, так дорожил каждой минутой, что его распределение занятий представляется своего рода образцовым. Его мысль работала неустанно и отдыхала лишь при перемене предметов изучения. Он ненавидел пустые светские беседы и, посещая знакомых, всегда говорил о том, что его интересовало. В его небольшом теле, облаченном обыкновенно в старомодный сюртук толстого сукна, во всей его прозаической фигуре скрывался фанатик, но фанатик дисциплинированный, не способный ни на один необдуманный шаг, исполненный, если хотите, благоразумия во всех своих отношениях к внешнему миру. Это благоразумие жизни — одинаково характерное для Бокля, как для Дарвина или Спенсера, — особенно поражает русского человека, который не может еще отрешиться от своего представления об ученом как странном (несколько даже «тронутом») субъекте обыкновенно в образе немецкого профессора старого типа, совершенно устранившегося от жизни и маньяка своей теории. Читая дневник и переписку Бокля, вы готовы даже воскликнуть подчас не без досады: «Это на самом деле купеческий сын». Бокль аккуратен до педантизма, его дневник — это приходно-расходная книга его занятий и жизни. Он не скрывает своей любви к комфорту, привязан к хорошим сигарам, сердится, когда неумело заваривают чай или подают к столу пережаренные тартины, дает своим друзьям подробные наставления, как выгоднее помещать деньги, хвалит экономиию и не может простить даже Конту его нерасчетливости и поразительной наивности в житейских делах. Все равно как в Колумбе рядом и мирно существовали и гениальный прозорливец, увидевший через океан Америку, и превосходный капитан корабля, входивший в каждую мелочь обихода, пачкавшийся в дегте и грошовых расчетах, — так и Бокль, несмотря на всю творческую экзальтацию, к которой был способен, «никогда не вынимал из кармана шиллинга, не обдумав предварительно, может ли он истратить его и на что», — и это несмотря на крупное состояние. Лирический беспорядок и распушенность он презирал и в жизни, и в научной работе. Он хозяйственно распоряжался своими деньгами, временем, своими занятиями: без этого мы имели бы не «Историю цивилизации», эту художественно стройную и строго выдержанную работу, а, быть может, несколько талантливых статей — словом, не большое сражение, данное тайнам истории, а десяток-другой блестящих партизанских стычек, обыкновенно безрезультатных.

Только в одном пункте Бокль не следовал внушениям своей благоразумной и сдержанной натуры, и измена ей оказалась роковой. Уже в детстве его здоровье отличалось хрупкостью, которая была следствием большой разницы в возрасте отца и матери. Родители не решились отдать его в колледж и предоставили ему полную свободу занятий и развлечений. Но он сам поторопился наложить на себя иго десятичасового ежедневного труда, и оно оказалось ему не под силу, хотя он и повторял часто

слова Писания: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Здесь-то, в противоречии между слабым здоровьем и умственной безудержной работой, и скрывается драма существования Бокля. Сознание этой драмы проходит красной нитью через всю его переписку, хотя он как нельзя более сдержан насчет интимной своей жизни и лишь в немногих, обыкновенно грустных словах касается ее. После целых страниц, посвященных какому-нибудь отвлеченному вопросу или характеристике книг, «которые необходимо прочесть», после длинных цитат из Конта или Милля мы нет-нет да и наталкиваемся на фразу: «Мое здоровье слабо», или «Мне посоветовали оставить шахматную игру, так как она сильно утомляет меня», или «Доктор нашел у меня следы переутомления» и т. д. Но беречь себя, подчиниться строгому режиму, примириться с полной, необходимой бездеятельностью Бокль не хотел и не мог. Для него это значило бы отказаться от самого себя и утратить всякую цель в жизни. Неутомимая жажда познания, любознательность, не знающая насыщения, таилась под его благоразумием и сдержанностью. Он должен был читать, думать, писать или говорить ежеминутно. Он, как монах, постоянно перебирал свои четки и шептал свои молитвы, читал свое Писание и клал свои поклоны. Он соглашался лишь на незначительные уступки, и то с болью в сердце. Болезнь одолевала: «История цивилизации человечества» свелась мало-помалу к «Истории цивилизации Европы», потом Англии, наконец, к «Введению», итого удалось написать лишь два тома из предположенных пятнадцати. Много мук пришлось вынести спокойному, благоразумному Боклю, когда он чувствовал на себе давление «железного кольца необходимости» — «the ferreous rings of necessity». Позволю себе привести небольшой отрывок из его письма к мисс Грей от 1856 г. «Упасть среди дороги,— писал Бокль за три года до выхода в свет первого тома своей Истории,—исчезнуть, не оставив по себе следа, не довершив того, что представлялось мне великим и необходимым,—такова перспектива, которая начинает представляться мне, пронизывая меня холодом и ужасом. Быть может, я мечтал о слишком многом, но порою я ощущаю в себе столько силы понимания, такое могущество над царством мысли, что меня нельзя винить за неумеренность моих стремлений». Развив немного это настроение, мы услышим монолог Гамлета, произнесенный в скромной и важной обстановке кабинета ученого...

Прошло три года. Пересиливая сам себя и напрягая до последней степени и так уже напряженные нервы, Бокль закончил наконец 1-й том своего труда. Рукопись, старательно переписанная рукою самого автора, была готова к печати. Никто не хотел рисковать, выпуская в свет произведение совершенно неизвестного писателя. К счастью, Бокль был настолько богат, что огромные расходы не остановили его и он взял на себя издержки первого издания — и не раскаялся. Успех книги даже в неденежном отношении был велик. Не было ни одного журнала или

газеты, которые не дали бы своего отзыва, если не всегда лестного, то все же поощрительного. Особенно смущала рецензентов громадность задуманной работы, и они не совсем деликатно предсказывали Боклю, что он никогда не закончит начатого, тревожа этим и так уже гноившуюся рану. Бокль старался подбадривать себя. «Они,—говорил он,—не знают, сколько материала у меня наготовлено... 15—20 лет жизни, вот все, что нужно мне. Неужели я не проживу 15—20 лет?» Скептики, однако, оказались правы. Энергии, взвинченной успехом, достало еще на один том и несколько журнальных статей о Милле, о женском вопросе, о веротерпимости, и она иссякла. Это ежедневное, ежеминутное иссякновение было настолько очевидно, что Бокль уже не обманывал себя. Слава поэтому радовала его только наполовину, к тому же она возлагала на него такие обязательства, которые он мог исполнять только с трудом. Посещения почитателей, сразу возросшая до невероятных размеров корреспонденция, уколы самолюбию со стороны критики, публичные речи — все это утомляло его. Он боролся, впрочем, до конца. Когда приговором какого-то судьи Колриджа в Корнуолле некто полусумасшедший рабочий Пули за свои якобы еретические взгляды, выражавшиеся, между прочим, в том, что «если сжечь Библию и рассеять пепел по полям, то будет урожай картофеля», был приговорен к полуторагодовому аресту, Бокль почувствовал себя оскорбленным в самом святом своем убеждении и в резком памфлете, напоминающем памфлеты Мильтона или «Письма с Горы» Руссо, выступил в защиту веротерпимости. Но дни его были уже сочтены. Все возрастающая слабость заставила его предпринять путешествие на Восток, и здесь, в Дамаске, разыгрался эпилог драмы его жизни... «Мы поехали,—рассказывает сопровождавший его мистер Гибсон,—более покойною, хотя и менее интересною дорогою в Дамаск. Когда при выходе из горного ущелья восточного склона анти-Ливана перед нами открылась великолепная картина знаменитой долины, Бокль воскликнул: «Для этого стоило бы перенести более страданий и усталости!» Увы, он не знал, какой ценой придется ему заплатить за это удовольствие. Излишняя усталость снова вызвала припадок диареи. Доктор прописал ему прием опиума. Как ни мал был этот прием, Бокль по слабости своего организма впал в беспамятство и пролежал с четверть часа. Грустно и тяжело было слышать, как в его бреду между несвязными словами слышались восклицания: «Книга, моя книга! Я никогда не кончу моей книги!» — «My book, my book! I will never accomplish it...» Дни его были уже сочтены. Он умер 26 мая 1862 г., 41 года от роду, и был погребен в Дамаске — городе, который ему так хотелось увидеть еще в детстве... Небольшая кучка англичан проводила его тело до могилы, куда оно и было опущено под горячими прямыми лучами сирийского солнца...

Человек исчез; осталась его работа, несомненно грандиозная и величественная. Переведенная на все европейские языки, кроме



турецкого, она быстро завоевала себе всемирную известность. Особенно, по-видимому, пришлась она по душе русскому обществу в начале 60-х годов; по крайней мере Уоллес в своей «России» говорит: «Мне редко приходится раскрывать номер журнала и даже газеты без того, чтобы не встретить имени Бокля. Интеллигентная молодежь зачитывается «Историей цивилизации» и на многие мысли, высказанные в ней, смотрит как на откровение...»

Разумеется, оригинальность книги Бокля, как и всякого дела рук человеческих, относительна. Его история несомненно имела многих предшественников в трудах Вико (Новая наука), Вольтера (Опыт о нравах), Монтескье (О причинах падения Римской империи и Дух законов), Конта (Положительная философия) — но от этого несколько не умаляется ее достоинство. В чем же оно?

Приступив к своей работе, Бокль на первых же порах был поражен хаотическим состоянием, в котором находилась история. Он увидел, что «несчастливая особенность истории человека состоит в том, что хотя отдельные части ее исследованы весьма искусно, но почти никто не пробовал сплести их в одно целое». Во всех других великих сферах ведения необходимость обобщения признана всеми, и всюду сделаны были благородные попытки возвыситься над отдельными фактами и открыть законы, управляющие ими. Но «историки так далеки от подобного взгляда, что среди них преобладает мысль, будто все дело их — рассказывать события, оживляя по временам этот рассказ нравственными и политическими размышлениями. Вследствие такого взгляда каждый, кто по лености мысли или по природной тупости не способен ни к какой из высших отраслей знания, может, посвятив несколько лет на прочтение известного числа книг, сделаться способным написать историю великого народа». Внести свет и порядок в хаотическую грудку фактов, слить воедино разрозненные отдельные части, открыть законы исторического движения — такова была задача, поставленная себе Боклем. Но как приступить к ней, откуда взять свет? Современное состояние знаний указало Боклю, куда он должен был обратиться за необходимыми в его великой работе помощью и орудиями. То был период торжествующего естествознания, стремление к точному беспристрастному исследованию, которое проникало собою атмосферу европейского научного мышления и подчиняло себе отдельные умы. Достаточно сказать, что к тому же поколению, как Бокль, принадлежат Кетле, Лайель, Гельмгольц, Дарвин, Гексли, Уоллес, Тиндаль — эти смелые умы, не боявшиеся подвергать анализу в своих кабинетах и лабораториях вековые верования человечества. Естественные науки, их метод, приемы, их взгляд на Вселенную первенствовали и заняли то место, которое когда-то принадлежало Аристотелю, а затем философам XVIII столетия. Безбоязненное искание истины, какая бы она ни была, гордое стремление открыть ее, хотя бы для этого пришлось пройти через

поле, усеянное мертвыми костями возвышающих обманов, захватывало всех ученых. Дух времени подчинил себе и Бокля: он обратился к естествознанию. Но предстояла трудная задача, решение которой было едва намечено Кетле; требовалось найти мост между науками о природе и человеке; Бокль нашел его в статистике. На самом деле только цифры могли вывести его трезвый ум из окружавшего мрака, только цифры могли дать утвердительный ответ на вопрос, управляются ли действия человека, а следовательно, и общества точными законами, или же они суть следствия случая и произвола? Очевидно, что, раз «случай и произвол» имеют первенствующее или даже какое-нибудь влияние, история не может быть наукой. Но это не так. «Мы должны,—говорит Бокль,—прийти к тому мнению, что действия людей, определяемые исключительно прошлым, должны носить характер единообразия, т. е. что совершенно одинаковые причины постоянно ведут к совершенно одинаковым следствиям». Это единообразие подтверждается и доказывается выводами статистики. Ее-то данные Бокль заложил в основание своей философии. Указывая на то, с какой правильностью повторяется факт таких «произвольных действий», как убийство, самоубийство и пр., он пришел к главному пункту своего учения и, отрицая свободу воли, провозгласил законосообразность всех явлений, совершающихся в мире человеческом. Если такой факт в течение веков оставался почти незамеченным, то причиной этого оказывается непонимание историками их собственного материала. Они брали из него не то, что следует, и изучали вещи второстепенные, оставляя главные в стороне, занимались личностями; но чтобы найти закон, надо изучать не личности, а массы. Ведь действия отдельных лиц в значительной степени подлежат влиянию их нравственных чувств и страстей; но эти чувства и страсти, будучи враждебны чувствам и страстям других людей, уравниваются ими, так что влияние их в общей сумме дел человеческих вовсе не заметно. Между тем «большинство историков наполняют свои сочинения самыми пустыми и ничтожнейшими подробностями: анекдотами о государях и их дворах, нескончаемыми рассказами о том, что сказал один министр, что подумал другой, и — что еще хуже — длинными реляциями о походах, сражениях и осадах...».

Это перенесение центра тяжести исторического исследования с личностей на массу (а косвенно и на экономические проблемы — всегда основные для массы), на то, что теперь называют *homme genérale*, навсегда останется самой крупной заслугой Бокля. Он ясно доказал, что истории как науке нечего делать с биографиями героев и героинь, Петров и Иванов, что ей нужно знать не год, когда родился герой, и не обстоятельства, при которых Петр или Иван сочетались законным браком, а общие причины, подчиняющие себе действия отдельных лиц, т. е. климат, пищу, распределение богатств, природу населения, высоту знаний и их распространенность. История становится от этого,

быть может, менее поэтичной или, лучше сказать, менее интимной, зато более строгой, научной, а значит, и полезной. Ее при правильной постановке надо рассматривать уже не как поучительный урок по части добродетели или возвышенных поступков, а как науку, указывающую и определяющую как прошлые, так и будущие пути общественного развития,— науку не только уговаривающую поступать так-то и так-то, а предписывающую известную деятельность с полным сознанием своего могущества и непреложности своих выводов...

Благодаря своей точке зрения Бокль сумел в старых книгах найти много нового материала. Однако он постоянно ощущал недостаток в самых необходимых сведениях, хотя и тратил самоотверженно на их разыскания сочтенные часы своей недолгой жизни. Оттого-то «заковать свои выводы в броню непреложных фактов» ему удавалось не всегда, и волей-неволей он давал гипотезы, а не теории, предвосхищал общие идеи, а не необходимо выводил их из ряда данных.

Что же удивительного, если его «законы» носят на себе зачастую следы его личных склонностей, понятий, среди которых он вырос, идей, распространенных в окружавшем его обществе. В нем легче всего узнать англичанина, которого прошлое его народа снабдило некоторыми для него непреложными истинами. Развитие своей родины он считает образцовым для всего человечества и почерпает свои нравоучения из преданий родной истории. Возьмите, например, знаменитый параграф о влиянии «правительства на развитие общества» и его резкие, как удары молота, выводы: «вмешательство политиков в торговлю нанесло ей вред...», «законодательство породило контрабанду и связанные с нею бедствия...», «законодательство усилило лицемерие и клятвопреступление...», «законы против роста увеличили рост...», «другими законами сдержано развитие знаний» — и вы уже предчувствуете мысль, что «в Англии было меньше правительственного вмешательства в народную жизнь, чем в других странах, и потому благосостояние ее значительнее». Для английского радикала 60-х годов эта мысль так же несомненна, как для верующего член символа веры. Посмотрите далее, на каких идеях построено изложение истории Франции. В сущности здесь только одна идея, та именно, что «задержка цивилизации» есть дух излишней опеки; этим я хочу сказать, что общество не может процветать до тех пор, пока жизнь его находится почти во всех отношениях под чрезмерным правительственным контролем...». И это опять-таки член английского символа. Допуская даже односторонность этого символа, мы не можем, однако, не признать, что по могуществу своей мысли, по величию лежащего под ним исторического фундамента он куда выше многих других «национальных» символов.

Остановлюсь и еще на одном из проявлений субъективизма Бокля, на том именно, которое особенно прочно связалось с его именем. Не трудно угадать, что я говорю об отрицании

прогресса нравственности. По мнению Бокля, влияние нравственного инстинкта на успехи цивилизации в высшей степени слабо; для него неоспоримо, что в целом мире нет ничего такого, что изменилось бы так мало, как «те великие догматы, из которых слагаются нравственные системы». «Делать добро другим, жертвовать для пользы их собственными желаниями, любить ближнего как самого себя, прощать врагам, обуздывать свои страсти, чтить родителей, уважать тех, которые поставлены над нами,—в этих правилах и нескольких других заключается, говорит Бокль, вся сущность нравственности, и к ним не прибавили ни одной йоты все проповеди, все наставления и собрания текстов, составленные моралистами и богословами».

Бокль то и дело возвращается к своей излюбленной мысли, повторяя ее на разные лады. Он склонен видеть центр тяжести развития цивилизации исключительно в прогрессе знания. «Но если,—продолжает он,—мы сравним это неподвижное состояние нравственных истин с быстрым движением вперед истин умственных, то найдем самую разительную противоположность. Все великие нравственные системы, имевшие большое влияние на человечество, представляли в сущности одно и то же. В ряду правил, определяющих наш образ действий, самые просвещенные европейцы не знают ни одного такого, которое бы не было также известно древним. Что же касается до деятельности нашего ума, то люди позднейших времен не только сделали значительные приобретения по всем отраслям знания, какие пытались изучать в древности, но и совершили решительный переворот в старых методах исследования: они соединили в одну обширную систему все те средства наведения, о которых только смутно помышлял Аристотель, и создали такие науки, о которых самый смелый мыслитель древности не имел ни малейшего понятия».

Этот закон Бокль сам считал важнейшим своим открытием и наиболее им гордился. Вместе с тем это тот пункт его учения, на который с особым ожесточением нападала критика. Критика была права, так как несомненно, что Бокль впал в односторонность. На самом деле, раз нравственность неподвижна, то можно ли было писать ее историю? Очевидно, нет. А между тем Ланге в своей «Истории материализма», Лекки в «Истории нравственности», Летурно в «Эволюции морали» блестяще разрешили эту задачу в положительном смысле. Ланге, например, доказал, как «властно вторгается нравственный элемент в поступательный ход самых наших знаний». Лекки дал правдивую, основанную на точном исследовании картину движения и развития нравственности в Европе и т. д.

Можно было бы привести многочисленные доказательства в пользу того мнения, что Бокль впал в односторонность, но я останавлиюсь лишь на одном. Как всякий понимает, прогресс нравственности заключается не в открытии новых истин, которые

представляют из себя простые формулы инстинкта общности, а в расширении содержания этих истин, их объема. Между моралью австралийца и религией человечества Конта принципиальной разницы действительно нет, но Конт обнимает своей формулой всех людей, которые жили, живут и будут жить на Земле, австралиец же не понимает, как можно оказывать услугу человеку другого рода, другого племени. В этом вся суть.

Но опять, разве и в этой односторонности Бокля не видно увлечения сильного ума, сильного не только по своим внутренним данным, но и по историческому прошлому целой нации. Ведь если можно возражать, то лишь против всеобщности применения, какое Бокль делает из своей идеи, а никак не против частных выводов из нее. Когда вам говорят, что прогресс знаний ослабил преследования за веру или «что каждое важное приобретение в области знания усиливает авторитет умственно трудящихся классов на счет военного сословия», тут не о чем спорить, и бывают эпохи как в жизни отдельного человека, так и целого народа, когда эти истины, хотя бы заключающие в себе дозу преувеличения, важнее всех других. Ведь на самом деле не даром же восторгалось книгой Бокля то поколение, чьими делами мы живем еще и в настоящее время, т. е. люди шестидесятых годов. Лучшие из них сразу увидели, что идея Бокля заключает в себе важнейшие практические указания, что, принятая даже во всей своей односторонности, она поведет людей не назад, а вперед, потому что в ней запечатлелась культурная вековая работа несомненно великой нации. Эта нация давно уже успела просто и ясно разрешить сотни таких вопросов, которые для наших политиканствующих мудрецов все еще представляются бесовским наваждением. Ну что, казалось бы, могло быть элементарнее общеобязательного обучения и что возмутительнее почти поголовного невежества громадного народа русского, однако много ли найдем мы защитников и проповедников этой мысли даже среди интеллигентов? Напротив, по лицу земли русской ходят другие проповедники и другие «странники» и другие слова, исполненные вражды к науке, к знанию, раздаются постоянно. Звонят веригами и, надевши пестрядинную рубаху, воображают, что тем самым нашли смысл жизни. Смысл жизни не в этом, и для нас, *Übermensch*'ев, или, попросту, привилегированных людей,—в том, чтобы дать народу знание, а уж он сам потом разберется, нужно ли оно ему, или не предпочтительнее ли жить по образу дураков из царства Ивана-царевича. У Л. Н. Толстого вырвались по этому поводу великолепные слова, давно уже забытые им самим. «Федьке,—писал он когда-то,—нужно то, до чего довела вас ваша жизнь, ваших десять незабываемых работой поколений. Вы имели досуг искать, думать, страдать,—дайте же ему то, что вы испытали, ему этого одного и нужно; а вы как египетский жрец закрываетесь от него таинственной мантией, зарываете

в землю талант, данный вам историей. Не бойтесь: человеку ничто человеческое не вредно. Вы сомневаетесь? Отдайтесь чувству, и оно не обманет вас. Поверьте его природе, и вы убедитесь, что он возьмет только то, что заповедала вам передать ему история, что страданиями выработалось в вас...

Это-то обстоятельство, эта наша плачевная малограмотность, это-то киргиз-кайсацкое отношение к науке и знанию заставляет думать, что «односторонняя» идея Бокля окажется, быть может, слишком даже многосторонней для нас, ибо на самом деле между ней и азиатскими преданиями нет и не может быть ничего общего.

Однако подобных примеров выдвижения на первый план одной какой-нибудь стороны жизни история науки знает очень много, и каждый раз односторонность прекрасно объясняется личностью создавшего ее и обстоятельствами времени. Неужели вы не слышите пресыщенного голоса старого барства в проповеди Толстого? Одинаково и Бокль взял свой закон из своей собственной жизни и атмосферы своей эпохи. По образованию и складу ума он ближе всего подходит к рационалистам XVIII века. Между ним, Вольтером и Монтескье можно установить прямую преемственность. Кроме того, его жизнь сложилась так, что все ее наслаждения, радости, страдания вращались исключительно возле одного центра — умственных интересов. Вне их Бокль был как рыба на берегу. Нравственных коллизий ему лично не пришлось разрешать ни разу. Его темперамент всегда удерживал его от всего, что ведет за собою угрызения и муки совести. Жить — для него значило читать и думать. «How lovely a thing is a good book!» «Какая чудная вещь — хорошая книга!» — восклицает он постоянно в своих письмах. Припомним, наконец, что эпоха, когда жил Бокль, была эпохой торжествующего естествознания, мощной веры в разум, в его силу, его всемогущество, — и мы поймем, почему не нравственный, не экономический, а именно умственный фактор оказался для Бокля «царем истории».

Субъективизм, каков бы он ни был, — личный или национальный, католический или протестантский, все равно — всегда вреден для науки. Подчиняясь ему, человек смотрит на жизнь и факты через очки, окрашенные в известный цвет. Многое «очевидное и ясное» для него совершенно не очевидно и не ясно для других; многое принимает он на веру и часто ограничивается тем, что высказывает мысль вместо того, чтобы доказывать ее. Но пока субъективизм, по-видимому, неизбежен, хотя все же им злоупотребляют. Чтобы собрать известный ряд фактов, нужна уже объединяющая идея, теория хотя бы и смутная, — иначе факты рассыплются и исследователь останется ни с чем. Все дело, значит, в том, каков субъективизм и насколько искренно ученый хочет по возможности освободиться от него и не боится самые дорогие свои убеждения, самые «несомненные» свои идеи подвергнуть исследованию. В этом отношении Бокль выше всяких

упреков. В нем на самом деле было бескорыстное стремление к истине, любовь к ней, какой бы она ни была. Как истый англичанин, он отводил своей родине первое место в ряду цивилизованных наций, но это не помешало ему выступить с суровым обвинением английского лицемерия и нетерпимости, когда представился случай. Вместе с этим он не допускал в себе презрительного отношения к другим народам: он ясно видел, что каждая нация сослужила свою службу человечеству, и, упрекая, например, французов за отсутствие у них политической и гражданской самостоятельности, не отказывал им в титуле «великой и передовой нации». С болью и негодованием смотрел он на деспотизм Наполеона III, топтавшего ногами все лучшие предания «великой и передовой нации»,— и не хотел даже ехать в Париж. «Мне было бы слишком обидно смотреть на унижение французов»,— говорил он.

Это возможное для людей нашего времени беспристрастие и строго научный метод, который повсюду и всегда старался применять Бокль, хотя он был плачевно одинок в своей работе, делают из его сочинения такое, которое переживет поколения. Несмотря на тридцать с лишком лет, протекших после смерти Бокля, много ли вышло книг, которые заставили бы нас забыть «Историю цивилизации»? Такой книги еще не написано, и труд Бокля остается пока единственным в своем роде, и это, вероятно, еще надолго. Наше поколение не обладает такой могучей верой в человеческий разум, не так искренно ненавидит суеверия, не так энергично стремится к истине, как поколение, к которому принадлежал Бокль. На смену ему, Лайелю, Дарвину и доживающим свои дни Гексли и Спенсеру не явился пока никто. Напротив, есть симптомы движения прямо обратного, или, как говорит Золя, «теперь существует реакция против науки, не исполнившей (?) своих обещаний, и люди склонны возвратиться к вере средних веков, к той детской вере, которая, не размышляя, преклоняет колена и молится». Золя увлекается, но он прав отчасти, поэтому нам и представляется особенно полезным напомнить предсмертное завещание Бокля, написанное им на последних страницах его книги: «Весь строй и все направление новейшей мысли невольно приводят нас к понятиям правильности и закона, которым признание случайности и произвола в истории прямо противоположны. Сами те, которые еще упорно цепляются за это признание, действуют скорее под влиянием предания, чем вследствие полного и твердого верования. Детская и безграничная вера, с которой некогда принималось учение о произволе исторических событий, теперь сменилась холодным и безжизненным признанием его, нисколько не похожим на энтузиазм прежних времен. Скоро и это исчезнет, и люди перестанут тревожиться призраками, созданными их же невежеством. Наш век, быть может, не увидит этого освобождения, но, как верно то, что ум человеческий идет вперед, так же верно и то, что наступит для него час свободы. Быть может, он придет скорее, чем

кто-либо думает, ибо мы шагаем быстро и скоро. Знамения времени всюду вокруг нас, и кто хочет читать, да читает. Письмена горят на стене; приговор произнесен, древнее царство должно пасть; владычество суеверия, уже распадающееся, должно рухнуть и рассыпаться прахом; новая жизнь вдохнется в нестройную, хаотическую массу и ясно покажет, что от начала создания не было ни в чем ни противоречия, ни разлада, ни беспорядка, ни перерывов, ни вмешательства, но что все совершающееся вокруг нас до отдаленнейших пределов материальной вселенной представляет только различные части единого целого, которое все проникнуто единым великим началом всеобщей и неуклонной правильности».

*ЕВГ. СОЛОВЬЕВ*



# ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ

## ГЛАВА I

**Обзор вспомогательных средств для изучения истории.  
Доказательства правильности человеческих действий.  
Действия эти управляются духовными и физическими  
законами, отчего необходимо изучение и тех,  
и других, и не может быть истории  
без естественных наук**

Из всех главных отраслей человеческого знания наиболее было написано по отделу истории, которая всегда пользовалась самой большой популярностью. И все, по-видимому, того мнения, что успех историков соответствовал вообще их трудолюбию и что если много изучали этот предмет, то многое и разгадали в нем.

Эта уверенность в достоинстве истории чрезвычайно распространена, что мы видим из того, как много ее читают и какое место она занимает во всех системах воспитания. И нельзя не согласиться, что с известной точки зрения такая уверенность совершенно извинительна; нельзя не согласиться, что собраны такие материалы, которые, рассматриваемые в совокупности, представляют зрелище богатое и внушающее уважение. Политические и военные летописи всех значительных стран Европы и большей части стран, лежащих вне Европы, тщательно собраны, слиты в приличную форму и довольно хорошо исследованы относительно лежащей в основании их достоверности. Большое обращено внимание на историю законодательства, а также на историю религии; в то же время употреблен значительный, хотя меньший, труд на исследование успехов науки, литературы, изящных искусств, полезных изобретений и, наконец, нравов и удобств жизни народа. Для большого ознакомления нас с прошедшим рассмотрены всякого рода древности: разрыты местности древних городов, открыты и разобраны монеты, списаны надписи, возобновлены алфавиты, разгаданы иероглифы и в некоторых случаях воссозданы и восстановлены давно забытые языки. Открыты некоторые из законов, управляющих изменениями человеческой речи, и открытие это в руках филологов послужило уяснению самых темных периодов ранних переселений народов. Политическая экономия, возведенная на степень науки, пролила значительный свет на причины того неравномерного распределения богатства, которое

служит самым обильным источником общественного неурюдства. Статистика так тщательно разработана, что мы имеем самые обширные сведения не только о материальных интересах людей, но и об их нравственных особенностях, как-то: об итоге различных преступлений, о пропорции, в какой они находятся одни к другим, и о влиянии на них возраста, пола, воспитания и т. п.

От этого великого движения не отстала и физическая география: записаны климатические явления, измерены горы, начерчено течение рек, которые исследованы до истоков; всякого рода естественные произведения тщательно изучены и раскрыты их сокровенные свойства; между тем химически разложены все роды пищи, поддерживающей жизнь, сочтены и свешены ее составные части и во многих случаях приведено в достаточную известность свойство связи, в которой они находятся с человеческим организмом. В то же время, чтобы ничего не упустить из виду, что только может расширить познания наши во всем, касающемся до человека, начаты обстоятельные изыскания и по многим другим отраслям. Так, относительно самых образованных народов нам известны в настоящее время пропорции смертности, браков, рождений, роды занятий, колебания в задельной плате и в ценах на необходимые жизненные потребности. Эти и подобные им факты собраны, приведены в систему и готовы для употребления. Такие выводы, которые составляют как бы анатомию народа, замечательны по своей крайней точности; к ним же присоединены другие, менее точные, но более обширные. Не только записаны действия и характеристические черты великих народов, но огромное число различных племен, во всех частях известного света, посещены и описаны путешественниками, так что мы можем сравнивать состояние рода человеческого на всех ступенях цивилизации и при всевозможных обстоятельствах. Если мы прибавим к этому, что любопытство, возбуждаемое в нас нашими собратиями, по-видимому, ненасыσιμο, что оно постоянно возрастает, что возрастают также и средства удовлетворения его и что большая часть сделанных наблюдений еще сохраняются, то все-таки получим слабое понятие о громадной ценности той обширной массы фактов, которую мы уже обладаем и с помощью которой должно изучать ход развития человечества.

Но если б, с другой стороны, мы стали описывать употребление, сделанное из этих материалов, то нам пришлось бы изобразить совсем другую картину. Печальная особенность истории человека заключается в том, что хотя ее отдельные части рассмотрены с значительным умением, но едва ли кто пытался слить их в одно целое и привести в известность существующую между ними связь. Во всех других великих отраслях исследования необходимость обобщения допускается всеми, и делаются благородные усилия возвыситься над частными фактами с целью открыть законы, которыми факты эти управляются. Но историки так далеки от усвоения этого воззрения, что среди них преобладает странное понятие, будто их дело только рассказывать факты, по

временам оживляя их такими политическими и нравственными рассуждениями, какие им кажутся наиболее полезными. По такой теории, любому писателю, который по лености мысли или по врожденной неспособности не в силах совладать с высшими отраслями знания, стоит только употребить несколько лет на прочтение известного числа книг и он сделается историком, и он в состоянии будет написать историю великого народа, и сочинение его станет авторитетом по тому предмету, на изложение которого оно будет иметь притязание.

Установление такого узкого мерила повело к последствиям, весьма вредным для успехов нашего знания. Благодаря этому обстоятельству историки, как корпорация, никогда не признавали необходимости такого обширного предварительного изучения, которое давало бы им возможность охватить свой предмет во всей целостности его естественных отношений. Отсюда странное явление, что один историк — невежда в политической экономии, другой не имеет понятия о праве, третий ничего не знает о делах церковных и переменах в убеждениях, четвертый пренебрегает философией статистики, пятый — естественными науками, между тем как эти предметы имеют самую существенную важность в том отношении, что они объемлют главные обстоятельства, которые имели влияние на нрав и характер человечества и в которых проявляются этот нрав и этот характер. Эти важные предметы, будучи разрабатываемы одним одним, другой другим человеком, скорее разъединялись, чем соединялись; помощь, которую могли бы оказать аналогия и взаимное уяснение одного предмета другим, терялась, и не было видно ни малейшего побуждения сосредоточить все эти предметы в истории, которой, собственно говоря, они составляют необходимые элементы.

Правда, что с первой половины XVIII столетия появилось несколько великих мыслителей, которые оплакивали отсталость истории и сделали все, что могли, чтобы пособить этому злу. Но случаи эти были чрезвычайно редки, так редки, что во всей литературе Европы найдется не более трех или четырех истинно оригинальных сочинений, проявляющих систематическое стремление к изучению истории человека по тем исчерпывающим методам, которые были применены с таким успехом к другим отраслям знания и которые одни дают возможность возвести эмпирические наблюдения на степень научных истин.

Начиная с XVI столетия, и особенно в течение последних столет, замечаем мы вообще у историков разные признаки более обширного взгляда и решимости вводить в свои сочинения такие предметы, которые они прежде исключили бы из них. Вследствие этого содержание их сочинений стало разнообразнее и самое уже собрание в них и соответственное расположение параллельных фактов наводило иногда на такие обобщения, каких мы не можем найти ни малейшего следа в ранней литературе Европы. Это был большой выигрыш в том отношении, что историки, освоившись с более обширной сферой мышления, стали смелее предаваться

тем умозрениям, которые хотя и употребляются иногда во зло, но составляют существенное условие всякого истинного знания, ибо без них не может быть построена никакая наука.

Но, несмотря на то что стремления исторической литературы в настоящее время, конечно, утешительнее, чем были в какой-либо из предшествовавших веков, должно сознаться, что, за весьма немногими исключениями, это только одни стремления и что до сих пор едва ли было что сделано для открытия начал, управляющих характером и судьбой народов. То, что было действительно сделано, я постараюсь оценить в другой части этого введения, теперь же достаточно сказать, что для всех высших целей человеческого мышления история еще жалко несостоятельна и представляет беспорядок и неустройство, свойственные предмету, законы которого не известны и самое основание которого еще не установлено<sup>1</sup>.

При столь неполном знакомстве нашем с историей, несмотря на такое изобилие материалов, следует, кажется, желать, чтобы что-нибудь было предпринято в гораздо больших размерах, чем предпринималось до сих пор, и чтобы сделано было энергическое усилие поднять эту великую отрасль исследования на один уровень с другими и дать нам возможность удержать равновесие и гармонию в нашем знании. В этом духе и было задумано настоящее сочинение. Совершенное выполнение задуманного невозможно, тем не менее я надеюсь сделать для истории человека что-нибудь равносильное или по крайней мере сходное с тем, что было сделано другими исследователями для разных отраслей естественных наук. В природе явления, по-видимому самые неправильные и случайные, были объяснены и подведены под известные неизменные и общие законы. Это произошло оттого, что люди с дарованиями и, что важнее всего, терпеливые и неутомимые мыслители изучали физические явления с целью открыть в них правильность. Если б было обращено такое же внимание и на явления в жизни людей, то мы были бы в полном праве ожидать подобных же результатов; ибо ясно, что те, которые утверждают, будто исторические факты не способны к обобщению, принимают за решенное дело то, что составляет еще вопрос. Они делают еще лучше: они утверждают то, что не в силах доказать и что, при настоящем состоянии знания, даже в высшей степени неправдоподобно. Всякий, кто сколько-нибудь знаком с тем, что было сделано в течение последних двух столетий, должен был заметить, что каждое поколение открывало правильность и возможность предсказания каких-нибудь событий, почтавшихся в предшествовавшем поколении неправильными и непредвидимыми. Итак, успехи цивилизации ведут явным образом к подкреплению нашего верования в существование во всем порядка, метода и закона. Из этого следует, что если какие-нибудь факты или разряды фактов еще не были подведены под правило, то мы далеко не можем объявлять их не подходящими под правило, а должны скорее допустить, руководствуясь пред-

шествовавшими опытами, что то, что мы называем теперь необъяснимым, будет, по всей вероятности, объяснено со временем. Это ожидание открыть правильность среди беспорядка до такой степени сродно людям ученым, что у замечательнейших из них оно переходит в верование, и если мы не встречаем того же вообще у историков, то должны приписать это частью их меньшему знанию дела, сравнительно с естествоиспытателями, частью же большей сложности общественных явлений, составляющих предмет их изучения.

Обе эти причины замедлили зарождение науки истории. Знаменитейшие историки стоят, очевидно, ниже искуснейших естествоиспытателей: никто из людей, посвящавших себя истории, не может быть сравнен по уму с Кеплером, Ньютоном и др. Между тем, со стороны большей сложности изучаемых явлений, историк-философ встречает трудности гораздо страшнее тех, с которыми борется естествоиспытатель, потому что, с одной стороны, в его наблюдениях более возможны ошибки, происходящие от предубеждения и страсти, с другой же — он не располагает великим физическим пособием опыта, с помощью которого мы часто бываем в состоянии упростить самые запутанные задачи в области внешнего мира.

Поэтому неудивительно, что изучение явлений в жизни человека находится еще в младенчестве, сравнительно с успехами изучения явлений природы. И в самом деле, различие между успехами этих двух изучений так велико, что в естественных науках правильность явлений и возможность предсказания их часто признаются несомненными даже в случаях, еще не подвергавшихся проверке, между тем как в истории подобная правильность не только не признается вперед доказанной, но положительным образом отвергается. Отсюда происходит, что всякий, кто желал бы поднять историю на один уровень с другими отраслями знания, встречает с первого шага препятствие: ему говорят, что в делах человеческих есть нечто таинственное, роковое, делающее их непроницаемыми для наших исследований и навсегда заслоняющее от нас их дальнейший ход. На это достаточно было бы отвечать, что такое положение произвольно, что оно, по самому существу своему, не может быть доказано и что, кроме того, ему противоречит тот разительный факт, что во всяком другом изучении увеличение знания сопровождается усилением уверенности в однообразии, с каким, при тех же условиях, должны следовать одно за другим те же явления. Но лучше будет, если мы вникнем поглубже в это затруднение и прямо исследуем основание обыкновенно высказываемого мнения, будто история должна остаться в своем теперешнем эмпирическом состоянии и никогда не может быть возведена на степень науки. Мы придем таким образом к одному важному вопросу, лежащему в основании всего этого дела, а именно: управляются ли действия людей, а следовательно, и общества неизменными законами, или же они составляют результат случая

или сверхъестественного вмешательства? Разбор этих двух предположений поведет нас к некоторым умозрениям, не лишенным интереса.

Об этом предмете есть два учения, которые, по-видимому, представляют собой различные ступени цивилизации. По первому—каждое событие составляет нечто отдельное, изолированное и рассматривается как результат слепого случая. Мнение это, весьма естественное в совершенно невежественном народе, вскоре поколебалось бы с приобретением известной опытности, приводящей к познанию того однообразия в последовательности и совпадении явлений, которое постоянно представляется в природе. Если бы, например, кочующие племена, не обнаруживающие никаких признаков цивилизации, жили исключительно охотой и рыбной ловлей, то они легко могли бы предположить, что появление необходимой для них пищи было результатом какого-нибудь случая, не подлежащего никакому толкованию. Непостоянство в снабжении ею и кажущаяся произвольность появления ее то в изобилии, то в скудном количестве мешали бы им заподозрить в действиях природы нечто вроде метода; ум их не мог бы даже постичь тех общих начал, которым подчиняется порядок явлений и познание которых дает нам часто возможность предсказать будущий ход этих явлений. Но когда такие племена переходят к занятию земледелием, то они впервые начинают употреблять пищу, которой не только появление, но и самое существование составляет, по-видимому, результат их собственной деятельности. Они что сеют, то и жнут. Снабжение их необходимыми предметами пищи приходит в более непосредственную зависимость от них самих и становится более осязательным последствием их собственного труда. Они видят определенный план и правильное однообразие последствий из того отношения, в котором находится влагаемое ими в почву семя к вырастающему из него колосу. Они получают теперь возможность смотреть на будущее если еще не с полной уверенностью, то все-таки с большим доверием, чем питали к нему при своих прежних, менее надежных, промыслах. Тут уже возникает смутное понятие о постоянстве явлений и впервые зарождается в уме слабое представление того, что в позднейшее время получает название законов природы. С каждым шагом на пути развития воззрение людей на этот предмет становится яснее. Обогащаясь наблюдениями и расширяя сферу своих опытов, они встречают такое однообразие, какого никогда и не подозревали, и открытие это ослабляет то верование в случай, от которого они первоначально исходили. Еще немного далее, и уже проявляется вкус к отвлеченному мышлению; тогда некоторые из них обобщают сделанные наблюдения и, презирая устарелое мнение большинства, веруют, что всякое событие находится в неизбежной связи с предшествовавшим ему, а это последнее тоже связано с каким-нибудь предыдущим фактом, и что таким образом весь мир составляет необходимую цепь, в которой каждый человек может

играть свою роль, не имея, однако, ни малейшей возможности вперед угадать ее.

Итак, при обыкновенном ходе развития общества усиливающееся понимание правильности природы ниспровергает учение о случае и заменяет его учением о необходимой связи. И мне кажется в высшей степени правдоподобным, что из этих двух учений, о случае и о необходимой связи, возникли позднее соответствующие догматы свободы воли и предопределения. Нетрудно также понять, каким образом должно было произойти это превращение в более развитом обществе. В каждой стране, как скоро накопление богатства достигает в ней известного предела, произведение труда каждого человека становится более чем достаточным для содержания его самого; следовательно, прекращается необходимость в том, чтобы все работали, и образуется отдельный класс, члены которого проводят жизнь большей частью в преследовании удовольствий, и только весьма немногие занимаются приобретением и распространением знания. В числе этих последних всегда бывают такие, которые, пренебрегая явлениями внешнего мира, обращают все свое внимание на изучение своей внутренней природы<sup>2</sup>, и эти люди, если они одарены большими способностями, делаются основателями новых философий и новых религий, имеющих часто огромное влияние на тех, которые принимают их. Но авторы этих теорий бывают сами под влиянием века, в котором живут. Ни один человек не может освободиться от давления окружающих его мнений, и так называемая новая философия, или новая религия, состоит обыкновенно не в создании новых идей, а скорее в новом направлении идей, уже обращающихся среди современных мыслителей. Так, в занимающем нас в настоящее время вопросе учение о случае во внешнем мире соответствует учению о свободе воли во внутреннем; между тем как учение о необходимой связи имеет подобную же аналогию с учением о предопределении, с той только разницей, что первое развивается метафизиком, а второе — теологом. В первом случае метафизик, исходя от учения о случае, вносит это начало произвола и безответственности в изучение человеческого духа, и оно является в этой новой сфере под именем свободы воли, — выражение, устраняющее, по-видимому, все затруднения, потому что совершенная свобода, будучи началом всех действий, сама ни от чего не происходит, а составляет, подобно случаю, окончательный факт, не допускающий никакого дальнейшего толкования. Во втором же случае теолог берет учение о необходимой связи и переливает его в религиозную форму; а так как ум его уже полон представлением порядка и однообразия, то он естественно приписывает эту неуклонную правильность предвидению Всемогущего Существа; и таким образом к возвышенному понятию о Едином Боге присоединится догмат, что им с самого начала все решительно предопределено и предначертано.

Эти два противоположные учения, о свободе воли и о предопределении<sup>3</sup>, представляют без сомнения удобное и простое

разрешение загадочных сторон нашего бытия; будучи довольно удобопонятны, они до такой степени по силам средним умственным способностям человека, что даже в настоящее время между ними поделено огромное большинство людей. Учения эти не только исказили источники нашего знания, но и породили религиозные секты, взаимное ожесточение которых производило расстройство в обществе и очень часто отравляло отношения семейной жизни. Однако у передовых европейских мыслителей начинается преобладать мнение, что оба учения эти ложны или по крайней мере что мы не имеем достаточных доказательств их истины. А так как это предмет большой важности, то прежде, чем мы пойдем далее, необходимо разъяснить его настолько, насколько нам позволят трудности, сопряженные с этого рода вопросами.

Какому бы ни подлежало сомнению представленное мною объяснение происхождения идеи свободы воли и предопределения, во всяком случае не может быть спора насчет основания, на которое действительно опираются в настоящее время эти идеи. Теория предопределения основывается на теологической гипотезе, а теория свободы воли — на метафизической. Защитники первой исходят от предположения, в подкрепление которому, — не говоря уже ничего другого, — они еще не представили ни одного дельного довода. Они хотят, чтобы мы верили, будто Создатель, благодать которого они между тем охотно признают, установил, несмотря на эту свою благодать, произвольное различие между избранным и неизбранным; что Он пред веки обрек на гибель миллионы созданий, которые еще не родились и которых Он один может вызвать к бытию; и что Он сделал это не в силу какого-нибудь начала справедливости, а чисто по прихоти деспотизма<sup>4</sup>. Это учение обязано своим упрочением среди протестантов мрачному, но мощному уму Кальвина; в первоначальной же церкви оно было впервые систематически развито Августином, который, по-видимому, заимствовал его от манихеев. Во всяком случае учение это, оставая даже в стороне его несовместность с другими понятиями, признаваемыми за основные, должно быть принимаемо в научном исследовании за гипотезу, потому что, выходя из пределов нашего знания, оно не предоставляет нам ни малейшей возможности убедиться, истинно оно или ложно.

Другое учение, которое долго было прославляемо под именем учения о свободе воли, находится в связи с арминианизмом, но в действительности опирается на метафизический догмат преобладания над всем в человеке самосознания. Каждый человек, говорят нам, чувствует и знает, что он свободный деятель, и никакие остроумные доводы не могут поколебать в нас сознания, что мы обладаем свободной волей<sup>5</sup>. И вот существование этой высшей юрисдикции, которая должна таким образом находиться в противоречии со всеми обыкновенными методами умозаключения, заставляет сделать два допущения, из коих одно хотя может быть верно, но никогда не было доказано, другое же



неоспоримо ложно; а именно: что есть самостоятельная способность, называемая самосознанием, и что внушения этой способности непогрешимы. Но во-первых, вовсе не доказано, что сознание есть способность; некоторые из умнейших мыслителей (Джемс Милль, Локк, Гамильтон, Кузен и др.) были того мнения, что это не более как известное состояние или условие ума. Если это так, то весь аргумент рушится до основания, ибо, даже допустив, что все способности ума, при полном упражнении их, действуют одинаково исправно, все-таки нельзя ожидать от них одинаковой деятельности при всяком состоянии, в каком может случайно находиться наш ум. Но, оставив в стороне это возражение, мы можем сделать другое, сказав, что если самосознание и есть способность, то мы имеем свидетельство всей истории, доказывающее крайнюю погрешимость этой способности<sup>6</sup>. Все главнейшие ступени, по которым проходил последовательно род человеческий на пути цивилизации, отличались известными особенностями ума или убеждениями, оставлявшими свой отпечаток на религии, философии и нравственности века. Каждое из этих убеждений было для одного периода предметом верования, для другого — предметом посмеяния, и каждое из них находилось в свое время в такой же тесной связи с духом людей и составляло в такой же мере часть их самосознания, как и то убеждение, которое мы высказываем в настоящее время о свободе воли. Между тем невозможно, чтобы все эти продукты сознания были истинны, потому что многие из них противоречат один другому. Итак, если только нет для различных веков различных мерил истины, то ясно, что свидетельство самосознания человека не есть доказательство справедливости какого-нибудь мнения, ибо в противном случае два предположения диаметрально противоположные могли бы быть одинаково верны. Рядом с этим доводом можно привести другой, заимствованный из обыкновенных случаев ежедневной жизни. Не сознаем ли мы, например, при известных обстоятельствах существования призраков и привидений; а между тем не признано ли всеми, что ни призраки, ни привидения вовсе не существуют? Если кто попытается опровергнуть этот аргумент, сказав, что такое сознание есть кажущееся, а не действительное, то я спрошу тогда, что же решает, какое сознание настоящее, а какое поддельное?<sup>7</sup> Если эта хваленая способность обманывает нас в одном, то какое мы имеем ручательство, что она не обманет нас и в другом. Если нет никакого ручательства, то способность не заслуживает доверия. Если же есть ручательство, то, каково бы оно ни было, самое существование его уже доказывает необходимость такой власти, которой бы подчинялось самосознание, и, следовательно, опровергает учение о преобладании над всем самосознания, — учение, на котором защитники свободы воли должны строить всю свою теорию. И действительно, неуверенность в существовании самосознания в виде самостоятельной способности и сознание того, в какой мере способность эта, — если она действительно существует, —

противоречила своим собственным внушениям, вот две из многих причин, по которым я давно уже пришел к убеждению, что метафизика никогда не будет возведена на степень науки обыкновенным путем наблюдений над отдельными личностями, но что изучение ее может идти успешно лишь путем дедуктивного применения законов, открываемых историческим образом, т. е. выводимых из наблюдения во всей целостности тех обширных явлений, которые представляет нашим взорам длинный ряд дел человеческих.

Но, к счастью для предмета нашего сочинения, тот, кто верует в возможность науки истории, не обязан придерживаться ни учения о предопределении, ни учения о свободе воли<sup>8</sup>; единственные положения, которые он должен, мне кажется, принять в этой области изыскания, суть следующие: когда мы совершаем то или другое действие, то совершаем его вследствие какого-нибудь побуждения или каких-нибудь побуждений; эти побуждения проистекают из каких-нибудь предшествовавших причин, и поэтому если бы мы знали все предшествовавшие причины и законы их изменений, то могли бы с полной достоверностью предсказать все их непосредственные последствия. Вот воззрение, которого, если я не ошибаюсь, должен придерживаться всякий, чей ум не поработен системой и кто основывает свои убеждения на доказательстве, находящемся налицо<sup>9</sup>. Если, например, мне хорошо знаком характер какого-нибудь лица, то я часто бываю в состоянии сказать, как оно будет действовать в известных обстоятельствах. Если я ошибусь в подобном предсказании, то не должен приписывать свою ошибку произволу или прихоти свободной воли лица, ни какому-нибудь сверхъестественному предопределению, ибо ни для того, ни для другого нет ни малейшего доказательства, а должен удовольствоваться предположением, что или мне сообщены были неверные сведения об условиях, в которых находилось действующее лицо, или что я не довольно изучал обычные отправления его ума. Но если б при способности правильно умозаключать я имел полные сведения как о настроении лица, так и об обстоятельствах, в которых оно находилось, то я был бы в состоянии предвидеть ряд действий, предпринятых им в силу таких обстоятельств<sup>10</sup>.

Итак, отвергая метафизический догмат свободы воли и теологический — предопределения всего случающегося<sup>11</sup>, мы приходим к заключению, что действия людей, завися только от предшествующих причин, должны иметь известный отпечаток однообразия, т. е. должны при совершенно одинаковых условиях иметь совершенно одинаковый исход. А как все предшествующие причины находятся или внутри духа человеческого, или вне его, то ясно, что все видоизменения последствий, или, другими словами, все перемены, наполняющие историю, все превратности, постигающие род человеческий, его прогресс и его отсталость, его счастье и его бедствие — все должно быть результатом двойного действия: действия внешних явлений на дух человека и духа человеческого на внешние явления.

Вот единственные материалы, из которых может быть построена умозрительная история. С одной стороны, мы имеем человеческий дух, который повинуется законам своего собственного бытия и, будучи поставлен вне влияния посторонних сил, развивается согласно условиям своей организации. С другой стороны, мы имеем так называемую природу, которая тоже повинуется своим законам, но беспрестанно приходит в столкновение с духом людей, возбуждает их страсти, подстрекает их ум и дает таким образом их действиям то направление, которого они не приняли бы без этого постороннего вмешательства. Итак, мы имеем человека, действующего на природу, и природу, действующую на человека, а из этого взаимодействия проистекает все, что ни случается.

Непосредственная задача наша состоит в изыскании способа открытия законов этих двух влияний, а это, как мы сейчас увидим, заставит нас предварительно исследовать, которое из влияний важнее, т. е. сильнее ли влияние физических явлений на мысли и желания людей или же влияние этих последних на физические явления. Ибо ясно, что более действительное влияние должно быть исследовано первое, а это частью потому, что результаты его сильнее выдаются вперед и, следовательно, удобнее наблюдаются, частью же и потому, что если мы сперва обобщим законы большей силы, то у нас останется менее необъясненных фактов, чем когда бы мы начали с обобщения законов меньшей силы. Но прежде, чем приступить к этому исследованию, нелишне будет припомнить некоторые из самых разительных доказательств правильности, с которой следуют одно за другим явления духовной природы. Это значительно подкрепит приведенные выше воззрения и даст нам в то же время возможность видеть, какого рода средства уже были употреблены в дело для уяснения этого важного предмета.

Что полученные до сих пор результаты имеют чрезвычайную ценность, это ясно видно не только из обширности поверхности, на которой сделаны уже обобщения, но и из крайней осмотрительности, с какой они делались. Ибо в то время как большая часть нравственных исследований находилась в зависимости от какой-нибудь теологической или метафизической гипотезы, исследования, о которых я говорю, являются исключительно индуктивными. Они опираются на почти бесчисленное количество фактов, объемлющих многие страны и сведенных в самую ясную из форм — форму арифметических таблиц; наконец, они были собраны большей частью правительственными лицами, не искавшими в них поддержки для той или другой теории и не имевшими интереса исказить истину в требовавшихся от них донесениях.

Самые обширные выводы, относящиеся до действий людей, выводы, признаваемые всеми сторонами за неоспоримые, заимствованы из этих или подобных им источников; они опираются на статистические данные и выражаются языком

математическим. Всякий, кто только знает, как много сделано открытий одним этим путем, должен не только признать однообразие, с которым следуют одно за другим явления духовной природы, но и иметь упование, что будут сделаны еще более важные открытия, как скоро будут употреблены в дело те сильные вспомогательные средства, которые представляются в изобилии даже при нынешнем состоянии знания. Но зачем заглядывать в будущие исследования; в настоящую минуту нас занимают только те доказательства существования однообразия в делах человеческих, которые впервые представлены были статистиками.

Действия людей разделяются легко и наглядно на два класса: на добродетельные и порочные; так как эти классы находятся в соотношении между собою и, взятые вместе, составляют весь итог нашей нравственной деятельности, то поэтому все, что увеличивает один класс, уменьшает, с относительной точки зрения, другой; так, если нам удастся в какой-нибудь период времени заметить однообразие и некоторую последовательность в проявлении пороков какого-нибудь народа, то должна быть соответствующая правильность и в проявлении его добродетелей, или если б мы могли доказать правильность в проявлении его добродетелей, то естественным образом предположили бы такую же правильность и в проявлении его пороков; ибо эти две категории действий, по условию самого деления их, служат дополнением одна другой; или,—выражая это предположение иначе,—ясно, что если б можно было доказать, что дурные действия людей видоизменяются под влиянием перемен, происходящих в окружающем их обществе, то мы должны были бы заключить из этого, что и хорошие действия их, составляющие как бы остаток за вычетом дурных, видоизменяются таким же образом; мы должны были бы прийти далее к тому заключению, что такие изменения составляют результат важных общих причин, которые, действуя на совокупность общества, должны произвести известные последствия, невзирая на волю отдельных людей, составляющих общество.

Вот какую правильность мы надеемся найти в действиях людей, если только действия эти зависят от состояния общества, среди которого они совершаются; если же, напротив, мы не найдем этого рода правильности, то можем быть уверены, что действия людей исходят от какого-нибудь произвольного личного принципа, свойственного каждому человеку, как, например, от принципа свободы воли и т. п. Поэтому в высшей степени важно привести в известность, существует ли или нет правильность во всей нравственной деятельности данного общества, и это именно один из тех вопросов, для разрешения которых дает нам особенно драгоценные материалы статистика.

Как главная задача законодательной власти заключается в ограждении невинного от виновного, то естественным образом европейские правительства, убедившись в важности статистики,

стали тотчас же собирать данные, относящиеся до тех преступлений, для которых от них ожидалось наказание. Сведения эти все более и более накапливались, так что в настоящее время они составляют сами по себе обширную отрасль литературы, содержащую, наряду с необходимыми комментариями, огромную массу фактов, тщательно собранных и приведенных в такую ясную систему, что из них можно более узнать о нравственной природе человека, чем из всей совокупности опытов предшествовавших веков<sup>12</sup>. Но так как в этом введении невозможно представить нечто вроде полного обзора тех выводов, которые мы вправе сделать при настоящем состоянии статистики, то я ограничусь разбором двух или трех важнейших из них и указанием находящейся между ними связи.

Можно смело предположить, что одно из самых произвольных и неправильных преступлений есть убийство. Ибо если мы примем в соображение, что этот акт, хотя вообще им завершается целая жизнь, проведенная в пороке, бывает часто непосредственным результатом, по-видимому, внезапного побуждения; что когда он предумышлен, то для совершения его, хотя с малейшим расчетом на безнаказанность, необходимо редкое стечение благоприятных обстоятельств, которого преступнику часто приходится ожидать, что таким образом преступник должен выжидать время и высматривать удобный случай, от него не зависящий; что, когда и придет время, ему может не достать духа исполнить задуманное; что вопрос, совершит он или нет преступление, может часто зависеть от равновесия сталкивающихся побуждений, таких, например, как боязнь закона, страх наказаний, которыми угрожает религия, угрызения собственной совести или опасение таких угрызений в будущем, корыстолюбие, ревность, жажда мщения, отчаяние; если мы возьмем все это вместе, то выходит такое сплетение причин, что мы вправе были бы усомниться в возможности открыть какой-либо порядок или метод в результате таких тонких и неуловимых побуждений, как те, от которых зависит совершение или предупреждение убийства. Но что же после этого оказывается на самом деле? На самом деле убийство совершается с такой же правильностью и находится в таком же постоянном отношении к известным обстоятельствам, как и движение морских приливов и смена времен года. Г. Кетле, посвятивший всю жизнь свою собиранию и приведению в систему статистических сведений о различных странах, представляет как результат своих трудолюбивых изысканий, следующий вывод: «Во всем, относящемся до преступлений, одни и те же числа повторяются с таким постоянством, которого нельзя не заметить; то же бывает и в таких преступлениях, которые, казалось бы, вовсе не подлежат человеческому предвидению, в таких, например, как убийства, совершаемые после ссор, возникающих из обстоятельств, по-видимому, случайных. Но мы знаем из опыта, что не только совершается ежегодно почти то же число убийств, но что и самые орудия, служащие для совершения их,

употребляются в тех же пропорциях». Это сказал в 1835 г. бесспорно первый статистик в Европе, и с каждым последующим изысканием подтверждалась справедливость слов его. Ибо позднейшие исследования привели в достоверную известность необыкновенный факт, что однообразное повторение преступлений имеет более ясные признаки и скорее может быть предусмотрено, чем действие физических законов, относящихся до болезней и разрушения нашего тела.

Так, например, число лиц, обвиненных в преступлениях во Франции между 1826 и 1844 годами, по странному совпадению, равнялось числу смертей в мужском поле, случившихся в Париже в течение того же периода времени, с той только разницей, что колебания в итоге преступлений были менее значительны, чем колебания в смертности; в то же время замечена была подобная же правильность по каждому из преступлений, которые все следовали одному и тому же закону однообразного, периодического повторения.

Это в самом деле покажется странным для тех, кто полагает, что действия человеческие зависят более от свойств каждого лица, чем от состояния всего общества. Но есть другое обстоятельство, которое еще поразительнее. В числе гласных, записываемых преступлений нет ни одного, которое казалось бы более зависящим от личности, как самоубийство. Покушения на убийство и грабеж могут быть и постоянно бывают с успехом останавливаемыми иногда сопротивлением самых лиц, подвергающихся нападению, иногда же блюстителями правосудия. Покушение же на самоубийство в гораздо меньшей мере подвержено помехе. Человек, решившийся убить себя, не встречает в последнюю минуту остановки, подобной борьбе противника; а как ему легко уберечься от вмешательства гражданской власти, то действие его становится как бы изолированным; будучи отрезано от внешних помех, оно представляется в большей мере, чем всякий другой проступок, результатом собственного желания лица. К этому мы можем также прибавить, что оно не похоже на преступления вообще и в том еще отношении, что редко совершается по внушению сообщников, так что в этом случае люди не вовлекаются в преступление никем другим и потому находятся вне влияния одного обширного класса внешних побуждений, стесняющих так называемую свободу воли. Поэтому может весьма естественно показаться несбыточным делом, чтобы самоубийство было подведено под общие правила или чтобы было открыто что-либо вроде правильности в преступлении, которое выходит до такой степени из ряда обыкновенных, которое так изолированно, так мало подчиняется законодательной власти и так мало пресекается мерами, принимаемыми самой бдительной полицией. Есть еще одно обстоятельство, мешающее нам верно смотреть на самоубийство, а именно то, что и самые улики в этого рода преступлении всегда бывают далеко не совершенны. Например, в случаях утопления легко принять умышленное самоубий-

ство за нечаянное и, наоборот, нечаянное за умышленное. Следовательно, самоубийство представляется чем-то не только произвольным и не подлежащим контролю, но и весьма темным в отношении доказательства, так что по всем этим причинам позволительно было бы отчаяться в возможности подвести его под те общие начала, от которых оно действительно происходит.

При таких особенностях этого страшного преступления, конечно, весьма удивительный составляет факт, что все данные, какие мы имеем о нем, приводят к одному важному заключению и не оставляют в нас ни малейшего сомнения, что самоубийство есть продукт известного состояния всего общества и что каждый отдельный преступник только приводит в исполнение то, что составляет необходимое последствие предшествовавших обстоятельств<sup>13</sup>. В известном, данном состоянии общества известное число лиц должны сами лишиться себя жизни. Это общий закон, частный же вопрос о том, кто именно сделается виновным в таком преступлении, зависит, конечно, от частных законов, которые, однако, в совокупном действии своем должны подчиняться главному общественному закону, находясь от него в зависимости. Сила главного закона так непреодолима, что ни привязанность к жизни, ни боязнь того света не в силах умерить его действие. Причины этой замечательной правильности я рассмотрю далее, существование же ее хорошо известно всякому, кто занимается нравственной статистикой. В различных странах, о которых мы имеем сведения, мы находим год от году одну и ту же пропорцию лиц, добровольно лишаящих себя жизни; так что, за отнесением некоторых неточностей на счет невозможности собрать полные данные, оказывается, что мы в состоянии предсказать,—не выходя из пределов самых ничтожных погрешностей,—число добровольных смертей для каждого последовательного периода времени, предположив, конечно, что общественные условия не подвергнутся в это время заметному изменению. Даже в Лондоне, несмотря на частые перемены, неизбежные в обширнейшей и роскошнейшей столице в мире, мы находим в этом отношении такую правильность, которой не мог бы ожидать и самый ревностный поклонник общественных законов; ибо политическое возбуждение, меркантильное возбуждение, дороговизна пищи—все это причины самоубийства, а между тем все это постоянно изменяется<sup>14</sup>. Тем не менее в этой обширной столице ежегодно около 240 человек лишают себя жизни, причем годовое число самоубийств колеблется под влиянием временных причин между 266 и 213. В 1843 г., в великий год кризиса, произведенного железными дорогами (railway panic), самоубийств в Лондоне было 266; в 1847 г. началась некоторая перемена к лучшему, и число это понизилось до 256; в 1848 г. их было 247; в 1849-м—213, а в 1850-м—229.

Вот некоторые, и только некоторые, из тех доказательств, которые мы имеем в настоящее время, в пользу правильности, с какой при том же состоянии общества необходимо повторяются

те же преступления. Чтобы оценить всю силу этих доказательств, мы должны припомнить, что это не произвольный набор частных фактов, а общие выводы из всесторонних показаний уголовной статистики, которые сложились из нескольких миллионов наблюдений, сделанных в странах, стоящих на различных ступенях цивилизаций, имеющих различные законы, мнения, нравы и обычаи. Если мы прибавим, что эти статистические сведения собраны лицами, специально занимавшимися этим делом,—лицами, обладавшими всеми средствами раскрытия истины и не имевшими никакого интереса обманывать, то, конечно, придется допустить, что подчинение преступлений неизменной и однообразной системе есть факт, доказанный яснее всякого другого факта в нравственной истории человека. Мы имеем здесь параллельные цепи доказательств, составленные с необыкновенным тщанием, при самых разнообразных обстоятельствах, и направляющиеся в одну сторону; все они ведут нас к тому заключению, что проступки людей происходят не столько от пороков отдельных виновников, сколько от состояния общества, в которое эти лица бывают заброшены<sup>15</sup>. Заключение это опирается на многочисленных осязательных доводах, понятных для всего света, и поэтому не может быть опровергнуто, ни даже ослаблено ни одной из тех гипотез, которыми метафизики и теологи затрудняли до сих пор изучение прошедшего.

Тем из читателей, которые знают, какие отступления от законов природы постоянно случаются в мире физическом, конечно, будет не ново встретить такие же отступления и в мире нравственном. Неправильности как в том, так и в другом случае происходят оттого, что второстепенные законы, встречаясь на известных пунктах с главными, изменяют несколько ход их нормального действия. Хороший пример этого представляет механика в своей прекрасной теории, называемой параллелограммом сил, по которой силы относятся одни к другим, как диагонали их параллелограммов. Закон этот богат последствиями; он находится в связи с сложением и разложением сил, этими важными вспомогательными средствами в механике, и никто из тех, кому известны данные, на которых основан этот закон, никогда и не думал сомневаться в его справедливости. Но с той минуты, как мы начинаем применять его к практике, мы замечаем, что действие его искажается под влиянием других законов, например законов, относящихся до сопротивления воздуха и различной плотности тел, зависящей от их химического состава или, как полагают иные, от расположения их атомов. Под такими искажениями чистое, простое действие закона исчезает. Но, несмотря на частные неправильности в проявлении закона, самый закон все-таки остается неприкосновенным. Так точно и тот великий общественный закон, что нравственные действия людей происходят не от их воли, а от предшествовавших причин, подвержен нарушениям, которые видоизменяют его действие, но не мешают его справедливости.



Этого совершенно достаточно для объяснения тех незначительных изменений, которые мы находим год от году в общем итоге преступлений, случающихся в одной и той же стране. Действительно, ввиду того факта, что мир нравственный гораздо изобильнее материалами, чем мир физический, можно подивиться разве только тому, что изменения эти не довольно значительны; из того же, что они так ничтожны, мы можем в некоторой мере заключить о чудесной силе главных общественных законов, которые, несмотря на постоянные помехи в их действии, торжествуют, по-видимому, над всеми препятствиями и, при проверке в больших числах, почти не обнаруживают заметных отклонений от нормального действия.

Но не одни только преступления людей носят на себе такой отпечаток однообразия и последовательности. Даже число ежегодно заключаемых браков зависит не от характера и желания отдельных лиц, а от главных, общих фактов, на которые лица эти не могут иметь никакого влияния. Теперь уже известно, что браки имеют постоянное и определенное отношение к цене на хлеб<sup>16</sup>; а в Англии опыт целого столетия доказал, что браки, вместо того чтобы находиться в какой-нибудь связи с личными чувствованиями, зависят просто от среднего размера заработков в массе народа<sup>17</sup>; так что это важное общественное и религиозное учреждение находится не только в связи с ценами на хлеб и размером задельной платы, но и в полной от них зависимости. В других случаях открыто такое же однообразие, но остаются неизвестны его причины. Как замечательный пример приведем то обстоятельство, что мы в настоящее время можем доказать, что даже ошибки памяти носят на себе этот общий отпечаток необходимого и неизменного порядка. Почтовые конторы в Лондоне и Париже обнародовали недавно сведения о числе писем, на которых, по забывчивости писавших их, не были обозначены адреса; и сведения эти, за отнесением некоторой разницы на счет различия обстоятельств, оказываются год от году как бы списанными одни с других. Год от году одно и то же число лиц, пишущих письма, забывают соблюсти эту простую формальность. Так что для каждого последующего периода времени мы теперь действительно можем предсказать, какое число лиц окажут недостаток памяти в этом ничтожном и, по-видимому, нечаянном случае<sup>18</sup>.

Для тех, кто твердо сознает правильность явлений и кто прочно усвоил себе ту великую истину, что действия людей, исходя от предшествовавших им причин, в действительности никогда не бывают непоследовательны и что, при всей кажущейся произвольности своей, они составляют часть одной обширной системы всеобщего порядка, которой, при настоящем состоянии знания, мы можем видеть одно лишь начертание; для тех, кто понимает эту истину, составляющую как ключ, так и основание истории, приведенные нами выше факты далеко не покажутся странными, а представляются тем именно, чего можно было ожидать и что давно уже должно было быть известно. И в самом

деле, ввиду тех быстрых и положительных успехов, которые начинает делать изыскание, я почти не сомневаюсь, что не пройдет столетия—и ряд доказательств дополнится, и будет так же трудно найти историка, отрицающего неуклонную правильность в мире нравственном, как теперь трудно найти философа, отвергающего правильность в мире материальном.

Должно заметить, что приведенные выше доказательства подчинения действий наших известным законам извлечены из статистики, этой отрасли знания, которая, несмотря на то что находится еще в младенчестве<sup>19</sup>, уже пролила более света на изучение человеческой природы, чем все науки, взятые вместе. Но хотя статистики первые стали исследовать этот важный предмет по тем методам умозаключения, которые оказались действительными в других изучениях; хотя, прибегнув к числам, они этим самым употребили в дело весьма сильное орудие раскрытия истины,—мы не должны, однако, полагать на этом основании, что нет никаких других вспомогательных средств для разработки этого же предмета, не должны также думать, что если естествознание не было до сих пор применено к истории, то оно и неприменимо к ней. И в самом деле, ввиду беспрестанных столкновений человека с внешним миром, нам становится ясным, что должна существовать связь между действиями человеческими и законами природы и что если естествознание еще не было применено к истории, то это потому, что историки или не заметили этой связи, или заметили самую связь, но не имели достаточных познаний, чтобы проследить ее действие. Отсюда произошло неестественное разъединение двух главных отраслей исследования: изучения внутреннего и изучения внешнего мира; и хотя в настоящем состоянии европейской литературы заметны некоторые несомненные признаки желания прервать эту искусственную преграду, но все-таки должно сознаться, что до сих пор еще ничего не было сделано для достижения этой великой цели. Моралисты, теологи и метафизики продолжают заниматься своими предметами, не обращая особенного внимания на этот, по их мнению, низший разряд ученых занятий; они даже часто нападают на этого рода исследования, как на нечто враждебное интересам религии и внушающее нам слишком большое доверие к человеческому разуму. С другой стороны, естествоиспытатели, сознавая, что они—передовая корпорация, естественным образом гордятся своими успехами и, противопоставляя свои открытия застою своих противников, проникаются презрением к тем занятиям, бесплодность которых теперь стала очевидна.

Дело историков стать посредниками между этими двумя партиями и примирить их враждебные домогательства, указать пункт, на котором их изучения должны соединиться. Установить условия этой коалиции—значит заложить основание всей истории. Так как история занимается действиями людей, а действия эти не что иное, как результат столкновения между явлениями

внешнего и внутреннего мира, то необходимо взвесить относительную важность этих явлений, узнать, до какой степени известны их законы, и удостовериться, какими вспомогательными средствами для будущих открытий обладают два главных класса ученых: исследователи человеческого духа и исследователи природы. Обязанность эту я постараюсь исполнить в следующих двух главах, и если достигну чего-нибудь вроде успеха, то настоящее сочинение мое будет иметь по крайней мере то достоинство, что послужит хоть сколько-нибудь к наполнению этого широкого и грустного промежутка, разделяющего в ущерб нашему знанию такие предметы, которые имеют тесную связь и которые никогда не должны быть разъединяемы.

## ГЛАВА II

### Влияние физических законов на организацию общества и характер отдельных лиц

Если мы станем рассматривать, какие физические деятели имеют самое могущественное влияние на род человеческий, то найдем, что их можно подвести под четыре главные разряда, а именно: климата, пищи, почвы и общего вида природы; под последним я разумею те явления, которые хотя и представляются главнейшим образом зрению, но, через посредство этого и других чувств, дают направление сближению понятий и тем порождают в различных странах различный склад мыслей народа. К трем первым из этих четырех классов могут быть отнесены все влияния внешнего мира, имевшие постоянное влияние на человека; последний же класс или то, что я называю общим видом природы, действует главнейшим образом, возбуждая воображение человека и внушая ему те бесчисленные предрассудки, которые представляют значительное препятствие распространению знания. А так как в младенчестве народа власть предрассудков бывает неограниченна, то оказалось, что различие видов природы породило соответствующее различие в характере народов и сообщило их религии те особенности, которые при известных обстоятельствах невозможно изгладить. Другие три деятеля, а именно: климат, пища и почва не имели, сколько нам известно, такого непосредственного влияния, но отразились самыми важными последствиями в общей организации общества и породили многие из тех важных черт различия между народами, которые часто приписываются коренному различию человеческих пород. Но такое врожденное различие пород — совершенная гипотеза<sup>1</sup>, между тем как несходство, происходящее от различия климата, пищи и почвы, может быть удовлетворительно объяснено; с уразумением же его должны рассеяться все препятствия, затруднявшие до сих пор изучение истории. Поэтому я намерен прежде всего рассмотреть законы этих трех главных деятелей настолько, насколько они находятся в связи с человеком в его общественном быте; проследив же действие этих законов со всей точностью, какая возможна при настоящем состоянии естествознания, я перейду к рассмотрению последнего деятеля, а именно — общего вида природы, и постараюсь указать на важнейшие черты различия между странами, происходящие от их несходства в этом отношении.

Итак, начнем с климата, пищи и почвы. Ясно, что эти три силы природы не в малой мере зависят одна от другой, т. е. существует весьма тесная связь между климатом страны и произрастающей в ней пищей, пища же сама зависит от производящей ее почвы, а также от возвышения и понижения местности, состоя-

ния атмосферы — одним словом, от всех тех условий, совокупности которых обыкновенно придается название физической географии в ее обширнейшем смысле <sup>2</sup>.

При существовании такой тесной связи между этими физическими деятелями следует, кажется, рассматривать их не самих по себе, а скорее по результатам их совокупного действия. Этим путем мы вдруг придем к полному пониманию всего вопроса, избегнем сбивчивости, могущей произойти от искусственного разделения явлений, которые сами по себе нераздельны, и будем в состоянии яснее видеть, до какой степени простирается замечательное влияние сил природы на судьбу человека на первых ступенях общежития.

Из всех последствий, происходящих для какого-нибудь народа от климата, пищи и почвы, самое первое и во многих отношениях самое важное есть накопление богатства. Хотя успехи знания и ускоряют, наконец, возрастание богатства, но то достоверно, что при самом зарождении общества сперва должно накопиться богатство, а потом уже может быть положено начало знанию. До тех пор, пока всякий человек занят снискиванием того, что необходимо для существования, не может быть ни охоты, ни времени заниматься более возвышенными предметами, не может быть создана никакая наука, а возможна только разве попытка сберечь труд применением к нему тех грубых и несовершенных орудий, какие в состоянии изобрести и самый невежественный народ.

В таком состоянии общества первый важный шаг вперед составляет накопление богатства, ибо без богатства не может быть досуга, а без досуга не может быть знания. Если то, что потребляет народ, всегда совершенно равняется тому, что он имеет, то не будет остатка, не будет накапливаться капитал, а следовательно, не будет средств к существованию для незанятых классов <sup>3</sup>. Но когда производство сильнее потребления, то образуется излишек, который по известным законам сам собой возрастает и, наконец, становится запасом, на счет которого, непосредственно или посредственно, содержится всякий, кто не производит того богатства, которым живет. Только с этого времени и делается возможным существование мыслящего класса, ибо только с этого времени начинается накопление в запас, с помощью которого люди могут пользоваться тем, чего не производили, и получают таким образом возможность предаться таким занятиям, для которых прежде, когда они находились под гнетом ежедневных потребностей, у них не доставало бы времени.

Итак, из всех важных общественных усовершенствований самым первым должно быть накопление богатства, ибо без него не может быть ни желания, ни времени, необходимых для приобретения того знания, от которого, как я докажу впоследствии, зависят успехи цивилизации. Ясно, что у совершенно невежественного народа скорость производства богатства обуславливается только физическими особенностями местности. Несколько

позднее, когда уже капитализируется богатство, начинают действовать и другие причины, до тех пор прогресс может зависеть только от двух обстоятельств: во-первых — от энергии и правильности труда, а во-вторых — от вознаграждения за труд, получаемого от щедрот природы. А эти два условия составляют сами результат предшествовавших физических влияний. Вознаграждение за труд определяется плодородием почвы, самое же плодородие почвы зависит частью от примеси в ней известных химических составных частей, частью от степени орошения ее реками или другими естественными средствами, частью, наконец, от теплоты и влажности атмосферы. С другой стороны, энергия и правильность в самом труде совершенно зависят от влияния климата. Влияние это проявляется двумя различными путями. Во-первых, — что составляет весьма важное обстоятельство — в сильные жары люди бывают не расположены и до известной степени не способны к тем деятельным занятиям, которым в более умеренном климате они предавались бы с охотой. Другое же обстоятельство, менее обращающее на себя внимание, но одинаково важное, заключается в том, что климат действует на труд не тем только, что расслабляет или укрепляет трудящегося, но и влиянием своим на правильность образа жизни этого последнего. Так, мы находим, что ни один народ, живущий на слишком большой северной широте, никогда не имел того постоянного, неослабного трудолюбия, которым отличаются жители умеренных поясов. Причина этого становится очевидна, когда мы припомним, что в более северных странах суровость погоды, а в известные времена года и отсутствие света делает невозможность для людей продолжать их обычные занятия вне домов. Это имеет то последствие, что рабочие классы, вынуждаемые таким образом приостанавливать свои обычные занятия, делаются склоннее к неправильному образу жизни; цепь их деятельности как бы разрывается, и они теряют ту скорость, которая неизбежно приобретает продолжительным, непрерывным упражнением. Вот почему в характере такого народа замечается более причудливости и своенравия, чем в характере народа, которому климат позволяет правильное отправление обычных занятий. И в самом деле, закон этот так силен, что мы можем различать действие его при самых противоположных обстоятельствах. Трудно представить себе большее различие в правлении, законах, религии и обычаях, как существующее между Швецией и Норвегией, с одной стороны, и Испанией и Португалией — с другой. Между тем эти четыре страны имеют одно важное общее свойство. Во всех их одинаково невозможна непрерывная земледельческая деятельность. В двух южных странах работы прерываются жаром, сухостью погоды и происходящим оттого состоянием почвы; в двух же северных то же действие производят суровость зимы и короткость дней. Вот почему эти четыре нации, при всем несхождении их в других отношениях, одинаково отличаются слабостью и непостоянством характера, представляя в этом отношении разитель-

ную противоположность с более постоянным и правильным образом жизни, преобладающим в странах, где климат не так часто заставляет рабочие классы прерывать их занятия и налагает на них в то же время необходимость более постоянной, неослабной деятельности.

Вот главные физические причины, от которых зависит производство богатства. Бывают, без сомнения, и другие обстоятельства, действующие с сознательной силой и имеющие, при более развитом состоянии общества, такое же, а иногда и большее влияние, но это случается уже позднее. Рассматривая же историю богатства на его первых ступенях, мы находим совершенную зависимость его от почвы и климата; почвой обуславливается вознаграждение, получаемое за данный итог труда, а климатом — энергия и постоянство самого труда. Достаточно бросить беглый взгляд на прошедшее, чтобы убедиться в огромной важности этих двух физических условий. Нет примера в истории, чтобы какая-нибудь страна цивилизовалась своими собственными средствами, без особенно благоприятного развития в ней одного из этих условий. В Азии цивилизация всегда ограничивалась тем обширным пространством, где плодородная наносная почва обеспечивала человеку ту степень богатства, без которой не может начаться умственное развитие. Эта большая полоса земли простирается, с немногими перерывами, от восточной части Южного Китая до западных берегов Малой Азии, Финикии и Палестины. К северу от этого огромного пояса тянется длинный ряд бесплодных пространств, на которых постоянно селились дикие, кочующие племена, всегда остававшиеся в бедности вследствие бесплодия почвы и не выходившие из своего нецивилизованного состояния во все время пребывания в этих местностях. До какой степени это зависело от причин физических, видно из того факта, что те же самые монгольские и татарские орды основывали в разные времена великие монархии в Китае, Индии и Персии и во всех этих случаях достигали цивилизации, нисколько не уступавшей цивилизации самых цветущих из древних государств. В плодородных долинах Южной Азии природа доставляла все материалы богатства, и там-то варварские племена впервые дошли до известной степени образованности, создали национальную литературу и установили национальный образ правления, чего не могли сделать на родине. Точно так же арабы в своей стране, благодаря сухости ее почвы, всегда оставались грубым и необразованным народом; в этом случае, как и во всех других, невежество было плодом крайней бедности. Но в VII столетии они завоевали Персию, в VIII — лучшую часть Испании, в IX — Пенджаб и, наконец, почти всю Индию. Едва утверждались они в своих новых оседлостях, как в характере их, видимо, происходила большая перемена. Они, которые на своей родине были чуть-чуть не бродячими дикарями, теперь впервые получали возможность накоплять богатство и потому впервые начали делать некоторые успехи в искусствах, свойственных цивилизации.

В Аравии они были просто племенем кочующих пастухов<sup>4</sup>, в новых же оседлостях своих делались основателями могущественных монархий, строили города, поддерживали школы, составляли библиотеки; следы их могущества и теперь еще видны в Кордове, Багдаде и Дели<sup>5</sup>. Точно такой же пример представляет прилегающая с севера к Аравии и отделяемая от нее только узким водным пространством Красного моря огромная песчаная равнина, которая, прикрывая всю Африку на одной широте, простирается к западу до самых берегов Атлантического океана. Это громадное пространство есть так же, как в Аравии, бесплодная пустыня, и его жители так же, как и жители Аравии, не были цивилизованы и не приобретали познаний единственно потому, что не накапливали богатства. Но эта обширная пустыня в восточной части своей орошается водами Нила, разлитие которого оставляет на песке богатый наносный слой земли, дающий самое щедрое, можно сказать, изумительное вознаграждение за труд. Вот почему в местности этой скоро накапливалось богатство, за ним быстро следовало приобретение знания, и эта узкая полоса земли сделалась средоточием египетской цивилизации,—цивилизации, которая, даже за отнесением многого на долю преувеличений<sup>6</sup>, все-таки представляет разительную противоположность с варварством других народов Африки, так как из них ни один не мог сам выработать своего развития или выйти до некоторой степени из невежества, на которое обрекала его бедность природы.

Эти соображения ясно доказывают, что из двух коренных причин цивилизации самое большое влияние в древнем мире имело плодородие почвы. В европейской же цивилизации наибольшую силу действия обнаружила другая важная причина, а именно климат; и этот последний имеет, как мы видели, влияние частью на способность работника к работе, частью же на правильность его образа жизни. Различие действия замечательно соответствовало различию причин. Хотя всякой цивилизации должно предшествовать накопление богатства, но дальнейшие последствия накопления не в малой мере зависят от условий, при которых оно происходило. В Азии и Африке условие составляла плодородная почва, дававшая щедрое вознаграждение за труд; в Европе это был климат, благоприятствовавший более успешному труду. В первом случае результат зависит от отношения между почвой и ее продуктом, другими словами, от простого действия одной части внешней природы на другую. В последнем же случае он зависит от отношения между климатом и работником, т. е. от действия внешней природы не на самое себя, а на человека. Из этих двух родов отношений первый, как менее сложный, менее подвержен нарушению и потому ранее возымел действие. Отсюда произошло, что на пути цивилизации первые шаги неоспоримо принадлежат самым плодородным странам Азии и Африки. Но, несмотря на то что цивилизация этих стран была самой ранней, она далеко не была самой лучшей, ни самой



прочной. В силу обстоятельств, которые я вскоре объясню, единственный вполне деятельный прогресс зависит не от благодати природы, а от энергии человека. Вот почему европейская цивилизация, которая на своих первых ступенях находилась в зависимости от климата, обнаружила способность к развитию, неслыханную в цивилизациях, возникших под влиянием почвы. Ибо силы природы, несмотря на их кажущееся величие, ограничены и неподвижны; по крайней мере мы не имеем ни малейшего доказательства, чтобы они когда-либо увеличивались или были способны увеличиться. Силы же человека, насколько можно заключить из опыта и аналогии, неограниченны; у нас нет никаких данных для назначения даже гадательного предела, на котором ум человеческий должен был бы по необходимости остановиться. А как такая способность духа увеличивать свои собственные средства составляет особенность, свойственную только человеку и притом отличающую его от так называемой внешней природы, то очевидно, что влияние климата, дающего человеку богатство посредством возбуждения его к труду, более благоприятно для дальнейшего развития человека, чем влияние почвы, которая тоже дает ему богатство, но делает это не посредством возбуждения в нем энергии, а в силу чисто физического отношения между свойствами почвы и количеством или качеством плода, который она производит почти сама собою.

Таково различие между влиянием климата и влиянием почвы на производство богатства. Но есть еще один предмет, одинаковой, а может быть, и большей важности. По производстве богатства возникает вопрос о том, как оно должно быть распределено, т. е. какая часть должна перейти к высшим, а какая к низшим классам. При развитом состоянии общества это зависит от различных обстоятельств, весьма сложных, которых здесь нет необходимости рассматривать; на первых же ступенях общества и прежде, чем начнутся его позднейшие утонченные запутанности, можно, мне кажется, доказать, что распределение богатства так же, как и его производство, подчиняется исключительно физическим законам и что притом сила действия этих законов так велика, что они постоянно удерживали огромное большинство жителей самой лучшей части земного шара в состоянии всегдашней, безысходной бедности. Если можно доказать это, то огромная важность таких законов очевидна. Так как богатство есть несомненный источник силы, то ясно, что, при равенстве других условий, исследование распределения богатства есть исследование распределения силы, а при таком значении этого исследования оно должно пролить значительный свет на происхождение тех общественных и политических неравенств, из действия и противодействия которых складывается значительная часть истории всякой цивилизованной страны.

Бросив общий взгляд на этот предмет, мы можем сказать, что с того времени, как начинается, наконец, настоящее производство и накопление богатства, это последнее распределяется

между двумя классами — между трудящимися и нетрудящимися, из коих последние, в совокупности взятые, способнее, а первые многочисленнее. Запас, на счет которого содержатся оба класса, непосредственно производится низшим классом, физические силы которого направляет, совокупляет и как бы сберегает большее умение высшего класса. Вознаграждение работников называется их задельной платой, а вознаграждение предпринимателей — их прибылью. В позднейшее время возникает класс, который можно назвать сберегающим; это класс людей, которые, не будучи ни предпринимателями, ни работниками, ссужают своими сбережениями предпринимателей и в возмещение за такую ссуду получают часть вознаграждения, достигающегося предпринимателем классу. В этом случае члены сберегающего класса вознаграждаются за воздержание от растраты своих сбережений, и вознаграждение это называется процентом на их деньги; таким образом являются три подразделения богатства: процент, прибыль и задельная плата. Но это уже последующий порядок вещей, который может до известной степени иметь место только тогда, когда богатство уже значительно накопилось; при том же состоянии общества, которое мы теперь рассматриваем, едва ли можно допустить самостоятельное существование этого третьего, или сберегающего, класса. Итак, для настоящей цели нашей достаточно привести в известность, каким законом следует пропорция, в которой богатство, тотчас по накоплении его, распределяется между двумя классами, т. е. между работниками и лицами, дающими работу.

Теперь очевидно, что если задельная плата есть цена, платимая за труд, то и размер задельной платы должен, подобно цене на все другие потребности, изменяться сообразно с переменами на рынке. Если предложение работников превышает требование, то задельная плата падает; если же требование превышает предложение, то она возвышается. Поэтому если предположить, что в какой-нибудь стране данный итог богатства должен быть распределен между дающими работу и работниками, то всякое увеличение числа работников поведет к уменьшению среднего вознаграждения, могущего достаться на долю каждого из них. Если мы оставим в стороне те противодействующие причины, которые препятствуют верности всякого общего вывода, то окажется в заключение всего, что вопрос о задельной плате сводится к вопросу о народонаселении; ибо, несмотря на то что общая сумма задельной платы, действительно производимой, зависит от обширности фонда, из которого она производится, размер платы, получаемой каждым человеком, должен уменьшаться с увеличением числа лиц, имеющих на нее притязание, разве что, благодаря каким-нибудь другим обстоятельствам, самый фонд будет увеличиваться настолько, чтобы выдерживать и самые большие спросы<sup>7</sup>.

Знать обстоятельства, наиболее благоприятствующие увеличению того, что можно назвать фондом задельной платы, есть

дело большой важности; но не этот предмет занимает нас непосредственно. Рассматриваемый нами в настоящую минуту вопрос относится не к накоплению богатства, а к распределению его; цель наша — привести в известность, какие физические условия, благоприятствуя быстрому увеличению народонаселения, ведут к излишку в предложении на рынках труда и тем удерживают средний размер задельной платы на слишком низком уровне.

Из всех физических деятелей, имеющих влияние на приращение рабочего населения, самый деятельный и самый общий есть пища. Если две страны, равные во всех других отношениях, различаются только в том, что в одной пища народа дешева и находится в изобилии, а в другой ее немного и она дорога, то народонаселение первой должно неизбежно увеличиваться быстрее, чем народонаселение второй, предполагая, конечно, в обеих странах одинаковое мерило для удобств жизни. Продолжая наше рассуждение, мы приходим далее к тому выводу, что средний размер задельной платы будет в первой ниже, чем во второй, единственно потому, что в ней рынок труда будет более полон. Поэтому исследование физических законов, от которых зависит род пищи, употребляемой в различных странах, имеет особенную важность для настоящей цели нашей и, по счастью, это такого рода исследование, в котором, при настоящем состоянии химии и физиологии, мы можем прийти к некоторым определенным, точным выводам.

Потребляемая человеком пища производит два, и только два, действия, необходимые для его существования. Во-первых, она снабжает его той животной теплотой, без которой остановились бы жизненные отправления, а во-вторых, восполняет постоянно происходящую убыль в тканях, т. е. в механизме его тела. Для каждой из этих двух целей служит особая пища. Температура нашего тела поддерживается веществами, которые не заключают в себе азота и называются безазотными; беспрестанная же убыль в нашем организме восполняется веществами, известными под именем азотистых, всегда содержащими азот. В первом случае углерод безазотной пищи, соединяясь с принимаемым нами кислородом, производит то внутреннее сгорание, от которого возобновляется наша животная теплота. Во втором же случае азотная или азотистая пища, будучи вследствие малого сродства азота с кислородом как бы предохранена от сгорания, сохраняется и имеет таким образом возможность выполнять свое назначение, т. е. восстанавливать ткани и восполнять потери, которым постоянно подвергается человеческий организм в ежедневной жизни.

Вот два главных разряда пищи, и если мы исследуем законы, которыми определяется их отношение к человеку, то найдем, что в обоих разрядах главнейшим деятелем является климат. Когда люди живут в жаркой стране, то их животная теплота поддерживается легче, чем поддерживалась бы в холодной стране; поэтому они менее требуют безазотной пищи, единственное назначение которой — поддерживать до известной

степени температуру тела. Равным образом в жаркой стране люди менее требуют азотистой пищи, ибо вообще их тело реже подвергается напряжениям, и потому убыль в нем тканей происходит медленнее.

Итак, жители жарких стран, в естественном, нормальном состоянии своем, потребляют менее пищи, чем жители стран холодных, а из этого неизбежно следует, что при равенстве других условий приращение народонаселения будет быстрее в жарких странах, чем в холодных. Для целей практических совершенно безразлично, отчего происходит большая обеспеченность в снабжении народа веществом, употребляемым им в пищу, т. е. от большого ли производства или же от меньшего потребления. Когда люди едят менее, то результат бывает решительно тот же, как если бы у них было больше пищи: в этом случае того же количества хватает на большее время. Вот почему в теплом климате народонаселение имеет больше данных для быстрого размножения, чем в холодном, где если бы образовался и не менее обильный запас пищи, то во всяком случае он вскоре бы истощился.

Вот первая точка зрения, с которой законы климата представляются связанными посредством пищи с законами народонаселения, а следовательно, и с законами распределения богатства. Но есть и другая точка зрения в том же направлении мыслей, с которой также оказывается справедливым сделанный выше вывод. А именно, в холодных странах люди не только должны есть более, чем в жарких, но и самая пища их стоит дороже, т. е. добывание ее требует большей затраты труда. Причины этого я изложу как можно кратче, не выходя за пределы тех подробностей, которые крайне необходимы для верного понимания этого интересного предмета.

Пища имеет, как мы видели, только два назначения, а именно: поддерживать теплоту тела и пополнять убыль его тканей<sup>8</sup>. Первая из этих двух целей достигается тем, что кислород воздуха, проникая в наши легкие и распространяясь по нашему организму, соединяется с углеродом, который мы принимаем в нашей пище<sup>9</sup>. Это соединение кислорода с углеродом никогда не может произойти без отделения значительного количества теплоты, и этим-то процессом и поддерживается в человеческом теле необходимая для него температура. В силу закона, хорошо известного химикам, углерод и кислород, как и все другие элементы, соединяются только в известных, определенных пропорциях, так что для удержания здорового равновесия необходимо, чтобы пища, содержащая углерод, видоизменялась сообразно с количеством принимаемого нами кислорода; в то же время одинаково необходимо, чтобы мы увеличивали приемы как углерода, так и кислорода всякий раз, как усилившийся внешний холод понизит температуру нашего тела. Теперь очевидно, что в особенно холодном климате эта необходимость в пище с большим содержанием углерода представляется с двух различных

сторон. Во-первых, вследствие большей густоты воздуха люди вбирают в себя с каждым дыханием больший объем кислорода, чем вдыхали бы в таком климате, в котором воздух разрежается от теплоты. Во-вторых, холод ускоряет их дыхание и, вынуждая их таким образом дышать чаще, чем дышат жители жарких стран, тоже увеличивает среднее количество вдыхаемого ими кислорода. По обоим этим причинам увеличивается потребление кислорода, а следовательно, требуется также большее потребление углерода, ибо только соединением этих двух элементов в известной, определенной пропорции поддерживается температура тела и равновесие человеческого организма.

Так как эти взгляды имеют свое социальное, экономическое значение, совершенно независимое от физиологического значения их, то мы постараемся еще более подкрепить их, доказав, что связь, существующая между употреблением пищи, богатой углеродом, и процессом дыхания, может быть разъяснена и более обширным обозрением царства животного.

Железа, существующая у наибольшего числа разных пород животных, есть печень, и главное назначение ее состоит в освобождении организма от избытка углерода, что она исполняет, отделяя желчь — жидкость, весьма богатую углеродом. Но между этим процессом и процессом дыхания существует весьма любопытная связь. Бросив общий взгляд на все царство животных, мы найдем, что почти всегда печень и легкие взаимно восполняются, т. е. когда один из этих органов мал и недейтелен, то другой — велик и силен. Так, у пресмыкающихся слабые легкие, но значительная печень; также у рыб, которые вовсе не имеют легких в обыкновенном значении этого слова, печень бывает нередко огромного размера. С другой стороны, насекомые имеют обширную и весьма сложную систему дыхательных трубок, но печень у них очень мала, и отправления ее обыкновенно слабы. Если мы вместо того, чтобы сравнивать различные породы животных, будем сравнивать различные состояния, через которые проходит одно и то же животное, то мы найдем еще дальнейшее подкрепление этого общего и разительно верного положения. Выведенный нами закон верен, даже и до рождения, — так как у ребенка, находящегося в утробе, легкие не имеют почти никакой деятельности, но у него есть огромная печень, полная сил и изливающая желчь в изобилии<sup>10</sup>. И отношение это так неизменно, что в человеке печень образуется раньше всех других органов; она преобладает во все время нахождения младенца в утробе, но быстро уменьшается, когда после рождения легкие приходят в действие и во всем организме устанавливается другая система восполнения<sup>11</sup>.

Эти факты, интересные для физиолога-философа, весьма важны относительно положений, развиваемых в настоящей главе. Так как печень и легкие взаимно замещаются в первоначальном образовании своем, то весьма вероятно, что они и в отправлениях своих тоже заменяют друг друга и что все, не исполненное

одним из этих органов, должно быть исполнено другим. Следовательно, если печень, как учит нас химия, имеет назначением освобождать организм от излишнего углерода, отделяя богатую углеродом жидкость, то мы должны были бы предполагать, даже при неимении других доказательств, что и легкие служат к выделению углерода; другими словами, мы должны были бы заключить, что если по какой-нибудь причине организм наш в избытке обременен углеродом, то наши легкие должны участвовать в устранении этого зла. Другим путем это приводит нас к заключению, что пища, изобилующая углеродом, должна утруждать легкие; так что связь между углеродистой пищей и дыхательными отправлениями не пустая гипотеза, как некоторые утверждают, а, напротив, теория, вполне основанная на науке и подкрепляемая не только химией, но и всей организацией царства животного и даже наблюдением эмбриологических явлений. Воззрения Либиха и всех его последователей действительно поддерживаются столькими аналогиями и так совершенно гармонируют со всей остальной суммой наших познаний, что только неразумное отвращение к общим положениям или неспособность обращаться с широкими умозрительными истинами могут служить объяснением вражды, возбужденной этими выводами, которые постепенно втесняются в наше убеждение, с тех пор как Лавуазье старался объяснить дыхательный процесс, подчинив его законам химических соединений.

Исходя от этих химических и физических начал, мы приходим к тому заключению, что, чем холоднее страна, в которой живет народ, тем больше углерода должна содержать его пища. Этот чисто научный вывод подтвердился и на опыте. Жители полярных стран потребляют в больших количествах китовый жир и китовое сало, между тем как между тропиками от подобной пищи вскоре последовала бы смерть, и потому там обыкновенная пища состоит почти исключительно из плодов, риса и других растительных веществ. Затем приведено в известность, посредством тщательного анализа, что в полярной пище содержится в излишке углерод, а в тропической — кислород. Не входя в подробности, которые большинству читателей показались бы скучными, можно сказать вообще, что масла содержат почти вшестеро более углерода, чем плоды, и что в них очень мало кислорода<sup>12</sup>, между тем как крахмал, самая общая и в отношении к питанию самая важная составная часть в царстве растительном, состоит почти наполовину из кислорода.

Связь между этими обстоятельствами и предметом, занимающим нас в настоящую минуту, в высшей степени любопытна; ибо весьма замечательный факт, — факт, на который желательно, чтобы обратили особенное внимание, — составляет то, что в силу каких-то общих законов, нам неизвестных, пища, отличающаяся большим содержанием углерода, стоит дороже пищи, содержащей его в сравнительно малом количестве. Плоды земли, в которых самым деятельным началом является кислород, находятся

в большом изобилии; приобретение их не сопряжено с опасностью и почти не требует труда. Напротив, пища с большим содержанием углерода, которая в холодном климате безусловно необходима для поддержания жизни, не производится так легко и не является сама собою. Она не выходит, подобно растениям, из земли, а составляется из жира, сала и масла, получаемых от сильных, диких животных. Один кит дает «сто двадцать бочек жира». Чтобы добыть ее, человек должен подвергаться большим опасностям и переносить большие труды. Тут, конечно, противопоставлены крайние случаи, но тем не менее очевидно, что, чем более приближается какой-нибудь народ к той или другой из крайностей, тем более становится он в зависимости от обстоятельств, обуславливающих эти крайности. И можно, очевидно, принять за общее правило, что, чем холоднее страна, тем более должна содержать углерода употребляемая в ней пища, а чем теплее, тем более — кислорода<sup>13</sup>. В то же время пища, содержащая углерод, извлекаемая главнейшим образом из мира животного, достается труднее, чем пища, содержащая кислород и получаемая из мира растительного<sup>14</sup>. Вот почему у жителей тех стран, где холодный климат делает необходимым употребление пищи с значительным содержанием углерода, развивался большей частью даже в младенчестве общества более смелый и предприимчивый характер, чем у тех народов, обыкновенная пища которых, отличаясь преобладанием кислорода, добывается легко и, можно сказать, достается от щедрот природы даром, без всякого труда. Это коренное различие имеет и многие другие последствия, которых, однако, мне здесь нет нужды перечислять, так как моя настоящая цель — только указать, какое влияние имеет это различие пищи на пропорцию, в которой распределяется богатство между различными классами общества.

Каким образом действительно изменяется эта пропорция, я надеюсь, достаточно разъяснено предыдущими рассуждениями. Но может быть, полезно перечислить факты, на которых основываются эти рассуждения. Это просто следующие факты: размер задельной платы изменяется с цифрой народонаселения, возрастая, когда предложение на рынке труда бывает ниже спроса, и уменьшаясь, когда оно превышает его. Самая же цифра народонаселения, несмотря на то что на нее имеют влияние и многие другие обстоятельства, изменяется, без сомнения, обратно с состоянием запаса пищи, — увеличиваясь, когда он обилен, и оставаясь без изменения или уменьшаясь, когда он скуден. Пища, необходимая для поддержания жизни, находится в холодных странах в меньшем количестве<sup>15</sup>, чем в жарких, а между тем требуется в большем количестве, так что по обоим этим причинам там менее поощряется приращение того населения, из среды которого наполняется рынок труда. Мы можем, следовательно, сказать, приводя это заключение в его простейший вид, что в жарких странах задельная плата сильно склонна к понижению, а в холодных — к повышению.

Прилагая затем этот великий принцип к общему ходу истории, мы везде найдем доказательства его справедливости. И в самом деле, нет ни одного примера противного. В Азии, в Африке и в Америке все древние цивилизации сосредоточивались в жарких странах, и во всех этих странах задельная плата была очень низка, и поэтому рабочие классы находились в самом угнетенном состоянии. В Европе впервые возникла цивилизация в более холодном климате; это повело к увеличению вознаграждения за труд и к более равномерному распределению богатства, чем было возможно в странах, где чрезмерное изобилие пищи благоприятствовало увеличению народонаселения. Это различие повело, как мы вскоре увидим, ко многим социальным и политическим последствиям огромной важности. Но прежде, чем входить в рассмотрение этих последствий, должно заметить, что единственное видимое исключение из сделанного нами вывода служит именно самым разительным подтверждением общего закона. Есть один, и только один, пример значительного европейского народа, имеющего дешевую национальную пищу. Едва ли нужно говорить, что народ этот — ирландцы. В Ирландии рабочие классы в продолжение двух с лишком веков питались главнейшим образом картофелем, который был ввезен в эту страну в самом конце XVI или в начале XVII столетия; особенность же картофеля составляет то, что он стоил, до появления последней болезни его, а может быть, стоит и теперь дешевле всякой другой одинаково здоровой пищи. Сравнивая его воспроизводительную способность с количеством содержащихся в нем питательных веществ, мы находим, что один акр среднего качества земли, засеянный картофелем, прокормит вдвое большее число людей, чем такое же пространство, засеянное пшеницей. От этого в стране, где люди питаются картофелем, народонаселение должно, при почти равных других условиях, возрасть вдвое быстрее, чем в стране, где они питаются пшеницей. Так оно вышло и на самом деле. До самых последних годов, когда дела приняли другой оборот, вследствие эпидемии и переселений, народонаселение Ирландии увеличивалось круглым числом ежегодно на три процента, между тем как народонаселение Англии в такой же период времени увеличивалось на полтора процента. Результатом этого было совершенно различное распределение богатства в этих двух странах. Даже в Англии народонаселение увеличивается слишком быстро, и вследствие переполнения рынка труда рабочие классы не получают достаточного вознаграждения за свой труд; но их положение оказывается самым блестящим в сравнении с тем, каким должны были довольствоваться не более как несколько лет назад рабочие классы в Ирландии. Бедствие, в которое они были повергнуты, без сомнения, всегда усиливалось от невежества их властей и от того постыдно дурного управления, которое составляло до весьма недавнего времени одно из самых темных пятен на славе Англии; самая же действительная причина заключалась в том, что задельная плата



их была так низка, что они были лишены не только удобств, но и обыкновенной пристойности, требуемой цивилизованным образом жизни. А это печальное состояние было естественным последствием той дешевизны и того изобилия пищи, под влиянием которых народонаселение так быстро увеличивалось, что рынок труда был постоянно переполнен. Это доходило до того, что, как замечает один умный наблюдатель, путешествовавший по Ирландии в 30-х годах, средняя задельная плата была в то время четыре пенса в день, и даже при таком жалком вознаграждении не всегда можно было рассчитывать на постоянное занятие. Таковы были последствия дешевизны пищи в стране, которая вообще имеет более естественных средств, чем всякая другая страна в Европе. Если же мы исследуем в большом разmere социальные и экономические условия народов, то увидим, что везде деятельно проявляется одно и то же начало. Мы увидим, что при равенстве других условий от пищи народа зависит его численное приращение, а от его численного приращения — размер задельной платы. Увидим также, что когда задельная плата бывает постоянно низка и, следовательно, богатство распределяется весьма неравномерно, то так же неравномерно распределяется и политическое значение, и общественное влияние; другими словами, окажется, что нормальное среднее отношение между высшими и низшими классами в основе своей зависит от тех особенностей природы, действие которых я пытался обнаружить<sup>16</sup>. Если мы сообразим все это вместе, то будем, я уверен, в состоянии различать с неслыханной доселе ясностью тесную связь, существующую между физическим и нравственным миром, законы, определяющие эту связь, и причины, по которым столь многие древние цивилизации, достигнув известной степени развития, затем падали, не будучи в силах противостоять давлению природы или совладать с теми внешними препятствиями, которые деятельно задерживали их дальнейшее развитие.

Обратимся прежде всего к Азии, и мы увидим разительный пример того, что можно назвать столкновением между явлениями внутреннего и внешнего мира. По причинам, изложенным выше, азиатская цивилизация всегда ограничивалась той богатой полосой, на которой легко приобреталось богатство. Этот громадный пояс включает в себе некоторые из самых плодородных местностей на земном шаре. Из стран, входящих в состав его, Индостан долее всех других пользовался величайшей цивилизацией. А так как притом для составления мнения об Индии мы имеем более полные данные, чем для заключения о какой-либо другой части Азии, то я намерен взять ее примером для объяснения тех законов, которые хотя составляют общие выводы из политической экономии, химии и физиологии, но могут быть подвергнуты проверке в более обширном разmere, возможной только при помощи истории.

В Индии вследствие ее жаркого климата действует уже указанный нами выше закон, в силу которого обыкновенно

употребляемая пища должна быть скорее кислородистого, чем углеродистого, свойства; а это в силу другого закона заставляет народ извлекать обычную пищу не из животного, а из растительного царства, в произведениях которого главной составной частью является крахмал. В то же время высокая температура, делаая людей неспособными к тяжелой работе, порождает необходимость в такой именно пище, которая бы родилась в изобилии и содержала в сравнительно малом объеме значительное количество питательных веществ. Итак, вот несколько особенностей, которые должны оказаться в обычной пище народов Индии, если только справедливы приведенные выше воззрения. Все это действительно оправдывается. С самых ранних времен наиболее распространенной пищей в Индии был рис (это очевидно из того, что о нем часто упоминается в законах Ману), самое питательное из хлебных растений — растение, содержащее в себе до 85% крахмала и вознаграждающее труд земледельца средним урожаем по крайней мере в 60 зерен.

Итак, посредством приложения к какой-нибудь стране нескольких физических законов можно узнать вперед, какая в ней должна быть национальная пища, и таким образом угадать длинный ряд дальнейших последствий. Не менее замечательно в этом случае то, что хотя на юге полуострова рис теперь не в таком употреблении, как был прежде, но он заменяется не животной пищей, а другим зерном, называемым раджи. Однако рис до такой степени соответствует приведенным мною выше условиям, что он все-таки составляет наиболее употребительную пищу почти во всех жарких странах Азии, из которых в различные времена он был перенесен и в другие части света<sup>17</sup>.

От этих особенностей климата и пищи произошло в Индии то неравномерное распределение богатства, которое всегда должно оказаться в странах, где рынок труда бывает постоянно переполнен<sup>18</sup>. Просматривая самые ранние из сохранившихся сведений об Индии — сведениям этим от двух до трех тысяч лет, — мы находим следы порядка вещей, подобного существующему в настоящее время, — порядка, который — мы можем быть в том уверены — всегда существовал, с самого того времени, как началось настоящее накопление богатства. Мы находим, что высшие классы непомерно богаты, а низшие жалко бедны; находим, что те, чьим трудом производится богатство, получают возможно меньшую долю его, остальная же часть поглощается высшими классами в виде ренты или в виде прибыли. А так как богатство составляет после ума самый постоянный источник силы, то естественным образом такое неравномерное распределение богатства сопровождалось столь же неравномерным распределением общественного и политического влияния. Неудивительно после этого, что в Индии с самых ранних времен, к каким восходят наши сведения о ней, огромное большинство народа, угнетенное жесточайшей бедностью и перебивающееся, так сказать, со дня на день, всегда оставалось в состоянии бессмыслен-

ного унижения, изнемогая под бременем непрерывных несчастий, пресмыкаясь в гнусной покорности перед сильным и проявляя способность только к тому, чтобы или самим быть рабами, или служить на войне орудием порабощения других <sup>19</sup>.

Определить с точностью ценность среднего размера задельной платы в Индии за какой-нибудь значительный период невозможно; размер этот может, конечно, быть выражен в деньгах, но ценность денег, т. е. их меновое значение, подвержена бесчисленным колебаниям, происходящим от изменений в стоимости продуктов. Но мы можем достигнуть настоящей цели нашей с помощью одного метода исследования, который приведет нас к гораздо точнейшим результатам, чем всякие показания, опирающиеся единственно на собирание данных о самой задельной плате. Метод этот основывается на следующем простом соображении: так как богатство страны делится только на задельную плату, ренту, прибыль и процент и так как процент в среднем выводе служит точной мерой прибыли, то из этого следует, что если у какого-нибудь народа и рента, и процент высоки, то задельная плата должна быть низка <sup>20</sup>. Поэтому если мы приведем в известность текущий процент на деньги и пропорцию произведений земли, поглощаемую рентой, то получим совершенно верное понятие о задельной плате; ибо задельная плата есть то, что остается на долю работников за уплатой ренты, прибыли и процента.

Замечательно, что в Индии и процент, и рента были всегда очень высоки. В законах Ману, которые были собраны около 900 г. до Р. Х., низший законный процент полагается в 15, а высший — в 60%. И на это не должно смотреть как на какой-нибудь старый закон, уже утративший силу действия; напротив, законы Ману лежат и до сих пор в основании индийской юриспруденции; и мы знаем из весьма достоверного источника, что в Индии в 1810 г. процент на денежные ссуды колебался между 36 и 60%.

Вот что мы знаем об одном из элементов нашего вычисления. О другом, а именно о ренте, мы имеем не менее точные и достоверные сведения. В Англии и Шотландии рента, платимая земледельцем за пользование земель, исчисляется круглым числом без различия ферм в четверть валового дохода. Во Франции средняя пропорция доходит до одной трети; между тем в североамериканских Соединенных Штатах, как всем известно, плата эта гораздо ниже, а в некоторых местностях, собственно, существует только по имени. В Индии же законная рента, т. е. низший размер ее, признанный правом и обычаем, — половина сбора; и даже это жестокое положение не строго соблюдается, ибо во многих случаях взимаются такие высокие ренты, что земледелец не только не получает половины сбора, но едва имеет семена для следующего посева.

Вывод из этих фактов очевиден. При постоянно высоком уровне процента и ренты и при том условии, что процент изменяется сообразно с размером прибыли, ясно, что задельная плата

должна быть весьма низка; так как в Индии известный итог богатства подлежал распределению на ренту, процент, прибыль и задельную плату, то очевидно, что первые доли могли увеличиться только на счет четвертой, т. е., другими словами, вознаграждение работников было очень слабо в сравнении с вознаграждением высших классов. Хотя этот вывод, как самый прямой, не требует подкрепления извне, не мешает, однако, заметить, что в новейшие времена, которыми ограничиваются наши прямые сведения об Индии, задельная плата была там постоянно весьма низка, и народ вынужден был, как и в настоящее время, работать за такую плату, которая едва покрывала его жизненные потребности<sup>21</sup>.

Вот первое важное последствие, к которому привела в Индии дешевизна общепотребительной пищи. Но зло далеко не остановилось на этом. В Индии, как и во всякой другой стране, бедность навлекает презрение, а богатство дает силу. При равенстве других условий обыкновенно бывает так, что и целые корпорации, и отдельные лица чем богаче, тем более приобретают влияния<sup>22</sup>. Поэтому и следовало ожидать, что неравномерное распределение богатства поведет к неравномерному распределению силы; а так как нет примера в истории, чтобы какой-нибудь класс, обладая силой, не злоупотреблял ею, то нетрудно понять, почему народ в Индии, осужденный на бедность физическими законами климата, впал в унижение, из которого никогда уже не мог подняться. Можно привести несколько примеров, скорее для объяснения, чем для доказательства принципа, который после всех предшествовавших рассуждений не может, мне кажется, подлежать никакому сомнению.

Значительной части индийского народа присвоено название шудров; по определению Роде, «каста шудров объемлет весь рабочий или служащий за деньги класс народа». О членах этой касты встречаются любопытные мелкие постановления в туземных законах. Если член этого презренного класса осмеливался сесть на то же место, которое занимали высшие лица, то он подвергался изгнанию из отчества или какому-нибудь мучительному и позорному наказанию; если он непочтительно выражался о них, то ему прижигали рот, если же действительно оскорблял их, то разрезали язык; если он причинял беспокойство брамину, его казнили смертью; если садился на один ковер с брамином, то его изувечивали на всю жизнь; если, движимый любознательностью, он прислушивался к чтению священных книг, то ему вливали в уши горячее масло; если же заучивал их наизусть, то его убивали; если он совершал какое-нибудь преступление, то подвергался за него более строгому наказанию, чем то, которое назначалось высшим лицам; если же его убивали, то ответственность за это была та же, как и за убиение собаки, кошки или вороны. Если он выдавал дочь свою замуж за брамина, то никакое из наказаний, налагаемых на этом свете, не считалось для него достаточным; поэтому объявлялось, что брамин должен идти

в ад за то, что потерпел осквернение от женщины, стоящей неизмеримо ниже его. Даже было определено, чтобы самое имя работника уже выражало презрение, так чтобы можно было прямо узнать, какое ему свойственно место. А на случай, если б и этого оказалось недостаточно для поддержания общественной подчиненности, издан был положительный закон, воспрещающий работнику накапливать богатство; в то же время другим постановлением определялось, что шудра, даже по получении свободы от своего хозяина, на самом деле продолжает быть рабом, «ибо,—говорит законодатель,—кем может он быть выведен из состояния, которое свойственно его природе?»).

И подлинно, кто бы мог вывести его из этого состояния? Не могу представить себе, где бы могла быть такая сила, которая была бы в состоянии совершить столь великое чудо. В Индии рабство, низкое, вечное рабство, было естественным состоянием значительного большинства народа; на это состояние он обречен был физическими законами, решительно не допускавшими сопротивления. И в самом деле, сила этих законов так непреодолима, что везде, где только проявилось их действие, они держали производительные классы в постоянном подчинении. Нет примера в истории, чтобы в какой-нибудь тропической стране, при значительном накоплении богатства, народ избежал такой судьбы; нет примера, чтобы вследствие жаркого климата не оказалось избытка пищи, а вследствие избытка пищи — неравномерного распределения сперва богатства, а за ним — и политического, и общественного влияния. В нациях, подчиненных этим условиям, народ считался ничем; он не имел никакого голоса в государственном управлении, никакого контроля над богатством, плодом его же трудолюбия. Единственным делом его было трудиться, единственной обязанностью — повиноваться. Вот где начало того расположения к тихой, раболепной покорности, которое, как мы знаем из истории, было всегда отличительной чертой таких народов. То несомненный факт, что летописи этих народов не представляют нам ни одного примера восстания против правителей, ни одной борьбы сословий, ни одного народного восстания, ни даже значительного народного заговора. В этих богатых и плодородных странах много было перемен, но все они начинались сверху, а не снизу. Демократического элемента в них решительно не доставало. Было множество войн царей и войн династий, были перевороты в правительстве, перевороты во дворце, перевороты на троне, но их вовсе не было в народе<sup>23</sup>; не было никакого облегчения той тяжелой доли, которую он терпел скорее от природы, чем от человека. Только с зарождением цивилизации в Европе возымели действие другие законы, а следовательно, стали сказываться и другие результаты. В Европе был сделан первый шаг к уравниванию прав, впервые обнаружилось стремление к ограничению той несоразмерности в распределении богатства и влияния, которая составляла существенно слабую сторону величайших из древних государств.

Естественно, что в Европе возникло и все, что достойно имени цивилизации, ибо только там сделаны были попытки удержать равновесие ее соответственных частей. Только там образовалось общество по плану, конечно еще не довольно обширному, но все-таки настолько широкому, чтобы вместить все различные классы, из которых оно составляется, и чтобы, давая таким образом простор развитию частей, обеспечить прочность и преуспеяние целого.

Каким образом некоторые другие физические особенности Европы тоже ускоряли умственное развитие человека, освобождая его от предрассудков, будет показано в конце настоящей главы. Так как это должно повести нас к рассмотрению законов, о которых я еще до сих пор не упоминал, то мне кажется благоразумным окончить сперва наше настоящее исследование; поэтому-то я перехожу к доказательству того, что ряд рассуждений, которые я только что сделал по поводу Индии, применяется также к Египту, Мексике и Перу. Включив таким образом в один обзор наиболее выдающиеся вперед цивилизации Азии, Африки и Америки, мы будем в состоянии видеть, до какой степени замеченные выше начала проявляются в различных отдаленных друг от друга странах, и соберем довольно полные материалы для проверки справедливости тех великих законов, которые без этой предосторожности могли бы показаться общими выводами из скудных и несовершенных данных.

О причинах, по которым из всех африканских народов одни египтяне были цивилизованны, мы уже говорили выше; мы доказали, что это зависело от тех физических особенностей, которые отличали их страну от соседних с нею и которые, облегчая приобретение богатства, не только давали им материальные средства, недостижимые при других условиях, но и обеспечивали их мыслящим классам досуг и удобства, необходимые для расширения пределов знания. Правда, конечно, что, несмотря на все эти преимущества, египтяне не сделали ничего особенно важного, но это должно приписать обстоятельствам, которые я объясню после; во всяком же случае должно согласиться, что они стояли несравненно выше всех других народов, населявших Африку.

Так как цивилизация Египта, подобно цивилизации Индии, возникла под влиянием почвы и так как Египет тоже находится в жарком климате, то в обеих этих странах возымели действие одни и те же законы, и это привело естественным образом к одним и тем же результатам. Мы находим, что как в той, так и в другой стране общеупотребительная пища дешева и обильна, отчего рынок труда переполнен, богатство и влияние распределены весьма неравномерно, и замечаются все неизбежные последствия этой неравномерности. Какое влияние имел подобный порядок вещей в Индии, это я уже пытался объяснить выше. Для изучения прежнего состояния Египта мы имеем, конечно, гораздо менее материалов, но имеем их все-таки достаточно, чтобы убедиться в разительном сходстве этих двух цивилизаций и в тож-

дестве коренных начал, управлявших ходом их общественного и политического развития.

Если мы внимем в главнейшие из условий, в которых стоял народ в Древнем Египте, то увидим, что они совершенно соответствовали тому, что замечено нами в Индии. Начнем с общеупотребительной пищи. Что рис для самых плодородных стран Азии, то финики для Африки. Пальмовое дерево встречается во всех местностях от Тигра до Атлантического океана; оно доставляет дневное пропитание миллионам людей в Аравии и почти во всей Африке к северу от экватора. Правда, что во многих частях большой африканской пустыни оно не способно приносить плод, но от природы это очень сильное растение; оно дает такое изобилие фиников, что к северу от Сахары ими питаются не только люди, но и домашние животные. В Египте же, где пальма растет, говорят, дико финики рождаются в таком изобилии, что не только служат главной пищей для народа, но и употребляются с самых древних времен даже в корм верблюдам, единственному подъемному скоту, повсеместно распространенному в этой стране.

Из этих фактов ясно, что, принимая Египет за высший тип африканской, а Индию — за высший тип азиатской цивилизации, можно сказать, что для первой финики имели то же значение, какое имел для второй рис. Еще замечательно, что самые важные физические особенности, заключающиеся в рисе, находятся также и в финиках. Что касается их химического состава, то известно, что основное начало питательности в обоих этих веществах одно и то же, только крахмал индийского растения заменяется в египетском сахаром. В отношении к законам климата сходство их одинаково очевидно; как финики, так и рис принадлежат к растениям жарких стран и лучше всего растут под тропиками или поблизости от них. В их размножении и в законах их связи с почвой замечается не меньшее сходство, ибо финики, точно так же как и рис, требуют мало ухода и дают обильные сборы, занимая между тем такое малое пространство земли сравнительно с количеством доставляемой ими пищи, что иногда до 200 пальмовых деревьев помещаются на одном акре.

Вот такое разительное сходство бывает в различных странах естественным последствием тождества физических условий. В Египте так же, как и в Индии, успехам цивилизации предшествовало обладание в высшей степени плодородной почвой. В то время как избыток плодородия земли ускорял производство богатства, изобилие пищи влияло на пропорции, в которых богатство это распределялось. Самая плодородная часть Египта есть Саис; там именно мы и находим полнейшее проявление искусства и знания в великолепных остатках Фив, Карнака, Луксора, Дендеры и Эдфу. В то же время в Саисе, или Фиваиде, как часто называют эту страну, употребляется такая пища, которая размножается еще быстрее фиников и риса, это именно дурра, разведение которой ограничивалось до недавнего времени одним

Верхним Египтом. Она отличается такой плодovitостью, что награждает часто земледельца урожаем до 240 зерен. В прежнее время дурры не знали в Нижнем Египте, а употребляли в пищу в дополнение к финикам нечто вроде хлеба из лотоса, который производила сама собой плодородная почва Нила. Это была, по-видимому, очень дешевая и всем доступная пища; кроме нее было множество других овощей и трав, которые составляли главную пищу египтян. И в самом деле, их было так много, что в эпоху вторжения магометан в одной Александрии не менее четырех тысяч человек занимались продажей овощей для народа.

От такого изобилия общеупотребительной пищи произошел ряд последствий, совершенно сходных с оказавшимися в Индии. В Африке вообще увеличение народонаселения хотя и поощрялось, с одной стороны, жарким климатом, зато с другой — встречало преграду в слабой производительности почвы, а потому замеченные выше законы возымели безусловное действие. В силу этих законов египтяне не только дешево приобретали пищу, но и требовали ее сравнительно мало, так что двояким путем расширялись пределы, до которых могла доходить их численность. В то же время низшим классам в Египте было тем легче воспитывать своих детей, что высокая температура воздуха сокращала для них еще один значительный расход: жар был так велик, что даже для взрослых одежда требовалась в малом количестве и притом легкая, дети же рабочих классов ходили совершенно нагие, в чем представляется разительная противоположность с более холодными странами, где даже для сохранения нормального здоровья необходима уже одежда более теплая и дорогая. Диодор Сицилийский, путешествовавший по Египту девятнадцать столетий тому назад, говорит, что воспитание ребенка до зрелого возраста стоило не более двадцати драхм, т. е. едва тринадцать шиллингов на английскую монету, — обстоятельство, которому он справедливо приписывает многолюдность этой страны.

Суммируя сделанные выше замечания, можно сказать, что в Египте люди размножались быстро, потому что там почва усиливала снабжение, в то время как климат уменьшал потребности. В результате оказалось, что Египет был населен гораздо гуще, чем всякая другая страна Африки, а по всей вероятности, и чем любая страна древнего мира. Правда, что сведения наши об этом предмете довольно скудны, но зато они заимствованы из несомненно достоверных источников. Геродот, которого чем более понимают, тем более находят точным в показаниях<sup>24</sup>, утверждает, что в царствование Амасиса там было, как говорили, двадцать тысяч населенных городов. Это могло бы, пожалуй, показаться преувеличением, но весьма замечательно то, что Диодор Сицилийский, который путешествовал по Египту спустя четыре столетия после Геродота<sup>25</sup> и который, завидуя славе своего великого предшественника, старался подорвать доверие к его показаниям, подтверждает все-таки его свидетельство об этом важном предмете. Он не только говорит, что Египет был



в то время так же густо населен, как всякая другая страна, но и прибавляет, основываясь на имевшихся тогда сведениях, что в прежнее время это была самая населенная страна в свете; в ней было, говорит он, с лишком 18 000 городов.

Вот единственные два древних<sup>26</sup> писателя, которые лично хорошо знали состояние Египта; показания их тем более ценны, что они, как видно, черпали свои сведения из различных источников: Геродот собирал их главнейшим образом в Мемфисе, а Диодор—в Фивах. При всем разноречии этих двух свидетельств они оба согласны относительно быстроты, с которой размножался народ, и рабского состояния, в которое он был повергнут. И подлинно, самый уже вид этих громадных и дорогих зданий, устоявших и до сих пор, свидетельствует о положении народа, строившего их. Чтобы воздвигать сооружения в таких чудовищных размерах<sup>27</sup> и в то же время такие бесполезные<sup>28</sup>, для этого необходимо, чтобы правители были тираны, а народ—рабы. Никакое богатство, как бы оно ни было велико, никакие затраты, как бы они ни были щедры, не могли бы покрыть того расхода, который потребовался бы на эти работы, если бы их делали люди свободные, получающие порядочное, честное вознаграждение за свой труд. Но в Египте, как и в Индии, подобные соображения не принимались во внимание, ибо все было направлено к тому, чтобы покровительствовать высшим сословиям общества и угнетать низшие. Между первыми и вторыми была огромная, непроходимая пропасть<sup>29</sup>. Если член рабочего класса переменил свои обычные занятия или если узнавали, что он интересуется политическими вопросами, то его строго наказывали; и ни под каким условием не дозволялось также владеть землей земледельцу, ремесленнику или вообще кому бы то ни было, кроме царя, духовенства и войска. Масса же народа была малоотличаема от подъемного скота; ее считали не способной ни к чему более, кроме непрерывной, безвозмездной работы. Если кто из простого народа пренебрегал своей работой, то его за то секли; этому же наказанию часто подвергали также домашних прислугу и даже женщин. Эти и подобные им постановления были хорошо задуманы; они удивительно согласовались со всей системой общественного устройства, которая, будучи основана на деспотизме, могла держаться только жестокостью. Рабочие силы всего народа были в безусловном распоряжении малой части его,—вот что давало возможность воздвигать те обширные здания, в которых опрометчивые наблюдатели видят с удивлением доказательство цивилизации, но которые в сущности свидетельствуют о порядке вещей совершенно противоестественном и нездоровом,—порядке, при котором уменье и искусство обращались во вред тем, кому должны были бы приносить пользу, так что те именно средства, которые доставлял сам народ, против него же и обращались.

Чтобы в таком состоянии общества слишком много обращали внимания на страдания человеческие,—этого нельзя было

ожидать<sup>30</sup>. Но нас тем не менее поражает беспечная щедрость, с какой высшие классы в Египте расточали труд и жизнь народа; в этом отношении они, как ясно видно из сохраняющихся до сих пор памятников, являются единственными в своем роде и не имеют соперников. Мы можем составить себе некоторое понятие об этой почти невероятной расточительности, слыша, что две тысячи человек употребили три года времени на перевозку одного камня с Элефантины в Саис; что один канал Чермного [т. е. Красного] моря стоил жизни ста двадцати тысячам египтян и что для постройки одной из пирамид требовалось, чтобы триста шестьдесят тысяч человек работали двадцать лет.

Если от истории Азии и Африки мы перейдем к Новому Свету, то найдем новые доказательства справедливости сделанных нами выше замечаний. Единственные страны Америки, которые до прибытия европейцев были в некоторой степени цивилизованны,—это Мексика и Перу; к ним можно еще, пожалуй, присоединить и ту длинную и узкую полосу земли, которая простирается от южной части Мексики до Панамского перешейка. В этой последней местности, которая известна теперь под именем Центральной Америки, жители при помощи плодородия почвы, по-видимому, выработали себе известный итог знания; ибо сохраняющиеся до сих пор развалины доказывают, что они обладали искусством в механике и архитектуре, слишком высоким для совершенно невежественного народа<sup>31</sup>. Кроме этого, мы ничего не знаем об их истории; но сведения, которые мы имеем о таких зданиях, как Соран, Palenque и Uxmal, делают в высшей степени правдоподобным, что Центральная Америка была средоточием цивилизации, имевшей во всех главных чертах сходство с цивилизациями Индии и Египта, т. е. уподоблявшейся им неравномерностью распределения богатства и влияния и рабством, в котором оставалась вследствие этого значительная часть народа.

Но хотя данные, по которым мы могли бы судить о прежнем состоянии Центральной Америки, почти совершенно утрачены, зато нам более посчастливилось с историей Мексики и Перу. Еще существует значительное количество достоверных материалов, из которых мы можем составить себе понятие о древнем состоянии этих двух стран и о характере и степени их цивилизации. Однако, прежде чем приступить к этому предмету, кстати будет указать на те физические законы, которыми определялись местности для американской цивилизации, или, другими словами, разъяснить, почему только в этих двух странах общество получило систематическое, прочное устройство, между тем как остальная часть Нового Света была населена дикими, невежественными варварами. Этого рода исследование будет в высшей степени интересно в том отношении, что представит новые доказательства необыкновенной, просто неотразимой силы, с какой влияла природа на судьбу человека.

Первое, что должно поразить нас,—это то обстоятельство, что в Америке так же, как в Азии и Африке, все первоначальные

цивилизации сосредоточивались в жарких странах; так, все Перу, собственно, лежит внутри Южного, а вся Центральная Америка и Мексика — внутри Северного тропика. Какое имел влияние жаркий климат на общественное и политическое устройство Индии и Египта, — это я уже пытался рассматривать; причем, я надеюсь, было доказано, что результат этого влияния выразился в уменьшении нужд и потребностей народа и в происшедшем оттого весьма неравномерном распределении богатства и влияния. Но кроме этого есть еще другой путь, которым проявляется влияние средней температуры стран на их цивилизацию, и я отложил разбор этого рода влияния до настоящей минуты, потому что в Америке его можно проследить яснее, чем где-либо. И в самом деле, в Новом Свете действие природы проявляется в гораздо больших размерах, чем в Старом, и силы ее имеют большее преобладание; поэтому очевидно, что там влияние ее на род человеческий может быть изучаемо с большим успехом, чем в тех странах, где она слабее и где, следовательно, менее заметны результаты ее деятельности.

Если читатель усвоит себе то громадное значение, которое имеет, как было доказано, изобилие общепотребительной пищи, то он легко поймет, как под гнетом естественных влияний цивилизация Америки ограничилась по необходимости теми только частями, где ее застали при открытии Нового Света. Можно сказать, оставив в стороне химические и геогностические различия почвы, что есть две причины, от которых зависит плодородие каждой страны, а именно: теплота и влажность. Где они изобилуют, там земля плодородна, где их недостает — бесплодна. Впрочем закон этот в применении своем допускает исключения под влиянием физических условий, от него не зависящих; но при равенстве других условий он неизменен. Значительные приращения, сделанные в нашем знании географической ботаники со времени проведения изотермических линий, дают нам возможность принять это правило за закон природы, подтверждаемый не только доказательствами, заимствованными из физиологии растений, но и тщательным изучением пропорций, в которых действительно распределены растения по различным странам.

Общее обозрение материка Америка раскроет нам связь, существующую между приведенным выше законом и предметом, занимающим нас в настоящую минуту. Во-первых, по отношению к влажности мы замечаем, что все большие реки в Новом Свете находятся на восточном берегу и нет ни одной на западном. Причины этого замечательного факта неизвестны<sup>32</sup>, но то достоверно, что ни в Северной, ни в Южной Америке ни одна значительная река не впадает в Тихий океан, между тем как на противоположной стороне есть множество рек, из которых некоторые имеют огромную величину, а все чрезвычайно важны, как-то: Негро, Ла-Плата, Сан-Франциско, Амазонка, Ориноко, Миссисипи, Алабама, Святого Иоанна, Потомак, Сускегенна, Делавер, Гудзон и Святого Лаврентия. Этой обширной системой

постоянно орошается почва на востоке<sup>33</sup>; на западе же в Северной Америке есть одна только значительная река, это Орегон, а в Южной, от Панамского перешейка до Магелланова пролива, нет ни одной большой реки.

Что же касается другой главной причины плодородия, то в этом отношении мы находим в Северной Америке порядок вещей совершенно обратный. Там теплота на западе, между тем как орошение — на востоке<sup>34</sup>. Это различие в температуре двух берегов находится, по всей вероятности, в связи с каким-нибудь важным метеорологическим законом; ибо во всем Северном полушарии восточные части материков и островов холоднее западных. Происходит ли это от какой-нибудь важной общей причины, или же в каждом случае действует особая причина, этого при настоящем состоянии знания решить невозможно; но самый факт не подлежит сомнению, и влияние его на первоначальную историю Америки чрезвычайно любопытно. Так, два главных условия плодородия никогда не соединялись ни в одной из частей материка, лежащих к северу от Мексики. На одной стороне все местности ощущали недостаток в теплоте, на другой — в орошении. Обстоятельство это, замедляя накопление богатства, останавливало успехи общества, и до тех пор, пока в XVI столетии не было перенесено в Америку европейское знание, там не случалось примера, чтобы какой-нибудь народ, живущий к северу от параллели 20°, достиг хоть той несовершенной цивилизации, которой легко достигли жители Индии и Египта<sup>35</sup>. Напротив, к югу от этой параллели материк вдруг переменяет свой вид и, быстро суживаясь, превращается в небольшую полосу земли, которая простирается до Панамского перешейка. Это узкое пространство было средоточием мексиканской цивилизации; а почему это так было, легко понять после сделанных нами выше замечаний. Особого рода очертание материка давало весьма большое протяжение берегов и сообщало таким образом южной части Северной Америки характер острова. Отсюда явилась в ней одна из особенностей, отличающих климат островов, а именно усиленная влажность, происходящая от водяных испарений, отделяемых морем<sup>36</sup>. Таким образом, положение Мексики поблизости от экватора давало ей теплоту, а очертание берегов — влажность; а так как из всех стран Северной Америки в ней одной соединились оба этих условия, то она одна и была сколько-нибудь цивилизована. Не может быть никакого сомнения, что если бы песчаные равнины Калифорнии или Южной Колумбии вместо того, чтобы быть спаленными до бесплодия, были орошены реками востока или если бы с реками востока соединялась теплота запада, то результатом как того, так и другого сочетания было бы то плодородие почвы, которое, как положительно доказывает история мира, предшествовало всякой ранней цивилизации. Но так как в каждой из частей Америки к северу от параллели 20° не доставало одного из двух условий плодородия, то цивилизация никак не могла найти в ней приста-

нища, покуда не перешла за эту линию. Не найдено и, мы смело можем сказать, не будет найдено ни малейшего следа того, чтобы на всем этом огромном материке хоть один древний народ был способен сделать большие успехи в искусствах и ремеслах или образовать из себя оседлое, постоянное общество.

Вот какие физические деятели имели влияние на ранние судьбы Северной Америки. В Южной Америке возымел действие ряд совершенно других обстоятельств. Закон, в силу которого восточные берега холоднее западных, не только неприменим к Южному полушарию, но даже заменяется в нем законом прямо противоположным. К северу от экватора восток холоднее запада, к югу же восток теплее запада<sup>37</sup>. Теперь, если соединить этот факт с тем, что было замечено касательно обширной системы рек, отличающей восток Америки от запада, то становится очевидным, что в Южной Америке имеет место то совокупное действие теплоты и влажности, которого недостает в Северной. От этого в восточной части Южной Америки почва замечательна своим плодородием не только между тропиками, но и на значительном расстоянии вне их; так, южная часть Бразилии и даже Уругвай отличаются таким плодородием, какого нельзя найти ни в одной из стран Северной Америки, лежащих на соответствующей широте.

С первого взгляда на замеченные нами выше общие свойства можно было бы подумать, что восточная сторона Южной Америки, будучи так щедро одарена природой<sup>38</sup>, должна была сделаться средоточием одной из тех цивилизаций, какие возникали в других местах под влиянием подобных же условий. Но, вникнув поглубже в этот предмет, мы найдем, что те условия, на которые мы только что указали, далеко не исчерпывают даже физических сторон его и что мы должны принять в соображение существование третьего важного деятеля, которого было достаточно, чтобы нейтрализовать естественное действие двух первых и удержать в варварском состоянии жителей страны, которая без этого была бы самой цветущей из всех стран Нового Света.

Деятель, на который я намекаю, есть пассатный ветер — поразительное явление, имевшее, как мы увидим далее, сильное и притом вредное влияние на все цивилизации, предшествовавшие европейским. Ветер этот объемлет пространство не менее 56° широты: от 28° к северу до 28° к югу от экватора. В этой обширной полосе, заключающей в себе некоторые из самых плодородных стран на земном шаре, пассатный ветер дует в течение всего года с северо-востока или с юго-востока. Причины этой правильности теперь вполне разгаданы, и известно, что она зависит частью от перемещения воздуха на экваторе, частью же от движения Земли; ибо холодный воздух, постоянно притекая от полюсов к экватору, производит таким образом в Северном полушарии северные, а в Южном — южные ветры. Но ветры эти отклоняются от их естественного направления движением Земли, так как она вращается вокруг своей оси от запада к востоку.

А так как вращение Земли, конечно, быстрее на экваторе, чем в каком-либо другом месте, то оказывается, что поблизости от экватора скорость ее движения так велика, что она пересекает притоки атмосферы от полюсов и, давая им другое направление, производит те восточные течения, которые называются пассатными ветрами. Но в настоящее время нас занимает не столько объяснение пассатных ветров, сколько указание, в какого рода связи находится это важное физическое явление с историей Южной Америки.

Пассатный ветер, дующий на восточном берегу Южной Америки, начинается на востоке и пересекает Атлантический океан, вследствие чего достигает материка перенасыщенный водяными парами, которые он поглотил во время пути. У берега пары эти в периодические промежутки времени сгущаются в дождь, и так как дальнейшему движению их на запад препятствует гигантская цепь Анд, через которую они не могут перейти, то вся их влага изливается на Бразилию, которая вследствие того бывает часто затопляема самыми разрушительными потоками. Такое изобилие дождевой воды в соединении с обширной системой рек, составляющей отличительную черту восточной части Южной Америки, и с теплотой возбуждает почву к такой деятельности, которой нет ничего равного ни в какой другой части света. Бразилия, почти равняющаяся пространством всей Европе, покрыта неизмеримо богатой растительностью. И в самом деле, все растет в ней так сильно и так роскошно, что кажется, будто природа тешится своей необузданной силой. Значительная часть этой обширной страны покрыта густыми лесами, в которых благородные деревья, цветущие в неподражаемой красе и пленяющие взор тысячами различных оттенков, сыплют плодами с бесконечной щедростью. Вершины их осыпаны дивно красивыми птицами, гнездящимися в их тенистых ветвях. Внизу комли и стволы их окружены кустарником, стелющимися растениями, бесчисленными паразитами — и во всем этом кипит жизнь. Есть там и мириады насекомых, есть странных, невероятных форм пресмыкающиеся, змеи и ящерицы дивной красоты — и все это находит средства к существованию в этом огромном хранилище богатств природы, а чтобы ни в чем не было недостатка в этой стране чудес, леса опоясаны бесконечными лугами, которые, дымясь от влаги и теплоты, доставляют пищу бесчисленным стадам дикого скота, пасущегося и тучнеющего на их травах; в то же время прилегающие к ним долины, богатые другого рода жизнью, служат любимым местопребыванием для самых хищных и страшных зверей, которые пожирают друг друга, но которых, кажется, никакая человеческая сила не в состоянии истребить<sup>39</sup>.

Вот какой полнотой, каким избытком жизни отличается Бразилия перед всеми другими странами земного шара. Но среди этой пышности, этого блеска природы не оставлено ни малейшего места для человека. Он теряет всякое значение перед таким величием окружающей его природы. Ему противопоставлены

такие громадные силы, что он никогда не мог противиться им, никогда не мог выдержать их совокупного давления<sup>40</sup>. Вся Бразилия, несмотря на ее громадные внешние преимущества, всегда оставалась совершенно нецивилизованной. Жители ее — бродячие дикари, не способные преодолевать те препятствия, которые поставила на их пути самая щедрость природы. Туземцы Бразилии, как и всякий народ в младенческом состоянии, чужды предприимчивости; не зная искусств, с помощью которых устраняются физические преграды, они никогда и не пытались бороться с трудностями, останавливавшими их общественное развитие. Правда, что трудности эти так серьезны, что к преодолению их тщето были прилагаемы в течение с лишком трехсот лет все средства европейского знания. В прибрежные части Бразилии проникла известная доля цивилизации из Европы; туземцы же и этого не могли бы достигнуть своими собственными средствами. Но цивилизация эта, и сама по себе уже весьма несовершенная, никогда притом не проникала во внутренность страны; в ней еще и до сих пор можно найти порядок вещей, подобный издавна существовавшему. Народ, невежественный и поэтому грубый, не терпящий никакого стеснения, не признающий никакого закона, все еще живет в прежнем, застарелом варварском состоянии. В этой стране физические причины играют во всем такую деятельную роль, имеют такую неслыханную силу, что до сих пор не было возможности избегнуть последствий их совокупного действия. Развитие земледелия задерживается непроходимыми лесами; жатвы истребляются бесчисленными насекомыми<sup>41</sup>; горы слишком высоки, чтобы можно было подниматься на них; реки слишком широки, чтобы строить на них мосты; все направлено к тому, чтобы сдерживать человеческий ум и подавлять его честолюбивые стремления. Таким-то образом силы природы опутали дух человека. Нигде нет такой грустной противоположности между величию внешнего и ничтожеством внутреннего мира. Ум, запуганный такой неравной борьбой, не только был не способен двигаться вперед, но без посторонней помощи непременно принял бы обратное направление. Даже в настоящее время при всех усовершенствованиях, постоянно вводимых европейцами, нет еще признаков действительного прогресса; несмотря на множество колоний, менее чем пятидесятая доля земли обработана. Нравы жителей так же грубы, как и были всегда; численность же их представляет факт вполне замечательный: Бразилия, страна, располагающая самыми сильными физическими средствами и в высшей степени изобилующая как растениями, так и животными, страна, почва которой орошена самыми величественными реками, а берег усеян самыми дивными гаванями, — эта громадная территория, превосходящая объемом с лишком в двадцать раз Францию, имеет не более шести миллионов жителей<sup>42</sup>.

Соображения эти достаточно объясняют нам, почему во всей Бразилии нет никаких памятников даже самой несовершенной цивилизации; нет никаких данных, по которым можно было бы

предположить, чтобы жители ее стояли когда-либо выше того состояния, в котором застали их европейцы при самом открытии этой страны. Но непосредственно напротив Бразилии лежит другая страна, которая хотя и находится на том же материке и под той же широтой, но подчинена другим физическим условиям и потому была театром другого рода общественных явлений. Страна эта — знаменитое царство Перу, которое обнимало весь Южный тропик и по причинам, изложенным выше, было единственным местом в Южной Америке, в котором возможно было нечто похожее на цивилизацию. В Бразилии с жарким климатом соединялось двойное орошение: во-первых — обширной системой рек, которая составляет особенность восточного берега, а во-вторых — обильной влагой, наносимой пассатными ветрами. От такого сочетания произошло то ни с чем не сравнимое плодородие, которое, по крайней мере по отношению к человеку, не достигало своей цели, ибо задерживало его развитие, между тем как без этого избытка оно помогало бы ему. Мы уже ясно видели выше, что когда производительные силы природы переходят за известный предел, то с помощью того несовершенного знания, каким обладают люди нецивилизованные, бывает невозможно совладать с ними или обратить их каким-нибудь образом в свою пользу. Если же эти силы, при всей своей деятельности, остаются в пределах возможности совладать с ними, то возникает порядок вещей, подобный замеченному нами в Азии и Африке, где богатство природы не только не останавливало общественного развития, но даже поощряло его, благоприятствуя накоплению того богатства, без известной доли которого невозможен прогресс.

Итак, разбирая физические условия, от которых первоначально зависела цивилизация, мы должны смотреть не на одно только богатство природы, но и на ее, так сказать, обуздаемость, т. е. должны одинаково принимать в соображение как количество самых средств, так и степень легкости употребления их в дело. Прилагая это начало к Мексике и Перу, мы находим в этих двух странах Америки самое благоприятное сочетание приведенных выше условий. Средства этих стран были далеко не так обильны, как средства Бразилии, зато ими гораздо легче было располагать; к тому же жаркий климат давал силу действия и другим законам, имевшим, как я пытался уже доказать, большое влияние на все первоначальные цивилизации.

Весьма замечательный факт, — факт, на который, я уверен, еще никто не обращал внимания, — составляет то, что даже в отношении географической широты нынешняя граница Перу к югу соответствует древней границе Мексики к северу и что по удивительному, — для меня, впрочем, совершенно естественному, — совпадению ни одна из этих границ не переходит за тропик, так как предел Мексики составляет  $21^{\circ}$  северной, а Перу —  $21^{\frac{1}{20}}$  южной широты<sup>43</sup>.

Вот какую удивительную правильность представляет взорам нашим история при многостороннем изучении ее. Если мы срав-



ним Мексику и Перу с теми странами Старого Света, о которых уже было говорено выше, то найдем, что в этих двух государствах, как и во всех цивилизациях, предшествовавших европейской, общественные явления подчинялись физическим законам. Начиная с того, что общепотребительная в них пища отличалась теми именно особенностями, которые были замечены в пище самых цветущих стран Азии и Африки. Конечно, не многие из растений, употребляемых в пищу в Старом Свете, были найдены в Новом, зато в нем место их занимали другие растения, во всем соответствовавшие рису и финикам; они отличались таким же изобилием, так же легко разводились, давали такие же богатые сборы и потому имели то же значение в общественных явлениях. В Мексике и Перу одним из самых важных предметов пищи была всегда кукуруза, которую мы имеем все причины считать растением исключительно свойственным Американскому матерiku<sup>44</sup>. Подобно рису и финикам, она составляет по преимуществу произведение жаркого климата, и хотя растет, как говорят, на возвышении с лишком в 7000 футов, но редко встречается по ту сторону параллели 40°. Производительность ее быстро ослабевает с понижением температуры. Так, например, в Новой Калифорнии средний урожай кукурузы — семьдесят или восемьдесят зерен; в самой же Мексике то же растение дает триста, четыреста, а при благоприятных обстоятельствах даже восемьсот зерен<sup>45</sup>.

Народ, получавший средства к существованию от такого необыкновенно плодовитого растения, мало нуждался в упражнении своих рабочих сил, а между тем имел полную возможность размножаться, что повело к целому ряду политических и социальных последствий, подобных замеченным нами в Индии и Египте. Рядом с кукурузой были еще и другие роды пищи, к которым тоже применяются сделанные нами замечания. Картофель, который в Ирландии произвел такие вредные последствия, вызвав чрезмерное увеличение народонаселения, был, говорят, туземным растением в Перу; и хотя против этого существует мнение весьма сильного авторитета (Гумбольдт), но во всяком случае нет сомнения, что картофель находился там в большом изобилии, когда эта страна была открыта европейцами<sup>46</sup>. В Мексике картофель был неизвестен до прибытия испанцев, но как мексиканцы, так и перуанцы в значительной мере питались произведениями банана,—растением, производительные силы которого так невероятно велики, что только имеющиеся в виду точные и неоспоримые свидетельства могут заставить нас верить в их действительность. В Америке это замечательное растение тесно связано с физическими законами климата, так как оно составляет один из важнейших предметов для пропитания человека везде, где температура превышает известную среднюю высоту (20° R). Об его питательной силе достаточно будет нам сказать, что английский акр, засеянный бананом, может прокормить более пятидесяти человек, между тем как в Европе такое же пространство земли, засеянное пшеницей, прокормит только двух человек. Что же

касается собственно до растительной силы банана, то вычислено, что при одних и тех же условиях урожай банана бывает в сорок четыре раза более урожая картофеля и в сто тридцать раз более урожая пшеницы.

Теперь легко будет понять, почему именно во всех важнейших отношениях цивилизации Мексики и Перу были строго аналогичны индийской и египетской. В этих четырех странах так же, как и в некоторых других краях Южной Азии и Центральной Америки, существовала сумма знаний, действительно ничтожная, если мерить ее европейской мерой, но весьма значительная в сравнении с грубым невежеством, преобладавшим в то же время у соседних народов. Но во всех этих странах замечается та же неспособность к распространению даже тех слабых начатков цивилизации, которых они действительно достигали; то же совершенное отсутствие чего-либо похожего на демократический дух; та же деспотическая власть на стороне высших классов и то же унижительное раболепство со стороны низших. Как мы ясно видели, все эти цивилизации находились под влиянием известных физических причин, которые хотя и были благоприятны накоплению богатства, но не благоприятствовали справедливому распределению его. А так как знание человека находилось еще в состоянии детства<sup>47</sup>, то ему казалось невозможным бороться с этими физическими влияниями или воспрепятствовать им производить на организацию общества то действие, которое мы пытались выше изобразить. И в Мексике, и в Перу искусства, и в особенности те отрасли их, которые служат роскоши достаточных сословий, достигли значительных успехов. Дома лиц высших классов были выполнены украшениями и утварью превосходной работы; комнаты их были увешаны великолепными тканями; их одежда и носимые ими уборы выказывали почти невероятную роскошь; драгоценности самых изящных и разнообразных форм; богатые и весьма пышные платья, вышитые самыми редкими перьями, собранными из отдаленнейших частей государства,—все это служит доказательством огромности состояний и тщеславной расточительности, с которой эти богатства прожигались<sup>48</sup>. Непосредственно за этим сословием следовал народ—и можно себе представить, в каком он был положении. В Перу все подати лежали на нем одном, так как лица высшего класса и жрецы были совершенно изъяты от них. А так как при подобном устройстве общества большинству народа невозможно было приобретать собственность, то он обязан был удовлетворять потребностям правительства своим личным трудом, который находился в неограниченном распоряжении государственной власти. В то же время правители страны понимали, что с такой системой управления чувство личной независимости совершенно несовместно; поэтому они и установили законы, которыми свободой действий контролировалась даже в самых маловажных вещах. Народ был так связан, что простолудин не мог переменить ни местопребывания, ни даже вида своей одежды без раз-

решения правительства. Закон предписывал каждому, каким трудом он должен был заниматься, какую одежду носить, на какой женщине жениться и какими развлечениями пользоваться. У мексиканцев порядок вещей был тот же самый; те же физические условия привели их к тем же социальным результатам. В главнейшем отношении, т. е. относительно состояния массы народа, Мексика и Перу совершенно сходны между собой. Бывало, конечно, несколько второстепенных черт различия<sup>49</sup>, но оба государства были сходны в том, что в них существовало только два класса людей: высший — тираны и низший — рабы. Таково было состояние, в котором находилась Мексика, когда она была открыта европейцами, — состояние, к которому она должна была тяготеть с древнейших времен. Оно сделалось, наконец, невыносимо, и нам известно из достоверных источников, что вызванное этим порядком вещей всеобщее нерасположение к правительству было одной из причин, облегчивших успех завоевателей — испанцев и ускоривших падение Мексиканской империи.

Чем далее мы продолжаем наше исследование, тем разительнее становится сходство между всеми цивилизациями, процветавшими ранее того времени, которое можно было бы назвать европейским периодом в истории человеческого ума. Разделение нации на касты, которое было бы невозможно в великих государствах Европы, существовало в глубочайшей древности в Египте, в Индии и, по-видимому, в Персии<sup>50</sup>. То же самое учреждение строго поддерживалось в Перу, и сообразность его с тогдашним положением общества доказывается тем, что в Мексике, где касты не были установлены законом, тем не менее было признано обычаем, чтобы сын наследовал род занятий отца. Это составляло политический признак того духа неподвижности и консерватизма, который, как мы увидим впоследствии, развивался во всех странах, где высшие классы исключительно присвоили себе государственную власть. Религиозным признаком этого самого духа было то преувеличенное уважение к старине и та ненависть ко всякой перемене, которую величайший из всех писателей, говоривших об Америке, указал нам как аналогию между народами Мексики и Индостана<sup>51</sup>. К этому можно присовокупить, что лица, изучавшие историю древних египтян, заметили и в этом народе такое же направление. Вилькинсон, известный тщательным изучением египетских памятников, говорит, что египтяне более, чем какой-либо другой народ, были нерасположены к изменению своих религиозных обрядов; а Геродот, путешествовавший по Египту две тысячи триста лет тому назад, уверяет нас, что туземцы, храня все старые обычаи, никогда не вводили новых<sup>52</sup>. Сходство между этими двумя отдаленными друг от друга странами не менее любопытно и с другой точки зрения: оно очевидно происходит от замеченных уже нами причин, общих обоим цивилизациям. В Мексике и Перу низшие классы находились в полном распоряжении высших, отчего происходила бесполезная трата труда, подобная той, которую мы уже заметили

в Египте и доказательствами которой служат остатки храмов и дворцов, сохраняющиеся еще в некоторых странах Азии. И мексиканцы, и перуанцы воздвигали огромные здания, которые были столь же бесполезны, как и гигантские здания Египта, и сооружение которых было возможно лишь в тех странах, где труд низших классов был дурно вознагражден и дурно направлен<sup>53</sup>. Стоимость этих памятников тщеславия неизвестна; она должна была быть громадна, так как американцы, не будучи знакомы с употреблением железа, не могли пользоваться тем средством, с помощью которого при больших сооружениях значительно сокращается труд. Впрочем сохранилось несколько данных, по которым можно себе составить понятие об этом предмете. Так, например, возьмем дворцы царей: мы знаем, что в Перу над возведением царского жилища трудились в продолжение 50 лет 20 000 человек; над мексиканским же дворцом работало не менее 100 000 человек,—разительные факты, которые и в случае утраты всех других свидетельств давали бы достаточное понятие о состоянии тех государств, где для таких ничтожных целей тратились столь громадные силы<sup>54</sup>.

Приведенные нами данные, извлеченные из неоспоримо достоверных источников, доказывают могущество тех великих физических законов, которые в самых цветущих странах вне Европы содействовали накоплению богатства, но препятствовали должному распределению его и таким образом упрочили за высшими сословиями монополию одного из важнейших элементов общественного и политического значения. Результатом было то, что во всех этих цивилизациях огромное большинство нации вовсе не пользовалось плодами всеобщего движения вперед, отчего основание прогресса было слишком узко, и самый прогресс оказывался весьма шатким<sup>55</sup>. Таким образом, когда явились извне неблагоприятные обстоятельства, то естественно вся система пала. Гражданское общество, заключающее в себе враждебные существованию его элементы, не могло устоять. Нет никакого сомнения, что эти односторонние и неправильные цивилизации начали приходить в упадок еще задолго до кризисов, приведших к окончательному уничтожению их, так что собственное ослабление их содействовало успеху иноземных завоевателей и сделало неизбежным падение этих древних царств, которые при более нормальном порядке вещей могли быть легко спасены.

Таково было влияние, произведенное на великие цивилизации вне Европы особенностями национальной пищи, местных климатов и почв. Теперь остается мне рассмотреть влияние других физических причин, которые я соединяю под общим названием вида природы. Действие этих причин, как мы скоро увидим, наводит нас на весьма обширные и разносторонние исследования о влиянии внешнего мира на расположение людей к известному складу мыслей — влиянии, придающему особый характер религии, изящным искусствам, литературе — одним словом, всем главным

проявлениям человеческого ума. Приведение в известность того, каким образом это происходит, составляет необходимое дополнение к оконченным нами выше исследованиям. Как мы видели, что пища, климат и почва главным образом влияют на накопление и распределение богатства, точно так же мы увидим, что характер природы действует на накопление и распределение умственного капитала. В первом случае мы имеем дело с материальными интересами человека, а во втором — с его нравственными интересами. Первую из этих сторон я развил насколько мог, а может быть, и вообще настолько, сколько позволяет настоящее положение наших знаний. Но другая сторона — определение отношения, существующего между характером природы и умом человека, требует таких обширных соображений и такой массы разнородных материалов, что я очень боюсь за успех моих стараний; мне нет, конечно, надобности говорить, что я не имею никаких притязаний на совершенное исчерпание этого предмета, — я могу надеяться только возвести в общие начала некоторые из законов того сложного, но еще не исследованного процесса, посредством которого внешний мир влиял на человеческий ум, искажал его естественные движения и слишком часто останавливал его естественное развитие.

Виды природы, если их рассматривать с этой точки зрения, могут быть разделены на два разряда: к первому мы относим те, которые наиболее способны возбудить воображение, а ко второму — те, которые обращаются к рассудку в обыкновенном смысле этого слова, т. е. возбуждают чисто логическую деятельность ума. Хотя справедливо, что в совершенно развитом и благоустроенном уме воображение и рассудок играют каждый свою роль и помогают друг другу, тем не менее справедливо также и то, что в большинстве случаев рассудок слишком слаб, чтобы останавливать воображение и обуздывать его опасное своеволие. Развивающаяся цивилизация всегда стремится исправить эту несоразмерность и облечь рассудок той властью, которая в первобытном положении общества исключительно принадлежит воображению. Следует ли бояться того, чтобы реакция не пошла слишком далеко и чтобы мыслящие способности не стали в свою очередь злоупотреблять своей властью над силами воображения, — вот вопрос в высшей степени интересный, но при настоящем положении дела, вероятно, неразрешимый. Во всяком случае то достоверно, что ничего подобного такому состоянию до сих пор еще не осуществлялось, так как даже и в настоящее время, когда воображение подпало сильнейшему, чем когда-либо, контролю, оно еще имеет несравненно более силы, чем бы следовало; это легко доказать не только теми суевериями, которые еще повсеместно преобладают между необразованными людьми, но и тем поэтическим уважением к древности, которое хотя давно начало уменьшаться, но все еще стесняет независимость, ослепляет ум и ограничивает самобытность лиц, даже принадлежащих к образованному классу.

Итак, по отношению к влиянию естественных явлений очевидно, что всё внушающее нам чувства ужаса или сильного изумления, всё возбуждающее в уме идею о чем-то неясно сознаваемом и превышающем наши силы,— всё это имеет особую способность воспламенять воображение и подчинять его власти более медленные и более сознательные действия рассудка. Встречаясь с подобными явлениями, человек сравнивает свои силы с могуществом и величием природы и приходит к грустному сознанию своего ничтожества. Он чувствует себя подчиненным природе. Со всех сторон бесчисленные препятствия окружают его и стесняют его личную волю. Его ум, ужасаясь того, чего он не постигает и не может постичь, едва осмеливается изучать частности, из которых складывается такое поразительное величие<sup>56</sup>. Напротив, там, где явления природы представляются в меньшем размере и с меньшей силой, человек приобретает доверие к самому себе. Он чувствует более склонности положиться на свои собственные силы; он может как бы везде пройти и проявлять свою власть во всех направлениях. А так как в этом случае явления становятся более доступными, то он имеет возможность производить над ними опыты и наблюдать их во всех подробностях; в нем поощряется дух любознательности и анализа, и он расположен возводить явления природы к общим началам и объяснять их законами, которыми они управляются.

Рассматривая таким образом человеческий ум под влиянием характера природы, мы встречаем замечательный факт — что все великие цивилизации древности находились или между тропиками, или непосредственно возле них, т. е. там, где характер природы самый величественный и самый грозный и где она вообще представляет наиболее опасностей для человека. Действительно, в Азии, в Африке и в Америке внешний мир возбуждает более страха, чем в Европе. Это относится не только к постоянным и неизменным явлениям, каковы, например, горы и другие великие естественные преграды, но и к явлениям временным, каковы землетрясения, бури, ураганы, моровые язвы,— все они в этих странах встречаются весьма часто и производят ужасные бедствия. Эти постоянные и весьма серьезные опасности имеют влияние, подобное тому, какое производит величие природы,— и то, и другое способствует усилению деятельности воображения. Так как собственно область воображения составляет все неизвестное, то каждое событие, для нас непонятное, служит прямым возбуждением силам нашей фантазии. В тропических странах явления такого рода встречаются чаще, чем где-либо, и из этого следует, что в этих странах воображение имеет большую возможность восторжествовать над другими силами ума. Несколько примеров действия этого начала представят нам его в более ясном виде и приготавливают читателя к основанным на нем доводам.

Из всех тех физических явлений, которые увеличивают сумму представляющихся человеку опасностей, землетрясения, конечно, принадлежат к самым поразительным как по сопровождающим

их смертным случаям, так и по неожиданности их. Есть причины предполагать, что им всегда предшествуют атмосферные перемены, которые непосредственно поражают нервную систему и таким образом прямым физическим путем производят повреждение умственных сил<sup>57</sup>. Как бы то ни было, но нет никакого сомнения, что землетрясения имеют последствием расположение людей к известным сближениям понятий и образование в них особого умственного склада. Ужас, который они внушают, возбуждает воображение до болезненного состояния и, пересиливая рассудок, располагает людей к суеверным мечтаниям. Весьма любопытно при этом то, что повторение явления не только не притупляет этих чувств, но даже усиливает их. В Перу, где землетрясения, по-видимому, встречаются чаще, чем где-либо, каждое повторение этого явления увеличивает всеобщий ужас, так что иногда положение становится почти невыносимым<sup>58</sup>. Таким образом ум непрерывно приводится в состояние робости и беспокойства, и люди, подвергаясь самым серьезным опасностям, которых они не могут ни избежать, ни понять, проникаются убеждением в своей беспомощности и в недостаточности своих умственных сил. В такой же точно мере возбуждается воображение и укрепляется вера в сверхъестественное вмешательство. Человеческие силы оказываются недостаточны, и потому призываются силы, которые выше человеческих; признается присутствие существ таинственных и невидимых, и развиваются в народе те чувства благоговения перед высшими силами и сознание своего бессилия, на которых основано всякое суеверие и без которых никакое суеверие не может существовать. Влияние землетрясений на развитие суеверий очерчено в превосходном сочинении Лайеля «Основы геологии».

Дальнейшие примеры в подтверждение нашей мысли могут быть найдены даже в Европе, где подобные явления сравнительно весьма редки. Землетрясения и извержения вулканов в Италии и на Пиренейском полуострове бывают чаще и опустошительнее, чем в других странах Европы; и там именно суеверие и достигло наибольшего развития и суеверные сословия пользуются наибольшим значением. В этих именно странах духовенство ранее, чем во всех других, основало свое господство; здесь явились худшие искажения христианского учения, и суеверие долее и крепче всего держалось. К этому можно присовокупить еще одно обстоятельство, доказывающее существование тесной связи между грозными явлениями природы и преобладанием воображения. Говоря вообще, изящные искусства обращаются более к воображению, а наука — к разуму в тесном смысле<sup>59</sup>. При этом замечательно, что все самые великие живописцы и почти все великие ваятели, которые являлись в Европе в новейшее время, были уроженцы Апеннинского и Пиренейского полуостровов. На поприще науки Италия, без сомнения, также произвела несколько замечательно даровитых деятелей, но число их совершенно ничтожно в сравнении с числом ее художников и поэтов. Что же

касается Испании и Португалии, то в литературе этих двух стран в высокой степени преобладает поэзия, и школы их произвели некоторых из величайших живописцев, каких только когда-либо видел мир. С другой стороны, чисто мыслящие способности всегда находились там в пренебрежении, и весь полуостров с самых древних и до настоящих времен не внес в историю естественных наук ни одного имени, которое бы достигло первостепенной известности, не дал нам ни одного человека, которого труды составили бы эпоху в развитии европейского знания<sup>60</sup>.

Самый процесс, посредством которого характер природы, когда он очень грозен, возбуждает воображение и, поощряя суеверие, препятствует развитию знания, может быть представлен еще нагляднее при помощи одного или двух примеров. В невежественном народе всегда существует побуждение приписывать всякую серьезную опасность сверхъестественному вмешательству; а так как этим возбуждается сильное религиозное чувство, то случается постоянно, что люди не только покоряются этой опасности, но даже делают из нее божество. Так поступают некоторые племена индусов в малабарских лесах, и каждый, кто изучал состояние диких племен, укажет на множество подобных примеров<sup>61</sup>. Действительно, это чувство доходит до того, что в некоторых странах жители из религиозного страха отказываются истреблять диких зверей и вредных змей, и таким образом вред, приносимый этими животными, составляет основание их же безопасности<sup>62</sup>.

Таким образом, древние цивилизации тропических стран должны были бороться с бесчисленными затруднениями, не существующими в умеренном поясе, где издавна процветает европейская цивилизация. Нападения враждебных человеку животных, опустошения, производимые ураганами, бурями, землетрясениями<sup>63</sup>, и другие опасности постоянно тяготели над этими странами и действовали на характер их народностей. Собственно, потеря жизни людей была еще меньшим из зол, а главный вред состоял в том, что в уме человеческом возбуждались сближения понятий, которые доставляли воображению преобладание над рассудком, внушали народу дух бессознательного благоговения вместо духа любознательности и поощряли в нем расположение пренебрегать исследованием естественных причин представляющихся явлений и приписывать их действию причин сверхъестественных.

Все, что мы знаем о тропических странах, доказывает нам, как сильно должно было быть это направление. За весьма немногими исключениями, здоровье менее крепко и болезни встречаются чаще в тропических климатах, чем в умеренных. Между тем часто было замечено — и оно весьма понятно, — что страх смерти делает людей более, чем когда-либо, расположенными искать сверхъестественной помощи. Так велико наше неведение относительно загробной жизни, что неудивительно, если даже самая твердая душа содрогается при внезапном приближении этой тем-



ной, неизвестной будущности. Об этом предмете рассудок не говорит нам ничего, и, следовательно, воображение действует без контроля. Так как действие естественных причин прекращается, то предполагается начало действия причин сверхъестественных. Вследствие того все, что увеличивает в известной стране сумму опасных болезней, имеет непосредственное влияние на усилие суеверия и расширение пределов деятельности воображения на счет рассудка. Это начало до такой степени распространено, что во всех частях света необразованная масса людей приписывает непосредственному участию божества все болезни, которые являются особенно губительными, и преимущественно те, которые отличаются внезапным и таинственным образом появления. В Европе считали всякую повальную болезнь проявлением божеского гнева<sup>64</sup>, и это мнение, хотя уже оно давно начало ослабевать, еще далеко не искоренилось, даже в самых просвещенных странах<sup>65</sup>. Это суеверие, конечно, всегда бывает особенно сильно или там, где слишком слабы познания в медицине, или там, где всего более встречается болезней. В странах, соединяющих оба условия, суеверие доходит до высшей степени; и даже там, где осуществляется только одно из условий, эта тенденция так сильна, что, мне кажется, нет ни одного необразованного народа, который бы не приписывал своим добрым или злым божествам не только необычайных болезней, но даже и многих из числа тех, которым он обыкновенно подвергается<sup>66</sup>.

Итак, вот еще новый пример того вредного влияния, которое имели в древнейших цивилизациях внешние явления на человеческий ум. Те части Азии, где люди достигли высшей степени образованности, имеют климат гораздо менее здоровый, чем самые цивилизованные страны Европы<sup>67</sup>. Одно это обстоятельство уже должно было иметь значительное влияние на национальный характер жителей<sup>68</sup>, тем более что ему помогали и другие условия, на которые мы уже указали и которые все влияли в том же направлении. К этому можно присовокупить, что великие моровые язвы, которыми была в разные времена опустошена Европа, большей частью приходили с Востока, где их естественная родина и где они наиболее губительны. Действительно, из тех ужасных болезней, которые теперь укоренились в Европе, едва ли есть хоть одна совершенно туземная; все самые злейшие из них были занесены из тропических стран в первом или вскоре после первого века христианской эры.

Соединив все эти факты, мы можем положительно сказать, что во всех цивилизациях, существовавших вне Европы, все естественные условия как бы нарочно содействовали тому, чтобы усилить власть воображения и ослабить значение рассудка. При имеющихся у нас ныне материалах можно было бы проследить этот обширный закон до самых отдаленных последствий его и показать, каким образом в Европе действовал другой закон, диаметрально ему противоположный, в силу которого в ней все естественные явления были направлены к тому,

чтобы ограничить деятельность воображения, придать смелость рассудку и таким образом внушить человеку доверие к его собственным средствам и облегчить расширение круга его знаний посредством возбуждения в нем того смелого, пытливого, научного духа, который постоянно стремится вперед и от которого должен зависеть весь грядущий прогресс.

Не должно, однако же, полагать, чтобы я мог проследить в подробности путь, по которому благодаря этим особенностям европейская цивилизация отклонилась от хода всех других, ей предшествовавших. Для того чтобы совершить такой труд, потребовались бы такая ученость и такая обширность мысли, на которые не может иметь притязания никакое отдельное лицо. Совершенно иное дело усвоить себе какую-нибудь обширную, общую истину, и иное проследить эту истину во всех ее разветвлениях и подтвердить ее такими доказательствами, которые могли бы убедить всякого читателя. Действительно, те, которые уже приобрели привычку к такого рода умствованиям и которые способны видеть в истории человечества нечто большее, чем простое сцепление событий, сразу поймут, что в этих сложных предметах, чем обширнее общее правило, тем скорее могут встретиться кажущиеся исключения из него и что когда известная теория обнимает весьма обширное пространство, то может быть бесчисленное множество исключений, а тем не менее теория может оставаться совершенно верной. Два основных предложения были, я надеюсь, мною доказаны, а именно: 1) что существуют некоторые естественные явления, которые действуют на человеческий ум тем, что возбуждают воображение; и 2) что такие явления гораздо многочисленнее вне Европы, чем в пределах ее. Если же допустить оба этих предложения, то из них неизбежно следует, что в тех странах, где воображение подвергалось такому возбуждению, должны были произойти какие-либо особые последствия—если только действие этого возбуждения не было нейтрализовано другими причинами. Но встретились или нет противодействующие причины—это не имеет никакого значения относительно верности самой теории, которая основывается на двух высказанных нами предложениях. Итак, в научном отношении сделанный нами вывод общего начала совершенно полон, и, может быть, осторожнее было бы с нашей стороны оставить его в этом виде, чем пытаться подкрепить его дальнейшими примерами, так как все отдельные факты могут быть ошибочно изложены и непременно бывают оспариваемы теми, кому не нравится подкрепляемый ими вывод. Но, чтобы ближе ознакомить читателя с выведенными мною началами, мне кажется нелишним привести несколько примеров проявления их на деле. Поэтому я вкратце укажу на действие, произведенное ими в трех великих областях деятельности человеческого ума: литературе, религии и искусстве. Я постараюсь показать, каким образом в каждом из этих отделов главные характеристические черты подвергались влиянию характера природы; а чтобы упростить это исследова-

ние, возьму с каждой стороны два самых ярких примера — сравню проявления человеческого ума в Греции с проявлениями его в Индии, так как для этих двух стран мы имеем самые обширные материалы и так как в них физические противоположности наиболее разительны.

Итак, если мы взглянем на древнюю литературу Индии, даже в лучшие периоды ее, то найдем самые очевидные признаки неограниченного преобладания воображения. Во-первых, мы видим разительный факт, что все роды прозаической литературы находились там почти в совершенном пренебрежении: все лучшие писатели посвящали свой труд поэзии, как отрасли более согласной с умственным настроением нации. Индийские сочинения по части грамматики, юриспруденции, истории, медицины, математики, географии и метафизики почти все облечены в поэтическую форму и написаны по известной системе правильного стихосложения<sup>69</sup>.

Вот почему при совершенном пренебрежении к прозе поэзией занимались так усердно, что санскритский язык может похвалиться бóльшим числом и большей сложностью метров, чем любой из европейских языков какого бы то ни было времени<sup>70</sup>.

Эта особенность в форме индийской литературы сопровождается соответствующей особенностью в ее духе. Можно сказать без преувеличения, что вся эта литература как будто бы направлена к тому, чтобы вести открытую борьбу с человеческим рассудком. Во всех возможных случаях высказывается избыток воображения, доходящий до болезненности. Это в особенности заметно в тех произведениях, которые наиболее национальны, каковы «Рамаяна», «Махабхарата» и вообще все Пураны. Но мы находим те же свойства и в индийских географии и хронологии, между тем как эти науки, по-видимому, менее всех других допускают порывы фантазии. Несколько примеров, извлеченных из самых достоверных индийских источников, дадут нам возможность сравнить это направление с совершенно противоположным ему направлением европейского ума и дадут читателю некоторое понятие о том размере, до которого может дойти легковерие даже в цивилизованном народе<sup>71</sup>.

Из всех различных видов искажения истины воображением нет ни одного, который бы сделал так много вреда, как преувеличенное уважение к прошедшим временам. Это благоговение к древности противно всякому здравому смыслу; это не более как избыток поэтического влечения ко всему отдаленному и неизвестному. Поэтому понятно, что в те времена, когда рассудок был сравнительно в бездействии, это влечение было гораздо сильнее, чем теперь; и нет никакого сомнения, что оно все будет ослабевать и что в такой же мере будет усиливаться стремление к прогрессу; таким образом благоговение к прошедшему заменится упованием на будущее. Но в прежнее время это благоговение решительно преобладало, и бесчисленное множество следов его встречается в литературе и народных верованиях всех стран. Так,

например, это чувство внушило поэтам представление о «золотом веке», в продолжение которого царствовал на земле мир, все вредные страсти безмолвствовали и преступления были неизвестны. Это же чувство навело на идею о первобытной добродетели и простоте человека и об его последующем падении с этого высокого уровня. Из того же начала развилось убеждение, что в древнейшие времена люди были не только добродетельнее и счастливее, чем теперь, но даже совершеннее в телесном организме и что вследствие того они достигали большого роста и жили долее, чем мы, их слабые, выродившиеся потомки.

Так как подобные понятия усваиваются воображением вопреки убеждениям рассудка, то сравнительная сила их в каждой стране оказывается одним из тех мерил, по которым мы можем судить о степени преобладания фантазии над другими способностями. Приложив это мерило к литературе Индии, мы найдем разительное подтверждение уже выведенных нами заключений. Сверхъестественные события древности, изображения которых изобилуют санскритские книги, так продолжительны и так сложны, что слишком много потребовалось бы места даже для слабого очерка их; но есть один разряд этих странных вымыслов, который заслуживает особого внимания и может быть очерчен в немногих словах. Я говорю о необыкновенном числе лет, до которого, по мнению индийцев, люди будто бы доживали в прежние времена. Вера в долговечность человеческого рода в первобытном мире было естественным последствием мысли о превосходстве древних людей перед позднейшими во всех отношениях; и мы находим множество примеров этого в некоторых христианских и во многих еврейских книгах. Но факты, показанные в этих книгах, слабы и ничтожны, если сравнить их со сказаниями, сохранившимися в литературе индийской. В этом случае, как и во многих других, фантазия индуса выше всякого подражания. Так, среди огромного числа других подобных фактов мы читаем в индийских книгах, что в древности жизнь обыкновенных людей продолжалась 80 000 лет, а святые люди жили и более 100 000 лет. Некоторые умирали несколько ранее, другие несколько позже, но в самые цветущие времена древности, если взять все классы людей вместе, средним продолжением жизни было 100 000 лет. Об одном царе, по имени Юдиштир, сказано мимоходом, что он царствовал 27 000 лет, между тем как правление другого, по имени Аларка, продолжалось до 66 000 лет. Оба этих царя были похищены смертью во цвете лет, так как есть примеры, что первые поэты жили до полумиллиона лет<sup>72</sup>. Но самый замечательный пример представляет одно лицо, игравшее весьма важную роль в индийской истории; оно было в то же время царем и святым. Этот знаменитый муж жил во времена чистоты нравов и добродетели; и действительно, был он долголетен на земле; при воцарении ему было два миллиона лет; затем он царствовал 6 300 000 лет, по прошествии которых отказался от престола и прожил еще 100 000 лет.

То же самое безграничное уважение к древности заставляло индусов относить всякое важное событие к самым отдаленным временам; при этом у них часто выходит такое число лет, перед которым решительно теряешься<sup>73</sup>. Великое собрание законов их, называемое законами Ману, составлено, конечно, менее 3000 лет назад; но индийские хронологи далеко не того мнения; они приписывают своему законодательству такую древность, которую здравому европейскому уму трудно даже себе представить. По самым лучшим туземным источникам, откровение людям этих законов последовало около двух тысяч миллионов лет до нашего времени.

Все это составляет лишь одно из проявлений той любви к отдаленному, того стремления к бесконечному и того равнодушия к настоящему, которыми отличается ум индуса во всех его проявлениях. Не только в литературе, но и в религии и в искусстве это направление преобладает. Подавлять рассудок и давать волю воображению — вот общее правило индусов. В догматах их религии, в характере их богов и даже в строении храмов мы видели, до какой степени величественные и грозные зрелища внешнего мира наполняли умы людей теми образами величия и страха, которые они стараются воспроизвести в видимой форме и которым сии обязаны главными особенностями своего национального развития.

Наше воззрение на процесс установления этого влияния может быть разъяснено сравнением с противоположным состоянием Греции. В Греции мы видим страну, представляющую самый яркий контраст с Индией. Проявления природы, которые в Индии представляются в ужасающем величии, в Греции несравненно менее размером, слабее и во всех отношениях менее грозны для человека. В великом центре азиатской цивилизации энергия человеческого рода стеснена и как бы запугана окружающими явлениями. Рядом с опасностями, неразлучными с тропическим климатом, там являются те громадные горы, которые как будто бы касаются небес; из склонов их вытекают могучие реки, которых никакое искусство не может отклонить от их направления и через которые еще не перекидывался никакой мост. Там же находятся непроходимые леса, целые страны, поросшие нескончаемым тростником, а за ними бесплодные и беспредельные пустыни — все это внушает человеку сознание его слабости и неспособности бороться с силами природы. Земля с обеих сторон омывается огромными морями, где свирепствуют бури, несравненно более разрушительные, чем в Европе, и отличающиеся такой внезапностью порывов, что невозможно уберечься от их действия. Как будто все в этой стране направлено к тому, чтобы стеснять деятельность человека: береговая линия от устьев Ганга до южной оконечности полуострова не представляет ни одной безопасной и вместительной гавани, ни одного порта, который мог бы дать убежище судам, тогда как здесь такие убежища, может быть, более, чем где-либо, необходимы.

В Греции весь вид природы до такой степени отличен от азиатского, что самые условия существования человека изменяются. Греция, подобно Индии, составляет полуостров; но в то время как в азиатской стране все величественно и грозно, в европейской — все мелко и слабо. Вся Греция занимает пространство несколько меньшее, чем Португальское королевство, т. е. около сороковой доли того, что теперь называется Индостаном. Находясь в самой доступной части небольшого моря, Греция могла иметь легкое сообщение к востоку с Малой Азией, к западу — с Италией, к югу — с Египтом. Опасности всякого рода в ней были гораздо менее многочисленны, чем в странах тропических цивилизаций. Климат был здоровее<sup>74</sup>, землетрясения были не так часты, ураганы менее опустошительны; дикие звери и вредные животные встречались в меньшем числе. И относительно других характеристических черт природы сохраняется тот же закон. Величайшие горы в Греции составляют по высоте менее одной трети Гималайского хребта, так что они нигде не достигают до предела вечного снега. Что же касается рек, то не только между ними нет ничего похожего на громадные массы воды, текущие с азиатских гор, но и вообще природа Греции так скупа в этом отношении, что ни в Северной, ни в Южной Греции мы не находим ничего, кроме нескольких потоков, легко переходимых вброд и в летнее время весьма часто высыхающих.

Эти разительные различия между материальными явлениями обеих стран произвели соответственные различия и в ассоциациях идей их жителей. Так как все идеи должны происходить частью от так называемой самопроизвольной деятельности ума, частью же от того, что внушается уму внешним миром, то такое важное изменение в одной из причин естественно должно было произвести изменение и в последствиях. В Индии все окружающие человека явления были направлены к тому, чтобы внушить ему страх, а в Греции они внушали ему доверие. В Индии человек был запугиваем, в Греции он был ободряем. В Индии препятствия всякого рода были так многочисленны, так страшны и, по видимому, так необъяснимы, что представляющиеся в жизни затруднения могли быть разрешаемы только постоянным обращением к непосредственному действию сверхъестественных причин, и так как эти причины выходят из области рассудка, то все силы воображения постоянно были заняты изучением их; само воображение было чрезмерно напряжено, так что деятельность его стала опасной; она стеснила деятельность рассудка, и общее равновесие умственных сил было нарушено. В Греции противоположные обстоятельства привели к противоположным результатам. Здесь природа менее страшила человека, менее вмешивалась в дела его и была менее таинственна. Поэтому в Греции человеческий ум был менее запуган и менее суеверен; он стал изучать физические причины явлений; развитие естественных наук стало возможным, и человек, доходя постепенно до сознания своей силы, приступил к исследованию всего, что он видел,

с такой смелостью, которой нельзя было бы и ожидать в тех странах, где давление природы лишало его независимости и внушало ему идеи, с которыми действительное знание несовместимо.

Влияние этих двух различных умственных складов на религию народа должно быть очевидно для всякого, кто только сравнивал религию индийскую с греческой. Мифология Индии, как и всякой другой тропической страны, основана на ужасе, и притом самого фантастического свойства. Доказательства преобладания этого чувства изобилуют в священных книгах индусов, в их преданиях и даже в самом наружном виде и атрибутах их богов. И так глубоко это чувство напечатлелось в уме всего народа, что самыми уважаемыми божествами непременно являются те, с которыми картины ужаса наиболее тесно связаны. Так, например, поклонение Шиве распространено более всех других учений; что же касается древности его, то есть причины полагать, что оно заимствовано браминами у первобытных индийцев. Во всяком случае оно весьма древне и весьма популярно. Шива вместе с Брахмой и Вишну составляют известную индийскую трицу. Следовательно, нам нечего удивляться тому, что с этим божеством связаны такие картины ужаса, какие могла создать только тропическая фантазия. Шива представляется уму индийца в виде страшного существа, опоясанного змеями, с человеческим черепом в руке и ожерельем из человеческих костей. У него три глаза; свирепость его нрава обозначается тем, что он одет тигровой кожей. Его представляют блуждающим, как безумный, с страшной очковой змеей на левом плече. У этого чудовищного создания пораженной ужасом фантазии есть жена — Дурга, иногда называемая Кали, иногда же и другими именами<sup>75</sup>. Все тело ее темно-синее, а ладони рук красные, что означает постоянную жажду крови. У нее четыре руки, и в одной из них она носит череп исполина; язык висит изо рта, к поясу прикреплены руки ее жертв, а шея украшена человеческими головами, которые нанизаны в виде страшной цепи.

Если мы затем обратимся к Греции, то даже в периоде детства ее религии не найдем ни малейшего следа чего-либо подобного. Так как в Греции было менее причин для страха, то и выражение его не так часто встречалось, и потому греки вовсе не были расположены вносить в свою религию те чувства ужаса, которые были так естественны в индусах. Азиатская цивилизация имела постоянно стремление к тому, чтобы увеличивать расстояние, отделяющее человека от богов; стремление же греческой цивилизации заключалось в том, чтобы уменьшать это расстояние. Оттого-то в Индостане каждый из богов отличался чем-нибудь чудовищным; у Вишну было четыре руки, у Брахмы — пять голов и т. д. Напротив, греческие боги всегда изображались в совершенно человеческой форме<sup>76</sup>. В Греции никакой художник не мог бы обратить на себя всеобщего внимания, если бы он вздумал изображать богов в каком-нибудь другом виде. Он мог

представлять их могущественнее и прекраснее людей, но все-таки они должны были быть людьми. Аналогия между божеством и человеком, которая возбуждала религиозные чувства греков, совершенно убила бы эти чувства у индусов.

Это различие между художественными проявлениями обеих религий сопровождалось совершенно подобным же различием между их теологическими преданиями. В индийских книгах все силы воображения истощаются на рассказы о действиях богов; чем очевиднее была невозможность какого-нибудь подвига, тем с большим удовольствием его приписывали богам. Греческие же боги имели не только человеческую форму, но и атрибуты, занятия и вкусы людей. Азиаты, для которых всякое явление природы было предметом благоговения, привыкли к этому чувству так сильно, что никогда не осмеливались уподоблять свои действия действиям своих богов. Напротив, европейцы, ободряемые безопасностью и спокойствием в материальном мире, не боялись проводить ту параллель, которая ужаснула бы их, если бы они жили среди опасностей тропического края. Потому-то греческие божества до такой степени отличны от индийских, что, сравнивая те и другие, мы как будто бы переходим в другой мир. Греки возводили свои наблюдения над человеком в общие начала и в таком виде прилагали их к богам<sup>77</sup>. Холодность женщин олицетворялась в Диане, красота и чувственность — в Венере, гордость — в Юноне, умственное развитие — в Минерве. То же начало прилагалось и к обыкновенным занятиям богов. Нептун был мореходец, Вулкан — кузнец, Аполлон иногда являлся музыкантом, иногда поэтом, иногда пастухом. Что касается Купидона, то это был резвый мальчик, играющий своим луком и стрелами; Юпитер был влюбчивый и добродушный царь; Меркурия же представляли безразлично, или надежным послом, или простым, общеизвестным вором.

Точно то же стремление к сближению человеческих сил с силами, стоящими выше человечества, проявляется и в другой особенности греческой религии. Я хочу сказать, что в Греции мы в первый раз встречаем поклонение героям, т. е. возвышение смертных на степень божества. По тем началам, которые мы уже изложили, этого явления никак нельзя было бы ожидать в тропической стране, где вид всей окружающей природы должен был постоянно напоминать человеку о его бессилии. Поэтому естественно, что боготворение человека не встречается в древней индийской религии; равным образом было оно неизвестно египтянам<sup>78</sup>, персам<sup>79</sup> и, насколько мы можем судить, аравитянам<sup>80</sup>. Но в Греции человек, будучи менее унижен, менее, так сказать, отброшен в тень внешним миром, был более высокого мнения о своей силе, и человеческая природа не стояла так низко, как в других странах. Последствием этого было то, что почитание людей являлось одним из признанных элементов народной религии греков в самый ранний период греческой истории<sup>81</sup>, и вообще оно, по-видимому, было так сродно европейцам, что



повторилось и в других частях Европы. Другие обстоятельства, имеющие совершенно отличный характер, постепенно искореняют этот вид идолопоклонства; но существование его особенно достойно внимания, как один из бесчисленных примеров уклонения европейской цивилизации от всех ей предшествовавших<sup>82</sup>.

Таким образом, в Греции все было направлено к возвышению достоинства человека, между тем как в Индии все стремилось к унижению его<sup>83</sup>. Чтобы выразить в коротких словах все предшествовавшее, можно сказать, что греки имели большее уважение к человеческим силам, а индусы — к силам высших существ. Первые обращали больше внимания на известное и полезное, а вторые — на неизвестное и таинственное<sup>84</sup>. По этому самому воображению, которое индусы, подавляемые величием и могуществом природы, никогда не старались обуздывать, теряло свое преобладание на маленьком полуострове Древней Греции. Здесь в первый раз во всей истории мира воображение было в некоторой степени ограничено рассудком. Не то чтобы оно ослабело или истощились его жизненные силы, но оно было обуздано, укрощено, его порывы умерены, его безумства наказаны. Но что его энергия сохранилась, этому мы имеем полное доказательство в тех произведениях греческого ума, которые дошли до наших времен. Итак, был полный выигрыш: способность ума все исследовать и во всем сомневаться развилась, а между тем не уничтожились и благоговейные, поэтические инстинкты воображения. Было ли или нет сохранено равновесие — это составляет совершенно другой вопрос, но то достоверно, что греческая цивилизация приблизилась к нему более, чем какая-либо из предшествовавших ей<sup>85</sup>. Но при всем, что было сделано в этом отношении, не может, мне кажется, быть сомнения, что за воображением все-таки оставалось слишком много власти, а на чисто мыслящую способность никогда не было обращено должного внимания. Впрочем, от этого не изменяется тот факт, что греческая литература была первая, в которой этот недостаток, хотя отчасти, исправлен и в которой сделана решительная и систематическая попытка оценивать каждое мнение по согласию его с человеческим рассудком и таким образом обеспечить человеку право самому судить о предметах высшей, неисчислимой важности.

Я избрал Индию и Грецию как типы для предыдущего сравнения, потому что сведения, которые мы имеем об этих странах, особенно обширны и особенно тщательно разработаны. Но и то, что мы знаем о прочих цивилизациях тропических стран, подтверждает справедливость высказанных мною взглядов на действие, производимое явлениями природы. В Центральной Америке выкопано было из земли много предметов древности, и все, что было открыто, доказывает, что и там, как в Индии, народная религия представляла собою систему полного и ничем не смягченного ужаса<sup>86</sup>. Ни там, ни в Мексике, ни в Перу, ни в Египте народ не желал представлять свои

божества в человеческом образе, ни приписывать им человеческие атрибуты. Даже и храмы их суть громадные здания, возведенные нередко с большим искусством, но проявляющие очевидное намерение поразить ум страхом и составляющие разительный контраст с легкими, небольшими постройками, которые греки употребляли для религиозных назначений. Таким образом, даже в стиле архитектуры мы видим действие того же начала. Опасности, окружавшие цивилизацию тропических стран, навели ее более на идеи бесконечного, между тем как безопасность, в которой развивалась цивилизация европейская, вела ее к конечному. Чтобы исчерпать все последствия этого великого контраста, нужно было бы показать, как связаны между собою идеи бесконечного, фантастического и методы синтеза и вывода и как им, с другой стороны, противопоставляются идеи конечного, скептицизм и методы анализа и наведения. Полное развитие всех этих сближений и противоположений вывело бы меня далеко за пределы плана настоящего введения и, может быть, превысило бы средства, представляемые моими познаниями. Итак, я должен отдать на беспристрастный суд читателя то, что составляет, я сам сознаю это, лишь слабый очерк; но очерк этот, может быть, доставит материалы для дальнейшего размышления и даже, если надежда меня не ослепляет, может открыть историкам новое поприще изысканий, напомнив им, что везде на нас лежит рука природы и что история ума человеческого только тогда может сделаться понятной, когда мы свяжем ее с историей и явлениями материального мира.

## ГЛАВА III

### Разбор метода, употребляемого метафизиками для открытия законов ума

Из всех изложенных нами доказательств, по-видимому, выводятся два главных факта, которые, если только они не будут опровергнуты, должны быть принимаемы за существенное основание всемирной истории. Первый из этих фактов состоит в том, что во всех неевропейских цивилизациях силы природы имели несравненно большее влияние, чем в европейских. Второй факт заключается в том, что эти силы нанесли огромный вред и что, в то время как один разряд их произвел неровное распределение богатства, другой разряд произвел неровное распределение умственной деятельности, сосредоточив все внимание людей на предметах, воспаляющих воображение. Насколько мы можем судить по опыту прошедших времен, можно сказать, что во всех неевропейских цивилизациях эти препятствия к развитию оказались непреодолимыми и что действительно ни один народ еще не преодолел их. Но так как Европа устроена как бы в меньшем размере против других частей света, находится в более умеренном поясе и представляет менее богатую почву, менее величественные зрелища природы и все физические явления в ней существуют в несравненно слабейшем виде,—то здесь было гораздо легче человеку сбросить суеверия, навязываемые природой его воображению, и гораздо легче достигнуть если не действительно справедливого распределения богатства, то по крайней мере чего-либо более близкого к этому, чем то, что мы находим в странах древнейших цивилизаций.

Вот почему, принимая всемирную историю за одно целое, мы находим, что в Европе преобладающим направлением было подчинение природы человеку, а вне Европы — подчинение человека природе. Встречается несколько исключений из этого положения в странах, населенных дикими, но для цивилизованных стран правило оказывается всеобщим. На этом великом различии между европейской и неевропейской цивилизациями основана вся философия истории; из него вытекает, между прочим, то важное соображение, что если мы желаем, например, понять историю Индии, то мы должны сперва изучить материальную природу ее, так как природа имела на человека больше влияния, чем человек на природу. Если же, с другой стороны, мы желаем понять историю такой страны, как Франция или Англия, то мы должны преимущественно изучать человека, так как, при отнositельном бессилии природы, каждый шаг на пути прогресса увеличивал власть человеческого ума над силами внешнего мира. Впрочем, даже в тех странах, где могущество человека достигло высшей степени, давление, производимое на него природой, все

еще чрезвычайно сильно; но оно уменьшается с каждым поколением, потому что увеличение суммы наших познаний дает нам возможность не столько обуздывать природу, сколько предвидеть все явления ее и таким образом устранять многие из зол, которые она могла бы нам причинить. Успех, достигнутый нашими усилиями, виден уже из того, что средняя продолжительность жизни становится больше и больше и число неизбежных опасностей постоянно уменьшается, а это тем более замечательно, что любопытство человека усиливается и прикосновения между людьми стали чаще, чем были в какое-либо предшествующее время; таким образом мы видим по опыту, что хотя видимые причины опасностей умножились, но действительные опасности вообще уменьшились<sup>1</sup>.

Следовательно, если бросить самый широкий по возможности взгляд на историю Европы и ограничиться определением главной причины превосходства ее над другими частями света, то должно признать эту причину в победе, одержанной человеческим умом над органическими и неорганическими силами природы. Все другие причины зависят от этой<sup>2</sup>. Мы видели, что везде, где силы природы достигали известной степени могущества, цивилизация народа развивалась неправильно, и прогресс ее останавливался. Первым существенным условием успеха было ограничить вмешательство физических явлений; а это всего удобнее могло исполниться там, где самые явления встречались в слабейшем и наименее поразительном виде. Так было в Европе, и потому только в этой части света действительно удалось покорить человеку силы природы, заставить их склониться перед волей его, отвлечь их от обычного направления и вынудить содействовать его благополучию и служить общим целям человеческой жизни.

Везде вокруг нас мы видим следы этой славной и успешной борьбы. Действительно, кажется, будто в Европе не осталось ничего такого, что бы человек побоялся предпринять. Нашествия моря отражены, и целые области, как, например, в Голландии, вырваны из его объятий; горы прорезаны и обращены в ровную дорогу; самые упорные в бесплодии своем почвы, вследствие успехов химии, становятся плодородными; в то же время мы видим в электричестве самую неуловимую, самую быструю и самую таинственную из сил природы, обращенную в средство для передачи человеческой мысли и повинующуюся самым прихотливым требованиям нашего ума.

В других случаях там, где явления внешнего мира оказывались непокорными, человеку удалось совершенно уничтожить, устранить то, что он не надеялся подчинить своей воле. Самые страшные болезни, например собственно так называемая чума и средневековая проказа<sup>3</sup>, совершенно исчезли во всех цивилизованных странах Европы, и едва ли возможно, чтобы они когда-нибудь опять появились. Дикие звери и хищные птицы истреблены и не могут более тревожить своими нападениями жилища

цивилизованных людей. Этот ужасный голод, который по несколько раз в течение каждого века<sup>4</sup> опустошал Европу, прекратился, и так успешна была наша борьба с ним, что нет ни малейшей причины бояться, чтобы он когда-нибудь возвратился с жестокостью, сколько-нибудь напоминающей прежние времена. Действительно, средства, которыми мы теперь располагаем, так велики, что самое худшее, что мы можем испытать,— это легкий, временный недостаток в продовольствии, так как, при настоящем состоянии наук, зло это было бы при самом начале отвращено средствами, которые нам весьма легко доставила бы химия<sup>5</sup>.

Едва ли нам нужно говорить о том, как во множестве других случаев прогресс европейской цивилизации был тоже ознаменован уменьшением влияния внешнего мира — мы, конечно, разумеем те особенности внешнего мира, которые существуют независимо от воли человека и не его волей вызваны. Самые образованные нации в настоящем положении своем сравнительно весьма немногим обязаны тем первобытным характеристическим чертам природы, которые во всякой цивилизации вне Европы проявляли неограниченную власть. Таким образом, в Азии и в других частях света ход торговли, направления, в которых она распространялась, и многие другие подобные явления определялись существованием рек, удобством их для судоходства, числом и качествами близлежащих гаваней; в Европе же преобладающими причинами были не столько эти физические особенности, сколько искусство и энергия человека. Первоначально богатейшими странами были те, где природа давала наиболее произведений, а теперь — те, где человек наиболее деятелен. В настоящее время, если где природа сама по себе скупа, мы умеем восполнять ее недостатки. Если река неудобна для судоходства или целый край неудобен для проезда, то наши инженеры умеют исправить этот недостаток и устранить зло. Там, где нет рек, мы проводим каналы, где нет естественных гаваней, мы строим искусственные. И это стремление устранять влияние естественных явлений так укоренилось, что оно заметно даже в распределении жителей; так, в самых цивилизованных странах Европы городское население везде превышает сельское, а очевидно, что, чем более люди будут стекаться в больших городах, тем более они будут привыкать брать материалы для умственной работы из дел человеческой жизни и тем менее они будут обращать внимания на те особенности природы, которые служат обильным источником суеверий и которыми во всех неевропейских цивилизациях остановлен был прогресс человека.

Из всех этих фактов очевидно следует, что прогресс европейской цивилизации характеризуется уменьшением влияния физических законов и усилением влияния законов умственных. Полное доказательство этого вывода может быть извлечено только из истории, и потому мы должны оставить значительную часть тех данных, на которых мы его основываем, до дальнейших томов нашего труда. Но что положение в самом основании своем

справедливо — это должно быть допущено всяким, кто, кроме приведенных уже нами доказательств, примет две посылки, не подлежащие, по нашему мнению, никакому спору. Первая посылка заключается в том, что мы до сих пор не видели примера, чтобы силы природы, в чем бы то ни было, когда-либо увеличивались, и не имеем никакой причины предполагать, чтобы такое усиление могло когда-либо произойти. Другая посылка — что мы имеем обильные доказательства того, что средства, которыми располагает ум человеческий, стали сильнее, многочисленнее и сделались более способны бороться со всеми препятствиями внешнего мира, так как всякое прибавление к нашим познаниям дает нам новые средства, с помощью которых мы можем или управлять явлениями природы, или если это невозможно, то по крайней мере предвидеть их последствия и таким образом избегать того, чего мы не можем предотвратить; но в обоих случаях одинаково уменьшается давление, производимое на нас действиями внешнего мира.

Если принять обе эти посылки, то они приводят нас к заключению, весьма важному для цели настоящего введения; ибо если мерой цивилизации служит торжество ума над внешними, материальными деятелями, то становится очевидным, что из двух разрядов законов, управляющих прогрессом человечества, умственный разряд гораздо важнее физического. Это положение действительно и принято целой школой мыслителей за очевидную истину, хотя, впрочем, нам неизвестно, чтобы кто-нибудь до сих пор попытался доказать это анализом, сколько-нибудь исчерпывающим содержание предмета. Впрочем, вопрос о том, в какой именно мере наши доказательства могут считаться оригинальными, имеет весьма мало важности; нужно только заметить, что в настоящий момент нашего исследования проблема, с которой мы начали, уже упростилась, и отыскание законов европейской истории разрешилось на первый случай в отыскании законов человеческого ума. Эти законы, когда мы отделим их, и будут существенным базисом истории Европы; физические же законы будут приняты нами за второстепенную пружину, производящую иногда расстройство, которые в течение нескольких столетий стали заметно слабее и реже.

Обращаясь затем к вопросу об открытии законов человеческого ума, мы находим у метафизиков готовый ответ. Они указывают нам на свои труды, представляющие будто бы удовлетворительное разрешение задачи. Поэтому становится необходимым привести в известность действительное значение их изысканий, определить, какими они обладали средствами, и — что важнее всего — испытать действительность того метода, которому они всегда следуют и который, по утверждению их, составляет единственный путь к открытию важных истин.

Метафизический метод, хотя он необходимо разделяется на две отрасли, в существе своем всегда один и тот же: он заключается в том, что каждый наблюдатель изучает процесс деятель-

ности своего собственного ума. Это составляет прямую противоположность с историческим методом, так как метафизик изучает один ум, а историк — множество умов. Сделав такое определение, мы должны прежде всего заметить, что по метафизическому методу никогда не было сделано никакого открытия ни в какой отрасли наук. Все, что мы в настоящее время знаем, приведено в известность посредством изучения явлений, от которых стоит только откинуть случайные помехи, — и в остатке, очевидно, получится закон<sup>6</sup>. Конечно, этот результат может быть достигнут только или посредством наблюдений, довольно многочисленных, чтобы устранить все случайности, или посредством опытов, довольно утонченных, чтобы совершенно уединить явления. Одно из этих условий всегда необходимо для всех индуктивных наук; между тем метафизик не подчиняется ни тому, ни другому. Уединить явление для него невозможно, так как никто, как бы глубоко он ни погрузился в размышление, не может совершенно устранить от себя влияние внешних явлений, которые должны производить известное действие на его ум, даже и тогда, когда он не сознает их присутствия, что же касается до другого условия, то оно явно нарушается метафизиком, так как вся его система основана на том предположении, что он может, изучив один индивидуальный ум, открыть законы действия всех умов; таким образом, с одной стороны, он не имеет возможности оградить свои наблюдения от разных помех, с другой — отказывается принять единственную предосторожность, т. е. расширить круг своих наблюдений так, чтобы нейтрализовать действие случайностей, мешающих его наблюдениям<sup>7</sup>.

Вот первое, самое основное возражение, встречаемое метафизиками на самом пороге их науки. Но, вникнув несколько глубже, мы находим другой недостаток, хотя менее очевидный, но столь же решительный. После того как метафизик принял за данное, что, изучая один ум, он может открыть законы всех умов, стоит только, чтобы он начал применять к делу этот весьма несовершенный метод, и он увидит себя запутанным в одно весьма странное затруднение. Затруднение, о котором мы говорим, не встречается ни в какой другой науке и потому, вероятно, совсем не обращало на себя внимание лиц, незнакомых с метафизическими прениями. Чтобы разъяснить сущность дела, необходимо сделать краткий очерк двух главных метафизических школ, так как каждый метафизик должен непременно принадлежать к которой-нибудь из них.

Для исследования свойств человеческого ума по метафизической системе существует два метода, которые оба одинаково понятны, но оба ведут к совершенно различным результатам. По первому методу исследователь начинает с рассмотрения своих ощущений. По второму он начинает с рассмотрения своих идей. Эти два метода всегда вели и всегда должны вести к диаметрально противоположным между собою выводам, и не трудно понять причины этого разногласия. В метафизике ум составляет

и орудие исследования, и материал, над которым употребляется орудие. Но оттого, что орудие, с помощью которого вырабатывается наука, в существе одно и то же с предметом, над которым оно работает, рождается затруднение совершенно особого рода. Это затруднение состоит в невозможности объять одним взглядом всю совокупность умственных явлений, потому что от этого взгляда, как бы он обширен ни был, по необходимости ускользает то состояние ума, вследствие которого или при котором взгляд бросается. Из этого мы можем видеть, что составляет, по моему мнению, существенное различие между физическим и метафизическим исследованием. В физике бывает несколько способов действия, которые все неизменно ведут к одному и тому же результату. Напротив того, в метафизике если два человека с одинаковыми способностями и одинаковой добросовестностью будут употреблять различные методы в изучении ума, то неизбежно окажется, что они придут к различным выводам. Для лиц, незнакомых с этим предметом, несколько примеров могут разъяснить все дело. Метафизики, начинающие с изучения идей, усматривают, например, в своем уме идею пространства: откуда, спрашивают они, явилась эта идея? Она не может, говорят они, происходить от внешних чувств, потому что чувства сообщают нам только понятия ограниченные и относительно случайные, между тем как идея пространства беспредельна и абсолютно необходима<sup>8</sup>. Она беспредельна, ибо мы не можем представить себе, чтобы пространство имело предел, а необходима, потому что мы не можем представить себе возможность его несуществования. Так рассуждает идеалист. Но неидеалист<sup>9</sup> — как называют того, который начинает не с идей, а с ощущений, — приходит к совсем другому заключению. Он говорит, что мы не можем составить себе никакого понятия о пространстве, пока не составим себе понятия о предметах, а понятие о предметах может быть только результатом ощущений, производимых этими предметами. Что же касается до необходимости идеи пространства, то она происходит, по его словам, только оттого, что никакой предмет не представляется нам без того, чтобы не занимать известного положения относительно другого предмета. Вследствие этого образуется неразрывная связь между понятием об известном положении и понятием о предмете, и так как мы непрерывно встречаем эту связь, то мы, наконец, становимся не способны представить себе предмет без какого-либо положения, или, другими словами, вне пространства<sup>10</sup>. Что же касается до понятия о беспредельности пространства, то это, по словам сенсационалистов, есть понятие, которое мы получаем, усматривая непрерывные приращения к линиям, плоскостям и объемам, т. е. к трем видоизменениям пространства. То же разнобразие между обеими школами находим мы и по бесчисленному множеству других положений. Так, например, идеалист утверждает, что наши понятия о причине, о времени, о тождестве личности и о материи — всеобщи и необходимы; что это понятия простые



и что они не допускают анализа, а потому должны быть отнесены к первобытному строению человеческого ума<sup>11</sup>. С другой стороны, сенсационалисты не только не признают эти идеи за простые, но даже считают их весьма сложными и смотрят на всеобщность и необходимость их как на простой результат частого и тесного общения с ними<sup>12</sup>.

Таково первое важное разногласие, неизбежно проистекающее от принятия двух различных методов. Идеалист должен утверждать, что необходимые и случайные истины имеют различное происхождение<sup>13</sup>, а сенсационалист обязан думать, что они все имеют одно общее происхождение. Чем далее идут эти две великие школы, тем более обозначается их разногласие. Они в открытой войне по всякому отделу нравственности, философии и искусства. Идеалисты говорят, что все люди имеют, в сущности, одно и то же понятие о благе, об истине и о красоте. Сенсационалисты утверждают, что вовсе не существует такой нормы, потому что понятия зависят от ощущений, а ощущения людей зависят от разных перемен в их организме и от внешних явлений, действующих на этот организм.

Вот краткий пример тех противоположных заключений, к которым должны были прийти лучшие метафизики, вследствие того простого обстоятельства, что они избрали противоположные способы исследования. Это замечание особенно важно потому, что, за применением обоих этих методов, все средства метафизики очевидно исчерпаны<sup>14</sup>. Обе партии соглашались с тем, что законы ума могут быть открыты только посредством изучения индивидуальных умов и что в уме нет ничего такого, что бы не происходило или от мышления, или от ощущения. Следовательно, им остается только выбрать одно из двух: или подчинить результаты ощущений законам мышления, или, наоборот, подчинить результаты мышления законам ощущения. Все метафизические системы строились по той или другой из этих двух схем, и точно то же будет и впредь, потому что эти две схемы, будучи сложены вместе, заключают в себе всю совокупность метафизических явлений. Оба процесса одинаково благовидны; приверженцы их одинаково убеждены в своей непогрешимости, а между тем по самому свойству спора невозможно между ними никакое соглашение, да и посредника быть не может, потому что никто не может взяться за разрешение метафизического спора, не будучи метафизиком, а невозможно быть метафизиком, не будучи или сенсационалистом, или идеалистом — другими словами, не принадлежа к одной из тех партий, спор которых должен быть разрешен.

По всем этим соображениям, мы должны, мне кажется, прийти к тому заключению, что все метафизики, по самому свойству своих изысканий, неизбежно разделяются на две совершенно враждебные одна другой школы, относительно правоту которых нет никакой возможности определить; так как они притом весьма бедны средствами и употребляют эти средства по

такому методу, по которому не развивалась никогда никакая другая наука, то ввиду всего этого мы не можем ожидать, чтобы они снабдили нас достаточными данными для разрешения тех важных задач, которые представляет нам история ума человеческого. Всякий, кто примет на себя труд беспристрастно обсудить настоящее положение умственной философии, должен будет сознаться, что, несмотря на влияние, которое она всегда имела на некоторые из самых сильных умов, а посредством их и на все общество, нет ни одной отрасли знания, над которой бы люди так усердно и так долго трудились и которая бы при всем этом оказалась так бедна результатами. Ни в какой другой науке не было так много движения и так мало успеха. Люди с величайшими способностями и с честнейшими намерениями во всех образованных странах в продолжение многих веков занимались метафизическими исследованиями; между тем до настоящего времени системы их, вместо того чтобы приближаться к истине, расходятся более и более с нею, и притом с такой быстротой, которая, по-видимому, возрастает с успехами знания. Беспрерывное соперничество враждебных между собою школ, чрезмерный жар, с которым их отстаивали, и исключительная, не философская самоуверенность, с которой каждая защищала свой метод,— все это повергло изучение ума человеческого в такое расстройство, которое может быть сравнено лишь с расстройством, произведенным в изучении религии прениями богословов<sup>15</sup>. Последствием этого было то, что, за исключением весьма немногих из законов ассоциации идей и, быть может, еще новейших теорий зрения и осязания, невозможно найти во всей области метафизики ни одного сколько-нибудь важного начала, которое было бы притом и неоспоримой истиной. При этих обстоятельствах нельзя не иметь подозрения в том, что есть какая-нибудь ошибка в самом основании способа производства этих исследований. Я с своей стороны полагаю, что посредством простого наблюдения нашего собственного ума и даже посредством тех несовершенных опытов, которые мы можем производить над ним, невозможно возвысить психологию на степень науки; и я почти не сомневаюсь в том, что метафизика может сделать успехи только посредством исследования истории, довольно глубокого для того, чтобы дать нам понятие об условиях, управляющих умственным движением рода человеческого<sup>16</sup>.

## ГЛАВА IV

### **Законы духа человеческого разделяются на нравственные и умственные. Сравнение законов нравственных с умственными и исследование действия, производимого теми и другими на развитие общества**

Из предыдущей главы, я надеюсь, ясно видно, что при настоящем состоянии нашего знания мы должны признать метафизический метод несостоятельным перед возлагаемой на него задачей — открыть законы, управляющие движениями человеческого ума. Это вынуждает нас прибегнуть к единственному остающемуся методу, по которому явления духовного мира должны быть изучаемы в том виде, в каком они оказываются не в уме отдельного наблюдателя, а в действиях всего рода человеческого. Существенная противоположность между этими двумя системами очевидна; но, может быть, полезно было бы представить пример тех средств, которыми каждая из них пользуется для исследования истины. Для этой цели я избираю предмет хотя еще несовершенно известный, но составляющий прекрасный пример той правильности, с которой при самых противоположных обстоятельствах великие законы природы продолжают свое действие.

Пример, на который я намекаю, заключается в отношении, сохраняющемся между рождениями обоих полов, — отношении, которое — если бы оно значительно нарушилось в какой-нибудь стране хоть на одно поколение — повергло бы общество в самое серьезное расстройство и неизбежно произвело бы большое усиление порочности в народе<sup>1</sup>. Вообще подозревали, что средним числом мужские и женские рождения почти равны, но до самого последнего времени никто не мог сказать, совершенно ли они равны, и если неравны, то на которой стороне преимущество. Так как рождение составляет физический результат данных также физических, то было ясно, что закон рождений должен заключаться в этих данных, т. е. что причины численного отношения между полами должны заключаться в самих родителях<sup>2</sup>. При этих обстоятельствах возбужден был вопрос: нельзя ли разъяснить это темное дело с помощью нашего знания физиологии царства животных. Говорили — и это казалось весьма вероятным, — что так как физиология есть наука о законах тела и так как всякое рождение составляет произведение тела, то из этого следует, что если мы узнаем законы тела вообще, то узнаем и закон рождения. Таков был взгляд физиологов на рождение детей и точно таков же взгляд метафизиков на историю. И те, и другие считали возможным сразу возвыситься до причины явления и, изучив ее законы, предсказывать самое явление. Физиологи говорили: изучив отдельные организмы и таким образом

приведа в известность те законы, по которым совершается совокупление родителей, мы откроем численное отношение полов, потому что это отношение есть не что иное, как прямой результат совокупления. Точно таким же образом метафизик говорит: изучив отдельные умы, мы откроем законы, которыми определяется их деятельность, и таким образом будем в состоянии определять вперед и деятельность человечества, которая очевидно складывается из деятельностей отдельных лиц<sup>3</sup>. Таковы ожидания, которые были весьма самоуверенно высказываемы физиологами относительно закона полов, а метафизиками — относительно законов истории. Но для исполнения этих обещаний метафизики вовсе ничего не сделали; не более успеха имели и физиологи, несмотря на то что они могли в исследованиях своих пользоваться содействием анатомии, в которой возможен прямой опыт,—средство, не существующее для метафизиков. Но при разрешении настоящей задачи и это средство не послужило ни к чему, а физиологи до сих пор не открыли ни одного факта, сколько-нибудь разъясняющего вопрос: равно ли число мужских рождений числу женских, или же оно больше, или меньше.

На эти вопросы никакие средства, употребленные физиологами со времен Аристотеля и до нашего времени, не дают нам возможности отвечать<sup>4</sup>. Между тем в настоящее время посредством способа, ныне кажущегося совершенно естественным, дошли до такой истины, которую совокупные силы целого ряда замечательных людей не могли открыть. Простым способом записывания числа рождений по полам и распространением этого способа на многие года и разные страны нам удалось отделить от этого явления все случайные неправильности и привести в известность существование закона, который выражается, в круглых числах, следующим образом: на каждые двадцать девочек родится двадцать один мальчик. Мы можем смело сказать, что хотя действие этого закона подвержено частым неправильностям, но самый закон так силен, что мы не знаем ни одной страны, в которой бы хоть за один год число мужских рождений оказалось меньше числа женских<sup>5</sup>.

Важность и удивительная верность этого закона заставляют нас сожалеть о том, что он до сих пор остается эмпирической истиной, что еще не удалось связать его с теми физическими явлениями, от которых он заимствует свою силу действия<sup>6</sup>. Впрочем, обстоятельство это не имеет особенной важности для настоящей цели нашей — указать на метод, посредством которого сделано открытие самого закона. Метод этот имел явную аналогию с тем, который мы предлагаем для исследования действий человеческого ума, между тем как старый, безуспешно употребленный, соответствует методу метафизиков. До тех пор пока физиологи пытались привести в известность закон численного отношения полов посредством индивидуальных опытов, они вовсе ничего не сделали для той цели, которой надеялись достигнуть. Но когда люди перестали довольствоваться этими индивидуаль-

ными опытами и, вместо них, стали собирать наблюдения, менее подробные, но более обширные, тогда только великий закон природы, которого они в продолжение многих столетий напрасно искали, впервые открылся перед их глазами. Точно таким же образом, пока ум человеческий изучается только по узкому и тесному методу метафизиков, мы имеем все причины полагать, что законы, управляющие его движениями, останутся неизвестны. Следовательно, если мы желаем достигнуть какого-нибудь действительно важного результата, то становится необходимым отвергнуть эти старые системы, недостаточность которых доказывается как опытом, так и здравым смыслом, и заменить их обзором фактов, достаточно обширным, чтобы дать нам возможность отделить от наблюдаемых явлений те случайные неправомерности, которые без этого средства мы никогда не будем в состоянии исключить из выводов, не подлежащих проверке опытом.

Одно желание сделать совершенно ясными предварительные взгляды, изложенные в этом введении, может служить оправданием сделанному мною отступлению, которое хотя ничего не прибавляет к силе моих доводов, но может быть полезно как пояснительный пример и во всяком случае дает возможность большинству читателей оценить достоинство предлагаемого нами метода. Теперь нам остается привести в известность, как следует применять этот метод, чтобы легче всего открыть законы духовного прогресса.

Если мы начнем с того, что спросим: что такое духовный прогресс? — то ответ будет, по-видимому, очень простой, а именно: что это двоякий прогресс — нравственный и умственный; первый имеет ближайшее отношение к нашим обязанностям, второй — к нашему знанию. Вот классификация, которая была часто употребляема в дело и с которой знакомо большинство людей; и не может быть сомнения, что в том смысле, в каком история есть повествование о результатах, деление это совершенно верно. Нельзя сомневаться в том, что народ не подвигается действительно вперед, если, с одной стороны, увеличение его умственных сил сопровождается усилением пороков или если, с другой стороны, становясь добродетельнее, он также становится более невежественным. Это двойное движение, нравственное и умственное, составляет существо самой идеи цивилизации и включает в себе всю теорию духовного прогресса. Расположение к исполнению наших обязанностей составляет в нем нравственную, а умение исполнять их — умственную сторону; чем теснее связаны между собою эти две стороны, тем с большей гармонией они действуют, а чем ближе средства приспособлены к цели, тем совершеннее выполнится назначение нашей жизни и тем вернее положится основание дальнейшему преуспеванию рода человеческого.

Засим возбуждается весьма важный вопрос, а именно: который из этих двух элементов в прогрессе нашего духа важнее. Так

как самый прогресс составляет результат соединенного действия их обоих, то необходимо привести в известность, который из них действует сильнее, с тем чтобы подчинить низший элемент законам высшего. Если успехи цивилизации и всеобщее благоденствие человечества зависят более от его нравственных чувств, чем от его умственных познаний, то мы, конечно, должны измерять прогресс общества этими чувствами; если же, напротив, все это зависит более от познаний, то мы должны принять за мерило прогресса объем и успехи умственной деятельности общества. Коль скоро нам будет известна относительная энергия этих двух составляющих сил, нам останется только поступить с ними по общепринятому плану в исследовании истины, т. е. принять, что произведение их совокупного действия подчиняется законам большей силы, деятельность которой встречает, однако, по временам помеху во второстепенных законах меньшей силы.

Приступая к этому исследованию, мы встречаем прежде всего затруднение, происходящее от несвойственного, небрежного употребления обыкновенных выражений, когда речь идет о предметах, требующих величайшей отчетливости и точности определений. Так, самое выражение «нравственный и умственный прогресс» может подать повод к весьма серьезному недоразумению. В том виде, в каком обыкновенно употребляется это выражение, оно как бы дает нам понять, что нравственные и умственные способности людей с успехами цивилизации изощряются и становятся надежнее, чем были прежде. Но эта мысль — хотя, может быть, и справедливая — никогда не была доказана: легко может оказаться из наблюдений за продолжительные периоды времени, что по каким-нибудь физическим причинам, нам еще неизвестным, средний объем мозга постепенно увеличивается и что, следовательно, ум, действующий через посредство мозга, приобретает, даже независимо от воспитания, большую способность и большую верность взгляда<sup>7</sup>. Впрочем, таково до сих пор наше знание физических законов, и до такой степени находимся мы в неизвестности относительно обстоятельств, определяющих наследственную передачу характера, темперамента и других личных особенностей, что мы должны считать этот предполагаемый прогресс делом весьма сомнительным<sup>8</sup>. При настоящем положении наших знаний мы не можем с достоверностью сказать, чтобы происходило какое-нибудь постоянное улучшение в нравственных и умственных способностях человека, — не имеем также и положительного основания думать, что у ребенка, родившегося в самой цивилизованной части Европы, эти способности должны быть больше, чем у такого, который родился в самом диком углу какой-нибудь варварской страны<sup>9</sup>.

Итак, каков бы ни был нравственный и умственный прогресс человечества, он состоит не в улучшении природных способностей<sup>10</sup>, но в улучшении, если можно так выразиться, возможности к развитию, т. е. в улучшении той обстановки, при которой после рождения эти способности начинают действовать. В этом

и заключается все существо дела. Прогресс относится не к внутренней силе, а к внешним преимуществам. Дитя, родившееся в цивилизованной стране, не становится по этому самому выше рожденного среди варваров, и различие, которое окажется между действиями обоих детей, будет вызвано; насколько мы можем судить, одним только давлением внешней обстановки, под которой я разумею окружающие ребенка мнения, знания, ассоциации идей — одним словом, всю духовную атмосферу, среди которой воспитывается каждое дитя.

В этом отношении очевидно, что если мы взглянем на весь род человеческий в совокупности, то увидим, что его нравственный и умственный образ действия определяется нравственными и умственными понятиями, преобладающими в данное время. Есть, конечно, много людей, которые станут выше этих понятий, и много других, которые опустятся ниже их; но такие случаи составляют исключение, и число таких людей составляет самый ничтожный процент в общем количестве тех, которые ничем не отличаются — ни добром, ни злом. Огромное большинство людей всегда остается в среднем состоянии: они не слишком тупы и не слишком даровиты, не слишком добродетельны и не слишком порочны; засыпая в своей мирной и приличной посредственности, они принимают без большого затруднения общепринятые мнения своего времени; не поднимают вопросов, не производят скандала, не возбуждают удивления, а только держатся наравне со своим поколением и беспрекословно подчиняются общему уровню нравственности и знаний своего века и той страны, где живут.

Достаточно самого поверхностного знания истории, чтобы убедиться, что этот уровень беспрестанно меняется и никогда не бывает совершенно одинаков, даже в самых сходных между собою странах или в двух преемственных поколениях одной страны. Мнения, преобладающие в каком-нибудь народе, во многих отношениях меняются с года на год, и то, что в какое-нибудь время преследовалось как парадокс или ересь, впоследствии принимается как общеизвестная истина и в свою очередь тоже сменяется чем-нибудь еще более новым. Эта крайняя изменчивость в обыкновенной норме человеческих деяний доказывает, что условия, от которых норма эта зависит, должны быть сами чрезвычайно изменчивы, а между тем эти условия, каковы бы они ни были, очевидно служат источником нравственного и умственного образа действий огромного большинства людей.

Итак, мы имеем теперь основание, на которое можем безопасно опираться в дальнейших выводах наших. Мы знаем, что главный источник человеческих деяний весьма изменчив, следовательно, нам остается только прилагать этот признак ко всякого рода обстоятельствам, которые представляются причинами, и если мы найдем, что эти обстоятельства не очень изменчивы, то следует заключить, что не они составляют тот источник, который мы стараемся открыть.

Приложив известный нам признак к нравственным побуждениям или указаниям так называемого нравственного инстинкта, мы сейчас увидим, до какой степени слабо влияние, оказанное этими побуждениями на успехи цивилизации. Неоспоримо, что в целом мире нет ничего такого, что бы изменилось так мало, как те великие догматы, из которых слагаются нравственные системы. Делать добро другим, жертвовать для пользы их своими собственными желаниями, любить ближнего, как самого себя, прощать врагам, обуздывать свои страсти, чтить родителей, уважать тех, которые поставлены над нами,— в этих правилах и в нескольких других заключается вся сущность нравственности, и к ним не прибавили ни одной йоты все проповеди, все наставления и собрания текстов, составленные моралистами и богословами<sup>11</sup>.

Но если мы сравним это неподвижное состояние нравственных истин с быстрым движением вперед истин умственных, то найдем самую разительную противоположность<sup>12</sup>. Все великие нравственные системы, имевшие большое влияние на человечество, представляли в сущности одно и то же. В ряду правил, определяющих наш нравственный образ действия, самые просвещенные европейцы не знают ни одного такого, которое бы не было также известно древним. Что же касается до деятельности нашего ума, то люди позднейших времен не только сделали значительные приобретения по всем отраслям знания, какие пытались изучать в древности, но и совершили решительный переворот в старых методах исследования: они соединили в одну обширную систему все те средства наведения, о которых только смутно помышлял Аристотель, и создали такие науки, о которых и самый смелый мыслитель древности не имел ни малейшего понятия.

Все это для каждого образованного человека несомненные общеизвестные факты, и вывод, непосредственно вытекающий из них, очевиден. Если цивилизация есть произведение нравственных и умственных факторов и если это произведение подвержено непрерывным изменениям, то ясно, что характер его определяется не неизменным фактором, потому что в неизменяющейся обстановке неизменный фактор может производить только неизменное действие. Изменяется же один умственный фактор, и что он в этом случае истинный двигатель, это может быть доказано двумя различными путями: во-первых, тем, что если не нравственное начало движет цивилизацией, то остается приписать это действие одному умственному; а во-вторых, тем, что умственное начало проявляет такую деятельность и такую способность все обхватывать, которая совершенно достаточно объясняет необыкновенные успехи, сделанные Европой в продолжение нескольких столетий.

Вот главные доказательства, которыми подкрепляется мое воззрение; но рядом с ними есть и разные другие соображения, которые также заслуживают внимания. Первое из них заключает-



ся в том, что умственное начало не только гораздо прогрессивнее нравственного, но и дает более прочные результаты. Во всякой цивилизованной стране приобретения, сделанные умом, тщательно сохраняются, выраженные в известных общественных формулах и огражденные употреблением технического, научного языка. Они удобно передаются от одного поколения к другому и принимают такую доступную, так сказать, осязательную форму, что часто имеют влияние на самое отдаленное потомство. Они становятся наследственным богатством человечества, как бессмертное завещание тех великих умов, которым они обязаны своим бытием. Добрые же дела, совершаемые под влиянием наших нравственных побуждений, несравненно менее подлежат такой передаче; они имеют более частный, скрытый характер. Так как побуждения, из которых они вытекают, составляют обыкновенно результат самоотвержения и самообладания, то каждый должен сам совершать их; каждый начинает эти дела сначала, и потому они весьма мало выигрывают от предшествовавшего опыта и не легко могут быть сохраняемы для руководства будущих моралистов. Вследствие этого хотя нравственное превосходство более заслуживает сочувствия и для большей части людей привлекательнее, чем умственное, тем не менее должно сознаться, что в дальнейшем действии своем оно гораздо слабее, менее постоянно и, как я сейчас покажу, менее делает добра.

Действительно, если мы рассмотрим результаты, достигнутые самым деятельным человеколюбием, самым широким и бескорыстным желанием добра, то увидим, что эти результаты сравнительно весьма кратковременны, что они касаются весьма небольшого числа людей и немногим приносят пользу, что они редко переживают то поколение, которое было свидетелем их начала, и что даже когда действие филантропии является в самой прочной форме — общественных благотворительных учреждений, то подобные учреждения неизбежно подвергаются сперва злоупотреблениям, потом постепенному упадку, а через несколько времени или совершенно разрушаются, или отклоняются от своей первоначальной цели, как бы в насмешку над усилиями, тщетно предпринимаемыми для увековечения памяти о самом чистом и решительном человеколюбии.

Эти выводы, без всякого сомнения, весьма неутешительны и тем более неприятны, что их невозможно опровергнуть. Чем глубже будем мы вникать в этот вопрос, тем явственнее представится нам преимущество умственного развития перед нравственными чувствами<sup>13</sup>. Нельзя привести ни одного примера, чтобы неразвитый человек, имея добрые намерения и неограниченную власть для приведения их в действие, не сделал гораздо более зла, чем добра. И каждый раз, когда намерения такого человека бывали особенно искренни и власть особенно обширна, происходило громадное зло. Но если бы ослабить его добрую волю, если бы исказить его побуждения нечистой примесью, то уменьшилось бы и делаемое им зло. Если такой человек столько

же эгоист, сколько и невежда, то часто бывает возможно поставить его порок в противодействие его невежеству и ограничить производимое им зло, возбудив в нем страх. Если же он бессилен и совершенно чужд эгоизма, если единственная цель его есть благо ближних, если он преследует эту цель с увлечением, с обширными планами и с совершенно бескорыстным усердием, тогда уже нет никакой возможности обуздать его и предупредить те бедствия, которые должен неизбежно причинить невежда в век невежества. До какой степени такая мысль подтверждается опытом, это мы можем всего лучше видеть в истории гонений за религию. Наказать даже одного человека за его религиозные убеждения есть, конечно, одно из самых страшных злодеяний в мире; но наказывать огромное количество людей, преследовать целую секту, пытаться искоренить мнения, которые, проистекая из самого состояния общества, служат лишь проявлением дивной и роскошной производительности человеческого ума,— все это составляет не только одно из самых вредных, но и одно из самых безрассудных дел, какие только мы можем себе представить. Тем не менее несомненный факт, что огромное большинство лиц, воздвигавших гонения за религию, были людьми с самыми чистыми намерениями, с самой высокой и безукоризненной нравственностью. Невозможно даже, чтобы это было иначе. Нельзя считать неблагонамеренными людей, старающихся навязать кому-нибудь убеждения, которые они считают хорошими. Тем менее можно назвать дурными людей, которые без всякого земного расчета употребляют все средства своей власти не для своей пользы, но для распространения религии, которую считают необходимой для будущего благоденствия человечества. Таких людей не должно считать дурными, а только невежественными, не знающими ни свойств истины, ни последствий своих поступков. Но с нравственной точки зрения побуждения, которым они следуют, безукоризненны. Действительно, их возбуждает к преследованию самая искренность их убеждения. Именно святое усердие, одушевляющее их, возбуждает их фанатизм к небесной деятельности. Если вы внушите какому-нибудь человеку глубочайшее убеждение в великом значении какого-нибудь нравственного или религиозного учения, если вы уверите его, что все, отвергающие это учение, осуждены на вечную гибель, если вы затем облечете этого человека властью и, пользуясь его неведением, ослепите его относительно дальнейших последствий,— он непременно будет преследовать всех, отрицающих его учение, и энергия, которую он проявит в этом преследовании, будет соразмерна искренности его убеждения. Убавьте искренности— и ослабится преследование; другими словами, ослабив добродетель, вы можете уменьшить зло. Это истина, на которую история представляет такое бесчисленное множество примеров, что отрицать ее значило бы не только отвергать самые ясные и убедительные доказательства, но и презирать единогласное свидетельство всех веков. Я ограничусь выбором двух явлений, которые, по совершенно различной

обстановке их, могут служить весьма хорошими примерами: одно из них относится к истории язычества, а другое — к истории христианства, и оба доказывают неспособность нравственного чувства удержать человека от преследований за религию.

I. Римские императоры, как мы достоверно знаем, подвергали первых христиан преследованиям, которые, конечно, отчасти преувеличены в рассказах, но все-таки были весьма часты и тяжки. Но что многим должно казаться весьма странным, между ревностными деятелями этих жестокостей мы находим имена лучших людей, какие когда-либо сидели на престоле, между тем как худшие и самые нечестивые из государей отличались именно тем, что щадили христиан и не обращали внимания на их размножение. Двое самых нравственно испорченных людей, между всеми императорами, были, конечно, Коммод и Гелиогабал, и ни тот, ни другой не преследовали новой религии и не принимали против нее никаких мер. Они слишком мало думали о будущем и были слишком эгоистичны, слишком погружены в свои постыдные удовольствия, чтобы полагать какую-либо важность в том, восторжествует ли истина или заблуждение. Они не заботились о благоденствии своих подданных и потому были равнодушны к успехам религии, на которую, в качестве языческих государей, они должны были смотреть как на губительное, безбожное заблуждение. Поэтому они предоставляли христианству полную свободу и не останавливали его развития карательными постановлениями, которые непременно издали бы на их месте более добросовестные, но и более заблуждающиеся государи. Так, мы видим, что злейшим врагом христианства был Марк Аврелий, человек кроткого нрава, неустрашимой, непоколебимой честности; он ознаменовал свое царствование такими гонениями, на которые он никак не решился бы, если бы не был так искренно предан религии своих предков<sup>14</sup>. Для довершения доказательства можно прибавить, что последним и одним из сильнейших противников христианства на престоле кесарей был государь замечательный по своей честности — Юлиан, мнения которого были многими опровергаемы, нравственность же не была затронута даже и клеветой<sup>15</sup>.

II. Второй пример представляет нам история Испании — страны, которой должно отдать справедливость в том, что в ней более чем где-либо религиозные чувства имели решительное влияние на дела людей. Никакая другая европейская нация не произвела столько пламенных и бескорыстных проповедников, столько ревностных и самоотверженных мучеников — людей, с радостью жертвовавших жизнью для распространения истин, которые они считали необходимыми. Нигде духовное сословие не пользовалось таким долгим преобладанием; нигде нет такой набожности в народе, такого стечения народа в церквях, такого многочисленного духовенства. Тем не менее искренность и чистота намерений, которыми всегда отличается испанский народ, взятый в совокупности, не только не устранили возможности

религиозных гонений, но даже оказались причинами, способствующими им. Если бы нация эта была менее ревностна к вере, то она была бы более расположена к веротерпимости. Для нее охранение веры было первым из всех соображений; все на свете приносилось в жертву этой одной цели. Но излишняя ревность породила естественным образом жестокость и тем приготовила почву, на которой могла пустить корни и процветать инквизиция. Двигателями этого варварского учреждения были не лицемеры, а энтузиасты. Лицемеры большей частью слишком гибки для того, чтобы быть жестокими. Жестокость — суровая и непреклонная страсть, тогда как лицемерие — ползучая, гибкая способность принаравливаться к человеческим чувствам и полагать слабостям людей для достижения своей цели. В Испании народ устремил все свое рвение на один предмет — и одно взяло верх над всем: ненависть к ереси перешла в обычай, а преследование — в обязанность. Добросовестность и энергия, с которыми исполнялась эта обязанность, видны в истории испанской церкви. Действительно, различными путями и по различным, друг от друга независимым, источникам можно доказать, что инквизиция отличалась непреклонной, неподкупной справедливостью. Я возвращусь к этому вопросу несколько позже, но есть два свидетельства, о которых я не могу не упомянуть немедленно, так как по некоторым обстоятельствам они особенно заслуживают доверия. Льорент, великий историк инквизиции, злейший враг ее, имел доступ к ее тайному архиву и, следовательно, самую полную возможность узнать истину, а между тем и он нигде не нападает на нравственную сторону инквизиции; напротив того, негодуя на жестокость ее действий, он не может не признать чистоту ее намерений<sup>16</sup>. За тридцать лет до него Тоунсенд, священник англиканской церкви, издал замечательное сочинение об Испании и, несмотря на то что, как протестант и англичанин, имел всевозможные причины быть предубежденным против гнусного порядка вещей, который он описывал, тоже не мог сделать никакого упрека лицам, поддерживавшим этот порядок; будучи принужден упомянуть об инквизиционном суде в Барселоне, одной из важнейших отраслей этого учреждения, он допускает — признание весьма замечательное, — что все члены суда были людьми достойными, а большая часть из них — даже замечательно человеколюбивыми.

Эти факты, как бы разительны они ни были, составляют еще весьма небольшую часть огромного количества данных, заключающихся в истории и решительно доказывающих неспособность нравственного чувства уменьшить религиозные гонения. Каким именно образом действительно произошло это уменьшение с успехами умственного развития, — это будет показано в другой части этого тома, где мы ясно увидим, что главное противоядие нетерпимости заключается не в человеколюбии, а в просвещении. Распространению просвещения, и именно ему одному, мы обязаны постоянным уменьшением того, что было неоспоримо вели-

чайшим злом, какое когда-либо причиняли люди себе подобным. Что гонение за веру есть большее зло, чем всякое другое, это уже доказывается огромным, почти невероятным числом известных жертв его<sup>17</sup>; но к этому должно прибавить, что неизвестные жертвы, вероятно, еще многочисленнее и что история не сообщает нам никаких сведений о тех, которые были пощажены телесно, с тем чтобы подвергнуться истязанию душевному. Мы много слышим о мучениках и исповедниках—о тех, которые были умерщвлены мечом или сожжены на огне, но почти ничего не знаем о гораздо большем числе тех, которые одной угрозой гонения были доведены до наружного отречения от своих убеждений и, принужденные таким образом к отступничеству, которого ужасалась их душа, провели остальную жизнь свою в постоянном унижительном лицемерии. В этом именно заключается настоящее зло религиозных гонений. Когда таким образом люди бывают вынуждены маскировать свои мнения, то в них образуется привычка защищать себя посредством обмана и покупать безнаказанность ценою лжи; для них ложь становится одной из ежедневных потребностей, а лицемерие—одним из обычаев; общий дух и образ мыслей нации подвергается порче, и сумма существующих в ней пороков и заблуждений страшно увеличивается. Следовательно, мы имеем полное право сказать, что в сравнении с этим злодеянием все другие являются маловажными, и мы должны быть глубоко благодарны успехам умственного развития, прекратившим это зло, которое, однако, многие желали бы возобновить.

Начало, которое я отстаиваю, имеет такое огромное значение как на практике, так и в теории, что я намерен привести еще один пример, показывающий, с какой силой оно действует. Величайшее из зол, известных человечеству,—зло, которое после религиозных гонений причинило самую большую сумму страданий,—есть неоспоримо ведение войн. Что этот варварский образ действия по мере совершающегося в обществе прогресса постепенно выходит из употребления, это становится очевидно и при самом поверхностном чтении истории Европы<sup>18</sup>. Если мы сравним в этом отношении последовательные столетия, то найдем, что с весьма давнего времени войны становились все реже и реже, и перемена эта наконец так ясно обозначилась, что до последней (Восточной) войны мы почти сорок лет наслаждались миром—явление беспрецедентное в летописях не только Англии, но и всякой другой страны, имевшей довольно значения, чтобы играть одну из главных ролей в мировых событиях. При этом возбуждается вопрос: насколько именно участвовали наши нравственные чувства в осуществлении этой благодетельной перемены. Если отвечать на этот вопрос, не стесняясь предрассудками, а единственно на основании положительных данных, то приходится сказать, что нравственные чувства вовсе не участвовали в этом деле. Никто, конечно, не будет утверждать, что люди новейших времен сделали какие-

нибудь новые открытия относительно нравственных зол, сопряженных с войной. В этом отношении мы теперь не знаем ничего такого, что бы не было известно уже в течение многих столетий. Единственные два суждения об этом предмете моралистов заключаются в том, что войны оборонительные справедливы, а наступательные несправедливы. Эти два начала были так же ясно излагаемы, так же хорошо поняты и так же приняты всеми в средние века, когда не проходила ни одна неделя без войны, как и теперь, когда война считается редкой и исключительной случайностью. Итак, отношение людей к войне постепенно изменялось, между тем как нравственный взгляд их на этот предмет остался тот же,—ясно, что изменяющееся действие не может происходить от неизменной причины. Невозможно представить себе более решительного доказательства. Если кто-нибудь может доказать, что в течение последней тысячи лет моралисты или богословы указали хотя на одно происходящее от войны зло, существование которого было бы неизвестно предшественникам их, то я готов отказаться от защищаемого мною воззрения. Но если, в чем я твердо убежден, никто не докажет этого, то все должны согласиться со мною, что без приращения к сумме нравственных истин не могло увеличиться и влияние нравственности<sup>19</sup>.

Таким образом, вопрос об участии нравственных чувств в усилении всеобщей человечности к войне уже решен. С другой стороны, обратившись к человеческому уму, в теснейшем смысле слова, мы найдем, что каждое значительное усиление его деятельности было тяжким ударом для духа воинственности. Полное доказательство этой мысли я впоследствии разовью довольно пространно, а в этом введении я могу только указать на некоторые из очевиднейших соображений, которые, встречаясь, так сказать, на самой поверхности истории, могут быть поняты сразу.

Одно из самых ясных среди этих соображений заключается в том, что каждое важное приобретение в области знания усиливает авторитет умственно трудящихся классов, увеличивая запас средств, которыми они могут располагать. Но между этими классами и военным сословием существует явный антагонизм; это антагонизм между мыслью и делом, между внутренним и внешним, между доказательством и насилием, между силой убеждения и физической силой, короче говоря, между людьми, живущими мирным промыслом, и людьми, живущими войной. Следовательно, все, что благоприятно одному из этих классов, очевидно неблагоприятно другому. Предполагая, что все другие обстоятельства в одном и том же положении, можно смело сказать, что по мере того, как умственные приобретения известного народа увеличиваются, его расположение к войне уменьшается, и наоборот—если умственные силы весьма ограничены, то расположение к войне весьма сильно<sup>20</sup>. У совершенно диких народов чисто умственных приобретений вовсе не бывает; для

них дух представляет сухую, бесплодную пустыню, и потому возможна только внешняя деятельность<sup>21</sup>; у них единственное достоинство — личная храбрость. Человек не имеет никакого значения, пока не убьет хотя бы одного неприятеля, и, чем больше он убил себе подобных, тем большим он пользуется весом<sup>22</sup>. Вот совершенно дикое состояние, вот та степень человеческого развития, на которой более всего ценится воинская отвага и более всего уважаются воины<sup>23</sup>. От этого ужасно низкого состояния до высоты цивилизации ведет длинный ряд ступеней; на каждой из ступеней физическая сила теряет часть своего владычества и несколько усиливается владычество мысли. Медленно, один за другим, возникают мыслящие, мирные классы; сперва воины глубоко презирают их, но мало-помалу они ободряются, возрастают числом и крепнут силой и с каждым шагом вперед ослабляют старый воинственный дух, которым прежде поглощались все другие стремления. Торговля, мануфактуры, законы, дипломатия, литература, науки, философия — все это было прежде неизвестно, теперь же каждый из этих предметов становится специальностью особого класса людей. Каждый класс отстаивает важность своих занятий. Из этих классов некоторые, конечно, менее миролюбивы, чем другие, но даже и те, которые наименее отличаются этим качеством, все-таки более расположены к миру, чем люди, у которых все мысли направлены к войне и которые видят во всякой новой распри возможность отличиться, вовсе не существующую для них в мирное время<sup>24</sup>.

Таким образом, по мере того как цивилизация подвигается вперед, устанавливается равновесие; воинственные порывы нейтрализуются такими побуждениями, которые свойственны только образованному народу. Но в народе, чуждом умственного развития, такого равновесия существовать не может. На это мы находим прекрасный пример в истории Севастопольской кампании. Особенность великой борьбы, в которую мы вступили, заключается в том, что она вызвана не столкновением интересов цивилизованных стран, но столкновением между двумя наименее образованными государствами в Европе. Это факт весьма замечательный. Настоящее состояние общества превосходно характеризуется тем, что беспримерно продолжительный мир нарушен не так, как нарушался мир в прежнее время, т. е. не распрей между двумя цивилизованными народами, а взаимными притязаниями двух наименее цивилизованных наций. В прежнее время влияние привычки к умственным и, следовательно, мирным занятиям хотя увеличивалось мало-помалу, но все еще было слишком слабо, даже в самых передовых нациях, чтобы взять верх над прежними воинственными привычками; от этого происходило стремление к завоеваниям, которое часто перевешивало все другие чувства и побуждало великие нации — такие, как французская и английская, — нападать друг на друга под самыми ничтожными предлогами и пользоваться всяким удобным случаем для удовлетворения мстительной ненависти, с которой каждая из них

смотрела на благосостояние своей соседки. Между тем в настоящее время ход дел таков, что обе эти нации, отложив злобную и раздражительную зависть, которую они некогда питали друг к другу, соединились в общем деле и обнажили меч, не для своекорыстных целей, а для защиты образованного мира от нападений невежественных врагов.

Такова главная черта, отличающая эту войну от всех предшествовавших. Что мир продолжался в течение почти сорока лет и наконец нарушен не столкновениями между образованными нациями, как это бывало прежде, а властолюбием единственного могущественного и в то же время малообразованного государства,—это составляет одно из многих доказательств того, что отвращение к войне есть признак утонченности, свойственной только умственно развитому народу. Конечно, никто не станет утверждать, что воинственное развитие России происходит от низкого уровня нравственности или от пренебрежения к религиозным обязанностям; напротив того, все сведения, какие мы имеем, доказывают, что порочный образ жизни в России встречается не чаще, чем во Франции и в Англии<sup>25</sup>, и то достоверно, что русские следуют наставлениям церкви с большей покорностью, чем их образованные противники<sup>26</sup>. Ясно, стало быть, что Россия—страна воинственная не потому, чтобы жители ее были безнравственны, но потому, что они малоразвиты. Недостаток заключается не в сердце, а в голове. Так как умственные способности русского народа малоразвиты, то на него мало имеют влияния люди, занимающиеся умственным трудом, и потому в нем безусловно преобладает класс военный. В такой ранний период развития общества еще нет среднего класса и, следовательно, нет и того мирного, осмысленного склада жизни, который вырабатывается в средних классах. Умы людей, лишенных умственной деятельности<sup>27</sup>, естественно обращаются к военному поприщу, как единственному для них исходу. Вот почему в России всякие способности оцениваются по применению их к военному делу. Войска считаются главным источником славы нации; выиграть сражение, обмануть хитростью неприятеля считается одним из величайших подвигов человеческой жизни, и все лица не военные, каковы бы ни были их достоинства, не уважаются в этом народе, как люди несравненно низшего свойства<sup>28</sup>.

В Англии, с другой стороны, противоположные причины произвели противоположные последствия. У нас умственный прогресс так быстр и авторитет среднего класса так велик, что не только военные люди не имеют никакого влияния на управление государством, но даже одно время, по-видимому, предстояла опасность, чтобы мы не довели этого чувства до крайности и вследствие нашего нерасположения к войне не пренебрегли теми предосторожностями обороны, которые враждебность других наций делает необходимыми. Но мы можем по крайней мере смело сказать, что любовь к войне как национальная склонность в нашем отечестве совершенно исчезла. И этот важный результат



достигнут не нравственными поучениями и не требованиями нравственного инстинкта, а тем простым обстоятельством, что с развитием цивилизации образовались в обществе известные сословия, которые имеют интерес в сохранении мира и совокупное значение которых достаточно сильно для того, чтобы взять верх над влиянием других сословий, имеющих интерес в ведении войны.

Легко было бы провести это доказательство дальше и показать, каким образом, при усиливающейся любви к умственному труду, военная служба теряет не только в значении, но и в даровитости своих представителей. При неразвитом состоянии общества люди с замечательными способностями толпами устремляются в военную службу и гордятся тем, что стоят в рядах войска. Но по мере того, как общество подвигается вперед, открываются новые источники деятельности и являются новые профессии, которые, будучи исключительно посвящены умственному труду, предоставляют даровитым людям случаи к такому быстрому успеху, какой не был возможен в прежних занятиях. Вследствие того в Англии, где такие случаи многочисленнее, чем где-либо, почти всегда бывает так, что если у какого-нибудь отца есть сын, отличающийся замечательными способностями, то он готовится для одной из гражданских профессий, в которых способности, соединенные с деятельностью, непременно вознаграждаются. Если же, напротив того, мальчик явно неспособен, то под рукой существует приличное средство: из него делают военного или духовного, отправляют его в армию или прячут в духовенство. И это, как мы увидим впоследствии, есть одна из причин, почему по мере развития общества влияние военного и духовного сословий неизбежно уменьшается. Как только даровитые люди теряют расположение вступать в какую-нибудь профессию, блеск, окружающий ее, помрачается; сперва уменьшается уважение к ней, а затем ограничивается ее общественное значение. Таков процесс, совершающийся в настоящее время в Европе, относительно духовенства и военного сословия. Подтверждение того, что сказано нами насчет духовного сословия, мы найдем в другой части этого сочинения. Не менее решительными данными подтверждается и замечание наше о военном сословии. Конечно, профессия эта в новейшей Европе произвела несколько человек несомненно гениальных, но число их до такой степени мало, что мы невольно удивляемся тому, как редко в ней встречается природное дарование. Еще яснее увидим мы, что военный класс, взятый в совокупности, приходит в упадок, если сравним между собой отдаленные периоды времени. В древнем мире наиболее замечательные воины не только отличались большим образованием, но и были глубокими мыслителями как по военному делу, так и в политике и во всех отношениях являлись передовыми личностями своего времени. Возьмем только несколько примеров из жизни одного народа: мы видим, что трое самых мудрых государственных людей, каких только произвела

Греция, были Солон, Фемистокл и Эпаминонд — и все они были также и замечательными полководцами. Сократ, которого многие считают мудрейшим из древних, был воин, так же как и Платон и Антисфен, знаменитый основатель школы киников. Архит, который дал новое направление пифагорейской школе философии, и Мелисс, развивший учение элейской школы, — оба были известными полководцами, одинаково знаменитыми в литературе и в военном деле. Из числа знаменитейших ораторов Перикл, Алкивиад, Андокид, Демосфен и Эсхин — все принадлежали к военному сословию, так же как и два величайших трагических поэта: Эсхил и Софокл. Архилох, которому приписывают изобретение ямбического стиха и которого Гораций принял за образец, был воином. То же сословие могло похвалиться Тиртеем, одним из основателей элегической поэзии, и Алкеем, одним из лучших лириков. Самый глубокий мыслитель среди греческих историков был, конечно, Фукидид, но и он, так же как и Ксенофонт и Полибий, занимал высокие военные должности и не раз имел влияние на судьбу войны. Среди суеты и шума лагерной жизни эти великие люди развили свой ум до самого высшего совершенства, какое возможно было при тогдашнем состоянии знания, и круг обнятых ими соображений так обширен, так высоко достоинство их слога, что творения их читаются тысячами людей, которым нет никакого дела до осад и сражений.

Такие люди были украшением военной профессии в древнем мире; все они писали на одном и том же языке и читались одним и тем же народом. Но в новейшем мире тот же самый класс, заключающий в себе несколько миллионов людей и распространенный по всей Европе, не мог произвести, с шестнадцатого столетия, и десяти таких писателей, которые могли бы стать наравне с древними как литераторы или как мыслители. Декарт представляет собой пример европейского воина, соединяющего в себе оба качества: он одинаково замечателен как превосходным достоинством своего слога, так и глубиной и оригинальностью своих исследований. Но это единственный случай, и я полагаю, что не было другого примера, чтобы писатель-воин новейшего времени достиг такого превосходства как по форме, так и по содержанию своих сочинений. Английское войско в продолжение последних двухсот пятидесяти лет, конечно, не представляет ни одного подобного примера; и действительно, в нем всего только и было два писателя: Ралей и Непир, сочинения которых признаны образцовыми и изучаются единственно ради их внутреннего достоинства, хотя и это можно сказать о них только относительно слога. Оба этих историка, несмотря на то что превосходно владели пером, никогда не считались глубокими мыслителями в разрешении трудных вопросов и не прибавили ничего существенного к сумме наших знаний. Точно так же между древними самые даровитые воины были и самыми даровитыми политиками — лучшие предводители войск оказывались вообще и лучшими правителями государства. Но и в этом развитие общества

произвело такую перемену, что в течение весьма долгого времени подобные примеры были весьма редки. Даже Густав-Адольф и Фридрих Великий делали грубые ошибки в своей внутренней политике и оказались столь же близорукими в деле мирного управления, сколько были дальновидны в деле военном. Кромвель, Вашингтон и Наполеон, может быть, единственные среди первоклассных воинов новейшего времени, о которых можно сказать справедливо, что они были одинаково способны управлять государством и командовать армией. Если мы обратимся к Англии, как представляющей нам самые знакомые примеры, то найдем подтверждение нашего замечания в двух наших величайших полководцах — Мальборо и Веллингтоне. Мальборо был человек не только самый праздный и пустой по образу жизни, но и до такой степени невежественный, что недостаток образования делал его посмешищем для всех его современников; понятие же его о политике выразилось только в том, что он приобрел расположение государя, лстя его любовнице, изменил брату этого государя в ту минуту, когда тот наиболее нуждался в нем, а потом сделался вторично изменником, обратясь против своего нового благодетеля и войдя в сношения, столь же преступные, как и неразумные, с тем самым человеком, которого он за несколько лет перед тем постыдным образом покинул.

Таковы были характеристические черты величайшего полководца своего времени, героя ста сражений, победителя Бленгеймского и Рамилейского. Что касается до другого нашего великого воина, то, конечно, справедливо, что имя Веллингтона не должно быть никогда произносимо англичанином иначе как с благодарностью и почтением; но чувства эти возбуждаются единственно его огромными военными заслугами, важность которых нам было бы стыдно забыть. Всякому, кто только изучал историю гражданской жизни Англии в нынешнем веке, хорошо известно, что этот полководец, не знавший соперников в бою и отличавшийся — что составляет для него еще большую славу — чистотой намерений, непоколебимой честностью и самым высоким нравственным чувством, оказался, однако же, совершенно несостоятельным перед сложными требованиями политической деятельности. Всем известно, что в своих воззрениях на самые важные законодательные меры он всегда заблуждался. Известно также из журналов наших парламентских прений, что всякая великая мера, всякое важное улучшение, всякий решительный шаг к реформе, всякая уступка желаниям народа встречали сильное сопротивление со стороны герцога Веллингтона и получали силу закона, несмотря на его оппозицию, и после того, как он с сокрушением объявлял, что подобные меры ставят Англию в серьезную опасность. Между тем теперь нет школьника, который бы не знал, что этим именно мерам наше отечество обязано настоящей прочностью своего правительства. Опыт, этот вернейший пробный камень мудрости, вполне доказал, что те великие планы преобразований, в сопротивлении которым герцог Вел-

лингтон провел всю свою политическую жизнь, были не скажем уже полезны или благоразумны, но совершенно необходимы. Та самая политика, которую он постоянно отстаивал и которая состояла в сопротивлении желаниям народа, была принята со времени Венского конгресса во всех монархиях, кроме Англии. Результаты этой политики уже выразились вполне для нашего назидания: они выразились в том великом взрыве народных страстей, который в ярости своей низвергнул столько горделивых престолов, погубил столько царственных родов, разорил столько знатных фамилий и опустошил столько великолепных городов. А если бы советы нашего великого полководца были приняты, если бы справедливые требования нашего народа были отвергнуты, то этот самый урок был бы написан и в летописях нашего отечества; и нам бы, конечно, не удалось избежать последствий той страшной катастрофы, в которую впоследствии была вовлечена невежеством и эгоизмом своих правителей значительная часть образованного мира.

Такова разительная противоположность между военным гением древних времен и военным гением новейшей Европы. Причины этого упадка, очевидно, должны быть отнесены к тому обстоятельству, что в настоящее время, благодаря чрезвычайному размножению отраслей умственного труда, немногие способные люди толпами устремлялись на это поприще, так как оно доставляло тогда самые лучшие средства употребить в дело те способности, которые теперь в цивилизованных странах находят более полезное применение. Это составляет действительно важную перемену; такое привлечение самых сильных умов от военных занятий к занятиям мирным было делом медленной работы многих веков, делом постепенных, но прочных завоеваний распространяющегося знания. Написать историю этих завоеваний значило бы написать историю человеческого ума — труд, удовлетворительное исполнение которого для одного человека невозможно. Но предмет этот так полон интереса и был так мало изучаем, что, несмотря на то что я продолжил уже настоящий анализ далее, чем намеревался, я не могу не остановиться несколько на трех, по мнению моему, главных процессах, посредством которых совершалось ослабление воинственного духа древности, по мере успехов европейского знания.

Первый из этих процессов начался изобретением пороха, которое хотя и было усовершенствованием военного дела, но в результате своем оказало большие услуги интересам мира. Это важное изобретение сделано, как утверждают, в тринадцатом веке, но вошло в общее употребление не ранее четырнадцатого или даже пятнадцатого. Как только оно было применено к делу, произошла великая перемена во всей системе и во всех приемах ведения войны. До этого времени считалось обязанностью почти всякого гражданина быть подготовленным к поступлению в военную службу для защиты своего отечества или нападения на другие страны<sup>29</sup>. Постоянные армии были совсем неизвестны;

вместо них существовала нестройная, варварская милиция, всегда готовая к войне и всегда нерасположенная предаваться мирным занятиям, которые тогда были во всеобщем презрении. Так как почти всякий гражданин был воином, то военное звание, как профессия, не имело отдельного существования, или, лучше сказать, вся Европа составляла одну огромную армию, в которой сливались все профессии. Единственное исключение представляло духовенство; но и это сословие находилось под влиянием всеобщего направления, так что было вовсе не редкостью видеть большие отряды войск, идущие в бой под предводительством епископов или аббатов, большей части которых военное дело было весьма знакомо<sup>30</sup>. Как бы то ни было, все люди были разделены между этими двумя профессиями: единственными занятиями были война и богословие, и всякий, кто не желал быть служителем церкви, должен был служить в войсках. Единственным последствием этого было совершенное пренебрежение ко всему действительно важному. Было в самом деле много священников и много воинов, много проповедей и много сражений, но, с другой стороны, не было ни ремесел, ни торговли, ни мануфактур; не было ни науки, ни литературы; все полезные искусства были неизвестны, и даже самые высшие классы общества были незнакомы не только с самыми обыкновенными удобствами, но и с простейшими приличиями цивилизованной жизни.

Но как только порох вошел в употребление, тотчас положение было основание великой перемене. По прежней системе, человеку нужно было только иметь — что он обыкновенно наследовал от своего отца — меч или лук, и он уже был совсем вооружен для боя<sup>31</sup>. По новому порядку вещей, потребовались новые средства, и экипировка воина стала дороже и затруднительнее. Во-первых, потребовалось снабжение воинов порохом<sup>32</sup>, во-вторых, им нужно было иметь мушкеты, которые стоили дорого и с которыми обращаться считалось весьма трудным<sup>33</sup>, наконец, потребовались другие снаряды, естественно явившиеся вследствие изобретения пороха, как-то: пистолеты, бомбы, мортиры, гранаты, мины и т. п.<sup>34</sup> Все эти нововведения, увеличив сложность военного дела, увеличили вместе с тем необходимость в дисциплине и в практическом обучении войск, между тем как перемена, происшедшая в обыкновенно употребляемом оружии, поставила большинство людей в невозможность приобретать его. Для применения к этим новым обстоятельствам придумана была новая система — готовить известное число людей единственно для войны и отдавать их как можно более от всех других занятий, которым прежде по временам предавались все воины. Таким образом явились постоянные войска, из которых первые были образованы в половине пятнадцатого столетия, почти тотчас после того, как порох сделался предметом общеизвестным. Вошло также в обыкновение употреблять наемные войска. Мы находим, впрочем, несколько примеров этого гораздо ранее, но это обыкновение установилось вполне не прежде второй половины XV века.

Важность этого движения весьма скоро выразилась в той перемене, которую оно произвело в классификации европейского общества. Так как регулярные войска по дисциплине своей были пригоднее для боя и более непосредственно подчинялись контролю правительства, то по мере того, как преимущества их становились более известными, прежнее ополчение сперва потеряло значение в общем мнении, потом впало в пренебрежение и, наконец, значительно уменьшилось в числе. В то же время такое уменьшение в числе недисциплинированных воинов лишило каждую страну некоторой части ее военных средств и вынудило правительства обратить больше внимания на дисциплинированное войско и более исключительно ограничить занятия воинов исполнением военных обязанностей. И вот в первый раз установилось резкое различие между воином и лицом гражданского знания, и образовалась особая военная профессия<sup>35</sup>, которая, занимая сравнительно небольшую часть из всего количества граждан, дала возможность остальным избрать какое-нибудь другое занятие<sup>36</sup>. Таким образом огромные массы людей были постепенно отучены от своих прежних воинственных привычек; они были как будто бы насильственно обращены в гражданский быт, и умственные силы их были направлены к достижению общих целей общества и к занятию теми мирными делами, которые прежде были в пренебрежении. Вследствие этого ум европейцев вместо того, чтобы исключительно заниматься войной или богословием, теперь нашел себе третий, средний путь и создал те великие отрасли знания, которым современная цивилизация обязана своим происхождением. В каждом из последовательных поколений это стремление к отдельной организации профессий стало более и более обозначаться; польза от разделения труда более и более сознавалась, и, в то время как знание подвигалось вперед, значение этого среднего или умственно трудящегося класса соответственно увеличивалось. Каждое приращение к его силе уменьшало вес двух других классов и обуздывало те суеверные чувства и ту воинственность, на которых в первобытном состоянии общества сосредоточивается весь его энтузиазм. Возрастание и распространение этого начала умственной силы доказывается такими полными и определительными свидетельствами очевидцев, что можно было бы, совокупив все отрасли знания, проследить почти все его последовательные шаги. В настоящее время достаточно будет сказать, что вообще этот третий или умственно трудящийся класс впервые обнаружил независимую деятельность, хотя без определенного направления, в четырнадцатом и пятнадцатом веках; что в шестнадцатом веке эта деятельность, приняв определительную форму, проявилась в религиозных движениях; что в семнадцатом столетии его энергия, получив более практическое направление, обратилась против злоупотреблений правительств и произвела ряд восстаний, которых едва ли избежала какая-нибудь часть Европы; наконец, что в восемнадцатом и девятнадцатом веках она простерла свое

влияние на все виды общественной и частной жизни, распространяя воспитание, научая законодателей, контролируя монархов и — что важнее всего — устанавливая на прочном основании то преобладание общественного мнения, которому ныне не только конституционные государи, но даже самые деспотические власти строго подчиняются.

Все это действительно составляет предмет весьма обширных вопросов; не изучив их, нет возможности ни понять современного положения европейского общества, ни составить себе какой-нибудь идеи о предстоящей ему будущности. Впрочем, здесь достаточно будет, если читатель только поймет, каким образом такое неважное открытие, как изобретение пороха, могло ослабить существующий во всей Европе воинственный дух, уменьшив число лиц, имеющих обычным занятием войну. Были, без сомнения, и другие, побочные, обстоятельства, которые действовали в том же направлении, но употребление пороха было самым действительным между ними, потому что, увеличив затруднения и издержки, сопряженные с войной, оно сделало необходимым существование особой военной профессии и таким образом ограничило круг действия воинственного духа; это дало возможность образоваться излишку энергии, который скоро нашел себе исход в мирных занятиях, оживил их новой жизнью и начал обуздывать страсть к завоеваниям, — страсть, конечно, естественную в необразованном народе, но составляющую великое препятствие просвещению и самое губительное из тех болезненных побуждений, от которых страдают, к сожалению, слишком часто и цивилизованные страны.

Другое умственное движение, послужившее к уменьшению воинственности, началось гораздо позже и не произвело еще всех своих естественных последствий. Я говорю об открытиях, сделанных политической экономией — отраслью знания, совершенно незнакомой даже мудрейшим из древних, но имеющей такую важность, для которой трудно найти слишком преувеличенное выражение; она замечательна еще и тем, что до сих пор это единственный из предметов, тесно связанных с теорией государственного управления, возведенный на степень науки. Практическое значение этой благородной науки, которая вполне известна, быть может, только самым передовым мыслителям, начинают мало-помалу признавать и люди, получившие обыкновенное образование; но даже и те, которые вполне понимают эту науку, по видимому, мало обращали внимания на то, что влиянием своим она прямо поддерживала интересы мира, а следовательно, и цивилизации. Я теперь постараюсь объяснить, каким именно путем она достигла этой цели, так как это объяснение будет новым доказательством в пользу того великого начала, которое я желаю установить.

Всякому известно, что между разными другими причинами войн коммерческое соперничество было в прежнее время одной из самых обыкновенных: существует множество примеров

распрей, вызванных установлением какого-либо особого тарифа или желанием покровительствовать какому-нибудь любимому производству. Распри этого рода были основаны на весьма невежественном, но весьма естественном понятии, что выгоды коммерции зависят от торгового баланса и что вся прибыль, получаемая одной стороной, должна быть убытком для другой. Все полагали, что богатство состоит единственно в деньгах и что, следовательно, интерес каждой нации заключается в том, чтобы ввозить меньше товаров, а больше золота. Как только условие осуществлялось, то говорили, что торговля в хорошем, здоровом состоянии; если же этого не было, то говорили, что наши средства истощаются и что какая-нибудь другая страна разоряет нас и обогащается на наш счет. Единственным средством против этого зла было заключить торговый трактат, который бы вынудил вредящую нам нацию брать больше наших товаров и давать нам более своего золота; если же та отказывалась подписать трактат, то становилось необходимым вынудить ее к тому силой — и вот снаряжались флот и войско для нападения на страну, которая, уменьшив наше богатство, лишила нас денег, единственного средства к распространению нашей торговли на иностранные рынки<sup>37</sup>.

Такое непонимание истинных свойств торгового обмена было в прежнее время всеобщим<sup>38</sup>; в заблуждение это впадали и самые даровитые политики, так что оно не только бывало одной из непосредственных причин войны, но и поддерживало те чувства национальной вражды, которые располагают народ к войне; каждая нация полагала, что она имеет прямой интерес в уменьшении богатства своих соседей<sup>39</sup>.

В семнадцатом столетии или даже в конце шестнадцатого были действительно один или два замечательных мыслителя (Серра, Уильям Стаффорд и др.), обличавшие некоторые из заблуждений, на которых это мнение было основано. Но доводы их не были приняты теми политическими деятелями, которые тогда управляли делами Европы. Быть может, никто не знал этих доводов, а если их и знали, то государственные люди и законодатели, конечно, не обращали на них внимания: от таких лиц, при их постоянных практических занятиях, нельзя и ожидать, чтобы они успевали усвоить себе каждое новое открытие — они по этому самому вообще отстают от умственного движения своего времени. И так правители государств продолжали делать ошибки за ошибками, в том убеждении, что торговля не может процветать без их вмешательства; они постоянно тревожили ее изменчивой и стеснительной регламентацией, принимая за решенное дело, что всякое правительство обязано благодетельствовать торговле своего народа, вредя торговле других<sup>40</sup>.

Но в восемнадцатом столетии целый длинный ряд событий, которые я впоследствии рассматриваю, проложил путь такому духу прогресса и такому стремлению к реформам, которому до тех пор не было примера во всемирной истории. Это великое движе-



ние проявило свою силу в каждой из отраслей знания; в это же время была сделана удачная попытка возвести политическую экономию на степень науки открытием тех законов, которыми управляется производство и распределение богатства. В 1776 г. Адам Смит издал свое «Богатство народов» — книгу, которая по влиянию своему на общество едва ли не важнейшая из всех когда-либо появлявшихся и составляет, конечно, самый ценный из вкладов, какие делали когда-либо отдельные лица в общее дело установления начал, на которых должно быть устроено правитель-ство. В этом великом сочинении старая теория покровительст-ва торговле разрушена почти во всех отраслях ее; учение о торго-вом балансе не только подвергнуто сомнению, но и доказана его ложность; и бесчисленное множество нелепостей, которые накоп-лялись веками, внезапно уничтожены<sup>41</sup>.

Если бы «Богатство народов» явилось в одном из предшест-вовавших веков, оно бы подверглось участи великих творений Стаффорда и Серры; начала, которые в нем проводятся, конечно, возбудили бы внимание отвлеченных мыслителей, но, вероятно, не произвели бы никакого действия на практических политиков и во всяком случае имели бы только косвенное, и то весьма ничтожное, влияние. Но распространение познаний теперь сдела-лось столь всеобщим, что даже наши обычные законодатели были в некоторой степени подготовлены к принятию этих вели-ких истин, которыми в прежнее время они пренебрегали бы, как пустыми выдумками. Результатом этого было то, что учение Адама Смита скоро проникло в палату общин и, будучи принято некоторыми из самых влиятельных членов ее<sup>42</sup>, было заслушано с изумлением этим великим собранием, мнения которого глав-ным образом определялись мудростью предков и которое было весьма не расположено поверить тому, чтобы в новейшие време-на могло быть открыто что-нибудь неизвестное древним. Но тщетно люди такого рода силятся всякий раз противодейство-вать давлению успехов знания. Никакая великая истина, однажды открытая, не была потеряна; и не было никогда сделано ни одного важного открытия, которое бы не разрушало всех проти-вополагаемых ему преград. Таким образом, против начал свобод-ной торговли, доказанных Адамом Смитом, тщетно боролись самые грозные большинства в обеих палатах парламента. С каж-дым годом великая истина все далее и далее пролагала себе путь, постоянно подвигаясь вперед и никогда не отступая<sup>43</sup>. Сперва от большинства отделилось несколько даровитых людей, потом за ними последовали обыкновенные люди, потом оно сделалось меньшинством, наконец и меньшинство начало убавляться, и в настоящее время, восемьдесят лет спустя после издания «Богатства народов», нельзя найти ни одного сколько-нибудь развитого человека, который бы не постыдился следовать мнени-ям, преобладавшим до Адама Смита.

Таким-то образом великие мыслители управляют делами человечества и своими открытиями определяют ход развития

народов. История одной этой победы уже должна была бы умерить притязания государственных людей и законодателей, которые так преувеличивают значение своей деятельности, что приписывали важные результаты своим мерам, вызванным временной необходимостью и годным только на время. Но откуда взяли они то знание, которое они всегда готовы обратить себе в заслугу? Как пришли они к своим убеждениям, к своим принципам? Убеждения и принципы эти, составляющие необходимые элементы их успеха, они могли заимствовать только от своих учителей — от тех великих мыслителей, которые, под вдохновением своего гения, оплодотворяют мир своими открытиями. Об Адаме Смите можно сказать, не боясь опровержения, что этот одинокий шотландец изданием одного сочинения больше сделал для благоденствия человечества, чем было когда-либо сделано совокупно взятыми способностями всех государственных людей и законодателей, о которых сохранились достоверные известия в истории.

Последствия этих великих открытий мне здесь уместно исследовать лишь настолько, насколько они содействовали ослаблению духа воинственности, а это последнее влияние проследить нетрудно. До тех пор, пока вообще считали, что богатство каждой страны заключается только в ее золоте, естественным образом полагали также, что единственная цель торговли — увеличение прилива драгоценных металлов; поэтому казалось совершенно разумным, чтобы правительство принимало меры к обеспечению такого прилива. Но это могло быть сделано только посредством извлечения золота из других стран, чему эти последние по тем же самым причинам, разумеется, всеми силами противились. Таким образом, нельзя было и думать о действительной взаимности услуг: каждый коммерческий трактат являлся попыткой одной нации перехитрить другую; каждый новый тариф был объявлением войны, и занятие, которое должно было бы быть самым мирным из всех, становилось одной из причин национального соперничества и национальной вражды, которые чаще всего приводят к войне<sup>44</sup>. Но коль скоро было ясно сознано, что золото и серебро не составляют сами по себе богатства, а служат только представителями его; коль скоро люди стали понимать, что богатство состоит только в той ценности, которую искусство и труд могут придать сырому материалу, и что деньги не могут служить нации ни к чему другому, как к измерению и к обращению ее богатства; коль скоро были признаны эти великие истины, все старые понятия о торговом балансе и об исключительном значении благородных металлов разом рушились. Когда эти грубые заблуждения были рассеяны, то весьма легко выработалась истинная теория обмена. Замечено было, что если не стеснять свободу торговли, то выгоды ее разделятся между всеми участвующими в ней странами; что при отсутствии монополии выгоды торговли необходимо бывают взаимными; что они зависят далеко не от количества

получаемого золота, а просто от легкости, с какой нация сбывает те товары, которые она может самым дешевым образом производить, и получает в обмен те предметы, которые она могла бы производить только с весьма большими расходами, между тем как другая нация, по искусству своих рабочих или по щедрости природы, может доставлять их по дешевейшей цене. Из этого следовало, что с коммерческой точки зрения так же нелепо стараться разорить нацию, с которой мы торгуем, как было бы нелепо для отдельного торговца желать несостоятельности богатого и много забирающего покупателя. Последствием этих понятий было то, что дух коммерции, который прежде нередко бывал расположен к войне, теперь неизменно стремится к миру<sup>45</sup>. И хотя совершенно справедливо, что из ста купцов едва ли хоть один знаком с доводами, на которых основываются новые экономические открытия, это, однако, нисколько не препятствует тому действию, которое производят самые открытия на его образ мыслей. Коммерческий класс, подобно всем другим, подвергается действию таких причин, которые лишь немногие из членов этого класса способны понимать. Таким образом, например, между бесчисленными противниками системы покровительства весьма немногих таких, которые могли бы привести достаточные причины для оправдания своей оппозиции. Но это нисколько не мешает самой оппозиции проявляться, так как огромное большинство людей всегда с бесознательной покорностью следует духу своего времени; дух же какого-либо времени слагается единственно из его знаний и направления, принимаемого этими знаниями. Как в ежедневной жизни люди бывают обязаны увеличением удобств и общей безопасности успехам разных наук и искусств, которых они часто не знают даже имени, так точно торговый класс пользуется теми великими экономическими открытиями, которые в продолжение двух поколений успели произвести радикальную перемену в коммерческом законодательстве нашего отечества и которые теперь действуют медленно, но постоянно на другие европейские государства, где при менее сильном общественном мнении труднее прививаются великие истины и искореняются старые злоупотребления. Таким образом, при всем том, что из торговцев сравнительно весьма немногие знакомы с политической экономией, класс этот обязан значительной долей своего богатства нашим экономистам, которые, устранив препятствия, стеснявшие, вследствие невежества прежних правительств, успехи торговли, утвердили ныне на прочном основании то процветание коммерции, которое составляет один из важнейших источников нашей национальной славы. Несомненно также, что это же самое умственное движение уменьшило возможность войн, приведя в известность те начала, которыми должны определяться наши коммерческие отношения к другим странам, и доказав не только бесполезность, но и положительную зловредность всякого насильственного вмешательства в эти отношения

и наконец истребив те давнишние заблуждения, которые, заставляя людей думать, что все нации одна другой естественные враги, развивали в них враждебные чувства и поддерживали национальные соперничества, доставлявшие духу воинственности немалую долю его прежнего влияния.

Третья великая причина, послужившая к ослаблению воинственности, заключается в облегчении сношений между различными странами вследствие открытий, применивших силу пара к передвижению людей. Облегчение сношений естественным образом содействовало уничтожению того невежественного презрения, которое каждая нация слишком склонна чувствовать к другим. Так, например, жалкие, бесстыдные клеветы, которые множество английских писателей высказывали относительно нравственности и частного характера французов и — к стыду их будь сказано — даже относительно целомудрия французских женщин, немало содействовали усилению чувства озлобления, существовавшего между двумя первыми нациями в Европе, раздражая англичан против французских пороков, а французов против английских клевет. Точно так же было время, когда каждый честный англичанин был твердо убежден, что он мог бы сладить с десятью французами, и питал ко всей нации их глубочайшее презрение, как к тощему и тщедушному племени, пьющему слабое вино, вместо водки, и питающемуся исключительно лягушками; как к жалким неверным, слушающим каждое воскресенье мессу, поклоняющимся идолам и даже боготворящим папу. С другой стороны, французов учили презирать нас, как грубых и необразованных варваров, чуждых изящного вкуса и гуманности, как суровых, дурно организованных людей, живущих в дурном климате, где вечный туман, перемежающийся только дождем, никогда не позволяет показаться солнцу; как людей, страждущих такой глубоко вкоренившейся меланхолией, которой врачи даже дали особое название — английского сплина, и под влиянием этой страшной болезни беспрестанно совершающих самоубийства, в особенности в ноябре, — месяц, в котором, как было будто бы положительно известно, мы ежегодно вешались и застреливались целыми тысячами<sup>46</sup>.

Всякому, кто хорошо знает старую литературу Франции и Англии, известно, что таковы были мнения, которые составили себе друг о друге две первые нации в Европе по неведению и сердечной простоте. Но, благодаря разным открытиям, обе страны пришли в более близкое прикосновение, рассеялись их глупые предубеждения, и они научились удивляться одна другой и — что еще важнее — уважать одна другую. И чем чаще были их сношения, тем более увеличивалось взаимное уважение. Что бы ни говорили богословы, но достоверно, что во всем человечестве вообще гораздо более хорошего, чем дурного, и что в каждой стране добрые дела чаще встречаются, чем злые. Действительно, если бы это было иначе, то преобладание зла давно бы уж истребило весь род человеческий, и некому даже было бы оплаки-

вать его. Другое доказательство этому мы находим в том факте, что, чем более нации сближаются между собою, чем более они узнают друг друга, тем быстрее исчезают старинные вражды, потому именно, что по мере опыта мы узнаем, что человечество далеко не так радикально дурно, как нас с детства заставляют думать о нем. Если бы порок действительно преобладал над добродетелью, то с увеличением сношений между людьми усиливалось бы их дурное мнение друг о друге, так как мы вообще хотя и любим наши собственные пороки, но не любим пороков наших ближних. Но на самом деле не только не оказывается такого последствия, но даже бывает так, что именно те люди, которые, по обширности своих знаний, более других освоились с общим ходом дел человеческих, высказывают о них самые благоприятные суждения. Самый проницательный наблюдатель и самый глубокий мыслитель всегда бывает и самым снисходительным судьей. Только мизантроп, у которого постоянно на уме какие-то воображаемые обиды, преимущественно бывает расположен низко ценить хорошие свойства нашей природы и преувеличивать дурные; или же принимает на себя эту роль какой-нибудь глупый и невежественный монах, который, проводя весь свой век в мечтах и праздном одиночестве, льстит своему собственному тщеславию, обличая пороки других; ратуя таким образом против наслаждений жизни, он думает отомстить этому обществу, из которого его исключает его же собственное суеверие. Вот какие люди более всех настаивают на испорченности нашей природы и на упадке, до которого дошло будто бы человечество. Громадное зло, произведенное подобными мнениями, понятно всякому изучавшему историю тех стран, где они преобладали прежде и преобладают и до сих пор. Понятно после этого, что из бесчисленных благ, происшедших от успехов знания, весьма немногие могут быть поставлены выше усовершенствования способов сообщения. Умножение случаев соприкосновений между нациями и отдельными лицами в невероятной степени содействовало излечению их от предрассудков, возвышению мнений, составляемых ими друг о друге, уменьшению их взаимной враждебности, распространению более благоприятного взгляда на общую природу нашу и этим самым подвинуло нас к развитию тех беспредельных сил человеческого ума, о самом существовании которых когда-то нельзя было говорить, не прославив почти за еретика.

Вот какие явления совершались в новейшие времена в Европе. Нации французская и английская, единственно вследствие умножения сношений, научились благоприятнее думать одна о другой и отвергли то бессмысленное презрение друг к другу, которому некогда они обе давали волю. В этом случае, как и во всех других, оказалось, что, чем более одна цивилизованная страна знакомится с другой, тем более они открывают друг в друге сторон, достойных уважения и подражания. Из всех причин, производящих национальную ненависть, неведение есть

самая сильная. С умножением случаев соприкосновения неведение исчезает, и вследствие того ослабевает ненависть. Этим-то путем и образуется истинный союз братства между народами, и он один оказывается действительнее всех наставлений, читаемых моралистами и богословами. И те, и другие делали свое дело в продолжение нескольких веков, не достигнув никакого успеха в ограничении частого возникновения войн, тогда как можно сказать, без малейшего преувеличения, что каждая вновь проводимая железная дорога, каждый новый пароход, переплывающий Па-де-Кале, дает новые ручательства за сохранение того долгого и непрерывного мира, который в продолжение сорока лет связывал воедино судьбу и интересы двух наиболее цивилизованных наций в мире.

Таким образом, насколько мне дозволили мои познания, я старался указать на причины, послужившие уменьшению религиозных преследований и войн — двух величайших зол, которым люди когда-либо подвергали своих ближних. Вопросы об уменьшении религиозных преследований я только слегка коснулся, так как он будет подробно рассмотрен в одной из последующих частей этого тома. Но и сказанного мною достаточно, чтобы убедиться, что уменьшение это — результат чисто умственного процесса, и чтобы видеть, как мало может сделать пользы в этом отношении действие нравственного чувства. Причины упадка духа воинственности я рассмотрел с некоторой, для иных читателей, может быть, докучливой, подробностью и пришел к тому выводу, что упадок этот произошел от усиления умственно трудящихся классов, которые, естественно, находятся в антагонизме с военным сословием. Углубившись еще более в это исследование, мы открыли существование трех других причин, действовавших заодно с главной в ускорении всеобщего движения вперед. Этими причинами были изобретение огнестрельного пороха, открытия, сделанные в политической экономии, и введение улучшенных средств сообщения. Вот три главнейших пути, по которым успехи знания направились к ослаблению старого воинственного духа; а каким образом это совершилось, я, надеюсь, довольно ясно показал. Факты и доводы, которые я привел, подвергнуты мною, могу сказать по совести, самой тщательной, неоднократной проверке, так что я решительно не могу себе представить, на каком разумном основании могла бы быть опровергнута их достоверность. Что они будут неприятны некоторым сословиям, в этом я совершенно убежден; но неприятное свойство довода едва ли дает право считать его несправедливым. Источники, из которых я почерпнул факты, указаны мною вполне, и доводы, надеюсь, изложены беспристрастно, а из них вытекает следующее в высшей степени важное заключение: что два самых древних, самых больших, самых глубоко укоренившихся и обширно распространенных бедствия, какие когда-либо были известны людям, постоянно, хотя вообще довольно медленно, уменьшаются и что уменьшение это достигнуто, конечно, не

нравственными чувствами, не нравственными поучениями, а единственно деятельностью человеческого ума и влиянием изобретений и открытий, которые в течение долгого ряда последовательных веков удалось сделать человеку.

Итак, если в отношении к двум важнейшим явлениям, которые представляются нам в развитии общества, нравственные законы были постоянно и неизменно подчинены умственным, то становится весьма вероятным предположение, что и в отношении к менее важным предметам процесс совершался таким же образом. Доказать это вполне и возвести предположение в совершенную достоверность значило бы написать не введение в историю, а самую историю. Поэтому читатель должен в настоящее время удовольствоваться тем, что, как я сам сознаюсь, составляет лишь приблизительное доказательство; полное же доказательство необходимо должно быть отложено до дальнейших томов этого сочинения, в которых я берусь показать, что Европа переходом своим от варварства к цивилизации обязана исключительно своей умственной деятельности; что передовые нации ее вот уже несколько веков достаточно подвинулись вперед, чтобы свергнуть с себя те физические влияния, которые могли первое время затруднять их развитие, и что нравственные влияния хотя еще и сильны и по временам причиняют расстройства, но это не более как такие отклонения от общего хода дел, которые с течением долгого времени взаимно уравниваются, так что в общем итоге не оставляют ни малейшего следа. Итак, при более обширном взгляде на перемены в жизни цивилизованного народа оказывается, что в сложности они зависят единственно от трех вещей: во-первых, от суммы знаний, приобретенных самыми развитыми людьми; во-вторых, от направления, которое приняли эти знания, т. е. от того разряда предметов, к которому они относятся; наконец, в-третьих, и более всего, от той пропорции, в которой знания эти распространены, и от большей или меньшей свободы, с которой они проникают во все классы общества.

Таковы три главных двигателя образованности в каждой цивилизованной стране, и хотя деятельность их часто встречает помехи в добродетелях и пороках могущественных личностей, но эти нравственные свойства взаимно нейтрализуются, и потому влияние их в среднем выводе за долгие периоды времени незаметно. Вследствие причин, которые нам неизвестны, сочетания нравственных качеств бывают весьма разнообразны, так что в одном человеке или даже, может быть, в одном поколении проявляется избыток добрых намерений, в другом — избыток злых. Но мы не имеем никакой причины полагать, чтобы могла произойти раз навсегда перемена в численном отношении между лицами, имеющими по природе добрые намерения, и такими, которым, по-видимому, привиты намерения злые. В том, что мы могли бы назвать врожденной, первобытной нравственностью рода человеческого, сколько мы знаем, прогресса не бывает. Из врожденных нам различных страстей одни преобладают

в одно время, другие—в другое; но опыт научает нас, что страсти эти находятся постоянно в борьбе между собой и потому удерживаются в равновесии силой взаимного противодействия. Действие одного побуждения умеряется действием другого: каждому пороку соответствует какая-нибудь добродетель. Жестокости противодействует доброта, страдание возбуждает сострадание, несправедливость одного вызывает благотворительность другого, для нового бедствия находится и новое средство избавления от него; и даже громаднейшие преступления, какие когда-либо совершались, не оставляли неизгладимого следа. Потери, причиняемые опустошением земель и истреблением их жителей, неизбежно восполняются; проходит несколько столетий—и след их исчезает. Колоссальные злодеяния Александра [Македонского] или Наполеона [Бонапарта] по прошествии некоторого времени уже менее ощутительны, и дела мира возвращаются к своему прежнему уровню. Таковы прилив и отлив истории, постоянные течения, которым мы подвергаемся по законам природы.

Над всем этим движется мир несравненно высший, и, в то время как совершается его поступательное движение, при непрерывных колебаниях то взад, то вперед, одно, и только одно, никогда не погибает. Действия дурных людей производят зло только временное, действия хороших—добро только временное; и зло, и добро уходят в бездну, всплывают потом, при последующих поколениях, и наконец совсем исчезают в непрерывном движении дальнейших веков. Но открытия великих людей никогда не покидают нас—они бессмертны: они заключают в себе те вечные истины, которые переживают падения царств, переживают борьбы враждующих религиозных партий и остаются непоколебимы, между тем как приходят одна за другой в упадок и самые религии. Каждая религия измеряется своей мерой, подчиняется своим правилам; для одного века годятся одни убеждения, для другого—другие. Они исчезают, как сон; это—создания фантазии, от которых не остается и слабого очертания. Только открытия гениев сохраняются; им одним обязаны мы всем, что имеем; они для всех веков—им нет конца; нося в себе зародыши своей жизни, они не бывают ни молоды, ни стары; они текут вечным, неиссякаемым потоком; они, по существу своему, чрезвычайно плодovitы; давая сами из себя отростки для тех приращений, которые делаются со временем, они влияют таким образом на самое отдаленное потомство и по прошествии нескольких веков проявляют еще большую силу, чем в самый момент возникновения.



Прилагая к истории человека те методы исследования, которые оказались успешными в других отраслях знания, и отвергая все а priori составленные мнения, не выдерживающие проверки по этим методам, мы пришли к известным результатам, из которых главнейшие бесполезно здесь перечислить. Мы видели, что действия наши, представляя не более как результат внутренних и внешних явлений, могут быть объяснены только законами этих влияний, т. е. духовными и физическими законами. Мы видели также, что в Европе духовные законы сильнее физических и что с успехами цивилизации перевес этот постоянно увеличивается, потому что возрастающее знание увеличивает силы духа, между тем как силы природы остаются неизменными. Поэтому мы признавали духовные законы главными двигателями прогресса, а на физические смотрели, как на законы второстепенные, действие которых проявляется только в случайных отклонениях от правильности движения и уже издавна становилось слабее и реже, а в настоящее время в большей части случаев не имеет никакого значения. Приведя таким образом изучение того, что можно было бы назвать динамикой общества, к изучению законов духа, мы затем подвергли эти последние подобному же анализу и нашли, что они состоят из двух разрядов, а именно: из нравственных и из умственных законов. Сравнивая эти оба разряда, мы ясно убедились в огромном преимуществе законов умственных и видели, что подобно тому, как успехи цивилизации обозначаются перевесом духовных законов над физическими, они обозначаются также и перевесом умственных законов над нравственными. Этот важный вывод опирается на два различных аргумента. Во-первых, на то, что при неподвижности нравственных истин и при постоянном движении вперед истин умственных в высшей степени вероятно, чтобы прогресс общества зависел скорее от нравственных знаний, сумма которых в течение нескольких столетий оставалась неизменной, чем от знаний умственных, приобретение которых в течение многих столетий постоянно подвигается вперед. Другой же аргумент заключается в том факте, что два величайших зла, какие когда-либо знал род человеческий, не уменьшились вследствие его нравственного усовершенствования, а уступили и до сих пор уступают только влиянию умственных открытий. Из всего этого очевидно следует, что если мы хотим привести в известность условия, от которых зависят успехи новейшей цивилизации, то должны искать их в истории накопления и распространения умственного знания. Физические явления и нравственные начала производят, конечно, по временам значительное расстройство в общем ходе дел, но с течением времени

они приходят в порядок и равновесие и оставляют таким образом умственным законам свободу действовать независимо от этих низших, второстепенных деятелей.

Вот заключение, к которому мы пришли путем последовательных анализов,— на нем мы и остановимся. Действия отдельных лиц подчиняются в значительной мере влиянию их нравственных чувств и их страстей; но чувства и страсти эти, приходя в столкновение с чувствами и страстями других лиц, уравниваются этими последними так, что в общем ходе человеческих действий влияния их вовсе не видно; и совокупность действий рода человеческого, рассматриваемых как одно целое, зависит единственно от суммы знаний, которой люди обладают. А каким именно образом поглощаются и нейтрализуются личное чувство и личная прихоть,— этому мы находим полное объяснение в приведенных выше фактах из истории преступлений. Факты эти решительно доказывают, что в итоге преступлений, совершаемых в той или другой стране, год за годом повторяется одна и та же цифра с самым изумительным однообразием, нисколько притом не подчиняясь влиянию прихоти и личных чувств, которыми слишком часто хотят объяснить человеческие действия. Но если бы мы вместо того, чтобы рассматривать историю преступлений по годам, разделили ее по месяцам, то нашли бы гораздо меньше правильности; если бы, наконец, рассмотрели эту историю по часам, то правильность совсем бы исчезла; точно так же ее не было бы видно и в том случае, если бы, вместо уголовной летописи целой страны, мы знали только летопись одной улицы или одного семейства. Это происходит оттого, что великие общественные законы, которыми управляется преступление, могут быть замечены лишь при наблюдении над большим числом людей или долгим периодом времени, но в меньшем числе лиц и в короткое время индивидуальное нравственное начало берет верх и нарушает порядок действия общего умственного закона. Следовательно, нравственные чувства, побуждающие человека совершить преступление или воздержаться от него, имеют огромное влияние на итог личных преступлений этого человека, но не имеют никакого значения относительно общего итога преступлений, совершаемых в том обществе, в котором он живет, так как они с течением времени непременно нейтрализуются противоположными им нравственными чувствами, вызывающими в других людях противоположный образ действия. Точно так же всем известно, что почти все наши действия находятся под влиянием нравственных начал, а между тем мы можем найти неоспоримые доказательства, что начала эти не производят ни малейшего действия на человечество; взятое в совокупности, ни даже вообще на значительные массы людей; для этого нам стоит только изучать общественные явления за такие продолжительные периоды времени и в таких больших размерах, в которых можно было бы различать чистое действие главных законов.

Итак, если вся совокупность человеческих дел, рассматриваемая с высшей точки зрения, управляется всей суммой человеческих знаний, то казалось бы весьма простым делом собирать сведения об этих знаниях и, постепенно обобщая их, установить таким образом всю систему законов, управляющих успехами цивилизации,—и я нимало не сомневаюсь, что когда-нибудь это и будет сделано. Но, к несчастью, до сих пор историю писали люди, до такой степени мало способные к великому труду, который они предпринимали, что ими собрана весьма небольшая часть необходимых материалов. Вместо того чтобы сообщить нам те сведения, которые единственно имеют цену,—сведения об успехах знания и о том, каким образом распространение этого знания подействовало на человечество,—огромное большинство историков наполняет свои сочинения самыми пустыми и ничтожными подробностями: анекдотами, касающимися лично до разных королей и царедворцев, бесконечными рассказами о том, что сказал такой-то министр и что подумал другой, и—что хуже всего—длинными рассказами о кампаниях, сражениях и осадах, весьма интересными для тех, которые в них участвовали, но совершенно бесполезными для нас, так как они не сообщают нам ни новых истин, ни средств к открытию их. В этом-то и заключается, собственно, препятствие, останавливающее наше движение вперед. Это-то отсутствие правильного взгляда на вещи, это незнание того, на что более всего следовало бы обратить внимание, и лишает нас материалов, которые должны были бы уже давно быть собраны, приведены в порядок и сохранены для будущего употребления. В других великих отраслях знания наблюдения предшествовали открытиям; сперва были записаны факты, а потом открыты законы их. При изучении же истории человечества важнейшие факты были оставлены без внимания, а ничтожные сохранены. Поэтому каждый, кто в настоящее время покушается возводить исторические явления к общим началам, должен и собирать факты, и делать выводы. Он не находит под рукой ничего готового. Он должен быть не только архитектором, но и каменщиком, должен не только проектировать здание, но и таскать камни из каменоломни. Необходимость совершения этого двойного труда налагает на философа такую громадную работу, что для выполнения ее мало всей жизни; поэтому история вместо того, чтобы быть, как должно, зрелой и готовой для полных, исчерпывающих каждый вопрос обобщений, находится до сих пор в таком грубом и необработанном виде, что и при самом упорном и самом продолжительном труде никто из нас не в состоянии уразуметь вполне всех действительно важных деяний человечества даже за такой краткий период, как, например, два последовательных столетия.

По всем этим соображениям, я давно уже отказался от моего первоначального плана и, хотя с крайним сожалением, решил писать историю не всей цивилизации вообще, а цивилизации одного только народа. Но, урезывая таким образом область

исследования, мы, к несчастью, уменьшаем и средства, могущие служить для этого исследования. Хотя совершенно справедливо, что совокупность человеческих действий, взятых за долгие периоды времени, зависит от суммы человеческих знаний, тем не менее должно согласиться, что этот великий принцип, будучи приложен к одной только стране, теряет некоторую долю своей первоначальной силы. Чем более мы стесняем пространство наших наблюдений, тем менее верным становится средний вывод из них,— другими словами, тем возможнее нарушение правильности действия высших законов действием низших. Вмешательство иноземных правительств, влияние понятий, литературы и обычаев иноземного народа, делаемые им нашествия или даже завоевания, насильственное введение, при подобных случаях, новых религий, новых законов и новых нравов — все это помехи, которые, при общем разборе истории всего мира, оказываются уравнивающими одна другую, в каждой же отдельной стране способны нарушить естественный ход цивилизации, вследствие чего бывает гораздо труднее определить движение ее. Вслед за сим я объясню, каким путем я пытался избегнуть этого затруднения, но сперва я намерен показать, какие именно причины побудили меня признать историю Англии более важной, чем все другие, и, следовательно, наиболее достойной сделаться предметом полного философского исследования.

Так как величайшая польза, могущая произойти от изучения прошедших событий, заключается в возможности привести в известность законы, которыми они управлялись, то, очевидно, история каждого народа становится для нас тем более ценной, чем менее был нарушаем естественный ход его развития влияниями внешними. Всякое иностранное или внешнее влияние, действующее на какой-нибудь народ, вводит чуждые элементы в естественное развитие его и потому усложняет обстоятельства, которые мы стараемся исследовать. Между тем упрощение всяких сложных явлений составляет во всех отраслях знания существенное условие успеха. Эта истина весьма знакома лицам, изучающим естественные науки; им нередко удается посредством одного опыта открыть то, чего прежде тщетно добивались путем бесчисленных наблюдений; дело в том, что, производя опыты над явлениями, мы можем отделить от них все, что их усложняет, и таким образом, поставив их вне влияния неизвестных деятелей, дать им возможность идти, так сказать, своим собственным ходом и раскрыть нам действие их собственного закона.

Итак, вот истинное мерило, по которому мы должны определять значение истории каждого народа. Важность истории какой-либо страны зависит не от блистательности встречающихся в ней подвигов, но от того, в какой степени действия народа проистекали из заключающихся в нем самом причин. Если бы, следовательно, мы могли найти какую-нибудь цивилизованную нацию, которая бы выработала свою цивилизацию сама собою, совершенно избегнув всякого иноземного влияния, и не была бы ни

подвинута вперед, ни задержана на пути развития личными качествами своих правителей, то история этой нации была бы важнее всякой другой, потому что она представляла бы условия совершенно нормального и самобытного развития и показала бы нам, как действуют законы прогресса в состоянии уединения; она была бы как бы готовым для нас опытом и имела бы ту же цену, как те искусственные сочетания обстоятельств, которым естественные науки обязаны столь многими открытиями.

Найти такой народ, очевидно, невозможно, тем не менее историк-философ обязан избрать для специального изучения такую страну, которая, возможно, более удовлетворяет этим условиям. Но, конечно, каждый из нас, а также и каждый образованный иностранец согласится с тем, что Англия, по крайней мере в продолжение трех последних веков, удовлетворяла означенным условиям постояннее и успешнее, чем какая-либо другая страна. Я уже не говорю о многочисленности наших открытий, о блеске нашей литературы и об успехах нашего оружия; все это предметы, возбуждающие народную зависть, и другие народы, может быть, откажут нам в признании этих преимуществ, которые мы легко можем преувеличивать. Но я ограничиваюсь единственно тем положением, что в Англии долее, чем в каком-либо из европейских государств, правительство оставалось совершенно спокойным, между тем как народ был в высшей степени деятелен; в Англии свобода нации установилась на самом широком основании: там каждый человек имеет полную возможность говорить что думает и делать что хочет; всякий следует своему образу мыслей и открыто распространяет свои мнения; так как в Англии почти не знают преследований за религию, то в этой стране можно ясно видеть развитие человеческого ума, не стесненное теми преградами, которые ограничивают его в других странах. В этой стране открытое исповедание ереси наименее опасно, и отступление от господствующей церкви наиболее обыкновенно; убеждения, враждебные одно другому, процветают рядом и возникают и падают беспрепятственно, согласно с потребностями народа, не подчиняясь желаниям церкви и не подвергаясь контролю государственной власти; все интересы и все классы, как духовные, так и светские, там более, чем где-либо, предоставлены самим себе; там впервые подверглось нападению учение о вмешательстве, называемом покровительственной системой; там только и была уничтожена эта система,—одним словом, в одной Англии умели избежать тех опасных крайностей, до которых доводит вмешательство, вследствие чего и деспотизм, и восстания там одинаково редки; а как притом признана основанием политики система уступок, то ход народного прогресса в Англии наименее был нарушаем могуществом привилегированных сословий, влиянием особых сект или насильственными действиями самовластных правителей.

Что таковы характеристические черты истории Англии — это не подлежит сомнению; для некоторых это составляет источник

похвалы, а для других — сожаления. Если же к этим обстоятельствам присовокупить то, что Англия, по своему положению, отдельному от материка<sup>1</sup>, до половины прошлого века была редко посещаемая иностранцами, то становится очевидным, что мы в ходе нашего народного прогресса менее всех других наций подвергались действию двух главных элементов постороннего вмешательства, а именно: власти правительства и влияния чужестранцев. В шестнадцатом веке вошло в моду среди английской аристократии путешествовать в чужих краях<sup>2</sup>, но у аристократов других стран вовсе не было обыкновения посещать Англию. В семнадцатом столетии обычай путешествовать для удовольствия так распространился в Англии, что среди людей достаточных и праздных было весьма мало таких, которые бы хотя раз в своей жизни не переплыли канал; между тем как в других странах лица того же класса, частью потому, что они были не так богаты, частью по укоренившемуся нерасположению к морским путешествиям, никогда почти не заглядывали на наш остров, если только не были принуждаемы к тому каким-нибудь особенным делом. Таким образом, мы видим, что в других странах, в особенности во Франции и в Италии, жители больших городов понемногу привыкли к иностранцам и, как все люди, незаметно подчинились влиянию того, что они видели. Напротив, между нашими городами было много таких, где никогда не ступала нога иностранца; даже жители столицы могли дожить до старости, не видавши никогда ни одного иностранца, за исключением разве какого-нибудь скучного и чопорного посланника, совершающего прогулку по берегам Темзы. Хотя очень часто говорят, что после реставрации Карла II наш национальный характер подвергся сильному влиянию французских нравов, но это, как я могу вполне доказать, ограничилось той малочисленной и ничтожной частью общества, которая прилеплялась ко двору, и не имело никакого заметного влияния на два важнейших класса: умственно трудящийся и промышленный. Это влияние может быть замечено только в самых ничтожных явлениях нашей литературы — в бессмысленных произведениях таких авторов, как Букингам, Дорсет, Этередж Килигрю, Мюльгрев Рочестер и Седли. Но ни тогда, ни в позднейшее время никто из наших великих мыслителей не подчинился влиянию французского духа<sup>3</sup>; напротив того, мы находим в их идеях и даже в их слоге какую-то грубую самородную силу, которая хотя и кажется оскорбительной нашим более утонченным соседям, но имеет по крайней мере то преимущество, что составляет естественное произведение нашего отечества<sup>4</sup>. Как родилась и как далеко простиралась образовавшаяся впоследствии связь между английским и французским умами, это составляет вопрос огромной важности, который, однако, подобно большинству других действительно важных предметов, оставлен без внимания историками. В настоящем сочинении я постараюсь восполнить этот недостаток, а между тем не могу не заметить, что, хотя мы и прежде были и до сих

пор много обязаны французам за сделанные нами успехи относительно утонченности вкуса, манер и вообще всех приятных сторон жизни, мы все-таки не заимствовали от них ничего истинно важного, ничего такого, что навсегда изменяет судьбы нации. С другой стороны, французы кроме того, что заимствовали от нас некоторые весьма важные государственные учреждения, обязаны также не в малой мере нашему влиянию самым важным событием своей истории. Всем известно, что революция 1789 года произведена или, лучше сказать, главнейшим образом вызвана несколькими великими людьми, сочинения которых, а потом и речи возбудили народ к сопротивлению; несколько менее известно, но во всяком случае справедливо, что эти великие вожди народа научились в Англии той философии и тем началам, которые, будучи перенесены в их отечество, произвели такие страшные, но тем не менее благодетельные последствия. (Доказательства такого влияния Англии см. в главе XII этого тома.)

Никто, надеюсь, не подумает, чтобы я намерен был бросить какую-нибудь тень на французов — народ великий и достойный удивления, — народ, во многих отношениях стоящий выше нас, — народ, от которого мы еще многому должны поучиться и недостатки которого, каковы бы они ни были, происходят от постоянного вмешательства в его развитие длинного ряда самовластных правителей. Но, смотря на это дело исторически, нельзя не признать несомненной истиной, что мы выработали нашу цивилизацию с весьма малой помощью от них, тогда как они выработали свою с весьма значительным с нашей стороны содействием. В то же время должно согласиться и с тем, что наше правительство гораздо меньше вмешивалось в наше развитие, чем правительство Франции в развитие французского народа. Итак, нисколько не предпрешая вопроса о том, которое из двух государств значительнее, а руководствуясь только приведенными выше соображениями, я считаю нашу историю важнее их истории и избираю для специального изучения успехи английской цивилизации единственно потому, что она менее подвергалась действию влияний, не из нее самой происходивших, и, следовательно, в ней можно яснее рассмотреть естественный ход развития общества и ничем не нарушаемое действие тех великих законов, которыми окончательно определяются судьбы человечества.

После этого сравнения английской истории с французской едва ли нужно рассматривать те соображения, которые могут быть высказаны в пользу истории других стран. Действительно, существуют только две страны, в пользу которых можно было бы что-нибудь сказать, — я разумею Германию, принимаемую за одно целое, и Соединенные Штаты Северной Америки. Что касается Германии, то несомненно справедливо, что с половины восемнадцатого века она произвела больше глубоких мыслителей, чем какая-либо другая страна, даже можно было бы сказать — чем все другие страны, взятые вместе. Но возражения, применяющиеся к французской нации, еще с большей справедливостью

применяются к немцам, потому что принцип покровительства и прежде имел, и до сих пор имеет в Германии еще большую силу, чем во Франции. Даже лучшие из германских правительств постоянно держат народ в опеке, никогда не предоставляя его самому себе, следя постоянно за его интересами и вмешиваясь в самые обыкновенные дела его ежедневной жизни. Сверх того, немецкая литература, хотя она в настоящее время и первая в Европе, обязана своим происхождением тому великому скептическому движению, которое предшествовало революции во Франции. До половины восемнадцатого века, несмотря на несколько знаменитых имен, каковы имена Кеплера и Лейбница, у немцев не было литературы, имеющей действительную ценность; первый толчок, который они получили, произошел от их встречи с французским умом и от влияния тех знаменитых французов, которые в царствование Фридриха Великого стеклись в Берлине — городе, бывшем с тех пор постоянно главной квартирой философии и науки. От этого произошло несколько весьма важных обстоятельств, которых я здесь могу только вкратце коснуться. Германский ум, внезапно возбужденный к жизни умом французским, развился весьма неправильно и проявил большую деятельность, чем того требовала общая цивилизация страны. Вот почему во всей Европе нет ни одной нации, в которой бы существовало такое огромное расстояние между умами высшего и низшего развития. Немецкие философы обладают такой суммой знания и такой широтой мысли, которые ставят их во главе всего цивилизованного мира. Напротив, немецкий народ более суеверен, более подчинен предрассудкам и, несмотря на заботу правительств о воспитании его, более невежествен и менее способен к самоуправлению, чем население Франции и Англии. Это разграничение и даже разъединение двух классов составляет естественное последствие того искусственного возбуждения, которое сто лет тому назад было произведено в одном из них и которое таким образом нарушило нормальные отношения общества. Вследствие этого явления высшие умы в Германии настолько опередили общее движение нации, что между двумя частями ее нет никакого сочувствия, и в настоящее время нет никаких средств, которые бы могли привести их в соприкосновение. Великие писатели Германии обращаются не ко всей стране, но друг к другу. Они уверены в том, что будут иметь избранную, ученую аудиторию, и потому употребляют язык, который по справедливости можно назвать ученым: они обращают свой природный язык в особый диалект, действительно красноречивый и сильный, но такой трудный, такой гибкий и до такой степени наполненный сложными инверсиями, что низшим классам их же нации он совершенно непонятен<sup>5</sup>.

От этого произошли некоторые из самых замечательных особенностей немецкой литературы. Не имея обыкновенных читателей, она ограждена от влияния обыкновенных предрассудков; вот почему она обнаружила смелость в изысканиях, неустраши-



мость в преследовании истины и пренебрежение к мнениям старины — качества, дающие ей права на величайшую похвалу. Но с другой стороны, от этого же обстоятельства произошло то отсутствие практического знания и то равнодушие к материальным, житейским интересам, за которые справедливо порицают немецкую литературу. Это естественным образом еще более расширило первоначальный разрыв и увеличило расстояние, отделяющее великих германских мыслителей от того тупого, погруженного в материальные расчеты класса, который хотя и стоит непосредственно под мыслителями, но не подвергается влиянию их знаний и не согревается пламенем их гения.

С другой стороны, в Америке мы видим цивилизацию, представляющую прямо противоположные явления. Мы видим там страну, о которой справедливо было сказано Токвилем, что в ней менее, чем в какой-либо другой стране, и людей очень ученых, и людей очень невежественных. В Германии сословие мыслящее и сословие практически действующее совершенно разъединены, — в Америке они совершенно слиты воедино. В Германии почти всякий год приводит за собою новые открытия, новые системы философии, новые средства к расширению пределов человеческого знания; в Америке подобные изыскания находятся почти в совершенном пренебрежении: со времен Ионафана Эдвардса не явилось ни одного великого метафизика; на естественные науки также обращено весьма мало внимания, и, за исключением одной только юриспруденции<sup>6</sup>, едва ли что-нибудь было сделано по всем тем обширным отраслям наук, для которых немцы беспрерывно работают. Вся сумма знаний в Америке невелика, но она распределена между всеми классами общества; сумма германского знания огромна, но распределение ее ограничивается одним сословием. Какая из двух форм цивилизации должна иметь преимущество — это вопрос, который нам здесь не место разрешать. Для настоящей цели нашей достаточно будет сказать, что в Германии чувствуется серьезный недостаток в распространении, а в Америке не менее серьезный недостаток в накоплении знания. А так как ход цивилизации определяется накоплением и распространением знания, то очевидно, что никакая страна не может даже приблизительно считаться совершенным образом в этом отношении, если, удовлетворяя одному из указанных условий до избытка, она другому не удовлетворяет вовсе. Действительно, вследствие этого недостатка равновесия между двумя элементами цивилизации Германия и Америка страдают от двух одинаково важных, но противоположных болезней, и можно опасаться, что нелегко излечатся от них, а между тем до совершенного отстранения этих зол прогресс обеих стран непременно будет замедляться, несмотря на временные преимущества, достигаемые на первое время такой односторонней энергией.

Я здесь весьма коротко, но, надеюсь, довольно справедливо и уже, конечно, без всякого сознательного с моей стороны пристрастия старался определить относительное значение истории

четырёх передовых наций мира. Что же касается действительного величия каждой из них, то я не высказываю никакого мнения, потому что каждая считает себя первой. Но из всего изложенного (доколе кто-нибудь не опровергнет приведенных мною фактов) неоспоримо следует, что история Англии имеет для философа большее значение, чем всякая другая, потому что он может в ней яснее, чем где-либо, видеть накопление и распространение знания идущими рука об руку, видеть, что знание это менее подвергалось влиянию иноземных и внешних деятелей и что в него менее вмешивались, в пользу или ко вреду, те могущественные, но часто несведущие люди, которым вверяется управление общес-  
твенными делами.

Именно на основании этих соображений, а вовсе не по тем побуждениям, которые обыкновенно величают именем патриотических, я решился писать историю моего отечества, предпочтительно перед всякой другой страной, и писать ее с такой полнотой, с такой всесторонностью, какая только возможна при ныне имеющихся материалах. Но так как, вследствие указанных мною обстоятельств, невозможно открыть законы общества, изучая историю одной только нации, то я набросал это введение с целью устранить некоторые из трудностей, сопровождающих изучение этого важного предмета. В первых главах я попытался с точностью обозначить пределы изучаемого мною предмета, принимая его за одно целое, и установить для него возможно широкое основание. В этих видах, рассматривая цивилизацию, я делил ее на две главные части: европейскую, в которой человек оказывается сильнее, чем природа, и неевропейскую, в которой природа сильнее человека. Это привело нас к тому выводу, что национальный прогресс, соединенный с свободой народа, не мог явиться ни в какой части света, кроме Европы, где, следовательно, и должно изучать развитие истинной цивилизации и историю побед, одержанных умом человеческим над силами природы. Затем, признав за основание европейской истории перевес законов духа над законами физического мира, мы разделили законы духа на умственные и нравственные и доказали, что первые имели преимущественное влияние на ускорение развития человека. Эти обобщения мне кажутся существенно необходимым вступлением в историю как науку, а для того, чтобы связать их с специальной историей Англии, нам остается теперь только привести в известность основное условие умственного развития, ибо без этого летописи каждого народа могут представлять для нас только эмпирическую последовательность событий, соединенных слабыми, случайными связями, какие придумывали для них разные писатели, каждый по своим убеждениям. Поэтому остальная часть нашего введения будет главным образом посвящена дополнению начертанного мною плана исследованием истории разных стран относительно тех умственных особенностей, которые недостаточно высказываются в истории нашего отечества. Так, например, в Германии накопление знаний происходило

быстрее, чем в Англии; на этом основании, законы накопления знаний могут быть всего удобнее изучены в истории Германии и затем дедуктивно приложены к истории Англии. Точно так же, зная, что американцы распространили свое знание гораздо более, чем мы, я намерен объяснить некоторые из явлений английской цивилизации теми законами распространения знаний, действие которых яснее видно в американской цивилизации и которые, следовательно, могут быть в ней легче открыты. Далее, так как самая цивилизованная из всех стран, в которых имеет особенную силу дух покровительства, есть Франция, то для раскрытия тайных стремлений этого духа в нашем отечестве нам стоит только изучить явные стремления его у наших соседей. В этих видах я сделаю очерк истории Франции, в котором постараюсь выяснить самый принцип покровительства, показав вред, причиненный им весьма даровитому и просвещенному народу. Анализируя же Французскую революцию, я покажу, что это великое событие было не что иное, как реакция против духа покровительства; а так как материалы для реакции были заимствованы из Англии, то мы также увидим в этом явлении, каким образом ум одной страны действует на ум другой, и дойдем до некоторых выводов относительно того обмена идей, который легко может сделаться самым главным двигателем во всех делах Европы. Это прольет значительный свет на законы международного мышления. В связи с этим исследованием, две особые главы будут посвящены истории духа покровительства и рассмотрению относительной силы его во Франции и в Англии. Но французы как нация были с начала или с половины семнадцатого века замечательно свободны от суеверия и, невзирая на усилия их правительства, весьма не расположены к власти духовенства, так что в их истории покровительственное начало, высказывающееся ясно в его политической форме, представляет весьма мало проявлений в форме религиозной. Эта последняя форма его также мало заметна и в нашей истории. Вследствие того я намерен обозреть также историю Испании, в которой мы можем вполне проследить результаты того покровительства против заблуждений, которое духовное сословие всегда готово оказать нации. В Испании церковь с весьма давнего времени пользовалась большим авторитетом, и духовенство имело более влияния на народ и на правительство, чем в какой-либо другой стране, поэтому нам будет весьма удобно изучать в Испании развитие могущества духовенства и его влияние на интересы нации. Другое обстоятельство, имеющее влияние на умственный прогресс каждой нации, заключается в том, какому методу следуют обыкновенно в своих ученых изысканиях самые способные люди из среды ее. Таких методов может быть только два: индуктивный либо дедуктивный. Каждый из них составляет принадлежность особой цивилизации и всегда сопровождается особым складом мыслей, преимущественно в предметах религии и науки. Эти различия имеют такую огромную важность, что, пока их законы не приведены

в известность, нельзя сказать, что мы действительно понимаем историю прошедших событий. Две крайности этого различия, без сомнения, представляют Германия и Соединенные Штаты, так как немцы преимущественно склонны к дедукции, а американцы — к индукции. Но Германия и Америка уже в стольких других отношениях диаметрально противоположны друг другу, что я счел удобнейшим изучать действие дедуктивного духа и духа индуктивного в странах, между которыми существует более аналогии; так как, чем более сходства между двумя нациями, тем легче можем мы открыть последствия каждого отдельного уклонения от сходства и тем виднее становятся законы этого уклонения. Такой случай представляет нам история Шотландии, сравниваемая с историей Англии. Мы видим в этом случае два соседних народа, которые говорят одним и тем же языком, пользуются одной и той же литературой и связаны одними и теми же интересами. Тем не менее справедливо — на это, по-видимому, никто не обращал внимания, но я докажу это во всей подробности, — что до последних тридцати или сорока лет шотландский ум, в противоположность английскому, был дедуктивен, и даже в большей мере, чем этот последний был индуктивен. Склонность английского ума к индукции и почти суеверное благоговение, с которым мы храним это свойство, были с сожалением замечены немногими, и даже весьма немногими из наших способнейших людей<sup>7</sup>. С другой стороны, в Шотландии, особенно в течение XVIII столетия, великие мыслители, почти без исключения, употребляли метод дедуктивный. Главное же свойство дедукции в применении к отраслям знания, еще не довольно созревшим для нее, состоит в том, что она увеличивает число гипотез, от которых мы ведем ряд умозаключений книзу, и подрывает доверие к медленному и терпеливому восхождению, какое свойственно индуктивному методу. Это стремление уловить истину посредством умозрительных и как бы вперед сделанных заключений часто открывало путь к великим изобретениям; и ни один сведущий человек не станет отрицать огромной важности подобного рода стремления. Но когда это направление делается всеобщим, тогда угрожает опасность, чтобы не пренебрегли наблюдением чисто эмпирических однообразий и чтобы мыслящие люди не получили отвращения к тем мелким и ближайшим обобщениям, которые по требованиям индуктивного метода непременно должны предшествовать обобщениям более обширным и возвышенным. Как только является подобное отвращение, то происходит серьезное зло. Эти низшие обобщения составляют нейтральную почву, общее владение умов созерцательных и умов практических, — пространство, на котором они встречаются. Когда нет такого пространства, то и встреча невозможна. В таком случае в ученых классах замечается неосновательное презрение к выводам, сделанным простым народом из опыта, — выводам, законы которых кажутся необъяснимыми; между тем как, с другой стороны, в практических классах является пренебрежение

к обширным и блестящим умозрениям, которых промежуточные, предварительные ступени для них невидимы. Последствия такого порядка вещей в Шотландии в высокой степени любопытны и во многих отношениях сходны с явлениями, которые мы усматриваем в Германии, так как в обеих этих странах образованные классы с давнего времени отличались смелостью воззрений и свободой от предрассудков, а масса народа в такой же степени отличалась множеством суеверий и силой предрассудков. В Шотландии это еще поразительнее, чем в Германии, потому что шотландцы, благодаря причинам, которые мало были изучаемы, бывают в практических вопросах не только трудолюбивы и предусмотрительны, но даже необыкновенно сметливы. Но в высших сферах жизни это качество не послужило им ни к чему; конечно, нет страны, которая бы обладала более оригинальной, пытливой и прогрессивной литературой, чем Шотландия, и вместе с тем нет страны, равно образованной, где бы сохранялся до такой степени дух средних веков, где бы до сих пор верили стольким нелепостям и где бы так легко можно было возбудить к деятельности старые чувства религиозной нетерпимости.

Разобшение и даже вражда, установившаяся таким образом между практическими классами и классами, преданными умственным занятиям, есть самый важный факт в истории Шотландии и составляет отчасти причину, отчасти следствие преобладания дедуктивного метода. Нисходящая схема в противоположность схеме восходящей, или индуктивной, пренебрегает низшими обобщениями — единственными, которые понятны обоим классам и возбуждают их взаимное сочувствие. Индуктивный метод, которому Бэкон доставил популярность, выдвинул на видное место эти низшие, или ближайшие, истины; и хотя вследствие того мыслящие классы Англии принимали часто направление уже слишком утилитарное, но это по крайней мере спасало их от состояния отчужденности, в котором без этого они непременно бы остались. Но в Шотландии отчужденность была почти совершенная, потому что дедуктивный метод был почти всеобщий. Полные доказательства вышеозначенного будут собраны в следующем томе; но, не желая оставить этот предмет вовсе без пояснения примером, я разберу вкратце за время трех последних поколений те явления, в которых шотландская литература достигла высшего своего совершенства.

В течение этого периода, обнимающего почти столетие, сказанное направление обозначилось так резко, что оно составляет поразительное явление в истории человеческого ума. Первым важным признаком его явилось движение, которое было начато Симсоном, профессором университета в Глазго, и продолжаемо Стюартом, профессором Эдинбургского университета. Эти даровитые люди всячески старались воскресить чистую греческую геометрию и унижить значение алгебраического, или символического, анализа. Отсюда родились у них самих и их учеников особенная любовь к самым утонченным способам разрешения

задач и презрение к способам более легким, но менее изящным, которыми мы обязаны алгебре. Здесь мы ясно усматриваем обособляющий, таинственный характер системы, которая, презирая все то, что легко могут усвоить себе и самые обыкновенные умы, предпочитает восхождение от осязательного к идеальному, переход от идеального к осязательному. В ту же самую эпоху точно то же направление выражено было в другой отрасли исследования Гетчинсоном, который хотя ирландец по происхождению, но был воспитан в университете в Глазго, где был и профессором. В своих знаменитых нравственных и эстетических исследованиях он заменил индуктивное умозаключение от осязательных фактов умозаключением дедуктивным от неосознанных принципов; при этом он оставлял без внимания непосредственные, практические показания чувств, в полной уверенности, что, посредством отвлеченного построения верных законов, можно низойти до фактов и что нет надобности восходить от фактов для узнания законов. Его философия имела огромное влияние на метафизиков, и его метод мышления по нисходящей цепи от абстрактного к конкретному был усвоен еще более великим шотландцем, знаменитым Адамом Смитом. До какой степени Смит был пристрастен к дедуктивному образу исследования, видно из его «Теории нравственных чувствований» (Theory of Moral Sentiments), а равно и из его «Трактата о речи» (Essay on Language) и даже из его отрывка об истории астрономии, в котором он, основываясь на общих соображениях, предпринял доказать, какой должен быть ход астрономических открытий, вместо того, чтобы предварительно узнать, каким он был на самом деле. Затем его «Богатство народов» есть также сочинение совершенно дедуктивное, так как в нем Смит выводит общие законы богатства не из явлений богатства, не из статистических данных, а из явлений эгоизма, делая таким образом дедуктивное применение одной категории умственных принципов к целой области экономических фактов<sup>8</sup>. Пояснительные примеры, которыми изобилует его большое сочинение, составляют части самой его аргументации — они только следуют за идеей; и если бы все они были выпущены, то сочинение, потеряв, может быть, известную долю занимательности и силы, осталось бы в научном отношении одинаково ценным. Другой пример представляют сочинения Юма, которые все, за исключением его метафизических опытов, дедуктивны. Его глубокомысленные экономические исследования оказываются в сущности исследованиями а priori; их можно было бы написать без всякого знакомства с теми подробностями дела торгового и финансового, из которых они должны были бы по требованию индуктивного метода составлять общие выводы<sup>9</sup>. Также и в своей «Естественной истории религии» он старался посредством простого размышления, независимо от фактов, построить чисто умозрительное исследование о происхождении религиозных убеждений<sup>10</sup>. Точно таким же образом в «Истории Англии» вместо того, чтобы сначала со-

брать факты, а потом делать из них выводы, он прежде всего принял за данное, что отношения между народом и правительством должны были следовать такому-то порядку, и затем факты, противоречившие его предположению, либо оставил в стороне, либо исказил<sup>11</sup>. Эти различные писатели, несмотря на несходство их убеждений и предметов изучения, все между собою согласны относительно метода, т. е. все одинаково предпочитали в деле исследования истины нисхождение восхождению. Огромное общественное значение этой особенности я рассмотрю в следующем томе, где постараюсь привести в известность, каким образом она влияла на шотландскую цивилизацию и как произвела некоторые любопытные явления, прямо противоположные более эмпирическому характеру английской литературы. К этому, в виде простого заявления такого факта, который будет доказан впоследствии, я могу присовокупить, что дедуктивный метод, который употребляли поименованные мною знаменитые шотландцы, был также внесен в умозрительную «Историю гражданского общества» Фергюсоном, в изучение законодательства — Миллем, в изучение юриспруденции — Макинтошем, в геологию — Геттоном, в термотику — Блеком и Лесли, в физиологию — Гентером, Александром Уокером и Карлом Бэллем, в патологию — Келленом, в терапию — Броуном и Керри.

Вот очерк плана, которому я намерен следовать в настоящем введении, надеясь этим путем дойти до некоторых результатов неизменно ценных; потому что, при изучении различных начал в тех странах, где они были наиболее развиты, законы этих начал могут быть раскрыты гораздо успешнее, чем при исследовании тех же начал в таких странах, где они проявлялись довольно смутно. А так как в Англии цивилизация шла путем более правильным и была с него сбиваема менее, чем во всякой другой стране, то тем более настояит необходимость, сочиняя историю этой страны, прибегать к вспомогательным средствам вроде некоторых приемов, указанных мною выше. Особенную ценность придает истории Англии то обстоятельство, что ни в какой другой стране национальный прогресс не подвергался так мало постороннему вмешательству в дурную либо в хорошую сторону. Но самый тот факт, что наша цивилизация была таким образом сохранена в более естественном и здоровом состоянии, возлагает на нас обязанность изучать болезни, которым подвержена цивилизация, посредством наблюдения над теми странами, где чаще всего встречаются общественные недуги. Безопасность и прочность цивилизации должны зависеть от правильности в сочетании ее элементов и от гармонии в их действии. Ежели один какой-нибудь элемент действует слишком сильно, то весь состав подвергается опасности. Вот почему законы соединения элементов лучше всего могут быть изучены там, где соединение встречается в самом полном составе; законов же каждого отдельного элемента мы должны искать там, где изучаемый элемент наиболее сильно действует. Избрав историю Англии, вследствие того,

что в ней долее, чем где-либо, сохранялась гармония различных начал, я счел по той же самой причине полезным изучать каждое начало отдельно в той стране, где оно было наиболее сильно и где вследствие необычайного развития его равновесие всего здания было нарушено.

Приняв эти предосторожности, мы будем в состоянии устранить многие из затруднений, сопряженных поныне с изучением истории. Но прежде чем вступим на обширное поприще, открывающееся пред нами, следует разъяснить некоторые предварительные пункты; я до сих пор еще их не касался, а между тем разъяснение это может предупредить известного рода возражения, которые без этого легко могут быть сделаны. Я разумею под этими пунктами Религию, Литературу и Правительство — три предмета огромной важности, а по мнению весьма многих лиц — три главных двигателя в человеческих делах. Совершенная ошибочность этого последнего взгляда будет вполне доказана в настоящем сочинении, но так как мнение это чрезвычайно распространено и весьма благовидно, то нам необходимо раз навсегда согласиться в суждении о нем и изучить истинное свойство того влияния на ход цивилизации, которое действительно имеют сказанные три великие силы.

И вот, прежде всего очевидно, что если бы какой-нибудь народ был совершенно предоставлен самому себе, то его религия, литература и правительство были бы последствием, а не причиной его цивилизации. Известное состояние общества, естественно, производит известные результаты. Эти результаты, конечно, могут быть искажены вмешательством каких-нибудь посторонних деятелей, но без такого вмешательства невозможно, чтобы высокообразованный народ, привыкший рассуждать и сомневаться, когда-либо принял религию, исполненную ярких нелепостей, обнаруживающих совершенное пренебрежение к разуму и сомнению. Есть много примеров, что нации переменяли религию, но нет ни одного примера, чтобы прогрессивная страна добровольно приняла ретроградную религию; никогда даже не случалось, чтобы нация, клонящаяся к падению, улучшила свою религию. Хорошая религия благоприятствует цивилизации, а дурная вредит — это, конечно, справедливо; но ни один народ без постороннего вмешательства не сумеет открыть, что его религия дурна, пока ему этого не скажет его собственный разум; но если разум его находится в бездействии, а знание в застое, то подобного открытия никогда не произойдет. Страна, пребывающая в старом невежестве, всегда будет оставаться при своей старой религии. Конечно, ничто не может быть проще этого. Очень невежественный народ будет, в силу своего невежества, склонен к религии, исполненной чудес, величающейся несметным числом богов и приписывающей непосредственному их влиянию все, что ни случается. С другой стороны, народ, который по своим познаниям может быть лучшим судьей в деле вероятия, народ, привыкший к самой трудной из работ — к делу сомнения,



будет чувствовать потребность в религии менее чудесной, менее навязчивой, в религии, не налагающей слишком большой дани на его легкоеверие. Но скажете ли вы, основываясь на предыдущем, что в первом случае недостатки религии производят невежество, а во втором — достоинства ее производят знание? Скажете ли вы о двух последовательных явлениях, что первое из них есть действие, а последнее — причина? Не так рассуждают люди в обыкновенных житейских делах, и трудно понять, почему бы им следовало рассуждать таким образом, когда дело идет об истории прошлых событий.

Дело в том, что религиозные убеждения, преобладающие в какой-либо период времени, принадлежат к числу симптомов, которыми этот период обозначается. Когда религиозные убеждения глубоко укоренены, то они, без сомнения, имеют влияние на образ действия людей; но для того, чтобы убеждения могли глубоко укорениться, необходимо должна предварительно произойти какая-нибудь перемена в умах людей. Рассчитывать на усвоение кроткой и философской религии невежественными и кровожадными дикарями все равно что ожидать урожая от семени, брошенного на голую скалу. В этом роде много было попыток, и все они привели к одному результату. Люди с самыми лучшими намерениями, самым пылким, хотя ложно понятым, рвением пытались и теперь еще пытаются распространить свою религию между жителями варварских стран. Вследствие напряженной и неослабной деятельности, часто при помощи обещаний и даже действительных даров, они во многих случаях успевали убедить дикие общины открыто признать истины христианской религии; но ежели кто сравнит торжественные повествования миссионеров с длинным рядом данных, доставленных сведущими путешественниками, то скоро увидит, что подобное признание существует только на словах, в действительности же эти невежественные племена приняли обряды новой религии, но вовсе не самую религию. Они принимают внешность и на этом останавливаются. Они могут крестить своих детей, принимать причастие, толпами ходить в церковь — все это они могут делать и, несмотря на то, оставаться столь же далекими от духа христианства, как и были в то время, когда преклоняли колена перед своими прежними идолами. Обряды и формы всякой религии находятся на поверхности; их сразу видят, скоро заучивают и легко перенимают люди неспособные проникнуть в самую глубину. Только более глубокая внутренняя перемена в человеке может быть прочна, а такой перемены никогда не произойдет в человеке диком, пока он погружен в невежество, ставящее его в уровень с окружающими его животными. Устраните невежество, тогда будет место для религии. Только этим способом можно окончательно принести пользу. После тщательного изучения истории и нынешнего состояния варварских стран я с полной уверенностью утверждаю, что нет ни одного хорошо доказанного случая прочного обращения в христианство какого-нибудь

варварского народа, за исключением разве тех весьма немногих примеров, где миссионеры, будучи столько же людьми знания, сколько и людьми благочестия, приучали дикаря к приемам мышления и, возбудив в нем таким образом умственную деятельность, приготовили его к восприятию религиозных начал, которых он без такого возбуждения никогда не мог бы понять<sup>12</sup>.

Таким образом, если смотреть на вещи с высшей точки зрения, оказывается, что религия человечества есть следствие, а не причина его прогресса. При более же мелком воззрении, или при так называемом практическом взгляде на какой-нибудь краткий, специальный период, могут по временам встретиться такие обстоятельства, которые нарушают этот общий порядок и, по видимому, извращают естественный ход событий. И это, как всегда бывает в подобных случаях, может происходить только от особенностей, свойственных отдельным личностям, которые, повинаясь низшим законам, управляющим действиями каждого отдельного человека, могут при помощи гения и энергии помешать отправлению высших законов, управляющих целыми обществами. По обстоятельствам, до сих пор еще неизвестным, время от времени появляются великие мыслители, которые, посвятив всю жизнь стремлению к одной цели, способны определить человечество на пути развития и создать религию или философию, имеющую иногда весьма важные последствия. Но, взглядываясь в историю, мы ясно увидим, что действие, производимое новым мнением, будет всегда зависеть от состояния народа, в котором мнение это распространяется, хотя бы оно и было обязано происхождением своим одному лицу. Если религия или философия слишком опередила нацию, то она не может принести пользы в настоящем, а должна выждать, пока люди будут достаточно зрелы для восприятия ее. Этому большая часть читателей встретит множество примеров. Каждая наука и каждое верование имели своих мучеников — людей, подвергавшихся злословию и даже смерти за то, что они знали больше, чем их современники, и потому, что общество было не довольно развито для принятия истин, которые эти люди распространяли. По обыкновенному порядку вещей, проходит несколько поколений, прежде чем наступит период, когда на эти самые истины смотрят, как на обыденные факты, а еще немного позже настает и такое время, когда их признают необходимыми и когда самые тупые умы удивляются, как могли такие истины когда-либо быть отрицаемы. Таков бывает ход дел, когда человеческому уму дается простор и предоставляется хотя сносная свобода в накоплении и распространении знания. Но ежели тому же самому обществу мерами насильственными и, следовательно, искусственными поставлены преграды к умственному развитию, то в нем истины не могут быть приняты, как бы ни было важно их значение. Иначе почему бы известные истины были отвергаемы в одном веке и признаваемы в другом? Истины остаются неизменными — значит, окончательное их признание должно зависеть от перемены

в самом обществе, которое теперь принимает то, что прежде презирало. И в самом деле, история наполнена доказательствами совершенной недействительности самых благородных начал в тех случаях, когда они проповедуются в очень невежественной стране. Так, учение о Едином Боге, преподанное древним евреям, оставалось в течение многих столетий вовсе без действия. Народ, которому учение это было сообщено, в то время еще не освободился от варварства, и потому ум его не мог постигнуть такой высокой идеи. Подобно всем другим варварам, евреи жаждали религии, которая бы питала их легкоеверие беспрестанными чудесами, которая, вместо отвлеченного возведения Божества к одной сущности, умножала бы их богов до того, чтобы ими были покрыты все поля и переполнены леса. Это и есть идолопоклонство, естественный плод невежества; вот к чему евреи беспрестанно возвращались. Несмотря на самые строгие и беспощадные наказания, они, при всяком удобном случае, оставляли чистый теизм, для восприятия которого умы их были слишком незрелы, и впадали в суеверие, более доступное их пониманию, — поклонялись золотому тельцу и обожали медного змия. Теперь, в настоящем веке, они давно уж перестали все это делать. А почему? Не потому, чтобы легче возбуждалось в них религиозное чувство или чаще действовал на них религиозный страх. Напротив того, они отторгнуты от прежней обстановки, они навсегда потеряли из виду те сцены, которые легко могли потрясать умы людей. Не существуют уже для них причины, возбуждавшие в сердцах — одни ужас, другие — благодарность. Не является им более облако днем и огненный столб ночью; не видят они более, как дается завет с высоты Синая, и не слышат раскатов грома, раздающихся с Хорева. Ввиду этих великих явлений, они оставались идолопоклонниками в душе и при всякой возможности становились идолопоклонниками на деле; и поступали они так потому, что находились в состоянии варварства, естественный продукт которого — идолопоклонство. Какому же другому обстоятельству можно приписать их дальнейшую перемену, как не тому простому факту, что евреи, подобно всем другим народам, по мере своих успехов в цивилизации, стали вырабатывать для себя более идеальную, утонченную религию и, презрев прежнее многобожие, медленно и постепенно возвысились умом до твердого понимания Одной Великой Причины, — понимания, которое напрасно старались им привить в более раннее время.

Вот такая тесная связь существует между убеждениями какого-нибудь народа и его познаниями, и до какой степени необходимо, когда дело идет о целых нациях, чтобы умственная деятельность предшествовала улучшению религии. Ежели нам нужны дальнейшие примеры, поясняющие эту важную истину, то мы найдем их в событиях, совершившихся в Европе вскоре после распространения христианского учения. Римляне были, за редкими исключениями, народом невежественным и варварским, племенем кровожадным, развратным и жестоким. Для такого

народа политеизм был самым естественным верованием, и действительно, мы читаем, что римляне предавались идолопоклонству, которое немногие великие мыслители, и только немногие, отваживались презирать. Христианская религия, заброшенная среди таких людей, застала их неспособными оценить ее высокое, дивное учение. Несколько времени спустя Европа была наводнена наплывами свежего народонаселения, и завладевшие ею народы, еще более дикие, чем римляне, принесли с собою суеврия, сообразные с их тогдашним умственным состоянием. И вот над материалами, происшедшими из этих двух источников, христианство призвано было трудиться. Результат этого чрезвычайно замечателен. После того, как новая религия, казалось, победила все препятствия и уже была принята в лучшей части Европы, вскоре обнаружилось, что она не возымела никакого положительного действия. Оказалось, что общество находилось еще в том раннем периоде развития, когда суеврие неизбежно и когда люди, не имея его в одной форме, должны иметь в другой. Напрасно христианство преподавало простое учение и предписывало простое богослужение. Умы были слишком незрелы, чтобы совершить такой великий шаг: им нужны были более сложные формы и более сложное верование. Что затем произошло — хорошо известно всем, изучающим историю церкви. Суеврие Европы вместо того, чтобы уменьшиться, получило только другое направление. Новая религия была искажена старыми заблуждениями. Поклонение идолам приняло только другие формы; так, обожание Цибелы заменено было другим, подобным же обожанием; идолопоклоннические обряды примешались к христианским; вскоре внесено было в новую религию, кроме наружных обрядов язычества, и самое его учение; дух язычества был смешан и слит воедино с духом новой религии. Вследствие всего этого, спустя несколько поколений, христианство явилось в такой смешанной, отвратительной форме, что лучшие его черты были потеряны и признаки первоначальной его прелести совершенно уничтожены.

Прошло несколько веков, и христианство стало понемногу освобождаться от этих искажений; однако многих из них даже самые образованные страны до сих пор еще не могли отбросить. Действительно, даже начать какую-либо реформу оказывалось невозможным до тех пор, пока европейский ум не был в некоторой степени пробужден от сковывавшей его летаргии. Постепенно двигаясь вперед на пути знания, люди стали смотреть с негодованием на те суевренные понятия, перед которыми прежде благоговели. Исследование о том, каким образом это негодование возрастало и наконец, в шестнадцатом веке, разразилось великим событием, справедливо называемым Реформацией, составляет один из занимательнейших предметов новейшей истории. Но для настоящей цели нашей достаточно иметь в виду достопамятный и важный факт, что в течение нескольких столетий после повсеместного водворения в Европе христианской

религии она не могла приносить свойственных ей плодов по той причине, что ей пришлось действовать посреди невежественных и потому суеверных людей, которые, в силу своего суеверия, всячески искажали учение, недоступное их пониманию в его первоначальной чистоте<sup>13</sup>. И точно, на каждой странице истории встречаем мы новые доказательства того, как мало могут действовать на людей религиозные учения, ежели только им не предшествует умственное развитие. Интересный пример этого представляет влияние протестантизма в сравнении с католицизмом. Католическая вера относится к протестантской так же, как темные века относятся к шестнадцатому столетию. В темные века люди были легковерны и невежественны и потому произвели религию, требовавшую много веры и мало знания. В шестнадцатом столетии легковерие и невежество, довольно еще значительные, стали быстро уменьшаться, и потому оказалась необходимость устроить религию на основаниях, соответственных изменившимся обстоятельствам,—религию более благоприятную для духа пытливости, менее обремененную чудесами, легендами и идолами,—религию, в которой церемонии были бы не так часты и не так тягостны, которая, наконец, не поощряла бы бесчисленного множества разных умерщвлений плоти, бывших так долго в повсеместном употреблении. Все это было совершено через водворение протестантизма—такого образа богопочитания, который, соответствуя вполне потребностям своего века, имел, как известно, большой и скорый успех. Если б этому великому движению позволено было совершаться без перерывов, то оно в течение немногих поколений, опрокинув старое суеверие, водворило бы на его месте более простое и менее беспокойное верование; при этом, разумеется, быстрота перелома была бы пропорциональна умственной деятельности различных стран. Но, к несчастью, европейские правительства, всегда вмешивавшиеся в дела, которые вовсе до них не касались, считали своей обязанностью покровительствовать религиозным интересам народа и, действуя заодно с католическим духовенством, во многих случаях насильственно останавливали ересь, сдерживая таким образом естественное развитие века. Это вмешательство было почти во всех случаях благонамеренное; его должно приписывать единственно неведению правителей относительно надлежащих пределов их круга деятельности; но бедствия, причиненные этого рода неведением, трудно было бы преувеличить. В продолжение почти ста пятидесяти лет Европу терзали религиозные войны, религиозные избиения, религиозные преследования, чего бы, конечно, вовсе не произошло, если бы повсеместно призвана была та великая истина, что государству нет дела до убеждений граждан и что оно не имеет никакого права вмешиваться, даже в самой ничтожной мере, в то, какую форму богослужения они пожелают принять. Однако это правило в прежнее время было неизвестно; во всяком случае достоверно, что на него не обращали внимания; и не ранее

как в половине семнадцатого столетия окончательно порешены были религиозные распри и различные нации укрепились в своих господствующих верах, которые с тех пор в сущности не подвергались изменениям. Действительно, в течение уже более двухсот лет ни одна нация не воевала с другой по поводу религии, и в продолжение этого периода все великие католические страны оставались католическими, а все протестантские — протестантскими.

Вследствие всего замеченного нами выше во многих европейских странах религиозное развитие вместо того, чтобы совершаться естественным порядком, подчинено было насильно, посредством искусственных мер, порядку противоестественному. Сообразно с естественным порядком, самые образованные страны были бы протестантскими, а самые необразованные — католическими. В среднем выводе из всех случаев оно действительно так и есть; этим многие лица были даже введены в странное заблуждение: они стали приписывать все новейшее просвещение влиянию протестантизма, упускать из виду тот важный факт, что протестантизм не понадобился до тех пор, пока не началось просвещение. При обыкновенном ходе событий успехи Реформации, конечно, были бы мерилом и признаком предшествовавших ей успехов просвещения; но во многих случаях власть правительства и влияние церкви явились противодействующими причинами, которые и парализовали естественное развитие религиозных улучшений. После Вестфальского мира, определившего политические отношения европейских государств, любовь к богословским распрям до такой степени ослабела, что люди не признавали более за нужное хлопотать о религиозных переворотах и рисковать жизнью в какой-нибудь попытке на ниспровержение религии, господствующей в государстве. В то же время правительства, не имея сами особенного пристрастия к переворотам, поощряли состояние застоя; при этом — что весьма естественно и, как мне кажется, весьма благоразумно — не делали больших изменений и оставляли церковные учреждения в своих государствах такими, какими их застали, т. е. протестантскими — протестантскими, а католические — католическими. Отсюда произошло то обстоятельство, что в настоящее время господствующая вера какой бы то ни было страны не может служить пробным камнем настоящего состояния цивилизации в этой стране, так как обстоятельства, установившие ее религию, уже давно не существуют, а религия остается при тех же правах и при том же устройстве единственно потому, что некогда двинувшая ее сила, по закону инерции, еще продолжает действовать.

Все предыдущее относится только к началу церковных учреждений в Европе. В практических же своих последствиях учреждения эти представляют явления в высшей степени поучительные. Так, многие страны обязаны господствующей в них религией не своему прошлому, а влиянию отдельных могущественных личностей; вследствие чего мы постоянно видим, что в этих странах религия не производит тех последствий, которых

от нее можно было бы ожидать и которые она, сообразно своим собственным требованиям, должна была бы произвести. Например, католическая религия отличается большим суеверием и большей нетерпимостью, нежели протестантская; но из этого нисколько не следует, чтобы нации, исповедующие первую, должны были быть суевернее и отличаться большей нетерпимостью, чем нации, исповедующие последнюю. Далеко нет; французы не только так же свободны от этих ненавистных качеств, как и самые цивилизованные протестанты, но даже стоят в этом отношении выше некоторых протестантских народов, каковы, например, шотландцы и шведы. О высокообразованном классе я не говорю; но, говоря о духовенстве и о народе вообще, должно сознаться, что в Шотландии больше суеверия, ханжества и совершенного презрения к чужой религии, нежели во Франции. А в Швеции, одной из древнейших протестантских стран Европы<sup>14</sup>, проявляется не случайно, а постоянно такая нетерпимость и такой дух преследования, которые не делали бы чести и католической нации, со стороны же народа, утверждающего, что его религия основана на начале свободы убеждений,— вдвойне предосудительны<sup>15</sup>. Из всего замеченного нами видно — и это легко может быть доказано путем более обширной индукции, — что когда какой-нибудь народ, вследствие специальных, или, как обыкновенно говорят, случайных, причин, исповедует религию, которая более ушла вперед, чем он сам, то религия эта не производит своего законного действия. Преимущество протестантизма перед католицизмом заключается в уменьшении суеверия и нетерпимости и в ограничении власти церкви. Но опыт Европы показывает нам, что когда передовая религия введена среди отсталого народа, то преимущества ее делаются незаметны. Шотландцы и шведы — к ним можно присоединить и некоторые швейцарские кантоны — менее образованны и потому более суеверны, чем французы. Какая после этого польза в том, что они имеют лучшую религию, нежели французы, что, благодаря давно прошедшим обстоятельствам, они три века тому назад приняли веру, к которой их теперь привязывает сила привычки и предания? Всякий, кто, путешествуя по Шотландии, с достаточным вниманием наблюдал понятия и убеждения народа и кто заглянет в шотландское богословие, кто станет читать историю шотландской церкви (kirk) и акты шотландских Собраний и Консисторий, — увидит, как мало пользы страна эта извлекла из своей религии и какая широкая пропасть между духом нетерпимости, преобладающим в Шотландии, и естественными стремлениями протестантской Реформации. С другой стороны, всякий, кто станет изучать Францию в том же отношении, увидит рядом с антилиберальной религией либеральные понятия, увидит также, что религия, исполненная суеверия, исповедуется народом, в котором суеверие — явление сравнительно редкое.

Дело просто в том, что французы лучше своей религии, а шотландцы хуже своей. Либеральность Франции так же мало

соответствует католицизму, как ханжество Шотландии — протестантизму. В этих, как и во всех подобных, случаях отличительные черты вероисповедания пересилены отличительными чертами народного характера, и религия народа в самых важных отношениях остается вовсе без действия, по той простой причине, что она не соответствует цивилизации страны, в которой введена. Как неосновательно после этого приписывать успехи цивилизации влиянию той или другой религии и как безрассудны, хуже чем безрассудны, старания правительства охранять религию, которая в том случае, когда она соответствует народному характеру, в покровительстве не нуждается, в противном же случае — не может принести никакой пользы<sup>16</sup>.

Ежели читатель вникнул в дух предыдущих рассуждений, то он едва ли потребует от меня такого же подробного анализа другой из причин, нарушающих действие законов прогресса, а именно — анализа литературы. Очевидно, что все сказанное уже о религии народов может быть в значительной мере применено и к их литературе. Литература в состоянии здоровом и свободном от насилия есть просто рамка, в которую вставляется знание, приобретенное известным народом, — форма, в которую отливается это знание. В этом отношении, как и в других рассмотренных нами случаях, отдельные лица могут, конечно, идти большими шагами вперед, могут подниматься на значительную высоту над уровнем своего века; но когда они поднимаются выше известной точки, то для них начинает уменьшаться возможность приносить пользу своему времени, а еще выше — эта возможность вовсе уничтожается<sup>17</sup>. Когда промежуток между мыслящими и практическими классами будет слишком велик, то первые не будут иметь влияния, а вторые ничем от них не воспользуются. Это именно и произошло в древнем мире, когда расстояние между невежественным идолопоклонством народа и утонченными системами философов было решительно непроходимо<sup>18</sup>; и вот главная причина, почему греки и римляне не могли сохранить цивилизации, которою обладали в течение короткого периода времени. Точно тот же процесс совершается в настоящее время в Германии, где самая ценная часть литературы составляет таинственную систему, которая, не имея ничего общего с самой нацией, вовсе не действует на ее цивилизацию. Дело в том, что если Европа и извлекла большую пользу из своей литературы, то она обязана этим не тому, что произвела литература, а тому, что она сохранила. Знание должно быть прежде приобретено, а потом может быть записано, и книги полезны единственно как складочное место, где сокровища ума хорошо сберегаются и удобно могут быть найдены. Литература сама по себе предмет не важный и имеет значение только как арсенал, в котором сложено оружие человеческого ума и из которого оружие это может быть, в случае надобности, скоро добыто. Но жалким мыслителем оказался бы тот, кто, основываясь на этом, предложил бы пожертвовать целью для сохранения средств, кто надеялся бы отстоять



арсенал, сдав оружие, и кто уничтожил бы сокровища в видах улучшения кладовой, предназначенной для их хранения.

Однако на это многие способны. От литераторов в особенности слышим мы слишком много речей о необходимости для литературы покровительства и наград и слишком мало — о необходимости той свободы, той смелости мысли, без которых самая блестящая литература ровно ничего не стоит. В самом деле, существует вообще склонность не преувеличивать пользу знания, потому что это и невозможно, но полагать знание не в том, в чем оно действительно состоит. Настоящее знание, то знание, на котором зиждется вся цивилизация, состоит в знакомстве с отношениями вещей и идей друг к другу и самих к себе; другими словами — в знакомстве с физическими и умственными законами. Ежели когда-либо придет время, что все эти законы будут известны, то круг человеческих познаний будет довершен; а до тех пор достоинство литературы будет зависеть от количества сообщаемых ею сведений о законах уже известных или материалов для дальнейших открытий. Дело воспитания — ускорять это великое движение и увеличивать умение и способность человека, увеличивая сумму средств, которыми он обладает. В этом отношении литература как вспомогательное средство чрезвычайно полезна. Но считать познание литературы одним из главных предметов воспитания — значит извращать порядок явлений и подчинять цель средствам. Такой взгляд действительно существует, потому что мы часто встречаем так называемых высокообразованных людей, которые были положительным образом останавливаемы на пути приобретения знания самой деятельностью их воспитания. Мы часто видим, что такие люди полны предрассудков и что чтение вместо того, чтобы рассеять эти предрассудки, еще более укореняло их<sup>19</sup>. Литература, будучи складочным местом мыслей всего человечества, наполнена не одной мудростью, но также и нелепостями. Стало быть, польза, извлекаемая из литературы, будет зависеть не столько от самой литературы, сколько от умения, с которым она будет изучаема, и от рассудительности в выборе. Вот предварительные условия успеха; и ежели они не соблюдаются, то число и достоинство книг, имеющихся в той или другой стране, решительно ничего не составляют. Даже на высокой степени цивилизации всегда существует стремление предпочитать скорее те отделы литературы, которые потворствуют старым предрассудкам, чем те, которые восстают против них; когда стремление это очень сильно, то единственным результатом большой учености будет накопление материалов для поддержания старых заблуждений и усиления старых предрассудков. В наше время подобные примеры нередки; мы часто встречаем людей, ученость которых служит орудием их невежеству, — людей, которые, чем больше читают, тем меньше знают. Бывали такие состояния общества, в которых подобное стремление оказывалось до того всеобщим, что литература приносила больше вреда, чем пользы. Так, например, во весь период

времени с шестого по десятый век в целой Европе было не более трех или четырех человек, которые смели думать сами за себя,— да и те принуждены были скрывать свою мысль под темным и мистическим слогом. Остальная часть общества была в течение этих четырех веков погружена в самое унижительное невежество. В те времена люди, которые способны были читать—а таких было немного,—ограничивались изучением сочинений, поощрявших и усиливавших суеверие, каковы разные легенды и гомилии. Из этих источников почерпали они те наглые выдумки, из которых преимущественно слагалось богословие того времени<sup>20</sup>. Эти жалкие повести были чрезвычайно распространены и ценились, как непреложные, важные истины. Чем больше изучали литературу, тем больше верили таким повестям; другими словами, чем больше было учености, тем больше и невежества<sup>21</sup>. И я нимало не сомневаюсь, что если бы в седьмом и восьмом веках, составляющих худшую часть этого периода, знание алфавита было на время потеряно и люди не могли бы наслаждаться чтением любимых своих книг, то последующий прогресс Европы мог бы быть гораздо быстрее, чем он был действительно; потому что, когда началось движение, главным врагом его явилось легковерие, вскормленное литературой. Недостатка в лучших книгах не было, но любовь к ним пропала. Была литература Греции и Рима, сохраненная монахами, из которых иные по временам в нее заглядывали, а иные даже переписывали ее произведения. Но к чему могло послужить подобное чтение таким читателям? Они не только не способны были понять достоинство древних писателей, но даже не могли чувствовать красоты их слога и пугались смелости их исследований. При первом луче света глаза этих читателей были поражены слепотой. Они никогда не перелистывали языческого автора без того, чтобы не прийти в ужас от опасности, которой они подвергались; их постоянно преследовал страх, что вот они заразятся языческими понятиями и ввергнут душу свою в смертный грех. Вследствие такого настроения они нарочно оставляли в стороне великие образцовые произведения древности и заменяли их жалкими компиляциями, которые портили вкус читателей, увеличивали их легковерие, усиливали их заблуждения и послужили к продлению невежества Европы; каждый отдельный вид суеверия облекался в письменную, всем доступную, форму, и тем упрочивалось его влияние, и он получал возможность ослаблять рассудок даже в самом отдаленном потомстве.

Вот почему свойства литературы какого-нибудь народа имеют гораздо меньшее значение, чем умственное состояние тех, кому приходится читать ее произведения. В века, справедливо называемые темными, существовала литература, в которой можно было найти драгоценные материалы; но не было никого, кто бы сумел ими воспользоваться. В продолжение значительного периода латинский язык был живым наречием, и люди того времени могли, если бы хотели, изучать великих латинских писа-

телей. Но любовь к подобного рода занятиям возможна только при состоянии общества, совершенно отличном от тогдашнего. Люди того времени, подобно людям всех вообще времен, измеряли достоинства мерилom, общепринятым в их веке; по тогдашним понятиям, мишура ценилась дороже золота; вот почему тогдашние люди бросали золото, а копили мишуру. Что происходило тогда, то происходит в меньшем размере и теперь. Всякая литература содержит в себе кое-что истинное и много ложного, и действие ее будет зависеть от искусства, с которым истина будет отделена от лжи. Новые идеи и новые открытия имеют для будущего такую важность, которую трудно было бы преувеличить; но до тех пор, пока истины не сознаны и открытия не приняты, они не имеют никакого влияния и, следовательно, не приносят никакой пользы. Никакая литература не сделает добра народу, не подготовленному к восприятию ее. В этом отношении оказывается полная аналогия между литературой и религией. Если религия и литература какой-либо страны не соответствуют ее потребностям, то обе окажутся бесполезными, потому что литература будет в пренебрежении, а предписаниям религии не станут повиноваться. В подобных случаях самые дельные книги не находят читателей и самое чистое учение подвергается презрению. Сочинения предаются забвению, вера искажается ересью.

Есть еще одно мнение, о котором я упоминал, это именно мнение, будто бы Европа главным образом обязана своей цивилизацией уменью, обнаруженному различными правительствами, и той смелости, с какой болезни общества были облегчаемы посредством законодательных лекарств. Всякому, кто изучал историю по оригинальным источникам, мысль эта должна казаться до такой степени дикой, что весьма трудно опровергать ее с приличной серьезностью. Действительно, из всех общественных теорий, когда-либо появлявшихся на свет, нет ни одной, которая была бы до такой степени шатка и гнила во всех своих частях. Нам сразу бросается в глаза весьма простое соображение, что при обыкновенных обстоятельствах правительствами какой бы то ни было страны бывали жители той же страны, вскормленные ее литературой, взращенные в ее преданиях и пропитанные ее предрассудками. Такие люди суть во всяком случае только творения своего века, но никак не творцы его. Принимаемые ими меры суть результаты, а не причины общественного прогресса. Это может быть подтверждено не только умозрительными доводами, но также и посредством практического соображения, которое всякий читающий историю может проверить сам для себя. Никакое политическое улучшение, никакая реформа в сфере законодательной или исполнительной ни в одной стране не были обязаны своим началом правителям этой страны. Первые предложения подобных мер постоянно происходили со стороны смелых и даровитых мыслителей, которые замечают злоупотребление, изобличают его и указывают средство к его устранению. Но еще долго после этого даже самое

просвещенное правительство продолжает поддерживать злоупотребление, отвергая целебное средство. С течением времени при благоприятных обстоятельствах давление внешней необходимости становится до того сильным, что правительство принуждено бывает уступить ему; а когда реформа уже совершилась, то ожидают со стороны народа преклонения перед мудростью правителей, которые все это сделали. Что политический прогресс совершается именно таким порядком, это должно быть хорошо известно каждому, кто изучал кодексы различных стран в связи с изучением успехов их знания, предшествовавших изменениям в законодательстве. Полные и решительные доказательства этому будут представлены в настоящем сочинении, но в виде пояснения я здесь могу указать на отмену «хлебных законов»<sup>22</sup> — без сомнения, один из замечательнейших фактов в истории Англии девятнадцатого века. Что отменить законы о зерновом хлебе было полезно и даже необходимо — это теперь признает каждый сколько-нибудь сведущий человек; но нас занимает только вопрос о том, каким образом эта отмена совершилась. Те из англичан, которые мало знают историю своей страны, скажут, что настоящая причина всему делу — мудрость парламента; другие же, пытаясь вникнуть в дело несколько глубже, припишут все деятельности особой лиги против законов о зерновом хлебе (Anti-Corn-Law-League) и произведенному ею давлению на правительство. Но тот, кто проследит в подробности постепенный ход этого великого вопроса, найдет, что правительство, законодательство и лига были бессознательно орудиями той власти, которая сильнее всех других властей, соединенных вместе. Они были только органами, посредством которых выражалось развитие общественного мнения по этому предмету, начавшееся почти столетием раньше. Весь ход этого обширного движения я еще буду иметь случай рассмотреть; теперь же достаточно сказать, что вскоре после половины восемнадцатого века нелепость покровительственных стеснений в отношении торговли была вполне доказана политэкономами, так что в ней должен был убедиться каждый, кто понял их доводы и вникнул в смысл фактов, находящихся с ними в связи. С этого времени отмена законов о зерновом хлебе стала не делом партии или целесообразности, а просто делом знания. Люди, знавшие факты, были против законов, а не знавшие стояли за них. Очевидно было, что при распространении знания до известного предела законы не могли устоять. Лига содействовала этому распространению, парламент уступил ему — вот в чем заключалась их заслуга. Но то достоверно, что и члены лиги, и члены законодательных палат могли не более как только ускорить слегка событие, которое успехи знания делали неизбежным. Если б эти люди жили столетием раньше, то они не имели бы ни малейшего успеха, потому что век был бы не довольно зрел для их деятельности. Они были созданиями того движения, которое началось задолго до их рождения; и все, что они могли сделать, это

привести в действие то, чему учили другие, и повторить более громким голосом уроки, слышанные ими от своих учителей. Потому что ни другие, ни даже они сами не считали чем-нибудь новым те истины, которые они проповедовали с трибуны и распространяли во всех частях королевства. Учение это создано было гораздо ранее и постепенно делало свое дело, отнимая почву у старых заблуждений и приобретая себе единомышленников во всех направлениях. Преобразователи нашего времени плыли по течению; они содействовали тому, чему невозможно было бы долго сопротивляться. И это нельзя считать слишком малой или скупой похвалой услугам, несомненно оказанным этими людьми. Оппозиция, с которой им пришлось бороться, все-таки была чрезвычайно сильна; то упорное сопротивление, которое встречали до последней минуты начала свободной торговли, опиравшиеся в течение почти ста лет на доводы столь же твердые, как доказательства, лежащие в основании математических истин, должно надолго остаться в памяти людей как убедительный пример отсталости, свойственной политическому знанию, и неспособности политических законодателей быть судьями в подобных вопросах; огромного стоило труда склонить парламент к дарованию того, что народ решил непременно получить,—к принятию меры, необходимость которой доказывали самые способные люди в течение трех последовательных поколений.

Я выбрал этот случай как пояснительный пример, потому что относящиеся до него факты не подлежат спору и, конечно, свежи в памяти каждого из нас. Действительно, не было тайной в то время и не должно быть тайной для потомства то обстоятельство, что эта великая мера, которая, за исключением билля о реформе (Reform Bill), несравненно важнее всех законодательных актов, когда-либо изданных британским парламентом, была, подобно биллю о реформе, исторгнута у законодательной власти силой давления извне; что уступка эта сделана не охотно, а с опасением и что билль об отмене *corn-laws* проведен был теми государственными людьми, которые, посвятив всю свою жизнь борьбе против его начал, внезапно сделались их защитниками. Такова история этих событий; такова тоже история всех улучшений, которые, по важности своей, должны считаться эпохами в истории новейшего законодательства.

Кроме того, есть еще одно обстоятельство, достойное внимания писателей, которые приписывают значительную долю европейской цивилизации влиянию мер, принятых европейскими правительствами, именно то обстоятельство, что каждая великая реформа, которая была совершена, состояла не в создании чего-либо нового, а в отмене чего-нибудь старого. Самыми ценными приобретениями законодательства были меры, уничтожавшие какие-нибудь прежние законы; а в числе законов, которые были вновь издаваемы, наилучшими всегда оказывались законы об отмене прежде изданных постановлений. В случае, только что

нами приведенном, относительно законов о зерновом хлебе все дело состояло в отмене старых законов и в предоставлении торговле ее естественной свободы. Когда великая реформа эта совершилась, то единственным результатом ее было водворение того же порядка вещей, который имел бы место, если б вовсе не было вмешательства со стороны правительства. Точно то же замечание может быть применено к другому важному улучшению в новейшем законодательстве — именно к уменьшению религиозных преследований. Уменьшение это составляет, бесспорно, огромное благо, хотя, к несчастью, в этом отношении даже самые цивилизованные страны еще далеки от совершенства. Но тут, очевидно, вся уступка заключается только в том, что законодатели воротились на пройденный ими путь и разделили то, что сами же сделали. Рассматривая образ действия самых человеческих и просвещенных правительств, мы увидим, что они шли именно этим путем. Стремления новейшего законодательства ограничиваются тем, что возвращают дела в ту колею, из которой их вытеснило предшествовавшее законодательство. Вот одна из великих задач настоящего века, и ежели законодатели хорошо выполняют ее, то заслужат благодарность человечества. Но законодатели, как целый класс, не имеют никаких прав на благодарность, хотя мы и можем быть благодарны отдельным законодателям. Ежели самые важные улучшения законодательства состоят в отмене прежних законов, то ясно, что перевес добра не может быть на стороне законодателей. Очевидно, нельзя приписывать успехи цивилизации тем людям, которые в самых важных вопросах наделали столько зла, что законодатели следующих поколений считаются благодетелями человечества, ежели только разрушают дело предшественников и снова приводят вещи в то положение, в котором бы они оставались, когда бы политические деятели не мешали течению дел, соответствующему потребностям общества.

Действительно, вмешательство правительствующих классов было так велико и бедствия, причиненные этим вмешательством, так значительны, что здравомыслящие люди удивляются, как могла цивилизация подвигаться вперед при таком постоянном умножении препятствий. В некоторых европейских странах препятствия оказались в самом деле непреодолимыми и положительно остановили национальный прогресс. Даже в Англии, где по причинам, которые будут мною вскоре изложены, высшие классы были в течение нескольких веков менее могущественны, чем где-либо, — даже в Англии сумма зла, причиненного ими, хотя и меньшая, чем в других странах, была все-таки довольно значительна, чтобы составить предмет грустной главы в истории человечества. Перечесать все бедствия Англии значило бы написать историю английского законодательства; вообще можно доказать, что, за исключением известных необходимых законов относительно охранения порядка и наказания за преступления, почти все, что было сделано, представляет собою ряд промахов.

Так, ежели взять для примера только самые очевидные факты, не подлежащие спору, то положительным образом оказывается, что все самые важные интересы человечества жестоко пострадали от попыток законодателей оказать им пособие. Между принадлежностями новейшей цивилизации нет предмета важнее торговли: ее развитие способствовало к увеличению благосостояния и счастья человека, конечно, в большей мере, чем всякий другой отдельный деятель. Между тем каждое европейское правительство, издававшее много законов относительно торговли, действовало совершенно так, как будто бы имело прямой целью подавить торговлю и разорить торговцев. Вместо того чтобы предоставить национальную промышленность естественному ее развитию, ее тревожили бесконечным рядом постановлений; все эти постановления имели в виду пользу промышленности и все жестоко ей вредили. Этот образ действия привел к тому, что все коммерческие преобразования, которыми Англия отличалась в течение последних двадцати лет, состояли единственно в отмене актов этого зловредного, навязчивого законодательства. Изданные в прежнее время законы по предмету торговли, из которых еще слишком многие остаются в своей силе, представляют собою зрелище, достойное удивления. Можно без преувеличения сказать, что история торгового законодательства Европы содержит в себе всевозможные ухищрения к подавлению торговли. И действительно, писатель с большим авторитетом недавно объявил, что если б не контрабанда, то торговля не могла бы существовать и неминуемо должна была бы погибнуть вследствие этого беспрестанного вмешательства<sup>23</sup>. Как бы ни могло казаться парадоксальным подобное мнение, его не станет оспаривать никто из тех, кому известно, до какой степени торговля была некогда слаба и как сильны были препятствия, которые стояли на пути ее. Во всех отраслях ее и во всякое время чувствовалась рука правительства. Пошлины на ввоз и пошлины на вывоз; привилегии, чтобы поднять убыточную торговлю, и налоги, чтобы подавить прибыльную; запрещение одной отрасли промышленности и поощрение другой; такой-то предмет торговли не должно было производить в метрополии, потому что его производили колонии, другой можно было производить и покупать, но не перепродавать, между тем как третий можно было продавать и покупать, но не отпускать за границу. Далее опять мы находим законы, определяющие задельную плату, законы, определяющие цены, законы, определяющие барыши, законы, определяющие проценты на деньги; таможенные порядки самого стеснительного свойства, с присоединением еще той запутанной системы, которая метко названа скользящей лестницей (sliding-scale)<sup>24</sup>, — система эта до того коварно и хитро придумана, что пошлины на один и тот же предмет постоянно менялись и никто на свете не мог рассчитывать вперед, сколько ему придется заплатить. К этой неопределенности, которая сама по себе уже смертельный яд для торговли, присоединялась тягость пошлин,

отзывавшаяся на всех классах производителей и потребителей. Пошлины были до того велики, что удваивали, а часто и учетверяли стоимость произведений. Была организована и строго поддерживаема целая система вмешательства в дела рынков, мануфактур, заводов и даже лавок. Акцизные стражи стерегли города, гавани покрыты были роем таможенных чиновников,—единственное занятие тех и других состояло в надзоре почти за всеми отправлениями домашней промышленности, в заглядывании во все тюки и во взимании пошлин со всевозможных товаров; а в довершение нелепости большая часть всего этого творилась в видах покровительства, т. е. при этом давали уразуметь, что деньги взыскиваются и народ подвергается стеснению не ради нужд правительства, а ради поданных; другими словами, грабили промышленников для поощрения промышленности.

Таковы некоторые из благодеяний, оказанных европейской торговле отеческой заботливостью европейских законодателей. Но это еще далеко не весь вред. Как ни велико экономическое зло, порожденное этой системой, зло нравственное было еще больше. Первым неизбежным последствием ее было происхождение многочисленных и сильных шаек вооруженных контрабандистов, которые жили нарушением законов, предписанных невежественными правителями их отечества. Контрабандисты, люди отчаянные вследствие постоянного страха наказания и привычные к совершению всякого рода преступлений, заразили пограничное народонаселение, внесли в мирные села пороки, дотоле неизвестные, причиняли разорение целых семейств, распространяли везде, где появлялись, пьянство, воровство и разврат и прививали всем, с кем сближались, те грубые и грязные привычки, которые естественно рождаются среди бродяжнической и беззаконной жизни. Происшедшие оттого бесчисленные преступления должны прямо пасть на ответственность европейских правительств, которые их вызывали. Причина преступлений заключалась в законах; и теперь, когда эти законы отменены, преступления исчезли. Но едва ли кто станет утверждать, что интересы цивилизации подвинулись вперед вследствие подобной политики. Едва ли кто станет утверждать, что мы многим обязаны этой системе, которая, породив новый класс преступников, наконец возвращается к старым порядкам и этим, конечно, пресекает преступления, но в сущности не более как уничтожает то зло, которое сама же сделала.

Нет надобности говорить, что эти замечания нисколько не касаются тех действительных услуг, которые всякое сносно организованное правительство оказывало обществу. В каждой стране должен кто-нибудь иметь власть карать преступления и постановлять законы,—иначе нация будет в состоянии анархии. Но обвинение, которое историк не может не предъявить против каждого из существовавших до сих пор правительств, состоит в том, что каждое из них переходило за пределы свойственных ему отправлений и этим на всяком шагу причиняло



неизмеримое зло. Любовь к отправлению власти оказалась до того всеобщей, что никто из людей, какого бы то ни было класса, имея в руках своих власть, не воздерживался от употребления ее во зло. Поддерживать порядок, предохранить слабого от притеснений со стороны сильного и принять известные меры предосторожности относительно общественного здоровья — вот единственные услуги, которые может оказать какое бы то ни было правительство интересам цивилизации. Что эти услуги имеют огромное значение — никто не станет отрицать; но нельзя сказать, что ими двигается вперед цивилизация или ускоряется прогресс человечества. Услуги эти приготавливают почву для прогресса, но не более; самый же прогресс должен зависеть от других условий. Основательность такого именно взгляда на законодательство очевидно доказывается еще и тем фактом, что по мере распространения знания и по мере того, как с приобретением опытности каждое последовательное поколение становится способнее понимать сложные отношения жизни, — люди более и более настойчиво требуют отмены тех покровительственных законов, издание которых политические деятели считали величайшим торжеством политического предвидения.

Итак, ежели заботы правительства о пользах цивилизации при полном успехе имеют характер чисто отрицательный, переходя же в направление положительное — становятся вредными, то ясно, что все суждения, приписывающие прогресс Европы мудрости ее правителей, должны быть ошибочны. Это заключение опирается не только на приведенные уже нами доводы, но и на множество фактов, которые могут быть указаны на каждой странице истории. Так как ни одно правительство не признавало надлежащих пределов своей власти, то в результате оказывается, что каждое правительство причинило своим подданным много вреда, причем почти всегда руководствовалось самыми лучшими намерениями. Последствия покровительственной политики, выразившиеся в стеснении торговли и, что гораздо хуже, в размножении преступлений, только что были нами очерчены, а к этим примерам можно прибавить бесчисленное множество других. Так, в течение многих столетий каждое правительство считало своей неременной обязанностью покровительствовать религиозной истине и преследовать религиозное заблуждение. Это причинило бездну зла. Оставляя в стороне все другие соображения, достаточно будет упомянуть два главных последствия такого взгляда — именно развитие лицемерия и клятвопреступлений. Там, где исповедание особых убеждений сопряжено с опасностью какого бы то ни было наказания, — непременно происходит увеличение лицемерия. Какие бы ни представлялись примеры отдельных лиц, но то достоверно, что для большинства людей чрезвычайно трудно долго противостоять постоянным искушениям. А когда искушение представляется людям в виде почести или денежного вознаграждения, то они слишком

часто бывают готовы исповедовать господствующие убеждения и отказываться, конечно, не от своего верования, но от наружных признаков, посредством которых верование это публично высказывается. Каждый человек, делающий такой шаг,—лицемер, и каждое правительство, поощряющее подобные поступки, поощряет лицемерию и создает лицемеров. Итак, можно смело сказать, что когда какое-либо правительство объявляет, в виде приманки, что лица, исповедующие известные верования, будут пользоваться известными преимуществами, то оно поступает, как поступил некогда искуситель, и, подобно злему духу, гнусным образом предлагает блага мира сего тому, кто захочет переменить свое поклонение и отречься от своей веры. В то же время, как необходимая принадлежность той же системы, увеличение клятвопреступления шло рядом с увеличением лицемерия. Законодатели, ясно видя, что невозможно положиться на таких новообращенных, придумали для предупреждения опасности необыкновенные меры предосторожности: они заставляли людей подтверждать свою веру многократными клятвами и тем думали защитить старую веру против новообращенных. И вот это недоверие к побуждениям ближнего породило клятвы всевозможных видов и направлений. В Англии даже мальчика в школе заставляют присягать в таких предметах, которых он не в состоянии понимать,—предметах, с которыми не могут совладать и более зрелые умы. Если этот мальчик впоследствии вступает в парламент, то он опять должен клясться в своих религиозных убеждениях и почти на каждой ступени политической жизни должен принимать новую присягу; так, нередко торжественность присяги представляет страшный контраст с пошлыми обязанностями, к которым она служит вступлением. Вследствие торжественного призывания Божества в свидетели на каждом шагу произошло то, чего и должно было ожидать: присяги, предписываемые по заведенному порядку, превратились наконец в простую формальность. Что легко принимается, то легко и нарушается. Лучшие наблюдатели английского общества—а в числе их были люди разных характеров и нередко противоположных убеждений—все единогласно свидетельствуют, что в Англии клятвопреступление, непосредственный виновник которого само правительство, есть зло до такой степени общее, что оно сделалось источником национальной испорченности, уменьшило ценность человеческого свидетельства и поколебало свойственное человеку доверие к слову ближнего<sup>25</sup>.

Открытые пороки и, что еще опаснее, тайная порча, порожденные таким образом в обществе невежественным вмешательством христианских правителей,—конечно, грустные явления, но я не могу умолчать о них, разбирая причины цивилизации. Легко было бы зайти далее в этом исследовании и показать, каким образом законодатели во всех своих попытках оказать покровительство каким-нибудь особенным интересам и поддержать какие-либо особенные начала не только не имели успеха, но даже

приходили к результатам прямо противоположным их целям. Мы видели, что их законы, направленные в пользу промышленности, послужили ей во вред; что их законы в пользу религии увеличили лицемерие, и, наконец, законы, изданные ими ради ограждения истины, поощряли клятвопреступление. Точно таким же порядком почти в каждой стране были принимаемы меры к предупреждению лихвы и понижению процентов на деньги, и везде оказывался один и тот же результат — увеличение лихвы и возвышение процентов на деньги. Никакое запрещение при всевозможной строгости не в силах уничтожить естественного отношения между спросом и предложением, и вследствие этого, когда одним нужно занять, другим отдать деньги в долг, то обе стороны непременно находят средства избежать закона, который мешает им пользоваться каждому своим правом. Если бы обеим сторонам предоставлено было на свободе решить условия их сделки, то количество процентов зависело бы от обстоятельств займа, каковы: степень обеспеченности и вероятие уплаты. Но правительственное вмешательство<sup>26</sup> усложнило этот естественный процесс. Так как ослушники закона всегда подвергаются известному риску, то ростовщик весьма основательно не дает денег в долг, пока не выговорит себе вознаграждения за страх грозящего ему наказания. Это вознаграждение может дать только заемщик; таким образом, на деле оказывается, что заемщик принужден платить, собственно, двойные проценты: одни — за риск, естественно сопряженный для займодавца с каждой отдачей денег в долг, а другие — за добавочный риск, зависящий от закона. И вот в какое положение поставило себя каждое европейское законодательство. Своими мерами против лихвы оно увеличило зло, которое имело в виду уничтожить; оно постановило законы, к нарушению которых принуждают людей самые настоятельные человеческие потребности; и при этом в окончательном выводе оказывается, что наказание за подобное нарушение падает на тот самый класс, ради пользы которого произошло вмешательство законодателей.

В этом же духе вмешательства и под влиянием тех же ложных понятий о покровительстве великие христианские правительства принимали и другие, еще более вредные меры; они с напряженной деятельностью постоянно возобновляли попытки к уничтожению свободы печати и отнятию у людей всякой возможности выражать свои мысли о самых важных политических и религиозных вопросах. Почти во всех странах правительства с помощью церкви учреждали обширную литературную полицию, единственное назначение которой — уничтожать несомненное право каждого гражданина излагать свои убеждения перед согражданами. В весьма немногих странах, где правительства остановились перед этими крайностями, они не преминули обратиться к другим средствам, менее насильственным, но столь же предосудительным. Там, где не было прямо запрещено свободное распространение знаний, приняты были всевозможные меры

к его замедлению. На все учебные пособия, на все орудия распространения знания, как-то: бумагу, книги, политические журналы и т. п.—правительства налагали до того тягостную пошлину, что если б они были даже присяжными защитниками народного невежества, то и тогда едва ли придумали что-нибудь хуже. В самом деле, смотря на такие распоряжения правительств, можно истинно сказать, что они обложили данью человеческий ум—самую мысль заставили платить пошлину. Всякий, кто пожелает сообщить свои мысли другим с целью по возможности увеличить запас человеческих познаний, должен предварительно выплатить известную дань государственному казначейству. Это штраф за то, что человек учит своих ближних. Это выкуп, который правительство насильно берет с литературы, после чего оно уже с нею примиряется и воздерживается от дальнейших требований. Но что всего невыносимее,—это употребление, на которое идут эти и другие, подобные им, поборы, выжимаемые из всякой отрасли труда, как материального, так и умственного. Действительно, есть от чего прийти в ужас, когдаобразишь, ради чего происходит и стеснение знания, и уменьшение прибыли, получаемой от честного труда, терпеливого мышления и нередко глубокого гения; страшно подумать, что большая часть их скудной жатвы идет на увеличение роскоши праздного и невежественного слоя общества, на удовлетворение прихоти немногих могущественных личностей, которые слишком часто имеют возможность обращаться против народа средства, добытые его же трудом.

Как эти, так и предыдущие замечания относительно действия, произведенного политическим законодательством на европейское общество, далеко не сомнительные выводы, основанные на предположениях, а такие истины, которые каждый, кто читает историю, может сам проверить. Некоторые из приведенных мною законодательных мер еще и теперь имеют силу в Англии; и все они могут быть наблюдаемы в полном их действии не в той, так в другой стране. Совокупность этих мер представляет собою явление до того грозное, что мы по справедливости можем удивляться, как ввиду всего этого цивилизация могла двигаться вперед. Что она при таких обстоятельствах действительно подвигалась, это доказывает энергию человека и оправдывает существование твердой веры в то, что по мере уменьшения давления законодательства и освобождения человеческого ума от законодательных оков прогресс будет совершаться с увеличивающейся скоростью. Но приписывать законодательству какую бы то ни было долю прогресса — нелепость, насмешка над здравым смыслом; неразумно также ожидать от будущих законодателей других благодеяний, кроме того, которое будет состоять в уничтожении работы их предшественников. Вот чего просит у законодателей настоящее поколение, а чего одно поколение просит как дара, того другое требует как права—это следует помнить. Когда же в праве упрямо отказывали, то в таком случае происходило всегда одно из двух: или нация шла назад, или же восставала. Вот

дилемма, в которую упрямое правительство ставит подданных. Если они покорятся, то повредят своему отечеству, если восстанут — могут повредить ему еще более. В древних монархиях Востока народ обыкновенно выбирал систему покорности; в монархиях европейских — систему сопротивления. Отсюда ряд восстаний и возмущений, занимающих такое обширное место в новейшей истории и представляющих собой повторение все той же повести о вечной борьбе между притеснителями и притесненными. Однако несправедливо было бы отрицать, что в одной стране в течение нескольких поколений успешно предотвращали роковой кризис. В одной европейской стране, и только в одной, народ был так силен, а правительство было так слабо, что история ее законодательства, в сложности, представляет собой, несмотря на некоторые отклонения, историю медленно, но постоянно совершавшихся уступок; реформы, в которых бы отказали логическим доводам, даны были по страху; и в то же время вследствие постоянного усиления демократических идей покровительственные меры и привилегии были одна за другой (некоторые на нашей памяти) совершенно искоренены; дошло наконец до того, что старые постановления, сохраняя прежнее свое имя, потеряли свою прежнюю силу; и нет более сомнения насчет их будущей окончательной судьбы. Едва ли нужно присовокуплять, что в этой самой нации, где более, чем во всякой другой стране Европы, законодатели являются представителями и послушниками народной воли, прогресс по этому самому совершался с большей, чем где-либо, правильностью; не было ни анархии, ни революции; и свет имел случай коротко ознакомиться с великой истиной, что главное условие благосостояния народа заключается просто в следующем: чтобы правители страны пользовались своей властью весьма бережливо и ни в каком случае не имели бы притязания на степень верховных судей в интересах народа, а также не считали бы себя вправе идти наперекор желаниям тех, ради блага которых они занимают вверенное им место.

## ГЛАВА VI

### Начало истории и состояние исторической литературы в средние века

Итак, я представил читателям разбор тех наиболее заметных обстоятельств, которым обыкновенно приписывают успехи цивилизации, и доказал, что обстоятельства эти далеко не составляют причины цивилизации, а могут быть признаны разве только ее последствиями; доказал, что хотя религия, литература и законодательство и имеют, без сомнения, влияние на состояние человечества, но сами еще более подчиняются влиянию этого последнего. И в самом деле, как мы ясно видели, религия, литература и законодательство, даже при самом благоприятном положении их, могут быть только второстепенными деятелями; как бы ни было благотворно их кажущееся влияние, они сами все-таки составляют продукт предшествовавших перемен, и те результаты, к которым они приводят, бывают различны, смотря по обществу, на которое они действуют.

Таким образом с каждым последовательным анализом круг настоящего исследования нашего становился все теснее, пока нам не представился наконец основательный повод заключить, что европейская цивилизация обязана своим развитием одним успехам знания и что успехи знания зависят от числа истин, открываемых человеческим умом, и от степени распространения этих истин. В подкрепление этому предложению я до сих пор представлял только такие общие доводы, которые делают его в сильнейшей степени правдоподобным; но для возведения этого правдоподобия в полную достоверность необходимо будет прибегнуть к истории в широком смысле этого слова. Подкрепить умозрительные выводы полным перечислением самых важных частных фактов — вот задача, которую я намерен выполнить, насколько позволят мои силы. В предыдущей главе я вкратце изложил метод, которого я буду придерживаться в моих исследованиях. Кроме того, мне показалось, что выведенные мною начала можно проверить еще одним способом, о котором я до сих пор не упоминал, но который имеет тесную связь с занимающим нас предметом, а именно: соединить с исследованием успехов истории человека такое же исследование самой науки истории. Это прольет значительный свет на движение общества, так как всегда должна быть связь между образом воззрения людей на прошедшее и образом воззрения их на настоящее — оба воззрения на деле оказываются не более как различными формами одного и того же склада мыслей, и потому в каждом веке между ними бывает заметно некоторое сочувствие, некоторое согласие. Подобного рода исследование того, что я называю историей истории, приведет также в достоверную известность

два крупных факта, имеющие большую важность. Первый факт — что в течение трех последних столетий историки вообще обнаруживали все большее и большее уважение к человеческому уму и отвращение к тем бесчисленным ухищрениям, которые прежде совершенно оковывали его. Второй факт — что в течение того же периода времени те же историки проявляли все большую и большую склонность пренебрегать предметами, некогда почитавшимися за особенно важные, и охотнее обращали внимание на предметы, имеющие связь с состоянием народа и с распространением знания. Оба этих факта будут положительным образом доказаны в настоящем введении; и нельзя не согласиться, что существование их служит подтверждением выведенным мною начал. Если можно доказать, что с усовершенствованием общества историческая литература постоянно направлялась в одну определенную сторону, то это весьма сильно говорит в пользу верности тех воззрений, к которым она явно приближается. Именно этого рода вероятность и делает особенно важным для изучающего какую-нибудь отдельную науку знакомство с ее историей; ибо всегда можно смело предположить, что когда знание вообще подвигается вперед, то и каждая отрасль его, если только ей посвятили себя люди способные, тоже подвигается вперед, хотя бы даже результаты были так малы, что казались бы не заслуживающими внимания. Вот почему особенно полезно следить за тем, как с течением времени изменялась точка зрения историков. Мы найдем, что изменения эти всегда наконец оказывались клонящимися в одну сторону; что они составляют в сущности только часть того великого движения, посредством которого человеческий ум, преодолевая бесконечные трудности, восстанавливал свои права и мало-помалу освобождался от застарелых предрассудков, долгое время останавливавших его деятельность.

По всем этим соображениям мне кажется полезным, рассматривая различные цивилизации, между которыми поделены главнейшие страны Европы, показывать также, каким образом писалась вообще история в каждой из этих стран. При исполнении этого я буду главнейшим образом руководствоваться желанием сделать очевидным существование тесной связи между настоящим состоянием народа и его суждениями о прошедшем; а чтобы иметь постоянно перед глазами эту связь, я буду рассматривать состояние исторической литературы не как отдельный предмет, но как часть истории умственного развития каждого народа. Настоящий том будет содержать в себе обзор главнейших характеристических черт французской цивилизации до революции; тут же будет включен разбор французских историков и сделанных ими замечательных улучшений в их отрасли знания. Отношение между этими улучшениями и тем состоянием общества, из которого они проистекли, поразительно, и потому оно будет разобрано с некоторой подробностью; в следующем же томе будут рассмотрены таким же порядком цивилизация и историческая литература других замечательных стран. Прежде,

однако, чем приступить к этим предметам, мне пришла мысль, что предварительное исследование происхождения европейской истории не лишено было бы интереса в том отношении, что ознакомило бы читателей с вещами вообще малоизвестными и дало бы им возможность понять, с каким трудом история достигла своего теперешнего, сравнительно лучшего, но все еще весьма несовершенного состояния. Материалы для изучения самого раннего состояния Европы уже давно утрачены; но обширные сведения, которые мы теперь имеем о варварских народах, послужат нам большой помощью; потому что все такие народы имеют между собою много общего; действительно, мнения крайние невежественных людей везде одни и те же, исключая только те случаи, в которых мнения эти зависят от различий, представляемых самой природой разных стран. Потому я, не колеблясь, воспользуюсь данными, собранными сведущими путешественниками, и сделаю по ним заключение о том периоде истории европейского ума, о котором мы не имеем прямых сведений. Конечно, это будут выводы умозрительные; впрочем, за последнюю тысячу лет нам вовсе не придется прибегать к ним, так как все главнейшие страны имели своих летописцев, начиная с IX столетия, а Франция имела их целый ряд, даже начиная с VI столетия. В настоящей главе я намерен показать образчики того, как писали обыкновенно историю до XVI столетия люди, пользовавшиеся самым большим авторитетом в Европе. Об улучшениях, последовавших в этой отрасли знания в XVII и XVIII столетиях, будет упомянуто особо, в истории каждой из стран, в которых сделаны были эти успехи; а так как до этих улучшений история была не более как сплетением грубейших ошибок, то я прежде всего рассмотрю главнейшие причины такого повсеместного искажения ее и покажу, как дошла она до такого безобразия, что в течение нескольких столетий в Европе не было ни одного человека, который критически изучил бы прошедшее или который мог бы хотя с сносной верностью записать события его собственного времени.

В весьма ранний период развития народа и задолго до того, как он ознакомится с употреблением букв, он чувствует потребность в чем-нибудь таком, что бы могло услаждать его досуг в мирное время и возбуждать его храбрость на войне. Потребности этой удовлетворяет изобретение баллад. Они составляют основание всякого исторического знания и встречаются в том или другом виде даже у некоторых из самых грубых племен на земном шаре. Они по большей части поются особого класса людьми, единственное занятие которых — хранить таким образом запас преданий. И действительно, так естественно любопытство, возбуждаемое в людях прошедшими событиями, что весьма немного народов, которые бы не знали таких бардов или менестрелей. Так можно сказать — ограничиваясь лишь несколькими примерами, — что именно этого рода певцы сохранили народные предания не только Европы, но и Китая, Тибета, Татарии,



а также Индии, Синда, Белуджистана, Западной Азии, Египта, Западной Африки, Северной Америки, Южной Америки и островов Тихого океана.

Во всех этих странах долго не знали букв; а так как в таком состоянии общества народ не имеет других средств увековечить свою историю как изустные предания, то он и выбирает для них форму, наиболее приспособленную к легчайшему удержанию их в памяти. Поэтому, я полагаю, первые зачатки знания всегда должны были состоять в поэзии и часто в рифмах<sup>1</sup>. Все, что звенит, приятно для слуха варвара — в этом и заключается ручательство, что он передаст рассказ своим детям в том же неиспорченном виде, в каком он достался ему самому<sup>2</sup>. Такое ограждение от ошибок придает еще большую ценность балладам, которые, вместо того чтобы считаться просто предметом забавы, возвышаются иногда до значения авторитетов при разрешении некоторых спорных вопросов. Намека, заключающегося в балладе, бывает иногда достаточно для решения спора о заслугах соперничающих родов или даже для определения границ тех грубых видов поземельной собственности, какие возможны в таком состоянии общества. Так мы находим, что известные декламаторы и сочинители этого рода песен бывают в то же время и признанными судьями во всех спорных вопросах; а так как они часто принадлежат к духовенству и предполагаются вдохновленными свыше, то это, вероятно, и послужило первым основанием мнению о божественном происхождении поэзии<sup>3</sup>. Баллады бывают, конечно, различные, смотря по обычаям и характеру каждого народа и смотря по климату, в котором он живет. На юге они принимают страстную форму, на севере же отличаются скорее героическим, воинственным характером. Несмотря, однако, на такие различия, все этого рода произведения имеют одну общую черту: не только в основании их лежит истина, но и сами они, за исключением поэтических украшений, строго верны истине. Людей, которые беспрестанно повторяют постоянно слышимые ими песни и которые обращаются к признанным певцам этих песен за окончательным разрешением спорных вопросов, нелегко ввести в заблуждение насчет тех предметов, в достоверности которых для них заключается такой живой интерес.

Вот самая ранняя и самая простая из ступеней, по которым должна необходимо пройти история. Но с течением времени, если только не случается неблагоприятных обстоятельств, общество подвигается вперед, и в числе других перемен бывает одна, имеющая особенную важность, — я разумею введение письма, которое, прежде чем пройдет несколько поколений, должно произвести совершенную перемену в характере народных преданий. Каким именно образом совершается такая перемена, этого, сколько мне известно, еще никто не объяснил, и потому интересно будет попробовать проследить некоторые подробности этого процесса.

Первое, я может быть, самое очевидное, соображение заключается в том, что введение письма дает прочность народному

знанию и, следовательно, уменьшает пользу той устной передачи сведений, которой должны ограничиваться все средства научения неграмотного народа. Вот почему, по мере прогресса нации, значение преданий уменьшается и самые предания становятся менее достоверны<sup>4</sup>. Притом в таком состоянии общества хранители этих преданий теряют значительную долю своей прежней известности. У совершенно неграмотного народа певцы баллад оказываются, как мы уже видели, единственными хранителями тех исторических фактов, от которых зависит главнейшим образом слава и часто даже собственность их правителей. Но тот же самый народ, знакомясь с употреблением письма, уже не желает более верить этого рода предметы памяти какого-нибудь странствующего певца, а пользуется своим новым искусством, чтобы сохранить их в неизменной, осязательной форме. Как скоро совершается подобная перемена, значение лиц, повторяющих народные предания, видимо, уменьшается. Класс этот постепенно мельчает; с утратой его прежней известности в нем перестают являться те замечательные личности, которым он был обязан своей древней славой. И так мы видим, что хотя без письма и не может быть особенно важного знания, но тем не менее справедливо, что введение письма вредно для исторических преданий в двух различных отношениях: во-первых, оно ослабляет силу самых преданий, а во-вторых, ведет к упадку класс людей, занимающихся хранением их.

Но это еще не все. Употребление письма не только уменьшает число преемственных истин, но и прямо потворствует распространению всего ложного. Это происходит в силу, так сказать, принципа накопления, которому все системы верований в значительной мере были обязаны своим успехом. Так, например, в древности давалось имя Гёркулес многим из тех великих публичных грабителей, которые были бичами человечества и которые, если их злодеяния оказывались столь же удачны, как и громадны, могли, наверно, рассчитывать, что после смерти им будут поклоняться, как героям. Как произошло это название, с достоверностью неизвестно; но, по всей вероятности, оно было сперва дано одному человеку, а потом перешло и на тех, которые уподоблялись ему свойством своих подвигов. Такого рода повторение одного имени весьма обыкновенное дело у варварского народа<sup>5</sup>, и оно не подавало повода ни к каким недоразумениям до тех пор, пока предания ограничивались известной местностью и оставались разрозненными. Но лишь только они облеклись в постоянную письменную форму, люди, собиравшие их, обманутые сходством имен, соединяли в одно целое разбросанные факты и, приписывая одному человеку все это скопление подвигов, низводили таким образом историю до значения мифологии, исполненной чудес<sup>6</sup>.

Таким точно образом вскоре после того, как употребление букв сделалось известно на севере Европы, Саксон Грамматик начертал жизнеописание знаменитого Рагнара Лодброка. Слу-

чайно ли или с намерением, этому великому скандинавскому воину, заставлявшему дрожать Англию, дано было одинаковое имя с другим Рагнаром, принцем ютландским, который жил целым столетием ранее. Это совпадение имен не произвело бы никакого недоразумения, если б каждая из стран сохраняла особое, самостоятельное сказание о своем Рагнаре. Но с помощью письма люди получили возможность соединять в одно целое два различных хода событий и как бы сливать две истины в одну ложь. Так именно было и в рассказываемом нами случае. Легковерный Саксон соединил различные подвиги обоих Рагнаров и, приписав эти подвиги во всей целости своему любимому герою, покрыл мраком одну из занимательнейших частей истории Европы.

Летописи севера представляют нам еще один любопытный пример такого источника заблуждения. Значительную часть восточного берега Ботнического залива занимало финское племя квенов (Quaens). Местность эта была известна под именем Квенландии (Quaenland), и это имя подало повод к поверью, будто на севере Балтийского моря существует нация амазонок. Предположение это нетрудно было проверить знакомством с самой местностью, но употребление письма сразу упрочило эту пустую молву, и некоторые из древнейших европейских историков положительно утверждают, что такой народ действительно существует. Река Амазонка, в Южной Америке, обязана своим именем подобной же басне. Так точно Або, древняя столица Финляндии, называлась Турку (Turku), что по-шведски значит «рыночное место»; Адам Бременский в своем изыскании о странах, прилегающих к Балтийскому морю, был введен в такое заблуждение словом Turku, что стал уверять своих читателей, будто в Финляндии были турки.

К этим примерам можно было бы прибавить и много других, показывающих, до какой степени одни имена вводили в заблуждение прежних историков и подавали повод к совершенно ложным свидетельствам. Подобные показания легко было проверить на месте, но с помощью письма они заносились в отдаленные страны и через это становились вне всякого противоречия. Приведу еще один из таких случаев, касающихся, собственно, истории Англии. Ричард I, самый варварский из всех наших государей, был известен современникам под именем Льва, — название, которое было ему дано вследствие его неустрашимости и дикости нрава. По этому самому говорили, что у него львиное сердце, и титул *Coeur de Lion* не только стал неразделен с его именем, но и подал повод к рассказу, повторенному бесчисленным множеством писателей, о том, будто бы он убил льва в единоборстве. Имя подало повод к рассказу, а рассказ подтвердил имя, и таким образом прибавилась новая выдумка к длинному ряду ложных слухов, из которых слагалась главнейшим образом история в средние века.

Искажению истории, происшедшему естественным образом от самого уже введения письма, способствовало в Европе еще

одно обстоятельство. Вместе с письмом приобретались в большей части случаев и кое-какие познания о христианстве, и новая религия не только уничтожала некоторые из языческих преданий, но и искажала остальные примесью монашеских легенд. Исследование о том, до каких размеров доходили подобные искажения, не лишено было бы интереса, но для большинства читателей, может быть, достаточно будет одного или двух примеров.

Мы мало имеем положительных данных о самом раннем состоянии великих северных народов, но еще сохраняются некоторые из песен, в которых скандинавские поэты рассказывали деяния своих предков или своих современников; и, несмотря на искажения, сделанные впоследствии в этих песнях, люди, на суд которых можно положиться, допускают, что в них содержатся истинные исторические события. В девятом же и десятом столетиях христианские миссионеры проникли за Балтийское море и распространили сведения о своей религии среди жителей Северной Европы<sup>7</sup>. Лишь только это случилось,— исторические источники стали искажаться. В конце двенадцатого столетия Сэмунд Мудрый, христианский священник, собрал не записанные еще народные сказания севера в так называемую «Старшую Эдду» и удовольствовался тем, что только прибавил к ним, в виде улучшения, христианский гимн. Спустя сто лет сделано было другое собрание туземных сказаний, но тут упомянутое мною начало, имевшее уже больше времени для своего действия, выразилось еще яснее. В этом втором собрании, известном под именем «Младшая Эдда», находится приятное смешение греческих, еврейских и христианских басен; и тут в первый раз встречаем мы в скандинавских летописях значительно распространенную басню о чем-то вроде троянской высадки<sup>8</sup>.

Если, продолжая приводить примеры, мы обратимся затем к другим частям света, то найдем целый ряд фактов, подкреплявших наше воззрение. Мы найдем, что в странах, где не было никакой перемены религии, история отличается большей достоверностью и связностью, чем в странах, где такие перемены происходили. В Индии брахманизм, преобладающий и до сих пор, утвердился с такого давнего времени, что начало его теряется в отдаленнейшей древности<sup>9</sup>. Поэтому туземные летописи никогда не были искажаемы примесью нового суеверия, и индусы обладают более древними историческими преданиями, чем какой-либо другой азиатский народ. Точно так же китайцы сохраняли с лишком 2000 лет религию Фо, один из видов буддизма. Вследствие этого Китай, несмотря на то что цивилизация его никогда не могла сравниться с индийской, имеет свою историю, конечно не такую древнюю, какую нам выставляют ее туземцы, но все-таки восходящую за несколько столетий до христианской эры, с которой она доведена непрерывной цепью до нашего времени<sup>10</sup>. С другой стороны, персы, которые, конечно, превосходили китайцев умственным развитием, все-таки не имеют достоверных сведений о первых событиях своей древней монархии.

Я не думаю, чтобы этому могла быть какая-нибудь другая причина, кроме того факта, что Персия вскоре по обнаружении Корана была завоевана магометанами, которые совершенно изменили религию персов и тем прервали цепь народных преданий<sup>11</sup>. Вот почему, за исключением мифов Зендавесты, мы не имеем никаких сколько-нибудь ценных туземных авторитетов для персидской истории, до самого появления в XI столетии «Шах-Наме»; но и тут Фирдоуси смешал чудесные сказания двух религий, которые были введены одна за другою в его отечестве. В результате оказывается, что если бы не были открыты памятники, надписи и монеты, то мы должны были бы положиться на скудные и неточные подробности, сообщаемые греческими писателями, и на них основать все наше знание истории одной из важнейших монархий Азии<sup>12</sup>.

Даже у более варварских народов мы видим действие того же самого начала. Малайско-полинезийская раса занимает, как известно всем этнологам, длинный ряд островов, простирающийся от Мадагаскара до расстояния в 2000 миль от западного берега Америки, т. е. до Восточного Острова, который составляет, по-видимому, крайний предел этой расы. Первоначальной религией этого широко раскинутого племени был политеизм, чистейшие виды которого долго сохранялись на Филиппинских островах. Но в XV столетии многие из полинезийских племен были обращены в магометанство, и вслед за тем стал совершаться решительно тот же процесс, на который я указал в других странах. Новая религия, изменив направление мыслей народа, повредила чистоте народной истории. Из всех островов Малайского архипелага самой высшей цивилизации достигла Ява. Теперь же не только утрачены исторические предания яванцев, но даже в сохранившиеся списки их царей вставлены имена магометанских святых. С другой стороны, мы находим, что на близлежащем острове Бали, где до сих пор сохраняется древняя религия, народ еще помнит и любит легенды Явы.

Бесполезно было бы приводить дальнейшие доказательства того, что у не вполне цивилизованного народа введение новой религии всегда имеет влияние на чистоту первых исторических источников. Достаточно только заметить, что таким образом христианские священники запутали летописи всех обращенных ими европейских народов и уничтожили или исказили предания галлов, валийцев, ирландцев, англосаксов, славян, финнов и даже исландцев.

Ко всему этому присоединились еще другие обстоятельства, действовавшие в том же направлении. Благодаря событиям, которые я рассмотрю впоследствии, литература Европы незадолго до окончательного распада Римской империи попала совершенно в руки духовных лиц, которые долго пользовались всеобщим уважением, как единственные наставники человечества<sup>13</sup>. В течение нескольких столетий чрезвычайно редко можно было встретить светского человека, который умел бы читать и писать, а еще

реже такого, который мог бы сочинить книгу. Литература, став, таким образом, монополией одного класса людей, приняла и особенности, свойственные ее новым двигателям. А так как духовные вообще считали своей обязанностью скорее укреплять веру, чем поощрять пылливость, то неудивительно, что они проявили и в своих сочинениях дух, свойственный обычным отправлениям их профессии. Вот почему, как я уже заметил, в продолжение многих веков литература вместо того, чтобы приносить пользу обществу, только вредила ему, увеличивая легковерие и тем задерживая успехи знания. И в самом деле, привычка ко лжи сделалась так сильна, что не существовало такой вещи, которой люди не были бы готовы поверить. Ничто не оскорбляло их жадного, легковерного слуха. Рассказы о предвещаниях, чудесах, видениях, странных предзнаменованиях, чудовищных явлениях на небе, самые дикие и ни с чем не сообразные нелепости передавались из уст в уста и списывались из книги в книгу с таким тщанием, как будто бы это были лучшие сокровища человеческой мудрости<sup>14</sup>. Что Европа могла когда-либо выйти из такого состояния, это служит самым разительным доказательством необыкновенной энергии человека, ибо мы даже не можем представить себе состояние общества, более неблагоприятное для его прогресса. Но ясно, что, пока совершилось это освобождение, всеобщее легковерие и легкомыслие сделали людей неспособными к исследованию, так что для них стало невозможным предаваться с успехом изучению прошедшего, ни даже верно отмечать, что происходило вокруг них.

Итак, возвращаясь к только что приведенным нами фактам, мы можем сказать, оставляя в стороне некоторые обстоятельства совершенно второстепенные, что были три главные причины искажения истории Европы в средние века. Первой причиной было внезапное введение в употребление письма и происшедшее оттого смешение различных местных преданий, которые, порознь взятые, были верны, соединенные же в одно целое — составляли ложь. Второй причиной была перемена религии, которая действовала двояким путем: она не только прерывала древние предания, но и искажала их прибавлениями. Третья же причина, вероятно самая могущественная, заключалась в том, что история составляла монополию класса людей, которые, по самому положению своему, должны были легко всему верить и, кроме того, имели прямой интерес в поддержании всеобщего легковерия, так как на нем основывалось их собственное значение.

Действием этих причин история Европы в средние века доведена была до такого искажения, которому мы не можем найти ничего подобного ни в каком другом периоде. Что не было, собственно говоря, истории, это еще составляло самое малое неудобство, но беда в том, что недовольные отсутствием истины люди заменяли ее сочинением лжи. В ряду бесчисленных примеров подобных выдумок один вид их особенно достоин внимания

в том отношении, что в нем проявляется та любовь к древности, которая составляет отличительную черту класса людей, писавших в то время историю. Я говорю о выдумках, касающихся происхождения различных народов,—во всех их можно ясно различать дух средних веков. В продолжение многих столетий каждый народ был убежден, что он происходит в прямой линии от предков, участвовавших в осаде Трои. Это было такого рода предположение, которое никто и не думал подвергать сомнению<sup>15</sup>. Весь вопрос был только в подробностях этой славной генеалогии. Впрочем, по этому предмету мнения были до известной степени согласны; не говоря уже о второстепенных народах, всеми было признано, что французы — потомки Франка, о котором все знали, что он был сыном Тёктора; известно было также, что бритты происходят от Брута, который был не более и не менее как сыном самого Энея<sup>16</sup>.

Касаясь происхождения известных городов, великие историки средних веков бывают также сообщительны. В сказаниях о таких городах, как и в жизнеописаниях замечательных людей, у них история обыкновенно начинается с самых отдаленных времен; события, связанные с их предметом, часто ведутся непрерывной цепью с самого того момента, когда Ной вышел из ковчега или даже когда Адам переступил за врата рая<sup>17</sup>. В иных случаях они не находят такой глубокой древности, но сведения их все-таки восходят чрезвычайно далеко. Так, они говорят, что столица Франции названа по имени Париса, сына Приамова, который будто бы бежал туда после падения Трои<sup>18</sup>. Утверждают также, будто город Tours обязан своим именем тому обстоятельству, что в нем похоронен Turnus, один из троянцев, а что город Troyes был действительно построен троянцами, как ясно будто бы доказывает этимология его имени. Считалось совершенно достоверным даже в конце XVI столетия, что Нюрнберг назван по имени императора Нерона, а Иерусалим — по имени царя Иебуса (Jebus); последнее имя пользовалось большой известностью в средние века, но в действительности существования такого лица историки не могли удостовериться. Река Гумбер получила будто бы свое название оттого, что в ней в древности утонул один царь гуннов. Галлы происходили, по мнению одних, от Галатии (Galathia), женского потомка Ноя, по мнению же других — от Гомера (Gomer), сына Иафетова. Пруссия была названа по имени Прусса, брата Августова. Это еще было замечательно недревнее происхождение; Силезия, напротив, получила свое имя от Елисея Пророка, от которого будто бы силезцы действительно происходили; касательно же города Цюриха существовал спор только насчет года и числа основания его, но считалось несомненным (даже в начале XVII столетия), что он был построен во время Авраама. От Авраама и Сары происходили непосредственно цыгане; сарадины, те были менее чистой крови, потому что происходили от одной Сары, а каким именно путем — не сказано; они, вероятно, родились от другого брака

или, может быть, были плодом какой-нибудь египетской связи. Во всяком случае достоверно будто бы, что шотландцы пришли из Египта, ибо они первоначально произошли от Скоты, дочери Фараона, которая и завещала им свое имя.

О многих подобных же вещах средние века имели такие же драгоценные сведения. Всем было известно, что город Неаполь построен на яйцах<sup>19</sup>; было также известно, что орден св. Михаила учрежден лично самим Архангелом, который был первым рыцарем и которому рыцарство обязано своим происхождением. О татарах знали, что они произошли от Тартара, который, по словам одних теологов, был низшей степенью ада, а по словам других — настоящим адом. Как бы то ни было, но факт происхождения татар от преисподней не подлежал никакому сомнению и подтверждался многими обстоятельствами, показывавшими, какое роковое, таинственное влияние мог иметь этот народ. Турки были то же, что и татары; и всем было известно, что с тех пор, как крест попал в руки турок, у всех христианских детей стало десятью зубами менее, чем бывало прежде, — общее бедствие, которому, по-видимому, не было никаких средств пособить.

Другие вопросы, относившиеся к прошедшим событиям, разрешались с такой же легкостью. В Европе в продолжение многих столетий единственной всеупотребительной животной пищей была свинина; говядина же, телятина и баранина были сравнительно мало известны<sup>20</sup>; потому с немалым удивлением рассказывали крестоносцы по возвращении с Востока, что они были у такого народа, который, подобно евреям, считает свинину нечистым мясом и не соглашается есть ее. Но живейшее удивление, возбужденное таким известием, рассеялось, лишь только объяснена была причина этого факта. Объяснение это предпринял Матвей Парис, замечательнейший историк в XIII столетии и один из самых замечательных писателей в средние века. Этот знаменитый писатель сообщает нам, что магометане не хотят есть свинину вследствие одного особенного обстоятельства, случившегося с их Пророком. Оказывается, что Магомет, наевшись и напившись однажды до бесчувственности, заснул на куче навоза и в этом постыдном положении найден был стадом свиней, которые напали на лежащего Пророка и задушили его до смерти; что по этой причине последователи его и питают отвращение к свиньям и не соглашаются есть их мясо. Этим резким фактом объясняется одна из главных особенностей магометан<sup>21</sup>; другим же фактом, не менее резким, объясняется самое происхождение их секты. Всем было известно, что Магомет был сперва кардиналом, еретиком же сделался только потому, что ему не удалось быть избранным в папы<sup>22</sup>.

Во всем, что касалось ранней истории христианства, великие писатели средних веков были особенно любознательны; они сохранили память о таких событиях, о которых без них мы вовсе ничего не знали бы. После Фруассара знаменитейшим историком XIV столетия был, конечно, Матвей Вестминстерский, имя кото-



рого по крайней мере хорошо знакомо большей части читателей. Этот замечательный человек устремил свое внимание, между прочим, на историю Иуды, с целью раскрыть обстоятельства, под влиянием которых развивался характер этого архиотступника. Изыскания его были, по-видимому, весьма обширны; но главным их результатом было то открытие, что Иуда, еще ребенком, был оставлен родителями, которые высадили его на остров Скариот, отчего он и получил имя Искаротиота. К этому историк прибавляет, что, достигнув зрелого возраста, Иуда, между прочим, убил своего отца и затем женился на своей матери. Этот же писатель в другой части своей истории упоминает об одном факте, весьма любопытном для тех, кто изучает древности папского престола. Возник вопрос о том, прилично ли целовать папу в ногу, причем даже теологи выразили некоторое сомнение насчет этой странной церемонии. Но и это затруднение было разрешено Матвеем Вестминстерским, который объясняет нам настоящее происхождение этого обычая. Он говорит, что сперва было обыкновение целовать его святейшество в руку, но что в конце VIII века одна распутная женщина, подойдя под благословение папы, не только поцеловала ему руку, но и пожалала ее. Папа—его звали Львом,—видя опасность, отрезал себе руку и таким образом освободился от осквернения, которому подвергался. С того времени принята была предосторожность целовать у папы, вместо руки, ногу. Чтобы никто не мог усомниться в справедливости такого рассказа, историк уверяет нас, что рука, которая была отрезана пятьсот или шестьсот лет тому назад, еще существует в Риме и составляет вечное чудо, так как она сохранилась в Латеране в своем первоначальном виде, без всякой порчи. А так как некоторые читатели могли бы пожелать узнать что-нибудь и о самом Латеране, где хранилась рука, то историк подумал и об этом в другой части своего обширного сочинения, в которой он возвращается по этому поводу к императору Нерону. Он рассказывает, что этот гнусный гонитель веры изверг однажды из себя лягушку, покрытую кровью, и, думая, что это его дитя, приказал запереть ее под сводом, где она и оставалась скрытой некоторое время. А так как в латинском языке *latere* значит «быть скрытым», а *gala* значит «лягушка», то от соединения этих двух слов и получилось название Латерана, который и был действительно построен на том месте, где найдена была лягушка.

Нетрудно наполнить целые тома подобными сведениями, которым всегда свято верили в те времена тьмы, или—как их справедливо называли—времена веры. Это были истинно золотые дни для духовного сословия: легкоеверие людей доходило до такой степени, что, казалось, обеспечивало духовенству долгое и повсеместное преобладание. О том, каким образом омрачились впоследствии надежды духовенства и как разум человеческий начал возмущаться, будет рассказано в другой части этого введения, где я постараюсь проследить развитие того светского, скептического духа, которому обязана своим

происхождением европейская цивилизация. Но прежде чем заключить настоящую главу, не мешает привести еще несколько примеров мнений, существовавших в средние века. Я выбираю для этого два исторических сказания, которые пользовались самой большой популярностью, которые имели наибольшее влияние и которым более всего верили.

Это именно рассказы об Артуре и Карле Великом. На обоих сочинениях красуются имена сановников церкви, и оба они были приняты с почтением, какое подобает их знатым авторам. Рассказ о Карле Великом назван летописью Турпина (Turpin) и, как полагали, написан Турпином, архиепископом Реймским, другом императора и его спутником в битвах. Некоторые места этого рассказа дают право думать, что он, собственно, написан в начале XII столетия; но в средние века люди не были так сметливы в этого рода вещах, и потому нельзя было и ожидать, чтобы кто-либо стал оспаривать подлинность этого сочинения. И в самом деле, имя архиепископа Реймского служило достаточным ручательством; поэтому-то мы находим, что в 1122 г. книга эта была формально одобрена папой, а Винсент де Бовэ (Vincent de Beauvais), один из знаменитейших писателей XIII столетия, воспитатель сыновей Людовика IX, упоминает о ней как о драгоценном сочинении, как о главном авторитете по истории царствования Карла Великого.

Книга, которую так много читали и которая удостоилась одобрения таких сведущих судей, может служить довольно хорошей вывеской знания и идей того времени. Поэтому краткий взгляд на нее может быть полезен для настоящей цели нашей в том отношении, что даст нам понять, с какой крайней медленностью усовершенствовалась история и какими почти незаметными шагами она подвигалась вперед, пока наконец вдохнули в нее новую жизнь великие мыслители XVIII столетия.

Из летописи Турпина узнаем мы, что вторжение Карла Великого в Испанию было последствием непосредственного внушения св. Иакова, брата св. Иоанна. Апостол, будучи сам причиной нападения, принял меры и к обеспечению его успеха. Когда Карл Великий осаждал Пампелуну и город оказывал упорное сопротивление, осаждающие вознесли мольбы к небу, и стены внезапно упали до основания. После этого император быстро завоевал всю страну, почти совсем уничтожил магометан и построил бесчисленное множество церквей. Но средства дьявола неистощимы. На стороне неприятеля является великан, по имени Ферракут, потомок древнего Голиафа. Этот Ферракут был страшнее всех противников, каких встречали до тех пор христиане. Силой он равнялся сорока человекам; лицо его имело локоть длины; руки и ноги его были по четыре локтя; весь рост его был двадцать локтей. Против него Карл Великий посылал самых лучших воинов, но их всех легко одолевал этот великан, о силе которого можно составить некоторое понятие из того уже факта, что даже пальцы его имели по три ладони длины. Христианами овладел ужас.

Тщетно выходили на великана с лишком двадцать отборных людей,— ни один не воротился из боя; Ферракут взял всех их подмышку и унес в плен. Наконец выступил знаменитый Роланд и вызвал его на смертный бой. Завязалась упорная борьба, и христианин, не видя того успеха, которого ожидал, вовлек противника в теологический спор. Тут язычник был легко побежден; Роланд же, разгоряченный спором, стал сильнее напирать на неприятеля, ударил его мечом и нанес смертельную рану. С этим погибла последняя надежда магометан; христианское оружие окончательно восторжествовало, и Карл Великий разделил Испанию между теми храбрыми спутниками своими, которые помогли ему завоевать эту страну.

Об истории Артура средние века имели сведения столь же достоверные. Разные ходили рассказы об этом славном государе; но их относительное достоинство не было определено до самого начала XII столетия, когда предмет этот привлек внимание Гальфрида, известного архидиакона Монмутского. Этот замечательный человек в 1147 г. по Р. Х. издал результаты своих исследований в сочинении, которое назвал «История бриттов». В сочинении этом он бросает обширный взгляд на весь вопрос и не только рассказывает о жизни Артура, но и перебирает обстоятельства, приготовившие появление этого великого завоевателя. В том, что касается действий Артура, историку особенно посчастливилось, потому что материалы, необходимые для этой части его труда, были собраны Вальтером, архидиаконом Оксфордским, который был другом Гальфрида и, подобно ему, с любовью занимался историей. Итак, книга Гальфрида оказывается произведением совокупных трудов двух архидиаконов и имеет право на уважение не только поэтому, но и потому, что она была одним из самых популярных произведений средних веков.

Первую часть этой обширной истории занимают результаты изысканий архидиакона Монмутского о состоянии Британии до восшествия на престол Артура. Эта часть не имеет для нас особенной важности. Можно, впрочем, заметить, что архидиакон привел в известность, что по взятии Трои Асканий бежал из этого города, и у него родился сын, который и был отцом Брута. В те дни Англия была заселена великанами; но все они были убиты Брутом, который по истреблении этой породы построил Лондон, привел в порядок дела страны и назвал ее по своему имени — Британией. Далее архидиакон рассказывает действия длинного ряда королей, следовавших за Брутом, большая часть которых были замечательны по своему уму, некоторые же известны тем, что при них совершились большие чудеса. Так, в царствование Ривалло три дня сряду шел кровавый дождь; а при Морвиде берега страны были опустошены ужасным морским чудовищем, которое, растерзав бесчисленное множество людей, поглотило наконец и самого короля.

Эти и подобные им сведения архидиакон Монмутский передает как результаты своих собственных изысканий; в следующей

же за ними истории Артура он пользовался помощью своего друга архидиакона Оксфордского. Оба архидиакона сообщают своим читателям, что король Артур был обязан своим существованием волшебному действию Мерлина, знаменитого чародея. Обстоятельства этого дела рассказаны у них с такой мелочной подробностью, которая со стороны историков, облеченных в священный сан, представляет истинно замечательное явление. Действия Артура соответствовали его сверхъестественному происхождению. Ничто не могло устоять против его могущества. Он истребил огромное число саксов, завоевал Норвегию, вторгнулся в Галлию, где основал свой двор в Париже, и делал приготовления к покорению всей Европы. Он вступил в единоборство с двумя великанами и обоих убил. Один из этих великанов, живший на горе св. Михаила, был грозой всей страны: он убивал всех воинов, которых посылали на него, исключая только тех, кого он брал в плен с намерением съесть их живыми. Однако и он пал жертвой храбрости Артура так же, как и другой великан, по имени Рито. Последний был еще страшнее: ему мало было воевать с людьми обыкновенными — он одевался в шубы, сделанные из бород убитых им королей.

Вот что в XII веке рассказывали всему свету под именем истории, и рассказывали не темные писатели, а высшие сановники церкви. И не было недостатка ни в чем, что только могло доставить успех этому сочинению. В пользу его говорили имена архидиаконов Монмутского и Оксфордского; оно было посвящено графу Роберту Глостерскому, сыну Генриха I, и считалось таким важным приобретением для английской литературы, что главный автор его был даже возведен в сан епископа Асафского, — повышение, которым он был, говорят, обязан своим успехам в исследованиях по части английской истории. Книга, отмеченная до такой степени всевозможными знаками одобрения, может, конечно, служить недурной вывеской того века, который восхищался ею. И в самом деле, восхищение это было так всеобщее, что в течение нескольких столетий нашлось не более двух или трех критиков, которые сомневались в достоверности этой истории<sup>23</sup>. Краткое извлечение из нее, на латинском языке, было издано известным историком Альфредом Беверлеем; а для большого ознакомления всех с этой книгой она была переведена на английский язык Лэймоном, а на англо-норманнский — сперва Гемаром, а потом Уэсом, людьми усердными, которые озабочивались, чтобы важные истины, содержащиеся в ней, были как можно более распространены.

Едва ли нужно приводить еще какие-нибудь примеры для объяснения, каким образом писалась история в средние века; представленные выше образчики взяты не на выдержку, а извлечены из умнейших и знаменитейших писателей и потому лучше всего выражают собою значение и воззрения тогдашней Европы. В XIV и XV столетиях впервые обнаружился слабые признаки приближающейся перемены<sup>24</sup>; но это улучшение обозначилось

несколько явственнее не ранее конца XVI или даже начала XVII столетия. Главные моменты этого важного движения будут очерчены в другой части нашего введения, где я покажу, что хотя история и подвинулась, несомненно, вперед в XVII столетии, но почти до половины XVIII столетия не было ни одной попытки окинуть этот предмет более обширным взглядом; первыми сделали этот важный шаг великие мыслители Франции, за ними следовали два или три шотландца, а через несколько лет к ним присоединились и немцы. Реформа в истории была, как мы увидим, в связи с соответственными переменами в умственном направлении, имевшими влияние на социальные условия всех главнейших стран Европы. Но, не заглядывая вперед, в другую часть этого тома, достаточно сказать, что не только не было писано истории ранее конца XVI столетия, но и самое состояние общества было таково, что один человек и не мог написать ее. Знание в Европе еще не имело достаточной зрелости, чтобы можно было с успехом применять его к изучению прошедших событий. Мы не можем предположить, чтобы слабые стороны первых историков происходили от недостатка в них природных дарований. Средние умственные способности людей бывают, по всей вероятности, всегда одни и те же, но давление, производимое на них обществом, постоянно изменяется. Так, в прежнее время известное состояние всего общества было именно причиной того, что даже умнейшие люди верили самым ребяческим выдумкам. До тех пор, пока состояние это не изменилось, существование истории было невозможно, потому что невозможно было найти человека, который знал бы, что более всего стоило рассказывать, что следовало отбросить, а чему верить.

От этого происходило, что даже когда люди с такими замечательными способностями, как Макиавелли и Бодэн, изучали историю, то они не находили для нее лучшего назначения, как служить орудием политических расчетов; ни в одном из их сочинений мы не видим ни малейшей попытки возвыситься до таких обширных обобщений, которые обнимали бы собою все социальные явления. То же замечание применяется и к Коммину, который хотя и стоит ниже Макиавелли и Бодэна, но принадлежит все-таки к числу необыкновенно тонких наблюдателей и отличается редкой проницательностью в определении отдельных характеров. Но этим он был обязан своему собственному уму, между тем как влияние века, в котором он жил, делало его суеверным и жалко-близоруким по отношению к высшим целям истории. Его близорукость проявляется самым разительным образом в совершенном неведении о том великом умственном движении, которое в самое его время быстро ниспровергало феодальные учреждения средних веков. Он ни разу не упоминает об этом движении, а устремляет все свое внимание на пошлые политические интриги, в описании которых и полагает всю сущность истории<sup>25</sup>. Что же касается его суеверия, то на это не стоит приводить много примеров, так как не существовало человека

в XV столетии, ум которого не был бы ослаблен всеобщим легковерием. Можно, однако, заметить, что, несмотря на личное знакомство с государственными людьми и дипломатами, дававшее ему полную возможность видеть, как предприятия, начатые при самых лучших предзнаменованиях, расстраивались единственно от неспособности лиц, двигавших ими,—он все-таки во всех важных случаях приписывает подобные неудачи не настоящим причинам их, а непосредственному вмешательству Божества. Так решительно, так непреодолимо было это стремление пятнадцатого столетия, что и замечательный политик, человек светский, и притом человек, вполне знакомый с жизнью, сознательно утверждает, будто сражения проигрываются не потому, что армия бывает дурно снабжена, или кампания дурно задумана, или генерал неспособен, а потому, что народ или его повелитель оказываются нечестивыми и Провидение хочет наказать их. Война, говорит Коммин, есть великое таинство; Бог употребляет ее как орудие выполнения Своей воли и потому дарует победу один раз одной, другой раз другой стороне<sup>26</sup>. Поэтому тоже и внутренние беспокойства в государствах происходят не иначе как в силу Божеского предопределения; они никогда не случались бы, если бы цари или царства, достигнув благоденствия, не забывали о том, из какого источника излились на них все блага.

Такие попытки сделать из политики не более как отрасль<sup>27</sup> теологии характеризуют то время; и они тем более любопытны, что их делает человек весьма даровитый и притом состаревшийся в опытах общественной жизни. Если такого рода воззрения развивал не какой-нибудь монах в своем монастыре, а замечательный государственный человек, хорошо знакомый с делами общественными, то легко можно представить себе, каково было среднее умственное состояние тех, которые были во всех отношениях ниже его. Более чем очевидно, что от них ничего нельзя было ожидать и что много еще оставалось сделать шагов, прежде чем Европа могла бы освободиться от того суеверия, в которое она была погружена, и прервать те страшные преграды, которые задерживали ее дальнейшее движение.

Но при всем том, что многое еще оставалось сделать, не может быть ни малейшего сомнения, что движение вперед не прерывалось и что даже в то время, когда писал Коммин, обнаруживались уже несомненные признаки великой и решительной перемены. Но это были только намеки на то, что приближалось. Прошло около ста лет со смерти этого писателя, прежде чем обнаружился прогресс со всеми его последствиями; ибо хотя протестантская Реформация и была следствием прогресса, но она имела некоторое время неблагоприятное для него действие в том отношении, что поощряла самых даровитых людей к исследованию вопросов, недоступных для человеческого разума, и тем отвлекала их от таких предметов, в которых усилия их были бы полезны для общих целей цивилизации. Вот почему мы находим,

что немного, собственно, было сделано до конца XVI столетия, с которого, как увидим в следующих двух главах, теологическое рвение начало спадать в Англии и Франции, и подготавлился путь для той чисто светской философии, представителями которой были Бэкон и Декарт, но ни в каком случае не творцами<sup>28</sup>. Эта эпоха принадлежит к XVII столетию, которое мы и можем считать временем умственного перерождения Европы, точно так же как XVIII столетие — временем социального перерождения. В течение большей части XVI столетия легкое верие оставалось еще преобладающим свойством; им отличались не только низшие и самые невежественные классы, но и люди, получившие самое лучшее воспитание. На это можно найти бесчисленное множество примеров, но для краткости я ограничусь только двумя, особенно поразительными как по сопровождавшим их обстоятельствам, так и по влиянию их на людей, о которых можно было предположить, что они мало способны к подобным самообольщениям.

В конце XV и начале XVI столетия Штёффлер (Stoeffler), знаменитый астроном, был профессором математики в Тюбингене. Этот замечательный человек оказал большие услуги астрономии и один из первых нашел средства исправить ошибки юлианского календаря, по которому исчислялось тогда время. Но ни его способности, ни его познания не могли оградить его от действия духа того времени. В 1542 г. он обнаружил результаты каких-то темных вычислений, которыми он долго занимался и путем которых он привел будто бы в достоверную известность замечательный факт, что в тот именно год мир снова должен быть опустошен потопом. Подобное известие, сообщенное человеком, пользовавшимся большим влиянием, и сообщенное притом тоном совершенного убеждения, возбудило во всех живейшее беспокойство. Весть о приближавшемся событии быстро разнеслась по Европе и наполнила ее ужасом. Чтобы избежать первого напора воды, люди, имевшие дома около морей и рек, покидали их; другие, считая подобные меры не более как временными, принимали иные, более действенные. Выражали желание, чтобы на первый случай император Карл V назначил инспекторов для осмотра страны и для обозначения мест, которые, будучи наименее подвержены действию прилива, могли бы скорее всего служить убежищем. Это было желание императорского генерала, стоявшего в то время во Флоренции; по его внушению написана была книга, в которой излагался этот совет. Но умы людей были слишком взволнованы, чтобы усвоить себе такой обдуманый план; кроме того, не знали с достоверностью высоты прилива и потому не могли решить, может ли он достигнуть вершин самых высоких гор. Среди этих и подобных им соображений наступил роковой день, а между тем не было придумано ничего особенно важного для предотвращения бедствия. Если бы мы стали перечислять все, что было предлагаемо и отвергаемо, то это составило бы целую главу. Одно, впрочем,

предложение вполне достойно внимания, потому что оно было приведено в исполнение с большим усердием, и притом оно прекрасно характеризует тот век. Один священник, по имени Аურიоль, бывший в то время профессором канонического права в Тулузском университете, соображая в уме своем различные меры для отвращения всеобщего бедствия, остановился наконец на той мысли, что полезно было бы обратиться к тому образу действия, который с таким полным успехом был принят в подобном же случае Ноем. Едва родилась эта мысль, как ее привели уже в исполнение. Жители Тулузы оказали ему свою помощь, и построен был ковчег в той надежде, что хоть какая-нибудь часть человечества спасется в нем и станет продолжать свой род и снова заселит землю, после того как спадет вода и земля опять осушится.

Около семидесяти лет спустя после описанной нами тревоги случилось еще одно обстоятельство, которое в течение некоторого времени служило предметом занятия для самых знаменитых людей в одной из главнейших стран Европы. В конце XVI столетия произведено было страшное волнение известием, что у одного ребенка, родившегося в Силезии, оказался в челюсти золотой зуб. По произведенному исследованию, молва оказалась совершенно справедливой. Невозможно было скрыть это от публики; чудо вскоре стало известно по всей Германии, где на него смотрели как на таинственное предзнаменование, и потому всех страшно озабочивала мысль, что бы это могло значить. Настоящее значение этого факта первым раскрыл доктор Горст. В 1595 г. этот замечательный врач обнародовал результаты своих изысканий, из которых оказывалось, что при рождении означенного ребенка Солнце в соединении с Сатурном находилось в знаке Овна. Следовательно, событие хотя и было сверхъестественно, но не представляло ни в каком случае ничего страшного. Золотой зуб был предвестником золотого века, в котором император должен был изгнать турок из христианской земли и положить основание тысячелетнему царству. И на это, говорит Горст, находится ясный намек у Даниила в его известной второй главе, где пророк говорит о статуе с золотой головой.



## ГЛАВА VII

### Очерк истории умственного движения в Англии с половины XVI до конца XVIII столетия

Обыкновенный читатель, живущий в середине XIX столетия, с трудом может представить себе, что не более как за триста лет до его рождения общество находилось в умственном отношении в том состоянии глубокого мрака, которое изображено нами в предыдущей главе. Еще труднее ему понять, что мрак этот распространялся не только на людей среднего образования, но и на людей с замечательным дарованием, — людей, стоявших во всех отношениях впереди своего века. Такой читатель убедится, положим, в бесспорности самых фактов, проверит мои показания и признает их не подлежащими ни малейшему сомнению, — но все-таки ему будет трудно понять, как могло общество когда-нибудь находиться в таком состоянии, что люди охотно принимали жалкие бредни за самые важные и здравые истины и считали их существенной частью общего запаса европейского знания.

Но более тщательное изучение послужит в значительной мере рассеянию этого естественного удивления. По самой сущности дела, не только не удивительно, что верили таким вещам, но, напротив, было бы удивительно, если бы их отвергали. В те времена, как и во все другие, все было цельно. Не только в исторической литературе, но и во всех родах литературы, по всем ее предметам — в науке, в религии, в законодательстве — руководящим началом того времени было слепое легковерие, чуждое всякого сомнения. Чем более изучают историю Европы, предшествовавшую семнадцатому веку, тем полнее доказывается этот факт. От времени до времени появлялся великий человек, который не совсем разделял всеобщие верования, который шепотом выражал сомнение насчет существования великанов в тридцать футов ростом, крылатых драконов и армий, летающих по воздуху; который думал, что астрология может быть обманом, а некромантия — надувательством; и даже доходил до того, что возбуждал вопрос: действительно ли следует топить каждую колдунью и сжигать каждого еретика? Такие люди изредка действительно появлялись, но их презирали, как чистых теоретиков, пустых мечтателей, которые, не зная практической стороны жизни, осмеливаются дерзко противопоставлять собственный свой разум мудрости своих предков. В том состоянии общества, в котором люди эти родились, они не могли иметь прочного влияния. В самом деле, не довольно ли им было заботы о себе самих, о своей личной безопасности; ибо до самых последних годов шестнадцатого столетия не было страны, где не подвергалась бы большой опасности личность человека, выражавшего явное сомнение насчет верований своих современников.

Но пока не возникало сомнение, прогресс, очевидно, был невозможен, потому что, как мы ясно видели, успехи цивилизации зависят единственно от приобретений, делаемых человеческим умом, и от степени распространения этих приобретений. Но люди, вполне довольные своим знанием, никогда не попытаются увеличить его. Люди, совершенно уверенные в непогрешимости своих убеждений, никогда не дадут себе труда подвергнуть исследованию основание, на котором убеждения эти построены. Они всегда смотрят с удивлением, и часто с ужасом, на взгляды, противоречащие понятиям, наследованным от предков; а пока люди находятся в таком умственном состоянии, до тех пор невозможно, чтобы они приняли какую-либо новую истину, смущающую прежние их воззрения.

Итак, приобретение новых познаний должно необходимо предшествовать каждому шагу, который делает общество на пути прогресса; но в то же время самому приобретению этому должна предшествовать любовь к исследованию, а следовательно, и дух сомнения, ибо без сомнения не может быть исследования, а без исследования не может быть знания. Знание не есть неподвижное, страдательное начало, которое приходило бы к нам без нашей воли; чтобы приобрести знание, нужно сперва поискать его. Это результат больших трудов и, следовательно, больших пожертвований. Но нелепо было бы предположить, что люди обрекут себя на труд и решатся на жертвы ради изучения таких предметов, в которых они считают себя достаточно сведущими. Кто не сознает темноты, тот не станет искать света. В чем мы раз удостоверились, того не подвергаем дальнейшему исследованию, потому что дальнейшее исследование было бы бесполезно и, пожалуй, опасно. Пока не родилось сомнение, до тех пор не начинается и изучение. Итак, в акте сомнения зарождается прогресс, или по крайней мере он служит необходимым переходом ко всякому прогрессу. Вот он, тот скептицизм, одно имя которого приводит в священный ужас невежд, потому что он затрагивает милое им суеверие, потому что он налагает на них беспокойную обязанность исследования, потому, наконец, что он заставляет даже самые ленивые умы задать себе вопрос, действительно ли все так есть, как обыкновенно полагают, и все ли то в самом деле справедливо, чему с самого детства их учили верить.

Чем больше мы будем изучать великое начало скептицизма, тем яснее представится нам, какую громадную роль оно играло в успехах европейской цивилизации. Мы можем сказать — изображая в общих чертах то, что будет подробно и вполне доказано в настоящем введении, — что скептицизму обязаны мы тем духом пытливости, который в течение двух последних веков, постепенно завладевая всем, преобразовал все отрасли опытного и умозрительного знания, ослабил значение привилегированных классов и, следовательно, утвердил свободу на более прочном основании, наказал деспотизм, смирил дерзость вельмож и даже умень-

шил предрассудки духовенства. Одним словом, этот именно дух исправил три грубые ошибки прежнего времени,—ошибки, заключавшиеся в том, что люди были слишком доверчивы в политике, слишком легковерны в науке и слишком чужды терпимости в религии.

Этот беглый обзор всего, что было действительно сделано, пожалуй, может поразить тех читателей, которые не свыклись с такими обширными исследованиями. Но принцип, о котором идет речь, так важен, что я намерен проверить его в настоящем введении исследованием всех главнейших форм цивилизации. Подобного рода исследование приведет нас к тому замечательному заключению, что ни один отдельный факт не имеет для различных стран такого обширного значения, какое имеют продолжительность действия в них начала скептицизма, степень его развития и в особенности степень его распространения. В Испании церковь при помощи инквизиции всегда имела достаточно силы, чтобы наказывать скептических писателей и тем предотвращать, конечно, не существование, а проповедование скептических воззрений. Таким образом дух сомнения был постоянно подавляем, вследствие чего знание оставалось в состоянии почти совершенного застоя,—в таком же застое находилась и цивилизация, которая есть плод знания. Но в Англии и Франции,—странах, где, как мы скоро увидим, скептицизм открыто явился на свет и где он был наиболее распространен, оказались совершенно иные результаты. Поощряемая любовь к исследованию положила основание тому постоянно возрастающему знанию, которому эти две великие нации обязаны своим благосостоянием. В остальной части этого тома я прослежу историю скептицизма во Франции и Англии и рассмотрю различные формы, в которых он проявлялся в этих странах, а также отношение этих форм к национальным интересам. В порядке исследования я предоставляю первое место Англии, так как ее цивилизация, по причинам, уже изложенным мною, должна считаться более нормальной, чем цивилизация Франции, вследствие чего Англия, несмотря на все свои недостатки, приближается более к естественному типу, чем могла приблизиться ее великая соседка. Но так как самые полные подробности касательно английской цивилизации читатель найдет в главной части этого сочинения, то в настоящем введении я намерен посвятить ей не более одной главы, в которой рассмотрю нашу отечественную историю только по отношению к непосредственным последствиям скептического движения; другие же вспомогательные явления, имевшие, конечно, менее обширное значение, но все-таки довольно важные, я отложу до будущего случая. Самым важным последствием скептицизма было, без сомнения, развитие духа религиозной терпимости, поэтому я прежде всего изложу обстоятельства, при которых он впервые проявился в Англии в XVI столетии, а затем покажу, в какой мере другие события, непосредственно следовавшие за этим явлением, составляли часть того же прогресса и оказывались не более

как проявлением тех же самых начал, только в различных направлениях.

Тщательное изучение истории религиозной терпимости покажет нам, что во всех христианских странах, где привилось это начало, оно было насильно навязано духовенству влиянием светских сословий<sup>1</sup>. И до сих пор не знают религиозной терпимости в тех странах, где духовная власть сильнее светской; а так как в течение нескольких столетий все страны находились в таком положении, то неудивительно, что в ранней истории Европы мы почти не находим ни малейшего следа этого мудрого и благодетельного начала.

В то время, когда на престол английский вступила Елизавета, Англия была почти поровну поделена между двумя враждебными вероисповеданиями; но королева в течение некоторого времени так ловко умела уравнивать силы обеих сторон, что ни одна из них не имела решительного перевеса. Это был первый пример в Европе успешного управления государством, без деятельного участия духовной власти; в результате оказалось, что начало терпимости, хотя еще далеко не совершенно понимаемое, дошло в течение нескольких лет до такого развития, которое просто изумительно в такой варварский век<sup>2</sup>. К несчастью, по прошествии некоторого времени различные обстоятельства, которые будут изложены мною в своем месте, заставили Елизавету изменить свою политику,—может быть, при всей своей мудрости, она считала свой образ действия опасным опытом, для которого Англия еще едва ли обладала достаточно зрелым знанием. Но хотя она и позволяла теперь протестантам удовлетворять своей ненависти к католикам, однако среди последовавших за этим кровавых сцен было одно обстоятельство, особенно достойное внимания: многие лица были казнены единственно за свою религию — в том не было никакого сомнения, но никто не смел сказать, что причиной их казни была именно религия<sup>3</sup>. Их подвергали самым варварским наказаниям, но им говорили при этом, что они могли избавиться от казни, отказавшись от некоторых убеждений, которые были будто бы вредны для безопасности государства<sup>4</sup>. Правда, что многие из этих убеждений были такого рода, что ни один католик не мог отказаться от них, не отказываясь в то же время и от своей религии, существенную принадлежность которой они составляли. Но самый тот факт, что дух преследования должен был прибегать к такого рода уловкам, доказывал уже значительный прогресс того века. Уже то составляло весьма важное приобретение, что ханжа сделался лицемером и что духовенство при всей своей готовности жечь людей для блага их душ вынуждено было оправдывать свою жестокость соображениями более светского и, как им казалось, менее важного свойства<sup>5</sup>.

Замечательное доказательство происходившей в то время перемены видим мы в двух важнейших теологических сочинениях, вышедших в Англии в царствование Елизаветы. Гукеро

«Церковное устройство» (Ecclesiastical Polity), изданное в конце XVI столетия, еще и до сих пор считается одним из главнейших оплотов нашей отечественной церкви. Если мы сравним это сочинение с сочинением Джуеля (Jewel) «Защита английской церкви», которое было написано тридцатью годами ранее<sup>6</sup>, то нас тотчас же поразит различие методов, употребляемых этими замечательными писателями. И Гукер, и Джуель были оба людьми учеными и гениальными; оба были коротко знакомы с Библией, отцами церкви и постановлениями соборов; оба писали с сознательной целью защищать английскую церковь, и обоим были хорошо известны обыкновенные приемы теологических прений; но на этом и останавливается их сходство; сами люди были очень похожи друг на друга, сочинения же их совершенно различны. В тридцатилетний промежуток времени, разделяющий этих писателей, английский ум сделал огромные успехи; тех аргументов, которые в Джуелево время считались совершенно удовлетворительными, никто не стал бы и слушать в эпоху, когда писал Гукер. Сочинение Джуеля наполнено текстами из отцов церкви и постановлений соборов, голословные утверждения которых, когда они не противоречили Священному Писанию, он, по-видимому, считал уже положительными доказательствами. Гукер, напротив, хотя и оказывает большое уважение соборам, но мало опирается на отцов церкви; он, очевидно, руководствовался соображением, что читатели не обратят слишком большого внимания на бездоказательные мнения. Джуель внушает необходимость веры, а Гукер настаивает на упражнении разума<sup>7</sup>. Первый употребляет весь свой талант на то, чтобы собрать решения древности и решить, какой в них может быть предположен смысл. Второй приводит слова древних не столько из уважения к их авторитету, сколько с целью уяснить ими свои собственные аргументы. Так, например, оба, и Гукер, и Джуель, утверждают, что монарх имеет несомненное право вмешиваться в дела церкви; но Джуель воображал себе, что он доказал это право, напомнив, что им пользовались Моисей, Иисус Навин, Давид и Соломон<sup>8</sup>; Гукер, напротив, доказывает, что право это существует не в силу древности своей, а потому что оно разумно, потому что неосновательно было бы предположить, что люди недуховного звания станут подчиняться законам, которые изданы одним духовенством<sup>9</sup>. В таком же противоположном духе эти два великих писателя ведут и свою защиту английской церкви. Джуель, подобно всем писателям его времени, упражнял более свою память, чем свой ум; он думает, что решил весь спор тем, что набрал множество текстов из Библии и мнений различных комментаторов. Гукер, напротив, живя во время Шекспира и Бэкона, вынужден был придерживаться более глубоких взглядов. Его защита не основывается ни на преданиях, ни на комментаторах, ни даже на откровениях; он довольствуется тем, что обуславливает

справедливость притязаний двух враждующих сторон соответственностью их главным требованиям общества и удобоприменимостью к общим целям ежедневной жизни<sup>10</sup>.

Не нужно много проницательности, чтобы понять огромную важность той перемены, представителями которой служат эти два обширных сочинения. До тех пор, пока мнения в теологии защищались по старому догматическому методу, их нельзя было оспаривать без того, чтобы не подвергнуться обвинению в ереси. Когда же их стали защищать главнейшим образом общечеловеческими рассуждениями, то опора их значительно ослабела; в них вошел элемент недостоверности. Теперь можно было допустить, что аргументы одной секты так же хороши, как и аргументы другой, и что мы не можем быть уверены в справедливости наших убеждений, пока не услышим, что скажет противная сторона. По старой теологической теории легко было оправдать самые варварские преследования. Если человек знал, что единственная истинная религия есть та, которую он исповедует, если он знал также, что умирающие в другой вере обречены на вечную гибель, если он знал, что во всем этом не допускается ни малейшего сомнения,—то он смело мог сделать такой вывод, что наказывать тело для спасения души и обеспечивать бессмертным существам будущее спасение, даже при помощи таких жестоких средств, как петля или кол, есть дело благое. Но если того же самого человека научили думать, что религиозные вопросы должны быть разрешаемы как с помощью разума, так и с помощью веры, то едва ли он избегнет того рассуждения, что разум, даже в самых умных головах, не непогрешим, потому что он часто приводил самых способных людей к самым противоположным заключениям. Когда такое понятие распространено в каком-нибудь народе, то оно не может не иметь влияния на его поступки. Ни один человек сколько-нибудь здравомыслящий и честный не решится подвергнуть другого за его религию всей строгости законов, если он знает, что его собственные убеждения легко могут оказаться ложными, а убеждения наказанного им человека — справедливыми. С той минуты, как религиозные вопросы освобождаются от юрисдикции веры и подвергаются суду разума, преследование за веру является самым грустным видом преступления. Так было в XVII столетии, когда теология, сделавшись разумнее, стала менее самонадеянна и потому более человечна. Через семнадцать лет после издания великого сочинения Гукера два человека были публично сожжены английскими епископами за еретические убеждения. Но это был последний вздох умирающего ханжества; с этого памятного дня почва Англии уже ни разу не была запятнана кровью страдальца за религиозные убеждения.

Итак, мы видели зарождение того скептицизма, с которого в естественных науках должно всегда начинаться знание, а в религии — терпимость. Конечно, нет никакого сомнения, что в обоих случаях отдельные мыслители могут с помощью больших усилий

врожденного гения освободиться от действия этого закона, но в прогрессе целой нации такого уклонения быть не может. Пока люди приписывают движения комет непосредственному действию перста Божьего и пока они веруют, что солнечное затмение есть одно из выражений Божьего гнева, до тех пор они не могут сделаться виновны в богопротивном притязании предсказывать такие сверхъестественные явления. Прежде чем они осмелятся исследовать причины этих таинственных явлений, необходимо, чтобы они уверовали или по крайней мере заподозрили, что подобные явления могут быть объяснены человеческим умом. Точно так же, пока люди не решатся представить некоторым образом свою религию на суд своего разума, до тех пор они не будут в состоянии понять, как могут быть различные верования или как может кто-нибудь расходиться с ними в убеждениях, не делаясь через это виновным в самом тяжком и непростительном преступлении<sup>11</sup>.

Если мы проследим далее развитие идей в Англии, то увидим всю справедливость сделанных нами выше замечаний. Всеобщий дух пытливости, сомнения и даже сопротивления стал овладевать умами людей. В естественных науках это дало им возможность одним разом сбросить старинные оковы и создать науки, основанные не на преданиях старины, а на личных наблюдениях и опытах. В политике плодом такого возбуждения было восстание против правительства, окончившееся смертью короля на эшафоте. В религии дух этот породил тысячи сект, из которых каждая провозглашала и часто преувеличивала важность свободы совести<sup>12</sup>. Подробности этого великого движения составляют одну из самых занимательных частей истории Англии. Но, не распространяясь о том, что будет рассказано далее, я приведу в настоящее время только один пример, который, по сопровождавшим его обстоятельствам, особенно хорошо характеризует тогдaшнее время. Знаменитое сочинение Чиллингворта о протестантской религии считается вообще лучшей защитой реформаторов против римской церкви. Оно было издано в 1637 г., и, судя по положению автора, мы могли бы ожидать, что найдем в нем полнейшее проявление ханжества, соответствовавшего духу того времени. Чиллингворт только что оставил ту религию, на которую теперь стал нападать; поэтому можно было бы предположить в нем естественную склонность к догматизированию, которой всегда отличаются вероотступники. Кроме того, он был крестником и лучшим другом Лода, о котором и до сих пор вспоминают с ненавистью, как о самом гнусном, самом жестоким и самом ограниченном человеке, какой когда-либо занимал епископскую кафедру<sup>13</sup>. В довершение всего, он был питомец Оксфорда и постоянно жил в этом древнем университете, который всегда считался убежищем суеверия и до сих пор сохранил эту незавидную славу. Обращаясь затем к сочинению, которое было писано при таких обстоятельствах, мы с трудом можем поверить, что оно появилось в том же самом поколении и в той

же самой стране, в которых только двадцатью семью годами ранее два человека были публично сожжены за то, что отстаивали убеждения, несогласные с убеждениями господствующей церкви. Конечно, не может быть лучшего доказательства необыкновенной энергии происходившего в то время движения, как то, что давление его чувствовалось и при самых враждебных обстоятельствах, какие только можно себе представить; что друг Лода и притом питомец Оксфорда в серьезном теологическом исследовании проводил начала совершенно разрушительные для того теологического духа, который в течение многих веков держал в рабстве всю Европу.

В этом великом сочинении говорится прямо против всякого авторитета в деле религии. Гукер, тот хотя и апеллировал на юрисдикцию отцов церкви к юрисдикции разума, однако позаботился прибавить, что разум отдельных личностей должен склоняться пред разумом церкви, выражающимся в постановлениях соборов и в общем голосе церковных преданий. Чиллингворт же не хотел и слышать ни о чем подобном. Он не допускал никаких ограничений, направленных к стеснению священного права свободы совести. Он не только зашел далее Гукера в пренебрежении к отцам церкви<sup>14</sup>, но даже осмелился не уважать соборов. Хотя единственную целью его сочинения было разобрать враждебные притязания двух главнейших сект, на которые распалась христианская церковь, тем не менее он никогда не ссылается на авторитет соборов той самой церкви, о которой шел спор<sup>15</sup>. Его мощный и в то же время тонкий ум, проникающий в самую глубину предмета, пренебрегал тем спором, который долго занимал умы людей. Разбирая пункты, на которых католики и протестанты расходились, он полагает вопрос не в том, согласны ли содержащиеся в них учения со взглядами первоначальной церкви, а в том, согласны ли они с человеческим разумом; и он, не колеблясь, высказывает такую мысль, что, как бы ни были справедливы эти учения, ни один человек не обязан им верить, если только он находит, что они противны внушениям его собственного разума. Он не согласен также и с тем, чтобы вера восполняла недостаток авторитета. Даже этот любимый принцип theologов у Чиллингворта уступает место преобладанию человеческого разума. Разум, говорит он, дает нам знание, вера же дает только убеждение, которое есть часть знания, и потому стоит ниже его. Разум, а не вера должен решать наш выбор в предметах религии, и одним только разумом можем мы различать истину от лжи. Наконец он торжественно напоминает своим читателям, что в предметах религии не следует ожидать, чтобы кто-либо мог делать твердые выводы из несовершенных посылок, или верить неправдоподобным показаниям, на основании скудных доводов; еще менее, говорит он, имелось когда-либо в виду, что люди до такой степени извратят свой разум, чтобы проникнуться непогрешимой верою в то, чего они не в состоянии доказать непогрешимыми аргументами<sup>16</sup>. Ни один человек,



имеющий сколько-нибудь соображения, не может ошибиться насчет очевидного направления этих взглядов. Но что особенно важно заметить, это тот процесс, через который должен был пройти ум человеческий на пути цивилизации, прежде чем мог возвыситься до таких взглядов. Реформация, разрушив догмат непогрешимости церкви, ослабила, конечно, то уважение, которое питали к ее древности. Но такова была сила старинных ассоциаций идей, что наши соотечественники еще долго сохраняли уважение к тому, пред чем уже перестали благоговеть. Так, Джуель хотя и признавал за высший авторитет Библию, но в тех случаях, когда она молчала или выражалась двусмысленно, он обращался к первоначальной церкви, решения которой могли, по мнению его, устранить все трудности. Поэтому он употреблял свой разум только на приведение в известность противоречий между Священным Писанием и преданиями; но когда они не были согласны, то оказывал, по нынешним понятиям, суеверное уважение древности. Тридцать лет спустя после него явился Гукер, который сделал шаг вперед и, проповедуя начала, от которых Джуель отшатнулся бы с ужасом, в значительной мере содействовал ослаблению того, что суждено было окончательно уничтожить Чиллингворту. Так, эти три великих мужа являются представителями трех различных эпох и трех последовательных поколений, к которым они принадлежали. У Джуеля разум есть, так сказать, верхняя постройка системы, а авторитет есть основание, на котором возведена эта постройка. У Гукера авторитет служит верхней постройкой, а разум — основанием. У Чиллингворта же, сочинения которого были предвестниками приближавшей бури, авторитет совершенно исчезает и все здание религии опирается на то толкование, какое дает ничем не руководимый разум человека определениям Всемогущего Бога.

Громадный успех великого сочинения Чиллингворта должен был способствовать тому движению, одним из доказательств которого является самое это сочинение. Оно служило полным оправданием религиозного раскола, а следовательно, и распада англиканской церкви, до которого суждено было дожить тому же самому поколению. Основное начало этого сочинения было принято самыми влиятельными писателями XVII столетия — каковы Гэльс, Оуэн, Тэйлор, Бернет, Тиллотсон, Локк и даже осторожный и ко всему приноравливающийся Тэмпл, — которые все настаивали на том, что авторитет свободы совести составляет трибунал, на который нет апелляции. Вывод из этого, кажется, очевиден. Если последнее слово истины заключается в суждении каждого человека и если никто не вправе утверждать, что суждения людей, часто противоречащие друг другу, могут когда-либо быть безошибочны, то из этого необходимо следует, что нет определительного критерия для религиозной истины. Вот грустное и, я твердо убежден, в высшей степени неверное заключение; но каждая нация необходимо руководствуется им до тех

пор, пока не довершит великого дела терпимости, которое даже в нашей стране и в наше время еще не совсем окончено. Необходимо, чтобы люди научились сомневаться, прежде чем начнут обнаруживать терпимость, и чтобы они признали погрешимость своих собственных мнений, прежде чем станут уважать мнения своих противников. Этот великий процесс еще далеко не кончился ни в одной из стран; и европейский ум, едва освободившийся от своего первоначального легковерия и от слишком большого доверия к своим собственным убеждениям, находится еще на средней, так сказать, пробной ступени. Когда он перейдет через эту ступень, когда мы научимся судить о людях только по их характеру и их действиям, а вовсе не по их теологическим догматам, тогда мы будем в состоянии вырабатывать свои религиозные убеждения посредством того чисто трансцендентального процесса, проблески которого проявились в каждом веке у немногих даровитых людей. Что теперь все быстро клонится в эту именно сторону, это ясно для всякого, кто изучал развитие новейшей цивилизации. В короткий промежуток трех столетий древний теологический дух должен был не только низойти с той степени преобладания, на которой он так долго держался, но и покинуть те укрепленные места, где он тщетно пытался укрыться ввиду распространявшегося знания. Он должен был мало-помалу отказаться от всех своих любимейших притязаний. Хотя недавно в Англии и устремлено было мгновенно внимание на некоторые религиозные споры, но сопровождавшие их обстоятельства показывают, что дух времени изменился. На те споры, которые сто лет тому назад воспламенили бы все государство, теперь огромное большинство образованных людей смотрит с совершенным равнодушием. Разные запутанности новейшего общества и огромное разнообразие интересов, между которыми оно поделено, в значительной мере развлекали умы и не давали им останавливаться на предметах, которые люди, мало занятые, считали бы особенно важными. Кроме того, приобретения науки теперь далеко превосходят приобретения, сделанные в какой-либо из прежних веков: они наводят на такие интересные предположения, что почти все великие мыслители посвящают им все свое время и не хотят более заниматься предметами чисто умозрительной веры. Таким образом, то, что обыкновенно считалось важнейшим из вопросов, теперь предоставлено людям низшего разряда, — людям, подражающим только рвению, но не достигающим влияния тех истинно великих теологов, сочинения которых принадлежат к числу лучших украшений нашей ранней литературы. Правда, что эти бурливые полемики своими криками способствовали разъединению церкви, но они не произвели ни малейшего впечатления на большинство английских умов, так что численный перевес находится на стороне людей, открыто восстающих против той монашеской, аскетической религии, которую теперь тщетно пытаются восстановить. Дело в том, что время для этого рода вещей уже прошло. Теологические интересы уже

давно перестали быть преобладающими, и дела наций не соотносятся более с видами церкви<sup>17</sup>. В Англии, где движение вперед было быстрее, чем где-либо, перемена эта чрезвычайно заметна. По всем другим отраслям наук имели мы целый ряд великих и сильных мыслителей, которые дали честь своей стране и справедливо возбуждали удивление всего человечества; но вот уже с лишком сто лет, как мы не производили ни одного оригинального сочинения во всей области теологических прений. Уже с лишком сто лет, как апатия к этого рода предметам стала так заметна, что не было сделано ни одного ценного прибавления к той огромной массе теологии, которая для людей мыслящих с каждым последовательным поколением все более и более теряет прежний интерес<sup>18</sup>.

Вот только немногие из тех признаков, которые должны быть очевидны для всякого, кто не ослеплен предубеждениями, свойственными несовершенному воспитанию. Огромное большинство духовных лиц,—некоторые по честолюбивым побуждениям, но большая часть, я уверен, по внушениям совести,—силится остановить успехи того скептицизма, который охватывает нас со всех сторон. Пора этим благонамеренным конечно, но заблуждающимся людям заметить самообольщение, под влиянием которого они находятся. То, что так сильно тревожит их, есть не более как переходная ступень от суеверия к терпимости. Умы высшего разряда перешли через эту ступень и приближаются уже к тому, что, по всей вероятности, составляет последнее выражение религиозного развития человечества. Но масса народа и даже некоторые из тех, кого обыкновенно называют людьми образованными, только теперь вступают в ту раннюю эпоху, в которой скептицизм<sup>19</sup> составляет отличительную черту ума. Итак, быстрое развитие этого духа далеко не должно возбуждать в нас опасения, а нам скорее следует всеми силами стараться поощрять то, что хотя и больно для некоторых, но спасительно для всех: это единственное верное средство уничтожить ханжество. Нас не должно также удивлять, что, прежде чем достигается эта цель, необходимо претерпевается известная доля страдания<sup>20</sup>. Если один век верует слишком много, то весьма естественную составляет реакцию, когда другой верует слишком мало. Таковы несовершенства нашей природы, что мы должны, в силу самых законов ее усовершенствования, пройти через те кризисы скептицизма и нравственной болезни, в которых обыкновенный взгляд видит состояние упадка нации и ее бесчестье, между тем как в сущности они представляют собою только тот огонь, которым должно быть очищено золото, прежде чем оно оставит свой шлак в тигле плавильщика. Скажем,—употребляя сравнение, сделанное великим аллегористом,—необходимо, чтобы бедный пилигрим, нагруженный тяжестью целой кучи суеверий, пробирался по топи отчаяния и по долине смерти, прежде чем достигнет града славы, блистающего золотом и драгоценными камнями, на который

ему стоит только взглянуть,— и он уже вполне вознагражден за все труды и опасности.

В течение всего XVII столетия продолжалось это двойное движение — скептицизма и терпимости, несмотря на препятствия, которые оно постоянно встречало в действиях двух преемников Елизаветы, поступавших во всем противно просвещенной политике великой королевы. Эти государи истощали всю свою энергию на борьбу против стремлений века, которого они не в состоянии были понять; но, по счастью, дух, который они хотели подавить, стоял уже на такой высокой степени развития, что их вмешательство было только смешно. В то же время успехам английского ума еще более способствовали самые споры, разъединявшие Англию в течение полувека. В царствование Елизаветы был великий спор между церковью и ее противниками — между правоверными и еретиками. В царствования же Якова и Карла теология впервые переводилась в политику. Борьба происходила уже не между различными верованиями и догматами, а между людьми, приверженными королю, и людьми, поддерживавшими парламент. Умы людей, устремившись таким образом на предметы действительной важности, пренебрегали теми второстепенными целями, которыми было поглощено все внимание их отцов<sup>21</sup>. Когда наконец в делах государства наступил кризис, жестокая участь короля, случайно подвинувшая интересы престола, имела в высшей степени вредное действие для интересов церкви. Не может быть, конечно, никакого сомнения, что обстоятельства, сопровождавшие казнь Карла, нанесли авторитету церкви такой удар, от которого в Англии она уже никогда не могла оправиться. Насильственная смерть короля возбудила сочувствие народа и, тем подкрепив роялистов, ускорила восстановление монархии<sup>22</sup>. Даже самое имя той великой партии, которая достигла власти, уже намекало на перемену в религиозном отношении, происходившую в умах народа. И действительно, немаловажным делом было уже и то, что Англия управлялась людьми, которые называли себя индипендентами и, прикрываясь этим именем, не только отвергали всякие притязания духовенства, но и явно выражали полное презрение к тем обрядам и догматам, которые духовенство в течение многих столетий не переставало накапливать. Правда, что индипенденты не всегда доводили до крайних последствий свои учения, но и то уже было весьма важно, что учения эти пользовались признанием со стороны законных властей в государстве. Кроме того, должно еще заметить, что пуритане имели более фанатизма, чем суеверия. Они были так мало знакомы с настоящими основаниями государственного управления, что издавали карательные законы против частных пороков и полагали, что нравственностью можно управлять посредством законодательных мер. Но, несмотря на это серьезное заблуждение, они были всегда против всяких притязаний, даже со стороны их собственного духовенства, и уничтожение древней епископской иерархии, хотя, быть может, слишком

поспешное, должно было произвести много благотельных последствий. Когда великая партия, совершившая все это, была наконец низвергнута, дела все-таки продолжили идти по тому же направлению. После Реставрации церковь хотя и была восстановлена в своем прежнем блеске, но, видимо, утратила свое прежнее могущество. К тому же новый король, по легкомыслию скорее, чем по какому-либо разумному побуждению, презирал споры теологов и смотрел на религиозные вопросы, как ему казалось, с философским равнодушием<sup>23</sup>. Придворные следовали его примеру и думали, что они не могут впасть в заблуждение, подражая тому, кого они считали помазанником Божиим. Последствия этого хорошо известны даже тем, которые самым поверхностным образом изучали английскую литературу. Тот серьезный, умеренный скептицизм, который составлял отличительную черту индипендентов, утратил всю свою прелесть, перенесенный в несвойственную ему атмосферу двора. Людям, окружающим короля, были не по силам все трудности, сопряженные с скептицизмом, и они старались подкреплять свои сомнения богохульным выражением дикого, отчаянного неверия. Почти все без исключения писатели, которым наиболее покровительствовал Карл, истощали всю изобретательность своего развращенного ума в насмешках над религией, о сущности которой они не имели ни малейшего понятия. Эти нечестивые шутовские выходки сами по себе не оставили бы никакого прочного впечатления на характере того времени, но они заслуживают внимания потому, что в них выражалось, хотя в искаженном и преувеличенном виде, более общее направление. Это были нездоровые отпрыски того духа неверия и того дерзкого сопротивления всякому авторитету, которые составляли отличительную черту замечательнейших из англичан XVII столетия. Это самое заставило Локка быть нововводителем в философии и унитарием в религии. Это самое сделало Ньютона социнианином; это самое заставило Мильтона быть злейшим врагом церкви и не только сделало из поэта возмутителя, но и сообщило отпечаток арианизма «Потерянному раю». Одним словом, это самое пренебрежение к преданию и эта сама решимость сбросить с себя ярмо, внесенные сперва в философию Бэконом, а потом в политику Кромвелем, были при том же поколении перенесены в теологию Чиллингвортом, Оузом и Гэльсом, в метафизику — Гоббсом и Гланвиллем и в теорию государственного управления — Гаррингтоном, Сиднеем и Локком.

Успехам английского ума в этом стремлении стряхнуть с себя старое суеверие<sup>24</sup> еще более способствовало необыкновенное рвение, приложенное к разработке естественных наук. Это, как и все другие великие движения общества, может быть легко объяснено предшествовавшими событиями. Оно было отчасти причиною, а отчасти последствием возраставшего неверия того века. Скептицизм образованных классов, вследствие которого их

не удовлетворяли давно установившиеся мнения, основанные на одних ничем не подпертых авторитетах, родил желание удостовериться, в какой мере подобные понятия оправдываются, либо опровергаются самой сущностью дела. Любопытный пример быстрого развития этого духа можно найти в сочинении одного автора, который в чисто литературном отношении был одним из самых замечательных людей своего времени. Когда междоусобная война была еще едва решена и за три года до казни короля сэра Томас Броун издал свое знаменитое сочинение под заглавием: «Исследования о простонародных и общераспространенных заблуждениях». Это талантливое и ученое произведение имеет то достоинство, что в нем предугаданы некоторые из результатов, достигнутых новейшими исследователями; но главнейшим образом оно замечательно, как самое первое систематически обдуманное нападение в Англии на преобладавшие в то время суеверные фантазии насчет явлений внешнего мира. Еще интереснее то, что из обстоятельств, сопровождавших появление этой книги, можно совершенно ясно видеть, что замечаемые в ней познания и гений принадлежат самому автору ее, скептицизм же относительно народных верований навязан ему извне, силою самого времени.

В 1633 г. или около этого года, когда на престоле еще сидел суеверный государь, когда английская церковь, казалось, находилась на самой высоте своего могущества и когда люди были беспрестанно преследуемы за свои религиозные убеждения,— этот самый сэра Томас Броун написал свою «Религию врача», в которой мы находим все свойства его позднейшего сочинения, за исключением скептицизма. Действительно, в «Религии врача» проявляется такое легкое верие, которое должно было обеспечить этой книге сочувствие преобладавших в то время классов. Из всех предрассудков, которые считались тогда существенной принадлежностью народного верования, не было ни одного, против которого Броун осмелился бы восстать. Он объявляет, что верит в философский камень, в духов и ангелов-хранителей и в хиромантию. Он не только утверждает решительным образом, что действительно существуют колдуны, но даже говорит, что те, которые отрицают их существование, не просто еретики, а даже атеисты. Он усердно доказывает нам, что считает себя существующим не со дня рождения, но со дня крещения, потому что до крещения нельзя было сказать о нем, что он существует. К этим проблескам мудрости он прибавляет еще, что, чем неправдоподобнее какое-нибудь предположение, тем более он расположен согласиться с ним; когда же вещь действительно невозможна, то он уже по этому одному готов верить в нее.

Таковы были мнения, выраженные сэром Томасом Броуном в первом из двух сочинений, которые он издал в свет. В сочинении же «Исследования о простонародных заблуждениях» проявляется дух до такой степени противоположный, что если бы не было самых положительных доказательств, то мы едва ли пове-

рили бы, что книга эта написана тем же человеком. Дело в том, что в промежуток двенадцати лет, разделявших эти два сочинения, был довершен тот обширный социальный и умственный переворот, в котором ниспровержение церкви и казнь короля были еще не из самых важных событий. Мы знаем из литературы, из частной переписки и из государственных актов того времени, до какой степени было невозможно даже самым мощным умам избежать влияния всеобщего опьянения. Неудивительно после этого, что Броун, стоявший, конечно, ниже многих из своих современников, последовал тому движению, против которого и они не могли устоять. Странно в самом деле было бы, если бы он один остался свободен от влияния того скептического духа, который по тому самому, что его слишком деспотически подавляли, теперь разорвал все оковы и в этой реакции вскоре разрушил те учреждения, которыми тщетно старались сдерживать его.

С этой именно точки зрения в высшей степени интересно и даже чрезвычайно важно сравнить оба сочинения Броуна. В одном, позднейшем, нет уже и помину о вере, основанной на самой невозможности той или другой вещи, но нам говорят о «двух великих столбах истины — опыте и здравом смысле». Нам напоминают также, что одна из главных причин заблуждения есть «подчинение авторитету», другая — «пренебрежение к исследованию», а третья — довольно странно сказать — «легковерие». Все это не особенно согласовалось со старым теологическим духом, и потому мы не должны удивляться, что Броун не только опровергает некоторые из заблуждений отцов церкви, но, сказав о заблуждениях вообще, коротко прибавляет: «Есть еще и многие другие, о которых мы предоставляем судить теологам и которые, быть может, не заслуживают даже возражений».

Различие, существующее между этими двумя сочинениями, может служить недурным мерилom: быстроты того великого движения, которое в половине XVII века было заметно во всех отраслях как практической, так и чисто умственной жизни. После смерти Бэкона одним из самых даровитых людей среди англичан был, конечно, Бойль, которого по сравнению с его современниками можно считать стоящим непосредственно после Ньютона, хотя, без сомнения, как оригинальный мыслитель, он стоит гораздо ниже последнего. О прибавлениях, сделанных им к сумме наших знаний, нам здесь говорить не место; но мы можем сказать, что он первый производил точные опыты для определения отношения между цветом и теплотой и таким образом не только привел в известность некоторые весьма важные факты, но и положил основание соединению оптики с термотикой (учением о теплороде). Соединение это, конечно, еще не вполне осуществилось, но для осуществления его недостает только того, чтобы какой-нибудь великий ученый напал на такое обширное обобщение, которое, обняв обе науки, слило бы их в один предмет изучения. Бойлю также более чем кому-либо другому из англичан

мы обязаны теми познаниями в гидростатике, какие мы имеем теперь<sup>25</sup>. Он первый открыл тот прекрасный и богатый драгоценными результатами закон, по которому упругость воздуха изменяется соответственно густоте его<sup>26</sup>. По мнению одного из самых замечательных натуралистов последнего времени, Бойль первый проложил путь к тем химическим исследованиям, которые затем продолжали накапливаться и, по прошествии столетия доставив Лавуазье и современникам его средства определить истинные основания химии, дали возможность этой науке занять принадлежащее ей место среди наук, рассматривающих внешний мир.

Применение этих открытий к благосостоянию человека, и в особенности к тому, что мы могли бы назвать материальными интересами цивилизации, будет прослежено в другом месте нашего труда; в настоящее же время я только хочу указать на гармонию, существующую между подобными исследованиями и тем движением, которое я стараюсь очертить. Во всех своих физических исследованиях Бойль постоянно напирал на два основных начала, а именно: на важность лично произведенных опытов и на сравнительную ничтожность тех сведений о предметах мира физического, которые к нам перешли от древних<sup>27</sup>. Таковы два великих ключа к его методу; таковы воззрения, наследованные им от Бэкона,—и этих же воззрений держались все люди, сделавшие в продолжение двух последних веков какое-либо значительное приращение к сумме человеческих знаний. Сперва сомнение, потом исследование и наконец открытие — вот каким путем следовали все без исключения великие учителя наши. Так сильно сознавал Бойль необходимость следовать этому пути, что, будучи сам весьма религиозным человеком, дал самому популярному из своих ученых сочинений заглавие «The Sceptical Chemist» («Скептик в химии»), желая этим выразить, что, пока люди не стали сомневаться в истине химических теорий своего времени, им было невозможно значительно подвигаться вперед на лежавшем перед ними пути. Притом нельзя не сказать, что это замечательное сочинение, ниспровергшее так много старых мнений, было издано в 1661 г., на другой год после вступления на престол Карла II, в царствование которого распространение неверия было действительно весьма быстро; оно видно было не только в умственно трудящихся сословиях, но даже среди аристократов и приближенных короля. Правда, в этом классе общества неверие приняло возмутительную и извращенную форму. Но немалую силу должно было иметь то движение, которое в такой ранний период могло таким образом проникнуть даже в сокровенные палаты дворца и подействовать на умы царедворцев — ленивого и слабодушного племени, по своему обычному легкомыслию при обыкновенных обстоятельствах всегда расположенного к суеверию и готового верить всему, что завещано ему мудростью предков.

Это направление теперь высказывалось во всем. Везде была видна возрастающая решимость подчинить старинные понятия



новым исследованиям. В то самое время, когда Бойль предавался своим трудам, Карл II учредил Королевское общество, которое было образовано с признанной целью расширять пределы знания непосредственными опытами. При этом весьма достойно замечания, что по грамоте, впервые дарованной этому знаменитому учреждению, целью его полагалось расширение знаний в предметах естественных, в противоположность предметам сверхъестественным.

Легко себе представить, с каким ужасом и отвращением смотрели на все это люди, чрезмерно поклоняющиеся древности,— те люди, которые, предаваясь исключительно благоговению к прошедшему, не способны ни достойно ценить настоящее, ни надеяться на будущее. Эти страшные противники прогресса в семнадцатом веке играли ту же роль, какую они играют и в настоящее время, отвергая всякую новизну и, следовательно, останавливая всякое улучшение. Ожесточенная распря, происшедшая между обеими партиями, и вражда, направленная против Королевского общества, как первого учреждения, в котором ясно олицетворилась идея прогресса, принадлежат к самым поучительным явлениям нашей истории, и в другом месте этого сочинения мне придется довольно много говорить о них. Теперь достаточно будет сказать, что реакционная партия, хотя во главе ее стояло огромное большинство духовенства, была совершенно разбита, как действительно и должно было ожидать, потому что противники ее имели на своей стороне почти все умственные силы страны, а сверх того, были подкреплены тем содействием, которое мог им оказать двор. Прогресс был действительно так быстр, что он увлек за собою даже некоторых из самых даровитых людей духовного сословия; любовь к знанию действовала на них сильнее, чем старые предания, в которых они были воспитаны. Но это были исключительные случаи, и, вообще говоря, нет никакого сомнения, что в царствование Карла II между естественными науками и теологическим духом существовал антагонизм, который побудил почти все духовенство к дружному восстанию против науки и стремлению унижить ее в общественном мнении. И нечего удивляться тому, что духовенство приняло такой образ действия. Тот дух исследования и опыта, который оно старалось обуздать, не только оскорблял предрассудки его, но и вредил его могуществу. Во-первых, уже самая привычка заниматься естественными науками научила людей требовать такой строгости в доказательствах, которой, как весьма скоро обнаружилось, духовенство в присвоенной ему области не в состоянии было удовлетворить. Во-вторых, приращения, сделанные к сумме физических знаний, открывали людям новые поприща для умствования и тем еще более содействовали к отвлечению внимания от предметов религиозных. Конечно, и то, и другое последствия современного движения могли простирались лишь на сравнительно небольшое число лиц, интересующихся научными изысканиями; но должно заметить, что окончательный

результат подобных исследований должен был проявиться в несравненно обширнейшей сфере. Это можно назвать вторым моментом влияния научных исследований; и изучение того, каким образом оно проявилось,—весьма достойно нашего внимания, потому что ознакомление наше с этим процессом много поможет нам в объяснении причины того резкого противодействия, которое всегда существовало между суевением и наукой.

Очевидно, что нация, совсем не знающая законов природы, будет относить к сверхъестественным причинам все явления, которыми она окружена. Но как только естественные науки начинают делать свое дело, тотчас являются элементы великого переворота<sup>28</sup>. Каждое из последовательных открытий, приводя в известность закон, управляющий некоторыми явлениями, лишает эти явления той видимой таинственности, которая их до тех пор окружала<sup>29</sup>. Любовь к чудесному в соразмерности уменьшается: каждый раз, когда какая-нибудь наука делает достаточные успехи для того, чтобы позволить людям, знакомым с ней, предсказывать входящие в область ее явления,—очевидно, что все эти явления сразу исключаются из круга действия сверхъестественных сил и относятся к действиям сил естественных<sup>30</sup>. Назначение естествознания заключается в том, чтобы объяснять внешние явления в видах предсказания их на будущее время; и всякое удачное предсказание, признанное всенародно, разрывает одно из звеньев цепи, связывающей, так сказать, воображение наше с таинственным, невидимым миром. Поэтому, предполагая все прочие данные одинаковыми, суевение каждой нации должно быть всегда строго пропорционально размеру ее познаний в естественных науках. Это положение может быть в некоторой степени поверено и обыкновенным человеческим опытом. Если мы сравним между собою различные классы общества, то найдем, что в них суевение проявляется в большем или меньшем размере, смотря по тому, были или не были объяснены естественными законами те явления, с которыми люди этих классов поставлены в соприкосновение. Всем известно легкое верие моряков—в каждой литературе есть доказательства многочисленности суевений их и упорства, с которым они за них держатся. Это превосходно объясняется изложенным мною началом. Метеорология до сих пор еще не возвышена на степень науки, и как поэтому законы, управляющие ветрами и бурями, еще не известны, то естественным образом следует, что именно класс людей, наиболее подвергающийся опасности от этих явлений, вместе с тем и наиболее суеверен<sup>31</sup>. С другой стороны, воины обитают в стихии, гораздо более послушной человеку; они менее, чем мореходцы, подвержены тем опасностям, которые не могут быть предусмотрены наукой, следовательно, менее имеют побуждений вызывать к сверхъестественному вмешательству,—и вообще замечено, что в массе воины менее суеверны, чем моряки. Опять, если мы сравним земледельцев с людьми, живущими мануфактурной промышленностью, то мы увидим проявление того же самого начала. Для

земледельцев одно из важнейших обстоятельств составляет погода, которая, приняв неблагоприятный оборот, может сразу уничтожить все их расчеты. Но так как наука до сих пор не умела открыть законы дождя, то люди в настоящее время не могут предсказывать его задолго вперед, а это заставляет верить, что дождь происходит от действия сверхъестественных сил, и мы до сих пор видим примеры молитв, приносимых в наших церквях о ниспослании дождей или прекращении их. Такое воззрение может со временем измениться подобно тому, как исчезает чувство благочестивого ужаса, с которым наши предки смотрели на появление кометы или на приближение солнечного затмения. Мы теперь ознакомились с законами, определяющими движение комет и солнечные затмения, и, имея возможность предсказывать эти явления, перестали молиться о сохранении нас от них<sup>32</sup>. Но так как наши исследования относительно явлений дождя случайно оказались менее удачными<sup>33</sup>, то мы обратились к более легкому средству — призывая помощь Божества для возмещения недостатков знания, происходящих, может быть, от нашей умственной лени; употребляем обряды религии, как средство для прикрытия невежества, в котором нам бы следовало откровенно сознаться<sup>34</sup>. Таким образом земледелец научается приписывать деятельности сверхъестественных причин важнейшие из касающихся его явлений; и нет сомнения в том, что это составляет одну из причин сохранения тех суеверных понятий, которыми сельские обыватели так невыгодно для них отличаются от городских. Мануфактурный промышленник и вообще всякий занимающийся каким-либо городским промыслом имеет занятия, успех которых, завися от его собственных способностей, не связан ни с какими не объясненными явлениями, смущающими воображение земледельца. Тот, который посредством своего искусства обрабатывает уже доставленный ему другими сырой материал, очевидно, менее подвержен всяким ни от кого не зависящим случайностям, чем тот, который первоначально производит этот сырой материал. Ясная ли стоит погода или дождливая, он продолжает свой труд с тем же успехом и научается надеяться только на свою энергию и на искусство своих рук. Как моряк естественно более суеверен, чем сухопутный воин, потому что имеет дело с более непостоянной стихией, точно таким же образом земледелец суевернее, чем ремесленник, потому что на него чаще и серьезнее действуют явления, которые иные люди по невежеству своему называют прихотливыми, а другие по той же причине — сверхъестественными.

Весьма легко было бы посредством развития этих замечаний показать, как успехи мануфактурной промышленности, кроме увеличения национальных богатств, оказали огромную услугу цивилизации, внушив человеку доверие к его собственным средствам, и в каком образом те же успехи, вызвав установление нового рода занятий, если можем так выразиться, изменили ту обстановку, при которой всего удобнее было существовать суеверию. Но

проследить в подробности этот процесс значило бы далеко выйти из пределов настоящего обзора, притом уже приведенных мною примеров достаточно для объяснения того, как теологический дух должен был ослабеть при том развитии любви к опытным наукам, которая составляет одну из главнейших черт царствования Карла II<sup>35</sup>.

Итак, я разъяснил читателям точку зрения, с какой, по моему мнению, должно смотреть на этот период, истинный характер которого, как мне кажется, вообще был весьма ложно понят. Те политические писатели, которые судят о событиях без должного внимания к тому умственному движению, лишь часть которого они составляют, найдут в царствовании Карла II весьма много сторон, заслуживающих порицания, и едва ли заметят что-нибудь достойное одобрения. Такие писатели осудят меня за то, что я сошел с того узкого пути, в пределах которого слишком часто стесняема была история. Между тем я не могу себе представить, каким образом можно было бы, не следуя этому методу, понять характер времени, представляющего на первый взгляд такое множество самых резко непоследовательных явлений. Затруднение, о котором я говорю, совершенно разъяснится, если мы хоть на минуту сопоставим свойства правительства Карла II с теми великими делами, которые при этом правительстве совершились мирным путем. Никогда до того времени не встречалось нам в истории такого недостатка видимой связи между средствами и целью. Если мы взглянем только на характер лиц, управлявших государством, и на внешнюю политику их, то мы должны заключить, что царствование Карла II было самым худшим, какое когда-либо видела Англия. Если же, с другой стороны, мы ограничим наши замечания теми законами, которые были утверждены, и теми началами, которые были установлены, мы вынуждены будем согласиться, что это же самое царствование составляет одну из самых блестящих эпох в наших народных летописях. И с политической, и с нравственной точки зрения можно было найти в этом правительстве все элементы беспорядка, слабости и преступления. Сам король был низкий и бездушный сластолюбец, чуждый как христианской нравственности, так и почти всякого человеческого чувства. Его министры, за исключением, быть может, Кларендона, которого он ненавидел за его добродетели, не имели ни одного из качеств, необходимых для государственных людей, и почти все были на жалованье у французского правительства. Тягость податей была увеличена, между тем как безопасность королевства уменьшилась. Вследствие насильственного отобрания хартий от городов наши муниципальные права были поставлены в опасность. Закрытием государственного казначейства наш национальный кредит был уничтожен. Хотя огромные суммы тратились на содержание наших морских и военных сил, мы оставались до такой степени беззащитными, что, когда открылась война, которая перед тем долго приготавливалась, могло показаться, что мы захвачены врасплох. Такова была

жалкая неспособность правительства, что голландские флоты имели возможность не только с торжеством обходить наши берега, но даже подниматься вверх по Темзе, атаковать наши арсеналы, жечь наши корабли и надругаться над столицей Англии. Но, несмотря на все это, остается несомненным фактом, что в царствование того же Карла II сделано более шагов в направлении к истинному прогрессу, чем в какой-либо другой период такого же объема из всего двенадцативекового обладания нашего землями Великобритании. Однако только силой того умственного движения, которое бессознательно поддерживалось правительством, совершены были в течение нескольких лет такие реформы, которые совершенно изменили положение общества<sup>36</sup>. Два великих бремени, которыми нация уже давно тяготилась, были: тирания духовная и тирания поземельная — деспотизм духовенства и дворянства. В это время сделана была попытка устранить и то, и другое зло, но не паллиативными средствами, а нанесением решительных ударов могуществу тех сословий, которые были виновниками зла. В это время внесен был в книгу статуты (Statute Book) закон, отменяющий тот знаменитый декрет, по которому епископы и делегаты их имели право казнить сожжением людей, расходившихся с ними в религиозных мнениях. Теперь духовенство лишено было права само себя облагать податями и должно было подчиниться раскладке, составляемой обыкновенным законодательным порядком. Теперь также постановлен был закон, запрещающий всякому епископу и всякому духовному судилищу требовать присяги *ex officio*, посредством которой церковь до сих пор имела возможность вынуждать подозреваемых ею лиц к обвинению самих себя. Что касается до аристократии, то в царствование того же Карла II палата лордов после сильной борьбы вынуждена была оставить свои притязания на право суда в первой инстанции по гражданским делам и таким образом лишилась навсегда весьма важного средства для расширения своего влияния. В это самое царствование было упрочено за народом право платить подати не иначе, как по определению своих представителей, так как палата общин с тех пор навсегда сохранила исключительную власть предлагать финансовые билли и определять размер налогов, предоставляя пэрам только формальность изъявления согласия на то, что уже было решено. Таковы были попытки, сделанные для обуздания духовенства и аристократии; но, кроме того, совершены и другие дела такой же важности. Отменой скандальных прерогатив «*Purveyance*» и «*Preemption*»<sup>37</sup> был положен предел возможности для государя притеснять своих непокорных подданных. Посредством акта *Habeas Corpus* свобода каждого англичанина была настолько обеспечена, насколько это может быть сделано законом, — ему гарантировано, что в случае обвинения его в преступлении, вместо того чтобы томиться в тюрьме, как нередко случалось прежде, он будет подвергнут справедливому и безотложному суду. Узаконением об обманах и ложных присягах доставлена частной

собственности небывалая до тех пор безопасность<sup>38</sup>. С отменой общих обвинений (*general impeachments*)<sup>39</sup> было уничтожено могущественное орудие тирании, посредством которого сильные и безнравственные люди нередко губили своих политических противников. Уничтожение законов, стеснявших свободу книгопечатания, положило основание той великой публичной прессе, которая более чем какая-либо другая причина распространила в народе сознание его силы и таким образом почти в невероятной степени содействовала успехам английской цивилизации. В довершение же этой великолепной картины окончательно уничтожены те принадлежности феодализма, которые внесены в наш быт завоевателями-норманнами,— военные лены, королевская опека над малолетними наследниками ленных имений, взыскания при отчуждении ленов, право конфискации имений за вступление в брак, несогласное с ленными условиями, так называемые *aids*, *homages*, *escuages* и *primer seisin*<sup>40</sup>—и все эти вредные хитросплетения, самые имена которых для современного слуха звучат как слова дикого и варварского наречия, но которые предков наших давили, как действительное, серьезное зло.

Вот что было сделано в царствование Карла II; и если принять в соображение жалкую неспособность этого короля, праздное распутство его двора, бесстыдную продажность его министров, постоянные заговоры внутри государства и неслыханные оскорбления извне; если принять, кроме того, в соображение, что ко всему этому присоединились еще два естественных бедствия самого грустного свойства—великая зараза, опустошавшая все классы общества и распространявшая смуту по государству, и великий пожар, усиливший смертельное действие заразы и мгновенно истребивший все запасы, накопленные промышленностью и дающие пищу самой промышленности,—если взять все это вместе, то как примирить противоречия, по-видимому столь резкие? Как мог совершиться такой удивительный прогресс ввиду таких беспримерных бедствий? Как могли такие люди и при таких обстоятельствах сделать такие улучшения? Все это вопросы, на которые наши политические компиляторы не в состоянии ответить, потому что они обращают слишком много внимания на особенные свойства отдельных личностей и слишком мало на характер того времени, в которое живут эти личности. Подобные писатели не понимают, что история каждой цивилизованной страны есть история ее умственного развития, которое короли, государственные люди и законодатели скорее могут замедлить, чем ускорить: как бы ни было велико их могущество, они являются не более как случайными, несовершенными представителями духа своего времени. Они не только не руководят движениями духа нации, но даже принимают в них самое слабое участие, так что при общем обзоре прогресса человечества на них должно смотреть только как на людей, большей частью хлопочущих на маленькой сцене, между тем как поодаль от них, со всех

сторон, составляются мнения и убеждения, которые они с трудом могут понять и которые, однако, одни дают окончательное направление всем делам человеческим.

Дело в том, что обширные законодательные реформы, которыми так замечательно царствование Карла II, составляют не более как часть того движения, начало которого можно, конечно, проследить гораздо ранее, но которое возымело несомненное действие только в течение трех поколений. Важные улучшения эти были результатом того смелого, скептического, пытливого и преобразовательного духа, который овладел тогда теологией, наукой и политикой. Старые начала — предания авторитета и догмата — мало-помалу теряли свою силу, и, конечно, в такой же пропорции уменьшалось и влияние тех классов, которые главнейшим образом поддерживали эти начала. По мере того как ослабевала власть отдельных частей общества, власть целого народа возрастала. Истинные интересы нации стали явственнее обозначаться, лишь только было рассеяно суеверие, которое долго заслоняло их. В этом, я полагаю, заключается настоящее объяснение того, что с первого взгляда кажется такой странной загадкой, а именно: каким образом такие обширные реформы могли быть совершены в такое плохое и во многих отношениях такое бесславное царствование. Нет никакого сомнения, что в сущности реформы эти были последствием умственного движения того времени; но совершились они далеко не наперекор порокам государя, а, собственно, даже с помощью их. За исключением нищих развратников, толпившихся при дворе, все классы общества вскоре научились презирать короля, который был пьяница, распутник и гипокрит, который не имел ни стыда, ни жалости и который в отношении чести не достоин был стать наряду даже с самым ничтожным из своих подданных. Видеть в течение четверти столетия на престоле такого человека, как этот, есть вернейшее средство потерять ту слепую, беспрекословную преданность, которой народы часто приносили в жертву свои самые дорогие права. Так, характер короля, рассматриваемый с этой одной точки зрения, уже был в высшей степени благоприятен развитию свободы нации<sup>41</sup>. Но это еще не все. Беззаботное распутство Карла заставляло его питать отвращение ко всему, что сколько-нибудь отзывалось стеснением; а это внушало ему ненависть к тому классу, в жизни которого, по крайней мере по его профессии, предполагалось соблюдение более чем обыкновенной чистоты нравов. Поэтому-то не из видов просвещенной политики, а чисто из любви к порочной свободе действий он всегда питал нерасположение к духовенству и не только не поддерживал власти этого сословия, но даже часто выражал явное к нему презрение. Самые лучшие друзья короля направляли против духовенства те грубые, бесстыдные шутки, которые сохранились в литературе того времени и которые, по мнению придворных, должны были стоять в ряду лучших образчиков человеческого остроумия. Этого рода людей церкви, конечно, нечего было бояться, но их

речи и та благосклонность, с какой их принимали, принадлежат к числу признаков, по которым мы можем изучать направление того века. Большинство читателей могут найти много других примеров; я же, с своей стороны, приведу только один, который интересен в том отношении, что дело идет о замечательном философе. Самым опасным противником духовенства в XVII веке был, конечно, Гоббс, самый тонкий диалектик своего времени, притом писатель, отличавшийся особенной ясностью и уступавший среди английских метафизиков одному только Беркли. Этот глубокий мыслитель издал несколько рассуждений, весьма неблагоприятных для церкви и прямо противоположных тем началам, которые составляют существенное условие авторитета церкви. Духовенство, конечно, ненавидело его; учение его было объявлено в высшей степени зловредным, и его обвиняли в желании уронить религию народа и испортить его нравственность. Это доходило до того, что при его жизни и в течение нескольких лет после его смерти всякого человека, который осмеливался думать по-своему, ругали гоббистом или, как иногда называли, гоббинином<sup>42</sup>. Такой явной вражды со стороны духовенства было уже достаточно, чтобы обратить на Гоббса благосклонное внимание Карла. Король еще до восшествия своего на престол уже проникся некоторыми из идей Гоббса, а после Реставрации он оказывал этому писателю такое уважение, которое находили даже возмутительным. Он защищал его от врагов, вывесил, не без некоторого чванства, его портрет в своей комнате в Уайт-Холле и даже назначил пенсию этому страшнейшему из противников, каких встречала до тех пор духовная иерархия.

Если мы взглянем на сделанные Карлом назначения в духовные звания, то найдем новое доказательство того же направления. В его царствование высшие должности в церкви постоянно вверялись людям или неспособным, или не совсем добросовестным. Может быть, было бы уже слишком много приписывать королю обдуманый план уронить значение епископской скамьи, но то достоверно, что если он имел такой план, то избрал для осуществления его самый лучший образ действия. Можно сказать без преувеличения, что при его жизни главные английские прелаты были все, без исключения, люди либо неспособные, либо недобросовестные; они или не в силах были защитить то, в чем действительно были убеждены, или же не имели тех убеждений, которые открыто высказывали. Никогда еще интересы англиканской церкви не были так слабо охраняемы. Первым архиепископом Кентерберийским, по назначению Карла, был Джёксон,— человек, известный своей бездарностью, о котором даже друзья могли сказать только одно, что недостаток дарований вознаграждался в нем добрыми намерениями. Когда он умер, то на место его король назначил Шельдона, которого он сделал перед тем епископом Лондонским. Шельдон не только навлекал бесчестье на все свое сословие действиями, отзывавшимися грубой нетерпимостью, но даже так мало обращал внимания на самые обык-



новенные, в его звании, приличия, что часто у себя в доме допускал, для увеселения общества, представления, заключавшиеся в передразнивании пресвитерианских проповедников. После смерти Шельдона Карл назначил архиепископом Санкрофта, который своим причудливым суеверием заслужил презрение даже людей одного с ним сословия и которого вообще столько же презирали, сколько Шельдона ненавидели. И в назначениях на должность непосредственно низшую мы замечаем действие того же самого начала. Архиепископами Йоркскими при Карле II были Фревен, Стерн и Дольбен,— люди до такой степени бездарные, что, несмотря на свое высокое положение, они совершенно забыты: из тысячи читателей едва ли кто слышал когда-либо их имена.

Подобные назначения просто поразительны, и они становятся еще поразительнее ввиду того обстоятельства, что в них не было никакой надобности, что король не был стесняем в своем выборе ни какими-нибудь придворными интригами, ни недостатком в людях более способных. Дело было в том, что Карл не хотел назначать в высшие духовные должности таких людей, которые сумели бы усилить авторитет церкви и восстановить ее прежнее преобладание. При его восшествии на престол двумя самыми способными людьми из всего духовенства были, без сомнения, Иеремия Тэйлор и Исаак Барров; оба они были известны своей преданностью престолу, оба были люди безупречной честности и оба оставили по себе такую славу, которая не может погибнуть до тех пор, пока будет сохраняться память об английском языке. Но Тэйлор, несмотря на то, что был женат на сестре короля, находился в явном пренебрежении: удаленный на епископство в Ирландию, он должен был провести остаток дней своих в этой стране, справедливо называвшейся тогда варварской<sup>43</sup>. Барров же, стоявший по уму, конечно, выше Тэйлора, должен был с грустью смотреть, как самые неспособные люди достигали высших должностей в церкви, между тем как он оставался незамеченным; при всем том, что семейство его значительно пострадало за дело королевское, он не получал никакого повышения и только за пять лет до смерти был назначен начальником коллегии св. Троицы в Кембридже.

Едва ли нужно объяснять, до какой степени все это должно было способствовать ослаблению церкви и ускорению того великого движения, которым замечательно царствование Карла II<sup>44</sup>. В то же время были и многие другие обстоятельства, которые в этом предварительном очерке рассматривать нет возможности, но на которых тоже лежала печать всеобщего восстания против старых авторитетов. В одном из следующих томов это будет представлено в более ясном свете; там я буду иметь возможность привести такое доказательство, которое, по множеству входящих в него подробностей, было бы неуместно в настоящем введении. Однако и то, что уже было сказано, достаточно определяет общий ход умственного движения в Анг-

лии и может служить читателю ключом к пониманию тех еще более запутанных событий, которые нагрянули на нас в течение XVII столетия.

За несколько лет до смерти Карла II духовенство сделало решительную попытку воротить свое прежнее влияние, пустив снова в ход учения о необходимости слепого повиновения и о божественном праве королей<sup>45</sup>. Но так как английский ум уже достаточно ушел вперед, чтобы отвергнуть подобное мнение, то тщетная попытка эта только повела к еще большему разъединению интересов народа вообще и интересов духовенства, как отдельного сословия. Едва только рушился этот план, как смерть Карла возвела на престол государя, искреннейшим желанием которого было восстановить католическую церковь и снова ввести у нас ту злостную систему, которая открыто похвастается порабощением человеческого разума. Эта перемена, если судить о ней по ее окончательным результатам, была самым благоприятным обстоятельством, какое могло случиться для нашей страны. Несмотря на то, что Яков принадлежал к другой религии, английское духовенство всегда обнаруживало к нему привязанность, высоко ценя его уважение к духовному сословию; но оно, конечно, хотело, чтобы теплота чувств его изливалась на английскую церковь, а не на римскую. Оно знало, какие выгоды приобрело бы духовное сословие, если бы набожности короля можно было дать другое направление<sup>46</sup>. Оно видело, что в интересах короля было отказаться от своей религии, и думало, что для такого жестокого и порочного человека собственный интерес будет единственным соображением. Вот почему в один из самых критических моментов его жизни духовенство энергически и с успехом действовало в его пользу; оно не только приложило все свое старание к тому, чтобы не прошел билль об устранении его от престолонаследия, но даже, когда билль этот был отвергнут, представило особый адрес Карлу, поздравляя его с этим результатом. Когда Яков действительно вступил на престол, духовенство продолжало поступать в том же духе. Надеюсь ли оно все-таки на его обращение, или же в своем рвении к преследованию диссентеров оно не замечало опасности, угрожавшей собственной церкви,—неизвестно; но то составляет один из самых замечательных и несомненных фактов в нашей истории, что существовала одно время тесная связь между протестантской иерархией и королем-папистом<sup>47</sup>. Ужасные преступления, вытекавшие из этого доброго согласия, слишком хорошо известны всякому. Но что еще более достойно внимания, это то обстоятельство, которое послужило поводом к разрыву союза между короной и церковью. Первой причиной ссоры была попытка короля ввести в некоторой степени религиозную терпимость. Знаменитыми актами «Test and Cogrotation» повелевалось : всех лиц, служащих правительству, заставлять, под страхом тяжелой ответственности, принимать причастие по обрядам английской церкви. И вот поступок Якова заключался в том, что он издал

так называемую «Declaration of Indulgence», в которой объявлял о своем намерении приостановить действие этих законов<sup>48</sup>. С этой минуты положение двух главных партий совершенно изменилось. Епископы ясно видели, что те законы, которые теперь старались отменить, в высшей степени благоприятствовали развитию их власти, и потому они считали их существенной принадлежностью конституции христианского государства. Они охотно действовали заодно с Яковом, пока он помогал им преследовать людей, поклонявшихся Богу не так, как они поклонялись<sup>49</sup>. Пока поддерживалось это доброе согласие, они оставались равнодушными к вещам, которые, по их мнению, имели меньшую важность. Они молча смотрели, как король накапливал материалы, с помощью которых надеялись обратить существовавшее правление в неограниченную монархию<sup>50</sup>. Они видели, как Джеффрейс и Керк истязали своих соотечественников,—видели, как тюрьмы переполнялись арестантами и как обливались кровью эшафоты. Им очень нравилось, что некоторые из лучших и способнейших людей в государстве были варварски преследуемы; что Бакстер попал в заключение, а Гов был вынужден оставить отечество. Они смотрели с спокойным духом на самые возмутительные жестокости, потому что жертвами этих жестокостей были противники английской церкви. Несмотря на то, что умы людей были исполнены ужаса и отвращения, епископы не жаловались ни на что. Они оставались неизменными в своей верноподданнической преданности и настаивали на необходимости смиренного подчинения помазаннику Божию<sup>51</sup>. Но с той минуты как Яков вздумал защищать от преследования тех, которые были враждебны церкви, с той минуты как он объявил о своем намерении уничтожить монополию должностей и почестей, которую епископы долго доставляли своей партии, с той минуты как все это случилось,—иерархия стала живо чувствовать опасность, которой угрожали стране насильственные действия такого самовластного государя<sup>52</sup>. Король наложил руку на ковчег — и хранители храма побежали к оружию. Могли ли они терпеть государя, который не давал им преследовать врагов,—государя, который старался покровительствовать людям, расходившимся в убеждениях с господствовавшей церковью. Духовенство тотчас же решило, какой ему следует принять образ действия. Почти все оно, в один голос, отказалось повиноваться повелению, которым король предписывал прочесть по церквам эдикт о веротерпимости<sup>53</sup>. Но на этом оно еще не остановилось. Так велика была его вражда к тому, кого оно недавно еще любило, что оно даже обратилось за помощью к тем самым диссентерам, которых только за несколько недель перед тем так горячо преследовало, и старалось щедрыми обещаниями склонить на свою сторону людей, которых прежде гнало до истребления. Замечательнейшие из неконформистов далеко не были обмануты этой неожиданной привязанностью<sup>54</sup>. Но их ненависть к папизму и опасение дальнейших замыслов короля взяли верх

над всеми другими соображениями; и таким образом произошло то странное соглашение между последователями господствующей церкви и диссентерами, которое с тех пор не повторялось. Эта коалиция, поддерживаемая общим голосом народа, вскоре низвергла престол и произвела то, что справедливо считается одним из самых важных событий в истории Англии.

Итак, ближайшей причиной той великой революции, которая стоила Якову короны, было издание королем эдикта о веротерпимости и негодование духовенства при виде такого дерзкого поступка со стороны христианского государя. Правда, что одно это обстоятельство, без помощи других, не могло бы никогда произвести такой большой перемены, но оно было непосредственной причиной ее; оно было причиной разрыва между церковью и троном и союза между церковью и диссентерами. Это факт, которого никогда не следует забывать. Мы никогда не должны забывать, что первый и единственный случай, в котором английская церковь пошла войною против короны, был тот, когда корона выразила намерение оказывать терпимость и в некоторой степени покровительство соперничающим исповеданиям в государстве. Нет никакого сомнения, что изданная в то время декларация была противозаконна и что она была задумана с коварной целью. Но столь же незаконные, столь же коварные и гораздо более притеснительные декларации были делаемы королем в других случаях — и это не возбуждало негодования духовенства<sup>55</sup>. Все эти обстоятельства нам не мешают взвесить. Все это драгоценные уроки для тех, кому суждено если не давать направление общественному мнению, то по крайней мере иметь на него некоторое влияние. Что же касается до народа вообще, то не может быть выражения слишком преувеличенного для обозначения того, чем он обязан революции 1688 г. Но ему следует остерегаться, чтобы к благодарности его не примешалось суеверие. Он может восхищаться величественным зданием национальной свободы, которое стоит одно во всей Европе, как маяк посреди морей; но он не должен думать, что он чем-нибудь обязан тем людям, которые, способствуя возведению этого здания, имели в виду удовлетворение своего эгоизма и упорочение того нравственного влияния, которое они надеялись приобрести этим путем.

Трудно в самом деле представить себе, какой сильный толчок сообщило английской цивилизации изгнание дома Стюартов. К самым непосредственным последствиям этого события можно отнести: ограничения, сделанные в королевской прерогативе, значительное развитие веротерпимости<sup>56</sup>, важные и прочные улучшения в отправлении правосудия, окончательное уничтожение цензуры над печатью (это было сделано до конца XVII столетия), и, наконец, — на что недовольно было обращено внимания — быстрое усиление тех важных денежных интересов, которые, как мы потом увидим, не в малой мере пересиливали предрассудки суеверных классов<sup>57</sup>. Вот главные отличительные черты царст-

ования Вильгельма III,— царствования, часто порицаемого, но мало понятого, о котором, однако, можно по справедливости сказать, что если принять в соображение всю трудность представлявшихся ему задач, то оно оказывается самым счастливым, блестящим царствованием во всей истории нашего отечества. Но это относится гораздо более к следующим томам нашего сочинения, теперь же мы должны только показать последствия революции для самой той духовной власти, которой революция эта была непосредственно произведена.

Едва лишь успело духовенство изгнать Якова, как большая часть этого сословия стала раскаиваться в своем собственном деле. Действительно, еще прежде чем он был изгнан из государства, было несколько случаев, которые могли заставить духовных усомниться в выгодности того пути, которому они последовали. В последние несколько недель своего царствования он оказал некоторые признаки возрастающего уважения в англиканской иерархии. Архиепископство Йоркское так долго было вакантным, что это заставляло думать, не намерено ли правительство назначить на него католика или захватить его доходы. Но Яков, к величайшему удовольствию духовенства, теперь заместил эту важную должность, назначив на нее Лампло (Lamplugh), который был всем известен как надежный приверженец церкви и усердный защитник епископских привилегий. Незадолго перед этим король также отменил повеление, которым епископ Лондонский был на время удален от исполнения своей должности. Всем епископам вообще он обещал в будущем много милостей; некоторые из них, как было сказано, должны были вступить в его тайный совет; в то же самое время он уничтожил духовную комиссию, которая, ограничивая их власть, возбуждала в них неудовольствие. Сверх того, явилось несколько других обстоятельств, о которых духовенству теперь предстояло подумать. Носился слух — и вообще все верили ему, — что Вильгельм — небольшой приверженец церковных установлений и что при расположении его к веротерпимости от него скорее можно ожидать уменьшения, чем увеличения, привилегий англиканской иерархии. Было также известно, что он благосклонно смотрит на пресвитериан, которых церковь не без основания считала злейшими врагами своими. Когда же, в довершение всего этого, Вильгельм по чисто практическим соображениям уничтожил епископство в Шотландии, то стало очевидным, что, отвергнув учение о божественном праве, он нанес сильный удар тем убеждениям, на которых был основан в Англии авторитет духовенства.

Среди волнения умов, произведенного всеми этими обстоятельствами, взоры нации, естественно, обращались к епископам, которые хотя и потеряли значительную долю прежнего своего могущества, но пользовались еще уважением огромного большинства народа как хранители национальной религии. Но в эту критическую минуту они были так ослеплены или честолюбием, или предрассудками, что приняли такой образ действия, который

был вреднее других для значения их в общественном мнении. Они сделали внезапную попытку обратить вспять то политическое движение, которого они же сами были главными зачинщиками. Действия их в этом случае вполне подтверждают высказанный мною взгляд на руководившие ими побуждения. Если бы, содействуя тем первоначальным мерам, посредством которых была подготовлена революция, они руководствовались желанием освободить нацию от деспотизма, то они должны были бы с восторгом приветствовать того великого человека, который одним приближением своим обратил деспота в бегство. Так поступили бы духовные, если бы они любили свое отечество более, чем свое сословие; но они поступили совершенно противоположным образом, потому что они предпочитали мелкие интересы своего класса благосостоянию всей массы народа и потому что они скорее хотели видеть всю страну угнетенной, чем церковь униженной. Почти все епископы и все духовенство за несколько недель перед тем смело решились подвергнуться гневу своего государя, чтобы только не прочесть в своих церквях эдикта о веротерпимости; семеро же самых влиятельных людей среди епископов даже добровольно шли на опасность подвергнуться публичному суду перед общими судилищами страны. Этот смелый образ действия они избрали, как сами сознавались, не потому, чтобы они не желали веротерпимости, а потому, что ненавидели деспотизм. Между тем когда Вильгельм прибыл в Англию, а Яков бежал из королевства среди ночи—это же духовное сословие выступило вперед, чтобы оттолкнуть того великого человека, который, не нанеся ни одного удара, одним своим присутствием спас страну от угрожавшего ей рабства. Нелегко найти в истории новейших времен другой пример такой грубой непоследовательности или, лучше сказать, такого эгоистического и бессовестного честолюбия. Эта перемена направления не только не была скрываема, но даже так открыто высказалась, и причины ее были так очевидны, что этим явно оскорблено было нравственное чувство целой нации. В течение нескольких недель отступничество проявилось вполне. Первый начал архиепископ Кентерберийский, который, заботясь о сохранении своего места, обещал явиться для приветствования Вильгельма. Но когда он увидел, какое направление должны были принять дела, он взял назад свое обещание и не хотел признать государя, показывавшего такое равнодушие к священному сану. Действительно, так силен был его гнев, что он сделал резкий выговор своему капеллану, осмелившемуся молиться за Вильгельма и Марию, тогда как они были провозглашены с полного согласия нации и корона была вручена им торжественным и положительным решением общего собрания всех сословий королевства<sup>58</sup>. Таким образом действовал сам примас Англии, а его собратия в эту критическую для их общей судьбы минуту не отставали от него. От клятвы на подданство отказались вслед за архиепископом Кентерберийским епископы Батский и Уэльский, Честерс-

кий, Чичестерский, Элийский, Глостерский, Норуичский, Питерборский и Уорстерский. Что же касается низшего духовенства, то наши сведения о нем менее точны; утверждают, однако, что около шестисот человек из членов его последовали примеру своих властей, отказавшись признать своим королем того, которого избрало все государство. Прочие члены этой беспокойной партии были нерасположены навлечь на себя таким смелым поступком лишение мест и доходов, которому, по всей вероятности, подвергнул бы их Вильгельм. Поэтому они предпочли более безопасную и менее славную оппозицию, посредством которой они могли тревожить правительство, не вредя самим себе, и приобрести славу ревнителей православия, не подвергаясь бедствиям мученичества<sup>59</sup>.

Легко себе представить действие, произведенное всеми этими событиями на образ мыслей нации. Вопрос теперь до такой степени упростился, что всякий мог сразу разрешить его. На одной стороне было значительное большинство духовенства<sup>60</sup>, на другой стороне были все умственные силы Англии и все самые дорогие интересы ее. Самый тот факт, что подобная оппозиция могла существовать, не возбуждая междоусобной войны, доказывает, до какой степени усилившееся умственное развитие народа ослабило авторитет духовного сословия. Кроме того, оппозиция была не только бесполезна, но и вредна для проявлявшего ее класса<sup>61</sup>. Теперь стало ясно, что духовенство думало о народе только до тех пор, пока народ думал о нем. Ярость, с какой эти раздраженные люди пошли против интересов нации, очевидно доказала эгоистичность того противодействия Якову, которым они прежде так сильно хвалились. Они продолжали надеяться на возвращение его, интриговать в его пользу, а иные даже и переписываться с ним, хотя хорошо знали, что его появление произведет междоусобную войну и что ненависть к нему была так распространена, что он не посмел бы показаться в Англии иначе как под покровительством войск иностранной и враждебной ей державы<sup>62</sup>.

Но этим еще не исчерпывается все зло, сделанное духовенством самому себе в эти трудные времена. Когда епископы отказались присягнуть новому правительству, то были приняты меры к удалению их из епархий. Вильгельм не затруднился сменить законным путем архиепископа Кентерберийского и пятерых из его собратий. Прелаты, глубоко чувствуя это оскорбление, в ярости своей прибегли к необычайно деятельным мерам. Они гласно объявили, что силы церкви, уже давно ослабевавшие, теперь совершенно упали<sup>63</sup>. Они отрицали право законодательной власти постановить против них закон и равным образом право государя привести такой закон в действие. Они не только продолжали титуловаться епископами, но даже приняли меры к тому, чтобы продлить существование раскола, вызванного их собственной дерзостью. Архиепископ Кентерберийский — как он требовал, чтобы его называли, — формально передал свои вооб-

ражаемые права в руки Ллойда, который все-таки считал себя епископом Норуичским, несмотря на то что Вильгельм недавно изгнал его из этой епархии. План этих беспокойных прелатов был сообщен Якову, который охотно согласился оказать им помощь в их намерении водворить постоянную распрю в английской церкви. Результатом этого договора крамольных прелатов с королем-претендентом было назначение целого ряда людей, которые выдавали себя за истинных епископов и пользовались уважением всех лиц, ставивших притязание церкви выше власти государственной<sup>64</sup>. Это смешное преемство мнимых епископов продолжалось более ста лет и, заставляя приверженцев церкви признавать главами ее разных лиц, ослабило самое значение ее. В нескольких случаях представлялось неприличное зрелище — два епископа на одной и той же епархии: один был назначен духовной властью, а другой — светской. Те, которые ставили церковь выше государства, конечно, группировались около мнимых епископов, между тем как Вильгельмовы назначения признаваемы были той быстро возрастающей партией, которая предпочитала мирские выгоды духовным теориям.

Таковы были некоторые из явлений, увеличивших в конце семнадцатого века разрыв, давно уже существовавший между интересами нации и интересами духовенства. Было еще одно обстоятельство, которое значительно усилило это отчуждение. Многие из английского духовенства хотя и сохраняли свое расположение к Якову, но не желали навлечь на себя гнев правительства или рисковать своими доходами. Чтобы избежать этого и примирить свою совесть с своими интересами, они придумали различие короля по праву от короля по действительному владению<sup>65</sup>. Вследствие того, произнося устами присягу на подданство Вильгельму, в душе своей они признавали себя подданными Якова и, молясь в своих церквях за одного короля, считали себя обязанными наедине молиться за другого<sup>66</sup>. Посредством этого жалкого ухищрения значительная часть английских духовных сразу обратилась в тайных крамольников, и мы знаем, по свидетельству одного современного епископа, что явная недобросовестность этих людей еще более содействовала развитию того скептицизма, на успехи которого он с горечью жалуется<sup>67</sup>. По мере того как подвигался вперед восемнадцатый век, быстро совершалось великое дело освобождения. В прежнее время одним из самых важных средств в руках духовенства была Конвокация: духовенство, собираясь целой корпорацией, имело возможность грозным видом могущества своего обезоружить всякого, кто мог быть враждебен церкви, и, сверх того, имело случай, которым оно тщательно пользовалось, составлять выгодные для своих интересов планы<sup>68</sup>. Но с течением времени оно лишилось и этого оружия. В течение нескольких лет после революции Конвокация стала предметом всеобщего презрения, а в 1717 г. это знаменитое собрание было окончательно распущено актом королевской власти, так как весьма справедливо было найдено, что Англия не



имеет в нем более никакой нужды. С этого времени великому собору англиканской церкви никогда больше не позволяли собираться для совещания о собственных делах духовенства до самых последних годов, когда при потворстве слабого правительства собрание духовных снова было допущено. Впрочем, в духе нации произошла такая решительная перемена, что эта, некогда грозная, корпорация не сохранила даже и призрака своего старинного влияния; решений ее уже не боятся и за прениями ее не следят, а дела страны ведутся совершенно независимо от тех интересов, которые еще за несколько поколений каждый государственный человек признавал предметом первостепенной важности.

Действительно, тотчас после революции направление дел стало слишком очевидно, чтобы можно было в нем ошибиться даже самому поверхностному наблюдателю. Самые даровитые люди страны уже не стекались более в духовное сословие, а предпочитали те светские профессии, в которых им представлялось более случаев найти вознаграждение своим способностям<sup>69</sup>. В то же время — и это было естественной принадлежностью великого движения — духовенство увидело, что все места, которые давали влияние и большие выгоды и которые оно привыкло занимать своими людьми, постепенно ускользают из его рук. Не только в темные века, но даже до пятнадцатого столетия оно было еще довольно сильно, чтобы монополизировать самые почетные и прибыльные должности в государстве<sup>70</sup>. В шестнадцатом веке дела стали принимать направление, неблагоприятное для духовных, и это продолжалось так неуклонно, что с семнадцатого века не было ни одного примера, чтобы духовное лицо было назначено на должность лорд-канцлера, а начиная с восемнадцатого столетия никто из духовных не получал дипломатического назначения и не занимал никакой важной должности в государстве. И это возрастающее преобладание мирян не ограничилось местами, зависящими от исполнительной власти. Напротив, мы видим действие того же начала и в обеих палатах парламента. В самых ранних и варварских периодах нашей истории половина палаты лордов состояла из светских пэров, а другая половина — из духовных. К началу восемнадцатого века духовные пэры вместо половины верхней палаты составляли уже только одну восьмую часть ее, а в половине девятнадцатого века число их еще более уменьшилось — до одной четырнадцатой, — представляя таким образом разительное численное доказательство того ослабления духовной власти, которое составляет существенную принадлежность новейшей цивилизации. Точно так же уже более пятидесяти лет, как никто из духовенства не может занять места в парламенте в качестве представителя народа, так как палата общин в 1801 г. формально закрыла вход свой для этой профессии, члены которой в старые годы с радостью были бы приняты даже самым гордым и исключительным собранием. В палате лордов епископы еще сохраняют свои места; но сомнительность положения их заметна во всем, и направление общественного

мнения постоянно указывает нам на близость того времени, когда пары последуют примеру общин и законодательным порядком достигнут освобождения верхней палаты от духовных членов ее, так как эти члены, по своим привычкам, склонностям и преданиям, очевидно не удовлетворяют мирским требованиям политической деятельности.

Между тем как все здание, воздвигнутое суеверием, колебалось таким образом от внутренней гнилости подпор своих и как духовная власть, игравшая прежде такую важную роль, постепенно ослабевала по мере успехов знания,—внезапно совершилось событие, которое хотя и могло естественным образом быть ожидаемо, однако же явно захватило врасплох даже тех, кого оно наиболее касалось. Я говорю, конечно, о той великой религиозной революции, которая была разумным дополнением к предшествовавшей политической революции. Диссентеры, усиленные изгнанием Якова, не забыли тех жестоких наказаний, которыми преследовала их англиканская церковь в дни своего могущества, и они чувствовали, что пришла минута, когда они могут принять против нее более смелый образ действия<sup>71</sup>. Сверх того, в это время были поданы им новые поводы к вражде. После смерти великого короля нашего Вильгельма III престол был занят глупой и невежественной женщиной, любовь которой к духовенству в более суеверном веке привела бы к опасным последствиям<sup>72</sup>. Впрочем, и при тогдашних обстоятельствах произошла временная реакция, и в течение этого царствования духовенство пользовалось таким уважением, какого не удостоивал его Вильгельм. Естественные последствия этого немедленно сказались. Были придуманы новые средства преследования за религию и постановлены новые законы против тех протестантов, которые не подчинялись учению и властям англиканской церкви. Но после смерти Анны диссентеры скоро ободрились; надежды их воскресли, число их продолжало увеличиваться, и, несмотря на оппозицию духовенства, законы, постановленные против них, были отменены. Так как положение диссентеров через это более прежнего сравнялось с положением их противников и так как недавно перенесенные обиды настроили их ко вражде, то было ясно, что между обеими партиями неизбежно предстоит великая борьба. К тому же времени столь долго державшаяся тирания англиканского духовенства совершенно уничтожила то чувство уважения, которое и посреди враждебных действий нередко сохраняется в душах противников и которое, если бы оно еще существовало, могло бы, может быть, своим влиянием отвлечь столкновение. Но теперь все подобные причины к воздержанию от борьбы были отвергнуты, и диссентеры, раздраженные постоянными преследованиями, решились воспользоваться ослаблением могущества церкви. Они боролись с нею, когда она была сильна, и потому можно ли было ожидать, что они пощадят ее ослабевшую? Под руководством двух из самых замечательных людей восемнадцатого века — Вайтфильда, первого из богословов-ораторов<sup>73</sup>,

и Веслея, первого из богословов-политиков<sup>74</sup>, была организована великая религиозная система, которая стала в такие же отношения к англиканской церкви, в каких последняя находилась к римско-католической. Так, после промежутка в двести лет, совершилась в нашей стране вторая Реформация. В XVIII столетии веслеянцы были тем же для епископов, чем были в XVI столетии реформаторы для пап<sup>75</sup>. Правда, что диссентеры английской церкви не были похожи на диссентеров римской в том отношении, что они вскоре утратили ту умственную силу, которою отличались первое время. Со смерти их великих вождей среди них не появлялось ни одного человека с самобытным гением; а со смерти Адама Клерка у них не было даже ни одного ученого, который пользовался бы европейской известностью. Эта умственная бедность происходила, может быть, не от какой-нибудь особенности, свойственной только их секте, а просто от того всеобщего упадка теологического духа, который одинаково ослаблял как их самих, так и их противников. Как бы то ни было, но во всяком случае достоверно, что вред, принесенный английской церкви диссентерами, был гораздо значительнее, чем обыкновенно полагают, и я, с своей стороны, склонен думать, что вред этот едва ли уступал тому, который причинен был в XVI столетии протестантизмом папству. Оставляя в стороне убыль в числе членов английской церкви<sup>76</sup>, происшедшую вследствие этой диссенции, несомненно еще и то, что самое образование протестантской секты без противодействия со стороны правительства было уже опасным примером на будущее время; и мы знаем из современной истории, что так именно смотрели на это дело люди, наиболее заинтересованные его исходом<sup>77</sup>. Кроме того, веслеянцы обнаруживали в своей организации такое превосходство перед своими предшественниками, пуританами, что вскоре сделались центром, вокруг которого удобно могли собираться враги господствующей церкви. А что может быть еще важнее — порядок, правильность и гласность, составлявшие обыкновенную характеристику их действий, отличали их секту от других сект и, возвышая ее до значения как бы соперницы господствующей церкви, способствовали ослаблению того исключительного, суеверного уважения, которым пользовалась некогда англиканская иерархия<sup>78</sup>.

Но как бы ни были интересны все эти обстоятельства, они составляли только одну из частей того обширного процесса, посредством которого была ослаблена власть церкви и соотечественники наши получили возможность достигнуть религиозной свободы, конечно не полной, но во всяком случае гораздо большей, чем та, которой наслаждаются другие народы. Между бесчисленными признаками этого великого движения было два особенно важных, а именно: отделение теологии сперва от нравственности, а потом и от политики. Отделение ее от нравственности совершилось в самом конце XVII столетия, отделение же от политики — прежде половины XVIII столетия.

Разительный пример ослабления прежнего духа церкви представляется в том факте, что обе эти перемены были начаты самим же духовенством. Кумберленд, епископ Питерборо, первый попытался построить систему нравственности без помощи теологии<sup>79</sup>. Варбертон, епископ Глостерский, первый стал утверждать, что государство должно смотреть на религию не со стороны откровения, а со стороны целесообразности и что оно должно покровительствовать тому или другому верованию, сообразуясь не с тем, в какой мере оно истинно, а с тем, в какой степени оно полезно<sup>80</sup>. И выводы эти не остались одними бесплодными принципами, которых позднейшие исследователи не были бы в состоянии применить. Идеи Кумберленда, доведенные до крайности Юмом<sup>81</sup>, были вскоре применены к практической деятельности Пэлеем<sup>82</sup> и к умозрительной юриспруденции Бентамом и Миллем; идеи же Варбертона, распространившиеся с еще большей быстротой, имели влияние на наше законодательство и высказываются в настоящее время не только передовыми мыслителями, но и теми обыкновенными людьми, которые если бы жили пятьдесят лет тому назад, то отшатнулись бы от них в неподдельном страхе<sup>83</sup>.

Таким образом, в Англии теология была окончательно отделена от нравственности и от государственного управления. Но так как эта важная перемена имела сперва только теоретический, а не практический характер, то действие ее в продолжение многих лет ограничивалось лишь немногочисленным классом людей, и потому она еще не произвела до сих пор всех последствий, которых мы имеем полное право ожидать от нее. Но были другие обстоятельства, действовавшие в том же направлении, которые, будучи известны всем людям сколько-нибудь образованным, имели более непосредственное, хотя, может быть, менее прочное влияние. Рассмотреть в подробности эти обстоятельства и указать существующую между ними связь будет задачей следующих томов этого сочинения; в настоящее же время я мог только обозреть их в главнейших чертах. Из них наиболее выдавались вперед следующие: великий арианский спор, нагло подстрекаемый Вистеном, Клерком и Ватерландом и посеявший сомнение почти во всех классах общества; бангорский спор<sup>84</sup>, который, коснувшись предметов церковной дисциплины, остававшихся до того времени не затронутыми, повел к рассуждениям, опасным для власти церкви<sup>85</sup>; великое сочинение Блэкберна о Конфессии, которое одно время чуть было не произвело раскола в самой господствующей церкви; знаменитый спор между Миддлтоном, Черчем и Додвеллем о чудесах,— спор, который продолжали люди с еще более широкими взглядами— Юм, Кэмпбелл и Дуглас<sup>86</sup>; обличение несообразностей отцов церкви, которое началось еще с Далье и Барбейрака и было продолжаемо Кэвом, Миддлтоном и Джортином; важные и никем не опровергнутые свидетельства Гиббона, заключающиеся в его пятнадцатой и шестнадцатой главах; приобретение этими главами новой силы

вследствие неловких нападений на них Дэвиса, Челзума, Вайткера и Ватсона<sup>86а</sup>. Наконец, не говоря уже о предметах меньшей важности, столетие окончилось среди смятения, произведенного решительным спором между Порсоном и Тревисом относительно текста Небесных Свидетелей (Heavenly Witnesses); спор этот возбудил громадный интерес и непосредственно сопровождался открытиями геологов, которые не только восставали против истины Моисеевой космогонии, но и положительно доказывали, что она не может быть справедлива<sup>87</sup>. Все эти обстоятельства, следуя одно за другим с изумительной быстротой, перепутали верования людей, смутили их легковерие и произвели такое действие на все умы, которое оценить может только тот, кто изучал историю этого времени по оригинальным источникам. И в самом деле, влияние это не может быть понято даже в его общих чертах, если не принять в соображение некоторые другие обстоятельства, с которыми было тесно связано это великое движение вперед.

Так, в то же время началась громадная перемена не только в умах мыслителей, но и в самом народе. С усилением скептицизма возбуждалась любознательность, а с распространением образования усиливались средства удовлетворения ее. Вот почему мы находим, что одну из главных особенностей XVIII столетия, особенность, более чем что-либо отличавшую его от предшествовавшего времени, составляло стремление к знанию со стороны тех классов общества, для которых путь к нему был прежде закрыт. Именно в этот великий век были впервые заведены школы для низших сословий, открывавшиеся в единственный день, в который сословия эти имели время учиться<sup>88</sup>, и основаны для них журналы, выходившие в единственный день, в который они имели время читать<sup>89</sup>. Тогда именно впервые появились в нашей стране библиотеки для чтения<sup>90</sup>, и тогда также книгопечатание, вместо того чтобы сосредоточиваться почти исключительно в Лондоне, стало входить в употребление и в провинциальных городах<sup>91</sup>. В восемнадцатом же столетии были сделаны самые первые систематические попытки популяризировать науки и облегчить усвоение их общих начал посредством трактатов о них, написанных легким, не техническим языком<sup>92</sup>; между тем изобретение энциклопедий дало возможность соединить в одно место результаты различных наук и привести их в форму более доступную, чем какая-либо из употреблявшихся до того времени<sup>93</sup>. В ту же эпоху встречаем мы в первый раз периодические литературные обозрения, в которых целые массы людей, занятых практической деятельностью, почерпали познания, конечно недостаточные, но во всяком случае стоявшие выше их прежнего невежества<sup>94</sup>. Везде стали образовываться общества для покупки книг, а перед концом столетия мы слышим уже о клубах, учреждаемых грамотными людьми из промышленных классов. Во всех проявлялась пылкая любознательность. В половине XVIII столетия

возникли общества прений (debating societies) среди торговцев; за этим последовало еще более смелое нововведение — в 1769 г. состоялся первый публичный митинг в Англии, — первый, на котором сделана была попытка просветить англичан насчет их политических прав. Около того же времени народ стал следить за ходом дел в наших судах, о котором он начал получать сведения из ежедневных изданий. Незадолго до этого возникли политические газеты<sup>95</sup> и завязался сильнейший спор между ними и обеими палатами парламента относительно права печатания прений, окончившийся тем, что обе палаты, несмотря на поддержку со стороны короны, были совершенно побеждены, и народ получил таким образом возможность следить за действиями законодательной власти и, следовательно, знакомиться несколько с делами государственными<sup>96</sup>. Едва была довершена эта победа, как сообщен был еще новый толчок распространением великого политического учения о личном представительстве, — учения, которое должно наконец восторжествовать над всеми препятствиями. Зародыш его можно найти еще в конце XVII столетия, когда пустило корни и стало процветать истинное понятие о личной независимости<sup>97</sup>. Наконец восемнадцатому столетию предоставлено было показать первый пример призвания народа к участию в обсуждении тех важных вопросов, относящихся до религии, в которых до тех пор никогда не советовались с ним; между тем как в настоящее время всеми признано, что в этих и во всех других предметах должно окончательно обращаться к возрастающему пониманию народа.

В связи со всем этим находилась и соответственная перемена в самой форме и в самом строе нашей литературы. Строгий педантический метод, которому издавна привыкли следовать наши великие писатели, не годился для нового поколения, пылкого и пытливого, жаждущего знания и потому не терпящего тех неясностей, на которые в прежнее время не обращали внимания. Вот почему в самом начале XVIII столетия сильный, но тяжелый образ выражения и длинные, запутанные предложения, казавшиеся столь естественными у наших древних писателей, были, несмотря на их красоту, внезапно откинута и заменены слогом более легким и простым, который, будучи удобопонятнее, в большей мере соответствовал требованиям века<sup>98</sup>.

Увеличение знания, соединенное с таким упрощенным способом передачи его, повело естественным образом к большей независимости литераторов и к большей смелости литературных исследований. До тех пор пока книги вследствие тяжелого слога или нелюбознательности народа мало читались, ясно, что авторы должны были рассчитывать на покровительство отдельных сословий или богатых и титулованных личностей. А так как люди всегда бывают склонны льстить тем, от кого они зависят, то очень часто случалось, что даже величайшие из наших писателей унижали свой талант, льстя предрассудкам своих покровителей. Последствием этого было то, что литература не только не пресе-

кала старого суеверия и не возбуждала ум к новым исследованиям, а, напротив, часто принимала робкий, угодливый тон, свойственный ее зависимому положению. Но теперь все изменилось. Эти рабские, постыдные посвящения<sup>99</sup>, этот низкий, ползучий дух, это беспрестанное поклонение одному только званию и рождению, это постоянное смешивание могущества с правом, это невежественное благоговение перед всем, что старо, и еще более невежественное презрение ко всему, что ново,—все эти черты мало-помалу сглаживались, и авторы, полагаясь на покровительство народа, стали защищать права своих новых союзников с такой смелостью, на которую они никогда не решились бы ни в один из предшествовавших веков<sup>100</sup>.

Из всех обстоятельств вытекали последствия чрезвычайно важные. От такого упрощения, такой независимости и такого распространения знания<sup>101</sup> произошло по необходимости то, что исход великих споров, о которых я упоминал выше, стал более всем известен в XVIII столетии, чем это было бы возможно в какой-либо из предшествовавших веков. Теперь было известно, что постоянно происходили теологические и политические споры, в которых гений и ученость находились на одной стороне, а православие и предание — на другой. Стало известно, что обсуждаемые пункты касались не одной только достоверности отдельных фактов, но и истины общих начал, которыми тесно обуславливались интересы и счастье человечества. Споры, которые прежде ограничивались лишь самой незначительной частью общества, теперь стали широко распространяться во все стороны и возбуждать сомнения, которые служили народу материалом для мышления. От этого дух исследования с каждым годом становился деятельнее и все более и более распространялся; жажда реформы постоянно усиливалась, и если б дела были предоставлены своему естественному течению, то XVIII столетие не могло бы пройти без решительных, благодетельных перемен как в церкви, так и в правительстве. Но вскоре после половины этого столетия возник, к несчастью, целый ряд политических комбинаций, которые прервали естественный ход событий и, наконец, произвели такой опасный кризис, который у всякого другого народа непременно окончился бы или потерей свободы, или распадением правительства. Эта пагубная реакция, от которой Англия, может быть, с трудом оправилась, никогда еще не была изучаема с таким вниманием, которое хоть сколько-нибудь соответствовало бы ее важности; ее даже так мало понимали, что ни один историк не различал противоположности между этой реакцией и тем великим умственным движением, краткий очерк которого я только что представил. По этой причине, а также и в видах сообщения возможной полноты настоящему введению, я намерен обозреть важнейшие эпохи означенной реакции и обнаружить, насколько сумею, существующую между ними связь. Согласно плану нашего введения, исследование это должно быть весьма кратко, так как оно имеет

целью только положить основание тем общим началам, без которых история — не более как собрание эмпирических замечаний, ничем не связанных и потому не имеющих никакой важности. Должно также помнить, что обстоятельства, которые нам предстоит рассматривать, имели не социальный, а политический характер, вследствие чего мы особенно склонны заблуждаться в наших заключениях о них; и это частью потому, что материалы для истории народа, будучи обширнее и имея менее прямое значение, чем материалы для истории правительства, в меньшей мере подвержены искажению, частью же и потому, что деятельность небольших кружков людей, как, например, министров и государей, всегда более зависит от личности, т. е. в меньшей мере подчиняется известным законам, чем деятельность обширных корпораций, в совокупности называемых обществом или нацией. С этим замечанием в уме, я постараюсь теперь очертить ту эпоху, которая с чисто политической точки зрения составляет реакционный и ретроградный период английской истории.

Следует признать за весьма счастливое обстоятельство то, что после смерти Анны в продолжение почти пятидесяти лет престол был занят двумя государями, которые были чужды Англии и по своим нравам, и по месту рождения и из которых один плохо владел нашим языком, а другой вовсе не знал его<sup>102</sup>. Непосредственные предшественники Георга III были действительно так бесчестны по характеру и до такой степени невежественны во всем касающемся до народа, которым они брались управлять<sup>103</sup>, что, несмотря на их деспотический нрав, нельзя было опасаться, что они составят себе партию для расширения пределов королевской прерогативы<sup>104</sup>. Как иностранцы, они не имели к английской церкви достаточного сочувствия, чтобы помочь духовенству в естественном стремлении его возвратить прежнюю власть. Сверх того, крамолы и двуличный образ действия многих из прелатов должны были содействовать тому, чтобы лишить духовенство уважения государей, так же как они лишили его расположения нации<sup>105</sup>. Эти обстоятельства, хотя сами по себе они могут казаться ничтожными, были в действительности весьма важны потому, что они обеспечили нации дальнейшее развитие того духа исследования, который правительство и церковь совокупно старались бы подавить, если бы они были между собою в согласии. Даже и при этих обстоятельствах делались от времени до времени некоторые покушения, но они были, говоря сравнительно, довольно редки и не имели той силы, которая бы проявилась в них тогда, когда между светской и духовной властью существовал бы тесный союз. Действительно, положение дел было так благоприятно, что старая партия тори, отталкиваемая нацией и покинутая правительством, более сорока лет не имела возможности принимать участие в управлении страной. В то же время, как мы увидим впоследствии, в законодательстве совершился значительный прогресс, и наша книга статуты за этот период времени заключает в себе сильные доказательства



упадка той могущественной партии, которая когда-то самовластно управляла Англией.

Но со смертью Георга II ход политических дел внезапно изменился, и желания государя снова стали в противоположность с интересами нации, а это представляло тем более опасности, что в глазах поверхностного наблюдателя вступление на престол Георга III должно было казаться самым счастливым событием, какое только могло случиться. Новый король родился в Англии, говорил по-английски, как на своем природном языке<sup>106</sup>, и, как утверждали, смотрел на Ганновер как на чужую страну, интересы которой должны были считаться предметом второстепенным. В то же время угасли последние надежды дома Стюартов. Претендент сам томился в Италии, где он вскоре умер; а сын его, рабски предавшийся порокам, как будто бы наследственным в этом семействе, влачил жизнь в ничтожестве, не возбуждая даже ни в ком сожаления<sup>107</sup>.

Между тем эти самые обстоятельства, казавшиеся столь благоприятными, необходимо влекли за собою самые бедственные последствия. Лишь только миновала для Георга опасность лишиться оспариваемого права на престол, он стал действовать смелее, чем действовал бы без этого. Все эти старинные учения о правах королей, которые считались окончательно убитыми революцией, внезапно были возобновлены<sup>108</sup>. Духовенство, оставив безнадежно проигранное дело претендента, выказало к ганноверскому дому ту же приверженность, которую оно прежде показывало к дому Стюартов. С проповеднической кафедры стали раздаваться похвалы новому королю, его личным, семейным добродетелям, его благочестию, преимущественно же его сыновней приверженности английской церкви. Результатом подобного настроения было установление между королем и церковью такого тесного союза, какого мы никогда не видели в Англии со времен Карла I. Под покровительством этого союза старая партия тори быстро усилилась и вскоре уже имела возможность устранить своих противников от управления делами. Этому реакционному движению много содействовал личный характер Георга III: расположенный к деспотизму столько же, как и суеверный, он одинаково заботился о расширении прерогативы и об усилении церкви. Всякая либеральная мысль, все, что сколько-нибудь походило на реформу, даже малейший намек на свободу исследования,— все это было предметом ужаса для такого ограниченного, невежественного государя. В нем не было ни знания, ни вкуса, ни даже понятия о какой-либо науке, не было и расположения ни к одному искусству; вообще воспитание не сделало ничего для развития этого ума, самой природой созданного в необычайно тесном размере<sup>109</sup>. Не имея никакого понятия об истории и средствах других земель и зная только их географическое положение, он едва ли имел более обширные сведения и о той нации, которой был призван управлять. В огромной массе свидетельств, сохранившихся доньше и состоящих из всякого рода

частных корреспонденций, изложений частных разговоров и государственных актов, нигде нельзя найти ни малейшего доказательства, чтобы он обладал хотя одним из того множества знаний, которыми должен отличаться правитель государства, ни даже чтобы он был знаком хотя с одной из обязанностей своего положения, за исключением чисто механической рутины текущих дел, которую мог бы иметь и последний писец из самого низшего присутственного места в его королевстве.

Образ действия, которому должен был последовать такой король, мог быть весьма легко предугадан. Он сгруппировал около своего престола ту великую партию, которая, применяясь к преданиям старины, всегда гордилась тем, что останавливала прогресс своего времени. В продолжение шестидесяти лет своего царствования он ни разу не принял добровольно в число своих советников, за исключением Питта, ни одного особенно даровитого человека <sup>110</sup>, ни одного человека, с именем которого соединялось бы воспоминание о какой-либо мудрой мере по внутренней или внешней политике. Даже Питт сохранил свое положение в государстве только тем, что, забыв уроки своего знаменитого отца, оставил те либеральные начала, в которых он был воспитан и с которыми он выступил на политическое поприще. Вследствие ненависти Георга III к самой идее реформы, Питт не только отступил от того, что он сам прежде признавал совершенно необходимым <sup>111</sup>, но даже не усомнился преследовать насмерть ту партию, с которой он некогда действовал заодно, чтобы достигнуть реформы <sup>112</sup>. Георг III смотрел на рабство, как на один из добрых, старых обычаев, освященных мудростью его предков, и поэтому Питт не осмеливался употребить свою власть на то, чтобы достигнуть уничтожения рабства, а оставил своим преемникам славу прекращения той постыдной торговли, поддержание которой так принимал к сердцу его король и повелитель <sup>113</sup>. Вследствие того что Георг III ненавидел французов, которых он знал столько же, как и жителей Камчатки или Тибета, Питт, вопреки своему собственному убеждению, предпринял войну с Францией, — войну, которая поставила Англию в серьезную опасность и обременила английский народ долгом, которого и позднейшие потомки его не в состоянии будут уплатить. Но, несмотря на все это, когда Питт за несколько лет до своей смерти выказал решимость предоставить ирландцам небольшую долю неоспоримо принадлежащих им прав, король удалил его от должности; и «друзья королевские» — как их называли — выразили свое негодование дерзостью министра, решившегося идти против желаний такого кроткого и милостивого монарха. А когда, к несчастью для своей славы, этот великий человек решился опять вступить в министерство, то ему удалось возвратить свое место только уступкой того самого пункта, по поводу которого он оставил должность; и таким образом он представил вредный пример министра свободной страны, приносящего свое убеждение в жертву личным предрассудкам царствующего государя.

Так как было почти невозможно найти других министров, которые с подобным дарованием соединяли бы такую же покорность, то самые высшие места были всегда заняты людьми, известными по своей неспособности. Действительно, король, по видимому, имел инстинктивную антипатию ко всему великому и благородному. В царствование Георга II Питт Старший приобрел славу, наполнившую собою весь мир, и возвел Англию на неслыханную дотоле степень высоты и величия. В то же время, как признанный защитник народных прав, он мужественно противодействовал деспотическим стремлениям двора; и за это Георг III ненавидел его такой ненавистью, какую трудно было себе представить в человеке, пользующемся здравым умом. Фокс был один из самых великих государственных людей восемнадцатого века и лучше чем кто-либо знал и характер, и средства тех иностранных наций, с которыми мы были тесно связаны нашими интересами. С этим редким и важным знанием в нем соединялись кротость нрава и приятность характера, которые исторгали похвалы даже у его политических противников. Но он был также постоянным защитником гражданской и религиозной свободы и потому также ненавидим Георгом III до такой степени, что король собственноручно вычеркнул его имя из списка своих ближайших советников и объявил, что скорее откажется от престола, чем допустит Фокса принять какое-либо участие в управлении.

В то время как совершилась такая неблагоприятная перемена на престоле, столь же неблагоприятная перемена произошла и в законодательном собрании. До царствования Георга III палата лордов стояла положительно выше палаты общин по либеральному образу мыслей и общему умственному развитию своих членов. Правда, что в обеих палатах преобладали воззрения, которые должны быть признаны узкими и суеверными, если судить о них по сравнению с более обширными взглядами настоящего времени, но у пэров подобные понятия умерялись воспитанием, которое ставило их много выше тех невежественных сквайров, проводивших весь свой век на лисьей травле, из которых главным образом состояла нижняя палата. Вследствие такого преимущества в знаниях пэры естественным образом отличались более широким взглядом и более либеральным складом мыслей, чем лица, называвшиеся представителями народа, а поэтому старый торийский дух, ослабевая постепенно в верхней палате, нашел убежище в нижней, где в течение почти шестидесяти лет после революции приверженцы высшеангликанской церкви и дома Стюартов составляли опасную для государства партию. Примером этого направления может служить судьба двух человек, оказавших важнейшие услуги Ганноверской династии, а следовательно, и свободе Англии,—Сомерса и Вальполя. Оба они были замечательны своей приверженностью началам веротерпимости и оба были обязаны своим спасением вмешательству палаты лордов. Сомерс в самом начале восемнадцатого века был защи-

щен лордами против скандального обвинения, введенного на него другой палатой парламента. Сорок лет спустя после этого палата общин, желая окончательно погубить Вальполю, провела билль, поощрявший свидетелей к показаниям против него освобождением их вперед от всякой за то ответственности. Эта варварская мера прошла в нижней палате без малейшего затруднения; у лордов же она отвергнута большинством голосов, составлявшим почти 2:1. Точно так же и акт о схизматиках, посредством которого приверженцы церкви подвергали диссентеров жестокому наказанию, был с жадностью принят в палате общин сильным и усердным большинством. У лордов между тем число голосов разделилось почти поровну; и хотя билль был принят, но к нему присовокуплены исправления, в некоторой степени смягчающие жестокость вводимых им постановлений.

Это превосходство верхней палаты над нижней вообще сохранялось неизменным во все продолжение царствования Георга II, так как министры не заботились об усилении партии высшеангликанской церкви в палате лордов, а сам король так редко жаловал достоинство пэра, что все считали его особенно нерасположенным к умножению этого сословия.

Георгу III было суждено неумеренным употреблением своей прерогативы совершенно изменить характер верхней палаты и таким образом положить начало тому упадку в общественном мнении, которому с тех пор постепенно подвергались пэры. Пожалования при нем были многочисленнее, чем когда-либо, и имели, очевидно, целью нейтрализовать преобладавшего до тех пор либерального духа и обращение палаты лордов в орудие для противодействия желаниям нации и замедления успехов реформы. До какой степени план удался — это хорошо известно всем, читавшим нашу историю. И действительно, можно было ручаться за удачу его, приняв в соображение свойства тех людей, которые были пожалованы в пэры. Они почти без исключения принадлежали к двум классам: к деревенским помещикам, замечательным только по своему богатству и по количеству голосов, которыми это богатство давало им возможность располагать, и к простым законникам, достигшим судебных мест, частью по своей специальной учености, но главным образом по тому усердию, с каким они трудились для подавления прав народа и усиления королевской прерогативы.

Что наше описание не преувеличено — в этом может удостовериться всякий, кто только захочет просмотреть списки новых пэров, пожалованных Георгом III. Изредка мы находим в них какого-нибудь замечательного человека, заслуги которого перед обществом были так известны, что невозможно было не вознаградить их; но, оставив в стороне тех, которые были как бы навязаны государю, нельзя не согласиться, что остальные, составляющие, конечно, огромное большинство, отличались узкостью и нелиберальностью понятий, которые более чем что-либо другое содействовали навлечению презрения на все их сосло-

вие <sup>114</sup>. Ни великих мыслителей, ни великих писателей, ни великих ораторов, ни великих государственных людей — никого из истинной аристократии страны нельзя было найти среди этих поддельных пэров, пожалованных при Георге III. И представительство материальных интересов государства было не лучше составлено в этом странном сброде людей. Среди значительнейших людей в Англии одно из самых высших мест принадлежало лицам, занимавшимся банкирским делом и торговлей; с конца семнадцатого столетия влияние их быстро возрастало; их способности, их открытый, последовательный образ действия и вообще знание дела ставили их во всех отношениях выше тех сословий, из среды которых теперь пополнялась верхняя палата. Но в царствование Георга на право такого рода обращалось мало внимания, и Бёрк, авторитет которого по этому предмету никто не станет оспаривать, утверждает, что ни в какое другое время не было повышено в звание пэров так мало людей, участвующих в торговле.

Мы бы никогда не кончили, если б стали собирать все признаки, обозначающие политический упадок Англии в этот период, — упадок, тем более разительный, что он противоречил духу времени и что он совершился вопреки великому прогрессу, и социальному, и умственному. О том, каким образом этот прогресс остановил наконец политическую реакцию и даже сообщил ей обратное движение, мы будем говорить в другой части этого труда; но есть одно обстоятельство, о котором я не могу не поговорить довольно пространно, так как оно живо изображает тогдашнее направление государственных дел и в то же время выясняет характер одного из самых великих людей вообще и величайшего мыслителя из всех политических деятелей Англии, за исключением разве одного Бэкона.

В самом даже кратком очерке царствование Георга III составило бы непозволительный пробел, если бы было опущено имя Эдмунда Бёрка. Этот необыкновенный человек изучил не только все, что входит в область политики <sup>115</sup>, но и бесчисленное множество других предметов, которые хотя, по-видимому, чужды политике, но в действительности составляют важное для нее пособие, так как для истинно философского ума каждая отрасль знания служит проявлению взгляда на все другие, и даже на те, которые кажутся самыми отдаленными от нее. Похвала, высказанная ему одним человеком, суждения которого имеют неоспоримую цену, может быть оправдана, — более чем оправдана, — как цитатами из его сочинений, так и мнениями самых замечательных из его современников. Между тем как его глубокое знание философии права приобрело ему высокое мнение юристов, знакомство его со всей областью изящных искусств и теориею их возбуждало удивление художников, — поразительное соединение двух видов умственного труда, которые нередко, хотя и ошибочно, признаются несовместимыми. В то же время мы знаем из достоверных источников, что, несмотря на труды

политической деятельности своей, он много занимался историей и происхождением языков, этим обширным предметом, который в последние тридцать лет стал одним из важнейших вспомогательных средств для изучения человеческого ума, между тем как тогда самая идея о нем, в более широком смысле, только начинала выясняться в умах немногих отдельных мыслителей. Но еще замечательнее тот факт, что когда Адам Смит прибыл в Лондон, полный теми истинами, открытие которых обессмертило его имя, он, к изумлению своему, нашел, что Бёрк предвосхитил некоторые выводы, выработка которых стоила самому Смиту многих лет напряженного и непрерывного труда.

С способностью к этим великим исследованиям, касающимся оснований социальной науки, в Бёрке соединялись значительные познания в науках естественных и даже знакомство с практическими приемами и рутиной механических ремесел. Все это было вполне переварено и выработано в его уме и готово на всякий случай, не так, как знания дюжинных политиков, разбитые и разбросанные отрывками, а как нечто стройное, целое, слитое воедино силой дарования, умевшего придать жизнь самым скучным занятиям. Действительно, это было характеристической чертой Бёрка, что в его руках ничто не оставалось бесплодным. Ум его отличался такой силой и таким богатством, что плоды его проявлялись во всех направлениях и что он мог придать значение самым ничтожным предметам, обнаружив связь их с общими началами, и ту роль, которую они играют в великой системе дел человеческих.

Но что мне всегда казалось еще более замечательным в характере Бёрка — это та умеренность, с какой он всегда пользовался своими необыкновенными познаниями. В продолжение лучшей части его жизни политические начала, которыми он руководствовался, были далеко не отвлеченные, а совершенно практические. Это в особенности поражает нас, потому что ему представлялись всевозможные соблазны принять противоположное направление. Он имел в своем распоряжении несравненно более материалов для обобщений, чем кто-либо из политических деятелей его времени, и ум его был чрезвычайно склонен к широким взглядам. Часто, и даже всегда, как только представлялся к тому случай, он проявлял способности самостоятельного мыслителя-философа. Но с того момента, как он становился на почву политическую, он совершенно изменял свой метод. В вопросах, касающихся до накопления и распределения богатства, он видел, что, исходя от немногих простых начал, — может быть построена дедуктивная наука, удобоприменимая к коммерческим и финансовым интересам государства. Далее этого он отказывался идти, зная, что, за этим единственным исключением, все отрасли политики имеют характер чисто эмпирический и, вероятно, долго сохраняют его. Поэтому он признавал во всех его применениях то великое правило, к сожалению слишком часто забываемое и в наше время, что целью законодателя должна быть не истина,

а польза. Взирая на настоящее положение знания, он должен был согласиться, что все начала политики извлечены поверхностным наведением из весьма ограниченной суммы фактов и что поэтому благоразумный человек, когда ему приходится присовокуплять новые факты к данной сумме, должен верить самый процесс наведения и вместо того, чтобы приносить практические соображения в жертву принципам,—видоизменять принципы ради изменений практики. Или—чтобы выразить эту мысль иначе—Бёрк полагает, что политические начала, как бы высоко мы их ни ценили, суть только произведения человеческого ума, между тем как политическая практика имеет дело с человеческими страстями и человеческой природой, к которой разум относится как часть к целому<sup>116</sup>, и что, следовательно, истинное призвание государственного человека заключается в том, чтобы изыскивать меры, посредством которых могут быть достигнуты известные цели, предоставляя общественному мнению страны решить, какие именно должны быть эти цели, и направляя свои действия не по своим собственным убеждениям, а согласно с желаниями народа, для которого он пишет законы и которому он в то же время обязан повиноваться<sup>117</sup>.

Эти именно воззрения и необыкновенный талант, с которыми они были защищаемы, делают появление Бёрка достопамятной эпохой в нашей политической истории. Мы, без сомнения, имели до него других государственных людей, отрицавших силу общих начал в политике, но их отрицание было только счастливой догадкой невежества; они отвергали теории, которых не дали себе труда изучить; Бёрк же отвергал теории, потому что знал их. Весьма редкой заслугой его было то, что, имея всевозможные основания полагаться на свои обобщения, он устоял против этого соблазна; что, несмотря на свой богатый запас сведений по всем отраслям политического знания, он подчинял свои мнения ходу событий; что он признавал целью правительства не сохранение каких-либо особых учреждений, не распространение известных понятий, а благоденствие всей массы народа и—что выше всего—требовал такого внимания к народным желаниям, какого до него не оказывал никто из государственных людей и о котором после него слишком многие из них забывали. Действительно, отечество наше и доньше наполнено теми дюжинными политиками, против которых возвышался голос Бёрка,—слабыми и ограниченными людьми, которые, растратив свои небольшие силы в борьбе с успехами реформы, видят себя наконец вынужденными уступить и затем, истощив все хитрости своей мелочной системы и посеяв своими поздними и нехотя сделанными уступками семена будущего недовольства,—восстают против века, обманувшего их ожидания, скорбят о вырождении человечества, жалуются на упадок национального духа и оплакивают участь народа, который до такой степени пренебрегает мудростью предков, что решается коснуться конституции, освященной вековой давностью.

Всякий, кто только изучал царствование Георга III, легко поймет, каким огромным преимуществом было для Англии иметь такого человека, как Бёрк, для противодействия этим жалким заблуждениям,—заблуждениям, оказавшим губительное влияние на многие государства и несколько раз едва не погубившим и наше отечество<sup>118</sup>. Всякий также поймет, что во мнении короля этот великий государственный человек был не более как красноречивый декламатор, принадлежащий к одной категории с Фоксом и Чатамом; все трое казались ему людьми даровитыми, но ненадежными, неосновательными, совершенно неспособными к серьезным делам и недостойными такой высокой чести, как допущение в королевские советы. Действительно, за все тридцать лет, которые Бёрк провел в общественной деятельности, он никогда не имел никакой должности в кабинете, и единственные случаи, когда он занимал какое-нибудь хоть очень невысокое место, бывали в те краткие промежутки времени, когда колебания политики вынуждали составление либерального министерства.

Действительно, участие, которое принимал Бёрк в государственных делах, должно было быть очень обидно для короля, считавшего хорошим все, что было старо, и справедливым все, что издавна установлено<sup>119</sup>. Этот замечательный человек настолько опередил своих современников, что между великими мерами, принятыми нынешним поколением, весьма немногих таких, которые бы он не предусмотрел и горячо не отстаивал. Он не только опровергал нелепые законы против барышничества и перекупа, но и поражал самый корень всяких подобных запрещений, отстаивая свободу торговли. Он поддерживал те справедливые требования католиков, которые при жизни его постоянно встречали упорный отказ, а много лет спустя после его смерти были удовлетворены, когда это оказалось единственным средством сохранить целостность монархии. Он поддерживал ходатайство диссентеров об освобождении их от тех стеснений, которым они были подвергнуты для выгод англиканской церкви. Во все прочие отрасли политики он вносил тот же самый дух. Он действовал против жестоких законов о несостоятельности, которые во времена Георга III еще безобразили нашу книгу статуты, и тщетно старался смягчить уголовный кодекс, возрастающая строгость которого была одной из худших черт этого дурного царствования. Он желал уничтожить старое обыкновение брать солдат в службу на всю жизнь,—обыкновение варварское и противное здоровой политике,—что стал замечать несколько лет спустя и английский парламент. Он восставал против торговли невольниками, которую король хотел сохранить, как старинный обычай, видя в ней принадлежность британской конституции. Бёрк порицал, хотя, благодаря предрассудкам своего времени, не мог disproвергнуть, опасное право, которым пользовались судьи в уголовных процессах по делам о пасквилях,—предоставлять присяжным на решение только вопрос о факте издания, присва-



ивая себе таким образом, собственно, право решения дела и, следовательно, полную власть над судьбой лиц, имевших несчастье подвергнуться их суду<sup>120</sup>. А что многие почтут не последней из его заслуг—это то, что он был первым в длинном ряде финансовых реформаторов, которым мы так много обязаны. Несмотря на представлявшиеся ему затруднения, он провел в парламенте ряд биллей, которыми были совсем уничтожены несколько бесполезных должностей и в одном управлении генерального казначея сделано ежегодного сбережения до 25 000 ф. ст.

Эти обстоятельства уже одни достаточно могут объяснить вражду государя, хвалившегося тем, что он передаст королевство своему наследнику совершенно в том виде, в каком сам получил его. Было, однако, еще одно обстоятельство, особенно раздражавшее чувства короля. Решимость Георга смирить американцев была так всем известна, что, когда война действительно вспыхнула, ее называли «королевской войной», и на всех тех, которые были против нее, смотрели, как на личных врагов государя<sup>121</sup>. Впрочем, и в этом вопросе, как и во всех других, Бёрк руководствовался не преданиями и принципами, подобными тем, которые лелеял Георг III, а широкими воззрениями на всеобщее благо. Бёрк в составлении своих убеждений об этой бесславной расправе не хотел руководствоваться доводами, относящимися к праву той или другой стороны. Он не хотел входить в рассуждение о том, имеет ли метрополия право облагать податями свои колонии, или же колонии имеют право сами определять свои подати. О подобных вопросах он предоставлял рассуждать тем политикам, которые, уверяя, что следуют принципам, в действительности рабски подчиняются предрассудкам. С своей стороны он довольствовался тем, что сравнивал стоимость борьбы с выгодами от нее. Для него было достаточно того, что, принимая в соображение силы наших американских колоний, отдаление их от Англии и вероятность оказания им помощи со стороны Франции, неблагоразумно было проявлять нашу власть, а потому и бесполезно толковать о праве. Таким образом, он противился наложению подати на Америку не потому, что прежде не было таких примеров, а потому, что мера эта не могла достигнуть цели. Естественным последствием этого было то, что он противился также биллю о Бостонском порте и тому постыдному биллю о воспрещении всяких сношений с Америкой, который был назван довольно удачно проектом покорения ее посредством голода;—таковы были жестокие меры, которыми король надеялся смирить колонии и подавить дух благородных мужей, которых он ненавидел еще более, чем боялся<sup>122</sup>.

Довольно яркой характеристикой тех времен может служить то, что такой человек, как Бёрк, посвятив политической деятельности способности, достойные несравненно высшего назначения, в продолжение тридцати лет не получил от своего государя никакой милости и никакой награды. Георг III был королем, находившим наслаждение в том, чтобы возвышать смиренных

и превозносить покорных. Действительно, его царствование было золотым веком счастливой посредственности,—веком щедрот для мелких людей и угнетений для великих. Аддингтона осыпали милостями, как государственного мужа, а Битти (Beattie) получал пенсию, как представитель философии; и вообще на всех путях общественной деятельности главным условием возвышения было льстить старым предрассудкам и поддерживать укоренившиеся злоупотребления.

Такое пренебрежение, оказанное самому даровитому из политических деятелей Англии, в высокой степени назидательно, но обстоятельства, последовавшие за этим, хотя чрезвычайно приискорбные, представляют еще более глубокий интерес и вполне заслуживают внимания тех, которые по складу своего ума расположены изучать умственные способности великих людей.

Теперь, когда прошло столько времени и ближайших родственников Бёрка уже нет в живых, было бы излишней с нашей стороны деликатностью отрицать, что он в последние годы своей жизни впал в состояние совершенного помешательства. Когда вспыхнула Французская революция, то ум его, уже изнемогавший под тяжестью беспрестанного труда, не мог вынести мысли о событии столь беспримерном, столь поразительном и угрожающем последствиями, столь ужасными по своей громадности. А когда злодеяния этой великой революции, вместо того чтобы уменьшаться, продолжали увеличиваться, тогда чувства Бёрка окончательно пересилили его рассудок; равновесие было нарушено, соразмерность между отправлениями этого громадного ума исчезла. С этого момента его сочувствие к настоящему страданию стало так сильно, что он совершенно забыл о причинах, которыми это страдание было навлечено. Его ум, некогда столь положительный, столь независимый от предрассудков и страстей, поддался давлению тех событий, которые довели до помешательства и тысячи других людей<sup>123</sup>. Всякий, кто захочет сличить дух его последних произведений со временем издания каждого из них, увидит, до какой степени эта прискорбная перемена сильнее обозначилась после горькой потери, оставившей на нем неизгладимый след и вполне достаточной, чтобы убить рассудок в человеке, в котором строгость разума настолько умерялась и так превосходно уравнивалась теплотой чувства. Навсегда незабвенными останутся встречающиеся в его сочинениях трогательные, утонченно-нежные намеки на смерть единственного сына, который был отрадой его души и предметом гордости сердца и которому он надеялся завещать впоследствии свое бессмертное имя. Мы никогда не забудем ту картину одинокого страдания, в которой этот благородный старец выразил свое неизмеримое горе. «Жизнь моя идет обратным порядком. Те, которые должны были наследовать мне, отошли прежде меня. Те, которым следовало быть для меня потомством, заняли место предков... Буря сразила меня, и я пал подобно одному из старых дубов, разбросанных вокруг меня последним ураганом.

Я лишен всего, чем красовался, я вырван с корнями и лежу поверженный на земле».

Приподнять занавес и проследить разрушение такого могучего ума было бы едва ли не болезненным проявлением любопытства. Действительно, во всех подобных случаях большая часть свидетельств утрачивается; те, которые имеют наиболее возможности наблюдать слабости великого человека, бывают наименее расположены рассказывать о них. Достоверно, что перемена в Бёрке впервые сделалась вполне заметна с самого начала Французской революции; что она была усилена смертью его сына и что состояние его постепенно становилось хуже до тех пор, пока поприще его не заключилось смертью. В его «Размышлениях о Французской революции», в его «Замечаниях о политике союзников», в «Письме к Эллиоту», в «Письме к благородному лорду» и в «Письмах о цареубийственном мире» («Letters on a Regicide Peace») мы можем проследить постепенные переходы возрастающего, а наконец и неудержимого раздражения. Единственному принципу ненависти к Французской революции он пожертвовал самыми старыми связями своими и самыми близкими друзьями. Фокс, как достоверно известно, всегда смотрел на Бёрка, как на учителя, из речей которого он почерпал уроки политической мудрости. Бёрк с своей стороны вполне признавал обширное дарование своего друга и любил его за его дружелюбие, за его увлекательное обхождение, против которого, как было замечено многими, никто не мог устоять. Но теперь без малейшей личной ссоры, которая могла бы служить к тому предлогом, эта давняя короткость была грубо прервана. За то, что Фокс не захотел отказаться от любви к свободе народов, от того чувства, которое они долго питали вместе, Бёрк публично, с своего места в парламенте, объявил, что дружбе их конец, так как он не хочет иметь более никакого сношения с человеком, стоящим за французский народ. В то время и даже в тот самый вечер, когда это случилось, Бёрк, известный дотоле вежливостью своего обращения<sup>124</sup>, нанес прямое оскорбление еще одному из своих друзей, возвращаясь домой в его карете и в состоянии бешеного раздражения потребовав, чтобы его тотчас выпустили из экипажа, среди ночи и при проливном дожде, потому что он не хотел, по его словам, сидеть возле человека, расположенного к революционному учению французов.

Несправедливо даже полагают некоторые, будто эта мономания вражды была направлена единственно против той части французского народа, которая заслуживала того своими преступлениями. Трудно было бы, как в этом веке, так и во всяком другом, найти двух человек, отличающихся более деятельным и более пламенным желанием блага, чем Кондорсе и Лафайет. Сверх того, Кондорсе был одним из самых глубоких мыслителей своего времени и останется незабвенным до тех пор, пока гений будет пользоваться нашим уважением. Лафайет, без сомнения, стоял ниже Кондорсе по способностям, но он был близким

другом Вашингтона, примеру которого он строго следовал и рядом с которым он сражался за свободу Америки; бескорыстие его было и навсегда останется безупречным; притом характер его отличался благородным, рыцарским складом, которым Бёрк в лучшие времена свои стал бы первый восхищаться<sup>125</sup>. Но оба были уроженцами той ненавистной страны, которой им не удалось доставить свободу. На этом основании Бёрк объявил, что Кондорсе виновен в «нечестивых софизмах», что он «фанатик атеизма и неистовый республиканец-демократ», способный как к «самым низким, так и к самым высшим, решительным подлостям»<sup>126</sup>. Что же касается Лафайета, то, когда была сделана попытка достигнуть облегчения той жестокой участи, которой подвергал его прусское правительство, Бёрк не только противился принятию предложения, внесенного с этой целью в палату общин, но даже воспользовался этим случаем, чтобы осыпать грубыми оскорблениями несчастного пленника, который в то время томился в темнице. До такой степени умерли в нем по отношению к этому предмету все самые простые инстинкты нашей природы, что, говоря в парламенте, он не нашел более приличного названия этому великодушному и несчастному человеку, как название злодея. «Я бы не хотел,—сказал Бёрк,—унизить мое человеколюбие, поддерживая предложение в пользу такого ужасного злодея»<sup>127</sup>.

Что же касается самой Франции, то, по мнению Бёрка, это «замок людоедов», «республика убийц» и «ад»; правительство ее состоит из «самых грязных, низких, подлых и гнусных крючкотворцев», а национальное собрание ее — из «безбожников»; народ ее — это «союзная армия из парижских людоедов — мужчин и амазонок»; он же — «нация убийц», «гнуснейший народ из всего человечества», «кроважадные атеисты», «шайка разбойников», «непотребные изверги человечества», «отчаянная толпа грабителей, убийц, тиранов и атеистов». Сделать малейшую уступку подобной стране для сохранения мира значило «приносить жертвы на алтаре богохульства и цареубийства»; даже вступить в переговоры с нею было не что иное, как «выставление напоказ наших ран у ворот каждого надменного слуги французской республики, где и дворовые псы не удостоят лизать их». Когда наш посланник был в Париже, значит, он «имел честь каждое утро почтительно являться в контору крючкотворца-цареубийцы». Англии ставилось в упрек, что она послала «пэра королевства в посольство к отребью земли». Франция не имела более места в Европе, она была стерта с карты; самое имя ее следовало предать забвению. Зачем же людям посещать такую страну? Зачем нашим детям изучать язык ее? Зачем нам подвергать опасности нравственность наших посланников, которые едва ли могут возвратиться из такой страны иначе как с извращенными правилами и с желанием злоумышлять против своей отчизны<sup>128</sup>.

Действительно, грустно встретить подобные мысли у такого человека, каким некогда был Бёрк; но то, о чем нам еще осталось

говорить, доказывает еще яснее, как изменились в нем все ассоциации понятий и самый склад ума. Тот самый человек, который, побуждаясь человеколюбием столько же, как и практической мудростью, так усиленно старался предупредить американскую войну,—посвятил последние годы своей жизни на то, чтобы возжечь другую войну, в сравнении с которой американская была только легким, ничтожным эпизодом. В то время, как он хладнокровно смотрел на вещи, никто охотнее его не согласился бы с тем, что преобладающие в какой бы то ни было стране мнения составляют неизбежный результат тех обстоятельств, в которые эта страна была поставлена. Теперь же он силой старался изменить подобные мнения. С самого начала Французской революции он настаивал на том, что европейские державы имеют право и даже находятся в необходимости вынудить Францию изменить провозглашенным ею началам. Несколько времени позже он осуждал союзных государей за то, что они не предписывали великой нации, какой образ правления она должна принять. Так велико было разрушение, произведенное обстоятельствами в его превосходно организованном уме, что он жертвовал одному принципу всеми соображениями справедливости, человеколюбия и пользы. И как будто бы война, даже в самой смягченной форме, не была довольно ненавистна, он старался придать ей еще характер крестового похода, давно уже изгнанный из истории человечества успехами образования; громко провозглашая, что эта борьба более религиозная, чем светская, он пробуждал старые предрассудки с тем, чтобы вызвать новые злодеяния. Он объявил также, что эта война должна быть ведена ради мщения столько же, как и для защиты, и что мы не должны ни в каком случае положить оружие, пока совершенно не истребим тех людей, которыми произведена революция. И как будто бы всего этого было недостаточно—он настаивал еще на том, что эта война, ужаснейшая из всех когда-либо веденных, однажды начатая, не должна быть поспешно окончена; что, несмотря на то, что войну с Францией следует вести столько же для мщения, как и за религию, и что средства истребления, представляемые цивилизацией, должны усиливаться зверскими страстями, свойственными деятелям крестового похода,—что, несмотря на все это, войну не следует скоро прекращать;—что она должна быть продолжительна, постоянна, непрерывна,—должна, как восклицает Бёрк в пламенном порыве ненависти, быть долгой войной. «Я напирал на это,—говорил он,—и желаю, чтобы мои слова были замечены,—долгой войной».

Это должна была быть война с целью заставить великий народ переменить свой образ правления—война ради наказания, притом—война религиозная, наконец,—долгая война. Существовал ли когда-нибудь другой человек, который желал бы поразить род человеческий такими обширными, мучительными и продолжительными бедствиями? Такие жестокие, бесчеловечные и притом такие упорные мнения, если бы они исходили от

здорового ума, обесмертили бы даже самого ничтожного из государственных людей, покрыв имя его несказанным позором. У кого даже между самыми невежественными и самыми кровавыми политиками найдем мы такие понятия? Между тем они высказаны человеком, который за несколько лет перед тем был самым даровитым из всех философов-политиков, каких когда-либо имела Англия. Мы только можем скорбеть о таком нравственном разрушении; далее этого никто не должен идти. Мы можем созерцать с уважением величественные развалины, но да не коснется никто тайны их разрушения, если только — скажем словами самого великого из наших учителей — он не обладает способностью излечить больную душу, вырвать с корнем печали, укоренившиеся в памяти, и изгладить горести, начертанные на самом мозге.

Отрадно оставить этот печальный предмет даже для того, чтобы перейти к мелкой, кропотливой политике английского двора. Действительно, рассказ о том, каким образом было поступлено с самым знаменитым из наших политических деятелей, в высокой степени характеризует того государя, при котором он жил. В то время, когда Бёрк посвящал всю свою жизнь на великие услуги обществу и трудился над поправлением наших финансов, улучшением законодательства и сообщением просвещенного характера нашей коммерческой политике, — в то время, повторяем, когда он совершал все эти великие дела, король смотрел на него холодно и враждебно. Но когда великий государственный муж превратился в озлобленного крикуна, когда, раздраженный болезнью, он избрал единственной целью последних лет своей жизни — возжечь смертельную войну между двумя первыми нациями в Европе и объявил, что этой варварской цели он готов пожертвовать всеми другими политическими соображениями, как бы они важны ни были, — тогда только некоторое понятие о его громадных способностях начало проглядывать в уме короля. До того времени никто во дворце не дерзал даже и шепотом говорить о его достоинствах. Теперь, напротив, при постепенном и по временам весьма быстром упадке своих умственных сил он опустился почти до уровня ума самого Георга, и теперь только его стали согревать лучи королевской милости. Теперь он стал истинно по душе королю. Менее чем за два года до его смерти ему были назначены, по особенному желанию Георга III, две значительные пенсии<sup>129</sup>; король даже хотел возвести его в звание пэра с тем, чтобы и палата лордов могла воспользоваться услугами такого великого советника.

Отступление, которое я себе позволил, чтобы очертить личность Бёрка, вышло длиннее, чем я ожидал, но надеюсь, что оно не будет сочтено излишним, потому что кроме своего внутреннего интереса оно заключает в себе доказательство того, с какими чувствами Георг III относился к великим людям и каких мнений считалось нужным держаться в его царствование. В даль-

нейших частях этого труда я прослежу влияние подобных мнений на интересы государства, принимаемого за одно целое; но для целей настоящего введения достаточно будет указать на отношение между теми и другими, проявившееся еще в одном или двух ярких примерах, характер которых слишком известен, чтобы о них мог быть какой-либо спор.

Из таких преобладающих и особенно заметных событий самым ранним была американская война, которая в продолжение нескольких лет почти совершенно поглощала внимание политических деятелей Англии. В царствование Георга II было предложено увеличить государственный доход посредством обложения податями колоний, а это, при том условии, что американцы вовсе не имели никакого представительства в парламенте, было не что иное, как предложение обложить податями целую нацию, не исполнив даже установленной в Англии формальности — спросить о ее согласии. Этот план был отвергнут тем даровитым и умеренным человеком (Вальполем), который стоял тогда во главе управления; и предложение, признанное вообще неудобноисполнимым, упало само собою и, по-видимому, не возбудило почти никакого внимания. Но то самое, что правительством Георга II было сочтено за опасное притязание на превышение власти, принято правительством Георга III с восторгом. Новый король имел самое высокое мнение о своей власти и, будучи вследствие своего жалкого воспитания совершенным невеждой в государственных делах, полагал, что обложить податями американцев для пользы англичан будет верхом политического искусства. Поэтому, когда прежняя идея была возобновлена, ее встретили с искренним сочувствием; а когда американцы выказали намерение противиться этой чудовищной несправедливости, король только более утвердился в мысли, что необходимо переломить их непокорную волю. Не должно удивляться той быстроте, с какой развились эти враждебные чувства. Действительно, принимая во внимание, с одной стороны, деспотические понятия, которые в первый раз со времени революции возобновились при английском дворе, с другой — дух независимости, проявлявшийся в колонистах, невозможно было избежать борьбы между обеими партиями, и вопрос мог заключаться лишь в том, какую форму примет эта борьба и на которую сторону скорее должна склониться победа.

Со стороны английского правительства не было потеряно времени. Через пять лет после вступления на престол Георга III был внесен в парламент билль об обложении Америки податями (1765 г.), и так велика была перемена, происшедшая в это время в политическом быте Англии, что не встретилось ни малейшего затруднения к проведению меры, которую в царствование Георга II никакой министр не осмелился предложить. В прежнее время такое предложение, если бы кто сделал его, было бы непременно отвергнуто; теперь самые могущественные партии в государстве действовали заодно в пользу его. Король во всех

возможных случаях оказывал духовным такие угодения, от которых они отвыкли со смерти Анны, поэтому он мог быть уверен в поддержке со стороны их; и действительно, они усердно помогали ему во всех его попытках к подавлению колоний. Аристократия, за исключением нескольких главных лиц партии вигов, была на той же стороне и смотрела на обложение Америки податями, как на средство к облегчению своих собственных повинностей. Что же касается Георга III, то его воззрения на этот предмет были всем известны<sup>130</sup>, и так как либеральная партия еще не оправилась от удара, нанесенного ее могуществу смертью Георга II, то нечего было опасаться затруднений со стороны кабинета; известно было, что на престоле — государь, имеющий главной целью держать министров в строгой зависимости от своей воли и всегда, как только это было возможно, призывавший в кабинет таких слабых и гибких людей, которые должны были беспрекословно повиноваться его желаниям<sup>131-132</sup>.

Из всех этих данных произошли именно те события, каких можно было ожидать от их совокупления. Не останавливаясь на рассказе о подробностях, которые известны каждому из читателей, мы можем сказать в коротких словах, что при этом новом порядке вещей мудрая и воздержная политика предшествовавшего царствования была отвергнута, и совещательные собрания наши подчинились неосмотрительным и невежественным людям, которые скоро навлекли на страну величайшие несчастья, а еще через несколько лет довели государство до окончательного разединения. Для подкрепления чудовищного притязания обложить податями целый народ без согласия его предпринята была против Америки война, дурно веденная, не имевшая успеха, а — что еще гораздо хуже — сопровождавшаяся жестокостями, постыдны и для цивилизованной нации<sup>133</sup>. К этому следует присовокупить, что наша обширная торговля была почти уничтожена; все отрасли коммерции пришли в расстройство<sup>134</sup>; мы были опозорены в глазах всей Европы, мы понесли расход в 140 000 000 ф. ст. и лишились таких драгоценных колоний, каких никогда не имела ни одна нация.

Таковы были первые плоды политики Георга III. Но зло на этом не остановилось. Мнения, которые необходимо было отстаивать для оправдания этой варварской войны, обратились против нас самих. В видах оправдания попытки нашего правительства уничтожить свободу Америки были излагаемы такие принципы, которые, если бы были приведены в действие, испровергли бы свободу Англии. Не только при дворе, но в обеих палатах парламента, с епископской скамьи и с кафедр, принадлежавших церковной партии, были распространяемы понятия самого опасного рода, — понятия, несвойственные конституционной монархии и действительно несовместимые с существованием ее. До чего дошла эта реакция, известно весьма немногим читателям, потому что доказательства главным образом сохранились в парламентских прениях и в богословской литературе, в особен-



ности в проповедях того времени, а те и другие в настоящее время мало изучаются. Но чтобы не завлечься преждевременно предметами, относящимися к дальнейшим частям нашего сочинения, здесь достаточно будет сказать, что опасность была так велика, что, по мнению самых даровитых защитников национальной свободы, Англия рисковала всем, и если бы американцы были побеждены, то следующим шагом правительства было бы нападение на свободу Англии и попытка распространить на метрополию тот же деспотический образ правления, который был бы в то время установлен в колониях<sup>135</sup>.

Были ли эти опасения преувеличены или нет,—это составляет весьма трудный вопрос; но что касается до меня, то после тщательного изучения тех времен,—изучения, притом основанного на источниках, к которым редко прибегают историки, я убедился,—и люди, вполне знакомые с этим периодом, конечно, согласятся со мною,—что опасность, которую, вероятно, иные несколько преувеличивали, была гораздо серьезнее, чем в настоящее время полагает большинство. Как бы то ни было, но достоверно, что общий вид политических дел должен был возбуждать сильное беспокойство. Достоверно, что в продолжение многих лет королевская власть усиливалась до тех пор, пока она не достигла такой высоты, какой мы не видели примера в Англии в продолжение нескольких поколений. Достоверно, что англиканская церковь употребила все свое влияние в пользу тех деспотических принципов, которые король желал упрочить. Достоверно также, что посредством постоянного введения в верхнюю палату новых пэров характер палаты хотя медленно, но существенно изменялся и что, при всяком удобном случае, на высшие места в суде и в духовной иерархии назначались люди, известные своей преданностью королевской прерогативе. Все это факты, которые нельзя отрицать, а из совокупности их, по моему мнению, несомненно вытекает, что Американская война была великим кризисом в истории Англии и что если бы колонисты были побеждены, то и наша свобода находилась бы в значительной опасности. От этой крайности мы были спасены американцами, которые с геройским духом боролись против королевских армий, разбивали их на каждом шагу и наконец, отделившись от метрополии, вступили на тот блистательный путь, который менее чем в восемьдесят лет довел их до беспримерного процветания и который должен быть для нас предметом живейшего интереса, так как из него видно, что может быть сделано без всякой посторонней помощи, собственными средствами свободного народа.

Семь лет спустя после того, как эта великая борьба была приведена к успешному исходу и американцы, к счастью всего человечества, окончательно утвердили свою независимость, другая нация восстала и вступила в борьбу против своих правителей. История причин, вызвавших Французскую революцию, будет помещена в другой части этого тома; в настоящее же время нам

предстоит только бросить взгляд на то влияние, которое она имела на политику английского правительства. Во Франции, как известно всякому, движение было чрезвычайно быстро; старые учреждения, до такой степени испорченные, что они уже вовсе не могли долее служить, были тотчас разрушены; и народ, доведенный до ярости целыми веками угнетения, предался самым возмутительным жестокостям, омрачая час своего торжества преступлениями, опозорившими то дело, за которое он боролся.

Все это, как бы ужасно оно нам ни казалось, было однако же в естественном порядке вещей; это было повторение давней истории о том, что тирания возбуждает мщение, а мщение ослепляет людей до забвения всех могущих произойти последствий, кроме наслаждения, находимого в удовлетворении своих страстей. Если бы в этих обстоятельствах Франция была представлена самой себе, то Французская революция, как и все революции, скоро бы утихла и сложился бы образ правления, согласный с настоящим порядком вещей. Какой именно был бы этот образ правления — этого теперь никак нельзя решить, но во всяком случае это был такой вопрос, который нисколько не касался ни до какого другого государства. Была ли бы то олигархия, или деспотическая монархия, или республика — одна только Франция должна была это решить, и очевидно, что никакая другая нация не имела права решать за нее. Тем менее можно было полагать, что в таком щекотливом предмете Франция покорится произволу такого государства, которое всегда соперничало с нею и которое несколько раз так жестоко и успешно с нею враждовало.

Но все эти соображения, как бы они очевидны ни были, не существовали для Георга III и для того сословия, которое тогда преобладало в Англии. Уже самый тот факт, что великая нация восстала против своих притеснителей, тревожил совесть людей, занимавших высшие места в Англии. Те же дурные страсти и те же несправедливые речи, которые за несколько лет были направляемы против американцев, теперь обратились против французов, и можно было положительно сказать, что последуют те же результаты. Вопреки началам здоровой политики английский посланник вызван был из Франции единственно потому, что эта страна решилась уничтожить монархию и заменить ее республикой. Это был первый решительный шаг к открытому разрыву, и он был сделан не потому, чтобы Франция оскорбила Англию, а потому, что Франция переменяла свое правительство. Несколько месяцев позже французы, следуя примеру, поданному англичанами в предшествовавшем веке<sup>136</sup>, подвергли своего короля публичному суду, осудили его на смерть и отрубили ему голову. Нельзя не согласиться, что этот поступок был вовсе не нужен, что он был жесток и что он грубо противоречил здоровой политике. Но очевидно до осязательности, что лица, согласившиеся на эту казнь, были ответственны только перед Богом и своей отчизной

и что всякий отзыв на это событие извне, имеющий вид угрозы, возбудит народную гордость Франции, сольет все партии в одну и побудит нацию принять за общее народное дело преступление, в котором без этого она, может быть, раскаялась бы, но от которого теперь она не могла отказаться, не подвергнувшись стыду—уступить оскорбительному требованию иностранной державы.

Между тем в Англии, как только участь французского короля сделалась известна, правительство, не ожидая никаких объяснений и не потребовав никаких гарантий на будущее время, приняло казнь Людовика за обиду для себя самого и повелительным тоном приказало французскому резиденту оставить Англию; таким легкомыслием оно вызвало войну, которая продолжалась двадцать лет, стоила жизни миллионам людей, повергла всю Европу в расстройство и более чем всякое другое обстоятельство замедлила ход цивилизации, отсрочив на целое поколение те реформы, которые в конце восемнадцатого столетия становились по общему ходу дел неизбежными.

Общеввропейские результаты этой войны—самой ненавистной, самой несправедливой и самой жестокой из всех войн, какие вела когда-либо Англия с каким-либо государством, будут рассмотрены далее<sup>137</sup>, а здесь мы ограничимся кратким перечнем главных последствий, которые она имела для английского общества.

Главным отличием этой кровавой борьбы от всех предшествовавших и худшей чертой ее является то, что она в высокой степени имела характер войны за мнения,—войны, веденной не с целью приобрести новые владения, а с тем, чтобы подавить то стремление к реформам всякого рода, которое в то время сделалось заметной характеристикой всех главных национальностей в Европе<sup>138</sup>. Следовательно, с того момента как начались военные действия, английскому правительству предстояло двойное призвание: вне пределов Англии—разрушить республику, а внутри государства—препятствовать всем улучшениям. Первое из этих призываний оно исполнило, расточая кровь и золото Англии до тех пор, пока не заставило почти каждое семейство оплакивать какую-нибудь потерю и не довело государство почти до национального банкротства. Другое призвание оно пыталось исполнить проведением целого ряда законов, имевших целью прекратить свободное обсуждение политических вопросов и подавить дух исследования, с каждым годом приобретающий большую деятельность. Эти законы были так многосторонни и так хорошо рассчитаны для достижения своей цели, что если бы энергия самой нации не воспрепятствовала приведению их в действие, то они или уничтожили бы всякий след политической свободы в Англии, или вызвали бы всеобщее восстание. Действительно, в продолжение нескольких лет опасность была так велика, что, по мнению некоторых из самых сильных авторитетов, ничто не могло отвратить ее, за исключением той

мужественной смелости, с которой наши английские суды присяжных своими враждебными правительству приговорами противодействовали его стремлениям и отказывались от применения законов, предложенных правительством и охотно пропущенных робким и раболепным парламентом<sup>139</sup>.

Мы можем составить себе некоторое понятие о важности тогдашнего кризиса, если рассмотрим те меры, которые были приняты против двух из важнейших учреждений наших, а именно — свободы печати и права собираться на митинги для публичных прений. В политическом отношении это две самые разительные особенности, отличающие нас от всех прочих европейских наций. Пока эти два учреждения останутся неприкосновенными и пока нация будет бесстрашно и часто пользоваться ими, она всегда будет иметь достаточную защиту против тех притязаний правительства, за которыми необходимо следить как можно бдительнее и которым подвержены и самые свободные государства. Притом следует заметить, что оба этих учреждения представляют и другие в высшей степени важные преимущества. Поощряя политические прения, они увеличивают сумму умственных сил, обращаемых на политические дела страны. Они также ведут к увеличению общей суммы сил нации, побуждая многочисленные классы людей упражнять в себе такие способности, которые иначе оставались бы в бездействии, а этими учреждениями возбуждаются к деятельности и вследствие того являются готовыми и для других общественных целей.

Но в то время, о котором мы теперь говорим, считали полезным уменьшить влияние нации на государственные дела и потому не желали, чтобы она развивала свои способности, упражняя их. Если бы я захотел рассказать все подробности той ожесточенной войны, которую в конце восемнадцатого века вело английское правительство против всех видов свободного обсуждения дел, то это повело бы меня далеко за пределы настоящего введения; я могу только мимоходом упомянуть о мстительном преследовании, а в тех случаях, когда удавалось добиться приговора присяжных, и о мстительном наказании таких людей, как Адамс, Боннэй, Кроссфилд, Фрост, Джеральд, Гарди, Голт, Годсон, Голкрофт, Джойс, Кидд, Ламберт, Маргарот, Мартин, Мюр, Пальмер, Перри, Скирвинг, Станнард, Тельволл, Тук, Вэкфильд, Варделль и Винтерботам, — все эти люди были обвинены, а многие из них присуждены к штрафам, заключены в тюрьму и отправлены в ссылку за то, что они свободно выражали свое мнение и говорили о государственных делах так, как в наше время говорили и безнаказанно говорят ораторы на публичных митингах и писатели в публичной печати.

Однако суды присяжных во многих случаях отказывались признать виновными людей, преследуемых к еще более решительным мерам. В 1795 г. прошел в палатах закон, посредством которого, очевидно, намеревались навсегда прекратить всякие публичные прения как о политических, так и о религиозных

предметах. Этим законом воспрещалось всякое публичное собрание, о назначении которого не было объявлено за пять дней<sup>140</sup> в одной из газет; в объявлении должны были быть объяснены: цель митинга, время и место, где он должен был собраться. А чтобы подчинить все дело устройства собраний вполне наблюдению правительства, постановлено не только, чтобы публикуемое таким образом объявление было подписываемо домовладельцами, но чтобы сохранялась и самая рукопись его для сведения мировых судей, которые могли потребовать копии с нее,— угроза значительная и в то время весьма хорошо понятная. Постановлено также, чтобы даже после принятия всех этих предосторожностей каждый отдельный судья имел право заставить митинг разойтись, если, по его мнению, речи ораторов клонились к тому, чтобы возбудить неуважение к королю или правительству; сверх того, судья имел право арестовать тех, которых он признавал виновными. Таким образом, власть закрывать публичные митинги и арестовывать председателей их была дана простому судье, и даже без малейшей гарантии против злоупотребления ею. Другими словами, право прекращать публичные прения о самых важных предметах вручено человеку, назначенному от короны и могущему по произволу ее лишиться своего назначения. К этому присовокуплено, что если бы митинг состоял из двенадцати лиц и более и не расходился долее одного часа после данного приказа разойтись, то лица, составляющие его, подлежали смертной казни, хотя бы только двенадцать человек из них ослушались произвольного приказа одного безответственного должностного лица<sup>141</sup>.

В 1799 г. был проведен другой закон, запрещающий собираться для держания речей или для прений на каком бы то ни было открытом поле или другом месте, не испросив особого разрешения именно для этого места от мировых судей. Постановлено также, чтобы все библиотеки и все кабинеты для чтения были подчинены тому же ограничению, и никому не дозволялось без разрешения установленных властей давать на прочтение в своем доме газеты, брошюры и даже всякого рода книги. Прежде чем открыть лавку для подобной торговли, нужно было получить разрешение от двух мировых судей, которое, впрочем, должно было быть возобновляемо по крайней мере раз в год и могло быть отменено во всякое время<sup>142</sup>. Если бы кто-нибудь стал давать книги на прочтение без разрешения судей или же допустил в своем доме лекции или прения «о каком бы то ни было предмете», то за это ужасное преступление он должен был подлежать штрафу в 100 ф. ст. за каждый день, и всякое лицо, содействовавшее ему тем ли, что председательствовало при прениях или что доставило ему какую-нибудь книгу, за каждое из этих действий подлежало штрафу в 20 ф. ст. Хозяин такого зловерного заведения, кроме того что подвергался таким разорительным штрафам, подлежал еще и дальнейшему преследованию, как содержатель безнравственного дома<sup>143</sup>.

Для современного слуха звучит несколько странно, чтобы владеец публичной библиотеки для чтения не только подвергался неимоверным штрафам, но и был притом наказываем, как содержатель развратного дома, и чтобы всему этому он подвергался за то только, что открыл свою лавку, не испросивши разрешения местных судей. Впрочем, как бы странно ни казалось это постановление, оно было по крайней мере весьма последовательно, так как оно составляло часть системы, правильно приспособленной к тому, чтобы подчинить не только действия людей, но и мнения их прямому контролю исполнительной власти. Вот почему законы, в первый раз тогда постановленные против газет, были так стеснительны и преследования, направленные против авторов, так неотступны, что становилось очевидным намерение губить всякого писателя, который выразит независимые мнения<sup>144</sup>. Эти меры и некоторые другие подобного же характера, о которых мы упомянем далее, возбудили такое беспокойство, что, по мнению некоторых из лучших наблюдателей, положение общественных дел становилось отчаянным, может быть, даже неисправимым. Крайнее уныние, с которым в конце восемнадцатого века самые горячие приверженцы свободы взирали на будущее, весьма заметно и составляет разительную черту в их частной переписке<sup>145</sup>. И хотя сравнительно весьма немногие люди решались публично высказывать такие мнения, но Фокс, по бесстрашию своему не думавший об опасностях, открыто высказывал такие вещи, которые должны были бы остановить правительство, если бы только что-нибудь могло на него подействовать. Этот даровитый государственный муж, не раз бывший министром и впоследствии опять занявший это место, не усомнился сказать в парламенте в 1795 г., что если те постыдные законы, которые тогда предлагались, и другие, подобные им, будут действительно утверждены, то разве одна осторожность может удерживать народ от насильственного сопротивления правительству, и что если только народ почувствует себя довольно сильным, то он будет иметь полное право воспротивиться тем произвольным мерам, посредством которых правители его стараются подавить его свободу<sup>146</sup>.

Но ничто не могло остановить правительство в его дерзостном стремлении. Министры, уверенные в большинстве обеих палат парламента, имели возможность проводить свои меры вопреки желаниям нации, которая сопротивлялась им всеми способами, кроме прямого насилия<sup>147</sup>. И так как цель новых законов заключалась в том, чтобы обуздать дух исследования и предотвратить реформы, которые развитие общества сделало необходимыми, то были приведены в действие и другие средства, клонящиеся к той же цели. Можно сказать без преувеличения, что в продолжение нескольких лет Англия управлялась по системе безусловного устрашения<sup>148</sup>. Министры того времени, превращая простую борьбу партий в настоящую войну проскрипций, наполняли тюрьмы своими противниками и допускали постыдно

строгое обращение с заключенными<sup>149</sup>. Если о человеке знали, что он — реформер, то ему постоянно грозила опасность быть арестованным; а если он избегал этого, то за ним все-таки следили на каждом шагу и вскрывали в почтовых конторах его частные письма. В подобных случаях не стеснялись ничем. Нарушалось даже спокойствие домашней жизни. Ни один противник правительства не был безопасен, даже под собственным кровом, от шпионских доносов и сплетен прислуги. Вводили раздор даже в недра семейств, где родители делались чужды детям своим<sup>150</sup>. Не только употребляемы были всевозможные старания, чтобы заставить молчать прессу, но даже так сильно следили за книгопродавцами, что они не смели издать сочинение, если автор его был человек, навлекший нерасположение правительства<sup>151</sup>. И действительно, всякий, кто в чем-либо сопротивлялся правительству, был объявлен врагом отчизны<sup>152</sup>. Политические ассоциации и публичные митинги были строго запрещены. Всякий вождь народа находился в личной опасности, и всякое народное собрание разгонялось или угрозами, или вооруженной силой. Весь ненавистный механизм, бывший в употреблении в худшие времена семнадцатого столетия, вновь приведен в действие. Содержали на жалованье шпионов, подкупали свидетелей, присяжных назначали по особому выбору. Кофейные дома, гостиницы и клубы были наполнены шпионами правительства, которые доносили о самых неумышленных выражениях, произнесенных кем-нибудь в обыкновенном разговоре<sup>153</sup>. Если же и этим путем нельзя было найти никаких доказательств против кого-нибудь, то оставалось еще одно средство, которым и пользовались нещадно: так как действие акта Habeas Corpus было постоянно приостанавливаемо, то правительство имело власть, без следствия и без всякого ограничения, заключать в тюрьму всякое лицо, которое было неприятно министерству, но преступность которого нельзя было даже и пытаться доказать<sup>154</sup>.

Таким-то образом в конце восемнадцатого века правители Англии, под предлогом охранения учреждений страны, угнетали народ, для пользы которого единственно должны существовать эти учреждения. И этим еще не ограничилось зло, которое они действительно произвели. Их попытки остановить развитие общественного мнения были тесно связаны с той чудовищной системой иностранной политики, вследствие которой мы обременены беспримерно огромным государственным долгом. Для уплаты процентов этого долга и для покрытия текущих расходов расточительного и беспечного управления обложены были податями почти все произведения промышленности и природы. В огромном большинстве случаев эти подати падали на массу народа, которая была таким образом поставлена в особенно тяжелое положение: высшие сословия не только отказывали остальному народу в необходимо требовавшихся реформах, но даже заставляли всю страну платить за те предосторожности, которые, вследствие этого отказа, признавалось нужным

принимать. Таким образом, при Георге III стесняли свободу нации и расточали плоды ее трудов на то, чтобы ограждать эту же самую нацию от таких понятий, которые необходимо возбуждались в ней самыми успехами просвещения.

Неудивительно, что ввиду таких обстоятельств некоторые из самых даровитых наблюдателей уже отчаялись за свободу Англии и полагали, что по прошествии нескольких лет должен окончательно утвердиться деспотический образ правления. Даже мы, которые смотрим на тогдашние дела спустя полвека и можем поэтому иметь на них более хладнокровный взгляд, да притом еще пользуемся преимуществами больших знаний и более зрелой опытности,—и мы должны, однако же, согласиться, что, насколько можно было судить по политическим событиям, в то время предстояла опасность более грозная, чем когда-либо, с самого царствования Карла I. Но тогда забывали, как и теперь часто забывают, что политические события составляют только одну из множества сторон истории великого государства. В том периоде, который мы рассматривали, политическое движение действительно было более зловещим, чем когда-либо в течение последних поколений. Но с другой стороны, умственное движение было, как мы тоже видели, в высшей степени благоприятно, и влияние его быстро расширялось. Итак, правительство Англии двигалось в одном направлении, в то время как просвещение страны двигалось в другом, и, между тем как политические явления задерживали нас, явления чисто умственные двигали нас вперед. Таким образом, деспотические начала, которые были проводимы правительством, в некоторой степени нейтрализовались; конечно, невозможно было, чтобы от них не произошло тяжкое страдание для нации, но последствием этого страдания была возрастающая в ней решимость преобразовать систему управления, при которой возможно было такое угнетение. В то же время как нация ощущала эти бедствия, приобретенные ею знания указывали ей на средство исцеления. Она видела, что люди, стоящие во главе управления,—деспоты; она видела также, что самая система, предоставлявшая подобным людям такую власть, должна быть дурна. Это поддерживало нацию в недовольстве и оправдывало ее решимость достигнуть какого-нибудь другого устройства, которое доставило бы ей голос в решении государственных вопросов<sup>155</sup>. Нечего и говорить о том, что эта решимость становилась сильнее и сильнее до тех пор, пока она не произвела тех великих законодательных реформ, которые уже ознаменовали нынешний век, придав другой характер нашим общественным деятелям и изменив состав английского парламента.

Таким образом, в последних годах восемнадцатого века накопление и распространение знаний в Англии шли прямо вразрез с политическими событиями, совершавшимися в то же время. До какой степени и в каком виде проявлялась эта противоположность, я уже старался объяснить настолько, насколько позволяли



сложность самого предмета и пределы настоящего введения. Мы видели, что если смотреть на Англию, как на одно целое, то общий ход дел, очевидно, был направлен к тому, чтобы уменьшить могущество церкви, аристократии и короны и таким образом дать больший простор самостоятельности нации. Напротив того, не принимая государство за одно целое, а взирая только на политическую историю его, мы увидим, что личные свойства Георга III и обстоятельства, при которых он вступил на престол, дали ему возможность остановить великий прогресс и на время произвести опасную реакцию. К счастью для Англии, те начала свободы, которые и он, и приверженцы его старались уничтожить, еще до воцарения его приобрели такую силу и до такой степени распространились, что не только выдерживали эту политическую реакцию, но даже как будто бы еще усиливались вследствие самой борьбы. Нельзя не согласиться с тем, что борьба была трудна и одно время даже составляла для всей нации весьма критическое положение. Такова, впрочем, сила либеральных мнений, когда они однажды укоренятся в уме целого народа, что, несмотря на испытание, которому они были подвергнуты, и на те наказания, которые налагались на защитников их, оказалось невозможным их подавить и даже воспрепятствовать усилению их. Учения, ниспровергающие все начала свободы, были лично поддерживаемы государем, открыто признаваемы правительством и усердно защищаемы самими могущественными условиями; законы, проистекающие из этих теорий, были вносимы в нашу книгу статуты и исполняемы в наших судах. Но все было тщетно. Через несколько лет поколение того времени начало сходить с поприща; на место его вступило другое, лучшее — и система тирании пала. Таким образом во всех странах, сколько-нибудь пользующихся свободой, должна пасть всякая система: управления, идущая против потребностей страны и покровительствующая таким понятиям и учреждениям, которые отвергаются духом времени. В такого рода борьбе окончательный результат не подлежит никакому сомнению. Сила каждого деспотического правительства зависит единственно от нескольких личностей, которые, каковы бы ни были способности их, могут быть после смерти заменены робкими и неспособными преемниками. Сила же общественного мнения не подвержена этим случайностям; на нее не действуют законы смертности; она не может сегодня процветать, а завтра прийти в упадок и не только не зависит от жизни отдельных личностей, но управляется широко действующими общими причинами, которые по самой широте своей едва заметны на коротких периодах, при сравнении же долгих пространств времени оказываются перевешивающими все другие условия и обращают в ничто те мелкие ухищрения, посредством которых государи и государственные люди надеются изменить естественный ход событий и подчинить своей воле будущность великих цивилизованных народов.

Все это очевидные, общие истины, в которых едва ли усомнится кто-либо из людей, достаточно знающих историю и много размышлявших о свойствах и условиях современного общества. Но в том периоде, который мы рассматриваем, эти истины были совершенно забыты нашими правителями, которые не только считали себя способными остановить развитие известных мнений, но даже совершенно ошибались относительно самой цели и назначения правительства. В те времена думали, что правительства существуют только для меньшинства, желаниям которого большинство обязано покорно подчиняться; что власть постановлять законы должна всегда находиться в руках немногих привилегированных классов, и что до всей нации эти законы касаются только в том, что она должна им повиноваться<sup>156</sup>, и, наконец, что мудрое правительство обязано обеспечивать за собой повиновение народа, препятствуя ему просвещаться умножением суммы своих знаний<sup>157</sup>. Без сомнения, должно считать весьма замечательным обстоятельством то, что эти понятия и системы законодательства, на них основанные, до такой степени вымерли в течение полувека, что их теперь уже не отстаивают и люди самого посредственного развития. Еще замечательнее, что эта великая перемена совершилась не вследствие какого-либо внешнего события или внезапного восстания народа, но единственно действием нравственной силы — безмолвного, но всеограшающего давления общественного мнения. Это явление мне всегда казалось решительным доказательством естественного и, если я могу так выразиться, здорового хода английской цивилизации. Оно доказывает такую упругость и такую сдержанность народного духа, каких не выказала никогда ни одна нация. Никакой другой народ не избегнул бы этого кризиса иначе как пройдя через революцию, которая могла бы стоить дороже, чем сколько бы она принесла пользы. Как бы то ни было, но должно сказать, что в Англии общий ход дел, который я старался проследить с шестнадцатого века, распространил во всем народе такое знание его собственных средств, такое умение искусно и независимо пользоваться ими, которые хотя и были еще весьма несовершенны, но все-таки достигли у нас несравненно большего развития, чем у других великих народов Европы. Кроме того, другие обстоятельства, о которых мы далее расскажем, еще с одиннадцатого столетия начали действовать на наш национальный характер и способствовали к приданию ему той мужественной смелости и вместе с тем той привычки к предсмотрению последствий и той осторожной сдержанности, которым английский ум обязан своими главными особенностями. Вследствие того у нас любовь к свободе умерялась духом осторожности, который обуздывает стремительность этого чувства, не повредив его силе, и это-то свойство наше и заставило наших соотечественников не раз переносить даже довольно тяжкое угнетение скорее, чем решиться на восстание против своих притеснителей. Оно научило сдерживать себя и беречь свои силы до тех пор, пока не настанет возможность

употребить их с верным успехом. Этой великой и драгоценной привычке мы обязаны спасением Англии в конце восемнадцатого века. Если бы народ восстал, ему пришлось бы рисковать всем, и никто не может сказать, какой был бы результат этого отчаянного риска. К счастью для граждан того времени и для потомства их, они примирились с необходимостью и согласились выждать свое время и дожидаться естественного исхода дел. Плоды этого благородного образа действия пожинаются их потомками. По прошествии нескольких лет политический кризис стал ослабевать, и нация опять вступила в прежние свои права. Хотя права эти некоторое время были в бездействии, но они не уничтожились уже по тому самому, что еще существовал в народе тот дух, силой которого они первоначально приобретены. Нет сомнения в том, что если бы тогдашнее тяжелое время продолжилось, то тот же самый дух, который воодушевлял предков в царствование Карла I, вновь проявился бы в потомках, и общество было бы потрясено революцией, о которой страшно и подумать. Между тем в настоящем случае все это было избегнуто, и хотя в разных краях государства возникали народные волнения и меры правительства возбуждали весьма серьезное нерасположение к нему, однако вообще нация осталась непоколебимой и терпеливо сберегла свои силы для лучших времен, когда для блага ее образовалась в государстве новая партия, которая стала с успехом отстаивать ее интересы в самых стенах парламента.

Эта великая и благотворительная реакция наступила в самом начале настоящего века; но обстоятельства, сопровождавшие ее, до такой степени сложны и были до сих пор так мало изучаемы, что в этом введении я не могу и подумать о том, чтобы представить хотя бы очерк их. Достаточно будет сказать — и это должно быть всем известно, — что в течение почти пятидесяти лет движение продолжалось с неумолимой быстротой. Все, что только было сделано вновь, служило к тому, чтобы увеличить влияние народа. Удар за ударом был нанесен тем сословиям, которые некогда исключительно обладали политическим могуществом. Билль о реформе, эмансипация католиков и отмена хлебных законов признаны всеми за три самых великих политических подвига настоящего поколения, и каждая из этих важных мер ослабила одну из могущественных партий в государстве. Расширение права голоса на выборах уменьшило влияние наследственных привилегий и расстроило ту великую олигархию землевладельцев, которая так долго управляла палатой общин. Отмена покровительственной системы еще более ослабила поземельную аристократию; в то же время суеверные понятия, составляющие главную поддержку духовного сословия, были сильно потрясены сперва отменой актов Test и Corporation<sup>158</sup>, а потом допущением католиков в законодательное собрание, — двумя явлениями, которые справедливо признаются за вредные примеры для интересов господствующей церкви<sup>159</sup>. Как эти меры, так и другие, ныне сделавшиеся неизбежными, уже отняли

отчасти и будут продолжать отнимать у всех отдельных классов общества принадлежавшую им прежде власть, чтобы передать ее всей массе народа. Действительно, быстрое развитие демократических идей составляет в настоящее время факт, которого никто не осмелится отрицать. Боязливые и невежественные люди ужасаются этого движения, но, что оно действительно есть, очевидно для всякого. Теперь никто не осмелится толковать о том, чтобы наложить узду на народ или противиться единодушным желаниям его. Если и говорят еще, то разве о том, что следует стараться разъяснять народу его действительные интересы и просвещать общественное мнение; но все соглашаются с тем, что как только общественное мнение образуется, невозможно долее противиться ему. Об этом предмете все судят единогласно; перед новой силой, понемногу преодолевающей все другие, смиряются те самые государственные люди, которые, если бы им пришлось жить шестьдесят лет назад, первые стали бы отрицать ее могущество, смеяться над ее притязаниями и — если бы это оказалось возможным — подавлять ее независимость.

Такова пропасть, отделяющая общественных деятелей нашего времени от людей, действовавших при той вредной системе, которую Георг III старался утвердить навсегда. Очевидно притом, что этот великий прогресс произведен был более уничтожением самой системы, чем улучшением людей. Очевидно также, что система пала, потому что она была несогласна с духом времени; другими словами, потому что прогрессивный народ никогда не потерпит антипрогрессивного правительства. Между тем история вполне доказала, что наши законодатели даже до последней минуты так сильно ужасались самой мысли о нововведении, что отказывали народу во всякой реформе до тех пор, пока голос его не раздался достаточно громко, чтобы вынудить их к покорности и заставить их сделать ту уступку, которой они, без такого давления, ни за что бы не сделали.

Эти явления должны служить уроком нашим политическим вождям. Они должны также умерять самонадеянность законодателей, убеждая их в том, что лучшие меры их годились только на время и что самые следы их позднейший и более зрелый век будет стараться изгладить. Хорошо было бы, если бы такие соображения могли обуздать самоуверенность и умерить речи тех поверхностных людей, которые, достигнув временной власти, считают себя призванными гарантировать известные учреждения и поддерживать известные мнения. Им следовало бы ясно понять, что не их дело таким образом предупреждать будущий ход событий и предусматривать отдаленные сочетания явлений. Действительно, в делах маловажных это может быть сделано без особенной опасности, хотя, как доказывают постоянные перемены в законах каждого государства, это не приносит также никакой пользы. Но относительно тех широких, основных мер, от которых зависит судьба целой нации, подобное предупреждение более чем бесполезно — оно в высшей степени вредно. При настоящем положе-

нии наших знаний политика не только не возвысилась на степень науки, но представляет собой самое отсталое из искусств: единственный безопасный путь для законодателя — признать свое призвание в том, чтобы подбирать временные средства для удовлетворения временных нужд. Его обязанность — следовать за веком, а не пытаться руководить им. Законодатель должен довольствоваться изучением того, что происходит вокруг него, и сообразовать свои планы не с теми понятиями, которые он наследовал от своих отцов, а с действительными требованиями своего времени, ибо он должен быть убежден, что при настоящей быстроте общественного прогресса потребности одного поколения не могут служить мерою для потребностей другого и что люди, сознавая этот прогресс, уже тяготеют к пустым речам о мудрости своих предков, решительно отвергая те изношенные и неподвижные правила, которые до сих пор были им навязываемы, но которыми теперь они уже не долго позволят себя стеснять.

## ГЛАВА VIII

### Очерк истории умственного движения во Франции с половины шестнадцатого века до вступления на престол Людовика XIV

Рассмотрение великих перемен, совершившихся в умственном развитии Англии, привело меня к отступлению, которое, однако же, не только не чуждо цели этого введения, но даже совершенно необходимо для правильного понимания его. В этом отношении, как и во многих других, существует заметная аналогия между исследованиями, касающимися до организации общества, и исследованиями, относящимися к человеческому телу. Так, например, признано, что лучший путь к открытию теории болезни заключается в том, чтобы начать с теории здоровья, и что основание для всякого здорового взгляда на патологию должно быть отыскиваемо посредством наблюдения не аномальных, но именно нормальных отправлений жизни. Точно таким же образом, я полагаю, будет признано, что лучший метод для открытия великих социальных истин состоит в том, чтобы сперва исследовать те случаи, в которых общество развивалось по своим собственным законам и правительствующие власти наименее противились духу своего времени.

Вопрос о том, должно или не должно изучение нормальных явлений предшествовать изучению аномальных, есть вопрос величайшей важности, и упущение его из виду произвело смешение понятий во всех мне известных сочинениях о всеобщей или сравнительной истории. Так как это предварительное основание не было установлено, то и не оказалось никакого признанного начала для расположения предметов, и историки, вместо того чтобы следовать научному методу, соответствующему действительным требованиям нашего знания, приняли метод эмпирический, примененный только к их собственным требованиям, и предоставили первые места разным странам, руководствуясь то обширностью их, то древностью, то географическим положением, то их богатством, то их религией, то блистательностью их литератур, то, наконец, удобством, представлявшимся для историка в собирании материалов. Все эти соображения, конечно, произвольны; с философской же точки зрения очевидно, что первые места в исследовании должны быть предоставлены историком тем или другим странам, смотря единственно по тому, в какой мере удобно делать общие выводы из их истории; в этом отношении он должен следовать научному правилу — переходить от простейшего к более сложному. Это приводит нас к тому заключению, что в изучении человека так же, как и в изучении природы, вопрос о том, что чему должно предшествовать, переходит в вопрос об уклонениях от правильности: чем более случалось таких

уклонений в жизни какого-нибудь народа, т. е. чем более она подвергалась постороннему вмешательству, тем ниже должен быть поставлен такой народ в системе истории различных стран. Колридж полагает, по-видимому, что порядок должен быть противоположный тому, на который я указываю, и что законы как духа, так и тела могут быть обобщены по патологическим данным. Не желая высказаться слишком положительно против мнения такого глубокого мыслителя, как Колридж, я не могу, однако же, не сказать, что это мнение опровергается громадным количеством доводов и что, сколько мне известно, оно не подтверждается ни одним доказательством. Опровергается оно уже тем фактом, что отрасли исследования, имеющие дело с явлениями, на которые мало действуют внешние причины, возвысились на степень наук гораздо ранее, чем те, которые имеют дело с явлениями, сильно изменяемыми действием внешних причин. Так, например, органический мир более подвергается действию неорганического, чем последний его действию. Потому мы видим, что неорганические науки всегда достигали известного развития ранее, чем органические, и что даже в настоящее время первые далеко опередили последние. Таким же образом физиология человека явилась ранее, чем патология его; так же как физиологией растительного царства успешно занимались уже со второй половины семнадцатого века, между тем как о патологии этого царства едва можно сказать, что она существует, так как ни один из ее законов не был обобщен и не было произведено никаких систематических изысканий, в большом размере, по болезненной анатомии растений. Таким образом, оказывается, что разные века и разные науки бессознательно свидетельствуют о том, как бесполезно сосредоточивать внимание на аномальных явлениях, пока еще не сделаны значительные успехи в изучении нормальных; это заключение может быть подтверждено бесчисленным множеством авторитетов, которые, вопреки мнению Колриджа, полагают, что основанием патологии должна служить физиология и что законы болезней должны быть выведены из явлений, представляемых не болезненным, а здоровым состоянием организма; другими словами, патология должна быть исследуема более посредством дедукции (вывода), чем индукции (наведения), и что анатомия болезней и клинические наблюдения могут служить проверкой для заключений науки, но никогда не могут служить средством для создания самой науки.

Другим подтверждением верности этого взгляда может служить то, что патологические исследования нервной системы, как бы их ни было много, почти ни к чему не привели; очевидно потому, что предварительное изучение нормального состояния не довольно подвинулось.

В этих видах, чтобы лучше понять положение Франции, я начал с того, что рассмотрел положение Англии. Чтобы уразуметь, каким образом болезни первой из этих стран усилились от шарлатанского врачевания их невежественными правителями,

нужно было предварительно уяснить себе, каким образом здоровое состояние другой страны было сохранено тем, что она подвергалась меньшему вмешательству и имела возможность с большей свободой следовать естественному ходу своего развития. Итак, при помощи того знания, которое мы приобрели изучением нормального состояния умственного развития Англии, мы можем с большим удобством приложить наши начала к тому аномальному состоянию французского общества, проявлениями которого в конце восемнадцатого века были поставлены в опасность некоторые из самых драгоценных для цивилизации интересов.

Во Франции целый ряд событий, о которых я расскажу далее, уже с весьма раннего времени дал духовенству больше могущества, чем оно когда-нибудь имело в Англии. Результаты этого явления в продолжение некоторого времени были весьма благодетельны, так как церковь умеряла анархическое своеволие варварского периода и представляла собою убежище для слабых и угнетенных. Но по мере того, как французы стали успевать в просвещении, духовная власть, с такой пользой обуздывавшая прежде их страсти, тяжелым бременем легла на умственные силы нации и стала стеснять движение их. Та же духовная власть, которая во времена невежества составляет несомненное благодеяние, в более просвещенном веке оказывается серьезным злом. Доказательство этой истины не замедлило явиться. Когда началась Реформация, церковь в Англии была уже так ослаблена, что пала от первого удара; доходы ее были захвачены короною, и высшие должности ее, по значительном уменьшении сопряженных с ними могущества и богатства, перешли в руки новых людей, которые по шаткости своего положения и по новостям своего учения не имели тех прав древнеустановившейся давности, которыми главным образом поддерживаются притязания духовного сословия. Это, как мы уже видели, послужило началом непрерывного прогресса, при котором со всяким последовательным шагом духовенство теряло часть своего влияния. Напротив того, во Франции духовенство было так сильно, что ему удалось отразить Реформацию и таким образом сохранить для себя те исключительные преимущества, которые английские собратья его тщетно старались удержать.

Это было началом второго заметного различия между цивилизациями Англии и Франции, которое, собственно, явилось гораздо ранее, но теперь только произвело очевидные последствия. Обе страны в периоде своего детства получили важные благодеяния от церкви, бывшей всегда в готовности покровительствовать народу против притеснений, которым он подвергался от короля и от аристократов. Но в обеих странах с развитием общества явилась способность самозащиты, и уже в начале шестнадцатого века, а вероятно, и еще ранее — в пятнадцатом — оказалась неотложная потребность ограничить эту духовную власть, которая, определяя людям обязательный образ



мыслей, останавливала успехи их на поприще знания<sup>1</sup>. Поэтому протестантизм и не был, как называли его враги, aberrацией, происшедшей от случайных причин, а был, напротив того, существенно нормальным движением и законным выражением потребностей европейского ума. Действительно, Реформация обязана своим успехом не желанию народов очистить церковь, но желанию облегчить производимое ею давление, и можно сказать вообще, что она была принята во всех цивилизованных странах, за исключением тех, в которых предшествовавшие события чрезмерно усилили влияние духовного сословия или на народ, или на его правителей. Так было, к несчастью, и во Франции, где духовенство не только восторжествовало над протестантами, но даже на некоторое время как будто бы приобрело новые силы, победив столь опасных врагов<sup>2</sup>.

Последствием всего этого было, что во Франции все общество приняло несравненно более теологический вид, чем в Англии. В нашем отечестве к половине шестнадцатого века теологический дух до такой степени ослабел, что наблюдательные иноземцы бывали даже поражены этой особенностью<sup>3</sup>. Та же самая нация, которая во время крестовых походов пожертвовала жизнью бесчисленного множества людей в надежде водрузить христианское знамя в самом сердце Азии, смотрела теперь почти совершенно равнодушно на то, к какой религии принадлежал ее государь.

Генрих VIII одной своей волей изменил религию нации и определил формальное устройство церкви, чего он никак не мог бы сделать, если бы народ сильно дорожил этого рода вещами, так как король не имел никаких средств принудить его к повиновению; у Генриха не было постоянной армии, и даже его личные телохранители были так малочисленны, что во всякое время могли быть уничтожены восстанием воинственных учеников лондонских мастерских<sup>4</sup>. После его смерти явился Эдуард, который, как протестантский король, уничтожил дело своего отца. Несколько лет спустя вступила на престол Мария и, в качестве католички, уничтожила дело своего брата; ей в свою очередь наследовала Елизавета, при которой вновь произведено важное изменение в господствующей религии. Таково было равнодушие нации, что все эти великие перемены совершены без всякой серьезной опасности<sup>5</sup>. Напротив того, во Франции при одном имени религии тысячи людей всегда были готовы ополчиться. В Англии все междоусобные войны имели характер гражданский и были ведены или с тем, чтобы свергнуть царствующую династию, или с тем, чтобы достигнуть увеличения свободы. Напротив, те несравненно более ужасные войны, которые в шестнадцатом веке опустошали Францию, были все ведены во имя христианства, и даже политические распри между первенствовавшими фамилиями исчисляли в смертельной борьбе между католиками и протестантами.

Действие, произведенное этим различием на умы в обеих странах, очевидно. Англичане, сосредоточивая свои силы на

важнейших светских вопросах, к концу шестнадцатого столетия уже произвели литературу, которая никогда не погибнет. Между тем французы к тому же времени не имели еще ни одного сочинения, утрата которого в настоящее время составила бы потерю для Европы. Притом этот контраст становится еще разительнее вследствие того обстоятельства, что во Франции цивилизация, какова бы она ни была, возникла ранее, материальные средства страны ранее развились; географическое положение ее давало ей возможность быть центром европейской мысли, и, сверх того, Франция уже имела литературу в те времена, когда наши предки еще представляли толпу диких и невежественных варваров.

Дело просто в том, что это один из бесчисленного множества примеров, доказывающих нам, что никакая страна не может достигнуть высокой степени развития, пока духовная власть пользуется в ней большим значением; ибо преобладание духовного сословия всегда сопровождается соответственным преобладанием тех вопросов, в которых это сословие находит особенную важность. От этого произошло, что умы французов, будучи главным образом заняты религиозными спорами, не имели времени предаваться тем великим изысканиям, в которые начинали уже вдаваться в Англии<sup>6</sup>; как мы сейчас увидим, между успехами умственного развития Франции и Англии было расстояние целого поколения, и это единственно потому, что существовало почти такое же расстояние между успехами скептицизма в обеих нациях. Правда, что теологическая литература во Франции быстро обогащалась<sup>7</sup>, но великая светская литература, соответствующая той, которую Англия уже произвела ранее конца шестнадцатого столетия, во Франции явилась не ранее семнадцатого.

Таковы были во Франции естественные последствия того обстоятельства, что преобладание церкви сохранилось дольше, чем следовало по потребностям общества. Но между тем как таковы были результаты в чисто умственном отношении, нравственные и физические результаты были еще серьезнее. В то время как умы были таким образом воспламенены религиозной борьбой, бесполезно было бы ожидать от них тех человеколюбивых понятий, которых теологические партии всегда чужды. Между тем как протестанты резали католиков, а католики резали протестантов, весьма невероятно было, чтобы та или другая партия стала смотреть с чувством терпимости на мнения своих противников<sup>8</sup>. В продолжение шестнадцатого столетия заключались иногда между обеими партиями договоры, но заключались только с тем, чтобы немедленно быть нарушенными<sup>9</sup>; за единственным исключением Л'Опиталья, даже и самая идея веротерпимости не приходила в голову ни одному из государственных людей того времени. Он отстаивал эту идею, но ни замечательные способности его, ни безукоризненная честность не могли одержать верх над преобладающими предрассудками, и, наконец, обвиненный в атеизме, он должен был оставить государст-

венную деятельность, не осуществив ни одного из своих благородных планов.

Действительно, в главных событиях этого периода французской истории преобладание теологического духа проявлялось бедственным образом. Оно проявлялось во всеобщей решимости подчинить политическую деятельность религиозным мнениям<sup>10</sup>. Оно проявилось в Анбуазском заговоре и на конференции в Пуаси; но еще более проявилось оно в возмутительных злодеяниях, столь свойственных суеверию,—в убийствах в Васси и в Варфоломеевской ночи, в умерщвлении Гиза злодеем Польтро и Генриха III Клеманом. Это были естественные произведения духа религиозного фанатизма,—произведения того ненавистного духа, который везде, где только он приобретал силу, преследовал до истребления всех, осмеливавшихся противиться ему, и который даже и теперь, когда время его силы прошло, все-таки продолжает догматизировать о самых таинственных предметах, оскверняет самые священные начала человеческого сердца и затемняет жалкими суевериями те высокие вопросы, к которым никто не должен был бы грубо прикасаться, потому что они для всякого выражаются в такой форме, какая по силам его душе, потому что место их — та безвестная область, которая отделяет конечное от бесконечного, и, наконец, потому, что они составляют тайный, индивидуальный завет между человеком и его Богом.

Как долго при естественном ходе вещей протянулись бы для Франции эти печальные дни<sup>11</sup> — составляет вопрос, на который мы теперь едва ли имеем средства отвечать; хотя нет никакого сомнения, что успехи, даже и в эмпирических знаниях, должны были бы, по замеченному уже нами процессу, наконец, оказаться достаточными для того, чтобы вывести такую великую нацию из униженного положения ее. Но к счастью, теперь совершилось событие, которое мы не имеем права назвать иначе как счастливой случайностью, но которое послужило началом весьма важной перемены. В 1589 г. вступил на французский престол Генрих IV. Этот великий монарх, стоящий несравненно выше всех французских государей шестнадцатого столетия, обращал мало внимания на те теологические споры, которые его предшественникам казались предметом первостепенной важности. До него французские короли под влиянием усердия, свойственного хранителям церкви, употребляли все свое могущество на поддержание интересов духовного сословия. Франциск I сказал, что если бы его правая рука была заражена ересью, то он бы ее отрубил. Генрих II, отличавшийся еще большим усердием, приказал судьям строго преследовать протестантов и публично объявил, что он поставит себе главной задачей истребление еретиков. Карл IX, в знаменитую Варфоломеевскую ночь, покусился избавить от них церковь, истребив их одним ударом. Генрих III обещал, что будет «бороться против ереси, хотя бы с опасностью жизни», так как, по его словам, ему «нельзя бы найти более славную могилу, как погребсти себя среди развалин разрушенной ереси».

Таковы были мнения, выраженные в шестнадцатом столетии главами древнейшей монархии в Европе<sup>12</sup>. Но могущественный ум Генриха IV не имел ни малейшего сочувствия к таким понятиям. Сообразно с требованиями изменчивой политики своего времени он уже два раза переменял религию и не усомнился переменить ее в третий раз<sup>13</sup>, когда увидел, что он мог этим обеспечить спокойствие своей отчизны. Показав такое равнодушие к своему собственному вероисповеданию, он не мог, без нарушения приличия, показать большую строгость относительно веры своих подданных. Вследствие того мы видим его виновником первого всенародного акта о веротерпимости, изданного во Франции правительством, с тех пор как христианская вера утвердилась в этой стране. Не более пяти лет после того, как он торжественно отрекся от протестантизма, он издал знаменитый Нантский эдикт<sup>14</sup>, которым в первый раз католическое правительство даровало еретикам должное им участие в гражданских и религиозных правах. Это было, без сомнения, самым важным из всех до того времени совершившихся событий в истории французской цивилизации<sup>15</sup>. Если рассматривать это явление само по себе, то оно составляет лишь доказательство просвещенных понятий короля; но если принять в соображение тот успех, который оно имело вообще, и последовавшее за ним прекращение религиозной распри, то нельзя не заметить, что оно составляет часть великого движения, в котором участвовала и сама нация. Всякий, кто только признает истину тех начал, которые я старался установить, конечно, не может не заметить, что этот великий шаг к религиозной свободе сопровождался тем духом скептицизма, без которого никогда не являлась веротерпимость. А что это действительно так было, может быть доказано рассмотрением того переходного состояния, в которое начала вступать Франция к концу шестнадцатого столетия.

Сочинения Рабле нередко признаются за первое письменное проявление религиозного скептицизма на французском языке. Но при довольно близком знакомстве с творениями этого замечательного человека я не нашел в них ничего, что бы могло оправдать такое мнение. Правда, что он говорит о духовенстве весьма непочтительно и пользуется всяким удобным случаем, чтобы осыпать его насмешками; но его нападения всегда относятся к личным порокам духовных, а не к тому духу узкой нетерпимости, которому главным образом должны быть приписаны эти пороки. Ни в одном месте он не высказывает ничего похожего на последовательный скептицизм<sup>16</sup> и, по-видимому, даже не понимает того, что позорный образ жизни французского духовенства был лишь неизбежным последствием системы, которая, при всей своей испорченности, имела, однако же, все внешние признаки жизненности и силы. Действительно, огромная популярность, которой пользовался этот писатель, уже сама по себе составляет почти полное доказательство справедливости нашего мнения, так как никто из лиц, хорошо знающих умствен-

ное состояние Франции в начале шестнадцатого века, не поверит тому, чтобы народ, до такой степени погруженный в суеверие, мог находить наслаждение в чтении писателя, который постоянно нападал на это суеверие.

Но расширение сферы опыта и следующее за ним умножение знаний уже прокладывали путь великой перемене в умственной жизни Франции. Процесс, только что совершившийся в Англии, теперь начинался во Франции, и в обеих странах порядок событий был совершенно один и тот же. Дух сомнения, до сих пор проявлявшийся лишь изредка в каком-нибудь отдельном мыслителе, начал понемногу принимать более смелый вид; сперва он нашел исход в народной литературе, а потом стал проявлять свое влияние на практической деятельности государственных людей. Что во Франции существовала тесная связь между скептицизмом и веротерпимостью, это доказывается не только теми общими доводами, которые приводят нас к заключению, что подобная связь всегда должна существовать, но и тем обстоятельством, что лишь за несколько лет до издания Нантского эдикта явились сочинения первого систематического скептика, писавшего на французском языке. «Опыты» Монтеня были изданы в 1588 г. и образуют собою эпоху не только в литературе, но и в цивилизации французского народа. Если оставить в стороне личные особенности, имеющие вообще меньшие значения, чем обыкновенно полагают, то окажется, что различие между Рабле и Монтенем может служить мерилом расстояния, существовавшего, по ходу умственного движения, между годами 1545-м (когда вышел «Пантагрюэль») и 1588-м, и что оно в некоторой степени соответствует указанному нами отношению между Джуелем и Гукером и между Гукером и Чиллингвортом. Закон, управляющий всеми этими отношениями, есть закон постепенного развития скептицизма. Чем был Рабле для представителей теологии, тем стал Монтень для теологии самой. Сочинения Рабле были направлены только против духовенства, а сочинения Монтеня — против самой системы, на которую духовенство опиралось<sup>17</sup>. Под оболочкой простого светского человека, выражающего естественные мысли обыкновенным языком, скрывался у Монтеня дух безграничного, смелого исследования. Хотя в уме его недоставало той широты, которая составляет самое высшее проявление гения, но он отличался другими качествами, неразлучными с великим умом. Он был очень осторожен, но в то же время очень смел. Он был осторожен, так как он не хотел верить в некоторые странные понятия на том только основании, что они перешли к его временам по наследству от его предков; но притом он был и очень смел, так как его не пугали те упреки, которыми невежды, всегда любящие догматизировать, осыпают людей, путем знания дошедших до сомнения!<sup>18</sup> Эти качества и во всякое время сделали бы Монтеня весьма полезным человеком, но в шестнадцатом столетии они придали ему первостепенное значение. В то же время его легкий и приятный слог облегчал распространение его

сочинений и таким образом содействовал к доставлению популярности тем идеям, которые автор пытался провести во всеобщее сознание.

Таково было первое открытое проявление того скептицизма, который в конце шестнадцатого столетия всенародно выказался во Франции. В течение почти трех поколений продолжалось движение его с постоянно возрастающей деятельностью, и скептицизм развивался во Франции точно так же, как совершалось развитие его в Англии. Нам нет нужды следовать за всеми переходами этого великого процесса, но я постараюсь обозначить те из них, которые, заметно выделяясь из числа прочих, представляются самыми значительными.

Через несколько лет после появления «Опытов» Монтеня издано было во Франции сочинение, которое хотя ныне читается немногими, но в семнадцатом столетии пользовалось первостепенной известностью. Это был знаменитый «Трактат о мудрости» Шаррона, в котором мы видим в первый раз, на одном из новейших языков, попытку построить теорию нравственности без помощи теологии. Эта книга в некоторых отношениях была еще страшнее для приверженцев теологии, чем сочинения Монтеня, вследствие глубоко серьезного тона, которым она написана. Шаррон, очевидно, был сильно проникнут убеждением в важности предпринятого им дела и особенно похвально отличался от всех своих современников замечательной чистотой языка и мыслей. Его сочинение составляет почти единственное из произведений тех времен, в котором не встречается ничего, что бы могло оскорбить и самый целомудренный слух. Хотя он заимствовал у Монтеня бесчисленное множество пояснительных примеров<sup>19</sup>, но всегда старательно избегал тех непристойностей, в которые иногда впадает этот во всех других отношениях увлекательный писатель. Сверх того, сочинение Шаррона отличается особенной систематической полнотой, которая неизбежно привлекает наше внимание. Со стороны оригинальности он стоит несколько ниже Монтеня, но имеет то преимущество, что явился после него; и нет сомнения в том, что он дошел до такой высоты, которая для Монтеня была бы недостижима. Стоя как бы на самой вершине знания, он смело приступает к перечислению элементов мудрости и тех условий, при которых эти элементы могут проявляться. В системе, которую он таким образом строит, он совершенно опускает теологические догматы и открыто высказывает свое презрение ко многим из тех положений, которые до тех пор принимались всеми. Он напоминает своим соотечественникам, что религия их составляет случайный результат их рождения и воспитания и что если бы они родились в магометанской земле, то были бы в такой же мере привержены к магометанству, в какой теперь пристрастны к христианству. Исходя от этого соображения, он доказывает, как нелепо тревожиться различием вер, тогда как это различие составляет результат обстоятельств, от нас не зависящих. Следует также заметить, что каждая из этих

различных религий доказывает, что она есть истинная, и все они одинаково основаны на сверхъестественных явлениях, как-то: таинствах, чудесах, пророчествах и т. д. Именно потому, что люди забывают об этом, становятся рабами той упорной уверенности, которая составляет великое препятствие для всякого истинного знания и может быть устранена только приобретением того широкого взгляда, при котором мы видим, что все народы с одинаковым усердием держатся за догматы, внушенные им при воспитании<sup>20</sup>. Притом, говорит Шаррон, если вникнуть в дело несколько глубже, мы увидим, что каждая из великих религий основана на той, которая предшествовала ей. Так, религия евреев основана на религии египтян; христианство составляет последствие еврейской религии, а от этих двух религий естественно произошло магометанство<sup>21</sup>. Следовательно, присовокупляет этот великий писатель, мы должны стать выше притязаний враждебных сект и затем, не пугаясь будущего наказания и не увлекаясь надеждой на награды, удовольствоваться практической религией, состоящей в исполнении житейских обязанностей; не стесняясь догматами никакой особой веры, мы должны стараться заставить душу уйти в самое себя и усилиями этого самосозерцания дойти до благоговения перед неизреченным величием существа из существ, Верховного Начала всего творения.

Вот какие понятия были предложены в 1601 г. в первый раз французской нации на ее природном языке. Дух скептицизма и светских интересов, которого они являлись представителями, продолжал усиливаться, и по мере того, как семнадцатое столетие подвигалось вперед, упадок фанатизма, не ограничиваясь уже несколькими отдельными мыслителями, стал проявляться и в большинстве политических деятелей. Духовенство, сознавая опасность, желало, чтобы правительство остановило успехи умственного движения<sup>22</sup>, и сам папа, в формальном представлении Генриху IV, побуждал его устранить это зловерное движение преследованием еретиков, от которых, по его мнению, происходило все зло. Но в этом король с твердостью отказал. Он видел, какие огромные выгоды должны произойти, если ему удастся ослабить власть духовенства, удерживая обе секты между собой в равновесии, и потому, хотя он сам был католик, политика его склонялась более на сторону протестантов, как составлявших слабейшую партию. Он назначал им денежные вспомоществования на содержание священников и исправление церквей; он изгнал иезуитов, которые были для них опаснейшими врагами<sup>23</sup>, и постоянно имел при себе двух представителей протестантской церкви, которые были обязаны доносить ему о каждом нарушении эдиктов, изданных им в пользу их религии.

Таким образом, и во Франции так же, как в Англии, скептицизм предшествовал веротерпимости, и этим скептицизмом были порождены человеколюбивые и просвещенные меры Генриха IV. Великий государь, совершивший эти дела, к несчастью, пал жертвой того духа фанатизма, для обуздания которого он

так много сделал<sup>24-25</sup>; но обстоятельства, явившиеся после его смерти, доказывают, как сильно было движение, сообщенное им своему веку.

После убийства Генриха IV правление перешло в руки королевы, которая управляла государством во все время малолетства сына ее, Людовика XIII. Замечательный пример направления, принятого теперь умами, составляет то, что она, хотя и была слабая и суеверная женщина, воздержалась, однако, от гонений за веру, которые одним поколением раньше считались необходимым доказательством искренности в религии. Действительно, необыкновенную силу должно было иметь то движение, которое могло принудить к веротерпимости в начале семнадцатого века государыню из дома Медичи, невежественную и суеверную католичку, воспитанную среди своего духовенства и привыкшую видеть в его одобрении высшую цель человеческого честолюбия.

Но так действительно случилось. Королева оставила министров Генриха IV и объявила, что она во всем будет следовать его примеру. Первым всенародным распоряжением ее было заявление, что Нантский эдикт будет неизменно сохранен; ибо, говорила она, «опыт доказал нашим предшественникам, что насилие не только не побуждает людей возвращаться в лоно католической церкви, но даже останавливает их от этого». Действительно, так сильно держалась она этой мысли, что когда Людовик XIII в 1614 г. достиг номинального совершеннолетия, первым действием его правления было также подтверждение Нантского эдикта. А в 1615 г. она побудила короля, еще остававшегося под ее опекой, издать декларацию, которой все предшествовавшие меры в пользу протестантов были публично подтверждены. Действуя в том же духе, она желала в 1611 г. назначить председателем парламента знаменитого де Ту, и, только формально объявив его еретиком, папе удалось отклонить это намерение, казавшееся ему богопротивным.

Оборот, который в это время стали принимать дела, возбуждал немалое беспокойство в приверженцах иерархии. Самые усердные последователи церкви громко осуждали политику королевы. Один великий историк (Ранке) заметил, что, когда, во время царствования Людовика XIII, во всей Европе были возбуждены сильные опасения деятельности домогательствами духовной партии, Франция была первым государством, осмелившимся противиться им. Нунций открыто выражал королеве сожаления о том, что она потворствует еретикам, и усердно старался о запрещении протестантских сочинений, возмущавших совесть правоверных. Но и эти, и другие подобные им представления уже не принимались с тем уважением, какое они возбудили бы в прежнее время, и делами государства продолжали управлять по тем исключительным светским соображениям, на которых явно основаны были меры, принятые Генрихом IV.

Такова была политика французского правительства, — правительства, несколько лет ранее признававшего главной обязан-



ностью государя наказывать еретиков и истреблять ересь. Что это продолжающееся улучшение было лишь результатом всеобщего умственного движения — это очевидно явствует не только из успехов умственного развития нации, но и из личных свойств королевы-правительницы и короля. Из всех, читавших мемуары того времени, никто не может отрицать, что Мария Медичи и Людовик XIII были не менее суеверны, чем кто-либо из предшественников их; по этому очевидно, что такое пренебрежение их к теологическим предрассудкам происходило не от личных качеств их, но от успехов просвещения в стране и от понудительного влияния времени, которое в быстроте своего движения увлекало за собой и тех, кто считал себя властителем его судеб.

Но все подобные соображения, как бы они ни были сильны, лишь весьма немногим уменьшают заслуги того замечательного человека, который теперь вступил на поприще общественной деятельности. В продолжение последних восемнадцати лет царствования Людовика XIII управление Францией совершенно находилось в руках Ришельё<sup>26</sup>, одного из весьма малочисленного класса государственных людей, которым дано запечатлеть свой личный характер на истории судеб своего отечества. Этого великого правителя, вероятно, никогда никто не превосходил в обладании всеми тайнами политики, за исключением разве того дивного гения, который в наше время поколебал равновесие Европы. Но, с одной весьма важной точки зрения, Ришельё стоял гораздо выше Наполеона. Жизнь Наполеона представляет собой непрерывное усилие подавить свободу человечества; его беспримерные способности истощались на борьбу с тенденциями его великого времени, Ришельё также был деспот, но деспотизм его принял более благородное направление. Он доказал, чего никогда не было у Наполеона, способность к верной оценке духа своего времени. Впрочем, и он в одном весьма важном предмете ошибся. Усилия его подавить могущество французской аристократии оказались совершенно тщетными<sup>27</sup>, ибо благодаря долгому ряду событий авторитет этого надменного сословия был так глубоко укоренен в понятиях народа, что потребовались усилия еще одного столетия на то, чтобы уничтожить это старинное влияние. Но хотя Ришельё не мог уменьшить социальной и нравственной силы французских аристократов, он обрезал, однако, их политические привилегии и наказывал преступления их с такой строгостью, которая должна была, хотя на время, смирить прежнее их своеволие. Впрочем, так бесполезны усилия даже самого даровитого государственного мужа, когда ему не содействует общее настроение того времени, в котором он живет, что эти толчки, как они ни были сильны, не произвели никакого прочного последствия. После его смерти французская аристократия, как мы сейчас увидим, скоро оправилась от понесенных ею поражений и во время войн Фронды успела обратить эту великую распрю в простую борьбу соперничающих родов. Не ранее конца восемнадцатого века Франция окончательно

освободилась от преобладающего влияния этого могущественного класса, долго замедлявшего своим эгоизмом успехи цивилизации, удерживая народ в безусловном подчинении, от дальних последствий которого он и до сих пор еще не вполне оправился.

Хотя в этом отношении Ришельё не достиг своей цели, но в других делах он имел замечательный успех. Это произошло от того, что его широкие и смелые воззрения гармонировали с тем скептическим направлением, которое я только что старался очертить; ибо этот замечательный человек, хотя и был епископом и кардиналом, никогда не позволял интересам своего сословия заслонить высшие интересы отечества. Он знал,—а это слишком часто забывается,—что правитель народа должен смотреть на дела исключительно с политической точки зрения и не должен обращать внимания ни на притязания какой-либо секты, ни на распространение каких-нибудь мнений, иначе как в отношении к настоящему, практическому благосостоянию нации. Вследствие этого управление его представляло беспримерное зрелище—сосредоточение всей государственной власти в руках духовного лица, нисколько не старающегося об усилении духовного сословия. Далеко от этого, он даже нередко проявлял в отношении к духовным такую строгость, которая тогда казалась беспримерной. Так, королевские духовники, по важности их обязанностей, всегда пользовались особенным уважением; их считали людьми безукоризненного благочестия, и до того времени они всегда имели огромное влияние, так что даже самые могущественные из государственных людей вообще считали полезным оказывать им уважение, соответствующее высокому положению их<sup>28</sup>. Но Ришельё был слишком хорошо знаком со всеми хитростями, свойственными тому сословию, к которому он сам принадлежал, чтобы чувствовать большое уважение к этим блюстителям королевской совести. Коссэн, духовник Людовика XIII, по-видимому, последовал было примеру своих предшественников и попытался внушить духовному сыну свои собственные воззрения на политические дела<sup>29</sup>. Но Ришельё, как только узнал об этом, удалил его от должности и послал в изгнание, сказав с презрением, что «батюшке Коссэну» не следует вмешиваться в дела правительственные, так как он принадлежит к людям, «воспитанным в невинности чисто религиозной жизни». Коссэну наследовал знаменитый Сирмон, но Ришельё до тех пор не позволил новому духовнику вступить в отправление своих обязанностей, пока он торжественно не обещал никогда не вмешиваться в государственные дела. И в другом весьма важном случае Ришельё выказал то же направление. Французское духовенство в то время обладало громадными богатствами, и так как оно пользовалось привилегией само себя облагать податями, то оно старалось о том, чтобы не делать бесполезных, по его мнению, пожертвований для покрытия расходов государства. Духовенство охотно давало деньги на ведение войны против протестантов, потому что оно считало своей обязанностью участвовать в искоренении ереси<sup>30</sup>.

Но тратить свои доходы на достижение собственно мирских благ оно не находило оснований; духовные признавали себя хранителями средств, особо отчисленных для духовных назначений, и считали богопротивным делом, чтобы богатства, освященные благочестием предков их, поступали в распоряжение государственных деятелей мирян для светских целей. Ришельё, видевший в подобных отговорках лишь хитрость корыстолюбцев, имел совершенно другой взгляд на отношения духовенства к государству<sup>31</sup>. Он не только не признавал интересы церкви стоящими выше интересов государства, но даже принял за основное правило своей политики, что честь государства должна быть первым из всех соображений. И с таким бесстрашием проводил он это начало, что однажды, созвав в Манте многочисленное собрание духовных, он заставил их помочь правительству экстраординарной ассигновкой в 6 000 000 франков, и, видя, что некоторые из самых высших сановников церкви выразили неудовольствие такой необычайной мерой, он наложил руку даже на них и, к изумлению всего духовенства, послал в изгнание не только четырех епископов, но и двух архиепископов — Тулузского и Сансского.

Если бы такие дела были совершены пятьюдесятью годами ранее, то они, наверное, оказались бы губительными для министра, осмелившегося предпринять их. Но кардиналу Ришельё и в этой, и в других подобных мерах помогал дух времени, заставлявший презирать своих прежних повелителей. Существование такого направления во всем обществе теперь становилось очевидным не только в литературе и в политике, но и в действиях судов. Нунций с негодованием жаловался на враждебное настроение против духовенства, выражаемое французскими судьями, и представлял в числе других постыдных дел, что некоторые духовные лица были повешены, не будучи предварительно лишены священного сана. В других случаях возрастающее презрение к духовенству выражалось путем, вполне соответствующим грубости преобладавших нравов. Сурдис, архиепископ Бордосский, был два раза постыдно прибит: один раз — герцогом д'Эперноном, другой раз — маршалом де Витри<sup>32</sup>; и Ришельё, обыкновенно так строго поступающий с аристократами, не показал особенного желания наказать виновников этого грубого оскорбления. Действительно, не только архиепископу не было оказано никакого сочувствия, но даже, несколько лет спустя, он получил от Ришельё формальное приказание удалиться в свою епархию и до такой степени испугался тогдашнего положения дел, что бежал в Карпантра и искал защиты у папы. Это случилось в 1641 г.; но девятью годами ранее церковь подверглась еще большему оскорблению: в 1632 г., когда произошли серьезные беспорядки в Лангедоке, Ришельё не побоялся выйти из затруднения, сменив некоторых из епископов и секвестровав имущества других.

Легко себе представить негодование духовенства. Такие беспрерывные обиды ему тяжело было бы перенести, если бы даже они нанесены были мирянином. Но они становились вдвое

тяжелее, будучи делом одного из членов того же класса,— человека, с юности принадлежавшего к тому же сословию, против которого он ныне шел. Это обстоятельство значительно усиливало ощущение обиды в духовенстве потому, что придавало ей как будто бы характер измены. Это не была война извне, но измена внутри самого духовного сословия. Унижавшим епископское достоинство был сам епископ; оскорблявшим церковь — кардинал. Таково, однако, было общее настроение умов, что духовенство не решилось нанести открытый удар министру, а только посредством своих приверженцев распространяло самые гнусные пасквилы против Ришельё. Обвиняли его в нарушении целомудрия, в открытом разврате и даже в кровосмешении с своей собственной племянницей. Утверждали, что у него нет никакой религии, что он — католик только по имени, а в действительности первосвященник гугенотов или патриарх атеистов, и, наконец, — что было хуже всего — обвиняли его в намерении произвести раскол во французской церкви. К счастью, уже начинало проходить то время, когда умы целого народа могли быть взволнованы подобными хитростями. Тем не менее эти клеветы заслуживают внимания, так как по ним можно судить о направлении общественных дел и о том, с какой горечью духовное сословие видело бразды правления выпадающими из его рук. Действительно, это явление было так очевидно, что в последнем междоусобии, возбужденном против Ришельё, за два года до его кончины, инсургенты в прокламации своей объявили, что одна из целей их — восстановить то уважение, которым в прежнее время пользовались духовенство и дворянство.

Чем более мы изучаем всю деятельность Ришельё, тем яснее для нас становится этот антагонизм. Все доказывает нам, что Ришельё имел сознание великой борьбы, происходившей между прежней, духовной, и новой, светской, системами управления, и что в нем была решимость ниспровергнуть старую систему и поддерживать новую. Не только в его внутренней администрации, но и во внешней политике его мы видим то же, беспримерное дотоле, пренебрежение к теологическим интересам. Австрийский дом (в особенности испанская ветвь его) издавна пользовался уважением всех благочестивых людей, как вернейшая опора церкви: на него смотрели, как на бич ересей, и вообще все действия его против еретиков доставили ему громкое имя в истории церкви<sup>33</sup>. Поэтому, когда французское правительство, в царствование Карла IX, предприняло решительную попытку к истреблению протестантов, то Франция естественным образом вошла в теснейшую связь как с Испанией, так и с Римом, и эти три великие державы соединились весьма тесно, но не общностью мирских интересов, а единственно религиозным союзом. Этот теологический союз был впоследствии разрушен личным характером Генриха IV и возрастающим равнодушием тогдашнего общества к религии; но в продолжение малолетства Людовика XIII королева в некоторой степени восстановила его и покуша-

лась возобновить те суеверные понятия, на которых он был основан. По всем побуждениям своим она была ревностная католичка; она отличалась жаркой привязанностью к Испании и успела женить сына, молодого короля, на испанской принцессе, а дочь свою выдать за испанского принца.

Можно было ожидать, когда Ришельё, один из великих сановников римской церкви, был поставлен во главе государства, что он восстановит союз, которого так сильно желали люди его сословия<sup>34</sup>. Но не такие побуждения управляли действиями кардинала Ришельё. Его цель была не поддерживать мнения одной секты, а служить интересам целой нации. Его трактаты, его дипломатия, его предположения касательно внешних союзов — все было направлено не против врагов церкви, а против врагов Франции. Приняв такое новое мерило для своих действий, Ришельё сделал великий шаг к приданию светского характера всей системе европейской политики. Он достиг того, что теоретические интересы людей стали подчиняться практическим интересам их. До него правители Франции, чтобы наказать своих протестантских подданных, не колеблясь, призывали на помощь католические войска Испании. Поступая таким образом, они только следовали старинному мнению, что главная обязанность правительства есть истребление ересей. Это вредное учение в первый раз явно отвергнуто кардиналом Ришельё. Еще в 1617 г., прежде чем утвердилось его могущество, он высказал как основной принцип в инструкции одному из французских посланников, дошедшей и до наших времен, что в делах государственных никакой католик не должен предпочитать испанца французу-протестанту. Для нас, конечно, при настоящих успехах общества, подобное предпочтение требований отечества требованиям религии стало делом самым обыкновенным, но в то время это составляло поразительную новость<sup>35</sup>. Впрочем, Ришельё не побоялся довести противоречие общепринятым понятиям до самых отдаленных последствий. Католическая церковь справедливо считала свои интересы связанными с интересами Австрийского дома, а Ришельё, лишь только он был призван в королевский совет, решился унизить этот дом в обеих отраслях его. Чтобы достигнуть этой цели, он открыто поддерживал злейших врагов своей собственной религии. Он помогал лютеранам против германского императора и кальвинистам — против испанского короля. В продолжение восемнадцати лет своего владычества он постоянно следовал той же неизменной политике<sup>36</sup>. Когда Филипп вознамерился притеснить голландских протестантов, Ришельё стал действовать с ними заодно, сперва ссужая их значительными суммами денег, а потом побудив французского короля вступить, по трактату, в тесный союз с теми, которых, по понятиям церкви, он должен был скорее наказать, как бунтовщиков и еретиков<sup>37</sup>. Точно так же, когда вспыхнула та великая война, в которой император покушался покорить истинной вере совесть германских протестантов, Ришельё явился покровителем их; сначала он

пытался спасти предводителя их — фальцграфа, а не успев в этом, заключил в пользу их союз с Густавом-Адольфом, самым даровитым полководцем, какого тогда имели протестантские нации. Но на этом он не остановился. После смерти Густава, видя, что протестанты лишились своего великого вождя, он еще усиленнее стал действовать в их пользу. Он интриговал за них при иностранных дворах, открыл в пользу их переговоры, а в заключение организовал для покровительства им открытый союз, в котором все религиозные соображения были пренебрежены. Этот союз, составлявший весьма важный прецедент в международных отношениях Европы, не только был заключен кардиналом Ришельё с двумя самыми могущественными врагами церкви, к которой он принадлежал, но даже по существу своему был, как эмфатически выражается Сисмонди, «протестантским союзом», — протестантским союзом, говорит он, между Францией, Англией и Голландией.

Уже по одним этим делам следовало бы признать правление Ришельё великой эпохой в истории европейской цивилизации. Правление это представляет первый пример того, что замечательный государственный муж католического исповедания систематически пренебрегал духовными интересами и выражал это пренебрежение во всей системе своей как внешней, так и внутренней политики. Действительно, могут быть найдены еще ранее несколько приближающихся к этому примеров между правителями мелких итальянских государств, но там подобные попытки никогда не имели успеха, не были довольно продолжительны и никогда не выражались в достаточно обширном размере, чтобы им можно было приписать значение прецедентов в истории международных сношений. Особенную славу Ришельё составляет то, что его иностранная политика не по временам, а постоянно определялась светскими видами, и я не думаю, чтобы во все столь продолжительное время его господства можно было найти хотя малейший признак уважения с его стороны к тем теологическим интересам, осуществление которых так долго признавалось предметом величайшей важности. Подчиняя таким образом постоянно церковь государству, проводя начало этого подчинения в обширных размерах, с величайшим искусством и постоянным успехом, он положил основание тому чисто светскому характеру политики, утверждение которого, и после его смерти, было целью всех лучших европейских дипломатов. Результатом такого образа действий была весьма счастливая перемена, которая перед тем уже несколько времени подготавливалась, но при нем только окончательно совершилась. Введением этой системы положен был конец религиозным войнам, и вероятность сохранения мира усилилась тем более, что была устранена одна из причин, производивших нередко нарушение его<sup>38</sup>. В то же время проложен был путь к тому окончательно отделению теологии от политики, которое вполне довершить остается будущим поколениям. До какой степени значителен был шаг, сделанный в этом направле-

нии, видно из того, как легко было продолжать деятельность Ришельё людям, стоящим во всех отношениях ниже его. Меньше как через два года после его смерти собрался Вестфальский конгресс (1643 г.), и члены его заключили этот знаменитый мир, который навсегда останется замечателен как первая, в довольно обширном виде предпринятая, попытка согласить сталкивающиеся между собой интересы главных государств Европы. В этом важном трактате интересы церкви были совершенно пренебрежены, и участвовавшие в нем стороны, вместо того чтобы, как всегда бывало доселе, отнимать владения друг у друга, избрали более смелый путь — вознаграждать сами себя на счет церкви и не усомнились захватить ее доходы и обратить в светское владение несколько епископств<sup>39</sup>. От этой тяжкой обиды, которая стала примером для последующих случаев в международном праве Европы, духовная власть никогда не могла оправиться. Один из писателей, пользующихся большим авторитетом, заметил, что с этого времени дипломаты во всех официальных актах своих стали пренебрегать религиозными интересами и отставать предпочтительно условия, относящиеся к торговле и колониям представляемых ими государств. Верность этого замечания подтверждается тем важным фактом, что Тридцатилетняя война, которой этот трактат положил конец, была последней из всех когда-либо веденных религиозных войн, так как с тех пор в продолжение двух веков никакой цивилизованный народ не считал полезным подвергать себя опасности для того, чтобы ниспровергнуть религиозные верования своих соседей. Конечно, это составляет только часть того великого движения в пользу светских интересов, которым суеверие было повсеместно ослаблено и обеспечен дальнейший ход европейской цивилизации. Но, не распространяясь об этом предмете, я теперь постараюсь показать, до какой степени политика, принятая Ришельё относительно протестантской церкви во Франции, соответствовала той, которой он следовал в отношении к католической церкви, вследствие чего этот великий государственный муж, при помощи успехов знания, ознаменовавших его век, имел возможность с обеих сторон бороться с предрассудками, от которых люди в то время лишь медленно и с величайшим трудом начинали освобождаться.

Образ действий Ришельё относительно французских протестантов составляет, конечно, одну из самых похвальных сторон его системы; в этом, как и в прочих либеральных мерах его, ему содействовал ход предшествовавших событий. Его правление, взятое вместе с правлением Генриха IV и королевы-правительницы, представляет отрадное зрелище такой полной веротерпимости, какой не видало до тех пор ни одно из государств католической Европы. Между тем как в других христианских землях люди непрерывно подвергались преследованиям единственно за то, что держались мнений, несогласных с понятиями господствующего духовенства, — Франция отказывалась следовать общему

примеру и покровительствовала тем еретикам, которых церковь стремилась наказывать. Действительно, они не только пользовались покровительством, но даже, в случае появления особенных дарований, были открыто удостоиваемы величайших наград. Сверх того, что их назначали на важные гражданские должности, многие из них занимали высшие военные посты, и Европа с удивлением увидела войска французского короля, предводительствуемые полководцами-еретиками. Роган, Ледигьер, Шатильон, Лафорс, Бернгард Веймарский были в числе самых знаменитых военачальников Людовика XIII, и все они были протестанты так же, как и некоторые младшие в сравнении с ними, но замечательные воины, как-то: Тассион, Ранцау, Шомберг и Тюренн. В это время ничто уже не было недоступно для людей, которых полувеком ранее за еретические мнения их правительство готово было бы преследовать насмерть. Вскоре после восшествия на престол Людовика XIII Ледигьер, лучший военачальник среди французских протестантов, был пожалован в маршалы Франции.

Четырнадцать лет спустя то же высокое звание было даровано двум другим протестантам — Шатильону и Лафорсу, из которых первый, как утверждают, был самым влиятельным лицом между схизматиками. Оба этих назначения состоялись в 1622 г., а в 1634 г. еще большее нареkanie со стороны католиков было возбуждено возвышением Сюлли, который, несмотря на явную принадлежность к еретикам, также получил маршалский жезл. Это было делом Ришельё, и оно принято было приверженцами церкви за серьезное оскорбление; но великий государственный муж обращал так мало внимания на крики их, что по окончании междоусобной войны он сделал другой шаг, не менее для них обидный. Герцог де Роган был самым деятельным из врагов господствующей церкви, и протестанты смотрели на него, как на главную опору своей партии. Он взялся за оружие для защиты ее и, не согласившись отречься от своей религии, судьбой войны был изгнан из Франции; но Ришельё, хорошо знавший его дарования, нисколько не заботился об его убеждениях. Вследствие этого он призвал его из изгнания, употребил его для некоторых переговоров с Швейцарией, а затем назначил командующим одной из армий французского короля, действовавших за границей.

Таковы были тенденции, характеризовавшие этот новый порядок вещей. Едва ли нужно говорить о том, до какой степени благодетельна должна была быть эта великая перемена, так как она поощряла людей считать благо своей отчизны первым из всех соображений, и под ее влиянием солдаты-католики научились, отбросив старинные споры, повиноваться полководцам-еретикам и следовать за знаменами их на пути к победе. Сверх того, самое сближение людей различных вер, происходившее от того, что они жили в одном лагере и сражались под одними знаменами, должно было еще более содействовать к прекращению вражды, частью тем, что теологические распри исчезали в стремлении к одной общей, и притом светской цели, частью же



и тем, что люди каждой секты, знакомясь с своими противниками по вере, находили, что они не совсем лишены всех человеческих достоинств, а, напротив, сохраняют многие похвальные качества, и убеждались даже в возможности соединять с еретическими заблуждениями все достоинства хорошего и полезного гражданина<sup>40</sup>.

Но при всем том, что ожесточенные распри, так долго раздиравшие Францию, под влиянием политики Ришельё понемногу утихали, мы с удивлением замечаем, что, в то время как предубеждения католиков очевидно ослабевали, у протестантов, напротив, эти предубеждения еще продолжали сохранять всю свою силу. Действительно, сильнейшим доказательством зловерности и упорства этих чувств может служить то, что они самым беспокойным образом проявились именно в той стране, где с протестантами всего лучше поступали, и именно в период такого обращения с ними. В этом случае, как и во всех подобных, главной действующей причиной было влияние сословия, получившего вследствие обстоятельств, которые мне теперь предстоит изложить, временный перевес над всеми другими.

Ослабление теологического духа произвело в протестантской партии замечательный, хотя совершенно естественный результат. Возрастающая веротерпимость французского правительства открыла вождям протестантов доступ к таким положениям в государстве, которых они прежде никогда не могли бы достигнуть. Пока все места были закрыты для дворян-протестантов, совершенно естественно было, что они с тем большим усердием держались за свою партию, которая одна признавала достоинства их. Но когда был признан тот принцип, что государство должно награждать людей по способностям их, не взирая на религию, то в каждой из сект образовался новый элемент разъединения. Предводители протестантов не могли не питать некоторой благодарности или по крайней мере некоторого сочувствия к правительству, которому они служили; и так как влияние светских соображений таким образом усилилось, то влияние религиозной связи должно было ослабеть. Невозможно, чтобы в одно и то же время и в одном человеке преобладали противоположные чувства. Чем дальше видит человек, тем менее обращает он внимания на каждую из подробностей обозреваемого пространства. Патриотизм уничтожает суеверие, и чем более мы преданы нашему отечеству, тем менее привязаны к нашей секте. Таким образом, с успехами цивилизации круг деятельности ума человеческого расширяется; горизонт его становится обширнее, предметы сочувствия умножаются, и так как пространство, обнимаемое им, увеличено, то и сила привязанности его к объятым однажды идеям ослабевает до тех пор, пока, наконец, он начнет понимать, что бесконечное разнообразие обстоятельств необходимо производит и бесконечное разнообразие мнений; что вера, которая кажется одному человеку хорошей и естественной, может быть для другого дурна и неестественна и что, не вмешиваясь вообще

в ход религиозных убеждений, мы должны довольствоваться тем, чтобы заглядывать в самих себя, наблюдать движения своего сердца, очищать свою собственную душу, смягчать зло, порождаемое нашими страстями, и искоренять тот дух самонадеянности и нетерпимости, который является и причиной, и последствием всякого теологического спора.

Именно в этом направлении сделан был огромный шаг французами в первой половине семнадцатого века. К несчастью, впрочем, преимущества, происшедшие от этого, были сопряжены с серьезными неудобствами. От того, что предводители протестантской партии подчинились разным светским соображениям, произошло два последствия весьма значительной важности. Первым результатом было то, что многие из протестантов переменили религию. До Нантского эдикта они постоянно подвергались преследованиям и столь же постоянно умножались. Но при политике веротерпимости, принятой Генрихом IV и Людовиком XIII, число их постоянно уменьшалось<sup>41</sup>. Действительно, это было естественным последствием усиления того светского духа, который во всех странах ослабил религиозные вражды. Под влиянием этого духа социальные и политические виды стали перевешивать те теологические виды, которыми люди так долго ограничивались. По мере того, как всякие светские связи между людьми стали усиливаться, естественным образом явилось между соперничающими партиями быстро усиливавшееся стремление к слиянию, и так как католики были не только гораздо многочисленнее, но и во всех отношениях влиятельнее, чем противники их, то движение это обратилось в пользу первых, и они постоянно привлекали на свою сторону многих из прежних противников своих. Что такое поглощение секты слабейшей, по числу, сильнейшей произошло от упомянутой мною причины, это становится еще очевиднее вследствие того замечательного обстоятельства, что перемена началась с главных деятелей партии и что не низшие лица среди протестантов покинули своих вождей, но скорее вожди покинули своих последователей. Это произошло от того, что вожди, будучи просвещеннее, чем вся масса народа, более подверглись влиянию скептического движения и потому показали пример равнодушия к спорам, которые еще всецело занимали умы народа. Как только это равнодушие дошло до известной степени, приманки, предоставляемые примирительной политикой Людовика XIII, стали непреодолимы; и дворяне-протестанты в особенности, будучи более подвержены политическим искушениям, начали отдаляться от своей партии с тем, чтобы теснее сблизиться с двором, показывающим готовность вознаграждать их заслуги.

Конечно, невозможно в точности определить время, когда произошла эта важная перемена. Но мы можем сказать с достоверностью, что уже в самом начале царствования Людовика XIII многие из дворян-протестантов вовсе не думали о своей религии, а остальные уже не имели к ней того усердия, которое

прежде показывали. Действительно, многие из самых значительных среди них открыто покинули свою религию и присоединились к той церкви, которую они были приучены ненавидеть, как олицетворение нечестия, и называть вавилонской блудницей. Герцог Ледигьер, самый даровитый из протестантских полководцев, перешел в католичество и в виде награды за обращение свое сделан был коннетаблем Франции. Герцог де Латремуть последовал его примеру так же, как и герцоги де Ламельер, де Буйон, а несколько лет спустя и маркиз де Монтозь. Эти знатные дворяне были в числе самых влиятельных членов протестантской церкви, но покинули ее без всякого раскаяния, жертвуя своими старыми связями в пользу тех мнений, которым следовало государство. В других людях высшего класса, которые еще продолжали по имени принадлежать к партии французских протестантов, мы находим также подобный дух. Мы видим их равнодушными к таким предметам, за которые они, если бы родились пятьюдесятью годами ранее, с радостью пожертвовали бы жизнью. Маршал де Буйон называл себя протестантом и не хотел отступить от своей религии, а во всем своем образе действий показывал, что он считает интересы ее стоящими ниже политических соображений. То же замечено было французскими историками и относительно герцога де Сюлли и маркиза де Шатильона, которые хотя были оба членами протестантской церкви, однако показывали заметное равнодушие к тем теологическим интересам, которые прежде составляли предмет величайшей важности. По всем этим причинам, когда в 1621 г. протестанты начали междоусобную войну против правительства, то оказалось, что из всех великих предводителей их только двое, Роган и брат его Субиз, решились подвергать свою жизнь опасности за свою религию.

Итак, первым великим последствием веротерпимости, принятой французским правительством за основание его политики, было то, что протестанты лишились поддержки главных вождей своих и что сочувствие многих между этими вождями перешло на сторону католической церкви. Но другое последствие, о котором я упомянул, было гораздо важнее. Возрастающее равнодушие высшего класса протестантов передало управление партией в руки духовенства. Место, оставленное светскими вождями, было естественным образом занято духовными. И как во всякой секте, духовенство в целой массе всегда отличалось нетерпимостью к мнениям, несогласным с его понятиями, то оказалось, что эта перемена произвела в осиротевших рядах протестантов ослабление, подобное тому, которым были ознаменованы худшие времена шестнадцатого столетия. Вследствие этого по странному, но весьма естественному сочетанию обстоятельств протестанты, утверждающие, что они стоят за право личного суждения в религиозных вопросах, в начале семнадцатого столетия стали более чуждыми веротерпимости, чем католики, вера которых основана на предписаниях непогрешимой церкви.

Это явление составляет один из множества примеров, показывающих, как поверхностны мнения тех писателей-теоретиков, которые утверждают, что протестантская религия necessarily либеральнее, чем католическая. Если бы все те, которые следуют этому воззрению, взяли на себя труд изучить историю Европы из первых источников, то они бы узнали, что либеральность каждой секты зависит вовсе не от признанных принципов ее, но от обстоятельств, в которые она поставлена, и от степени значения, которым пользуется ее духовенство. Протестантская церковь вообще оказывается более расположенной к веротерпимости, чем католическая, просто потому, что события, вызвавшие появление протестантизма, в то же время возбудили умственную деятельность и, следовательно, уменьшили значение духовенства. Но всякий, кто читал сочинения великих кальвинистских теологов, и в особенности кто изучил историю их, должен знать, что в шестнадцатом и семнадцатом веках желание преследовать своих противников было в них так горячо, как только оно могло быть в католиках в худшие дни папского владычества. Это простой факт, в котором каждый желающий может убедиться, ознакомившись с оригинальными источниками, относящимися к тем временам. И в настоящее время мы найдем более суеверия, более фанатизма и менее истинно религиозного человеколюбия в низшем классе шотландских протестантов, чем в низшем классе французских католиков. Между тем на одно место, отзывающееся нетерпимостью в протестантской теологии, легко было бы привести двадцать подобных мест в теологии католической. На самом деле действия людей зависят не от догматов, текстов или церковных уставов, но от мнений и привычек, преобладающих между современниками их, от общего духа времени и от характера сословий, имеющих перевес над прочими. В этом, по-видимому, и заключается причина того различия между религией в теории и религией на практике, на которое теологи жалуются как на камень преткновения, как на существенное зло. Религиозные теории, сохраняясь в книгах в форме учения и догмата, остаются вечным свидетельством о первоначальном духе религии и поэтому не могут быть изменены без того, чтобы нововводители не подверглись упреку в непоследовательности или в ереси. Но практическая сторона каждой религии, нравственные, политические и социальные проявления ее обнимают такое громадное разнообразие интересов и имеют дело с такими сложными и изменчивыми пружинами, что нет никакой возможности установить их посредством формальных определений церкви; даже в самых строгих системах эта сторона религии в значительной степени предоставляется частному произволу и, принадлежа вообще к неписаному закону, не может быть ограждена теми предосторожностями, посредством которых ограждается неизменность догмата<sup>42</sup>. По всем этим причинам религиозное учение, составляющее веру нации, не может служить пробным камнем ее цивилизации, а, напротив того, практическое применение

религии так гибко и так способно приноравливаться к общественным потребностям, что оно представляет собой одно из лучших мерил для определения духа какого-либо времени.

По всем этим соображениям мы не должны удивляться тому, что в продолжение нескольких лет французские протестанты, выдавая себя за приверженцев права личного суждения, отличались меньшей терпимостью к применению этого права их противниками, чем католики; при всем том, что католики, признавая непогрешимость своей церкви, по строгой последовательности понятий, должны быть суеверны и, можно сказать, наследуют нетерпимость по естественному праву рождения<sup>43</sup>. Таким образом, в то время как католики, по теории, должны были более предаваться фанатизму, чем протестанты,—на практике протестанты более увлекались им, чем католики. Протестанты продолжали настаивать на том праве свободного суждения в религии, которое католики по-прежнему отрицали. Между тем такова была сила обстоятельств, что каждая секта на практике противоречила своему догмату и действовала так, как будто бы она приняла догмат своей противницы. Причина этой перемены была очень проста. Между французами вообще, как я уже сказал, теологический дух терял свою силу, и ослабление влияния духовенства, как всегда бывает, сопровождалось расположением нации к большей веротерпимости. Но между французскими протестантами этот упадок теологического духа произвел другие последствия, а именно — перемену вождей, которая передала власть в руки духовенства и, увеличив значение его, вызвала реакцию и оживила вновь те самые чувства, от ослабления которых реакция происходила. Этим, по-видимому, объясняется, почему религия, которой правительство не покровительствует вообще, обнаруживает большую энергию и жизненность, чем та, которая пользуется покровительством. При успехах общества теологический дух прежде всего ослабевает в самых образованных классах его, и тогда именно правительство может, как оно делает в Англии, вмешиваться в дела религии и, контролируя духовенство, ставить церковь в совершенную зависимость от государства и ослаблять таким образом духовный элемент посредством примеси к нему светских начал. Но когда государство отказывается сделать это, то бразды правления, выпадая из рук высших сословий, захватываются духовенством, и тогда происходит тот порядок вещей, лучший пример которого мы можем видеть на французских протестантах семнадцатого века и на ирландских католиках нашего времени. В подобных случаях религия, терпимая правительством, но не вполне признаваемая им, всегда долее сохраняет свою жизненность, потому что духовенство ее, пренебрегаемое правительством, вынуждено ближе примкнуть к народу, составляющему единственный источник его значения<sup>44</sup>. Напротив того, в религии, которая пользуется расположением и щедротами правительства, связь между духовенством и низшим классом мирян гораздо менее тесна; духовенство при-

меняется к желаниям правительства столько же, как и к настроению народа, и таким образом примесь политических видов, соображений житейского удобства и,—если можно так сказать, не нарушая уважения к духовенству,—надежд на повышение вносят светский элемент в духовное сословие и посредством указанного уже мною процесса ускоряют успехи веротерпимости.

Эти обобщения, могущие в значительной степени объяснить настоящее суеверное настроение ирландских католиков, объясняют также и суеверие, преобладавшее в прежние времена между французскими протестантами. В обоих случаях правительство, пренебрегая надзором за еретической религией, дало возможность духовенству приобрести решительное преобладание, и затем это сословие стало развивать в людях фанатизм и возбуждать в них ненависть к противникам своей секты. К каким результатам привел такой ход дел в Ирландии, всего ближе известно тем из наших государственных людей, которые с необыкновенной в профессии их откровенностью сознались в том, что Ирландия составляет для них предмет величайшего из затруднений. А какие были результаты во Франции, это мы постараемся разъяснить в настоящее время.

Так как примирительное направление французского правительства привлекло на его сторону несколько из самых важных лиц между протестантами и обезоружило враждебность других, то значение предводителей партии перешло, как мы уже видели, к низшему разряду людей, которые в новом положении своем вполне выказали нетерпимость, свойственную их сословию. Не имея притязания писать историю тех ненавистных распрей, которые за этим последовали, мы представим только читателю несколько примеров усилившегося в это время ожесточения в протестантской партии и укажем на некоторые из действий, до такой степени воспламенивших в ней злобные чувства, неразлучные с религиозной борьбой, что наконец вспыхнула междоусобная война, которая только вследствие улучшившегося настроения католиков не была так кровопролитна, как ужасная война шестнадцатого столетия. Когда французские протестанты подчинились исключительно преобладанию людей, по обыкновению своей профессии считавших ересь за величайшее из преступлений, то между ними естественно проявился дух миссионерства и прозелитизма, который побуждал их вмешиваться в религиозные отправления католиков, под старым предлогом обращения их на путь истины, и подал повод к возобновлению вражды, которая под влиянием успехов знания уже начинала было утихать. Затем, так как при подобных предводителях такого рода чувства быстро усиливались, протестанты скоро научились презирать великий Нантский эдикт, обеспечивший их свободу, и предприняли новую опасную борьбу, имевшую целью не ограждение собственной их религии, но ослабление религии противной партии,—той партии, которой они были обязаны терпимостью, составлявшей при пред-  
рассудках того времени весьма не легкую для католиков уступку.

Нантским эдиктом было предоставлено протестантам совершенно свободное отправление их религии, и этим правом они продолжали пользоваться до царствования Людовика XIV. К этому присовокуплялось несколько других привилегий, каких ни одно католическое правительство, кроме французского, не решилось бы даровать своим подданным еретикам. Но все это еще не удовлетворяло вполне желаний протестантского духовенства, которому было недостаточно свободно отправлять свою религию, но хотелось еще стеснять отправление религии других. Первым шагом их было ходатайствовать перед правительством о стеснении тех обрядов, которые французские католики искони уважали как символ своей национальной веры. С этой целью тотчас после смерти Генриха IV они назначили большое собрание в Сомюре, на котором формально потребовали, чтобы никакая католическая процессия не допускалась ни в каком городе, селении или крепости, занятых протестантами. Так как правительство оказалось нерасположенным удовлетворить такому чудовищному притязанию, то эти фанатики решились своей властью доставить ему силу закона. Они не только стали нападать на католические процессии везде, где встречали их, но и подвергали священников личным оскорблениям и даже старались лишать их возможности совершать таинства над умирающими. Когда католический священник хоронил умершего, то протестанты непременно являлись, прерывали церемонию, издевались над обрядами и старались своим криком заглушить голос священнодействующего, так чтобы совершаемое в церкви богослужение не было слышно. Не всегда даже ограничивались они подобными демонстрациями. Когда некоторые города, довольно неосторожно может быть, были отданы в распоряжение их, то они стали там проявлять свою власть с самой своевольной дерзостью. В Ла-Рошели, которая по важности своей была вторым городом в государстве, они не позволили католикам иметь ни одной церкви для отправления той религии, которая в продолжение нескольких веков была единственной во Франции и к которой еще принадлежало огромное большинство французов. Но это составляло только часть плана, задуманного протестантским духовенством для систематического стеснения прав своих соотечественников: В 1619 г. духовенство в общем собрании своем в Лудёне постановило, чтобы ни в одном из протестантских городов ни иезуит, ни какое-либо другое лицо, назначенное от епископа, не имели права произносить проповеди. На другом собрании формально запрещено было протестантам даже присутствовать при крещении, браке или похоронах, если обряд совершаем был католическим священником. Наконец, чтобы уничтожить всякую надежду на примирение обоих вероисповеданий, они не только всеми силами противились смешанным бракам, которые во всех христианских землях послужили смягчению религиозной вражды, но даже публично объявили, что они лишат причастия тех

родителей, дети которых породнятся посредством брака с каким-нибудь католическим семейством. Впрочем, чтобы не накапливать излишних доказательств, приведем только один пример, заслуживающий особенного внимания, так как по нему можно судить о том, в каком духе исполнялись эти и другие подобные им постановления. Когда Людовик XIII в 1620 г. посетил По, то не только с ним, как с еретиком, обошлись весьма непочтительно, но оказалось, что протестанты не оставили ему даже ни одной церкви и вообще никакого места, где бы он, повелитель Франции, в своих собственных владениях мог исполнить те обряды богослужения, которые он считал необходимыми для своего будущего спасения.

Вот каким образом французские протестанты под влиянием своих новых предводителей поступили с первым католическим правительством, которое перестало преследовать их и не только предоставило им свободное отправление их религии, но и назначило многих из них на должности, сопряженные с большим доверием и почетом<sup>45</sup>. Впрочем, это было совершенно согласно со всеми остальными поступками их<sup>46</sup>. Составляя по числу и по умственным силам ничтожное меньшинство среди французской нации, они домогались такой власти, от которой и большинство отступилось, и отказывались проявлять относительно других ту терпимость, которой сами пользовались. Многие лица, сперва присоединившиеся к их партии, теперь покинули ее и возвратились к католическому вероисповеданию; но за то, что они пользовались этим несомненным правом, они подвергались от протестантского духовенства самым грубым оскорблениям и были осыпаны всевозможными укоризнами и ругательствами<sup>47</sup>. Для тех, которые противились власти духовенства, никакое наказание не казалось ему слишком строгим. В 1612 г. Феррье — человек, пользовавшийся в свое время довольно большим значением, ослушался некоторых требований духовенства и вследствие этого получил приказание предстать перед судом одного из синодов. Сущность его вины заключалась в том, что он презрительно отзывался о соборах духовенства; к этому естественным образом прибавлены были и те обвинения против нравственного характера его, которыми теологи обыкновенно стараются чернить своих противников. Людям, изучавшим историю всех духовенств, подобные обвинения слишком знакомы для того, чтобы они стали придавать им какой-нибудь вес; но в настоящем случае обвиненный подвергался суду таких лиц, которые были в то же время его преследователями и врагами, и потому легко было предусмотреть результат суда. В 1613 г. Феррье был отлучен от церкви и отлучение торжественно провозглашено на Нимском соборе. В состоявшейся сентенции, которая сохранилась донныне, духовенство объявляет, что он — человек скандального поведения, неисправимый, нераскаянный и непокорный. Вследствие того, говорилось далее, «во имя Господа нашего Иисуса Христа, внушением Святого Духа и в силу возложенного на нас церковью



полномочия, отлучили мы, и ныне отлучаем его от общения с верующими и отвергаем его, дабы он был предан сатане».

Дабы он был предан сатане! Таково было наказание, которое горсть церковников, собравшихся в одном уголке Франции, считали себя вправе налагать на человека, осмелившегося презирать их власть. В наше время подобная анафема могла бы только возбудить смех<sup>48</sup>, но в начале семнадцатого столетия провозглашения ее было достаточно для того, чтобы погубить всякого человека, против которого она была направлена. Всякий, кто только достаточно изучал историю, чтобы иметь понятие о том, до чего может дойти религиозный фанатизм, легко поймет, что в те времена такого рода угроза не оставалась мертвой буквой. Народ, воспламененный речами духовных, восстал против Феррье, напал на его семейство, истребил имущество его, разграбил и разорил его дом и с громкими криками требовал выдачи «Иуды предателя». Несчастный Феррье с величайшим трудом спасся; но, сохранив свою жизнь бегством среди ночи, он был вынужден навсегда оставить родной город, так как не смел возвратиться туда, где он раздражил против себя такую деятельную и неумолимую партию.

И ко всем прочим делам — даже к обычным отправлениям правительственной власти — протестанты относились с тем же духом. Несмотря на то, что они составляли по числу весьма небольшую часть нации, они покушались контролировать королевское управление страной и посредством угроз направлять все распоряжения его в свою пользу. Они не хотели предоставить правительству решить самому, какие из соборов духовенства оно должно признать, и даже стремились лишить короля права выбрать себе жену. В 1616 г. без малейшего предлога к неудовольствию они в значительном числе собрались в Гренобле и в Ниме. Гренобльские депутаты настаивали на том, чтобы правительство отказалось признать постановления Тридентского собора, а оба собрания определили, что протестанты должны воспротивиться вступлению в брак Людовика XIII с испанской принцессой. Подобные же притязания выказали они и относительно распределения военных и гражданских должностей. Вскоре после смерти Генриха IV, собравшись в Сомюре, они требовали, чтобы правительство возвратило Сюлли некоторые должности, которых он, по мнению их, был несправедливо лишен. В 1619 г. другое собрание протестантов, в Лудёне, объявило об одном из протестантских советников Парижского парламента, который перешел в католичество, что он должен быть лишен своего места, и, сверх того, потребовало смены лектурского губернатора Фонтралья за то, что он также, подобно многим другим, покинул свою секту и принял религию, пользующуюся санкцией государства.

В довершение всего этого и с тем, чтобы еще более разжечь религиозную вражду, протестантское духовенство издало ряд сочинений, с которыми едва ли что могло когда-либо сравниться по ожесточению и которые превзойти, конечно, ничто не может.

Глубокая ненависть их к своим соотечественникам католического вероисповедания может быть вполне понята теми, которые просматривали памфлеты, написанные французскими протестантами в первой половине семнадцатого столетия, или читали усидчиво обработанные формальные трактаты таких людей, как Шамье, Дреленкур, Мулен, Томсон и Винье. Впрочем, не останавливаясь на этих явлениях, достаточно будет, я полагаю, если для краткости мы ограничимся очерком политических событий. Значительное число протестантов участвовало в том возмущении, которое в 1615 г. возбудил Конде, и хотя они были весьма легко разбиты, но, по-видимому, решились испытать свои силы в новой борьбе. В Беарне, где их было особенно много, они еще в царствование Генриха IV отказались допустить отправление католической религии. «Фанатическое духовенство их,—говорит французский историк,—объявило, что допустить идолопоклонническое служение обедни было бы с их стороны преступлением». Это человеколюбивое мнение они в продолжение многих лет проводили на деле, захватывая имения католического духовенства и употребляя их на содержание своих церквей. Таким образом, в одно и то же время в одной части владений французского короля протестанты пользовались дозволением отправлять свою религию, в другой части те же протестанты препятствовали католикам в отправлении их религии. Едва ли какое-нибудь правительство могло допустить подобную аномалию: в 1618 г. повелено было, чтобы протестанты возвратили все, что было ими награблено, и восстановили католиков во всех прежних владениях их. Но протестантское духовенство, ужаснувшись такого безбожного требования, назначило всенародный пост и, возбудив народ к сопротивлению, заставило королевского комиссара бежать из По, куда он прибыл в надежде достигнуть миролюбивого соглашения требований сопернических партий<sup>49</sup>.

Возмущение, таким образом возбужденное усердием протестантов, было скоро подавлено; но по собственному признанию де Рогана, одного из самых даровитых среди их предводителей, оно было началом всех несчастий их. Меч был уже обнажен, и предстояло решить вопрос: должна ли Франция управляться согласно новоустановленным началам религиозной терпимости или же согласно понятиям деспотически настроенной секты, которая, провозглашая, что она стоит за право личного суждения, на самом деле стремилась к совершенному уничтожению своего права.

Едва успело правительство окончить войну в Беарне, как протестанты решились предпринять усиленную попытку в западной части Франции. Местом новой борьбы избрана была Ла-Рошель—город, бывший в то время одной из сильнейших крепостей в Европе и находившийся совершенно в руках протестантского населения, которое обогатилось частью своим трудолюбием, частью морскими разбоями. В этом городе, составлявшем, по мнению их, совершенно неприступную твердыню, они в декабре

1620 г. назначили великое собрание, на которое духовные предводители их съехались со всех концов Франции. Скоро сделалось очевидным, что протестантская партия находится в руках людей, готовых на самые крайние меры. Главные светские вожди ее, как мы уже видели, понемногу покидали ее, и к тому времени оставалось только два особенно даровитых человека — Роган и Морне, которые оба понимали непрактичность действий партии и желали, чтобы собрание мирно разошлось. Но влияние духовенства оказалось непреодолимым — своими мольбами и увещаниями оно легко склонило на свою сторону массу горожан, состоявшую из людей грубых и необразованных<sup>50</sup>. Под влиянием духовенства собрание приняло такое направление, при котором междоусобная война становилась неизбежной. Первым действием его было постановление, по которому сразу подвергнуты конфискации все имущества, принадлежавшие католическим церквям. Затем решено установить великую печать собрания, и за этой печатью издано повеление вооружить народ и собрать с него денежную подать на защиту протестантской религии<sup>51</sup>. Наконец, они начертали правила и организовали те учреждения, которые они называли протестантскими церквями Франции и Беарна, и в видах облегчения своего духовного управления разделили Францию на восемь округов, присвоив каждому особого военного начальника, к которому, впрочем, присоединялся и духовный начальник, так как это управление по всем отраслям его должно было быть ответственно перед духовным собранием, которым оно было создано.

В таких-то формах и с такими приемами выказывалась власть, присвоенная духовными предводителями французских протестантов, — людьми, по природе своей предназначенными пресмыкаться в неизвестности и до такой степени ничтожными в отношении к способностям, что, несмотря на временно доставшееся им могущество, они не оставили в истории ни одного имени. Эти ничтожные люди, способные самое большее заведовать какою-нибудь деревенской церковью, теперь присвоили себе право распоряжаться всеми делами Франции: взыскивать подати с ее граждан, конфисковывать имущества, собирать войска и объявлять войну, и все это для распространения религии, которую большая часть страны отвергала, как постыдную и зловредную ересь.

При таких необузданных притязаниях очевидно было, что французскому правительству больше ничего не остается сделать, как отказаться от своей власти или взяться за оружие для своей защиты<sup>52</sup>. Каково бы ни было общепринятое понятие о нетерпимости, неразлучной с католической религией, но то остается положительным фактом, что в начале семнадцатого столетия католики показали во Франции долготерпение и христианское человеколюбие, которых в протестантах не было и признака. В продолжение двадцати двух лет, протекших от Нантского эдикта до собрания в Ла-Рошели, правительство, несмотря на

множество поданных к тому поводов, не совершило ни одного враждебного действия против протестантов и ни разу не покушалось отменить привилегии секты, которую оно должно было считать еретической и истребление которой отцы тогдашнего поколения признавали одной из первых обязанностей государственного деятеля-христианина.

Война, которая теперь вспыхнула, продолжалась семь лет непрерывно; было только два кратковременных перемирия: сперва в Монпелье, а потом в Ла-Рошели, из которых ни одно не было слишком строго соблюдаемо. Но между видами и намерениями обеих партий существовала разница, соответствовавшая различию между теми сословиями, которые управляли каждой партией. Протестанты, находясь исключительно под влиянием духовенства, стремились к религиозному преобладанию; напротив, католики, предводительствуемые государственными людьми, стремились к мирским целям. Таким образом, обстоятельства до такой степени изгладили первоначальный характер обеих великих сект, что, по странному превращению, католики стали представлять собой светское начало, а протестанты — теологическое. Власть духовенства, а следовательно, и интересы суеверия поддерживались той самой партией, которая происхождением своим была обязана ослаблению обоих этих начал; с другой стороны, против нее действовала та партия, которой успехи до тех пор зависели от усиления этих же начал. В случае торжества католиков духовная власть была бы ослаблена, а при победе протестантов — усилена. Что это факт относительно протестантов, на то я уже представил достаточно доказательств, почерпнутых из самых действий их и из того тона, которым говорили их духовные синоды; а что противоположное или светское начало преобладало среди католиков — это явствует не только из постоянного направления политики их в царствования Генриха IV и Людовика XIII, но и из другого, весьма замечательного обстоятельства. Побуждения, которым они следовали, были так очевидны и казались до такой степени оскорбительным для церкви, что папа, как верховный представитель религии, счел себя обязанным выразить свое порицание на проявляемое ими пренебрежение к теологическим интересам, которое казалось ему вопиющим и непростительным оскорблением церкви. В 1622 г., через год после того как началась борьба между протестантами и католиками, папа весьма энергично поставил на вид французскому правительству явное неприличие его образа действий, состоявшее в том, что оно вело войну против еретиков не с целью уничтожения ереси, но единственно в видах приобретения для государства светских преимуществ, которые, во мнении всех благочестивых людей, должны быть предметом второстепенного значения.

Если бы при этих обстоятельствах протестанты одержали верх, то Франция понесла бы потерю громадную, может быть невознаградимую. Никто из тех, кому известны нрав и характер

французских кальвинистов, не может усомниться в том, что если бы они овладели правительственной властью, то возобновили бы вполне гонения на религию, которые они и без того покушались ввести, насколько позволяли их силы. Не только в сочинениях их, но и в постановлениях их собраний мы находим в изобилии проявления того духа вмешательства во все и нетерпимости, который всегда характеризовал духовное законодательство. Действительно, этот дух составляет законное последствие того основного положения, от которого обыкновенно исходят законодатели-теологи. Всем духовным с самого начала внушается, что главная обязанность их есть сохранение чистоты веры и ограждение ее от покушений ереси. Вследствие того, как только они достигают власти, почти неизбежно случается так, что они вносят в политическую деятельность привычки, усвоенные ими в своей профессии; будучи издавна приучены считать религиозное заблуждение преступлением, они теперь естественно покушаются подвергать его наказаниям. Так как все европейские государства некогда, в период своего невежества, находились под управлением духовенства, то мы и встречаем в законодательстве каждой страны следы его владычества, постепенно изглаживаемые успехами просвещения. Везде последователи господствующего вероисповедания постановляли законы против последователей других вер,—законы, подвергающие их то сожжению, то изгнанию, то лишению всех гражданских прав, то только политических. Таковы последовательные степени, через которые проходит религиозное гонение и по которым мы можем измерить в каждой стране силу теологического духа. В то же время теория, на которой основываются подобные меры, обыкновенно вызывает еще другие меры, несколько отличного, хотя и аналогического характера. Тем самым, что власть закона распространяется на мнения так же, как и на дела, основание его чрезмерно расширяется, индивидуальность и независимость каждого отдельного лица нарушаются и поощряется введение навязчивых и стеснительных правил, оказывающих будто бы ту же услугу нравственности, которую другой разряд законов оказывает религии. Под предлогом поощрения добродетели и ограждения нравственной чистоты общества людей стесняют в самых обыкновенных занятиях их, в обыденных случайностях жизни, в увеселениях их и даже в выборе одежды, какую они желают носить. Все это так естественно, что постановления, проникнутые таким духом, были составлены для города Женевы кальвинистским духовенством, а для Англии—архиепископом Кранмером и последователями его; и совершенно тождественное с этим направление можно заметить в законодательстве пуритан и—если взять пример из новейших времен—в законодательстве методистов. Итак, не удивительно, что во Франции протестантское духовенство, пользуясь значительной властью над членами своей партии, налагало на них такого же рода дисциплину. Так, например, оно строго запрещало всем посещать театры и даже присутствовать

при театральных представлениях в частных домах. На танцы оно смотрело, как на богопротивное увеселение, и поэтому не только строго запрещало их, но и требовало, чтобы все учителя танцевания были подвергнуты духовному увещанию и чтобы им было внушено оставить это нехристианское занятие. Но если бы увещание не достигло своей цели, то учителей танцевания, оказавшихся упорными, предполагалось отлучать от церкви. С такой же благочестивой заботливостью следило духовенство и за другими одинаково важными вещами. На одном из своих синодов оно постановило, чтобы никто не носил яркой одежды и чтобы волосы у всех были причесаны с подобающей скромностью. Другим синодом запрещено было женщинам румяниться и объявлено, что если после этого запрещения какая-нибудь женщина будет продолжать румяниться, то ее следует лишить причастия. На самих духовных, как наставников и пастырей стада, обращено было еще более строгое внимание; блюстителям слова Божия дозволено было преподавать еврейский язык, как священный и не оскверненный сочинениями светских писателей; греческому же языку, на котором изложена вся философия и почти вся мудрость древнего мира, оказывалось пренебрежение, изучение его было прекращаемо, и даже уничтожались кафедры преподавателей его<sup>53</sup>. С той целью, чтобы умы не отвлекались от предметов духовных, воспрещено было и изучение химии, так как подобное совершенно мирское занятие считалось несовместным с образом жизни духовного сословия. А чтобы, несмотря и на эти предосторожности, просвещение не ворвалось между протестантами, были приняты другие меры для преграждения ему даже самых далеких путей. Духовенство, забыв совершенно о том праве личного суждения, на котором основана была его секта, до такой степени заботилось об ограждении неопытных от заблуждения, что оно запретило всем печатать или издавать какое-либо сочинение без разрешения церкви, другими словами — без разрешения самого духовенства. Затем, когда оно таким образом уничтожило самую возможность свободного исследования и, насколько могло, остановило приобретение паствой его всякого истинного знания, оно обратилось к устранению другого обстоятельства, вызванного принятыми им мерами. Многие из протестантов, видя, что при подобной системе им невозможно воспитать как следует своих детей, стали отдавать их в католические коллегии — единственные заведения, где могло быть получено хорошее воспитание. Но духовенство, как только оно узнало об этом обыкновении, тотчас же прекратило его, отлучив от церкви виновных родителей. Сверх того, было запрещено брать и в частные дома учителей, исповедующих католическую религию. Вот каким образом за французскими протестантами следили и наблюдали духовные повелители их. И самые ничтожные предметы не были пренебрежены этими великими законодателями. Они запретили всем бывать на балах и в маскарадах; никто из христиан не должен был смотреть ни на фокусы скоморохов, ни на

известную игру стаканами, ни на представление марионеток, ни присутствовать при пляске наряженных; и все подобные увеселения местные власти должны были прекращать, как возбуждающие любопытство, вовлекающие в издержки и отнимающие время. Другой предмет, за которым нужно было следить, составляли имена, даваемые детям при крещении. Ребенку можно было дать два имени, но считалось лучшим, чтобы он имел одно<sup>54</sup>. Притом следовало весьма тщательно выбирать имена. Они должны были быть из Библии — только не «Баптист» и не «Ангел»; притом запрещалось давать ребенку имя, употреблявшееся прежде у язычников. Когда дети вырастали, то должны были подчиняться другим правилам. Так, духовенство объявило, что верные не должны носить длинных волос, чтобы не увлечься роскошью «сладострастных кудрей». В покрое одежды они должны избегать «новых мод нынешнего света». Им запрещалось иметь на платье кисти, а на перчатках — ленты и шелковые украшения и предписывалось воздержаться от пышных юбок и широких рукавов<sup>55</sup>.

Читатели, не изучившие истории духовных законодательств, удивятся, может быть, тому, что люди серьезные, достигшие зрелого возраста и сошедшиеся на торжественный собор, выказывали такую склонность к ребяческим придиркам, такую жалкую, ребяческую бессмысленность. Но каждый, кто только способен бросить на человеческие дела более широкий взгляд, будет расположен порицать не столько наших законодателей, сколько ту систему, которую они собой олицетворяли, ибо, взятые сами по себе, люди эти просто действовали в духе своего сословия и только следовали преданиям, в которых были воспитаны. По своей профессии они были приучены держаться известных воззрений, и потому когда достигли власти, то естественным образом стали проводить эти воззрения на деле и вводить в законодательство те самые правила, которые они прежде проповедовали со священнической кафедры. Итак, каждый раз, когда нам придется читать о стеснительных, во все вмещающихся, шпионских правилах, введенных где-либо духовной властью, мы должны помнить, что эти правила составляют лишь законное последствие неразлучного с этой властью духа и что путь к исправлению этих зол и предупреждению их на будущее время заключается не в усилиях — всегда оказывающихся тщетными — изменить направление того сословия, от которого зло происходит, но в том, чтобы ограничить влияние этого сословия надлежащими пределами, бдительно следить за малейшими попытками его к расширению своего круга действий, пользоваться всяким случаем для ослабления его влияния и, наконец, — когда успехи общества окажутся достаточными для оправдания такого великого шага — вовсе лишит это сословие той политической и законодательной власти, которая хотя постепенно ускользает из его рук, но все еще в некоторой мере принадлежит ему, даже в самых цивилизованных странах.

Оставив в стороне эти общие соображения, во всяком случае нельзя не допустить, что я собрал достаточные данные для заключения о том, какая судьба постигла бы Францию, если бы протестанты одержали в ней верх. После приведенных мною фактов никто не может усомниться в том, что если бы случилось такое несчастье, то либеральная и, относительно своего времени, просвещенная политика Генриха IV и Людовика XIII была бы отвергнута и заменилась бы той мрачной и суровой системой, которая во все времена и у всех народов всегда оказывалась естественным последствием преобладания духовенства. Итак, чтобы поставить вопрос в настоящем его виде, мы должны сказать, что война происходила не между двумя враждующими религиями, а между соперничающими сословиями. Это была война не столько между католической и протестантской религиями, сколько между католиками-мирянами и протестантским духовенством. Это была борьба между светскими и теологическими интересами, между духом настоящего и духом прошедшего времени, и вопрос состоял в том: должна ли Франция управляться гражданской или духовной властью, и будет ли ее судьба зависеть от широких взглядов государственных людей-мирян или же от узких понятий крамольного и фанатического духовенства.

Так как протестанты имели на своей стороне великое преимущество наступательного положения, сверх того, были проникнуты религиозным рвением, неизвестным их противникам, то, может быть, при обыкновенных обстоятельствах они успели бы в своем отчаянном предприятии или по крайней мере продлили бы борьбу на неопределенное время. Но к счастью Франции, в 1624 г., через три года только после начала войны, принял управление государством Ришельё. За несколько лет до того он был тайным руководителем королевы-матери, которую он постоянно убеждал в необходимости полной свободы вероисповеданий. Будучи поставлен во главе управления, он продолжал следовать той же политике и пытался всячески расположить протестантов в пользу правительства. Духовные его собственной партии побуждали его к истреблению еретиков, присутствие которых, по мнению их, оскверняло Францию<sup>55а</sup>. Но Ришельё, стремясь только к светским целям, отказывался усилить сопряженное с войной ожесточение, обратив ее в войну религиозную. Он был намерен смирить мятеж, но не хотел отменить эдикты о веротерпимости, которыми была предоставлена протестантам совершенная свобода в отправлении их религии; а когда они в 1626 г. показали некоторые признаки раскаяния или по крайней мере страха, то он всенародно подтвердил Нантский эдикт и даровал им мир, хотя, по его собственным словам, он знал, что, поступая таким образом, навлечет на себя подозрение со стороны тех, «которые так сильно дорожат наименованием ревностных католиков». Через несколько месяцев опять вспыхнула война, и тогда Ришельё решился на осаду Ла-Рошели,— предприятие,



которое в случае успеха должно было нанести решительный удар французским протестантам. Что к этому смелому предприятию его побудили единственно светские соображения, очевидно не только из общего духа предшествовавшей политики, но и из дальнейших действий его. Подробности этой знаменитой осады к истории не относятся, так как подобные вещи имеют значение только для специалистов военного дела. Достаточно будет сказать, что в 1628 г. Ла-Рошель была взята, и протестанты, которые, по убеждениям своего духовенства, продолжали защищаться долго после того, когда всякая надежда на освобождение исчезла, и вследствие того подверглись самым ужасным бедствиям, теперь были вынуждены сдаться на произвол победителей<sup>56</sup>. Привилегии города были уничтожены, и все должностные лица смены, но великий министр, бывший виновником этого переворота, все-таки воздержался от гонений за религию, к которым его побуждали<sup>57</sup>. Он даровал протестантам свободу вероисповедания, которую раньше предлагал, и формально предоставил им право отправления общественного богослужения. Но таково было ослепление их, что из-за того, что он в то же время восстановил повсеместно отправление католической религии и таким образом предоставил победителям те же права, какие дарованы побежденным,— протестанты даже роптали на подобное дозволение. Они не могли вынести той мысли, чтобы взоры их были оскорбляемы совершением католических обрядов. Негодование их до такой степени усилилось, что на следующий год они в другом краю Франции опять взялись за оружие. Но, лишённые главных из средств, которыми прежде пользовались, они были легко побеждены, а затем, так как существование их в виде политической партии кончилось, Ришельё стал поступать с ними по-прежнему, в отношении их религии. Он утвердил за всеми протестантами право проповедования и исполнения всех обрядов их веры, а предводителю их де Рогану даровал амнистию и несколько лет спустя возложил на него важные обязанности по государственной службе. После этого все надежды партии протестантов были уже уничтожены, они никогда более не брались за оружие, и вообще о них вовсе не упоминается до гораздо позднейшего времени, когда Людовик XIV стал варварски преследовать их. Но Ришельё тщательно избегал всякого притеснения и, очистив страну от мятежа, приступил к исполнению того обширного плана иностранной политики, о котором я уже сказал несколько слов и которым он ясно доказал, что действия его против протестантов не были вызваны ненавистью к их религиозным догматам, ибо он поддерживал в других странах ту самую партию, против которой воевал во Франции. Он подавил французских протестантов, потому что они составляли беспокойную партию, тревожившую государство и желавшую воспрепятствовать всякому для нее неблагоприятного мнения. Но он не только не предпринял крестового похода против их религии, но даже, как я уже заметил, поддерживал ее в других странах; и, будучи

епископом католической церкви, не усомнился посредством трактатов, субсидий и даже силой оружия поддерживать протестантов против Австрийского дома, лютеран — против германского императора и кальвинистов — против испанского короля.

Таким образом я попытался набросать легкий, но вместе с тем, надеюсь, ясный очерк событий, совершившихся во Франции в царствование Людовика XIII, и в особенности в той части этого царствования, в которой заключается время управления Ришельё. Но эти события, как бы они ни были важны, составляли только один из фазисов того широкого развития, которое тогда проявилось почти во всех отраслях умственной жизни нации. Они были только выражением в политике того смелого скептического духа, который шел напролом против всех человеческих предрассудков и суеверий. Действия Ришельё вообще оказались столь же успешными, сколько направление его было прогрессивно, а ни в каком правительстве оба этих условия не могут быть соединены без того, чтобы меры его не гармонизировали с понятиями и настроением своего времени. Подобная администрация хотя и обличает прогресс, но не составляет причину его, а скорее может служить ему мерилom и признаком. Истинное начало прогресса скрывается гораздо глубже и приводится в действие общим направлением времени. А так как различные направления, замечаемые нами в последовательных поколениях, зависят от различия между степенями их знания, то очевидно, что мы можем понять деятельность этих направлений, только окинув широким взглядом всю сумму и общий характер знаний известного периода. Следовательно, чтобы можно было понять и настоящее свойство того великого шага, который был сделан в царствование Людовика XIII, я должен дать читателю некоторые указания на те факты высшего и важнейшего разряда, которыми историки склонны пренебрегать, но без которых изучение прошедшего становится пустым и пошлым занятием, а сама история — бесплодным полем, которое не окупает труда, употребляемого на возделывание его.

Весьма замечательный факт составляет то, что между тем как Ришельё с такой необыкновенной смелостью вносил светский дух в систему французской политики и пренебрежением своим к интересам, стоявшим прежде на первом плане, ниспровергал все старинные предания, точно таким же путем действовал и другой, еще в высшей сфере, человек, который еще более его заслуживает название великого и — если осмелюсь выразить мое искреннее мнение — должен быть признан самым глубоким из всех даровитых мыслителей, каких произвела Франция. Я говорю о Декарте. Самое меньшее, что можно сказать об этом человеке, — это то, что он произвел важнейший из переворотов, какие только когда-либо были произведены силой одного отдельного ума. До его открытий, относящихся собственно к миру физическому, нам здесь нет дела, потому что в этом введении я не имею возможности проследить все успехи наук, а ограничиваюсь лишь

теми эпохами, которыми обозначаются новые направления в умственной жизни народов. Но я напомним, однако, читателю, что Декарт первый успешно занимался приложением алгебры к геометрии, что он указал нам на важный закон синусов, что при всем несовершенстве оптических инструментов его времени он открыл изменения, которым подвергается луч света внутри глаза при посредстве хрусталика<sup>58</sup>, что он обратил внимание ученых на последствия, происходящие от давления атмосферы<sup>59</sup>, и, наконец, что он открыл причины образования радуги<sup>60</sup>—этого странного явления, с которым во мнении необразованных масс и до сих пор соединяются некоторые теологические суеверия. В то же время, и как будто бы для того, чтобы соединить в себе самые разнообразные совершенства, он не только заслужил название первого геометра своего времени, но признается, по ясности и удивительной точности своего языка, также одним из творцов французской прозы<sup>61</sup>. Занимаясь постоянно теми возвышенными исследованиями свойств человеческого ума, которые невозможно изучать без удивления—я едва не сказал без благоговения,—он, независимо от этих занятий, произвел длинный ряд трудных опытов над животным организмом, которые доставили ему одно из первых мест среди анатомов его времени<sup>62</sup>. Так, великим открытием Гарвея относительно обращения крови большая часть его современников пренебрегла<sup>63</sup>, Декарт же сразу признал его и принял это открытие за основание физиологической части своего сочинения о человеке. Равным образом признал он и открытия млечных сосудов (lacteales), сделанное Азелли,—открытие, которое, подобно всем великим истинам, какие были предложены миру, при первом появлении своем было не только отвергнуто, но и поднято насмех. Даже Гарвей отрицал это открытие до последней минуты.

Этих данных могло бы быть достаточно для защиты трудов Декарта, даже по части естественных наук, от постоянных нападок со стороны людей, которые или не изучали их, или, изучая, оказались неспособными понять значение их. Но слава Декарта и влияние, произведенное им на свой век, не зависят даже от подобных заслуг. Если и отложить их в сторону, то Декарт тем не менее должен быть признан творцом преимущественно так называемой философии новейших времен<sup>64</sup>. Он—создатель той великой системы, того метода в метафизике, который, несмотря на его погрешности, имел несомненную заслугу, сообщив европейскому уму истинно чудотворное движение и возбудив в нем деятельность, которая впоследствии применена была к предметам совершенно другого характера. Но кроме этой заслуги существует другая, которая стоит еще выше и за которую мы должны вечно чтить память Декарта. Он заслуживает благодарности потомства не столько за то, что им воздвигнуто, сколько за то, что им разрушено. Вся его жизнь была великой и весьма успешной войной против человеческих предрассудков и преданий. Он

был велик как созидатель, но еще более велик как разрушитель. В этом отношении он был истинным преемником Лютера, к трудам которого его труды составляют достойное дополнение. Он довершил то, что великий германский реформатор оставил незаконченным<sup>65</sup>. Он относился к старым системам философии точно так же, как Лютер — к прежней системе теологии. Он был великим реформатором и освободителем европейского ума. Следовательно, поставить людей, имевших даже наибольший успех в открытии физических законов, выше этого великого нововводителя и разрушителя преданий было бы то же самое, как предпochесть знание независимости, науку — свободе. Конечно, мы должны сохранить вечную благодарность к даровитым мыслителям, доставившим нам своими трудами ту огромную массу физических знаний, которой мы теперь обладаем. Но высшую степень нашего уважения сохраним для тех, еще гораздо выше стоящих людей, которые не усомнились опровергать и разрушать самые закоренелые предрассудки, которые, устранив давление преданий, очистили самый источник нашего знания и обеспечили дальнейшие его успехи, удалив с пути его все препятствия, задерживавшие его движение вперед<sup>66</sup>.

Конечно, никто не ожидает и едва ли даже кто-нибудь желал бы, чтобы я здесь подробно изложил философскую систему Декарта, — систему, которую, по крайней мере в Англии, весьма немногие изучают и на которую поэтому часто нападают. Но необходимо будет дать о ней понятие, достаточное для того, чтобы показать аналогию, существующую между ней и антирелигиозической политикой Ришельё, и таким образом дать нам возможность объять всю широту того великого движения, которое совершилось во Франции перед вступлением на престол Людовика XIV. Этим путем мы уразумеем, что смелые нововведения великого министра именно потому были так удачны, что они сопровождались и подкреплялись соответствующими нововведениями и в умственной жизни нации, в чем и представляется новый пример того, каким образом политическая история каждой страны может быть объяснена историей ее умственного развития.

В 1637 г., в то время как Ришельё стоял на высшей ступени могущества, Декарт издал великое творение, которое он перед тем долго обдумывал и которое было первым открытым проявлением новых стремлений французского ума. Это сочинение он назвал «Рассуждение о методе», и, конечно, «метод» его так далек от того, что обыкновенно называется теологией, как только можно себе представить. Действительно, вместо теологии существенным и исключительным основанием ему служит психология. Теологический метод опирается на старинные авторитеты, на предания, на голос древности, а метод Декарта основан исключительно на сознании каждым человеком отправления его собственного ума. И чтобы кто-нибудь не ошибся в значении этого взгляда, он развил его в последующих сочинениях своих

весьма пространно и с беспримерной ясностью. Главной целью его было популяризировать те воззрения, которые он высказывал. «Я пишу на французском языке,—говорит он,—а не на латинском, в той надежде, что люди, руководствующиеся только своим простым, природным умом, беспристрастнее обсудят высказанные мною мнения, чем те, которые верят только в старые книги». Так сильно проникается он этой мыслью, что почти в самом начале первого сочинения своего он предостерегает читателей своих от обыкновенного заблуждения, под влиянием которого обращаются за знанием к древности, и напоминает им, что «когда люди слишком сильно стремятся узнать быт прошедших времен, то они вообще остаются в совершенном незнании своего собственного времени».

Действительно, эта новая философия не только не следует старому обыкновению искать истины в памятниках прошедшего, но даже по самой сущности своей стремится устранить от нас всякие подобные ассоциации и начать приобретение знаний делом разрушения—сперва скрыть стоящее здание с тем, чтобы потом отстроить его<sup>67</sup>. Когда я приступил к исканию истины, говорит Декарт, я нашел, что лучший путь к этому заключается в том, чтобы отвергнуть все до сих пор приобретенное мною и вырвать с корнем мои прежние мнения для того, чтобы заложить для них новое основание; я полагал, что таким образом лучше исполню великое назначение жизни, чем строя здание свое на старом фундаменте и опираясь на принципы, которые я усвоил в молодости, не удостоверюсь в истине их. «Итак, я с полной свободой и решимостью займусь уничтожением всех моих старых мнений». Если мы хотим узнать все доступные для нас истины, мы должны прежде всего освободиться от всех наших предрассудков и принять за правило: отвергать все усвоенные нами прежде мнения, пока не подвергнем их новому рассмотрению. Итак, мы должны почерпать наши мнения не из преданий, а из нас самих. Мы не должны составлять себе суждения ни о каком предмете, которого мы не понимаем со всей ясностью и отчетливостью; ибо если подобное суждение и может оказаться верным, то лишь случайно, так как ему недостает твердого основания. Мы вообще очень далеки от такого беспристрастия, память наша обременена предрассудками, мы обращаем на слова больше внимания, чем на дело. При таком раболепстве нашем перед внешней фирмой есть между нами многие, которые считают себя религиозными, тогда как в действительности они проникнуты ханжеством и суеверием,—многие, почитающие себя совершенными, потому что они часто ходят в церковь, твердят молитвы, коротко стригут волосы, соблюдают посты и подают милостыню. Подобные люди считают себя настолько угодными Богу, чтобы и все их действия были также угодны Ему; под видом религиозного рвения они удовлетворяют своим страстям совершением величайших преступлений—предают города неприятелю, убивают государей, истребляют целые нации, и все эти

злодеяния творят против тех, которые не хотят подчиниться их мнениям.

Таковы были мудрые речи, с которыми этот великий учитель обратился к своим соотечественникам несколько лет спустя после того, как они окончили последнюю религиозную войну, веденную во Франции. Сходство этих взглядов с теми, которые около того же времени были высказаны Чиллингвортом, должно броситься в глаза всякому читателю, но не должно возбуждать его удивления, так как подобные взгляды являются естественным результатом такого состояния общества, в котором право личного суждения и независимость человеческого ума в первый раз положительно установились. Если рассмотреть этот предмет поближе, то мы найдем еще большие доказательства аналогии, проявившейся между Францией и Англией. Так тождественны были в них первые шаги прогресса, что отношение, в котором Монтень стоит к Декарту, совершенно то же, какое существует между Гукером и Чиллингвортом, как в смысле различия времен, так и в смысле различия мнений. Ум Гукера был по существу своему скептический, но в то же время он был так опутан предрассудками своего века, что, не будучи в состоянии понять всей силы личного суждения, стоящей выше всякого авторитета, он стеснял ее ссылками на постановления соборов и на общий голос духовных писателей древности,—преграды, которые тридцать лет спустя Чиллингворт с полным успехом устранил. Точно так же и Монтень, подобно Гукеру, был по природе скептик, но, подобно ему же, жил в такое время, когда дух сомнения еще только зарождался и когда ум человека еще смирялся перед авторитетом церкви. Поэтому неудивительно, что даже Монтень, сделавший так много для своего века, усомнился в том, чтобы человек мог самостоятельно выработать себе знание великих истин, и что этот писатель нередко останавливался на лежащем пред ним пути, причем его скептицизм принимал форму недоверия к человеческим способностям. Такие остановки и несовершенства составляют лишь доказательства медленности развития общества и невозможности, даже для величайшего мыслителя, опередить своих современников более как на известное расстояние. Но с дальнейшими успехами знания оказавшийся сперва недостаток был пополнен; как следующее после Гукера поколение произвело Чиллингворта, точно так же в следующем после Монтеня явился Декарт. И Чиллингворт, и Декарт—оба были в высокой степени скептиками; но скептицизм их был направлен не против человеческого ума, а против ссылок на авторитеты и предания, без которых, как полагали, ум не может безопасно идти вперед. Мы уже видели, что так было с Чиллингвортом,—а что то же самое повторилось и с Декартом, это, если можно, еще очевиднее; ибо этот глубокий мыслитель был убежден не только в том, что ум своими собственными усилиями может искоренить самые застарелые в нем мнения, но даже что он способен, без помощи извне,

построить новую и прочную систему в замене той, которую он ниспровергнул<sup>68</sup>.

Это необыкновенное доверие к силам человеческого ума, составляющее главную характеристику Декарта, и придает его философии тот особенно возвышенный характер, которым она отличается от всех прочих систем. Он не только не думает, что знание внешнего мира необходимо для открытия истины, но даже принимает за основной принцип, что мы должны начать с игнорирования этого знания<sup>69</sup>; что прежде всего мы должны оградить себя от обманов, в которые нас вводит природа, должны отвергнуть свидетельство наших чувств. Ибо, говорит Декарт, нет ничего достоверного в мире, кроме мысли, и нет других истин, кроме тех, которые вырабатываются деятельностью нашего самосознания. Мы знаем нашу душу лишь как мыслящую силу, и для нас легче было бы представить себе, что душа перестала существовать, нежели то, что она перестала мыслить. И что же такое сам человек, спрашивает он далее, если не олицетворение мысли? Не кости, не мясо и не кровь составляют сущность человека. Все это только случайности, тягости и несовершенства его природы. Но самое существо человека — мысль. Наше невидимое «я», крайний факт существования, таинство жизни — выражается в определении: «Я есмь нечто мыслящее». Таково начало и основание всякого нашего знания. Мысль каждого человека есть последний элемент, до которого мы можем дойти путем анализа, — высший судья всякого сомнения и исходная точка всякой мудрости.

Приняв это за основание, мы доходим, говорит Декарт, до понятия о существовании Божества. Наша вера в существование Его составляет неопровержимое доказательство, что Оно существует. Иначе, откуда бы взялось это верование? Так как ничто не может произойти из ничего и никакое действие не может быть без причины, то из этого следует, что идея, которую мы имеем о Боге, должна иметь свою причину, и эта причина не что иное, как само Божество. Таким образом, окончательным доказательством существования Его служит наше понятие о Нем. Следовательно, вместо того, чтобы говорить, что мы знаем сами себя потому, что верим в Бога, мы должны, напротив того, сказать, что верим в Бога потому, что знаем сами себя. Таков истинный порядок и последовательность понятий. Мышление каждого человека достаточно для того, чтобы доказать существование Бога, — оно составляет единственное доказательство этой истины, какое мы можем иметь. Следовательно, так высоко поставлен и таким облечен могуществом ум человеческий, что и знание этого предмета — высшего между всеми предметами в мире — вытекает из ума как из единственного источника. Итак, религия наша не должна быть приобретаема от других посредством учения, но должна быть вырабатываема нами самими, — не должна быть заимствуема от древности, но открываема умом каждого человека, — не должна быть преемственной, но принадлежать

каждому лично. И только потому, что этой великой истиной пренебрегли, явилось безбожие. Если бы всякий человек довольствовался таким понятием о Боге, какое внушается ему его природой, то он бы достиг истинного знания божественного естества. Но когда вместо того, чтобы удовлетворяться этим, он примешивает понятия других, то его представления становятся смутными; они противоречат сами себе, и так как таким образом вся совокупность их оказывается в высшей степени нестройной, то человек нередко доходит до того, что отрицает существование хотя и не самого Бога, но по крайней мере такого Бога, в какого его учили веровать.

Понятно, какой удар подобные начала должны были нанести старой теологии<sup>70</sup>. Они не только уничтожили в умах тех лиц, которые прониклись ими, многие из обыкновенных мнений — как, например, учение о пресуществлении, — но оказали также противодействие и некоторым другим понятиям, также неудобозащищаемым и далеко не безвредным. Декарт, основывая философию, которая отвергала всякий авторитет, кроме человеческого ума<sup>71</sup>, естественным образом должен был совершенно отстранить от нее всякие умствования о конечных причинах — старое и весьма естественное суеверие, сильно мешавшее, как мы увидим впоследствии, успехам немецких философов и еще и до сих пор обременяющее, хотя несколько слабее, умы людей<sup>72</sup>. В то же время, превзойдя древних в геометрии, он содействовал ослаблению того чрезмерного уважения, с которым тогда смотрели на древность. И по другому предмету, еще более важному, он проявил тот же самый дух и достиг такого же успеха. Он с такой энергией восстал против тирании Аристотеля, что, хотя система этого философа весьма тесно связана с христианской теологией<sup>73</sup>, авторитет его был совершенно низвергнут Декартом, и вместе с ним пали те систематические предрассудки, за которые, конечно, Аристотель не может считаться ответственным, но которые, однако, под покровительством могучего имени его, в продолжение нескольких веков смущали умы людей и препятствовали успехам их в знании<sup>74</sup>.

Таковы были главные услуги, оказанные цивилизации одним из самых великих людей, каких когда-либо произвела Европа. Аналогия, существующая между ним и Ришельё, разительна и настолько совершенна, насколько позволяет различие между их положениями. То же пренебрежение к старинным понятиям и презрение к теологическим интересам, то же равнодушие к преданиям, та же решимость предпочитать настоящее прошедшему — одним словом, тот же дух, вполне принадлежащий новейшим временам, виден как в сочинениях Декарта, так и в деятельности Ришельё. Чем был первый в философии, тем же явился второй в мире политическом. Но, признавая заслуги этих двух высокодаровитых людей, мы не должны забывать, что успех их был результатом не только их способностей, но и общего настроения их времени. Достоинства их трудов зависели от них самих, а то,



каким образом эти труды были приняты,—от их современников. Если бы они жили в более суеверные времена, то воззрения их встретили бы одно пренебрежение, или если бы и возбудили внимание, то на них все смотрели бы с негодованием, как на нечестивые нововведения. В пятнадцатом веке или в начале шестнадцатого дарования Декарта и Ришельё не встретили бы необходимых для своей деятельности материалов; обширные умы их, при подобном положении общества, не нашли бы применения; они не возбудили бы никакого сочувствия—труды их уподобились бы семенам, брошенным в пучину бездонного моря. И еще счастливы были бы они, если бы в этом случае общество наказало их только своим равнодушием,—если бы они не подверглись участи многих из знаменитых мыслителей, тщетно пытавшихся остановить поток человеческого легковерия. Счастьем их было бы, если бы Ришельё не был казнен, как изменник, а Декарт—сожжен, как еретик.

Действительно, уже самый факт, что два подобных человека, занимая такое видное положение в глазах всего общества и проводя взгляды, столь враждебные интересам суеверия, прожили свой век, не подвергаясь серьезной опасности, и умерли спокойно в своих постелях<sup>75</sup>,—этот самый факт составляет неопровержимое доказательство успехов, сделанных в течение пятидесяти лет французским народом. Так быстро исчезли предрассудки этой великой нации, что Декарт мог безнаказанно выражать, а Ришельё приводить в действие мнения, вполне противоречащие теологическим преданиям и губительные для всей системы, на которой основалось могущество духовенства. Пример их ясно доказал, что уже теперь два самые передовые человека своего времени могут с весьма малой опасностью и даже совсем без нее распространять открыто такие идеи, которые полувеком ранее страшно было бы и самому ничтожному лицу высказать шепотом в какой-нибудь уединенной комнате.

И не трудно понять причину этой безнаказанности. Ее следует искать в распространении скептического духа, которое как во Франции, так и в Англии предшествовало введению веротерпимости. Не входя в подробности, изложение которых вышло бы слишком пространно для настоящего введения, достаточно будет сказать, что в это время французская литература отличалась такой свободой и смелостью в исследовании, которой, за исключением Англии, еще не было видано примера в Европе. Тому поколению, которое внимало учению Монтеня и Шаррона, наследовало другое поколение, состоящее, конечно, из учеников, которые далеко опередили своих учителей. Результатом этого было то, что в продолжение последних тридцати или сорока лет, предшествовавших воцарению Людовика XIV (т. е. в 1661 г., когда Людовик XIV вступил в управление государством), не было ни одного замечательного человека среди французов, который не разделял бы общего настроения—не нападал бы на

какой-нибудь древний догмат или не подкапывал оснований какого-либо старого мнения. Этот дух смелости был характеристикой всех самых даровитых писателей того времени; но — что еще замечательнее — движение в пользу скептицизма распространилось с такой быстротой, что оно охватило и те классы общества, которые всегда последние подчиняются такому влиянию. Этот дух сомнения, необходимый предшественник всякого исследования и, следовательно, всякого прочного прогресса, зарождается в наиболее мыслящих и умственно развитых классах общества и естественно встречает сопротивление со стороны аристократов — потому что дух этот грозит опасностью их интересам, а со стороны необразованных людей — потому что оскорбляет их предрассудки. Вот одна из причин, по которым ни самое высшее, ни самое низшее сословия не способны управлять цивилизованной страной; оба этих сословия, каковы бы ни были в них отдельные личности, в массе враждебно настроены против тех реформ, которые постоянно вызываются потребностями прогрессивной нации. Но во Франции, еще до половины семнадцатого столетия, даже эти сословия стали принимать участие в великом движении вперед; так что не только между мыслящими людьми, но даже между невежественными и пустыми заметно было пытливое и недоверчивое настроение умов; а это настроение, что бы ни говорили против него, имеет по крайней мере ту особенность, что без него не было ни одного примера упорочения начал терпимости и свободы, признание которых совершается лишь с бесконечной трудностью и после тяжелой борьбы с предрассудками, могущими по своему закоренелому упорству казаться почти существенной частью основной организации человеческого ума<sup>76</sup>.

Неудивительно, что при подобных обстоятельствах как умозрения Декарта, так и действия Ришельё имели большой успех. Система Декарта приобрела огромное влияние и вскоре завладела почти всеми отраслями знания<sup>77</sup>. Политика Ришельё так твердо установилась, что непосредственный его преемник продолжал ее без малейшего затруднения, и не было даже ни одной попытки к ниспровержению ее, до той насильственной и искусственной реакции, которая в царствование Людовика XIV на некоторое время уничтожила все виды политической и религиозной свободы. История этой реакции, а также процесса обратной реакции, приготовившей Французскую революцию, будет рассказана в следующих главах настоящего тома; теперь же мы возвратимся к ряду событий, совершившихся во Франции, прежде чем Людовик XIV принял бразды правления.

Несколько месяцев спустя после смерти Ришельё Людовик XIII также умер, и на престол вступил Людовик XIV, который был тогда ребенком и еще несколько лет затем не имел влияния на государственные дела. Во время малолетства короля управление делами находилось номинально в руках его матери,

на самом же деле — в руках Мазарини, — человека, конечно уступавшего Ришельё во всех отношениях, но усвоившего себе отчасти его взгляд; сколько было возможно, Мазарини продолжал политику великого государственного человека, которому он был обязан своим возвышением. Побуждаемый отчасти примером своего предшественника, отчасти же своими собственными понятиями и духом времени, Мазарини не показывал желания ни преследовать протестантов, ни стеснять права, которыми они пользовались. Первым его делом было подтвердить Нантский эдикт (в июле 1643 г.); а к концу своей жизни он даже позволил протестантам вновь составлять синоды, которые были прекращены по поводу их собственной неумеренности. От кончины Ришельё до принятия власти Людовиком XIV прошло почти двадцать лет, в течение которых Мазарини, за исключением немногих перерывов, стоял во главе государства; и за все это время я не нашел ни одного примера, чтобы кто-либо из французов подвергнулся наказанию по причине своей религии. В самом деле, новое правительство не только не заботилось об охране церкви посредством подавления ереси, но выказывало в отношении церковных интересов то равнодушие, которое теперь становилось твердым правилом французской политики. Ришельё, как мы уже видели, сделал смелый шаг, вверая протестантам командование королевскими армиями, и сделал он это на основании того простого правила, что одна из первых обязанностей государственного человека — употреблять на пользу страны самых способных людей, каких только он может найти, невзирая на их теологические убеждения, которые, как он ясно понимал, до правительства нисколько не касаются. Но Людовик XIII, личные чувствования которого всегда были в противоречии с просвещенными мерами его великого министра, оскорблялся этим мудрым пренебрежением к старым предрассудкам; его религиозность возмущалась при мысли, что католические солдаты будут под начальством у еретиков; и он решился (как утверждает один из весьма сведущих современных ему писателей) устранить это явление, составляющее соблазн для церкви, и на будущее время не допускать, чтобы протестант получал жезл маршала Франции. Устоял ли бы король в своем намерении, если бы прожил долее, неизвестно<sup>78</sup>; мы знаем достоверно только то, что не более как четыре месяца спустя после его смерти (1643 г.) это самое звание маршала было пожаловано Тюренну, самому способному из всех протестантских генералов. И на следующий год другой протестант, Гассион, возведен был в то же достоинство; таким образом представлялось странное зрелище — высшая военная власть в великой католической нации сосредоточилась в руках двух человек, религию которых господствующая церковь не переставала осypyать проклятиями. В том же духе, и исключительно в видах политической выгоды, Мазарини заключил тесный союз с Кромвелем, похитителем короны, который, по мнению теологов,

был обречен на вечную казнь, как оскверненный тройным злодейством — восстанием против короля, ересью и цареубийством<sup>79</sup>. Наконец, одним из последних дел этого ученика Ришельё было подписание знаменитого Пиренейского договора, которым серьезно ослаблено значение духовных интересов и нанесено тяжкое оскорбление тому, кто все еще почитался главою церкви<sup>80</sup>.

Но самым заметным событием за время управления Мазарини было начало великой междоусобной войны, известной под именем Фронды, во время которой народ пытался внести в политику дух непокорности, уже ранее того обнаружившийся в литературе и в религии. Здесь мы не можем не заметить сходство между этой борьбой и той, которая в то же самое время происходила в Англии. Сказать, что эти два события были совершенно подобны, значило бы впасть в крайнюю неточность; но нет сомнения в том, что между ними существует весьма поразительная аналогия. В обеих странах междоусобная война явилась первым народным выражением скептицизма, который дотоле оставался явлением умозрительным и, так сказать, литературным. В обеих странах за неверием последовало сопротивление правительству, и унижение духовенства предшествовало ограничению прав короны; потому что Ришельё в отношении к французской церкви был тем же, чем была Елизавета в отношении к английской. В обеих странах теперь только впервые явился этот великий продукт цивилизации — независимая печать, обнаружившая свою свободу в произведении на свет того множества бесстрашно написанных сочинений, которые ознаменовали собою деятельность этого века<sup>81</sup>. В обеих странах происходила борьба между прогрессом и ретроградными стремлениями, между приверженцами старинных преданий и людьми, жаждавшими нововведений; к тому же в обеих странах борьба проявилась в форме войны между королем и парламентом, причем король являлся представителем прошедшего, а парламент — настоящего. Наконец — не упоминая о мелких чертах сходства — была еще одна чрезвычайно важная черта, в которой оба этих великих события сходятся, а именно, что они были по преимуществу событиями светского характера и произошли не из желания распространить известные религиозные мнения, а из стремления к упрочению гражданской свободы. Я уже упоминал о чисто светском характере английского восстания — и действительно, этот характер должен быть вполне очевидным для каждого, кто изучал свидетельства истории из первых источников. Во Франции мы не только находим тот же результат, но даже можем указать все ступени, через которые она перешла на пути к прогрессу. В середине шестнадцатого столетия, непосредственно после смерти Генриха III, причиной междоусобий во Франции были религиозные распри, и войны эти велись с рвением, характеризовавшим крестовые походы. В самом начале семнадцатого века вновь вспыхнули раздоры;

но тут правительство хотя и действовало по-прежнему против протестантов, но видело в них уже не еретиков, а мятежников, и целью войны было подавление непокорной партии, а не преследование известных религиозных убеждений. Это был первый великий шаг в истории веротерпимости, и он совершился, как мы уже видели, в царствование Людовика XIII. Прошло поколение; в следующем веке возникли войны Фронды; в этом событии, которое можно назвать вторым шагом французского ума, перемена проявилась еще более заметно. В этот промежуток времени идеи великих скептических мыслителей, от Монтеня до Декарта, принесли свой естественный плод; распространяясь более в образованных классах, они, как всегда бывает, оказали влияние не только на тех, которые приняли их, но и на людей противоположных убеждений. Действительно, простое знание того факта, что самые замечательные люди известного времени бросили тень сомнения на общепринятые верования, не может не смутить в некоторой степени убеждений даже тех людей, которые смеются над этими сомнениями<sup>82</sup>. В подобных случаях никто не бывает вполне безопасен: самая крепкая вера может слегка пошатнуться; люди, по наружности сохраняющие православие, часто бессознательно колеблются; они не могут вполне устоять против влияния высших умов, и не всегда удается им избежать докучливого подозрения, что ежели дарование находится на одной стороне, а на другой невежество, то очень возможно, что на стороне дарования находится истина, а на стороне невежества — заблуждение.

Так и было во Франции. В этой стране, как во всякой другой, когда теологические убеждения ослабели, то и религиозные распри прекратились. Сначала религия бывала причиной войн, а также и предлогом для ведения их. Затем пришло время, когда религия перестала быть причиной распри; но так медленно совершается общественный прогресс, что все еще находили нужным выставять ее в виде предлога. Наконец, наступили великие дни Фронды, когда религия не стала уже ни причиной, ни предлогом<sup>83</sup> и когда впервые увидели во Франции зрелище трудной борьбы, предпринятой людьми, очевидно, ради человеческих целей и веденной не для того, чтобы доставить перевес известным убеждениям, а для того, чтобы расширить пределы гражданской свободы. И как бы для большей поразительности этой перемены самым замечательным из предводителей инсургентов был кардинал де Рец, человек с обширными способностями и вместе с тем известный презрением к своему сословию<sup>84</sup>; о нем один великий историк сказал: «Он был первый епископ во Франции, который вел междоусобную войну, не выставя предлогом для нее религию».

Таким образом, мы видели, что в течение семидесяти лет после вступления на престол Генриха IV умственное развитие во Франции совершалось путем замечательно сходным с тем, что происходило в Англии; мы видели, что в обеих странах ум,

сообразно с естественными условиями его развития, сначала стал сомневаться в том, чему издавна верил, а потом начал допускать то, что долгое время ненавидел; что такой порядок не был ни делом случая, ни прихотью истории, это может быть очевидно доказано не только теоретическими рассуждениями и аналогией, существовавшей между обеими нациями, но и еще одним чрезвычайным обстоятельством, а именно: порядок событий и, так сказать, относительные размеры их были в обеих странах одни и те же, как в отношении к развитию терпимости, так и относительно успехов литературы и науки. В обеих странах отношение между успехами знания и упадком влияния духовенства было одно и то же, хотя оно проявилось в различное время. Мы начали отделяться от наших предрассудков несколько раньше, чем могли это сделать французы, и таким образом, выступив первые на поприще, успели опередить этот великий народ в создании светской литературы. Всякий, кто даст себе труд сравнить ход умственного развития в Англии и во Франции, увидит, что во всех главнейших отраслях его мы были первыми — я не говорю по достоинству, но по порядку времени. В прозе, в поэзии, в каждой отрасли умственного успеха, по сравнению, окажется, что мы опередили французов почти на целое поколение и что во всем повторялось, в хронологическом смысле, то же отношение, какое существует между Бэконом и Декартом, Гукером и Паскалем, Шекспиром и Корнелем, Массинджером и Расином, Беном Джонсоном и Мольером, Гарвеем и Пэке. Каждый из этих замечательных людей пользовался заслуженной славой в своем отечестве, и если бы захотели провести между ними сравнение, то это могло бы показаться делом национальной зависти. Здесь мы должны заметить только одно — что между лицами, трудившимися по каждой отдельной отрасли, самый великий из англичан предшествовал несколькими годами самому великому из французов. Это различие времени, действительно проходящее по всем главным предметам знания, слишком правильно, чтобы можно было считать его случайным. И так как в настоящее время, конечно, лишь весьма немногие из англичан могут быть настолько самолюбивы, чтобы полагать, что мы одарены каким-нибудь врожденным существенным превосходством над французами, то, очевидно, должна быть какая-нибудь заметная особенность, которой обе нации отличаются друг от друга и которая произвела различие между ними не в самом знании, но во времени проявления знания. Для отыскания этой особенности не требуется большой проницательности. Хотя французы стали развиваться несколько позже, чем англичане, тем не менее, когда развитие это пошло как следует в ход, предшествовавшие данные его успеха были в том и другом народе совершенно одни и те же. Из этого, по самым простым началам индукции, ясно следует, что запоздание развития зависело от запоздания предшествовавшего факта. Очевидно, французы меньше знали, потому что больше верили<sup>85</sup>. Ясно, что их прогресс задержан был преобладанием тех

чувств, которые всегда пагубны для всякого знания, потому что, заставляя смотреть на древность, как на единственное хранилище мудрости, они унижают настоящее, чтобы возвысить прошедшее; эти-то чувствования уничтожают виды человека на будущность, убивают его надежды, умерщвляют в нем любознательность, охлаждают его рвение, расслабляют рассудок «я», под предлогом смирения его гордого разума, стараются отбросить человека назад в ту более чем полуночную тьму, из которой только разум дал ему возможность выйти.

Существующая таким образом аналогия между Францией и Англией, без сомнения, весьма поразительна и, насколько мы ее до сих пор рассмотрели, кажется совершенной во всех своих частях. Подводя в нескольких словах итог всем отдельным чертам сходства, можно сказать, что обе эти нации следовали одинаковому порядку развития относительно скептицизма, литературы и веротерпимости. В обеих странах вспыхнула междоусобная война в то же время, за те же интересы и при одинаковых по многим отношениям обстоятельствах. В обеих странах инсургенты, торжествовавшие вначале, были под конец побеждены, и когда восстания были подавлены, то правительства обеих стран были вполне восстановлены почти в один и тот же момент: в 1600 г.—Карлом II, в 1661-м—Людовиком XIV<sup>86</sup>. Но тут сходство остановилось. С этой точки обе страны начали заметно расходиться, и это уклонение, продолжаясь более столетия, привело наконец Англию к упрочению народного благосостояния, а Францию—к самой кровавой, самой полной и самой разрушительной революции, какая только видана была на свете. Эта разница в судьбах таких великих и образованных наций до того замечательна, что знакомство с причинами этого явления становится необходимым для правильного понимания европейской истории и может, как впоследствии окажется, бросить яркий свет на другие события, не связанные непосредственно с самым явлением. Кроме того, подобное исследование независимо от научного интереса будет иметь высокую практическую цену. Оно докажет истину, которую люди, по-видимому, лишь недавно стали понимать, а именно, что в политике, так как для нее не открыто еще никаких твердых начал, первые условия успеха суть: соглашение, обмен, целесообразность и уступка. Оно покажет окончательное бессилие даже самых способных правителей в тех случаях, когда они стараются, при новых обстоятельствах, действовать по старым правилам. Оно покажет, какая тесная связь существует между свободой и знанием, между возрастающей цивилизацией и успехами демократии. Оно покажет, что для прогрессивной нации требуется и прогрессивный строй государства, что в известных пределах допущение нововведений составляет единственное возможное ручательство за безопасность, что никакое государственное учреждение не может устоять против напора и вечного движения общества, если, исправляя недостатки своего строения, оно вместе с тем не расширяет своего входа, и,

наконец, что ни одна страна, даже в материальном отношении, не может сохранить ни благосостояния, ни безопасности, ежели не усиливается постепенно значение народа, не расширяются его привилегии и, так сказать, не воплощаются во всей его массе государственные отправления.

Спокойствие Англии и отсутствие в ней междоусобных войн должны быть приписаны признанию в ней этих великих истин<sup>87</sup>, пренебрежение которыми обрушило на другие страны самые ужасные бедствия. По этому самому, ежели не по чему другому, становится делом чрезвычайно интересным привести в известность, каким образом произошло, что две сравниваемые нами нации приняли в отношении к этим истинам совершенно противоположные воззрения, хотя по другим предметам воззрения их были, как мы уже видели, весьма сходны. Или, выражая вопрос другими словами, нам предстоит исследовать, каким образом произошло то, что французы, шедшие относительно знаний, скептицизма и веротерпимости совершенно тем же путем, как и англичане, вдруг впали в застой относительно политики; каким образом умы их, совершившие столь великие подвиги, оказались, однако, до такой степени неприготовленными к свободе, что, несмотря на геройские усилия Фронды, они не только подпали деспотизму Людовика XIV, но даже и не думали ему сопротивляться; и наконец, сделавшись рабами и телом и душою, стали гордиться таким положением, которого и последний из англичан гнушался бы, как невыносимого ярма.

Причины этого различия должно искать в существовании духа покровительства. Этот дух так опасен, и им так легко увлечься, что в нем заключается самое серьезное из препятствий, с которыми цивилизация должна бороться на пути к прогрессу. Покровительственное начало, которое по справедливости можно назвать алым началом, всегда было сильнее во Франции, чем в Англии. Действительно, у французов оно продолжает до настоящего времени производить самые зловредные результаты. Оно тесно связано, как я раскрою впоследствии, с тем пристрастием к централизации, которое обнаруживается в их правительственном механизме и направлении их литературы. Это именно и заставляет их поддерживать стеснения, с давнего времени связывавшие их промышленность, и сохранять монополии, которые в нашем отечестве окончательно уничтожены либеральной системой. Это же побуждает их вмешиваться в естественные отношения между производителями и потребителями; насильственно вызывать к существованию мануфактуры, которые иначе никогда не были бы основаны и, следовательно, вовсе не были нужны; нарушать обычный ход промышленности и под предлогом покровительства своим рабочим уменьшать производительность труда, отвращая его от тех путей, к которым направляют его собственные его инстинкты. Таковы неизбежные результаты покровительственного начала в деле промышленности. Будучи



внесено в политику, оно производит так называемое отеческое правительство, где верховная власть сосредоточена в руках монарха либо в руках немногих привилегированных классов. Когда же оно вносится в богословие, то производит могущественную церковь и многочисленное духовенство, которое признается необходимой охраной религии, так что всякое противодействие ему принимается за оскорбление общественной нравственности. Вот отличительные черты, по которым можно узнать покровительственное начало, и уже с весьма раннего времени они обнаруживались во Франции гораздо яснее, чем в Англии. Не имея притязания с точностью определить причину, производшую эти явления, я постараюсь в следующей главе проследить их в прошедшем до весьма отдаленного периода, так чтобы исследование это дало нам возможность объяснить некоторые из черт различия, существовавшего в этом отношении между обеими странами.

## ГЛАВА IX

### История духа покровительства и сравнение проявлений его во Франции и в Англии

Когда к концу V века распалась Римская империя, то наступил, как известно, продолжительный период невежества и злодеяний,—период, в течение которого даже самые даровитые умы утопали в грубейших предрассудках. В течение этих веков, по справедливости названных темными, духовенство было всеильно: духовные владычествовали над совестью самых деспотических монархов и считались людьми с обширной ученостью, потому что они одни умели читать и писать, потому что они были единственными хранителями тех пустых вымыслов, из которых слагалась тогдашняя европейская наука, и потому еще, что они сохраняли легенды о святых и жития отцов церкви, из которых, как в то время верили, легко было почерпнуть учения божественной мудрости.

Таково было унижение европейского ума в течение почти пятисот лет, и можно сказать, что в это время человеческое легкоеверие дошло до размеров, неслыханных в летописях невежества. Но вот наконец человеческий разум, эта божественная искра, которую не в силах потушить даже самое испорченное общество, стал обнаруживать свою силу и разгонять туманы, его окружавшие. Различные обстоятельства, которые здесь слишком долго было бы разбирать, были причиной того, что это прояснение произошло в разных странах в различные времена. Однако ж мы можем вообще сказать, что оно началось в десятом и одиннадцатом столетиях и что в двенадцатом веке не было уже ни одной нации, ныне считающейся в числе образованных, над которой не занимался бы этот свет.

Именно с этого момента европейские нации начинают заметно принимать различные направления. До того времени суеверие было в них так сильно и так всеобще, что бесполезно было бы измерять сравнительно степени преобладавшего в них мрака. Действительно, они стояли так низко, что первое время значение, которым пользовалось в них духовенство, было во многих отношениях благотворно: духовные являлись оплотом народа против правителей и представляли собою единственный пример сословия, хоть сколько-нибудь стремившегося к умственной деятельности. Но когда началось великое движение, когда ум человеческий стал возмущаться, положение духовенства внезапно изменилось. Оно дружелюбно смотрело на умствование до тех пор, пока умствование было на его стороне; пока духовные были единственными хранителями знания, они усердно действовали в интересах его. Теперь же оно ускользало из их рук; оно делалось достоянием мирян, оно становилось опасным—и его следовало

заклЮчить в должные пределы. Тут-то и вошли впервые в повсеместное употребление инквизиции, тюремные заключения, пытки, сожигания и все другие изобретения, посредством которых церковь тщетно старалась удержать поток, обратившийся против нее<sup>1</sup>. С этого момента началась непрестанная борьба между двумя великими партиями — приверженцами исследования и приверженцами слепой веры, — борьба, которая, чем бы она ни прикрывалась, в каких бы формах ни являлась, в сущности всегда одна и та же и выражает собою противоположность интересов разума и веры, скептицизма и легковерия, прогресса и реакции, — интересов тех людей, которые надеются на будущее, и тех, которые прилепляются к прошедшему.

Итак, вот точка отправления новейшей цивилизации. С того самого момента, как разум начал сколько-нибудь заявлять свое право на преобладание, прогресс каждой нации зависел от большего или меньшего повиновения предписаниям его, от умения подчинять всю сумму своих действий мерилу разума. Следовательно, чтобы понять первоначальную причину различия между Францией и Англией, мы должны искать ее в обстоятельствах того времени, когда в первый раз заметно обозначилось движение, которое можно по справедливости назвать великим восстанием разума.

Ежели, в видах такого исследования, мы будем рассматривать историю Европы, то найдем, что именно в этот период возникла феодальная система, — обширная правительственная система, которая, несмотря на свою грубость и другие несовершенства, удовлетворяла многим потребностям тех грубых народов, посреди которых она родилась. Связь между возникновением феодализма и упадком теологического духа очевидна. Феодальная система была первым великим светским учреждением, какое было видано в Европе со времени установления гражданского права: во весь этот период времени, с лишком в четыреста лет, это была первая сделанная в больших размерах попытка устроить общество на светских, а не на духовных началах, так как в основании всего учреждения лежало единственно владение землею и отправление известных воинских и денежных повинностей<sup>2</sup>.

Без сомнения, это был большой шаг в европейской цивилизации, так как учреждение это явило собою первый пример обширного государственного строя, в котором духовные, как отдельное сословие, не имели определенного места<sup>3</sup>; вследствие этого и началась та борьба феодализма с церковью, которую заметили многие писатели, упустив, однако, странным образом из виду ее причину. Но при этом особенно достойно внимания то обстоятельство, что с введением феодальной системы дух покровительства далеко не был подавлен, даже не был, по всей вероятности, и ослаблен, а, собственно, только принял другую форму — вместо духовной — светскую. Взоры людей, обращавшиеся прежде на церковь, теперь устремились на дворян; ибо необходимым последствием этого обширного движения, или скорее частью его,

было то, что из значительных землевладельцев теперь образовалась наследственная аристократия<sup>4</sup>. В десятом столетии мы встречаем первые фамильные прозвища; с одиннадцатого столетия многие важные должности делаются наследственными в главных фамилиях, а в двенадцатом столетии изобретены гербы и другие геральдические эмблемы, питавшие так долго тщеславие дворянства и ценимые потомками, как знаки того превосходства рождения, которому в течение многих веков подчинялось всякое другое превосходство.

Таково было начало европейской аристократии в том смысле, в каком это слово обыкновенно употребляется. Феодализм с упрочением его влияния явился преемником церкви в деле организации общества<sup>5</sup>; дворянство, сделавшись наследственным, постепенно вытеснило из государственного управления и вообще из важных должностей духовенство, в котором теперь прочно утвердился противоположный наследственности принцип — безбрачия. Таким образом, очевидно, что исследование о происхождении новейшего духа покровительства есть в значительной мере исследование о происхождении могущества аристократии, так как это могущество было вывеской или, так сказать, покровом, под которым дух этот развился. Это обстоятельство, как мы впоследствии увидим, находится также в связи с большим религиозным движением шестнадцатого столетия; успех последнего главным образом зависел от бессилия покровительственного принципа, который противодействовал ему. Но, отлагая это соображение до дальнейшего времени, я постараюсь теперь очертить некоторые из обстоятельств, которые, доставив аристократии во Франции более значения, чем она имела в Англии, приучили французов к более строгому и постоянному повиновению и привили им дух подчиненности в большей мере, чем он обыкновенно проявлялся в Англии.

В самом начале второй половины XI столетия, следовательно, в то время, когда совершался еще процесс возникновения аристократии, Англия была покорена герцогом Нормандским, который, естественно, ввел в ней государственное устройство, существовавшее в его отечестве. Но в его руках это устройство подвергалось изменению, сообразному с теми новыми обстоятельствами, в которые он был поставлен. Находясь в чужой стране и будучи предводителем победоносной армии, составленной частью из наемников, он имел возможность отступить от некоторых из тех феодальных обычаев, которые были приняты во Франции. Значительные нормандские бароны, брошенные в среду неприязненного населения, были рады принять лены от короны почти на всяких условиях, какие только могли обеспечить их безопасность. Этим, конечно, воспользовался Вильгельм; ибо, жалуя баронии на условиях, выгодных для короны, он предупреждал приобретение баронами той власти, которою они пользовались во Франции и которую, без этого, не имели бы и в Англии. Результатом этого было, что могущественнейшие бароны Анг-

лии подчинились закону или по крайней мере власти короля. Действительно, это дошло до того, что Вильгельм незадолго до своей смерти заставил всех землевладельцев дать ему клятву в верности,—чем он оказал совершенное пренебрежение к той особенности феодализма, в силу которой каждый вассал, в отдельности, зависел от своего сюзерена.

Но во Франции дело было совершенно иначе. Здесь знатные дворяне владели своими землями не столько по пожалованию, сколько по праву давности. Таким образом, права их носили характер древности; это обстоятельство, в соединении со слабостью короны, дало им возможность распоряжаться в своих владениях, как независимым государям. Даже когда могуществу баронов был нанесен первый удар при Филиппе-Августе, они все-таки продолжали в его царствование и гораздо позже пользоваться такой властью, какая в Англии была совершенно неизвестна. Мы приведем только два примера этому. Право чеканения монеты, которое всегда считалось атрибутом верховной власти, никогда не было предоставляемо в Англии даже самым знатным баронам<sup>6</sup>; во Франции же этим правом, независимо от короны, пользовались многие, и оно было отменено только в шестнадцатом столетии. Это же замечание легко может быть применено и к так называемому праву частной войны, в силу которого бароны могли нападать друг на друга и нарушать спокойствие страны своими частными раздорами. В Англии аристократия никогда не была довольно сильна, чтобы иметь по закону это право, хотя на практике пользовалась им даже слишком часто. Но во Франции право это вошло в положительное законодательство; оно было внесено в статуты феодализма и положительно признано двумя весьма энергическими королями, Людовиком IX и Филиппом Красивым, которые между тем делали все, что могли, чтобы ослабить громадное значение баронов.

Из такого различия аристократической власти во Франции и в Англии родились многие последствия большой важности. У нас бароны, будучи слишком слабы для борьбы с короной, принуждены были, ради собственной защиты, соединяться с народом. Спустя около ста лет после завоевания нашей страны норманны и саксы смешались, и обе партии соединились против короля, для поддержания своих общих прав<sup>7</sup>. Великая хартия, которую Иоанн должен был дать, заключала в себе, конечно, уступки в пользу аристократии, но главнейшие ее условия были в пользу «всех классов свободных людей»<sup>8</sup>. По прошествии полустолетия возникли новые раздоры; бароны опять соединились с народом, и снова произошли те же результаты—каждый раз условием и последствием этого оригинального союза было расширение народных привилегий. Точно таким же образом, когда граф Лейстерский поднял бунт против Генриха III, то нашел свою партию слишком слабой для борьбы с короной и потому обратился к народу; ему-то и обязана своим происхождением нижняя палата, так как он в 1264 г. подал первый пример

призыва городов и местечек к выборам и сделал таким образом, что жители городов и местечек заняли свои места в том парламенте, который до тех пор состоял только из духовных и дворян<sup>9</sup>.

Так как английская аристократия принуждена была, вследствие своей слабости, опираться на народ, то естественным последствием этого было, что народ усвоил себе тот оттенок независимости и то гордое обращение, которые являются скорее следствием, нежели причиной, наших гражданских и политических учреждений. Именно этому обстоятельству, а не какой-нибудь воображаемой особенности расы обязаны мы тем твердым, предприимчивым духом, которым издавна отличались обитатели нашего острова. Это же самое дало им силу побороть все ухищрения притеснителей и поддерживать в течение стольких столетий права, которых не имела никакая другая нация. Это же самое развило и сохранило те великие привилегии, которые, каковы бы ни были их недостатки, имеют по крайней мере то неоценимое достоинство, что приучают свободного человека к отправлениям власти, вручают гражданам управление их собственного города и увековечивают идею независимости, сохраняя ее в живой форме и связывая поддержание ее с интересами и влечениями каждой отдельной личности.

Но те привычки самоуправления, которые, под влиянием этих обстоятельств, развивались в Англии, были, под влиянием совершенно противоположных обстоятельств, пренебрежены во Франции. Значительные французские бароны, будучи слишком могущественны, чтобы нуждаться в народе, не искали союза с ним. Результатом этого было то, что среди большого разнообразия форм и имен общество в сущности разделялось только на два класса: высший и низший — покровителей и покровительствуемых. Ввиду преобладавшей в то время грубости нравов не будет преувеличением сказать, что во Франции во время феодалной системы каждый человек был или тиран, или раб. Даже, в большей части случаев, оба характера соединялись в одном и том же лице. Ибо обыкновение подраздачи ленов (Subinfeudation), которое было деятельно ограничиваемо в Англии, сделалось почти всеобщим во Франции. Могущественные бароны раздавали известным лицам земли под условием соблюдения ими верности и несения разных повинностей; эти лица в свою очередь подраздавали такие земли, т. е. передавали их на подобных же условиях другим лицам, которые опять имели право передать их в четвертые руки, и так далее, до бесконечности. Так составила длинная цепь зависимости и образовалась как бы целая система подчиненности. В Англии, с другой стороны, такие сделки были так не согласны с общим порядком вещей, что весьма сомнительно — существовали ли они в каком-либо размере; во всяком случае известно, что в царствование Эдуарда I они были окончательно воспрещены статутом, который известен у юристов под именем *quia emptores*.

Итак, издавна существовало уже большое социальное различие между Францией и Англией. Последствия этого различия

сделались еще очевиднее, когда с XIV столетия феодальная система стала быстро клониться к упадку в обеих странах. Ибо в Англии, вследствие слабости принципа покровительства, люди до известной степени привыкли к самоуправлению и были способны крепко держаться тех великих учреждений, которые плохо применялись к более послушному нраву французского народа. Наши муниципальные привилегии, права наших мелких землевладельцев и обеспеченность наших копигольдеров<sup>10</sup> были с XIV по XVII столетие тремя важнейшими гарантиями прав Англии<sup>11</sup>. Во Франции такие гарантии были невозможны; так как там между благородными и неблагоприятными было действительное различие, то не было места для образования средних классов, а каждый должен был войти в состав той или другой корпорации<sup>12</sup>. У французов никогда не было ничего соответствующего английским мелким землевладельцам (*yeomanry*), не было также копигольдеров, признанных законом, и хотя они старались ввести в своей стране муниципальные учреждения, но все такие попытки остались бесплодными, ибо, подражая формам свободы, они не имели того стойкого, смелого духа, который один ведет к свободе. Действительно, французы имели образ свободы и ее название, но им недоставало того священного огня, который согрел бы и оживил этот образ. Все остальное у них было: они имели наружный вид и приемы свободы; французским городам пожалованы были хартии, а должностным лицам их дарованы привилегии. Все, однако, было напрасно, ибо не печатью и не пергаментом законодателя охраняется независимость людей. Такие вещи составляют только внешность; они украшают свободу; они составляют как бы ее одежду — приданое, праздничный наряд во дни мира и спокойствия. Но когда наступают черные дни, когда начинаются нападения деспотизма, то свободу сохраняют не те, которые могут предъявить древнейшие акты и великие хартии, а те, которые наиболее свыклись с независимостью, наиболее способны думать и действовать сами и наименее дорожат тем навязчивым покровительством, которое высшие классы всегда так охотно оказывали, что во многих странах они не оставили более ничего, чему бы стоило покровительствовать.

Так и было во Франции. Города, с небольшими исключениями, пали при первом ударе, и граждане утратили те муниципальные привилегии, которые не были приспособлены к национальному характеру и потому не могли быть сохранены. Точно так же в Англии власть перешла естественным образом, одной силой демократического движения, в руки палаты общин, значение которой, несмотря на случавшиеся препятствия, с тех пор постоянно возрастало, в ущерб аристократическому элементу законодательного собрания. Единственное учреждение во Франции, соответствующее этому, представляли Генеральные штаты, которые, однако, имели так мало влияния, что, по мнению французских историков, они едва ли даже могут быть названы учреждением<sup>13</sup>. Действительно, французы в то время уже так

привыкли к идее покровительства и к подчиненности, которая вытекает из этой идеи, что они не особенно желали поддерживать такое учреждение, которое в их государственном устройстве являлось единственным представителем народного элемента. Результатом этого было, что в XIV столетии права английского народа были упрочены, и с этих пор ему оставалось только расширять то, что раз уже было приобретено; а в том же столетии во Франции дух покровительства принял новую форму; власти аристократии в значительной мере наследовала власть короны, и тогда началось то стремление к централизации, которое, сперва при Людовике XIV, а потом при Наполеоне, достигло еще большего развития и сделалось язвою французского народа. Таким образом феодальные идеи превосходства и подчиненности далеко пережили тот варварский век, для которого они исключительно годились. Действительно, будучи перенесены в другой век, они, казалось, приобрели новую силу. Во Франции все сводится к одному общему центру, которым поглощается вся гражданская деятельность. Все сколько-нибудь значительные реформы, все планы улучшений, даже в материальном быте народа, должны получать санкцию от правительства, так как предполагается, что местным властям не по силам такие трудные задачи. Дабы низшие должностные лица не могли злоупотреблять своей властью, им не дается никакой власти. Самостоятельное управление судебной власти там почти неизвестно. Все, что ни делается, должно делаться в главной квартире<sup>14</sup>. Думают, что правительство должно все видеть, все знать, обо всем заботиться. Дабы подкрепить эту широкую монополию, придуман механизм, вполне достойный своей цели. Вся страна наводняется огромным полчищем чиновников<sup>15</sup>; чиновники эти, правильностью своей иерархии и порядком своей постепенности, представляют прекрасную эмблему феодального начала, которое из территориального сделалось теперь личным. На самом деле вся правительственная деятельность исходит от того предположения, что ни один человек не знает своих нужд или не способен сам о себе заботиться. Такими отеческими чувствами проникнуто французское правительство, так ревностно оно заботится о благосостоянии своих подданных, что оно забрало в свое ведение как самые исключительные, так и самые обыкновенные явления жизни. Чтобы французы не делали неблагоприятных завещаний, оно ограничило права завещателей, а из опасения, чтобы они не завещали свою собственность неправильно, большая часть собственности вовсе изымается из права завещания. Дабы все общество пользовалось защитой полиции, постановлено, что никто не может путешествовать без паспорта. И когда люди действительно путешествуют, то на каждом углу они встречаются с тем же духом вмешательства, который, под предлогом защиты их личности, стесняет их свободу. И в другие отношения, гораздо более серьезные, французы внесли то же самое начало. Так велика заботливость их об ограждении общества от преступников, что когда подсудимый



призывается в один из их судов, то там происходит зрелище, которое, можно сказать без малейшего хвастовства, и часу не было бы терпимо в Англии. Там видим мы, что важный государственный сановник, перед тем как судить арестанта, для удостоверения в его предполагаемой виновности, делает допрос, передопрос, перекрестный допрос, исполняя таким образом обязанности не судьи, а обвинителя, употребляя против обвиняемого все влияние своего судейского положения, все тонкости своей профессии, всю свою опытность, всю ловкость своего напрактиковавшегося ума. Это едва ли не самый возмутительный из многих примеров, в которых высказываются стремления французского ума, потому что это дает готовый механизм для целей деспотической власти, потому что это бесчестит отправление правосудия, внося в него идею несправедливости, и, наконец, вредит спокойному и ровному настроению духа, которое невозможно вполне сохранить при системе, делающей из чиновника обвинителя и превращающей судью в приверженца партии. Но это обстоятельство, как оно ни губительно, составляет только часть еще более обширной системы; ибо наряду с методом, служащим для открытия преступников, существует подобный же метод для предупреждения преступлений. С этой последней целью за людьми присматривают и тщательно наблюдают, даже в их обыденных увеселениях. Дабы они не причинили вреда друг другу каким-нибудь внезапным неблагоприятием, принимают предосторожности вроде тех, какими отец обставляет своих детей. На их ярмарках, в театрах, в концертах и других общественных сходках присутствуют всегда солдаты, которых посылают наблюдать, чтобы не было сделано ничего дурного, чтобы не было бесполезного столпления, чтобы никто не бранился и не ссорился с своим соседом. Бдительность правительства не останавливается и на этом. Даже воспитание детей подчинено контролю государства, вместо того чтобы подлежать ведению учителей или родителей. И все это приводится в исполнение с такой энергией, что французов, ни взрослых, ни детей, никогда одних не оставляют. В то же время рационально предполагая, что взрослые, находящиеся таким образом под опекой, не могут сами знать толк в пище, правительство позаботилось и об этом. Его зоркий глаз следит за мясником в лавке и за булочником у очага. Оно с отеческой заботливостью смотрит за тем, чтобы мясо не было дурно и чтобы хлеб не был маловесен. Одним словом, не приводя много примеров, хорошо известных большинству читателей, достаточно сказать, что во Франции, как в каждой стране, в которой действует принцип покровительства, правительство установило монополию самого вредного свойства,— монополию, которая проникает в дела и сердца людей, следит за ними в их ежедневных занятиях, беспокоит их своим мелочным вмешательством и, что хуже всего, уменьшает ответственность их перед самими собою, лишая их таким образом того, что составляет единственное, истинное воспитание для большинства умов,—

постоянной необходимости предвидеть будущие случайности и привычки бороться с трудностями жизни.

Последствием всего этого было, что французы, хотя великий и блестящий народ,—народ, полный энергии, высокомужественный, богатый знанием и, может быть, менее всякого другого народа в Европе угнетенный суеверием,—всегда оказывались неспособными к отправлению политической власти. Даже когда им и случалось обладать ею, они не были способны соединить постоянство с свободой. Одного из двух элементов всегда недоставало. У них бывали правительства, но не прочные. Бывали у них прочные правительства, но не свободные. Благодаря своему врожденному бесстрашию они восставали и, без сомнения, будут восставать против такого дурного положения дел<sup>16</sup>, но не нужно быть пророком, чтобы предсказать бесплодность всех таких попыток, по крайней мере еще для нескольких поколений, потому что люди никогда не могут быть свободны, если они не воспитаны для свободы. И это не то воспитание, которое приобретает в школах или вычитывается из книг,—оно состоит в саморазвитии, самоуповании и самоуправлении. В Англии—это дело наследственного перехода, это преемственные привычки, которые мы усваиваем себе в юности и которые управляют нами в жизни. У французов все старинные ассоциации идей клонятся в совершенно другую сторону. При малейшем затруднении они вызывают о помощи к правительству. То, что у нас соревнование, у них монополия. То, что мы делаем частными компаниями,—у них исполняется правительственными учреждениями. Они не могут прорыть канал или проложить железную дорогу, не обращаясь за помощью к правительству. У них народ смотрит на правителей, а у нас правители—на народ. У них исполнительная власть есть центр, от которого общество расходится, как радиусы<sup>17</sup>; у нас общество есть двигатель, орган, исполнитель. Разница в результате соответствует разнице в процессе. Мы сделались способны к политической власти вследствие продолжительного пользования гражданскими правами; они же, пренебрегая пользованием этими правами, думают, что могут прямо начать с власти. Мы всегда показывали решимость поддерживать наши права, а когда времена были благоприятны—то и расширять их; делали мы это с пристойностью и степенностью, свойственными тем людям, которым такие предметы издавна знакомы. Но французы, с которыми всегда обходились как с детьми,—в политическом отношении все еще дети. И так как они вели самые важные дела в том живом и легкомысленном духе, которым отличается их легкая литература, то неудивительно, что они не имели удачи в тех делах, где первое условие успеха—чтобы люди издавна привыкли полагаться на собственные силы и чтобы прежде, нежели они испытают свое искусство в борьбе политической, силы их окрепли в том предварительном закале, который неминуче дает борьба с трудностями гражданской жизни.

Вот некоторые из тех соображений, которыми мы должны руководствоваться, строя предположения насчет будущей судьбы

великих европейских государств. Но там теперь особенно важно заметить, как долго противоположные стремления Франции и Англии высказывались в том положении и обращении, какими пользовалась в них аристократия, и как из этого естественно произошли некоторые резкие различия между борьбою Фронды и борьбою Долгого парламента.

Когда в четырнадцатом столетии власть французских королей стала быстро возрастать, политическое значение дворян стало, конечно, в той же мере уменьшаться. Но что особенно доказывает, до какой степени укоренилась в прежнее время их власть, это тот несомненный факт, что, несмотря на такое неблагоприятное для них обстоятельство, народ никогда не был в силах освободиться от их контроля. Отношения дворян к короне совершенно изменились, а отношения их к народу остались почти те же самые. В Англии рабство, или, как оно мягче называется, крепостное состояние, быстро уменьшалось и исчезло к концу шестнадцатого столетия<sup>18</sup>. Во Франции оно существовало еще двести лет и было уничтожено только в революцию. Точно так же до конца восемнадцатого столетия дворяне во Франции были изъяты от тех обременительных налогов, которые падали на народ. Подушная подать и барщина, эти тяжкие повинности, налагались исключительно на лиц низкого происхождения, потому что французская аристократия, будучи высокой, рыцарской расой, сочла бы оскорблением для своих знатных потомков, если бы они были обложены податью наравне с теми, которых они презирают, ставя их ниже себя<sup>19</sup>. В самом деле, все стремилось к поддержанию этого презрения. Все было направлено к унижению одного класса и к возвышению другого. Дворянам предоставлялись лучшие должности в духовенстве, а также самые важные военные посты. Им дарована была привилегия вступать в армию офицерами<sup>20</sup>, и им одним принадлежало исключительное право служить в кавалерии. В то же время, чтобы избежать и малейшей возможности смешения, такая же предусмотрительность проявляема была и в самых ничтожных обстоятельствах; старались, чтобы не было ни малейшего сходства даже в увеселениях двух классов. Это доходило до такой степени, что во многих местностях Франции право иметь птичник или голубятню совершенно зависело от звания человека: ни один француз, каково бы ни было его богатство, не мог держать голубей, если он был не дворянин, ибо такие развлечения считались слишком возвышенными для лиц плебейского происхождения.

Подобные условия имеют важность как свидетельство о состоянии того общества, среди которого они существовали; значение их делается в особенности очевидно, когда сравним этот порядок вещей с противоположным ему состоянием Англии. В Англии ни эти, ни какие-либо подобные им различия никогда не были известны. Дух, представителями которого были наши мелкие землевладельцы, наши копигольдеры и наши вольные горожане, был слишком силен, чтобы уступить тем началам

покровительства и монополии, которые поддерживаются аристократией в политике и духовенством в религии. Этой успешной оппозиции со стороны чувства личной независимости обязаны мы нашими двумя величайшими народными движениями — нашей Реформацией в XVI и нашим восстанием в XVII столетии. Но прежде чем излагать все, что было сделано в этих отношениях, я желал бы обратить внимание еще на одну сторону, представляющую новое доказательство раннего и радикального различия между Францией и Англией.

В одиннадцатом столетии возникло знаменитое учреждение рыцарства, которое было тем же для нравов, чем был феодализм для политического быта. Эта связь ясно видна не только из свидетельств современников, но и из двух общих соображений. Во-первых, рыцарство было таким высокоаристократическим учреждением, что никто не мог вступать в него, не будучи благородного происхождения, и предварительное воспитание, которое считали необходимым, давалось или в школах, учрежденных дворянами, или в их собственных баронских замках. Во-вторых, рыцарство было в сущности покровительственным, а вовсе не преобразовательным учреждением. Оно было придумано с целью действовать против некоторых притеснений по мере того, как они обнаруживались; оно представляет в этом отношении противоположность с духом реформы, который, действуя скорее как радикальные, чем как паллиативные, средства, поражает зло в самом корне, смиряя тот класс, от которого зло происходит, и минуя частные случаи, дабы сосредоточить внимание на общих причинах. Рыцарство, далеко не имея такого действия, было в самом деле смешением аристократических и клерикальных форм покровительственного духа<sup>21</sup>. Ибо, вводя в дворянство начало рыцарства, которое, будучи личным, никогда не могло быть передаваемо по наследству, учреждение это представляло, с одной стороны, возможность примирения церковного учения о безбрачии с аристократическим учением о наследственности. Эта коалиция имела чрезвычайно важные последствия. Именно ей обязана Европа появлением орденов полуаристократических и полурелигиозных — рыцарей-храмовников (тамплиеров), рыцарей св. Иакова, рыцарей св. Иоанна, рыцарей св. Михаила, — учреждений, причинивших обществу величайшее зло: члены их, соединив в себе однородные пороки, оживили суеверие монахов примесью солдатского разгула. Естественным последствием этого было, что огромное число благородных рыцарей торжественно дали обет «защитать церковь» — выражение зловещее, смысл которого слишком хорошо известен читателям церковной истории<sup>22</sup>. Таким образом рыцарство, соединив враждебные принципы безбрачия и знатности рождения, сделалось воплощением духа тех двух классов, которым эти принципы были свойственны. Какую бы пользу ни доставило это учреждение нравам<sup>23</sup>, но несомненно, что оно деятельно способствовало поддержанию людей в состоянии несовершен-

нолетия и остановило развитие общества, продолжив время его детства <sup>24</sup>.

Поэтому очевидно, что, взглянем ли мы на непосредственные или на отдаленные стремления рыцарства, его могущество и продолжительность окажутся мерою преобладания покровительственного духа. Если с этой точки зрения мы сравним Францию и Англию, то найдем новые доказательства раннего различия между этими странами. Турниры, первое открытое выражение рыцарства, обязаны своим происхождением Франции. Замечательнейшие и даже единственные два писателя, говорившие о рыцарстве, Зуанвиль и Фруассар оба были французами. Баярд, знаменитый рыцарь, всегда считавшийся последним представителем рыцарства, был французом и был убит, сражаясь за Франциска I. И только около сорока лет спустя после его смерти турниры были окончательно уничтожены во Франции — последние турниры были даны в 1560 г.

Но в Англии, где дух покровительства был менее деятелен, чем во Франции, следовало ожидать, что рыцарство, как порождение этого духа, будет иметь менее влияния. Так оно и было на самом деле. Почести, оказываемые рыцарям, и общественные отличия, отделявшие их от прочих классов, никогда не были так велики у нас, как во Франции. Чем более народ делался свободным, тем больше уменьшалось уважение его к таким предметам. В тринадцатом столетии, и именно в то самое царствование, когда горожане впервые призваны были в парламент, гласный символ рыцарства был в таком презрении, что вышел закон, обязывавший известных лиц принимать рыцарский сан, тогда как между другими нациями это было одним из главнейших предметов честолюбия. В четырнадцатом столетии новый удар лишил рыцарство его исключительного военного характера; в царствование Эдуарда III вошло в обычай давать рыцарство судьям судов права и таким образом воинственный титул превратился в гражданское достоинство. Наконец в исходе пятнадцатого столетия дух рыцарства, высоко еще стоявший во Франции, совершенно угас в нашей стране, и это гибельное учреждение сделалось предметом насмешки даже среди народа. К этим обстоятельствам мы можем присоединить еще два других, которые, кажется, заслуживают внимания. Первое — что французы, несмотря на их многие удивительные качества, всегда отличались большим личным тщеславием <sup>25</sup>, нежели англичане, — особенность эту отчасти должно приписать тем рыцарским преданиям, которых не могли истребить даже их случайные республики и которые приучали их придавать излишнее значение внешним отличиям; под последними я понимаю не только одежду и манеры, но также медали, ленты, звезды, кресты и т. п., чему мы, народ более гордый, никогда не оказывали такого высокого уважения. Второе обстоятельство — что дуэль была с самого начала более популярна во Франции, чем в Англии, а так как этим обычаем мы обязаны рыцарству, то разница

в этом отношении между двумя странами прибавляет новое звено в длинной цепи данных, на основании которых мы должны судить о национальных стремлениях их обеих <sup>26</sup>.

Старинные ассоциации идей, которых эти факты суть только внешнее выражение, теперь продолжали действовать с возрастающей силой. Во Франции дух покровительства, внесенный в религию, был довольно силен, чтобы противиться Реформации и сохранить духовенству по крайней мере формы его прежнего могущества. В Англии гордость народа и привычка полагаться на самого себя дали возможность выработаться целой системе, основанной на так называемом праве личного суждения, с помощью которой были искоренены некоторые из самых любимых преданий; а это обстоятельство, как мы уже видели, будучи непосредственно сопровождаемо сперва скептицизмом, а потом терпимостью, проложило путь к тому подчинению церкви государству, в котором мы достигли высшей степени и не знаем себе соперников между народами Европы. То же самое направление, действуя в политике, произвело подобные же результаты. Наши предки не встретили никакого препятствия к смирению гордости дворян и к приведению их в положение сравнительно ничтожное. Войны Алой и Белой роз, разделив знатнейшие фамилии на две враждебные партии, помогли этому движению, и с самого царствования Эдуарда IV не было примера, чтобы англичанин, даже из самого знатного рода, отважился вести те частные войны, которыми в других странах знатные бароны все еще нарушали спокойствие общества. Последний случай правильного сражения между двумя могущественными дворянами в Англии произошел в царствование Эдуарда IV. Когда междоусобные смуты затихли, тот же дух проявился в политике Генриха VII и Генриха VIII. Ибо эти государи, какими бы они ни были деспотами, преимущественно угнетали высшие классы, и даже Генрих VIII, несмотря на свою варварскую жестокость, был любим народом, для которого его царствование было вообще благотельно. К этому присоединилась еще Реформация, которая, как восстание человеческого ума, являлась в сущности движением мятежным и, ослабив в людях чувство подчиненности, посеяла в XV столетии семена тех великих политических революций, которые в XVII столетии вспыхнули почти во всех частях Европы. Связь между этими двумя революционными эпохами в высшей степени интересна; но для настоящей главы достаточно будет указать лишь на такие события последней половины XVI столетия, которые обнаруживают сочувствие между духовенством и аристократией и доказывают, что те же обстоятельства, которые были пагубны для одного класса, приготовили также и падение другого.

Когда Елизавета вступила на престол Англии, значительное большинство дворянства враждебно относилось к протестантской религии; это мы знаем из самых положительных свидетельств; но если бы мы даже не имели этих свидетельств, то знакомство вообще с человеческой природой заставило бы нас

предположить, что так именно и было. Ибо аристократия по самым условиям своего существования должна, как сословие, всегда враждебно смотреть на нововведения. И это не потому только, что при всякой перемене члены ее много теряют и мало выигрывают, а потому, что некоторые из их приятнейших душевных движений связаны скорее с прошедшим, чем с настоящим. В столкновениях с действительной жизнью их тщеславие иногда оскорбляется возвышениями темных личностей; оно часто также уязвляется успешным соревнованием с ними людей талантливых. Таковы оскорбления, которым, с развитием общества, они все более и более подвергаются. Но им стоит только обратиться к прошедшему, и они увидят в том добром, старом времени, которое уже не возвратится, много источников утешения. Там они находят такой период, когда их слава не знала соперничества. Когда они смотрят на родословные, на щиты своих гербов и на их деления, когда они вспоминают о чистоте своей крови и о древности своих предков,—они испытывают такое отрадное чувство, которое должно вполне вознаграждать их за всякие лишения в настоящем. К чему все это ведет, понять весьма легко: это видно из истории всех аристократий в свете. Люди, дошедшие до такого воззрения, чтобы полагать, будто им делает честь, если один предок их пришел с норманнами, а другой присутствовал при первом вторжении в Ирландию,—люди, до такой степени увлекавшиеся мечтаниями, не способны остановиться на этом; посредством процесса, привычного большинству умов, они обобщают свой взгляд и даже в вещах, не имеющих непосредственной связи с их славой, приобретают привычку соединять величие с древностью и оценивать достоинство годами, перенося таким образом на прошедшее то удивление, которое иначе они сохранили бы для настоящего.

Связь между такими чувствами и чувствами, одушевляющими духовенство, весьма очевидна. Что дворяне в политике, то духовные в религии. Оба класса, постоянно ссылаясь на голос древности, полагаются много на предания и находят большую важность в поддержании установившихся обычаев. Оба считают за вещь доказанную, что старое лучше нового и что в прежние времена существовали такие средства для открытия истин в государственном управлении и в теологии, каких мы в теперешние выродившиеся века более не имеем. Следует еще прибавить, что из сходства их принципов вытекает и сходство их стремлений. Оба они в высшей степени отличаются духом покровительства, неподвижностью, или, как иногда говорят, консерватизмом. Полагают, что аристократия оберегает государство от революции, а духовенство ограждает церковь от заблуждений. Первая — враг реформаторов; второе — бич ереси.

В настоящем введении не место рассматривать, насколько разумны эти принципы, или в какой мере здравы те понятия, которые предполагают, что в воззрениях на известные предметы огромной важности люди должны оставаться неподвижными,

между тем как во всем другом они должны постоянно идти вперед. Но что я теперь желаю особенно выяснить, это то, каким образом в царствование Елизаветы два великих консервативных и покровительственных класса были ослаблены тем обширным движением,— Реформацией, которая довершилась в XVI столетии, но была приготовлена длинным рядом предшествовавших фактов умственного развития.

Что бы ни говорили люди, ослепленные предрассудками, но принято всеми непредубежденными судьями, что протестантская Реформация была не более и не менее как открытое восстание. В самом деле, одного намека на личное суждение, на котором она неизбежно основывалась, достаточно для подтверждения этого факта. Установить право личного суждения значило апеллировать на церковь к разуму отдельных личностей; это значило расширить круг действия ума каждого отдельного человека; это значило верить мнения духовенства мнениями мирян; это значило, собственно, восстанавливать учеников против их учителей — подвластных против их властителей. И хотя реформатское духовенство, как только оно образовало из себя иерархию, без сомнения покинуло великий принцип, от которого оно первоначально исходило, и стало стремиться к введению догматов и канонов своего собственного изобретения,— все-таки это не должно ослеплять нас в отношении заслуг самой Реформации. Тирания англиканской церкви в царствование Елизаветы и еще более в царствование двух ее преемников была естественным последствием той порчи, которую иногда производит власть в тех, кто облечен ею, и потому это не уменьшает важности того движения, посредством которого была первоначально достигнута такая власть. Ибо люди не могли забыть, что, по старинной теологической теории, англиканская церковь считалась учреждением схизматическим и могла защищать себя от обвинения в ереси, только апеллируя к личному суждению, проявлению которого она обязана своим существованием, хотя ее собственные действия и были постоянным нарушением его прав. Было очевидно, что если в религиозных вопросах личное суждение важнее всего, то величайшим правительственным преступлением должно считать введение каких-либо постановлений или принятие каких-либо мер, которые бы связывали личное суждение; между тем как, с другой стороны, если право личного суждения не стоит выше всего, то англиканская церковь была виновна в вероотступничестве, потому что ее основатели, опираясь на толкование Библии, основанное на их личном суждении, оставили учения, которых они до тех пор держались, и открыто нарушали верность тому, перед чем в течение целых столетий все благоговели, как перед католической апостольской церковью.

Вот два простых решения вопроса, которые, конечно, могли быть упущены из виду, но не вовсе отвергнуты и о которых, без всякого сомнения, никогда не забывали. Память о великой истине, заключающейся в них, сохранилась в сочинениях и учениях пуритан и в той привычке к мышлению, которая свойственна пыт-



ливому веку. Когда пришла пора, истина эта не преминула принести свои плоды. Она продолжала медленно расплываться, и около половины XVII столетия семена ее получили такую жизненную силу, которой ничто не могло противостоять. То же самое право личного суждения, которое было громко провозглашено первыми реформаторами, теперь расширилось до размера губительного для тех, кто ему противился. Введенное в политику, оно ниспровергло правительство; внесенное в религию — уронило церковь<sup>27</sup>. Восстание и ересь суть только различные формы того же самого пренебрежения к преданиям — проявления того же самого смелого и независимого духа. Оба они имеют свойства протеста новейших идей против старинных понятий. Они составляют борьбу между чувствами, возбуждаемыми настоящим, и воспоминанием прошедшего. Без приведения в действие личного суждения такая борьба никогда не могла бы иметь места; ни малейшая мысль о ней не могла бы никому прийти в голову; люди никогда и не подумали бы подавлять своей личной энергией те злоупотребления, которым подвержены все обширные общества. Поэтому в высшей степени естественно, что применению личного суждения должны противиться те два могущественных класса, которые, по своему положению, по своим интересам и складу ума, склонны более чем кто-либо любить старину, держаться обветшалых обычаев и поддерживать учреждения, которые, по их любимому выражению, были освящены мудростью их отцов.

С этой точки зрения мы имеем возможность с большой ясностью различать тесную связь, которая существовала при воцарении Елизаветы между английскими дворянами и католическим духовенством. Несмотря на многие исключения, огромное большинство в обоих классах противилось Реформации, потому что она была основана на праве личного суждения, которого они, как покровители старых мнений, были естественными антагонистами. Все это не должно возбуждать удивления; оно было в порядке вещей и строго согласовалось с духом этих двух классов общества. К счастью, однако, для нашей страны, на троне была государыня, которая во всем соображалась с обстоятельствами и которая вместо того, чтобы делать уступки обоим классам, воспользовалась духом времени, чтобы смирить и тех, и других. Изложение того, каким образом Елизавета достигла этой цели сперва относительно католического духовенства, а потом и относительно протестантского, составляет одну из интереснейших страниц нашей истории, и, при рассказе о царствовании этой великой королевы, я надеюсь рассмотреть этот вопрос довольно подробно. Теперь же достаточно будет взглянуть на политику ее в отношении к дворянам, — к тому классу, с которым духовенство, по его интересам, убеждениям и понятиям, всегда имело много общего.

Елизавета, найдя при своем восшествии на престол, что древние фамилии держатся старой религии, призвала естественным образом в свой совет таких лиц, от которых скорее можно было

ожидать поддержки нововведениям, соответствовавшим духу времени. Она избрала людей, которые, не будучи стеснены связями с прошедшим, имели большую склонность в пользу современных интересов. Два Бэкона, два Сесила (Бёрли), Садлер, Смит, Трогмортон, Вальсингам — все это знаменитейшие государственные люди и дипломаты ее царствования, и все они были членами палаты общин; одного только возвела она в достоинство пэра. Люди эти, конечно, не были замечательны ни настоящими родственными связями, ни славою своих предков; они обратили, однако, на себя внимание Елизаветы своими замечательными способностями и своей решимостью поддерживать религию, против которой старинная аристократия, естественно, восставала. Замечательно, что между обвинениями, взводимыми на эту королеву католиками, находятся порицания не только за отступление от старой религии, но и за пренебрежение к старинному дворянству<sup>28</sup>.

Не требуется слишком большого знания истории того времени, чтобы видеть, насколько это обвинение справедливо. Какое бы ни давали объяснение этому факту, но нельзя отрицать, что в царствование Елизаветы была открытая и постоянная оппозиция дворян исполнительному правительству. Возмущение 1569 г. было в сущности аристократическим движением; это было восстание знатных фамилий севера против плебейского, по их мнению, управления королевы<sup>29</sup>. Злейшим врагом Елизаветы была, конечно, Мария Шотландская; интересы Марии были открыто защищаемы герцогом Норфолкским, графом Нортумберлендским, графом Вестморлендским и графом Арёндем; есть тоже причины предполагать, что ее делу втайне помогали маркиз Нортгемптон, граф Пемброк, граф Кумберленд, граф Шрюсбери и граф Сёссекс.

Существование такого антагонизма интересов не могло ускользнуть от проницательности английского правительства. Сесил, самый могущественный из министров Елизаветы, стоявший во главе правления около сорока лет, считал одной из обязанностей своих изучать генеалогии и материальные средства знатных фамилий; и это он делал не из пустого любопытства, а ради усиления своего контроля над ними или, как говорит один великий историк, «для того, чтобы они знали, что его глаз следит за ними». Сама королева при всем своем властолюбии несколько не была расположена к жестокости, но ей, по-видимому, нравилось унижать дворян. На них тяжело ложилась рука ее, и трудно найти хотя один случай, в котором бы она простила им какой-либо проступок; многих из них она наказала за такие дела, которые теперь вовсе не считались бы преступлениями. Она всегда неохотно допускала их к отправлению власти, и нет никакого сомнения, что в ее долгое благополучное царствование с дворянами, как с сословием, обращались необыкновенно непочтительно. И в самом деле, так ясно обозначалась политика ее в этом отношении, что, когда вымерло сословие герцогов (1572), она отказалась восстановить его; и прошло целое поколение, для которого слово «герцог» было чем-то чисто историческим, пред-

метом обсуждения для антиквариев, не имеющих никакого отношения к практической жизни. Каковы бы ни были ее ошибки в других отношениях, но в этом она была всегда последовательна. Прилагая величайшее старание к тому, чтобы окружить престол свой даровитыми личностями, она весьма мало заботилась о тех условных различиях между людьми, которые так важны в глазах посредственных государей. Она не обращала внимания на высокие звания и не смотрела на чистоту крови. Людей ценила она не по знатности их происхождения, не по древности их родословных и не по блистательности их титулов. Все подобные вопросы она оставила своим выродившимся преемникам, умы которых как бы созданы были для рассмотрения их. Наша великая королева определяла свой образ действий по совершенно другим началам. Ее обширный и могучий ум, до совершенства развитый мышлением и наукой, указывал ей на настоящую для всего меру и дал ей возможность заметить, что для успешности действий какого-либо правительства необходимы советники даровитые и добросовестные и что, если только это условие исполнено, аристократам можно предоставить спокойно наслаждаться жизнью, вдали от тех государственных забот, к которым они, за некоторыми блистательными исключениями, естественно не способны, по множеству своих предрассудков и по пустоте своего обыкновенного образа жизни.

После смерти Елизаветы сделана была попытка сперва Яковом, потом Карлом возобновить могущество двух классов, олицетворяющих в себе покровительственное начало,—аристократии и духовенства. Но общее направление того времени так превосходно согласовалось с политикой Елизаветы, что Стюартам оказалось невозможно исполнить свои злостные замыслы. Применение личного суждения, как к религии, так и к политике, до такой степени вошло в привычку у всей нации, что государям этим не удалось подчинить это суждение своей воле. И когда Карл I с непостижимым ослеплением и упорством, превышающим даже упорство отца его, настаивал на том, чтобы ввести в самых худших формах противоестественные теории покровительства, и стремился упрочить такой образ правления, который граждане, при возрастающей самостоятельности их, решились отвергнуть,—то неизбежно должно было произойти достопамятное столкновение, которое справедливо названо великим восстанием Англии. Об аналогии между этим событием и протестантской Реформацией я уже говорил; но что теперь нам остается рассмотреть и что я постараюсь очертить в следующей главе, это—различие между нашим восстанием и современными ему войнами Фронды, с которыми оно во многих отношениях было весьма сходно.

## ГЛАВА X

### **Сила, которой обладал дух покровительства во Франции, служит объяснением неуспеха Фронды. Сравнение Фронды с современным ей английским восстанием**

Предметом последней главы было исследование о происхождении духа покровительства. Из собранных там доказательств видно, что этот дух впервые проявился в ясной и притом светской форме в конце темных веков, но, благодаря разным обстоятельствам того времени, был с самого начала гораздо менее силен в Англии, чем во Франции. Вместе с тем оказалось, что в нашем отечестве он и впоследствии постоянно ослабевал, между тем как во Франции с начала четырнадцатого века он принял новую форму и вызвал стремление к централизации, которое проявилось не только в гражданских и политических учреждениях, но и в социальной и даже литературной жизни французской нации. Вот насколько мы, по-видимому, проложили путь к ясному пониманию истории обеих стран; теперь же я намереваюсь развить эту мысль несколько далее и показать, до какой степени этим различием объясняется несходство междоусобных войн Англии с распрями, вспыхнувшими в то же время во Франции.

В числе очевидных характеристических черт великого восстания Англии самая заметная заключается в том, что восстание это было борьбою не только политических партий, но и сословий. С самого начала борьбы мелкие землевладельцы и торговый класс примкнули к парламенту, между тем как дворянство и духовенство сгруппировались около королевского трона. Самые названия, данные обеим партиям, «круглоголовых» и «кавалеров» доказывают, что истинный характер распри был всем известен. Это доказывает, что люди знали, что на очереди стоял вопрос, разделявший Англию на партии не столько в силу частных интересов отдельных личностей, сколько во имя общих интересов сословий, к которым эти личности принадлежали.

Но в истории французского восстания нет и малейшего следа такого широкого разделения. Цели войны были в обеих странах совершенно одинаковы, но средства, послужившие для этих целей, были совершенно различны. Фронда настолько походила на наше восстание, насколько она была борьбою парламента с короною — насколько она была попыткой обеспечить свободу и воздвигнуть оплот против деспотизма правительства<sup>1</sup>. До тех пор, пока мы будем иметь в виду только политические цели обеих распрей, параллель будет совершенная. Но так как социальные и умственные условия, в которых до того времени стояли французы, были весьма различны от обстановки англичан, то необходимым последствием этого было, что и форма, которую приняло восстание, оказалась равным образом различна, хотя побу-

ждения были одни и те же. Если мы рассмотрим это различие несколько ближе, то увидим, что оно находится в связи с обстоятельством, только что мною замеченным, а именно, что в Англии война за свободу сопровождалась войной сословий, тогда как во Франции такой войны не было вовсе. Вследствие этого во Франции восстание, будучи только политическим, а не политическим и социальным, как это было у нас, менее овладевало всеми умами; оно не сопровождалось тем чувством самобытности, без которого свобода всегда была невозможна; не имея корня в национальном характере, оно не могло спасти страну от того рабского состояния, в которое она быстро впала несколько лет спустя, в правление Людовика XVI.

Что наше великое восстание было в его внешних проявлениях войной сословий, это один из тех осязательных фактов, которые выдаются вперед в истории. Сперва парламент<sup>2</sup> действительно стремился привлечь на свою сторону некоторых дворян, и это удавалось ему несколько времени; но с дальнейшим развитием борьбы бесплодность такой политики сделалась очевидной. В нормальном ходе великого движения дворяне оказывались все более и более приверженными королю, парламент становился все более и более демократическим. А когда сделалось очевидно, что и та, и другая партии решились или победить, или умереть, то этот антагонизм сословий излишком ясно обозначался, чтобы быть непонятым; понимание каждой партией своих интересов усиливалось под влиянием величия тех благ, из-за которых они боролись.

Не наполняя без нужды этого введения тем, что можно найти в наших обыкновенных исторических сочинениях, достаточно будет напомнить читателю некоторые наиболее резкие факты того времени. Перед самым началом войны граф Эссекс был назначен главнокомандующим парламентскими войсками, а в помощники к нему — граф Бэдфорд. Равным образом поручение набирать войска было дано графу Манчестеру, единственному человеку из высшего сословия, которому Карл оказывал прямую неприязнь. Несмотря на такие знаки доверия, дворяне, на которых парламент вначале был готов положиться, не могли не выказать старых наклонностей своего сословия. Граф Эссекс так вел себя, что внушил народной партии величайшие подозрения в том, что он обманывает ее, и, когда защита Лондона была вверена Воллеру, Эссекс так упорно отказывался вписать в патент имя этого даровитого офицера, что члены нижней палаты были вынуждены сделать это своей собственной властью, вопреки своему же генералу. Граф Бэдфорд, хотя и принял военное назначение, не поколебался, однако, покинуть тех, от кого получил его. Этот дворянин-отступник бежал из Вестминстера в Оксфорд, но, найдя, что король, никогда не прощавший своих врагов, принял его не так милостиво, как он ожидал, вернулся в Лондон, где хотя и остался безопасным, но нельзя было предположить, чтобы он опять удостоился доверия парламента.

Нельзя было ожидать, чтобы такие примеры повели к уменьшению недоверия, которое обе партии чувствовали друг к другу. Скоро сделалось очевидным, что война между сословиями неизбежна и что восстание парламента против короля будет усилено восстанием народа против дворян<sup>3</sup>. Народная партия, каковы бы ни были ее первые намерения, теперь охотно примирилась с этой необходимостью. В 1645 г. она издала закон, по которому не только граф Эссекс и граф Манчестер лишены были командования, но и все члены обеих палат были изъяты от военной службы. И не позже как через неделю после казни короля народная партия формально отняла законодательную власть у пэров, внеся в то же время в протокол свое замечательное мнение, что палата лордов «бесполезна, вредна и должна быть уничтожена».

Но мы найдем еще более удивительные доказательства относительно истинного характера английского восстания, если взглянем, что за люди были его двигателями. Это обнаружит нам демократический характер того движения, которое законоведы и антикварины тщетно старались представить в виде конституционного. Наше великое восстание было делом людей, смотревших не назад, а вперед; стараться найти причины его в личных и временных обстоятельствах, приписывать этот беспримерный взрыв спору о корабельной подати или ссоре из-за привилегий парламента — прилично лишь тем историкам, которые не видят далее того, что сказано во вступлении к какому-нибудь статуту или в решении какого-нибудь судьи. Такие писатели забывают, что суд над Гэмбденом и обвинение пяти членов не произвели бы никакого впечатления на всю страну, если бы народ не был уже к этому подготовлен и если бы, под влиянием духа исследования и неподчиненности, не развилось до такой степени недовольство людей, что они пришли в положение, при котором был постоянно готов пороховой проводник и достаточно было малейшей искры, чтобы произвести взрыв.

Дело в том, что восстание было взрывом демократического духа. Оно было политической формой того движения, религиозной формой которого была Реформация. Как Реформация поддерживалась не высшими сановниками церкви, не влиятельными кардиналами или богатыми епископами, а людьми, занимавшими низшие и наиболее подчиненные должности, точно так же и английское восстание было движением снизу, восстанием, начавшимся с самого основания, или, как некоторые находят, с отстоя, общества. Несколько лиц высшего сословия, примкнувших к народному делу, были скоро устранены; легкость и быстрота, с какой они отстали от него, служили ясным указанием, что дела начинали принимать новый оборот. Как только армия была освобождена от своих знатных вождей, и они были заменены офицерами, вышедшими из низших сословий, счастье повернулось; роялисты были везде разбиты, и король взят в плен своими собственными подданными. В промежутке между его пленом

и казнь важнейшими политическими событиями были: увоз его Джойсом и насильственное удаление из палаты общин тех членов, которых подозревали в склонности действовать в его пользу. Оба этих решительных шага были сделаны — да оно и не могло быть иначе — людьми с большим личным влиянием и смелым, решительным характером. Джойс, увезший короля и пользовавшийся большим уважением в армии, был незадолго до того простым портным-работником; а полковник Прайд, имя которого сохранилось в истории, как имя человека, очистившего палату общин от злоумышленников, занимал прежде почти такое же положение, как Джойс; первоначальным его занятием был ломовой извоз. Портной и ломовой извозчик были в том веке достаточно сильны, чтобы давать направление ходу общественных дел и чтобы составить себе видное положение в государстве. После казни Карла продолжало проявляться то же самое направление. По разрушении старой монархии та небольшая, но деятельная партия, которая известна под именем людей пятой монархии, приобрела особенную важность и некоторое время пользовалась значительным влиянием. Тремя главными и самыми значительными членами ее были Веннер, Тёффнел и Окей. Веннер, главный вождь, был бочаром; Тёффнел, второй после него в командовании, был плотником; а Окей, хотя и сделался впоследствии полковником, прежде исполнял должность кочегара в одной из ислингтонских пивоварен.

На все это не должно, однако, смотреть, как на исключительные случаи. В ту эпоху возвышение зависело только от личного достоинства, и если человек имел способности, то он мог быть уверен, что возвысится, каково бы ни было его рождение или прежнее занятие. Кромвель сам был пивоваром<sup>4</sup>, а полковник Джонс, его зять, был слугою одного частного лица. Дин находился сперва в услужении у одного кушца, а потом сделался адмиралом и был назначен одним из комиссаров флота. Полковник Гофф был учеником у торговца сушенными и солеными; генерал-майор Уоллей был учеником у суконного торговца. Скеппон, простой солдат, без всякого образования, был назначен командиром лондонской милиции; он получил потом звание сержанта-генерал-майора армии, назначен главнокомандующим в Ирландии и сделан одним из четырнадцати членов Кромвелева совета. Двумя из комендантов Тауэра были Беркстэд и Тичборн. Беркстэд был разнощиком или по крайней мере торговал мелкими товарами; а Тичборн торговал холстом; последний не только получил комендантство над Тауэром, но и был сделан в 1655 г. полковником и членом Государственного комитета, а в 1659 г. — членом Государственного совета. Не менее посчастливилось и другим ремеслам, так как высшие отличия были доступны всем людям, если только они выказали потребные для того способности. Полковник Гарвей торговал прежде шелком — тем же занимались и полковник Роу, и полковник Вэнн. Салсэй был учеником у бакалейщика, но, благодаря своим способностям

достиг чина майора в армии, получил потом должность стряпчего королевских дел в суде Казначейства, а в 1659 г. назначен был парламентом в число членов Государственного совета. Вокруг стола того же совета заседали Бонд, суконный торговец, и Коулей, пивовар; а возле них мы встречаем Джона Бернерса, который, говорят, был слугой в частном доме, и Корнелиуса Толланда, о котором положительно известно, что он был лакеем, а до того даже уличным факельщиком. В числе других лиц, бывших в милости и получивших важные должности, находились: Пак, торговец шерстью, Пюри, ткач, и Пембл, портной. Парламент, созданный в 1653 г., и до сих пор известен под названием Бэрбонова парламента,— название, происшедшее от имени Бэрбона, одного из деятельнейших членов его, кожевника торгова в Флит-Стрите. Таким же образом Доунинг из бедных мальчиков сделался счетным чиновником Казначейства по королевским суммам. Ко всему этому мы должны еще прибавить, что полковник Гортон был лакеем; полковник Бэрри — мясным торговцем; полковник Купер — мелочным торговцем; майор Рольф — башмачником; полковник Фокс — медником и полковник Гьюсон — башмачником.

Таковы были вожди английского восстания, или, собственно говоря, таковы были орудия, которыми совершено было это восстание<sup>5</sup>. Если мы теперь обратимся к Франции, то ясно увидим разницу между чувствами и нравом обеих наций. Во Франции старый дух покровительства все еще действовал, и народ, удерживаемый в состоянии несовершеннолетия, не приобрел тех привычек самоуправления и самоупования, без которых не могут быть совершены великие дела. Французы так привыкли смотреть с робким благоговением на высшие сословия, что, даже когда взялись за оружие, все-таки не могли отбросить идеи подчиненности, от которой наши предки живо избавились. Влияние высших сословий в Англии постоянно ослабевало, во Франции же оно почти не уменьшилось. Вот почему, несмотря на то что английское и французское восстания были современны одно другому и вначале стремились совершенно к тем же целям, между ними все-таки было весьма важное различие. Оно заключалось в том, что во главе английских инсургентов стояли вожди из народа, а во главе французских — вожди-дворяне. Смелость и стойкость — свойства, издавна выработавшиеся в английском народе, дали возможность среднему и низшему сословиям выбрать своих вождей из своей же среды. Во Франции таких вождей найти было невозможно просто потому, что, благодаря духу покровительства, такие качества не развились во французском народе. Итак, в то время как на нашем острове гражданские и военные обязанности исполнялись, с очевидным талантом и полным успехом, мясниками, хлебопеками, пивоварами, башмачниками и медниками,— борьба, происходившая в то же время во Франции, имела совершенно другой вид. В этой стране во главе восстания стояли люди гораздо высшего слоя,— люди,



можно сказать, самого древнего и знатного происхождения. Действительно, там представлялось зрелище беспримерного блеска — млечный путь чинов, благородное сборище аристократических инсургентов и титулованных демагогов. Там были принцы: Конде, Конти, Марсильяк; герцоги: Буйон, Бофор, Лонгвиль, Шеврёз, Немур, Люин, Бриссак, д'Элбёф, Кандаль, де Латремуиль; маркизы: де Лабуле, Лег, Нуармутье, Витри, Фоссёз, Сильери, д'Эстиссак, д'Оккенкур; графы: Ранцау, Монтрезор и пр.

Таковы были вожди Фронды; простое перечисление их имен уже указывает на различие между английским и французским восстанием. От этого различия произошли некоторые результаты, вполне заслуживающие внимания тех писателей, которые в своем неведении об успехах, делаемых человечеством, селятся поддерживать то могущество аристократии, которое уже давно начало падать и в последнее столетие в самых цивилизованных странах подвергалось таким жестоким и частым потрясениям, что окончательная судьба его теперь едва ли подлежит слишком большому сомнению.

Во главе английского восстания стояли люди, вкусы, привычки и понятия которых, будучи чисто народными, образовали связь взаимного сочувствия между ними и народом и обеспечивали единство всей партии. Во Франции симпатия была слишком слаба, а потому и единство весьма сомнительно. Какого рода симпатия могла существовать между ремесленником и крестьянином, в поте лица зарабатывавшими свой насущный хлеб, и богатым развратным аристократом, проводившим жизнь в тех пустых занятиях, которые унижали его ум и делали его звание предметом насмешки и укора у всех народов? Толковать о симпатии между этими двумя классами — очевидная нелепость, и к тому же таким предположением верно обиделись бы те высокородные люди, которые обращались с своими подчиненными, как и всегда, дерзко и презрительно. Правда, что вследствие причин, указанных нами выше, народ во Франции, к несчастью для него самого, смотрел на тех, кто был поставлен над ним, с величайшим благоговением; но каждая страница истории Франции доказывает, как недостойно ему отвечали на это чувство и в каком рабском состоянии там держали низшие сословия. Итак, с одной стороны, французы, вследствие издавна установившейся привычки к зависимости, сделались неспособны сами вести свое восстание и потому принуждены были встать под начальство дворян, с другой — эта же необходимость поддерживала и то раболепство, которое породило ее; таким образом останавливалось развитие свободы, и нация эта не могла достигнуть посредством своих междоусобных войн тех великих результатов, к которым мы имели возможность прийти путем наших войн.

И в самом деле, стоит только прочесть произведения французской литературы XVII столетия, чтобы видеть несовместимость

упомянутых выше двух классов и положительную невозможность слияния в одной партии народного и аристократического духа. В то время, как целью народа было освободить себя от ярма, целью дворян было только найти новые источники для возбуждения себя удовлетворить своему личному тщеславию, которым они вообще всегда славились<sup>6</sup>. Так как этот собственно отдел истории был малоизучаем, то интересно собрать несколько примеров, которые объяснили бы нам свойства французской аристократии и показали бы, какого рода почестей и каких отличий наиболее добивалось это могущественное сословие.

Что цели, к которым главным образом стремилась французская аристократия, были весьма ничтожны, это всякий может вперед представить себе, кто изучал влияние, какое имеют в огромном большинстве случаев наследственные отличия на личный характер людей<sup>7</sup>. Как губительны такие отличия, это ясно видно в истории всех европейских аристократий и в том известном факте, что ни одна из них не сохранила нигде даже посредственных дарований, исключая тех стран, где аристократия часто обновляется примесью плебейской крови и где сословие это получает подкрепление той мужской твердостью, которой отличаются люди, сами создающие себе положение, и которой нечего и искать в людях, получающих положение уже готовое.

Как скоро укоренилась в уме мысль, что источник чести находится вне, а не внутри нас, то обладание внешними отличиями предпочитается сознанию внутренней силы. В подобных случаях величие человеческого разума и достоинство человеческого знания считаются подчиненными тем ложным, искусственным постепенностям, которыми слабые люди измеряют степени своего собственного ничтожества. Вследствие этого настоящий порядок вещей совершенно извращается, ничтожное ставится выше великого, и ум растрчивает свои силы, применяясь к ложному мерилу заслуг, созданному его же собственными предрассудками. Поэтому очевидно неправы те, которые упрекают дворянство за его гордость, как будто бы она составляла отличительную черту этого сословия. Дело в том, что если бы в дворянстве раз навсегда укоренилась гордость, то за этим быстро последовало бы его исчезновение. Толковать о гордости наследственного сословия — значит сбиваться в выражениях. Гордость зависит от чувства самодовольствия; тщеславие же питается одобрениями других. Гордость есть скрытая, возвышенная страсть, пренебрегающая теми внешними отличиями, на которые с жадностью бросается тщеславие<sup>8</sup>. Гордый человек видит в своем собственном уме источник своего достоинства, который, как ему известно, не может быть ни увеличен, ни уменьшен никакими другими действиями, кроме происходящих только из него самого. Тщеславный человек, беспokoйный, ненасытимый и всегда стремящийся возбудить удивление в своих современниках, должен, конечно, полагать большую важность в тех внешних знаках, в тех видимых отличиях, которые, будут ли то ордена

или титулы, непосредственно действуют на чувства и таким образом пленяют простого человека, прямо проникая в его сознание. Итак, если главная разница заключается в том, что гордость смотрит внутрь, а тщеславие — наружу, то ясно, что, когда человек важничает званием, которое ему досталось случайно, по наследству, без труда и без заслуг, он этим доказывает не гордость, а тщеславие, и притом тщеславие самого жалкого свойства. Это доказывает, что такой человек не имеет никакого чувства истинного достоинства, никакого понятия о том, в чем единственно состоит все величие. Удивительно ли, если для таких умов самая ничтожная вещь становится предметом высшей важности? Удивительно ли, если такие пустые головы озабочиваются внешними украшениями; если один дворянин томится желанием Ордена подвязки, другой скучает по золотому руну.

Мы, видя все это, не должны были бы удивляться, что французские дворяне в XVII столетии проявляли в своих интригах то легкомыслие, которое хотя и искупается по временам исключениями, но тем не менее составляло отличительную черту наследственной аристократии. Несколько примеров будет достаточно, чтобы дать читателю некоторое понятие о вкусах и умственном настроении этого могущественного класса, который в течение нескольких столетий задерживал успехи французской цивилизации.

Из всех вопросов, по поводу которых случались разногласия между французскими дворянами, самым важным был вопрос о праве сидеть в королевском присутствии. Это считалось предметом такой важности, что в сравнении с ним простая борьба за свободу теряла всякое значение. А что давало еще большую пищу для умов аристократии, это те чрезмерные трудности, которыми была обставлена эта важная социальная задача. Согласно древнему этикету французского двора, если кто был герцог, то жена его могла сидеть в присутствии королевы, но если он имел низшее звание, даже если он был маркиз, то подобной вольности не дозволялось<sup>9</sup>. Правило было очень просто и в высшей степени нравилось самим герцогиням. Но маркизам, графам и другим знатым дворянам было не по вкусу такое ненавистное различие, и они употребляли всю свою энергию, чтобы добиться той же чести и для своих жен. Против этого сильно восставали герцоги, но благодаря обстоятельствам, которые, по несчастью, не вполне разгаданы, сделано было одно нововведение в царствование Людовика XIII, и привилегия сидеть в одной комнате с королевой была дарована женским членам фамилии Буйон<sup>10</sup>. Вследствие этого дурного примера вопрос серьезно усложнился, так как другие члены аристократии считали, что чистота их породы давала им ни в каком случае не меньшие права, чем те, которые имел дом Буйон, древность которого, по их мнению, была грубо преувеличена. Возникший из этого спор имел последствием распадение дворянства на две враждебные партии; одна старалась удержать исключительно за собою то

право, которым другая желала одинаково пользоваться. Для примирения этих двух враждебных домогательств предлагаемы были разные ухищрения, но все было напрасно, и двор в управление Мазарини, побуждаемый страхом восстания, обнаружил признаки уступчивости и расположение предоставить низшему дворянству то, чего оно так пламенно желало. В 1648 и 1649 гг. королева-правительница, действуя по внушению своего советника, формально пожаловала право сидеть в королевском присутствии трем самым знатным членам низшей аристократии, а именно: графине де Фле, госпоже де Понс и принцессе де Марсильяк. Как только сделалось известно это решение, принцы крови и пэры королевства пришли в страшное волнение<sup>11</sup>. Они немедленно вытребовали в столицу членов своего сословия, заинтересованных отражением этого дерзкого нападения, и, составив собрание (1649 г.), тотчас же решили, какие им следует принять меры для восстановления своих древних прав. С другой стороны, низшее дворянство, увлеченное своим недавним успехом, настаивало на том, чтобы только что сделанная уступка была обращена в прецедент и чтобы честь сидеть в присутствии ее величества, дарованная дому Фуа, в лице графини де Флэ, была распространена и на всех тех, которые могли доказать, что предки их были не менее славны. И вот произошло страшное смятение; обе стороны упорно настаивали на своих притязаниях, так что в продолжение нескольких месяцев можно было опасаться, что прибегнут для разрешения вопроса к помощи оружия. Но так как высшее дворянство, хотя и меньшее числом, было все-таки сильнее, то спор был окончательно решен в его пользу. Королева отправила к собранию высшей аристократии формальное послание с четырьмя маршалами Франции, в котором она давала обещание отменить те привилегии, пожалование которых до такой степени оскорбляло самых знатных членов французской аристократии. При этом маршалы не только взяли на себя ответственность за исполнение обещания королевы, но даже вызывались дать подписку, что лично будут наблюдать за этим исполнением. Но дворяне, которые сознавали, что предшествовавшей обидой была затронута их самая чувствительная струна, не удовлетворялись и этим; для успокоения их нужно было, чтобы удовлетворение было так же публично, как и самая обида. Признано было необходимым, чтобы, прежде чем они мирно разойдутся, правительство издало акт, за подписью королевы-правительницы и четырех статс-секретарей, и чтобы этим актом преимущества, дарованные непривилегированному дворянству, были отменены, и чтобы всем дорогая честь сидеть в королевском присутствии была отнята у принцессы де Марсильяк, госпожи де Понс и у графини де Фле.

Вот какие предметы занимали умы и истощали энергию французских дворян, в то время как их отечество было терзаемо междоусобною войною и когда были на очереди вопросы величайшей важности,— вопросы, касавшиеся свободы нации и пере-

мены всего государственного управления. Едва ли нужно доказывать, как мало могли быть способны подобные люди руководить народом в его тяжелой борьбе и какая громадная была разница между ними и предводителями великого восстания Англии. Причины неуспеха Фронды сделаются очевидны, если мы примем в соображение, что вожди ее были взяты из того самого сословия, вкусы и влечения которого мы только что объяснили некоторыми данными. Какое бесчисленное множество можно привести других подобных данных, это хорошо знает всякий, кто читал французские мемуары семнадцатого столетия,—сочинения, которые, будучи большей частью написаны или самими аристократами, или их приближенными, дают самые лучшие материалы для составления мнения о французском дворянстве. Заглянув в эти достоверные источники, где подобные вещи рассказываются с достоподобным сознанием их важности, мы найдем величайшие затруднения и споры, возникающие по поводу того, кому полагается кресло при дворе<sup>12</sup>; кто может быть приглашаем к королевскому столу, а кто не может; кого может целовать королева, а кого не может (в «Мемуарах» Мотвиль помещен формальный список лиц, которых ей полагалось целовать); кто должен сидеть в первых местах в церкви; какая собственно должна быть пропорция между чинами разных лиц и длиною сукна, на котором им позволено стоять; какого звания должно быть лицо, чтобы иметь право въезжать в Лувр в карете; кто должен идти впереди на коронациях; все ли герцоги равны, или же, как полагали некоторые, герцог де Буйон, как владевший некогда самостоятельно Седаном, был выше герцога де Ларошфуко, который никогда не имел самостоятельного владения<sup>13</sup>; мог ли или нет герцог де Бофор входить в комнату совета прежде герцога де Немура и, будучи уже там, сесть выше его<sup>14</sup>. Вот что составляло главнейшие вопросы дня; в то же время, и как бы в довершение всякой нелепости, возникали самые серьезные недоумения насчет того, кому принадлежит честь подавать королю салфетку за столом<sup>15</sup> или кто должен пользоваться неоцененным преимуществом переменять королеве белье<sup>16</sup>.

Может быть, кто-нибудь подумает, что я должен отчасти извиниться перед читателями за то, что я навязываю их вниманию эти жалкие споры о предметах, которые, как ни кажутся они ничтожными в настоящее время, были некогда дороги для людей, не лишенных здравого смысла. Но должно помнить, что подобные споры, и в особенности важность, которую придавали им в прежнее время, составляют принадлежность истории французского ума и потому должны быть оцениваемы не по своему внутреннему достоинству, а по тому понятию, которое они дают о порядке вещей, уже не существующем. Этого рода факты, хотя ими и пренебрегают обыкновенные историки, принадлежат все-таки к числу самых необходимых пособий для истории. Они не только дают нам возможность живо представить себе те времена,

к которым они относятся, но имеют также огромную важность и с философской точки зрения. Они входят в число материалов, из которых мы можем вывести общие законы того мощного духа покровительства, который в различные периоды времени принимает различные формы, но, каковы бы ни были его формы, всегда бывает обязан своей силой чувству раболепства, поставленному в противоположность к чувству независимости. До какой степени естественна такая сила на известных ступенях общества, это мы ясно увидим, если рассмотрим в основание, на котором держится само раболепство. Источник раболепства — удивление и страх. Эти два чувства, порознь или вместе, составляют обыкновенный источник раболепства; а каким образом они сами рождаются, совершенно понятно. Мы удивляемся, потому что мы невежественны, а страшимся, потому что слабы. Поэтому естественно, что в прежние времена, когда люди были невежественнее и слабее, чем теперь, они были также и более склонны к раболепству, более расположены к тому раболепному настроению, которое, будучи перенесено в религию, приводит к суеверию, а перенесенное в политику — к деспотизму. При обыкновенном ходе развития общества зло это умеряется успехами знания, которые в одно и то же время уменьшают наше невежество и усиливают наши средства; другими словами — уменьшают нашу склонность к удивлению и на страх и, ослабляя в нас таким образом чувство раболепства, в такой же мере усиливают чувство независимости. Но во Франции, как мы уже видели, естественное стремление это перевешивалось другим, противоположным ему стремлением. В то время как, с одной стороны, дух покровительства был ослабляем успехами знания, с другой — к нему подспевали на помощь те социальные и политические обстоятельства, которые я пытался выше очертить и в силу которых каждый класс имел большую власть над классом, стоявшим ниже его, и таким образом вполне поддерживались подчиненность и послушничество всего общества. Вот почему все умы приобрели привычку смотреть наверх и полагаться не на свои собственные средства, а на средства других. Вот откуда произошла та гибкость и та послушность, которыми всегда отличались французы до XVIII столетия. Вот чем объясняется также то непомерное уважение к мнениям других, на котором основывается тщеславие, составляющее одну из черт национального характера французов. Свойства эти связаны также и с учреждением рыцарства; оба они суть сродные проявления одного и того же духа. Тщеславие и раболепство, очевидно, имеют то общее, что побуждают каждого человека измерять свои действия мерилom, находящимся вне его самого, между тем как противоположные им чувства, гордость и независимость, заставляют его предпочитать то внутреннее мерило, которое может дать ему только его ум. Результатом всего этого было, что, когда в половине XVII столетия успехи умственного движения привели французов к восстанию, действие этого движения было нейтрализовано теми социальны-

ми тенденциями, которые даже среди борьбы сохраняли старые привычки послушничества. Вот почему и в самом разгаре войны в народе все еще сохранялась всегдашняя склонность смотреть кверху на дворян, а в дворянах — смотреть таким же образом на корону. И тот, и другой классы полагались на то, что они видели непосредственно над собою. Народ думал, что нет спасения без дворян, а дворяне — что нет почести без короны. В деле дворян такое мнение едва ли может быть порицаемо. Так как все их отличия исходили от короны, то они имели прямой интерес в поддержании старинного понятия, что король — источник чести. Они имели прямой интерес в том учении, которое, упуская из виду истинный источник чести, обращает наше внимание на источник воображаемый, из которого в одно мгновение и единственно по воле монарха величайшие почести могут изливаться на самых ничтожных людей. Это собственно только часть старинной системы создавать отличия и таким образом пытаться поставить посредственные умы выше великих. Совершенная неудача, а по мере успехов общества даже прекращение подобных попыток не подлежит никакому сомнению; но понятно, что, покуда они еще делались, те, кому они приносили пользу, не могли не дорожить теми, от кого они происходили. В отсутствии противодействующих обстоятельств между обеими сторонами не могло не быть той симпатии, которая рождается вследствие памяти о прежних милостях и надежды на новые. Во Франции естественное побуждение это было еще более усилено тем духом покровительства, который заставлял людей примыкать к стоявшим выше их, и потому не удивительно, что там аристократы даже среди своих волнений не переставали добиваться малейших милостей от короны с рвением, несколько примеров которого мы только что привели. Они так давно привыкли взирать на короля как на источник их собственного достоинства, что им казалось, будто есть какое-то скрытое достоинство даже в самых простых действиях его, так что, по их разумению, чрезвычайно было важно, кто из них подаст королю салфетку, кто ему подаст умыться и кто наденет на него белье. Даже перед самой Французской революцией чувства эти еще существовали. Не для того, однако, чтобы поднять на смех этих праздных и пустых людей, собрал я данные, касающиеся тех споров, которые так занимали их. Напротив, их следует скорее жалеть, чем порицать: они действовали согласно со своими инстинктами; они употребляли в дело даже те жалкие способности, какими наделила их природа. Но мы имеем полное право проникнуться участием к той стране, интересы которой зависят от подобных лиц. Только ради судьбы французского народа стоит заняться историей французского дворянства. В то же время данные, подобные собранным мною, изобличая стремления старого дворянства, проявляют собой, в одной из самых действительных форм, дух покровительства и аристократизма, о котором очень слабое имеют понятие те, которые знают его только в его теперешнем состоянии стеснения и постепенного

упадка. На подобные факты должно смотреть, как на признаки тяжелой болезни, которой, конечно, и до сих пор еще страдает Европа, но которую мы теперь видим лишь в значительно смягченной форме; о первоначальном же тлетворном действии ее только тот может иметь понятие, кто изучал ее на ее первых порах, когда, свирепствуя необузданно, она взяла такой верх, что задержала развитие свободы, остановила умственное движение нации и подавила энергию человеческого ума.

Едва ли нужно проводить далее черту несходства между Францией и Англией или доказывать то, что теперь, я надеюсь, уже будет признано очевидным различием в междоусобных войнах обеих этих стран. Очевидно, что вожди английского восстания, люди низкого, плебейского происхождения, не могли иметь никакого сочувствия к тем вещам, которые смущали умы французского дворянства. Люди, подобные Кромвелю и его сподвижникам, не были большими знатоками тайн генеалогии или тонкостей геральдики. Они мало обращали внимания на придворный этикет; они никогда не изучали даже правил старшинства. Все это не имело ничего общего с их целью. С другой стороны, то, что они делали, делалось основательно. Они знали, что им предстоит совершить великое дело, и совершили его хорошо. Они восстали с оружием в руках против развращенного деспотизма и не хотели остановиться до тех пор, пока не устранят зла. И хотя в этом славном своем предприятии они, без сомнения, выказали некоторые из тех слабостей, которым подвержены и умы высшего разряда, но мы должны во всяком случае говорить о них не иначе как с почтением, подобающим тем, кто дал первый урок Европе и объявил в самых ясных выражениях, что уже настал конец прежней безнаказанности деспотизма.



## ГЛАВА XI

### **Дух покровительства, перенесенный Людовиком XIV в литературу. Обзор последствий этого союза умственно трудящегося сословия с правительствующим**

Теперь читателю, конечно, будет весьма понятно, каким образом система покровительства, с одной стороны, и сопряженное с нею понятие о подчиненности — с другой, приобрели во Франции силу, совершенно неизвестную в Англии, и произвели существенное различие в ходе истории обеих стран. Чтобы дополнить это сравнение, представляется необходимым рассмотреть влияние, которое этот дух имел на историю чисто умственного развития Франции, так же как и на социальное и политическое развитие ее. Понятие о зависимости, на котором основана система покровительственная, породило убеждение, что подчиненность правительству, существующая в политической и социальной жизни, должна также существовать и в литературе и что система отеческого надзора, во все проникающего и все централизующего, которая управляла материальными интересами страны, должна была также заведовать и умственными интересами ее. Поэтому, когда Фронда была окончательно низложена, то все оказалось уже подготовленным к той странной организации умственной жизни народа, которая была характеристикой пятидесятилетнего царствования Людовика XIV и имела для французской литературы то же значение, как феодальная система для политической жизни Франции. И в той, и в другой сфере одна сторона оказывала покорность, а другая — благосклонное покровительство. Всякий литературный деятель стал вассалом французского престола. Всякая книга писалась с видами на королевскую милость; приобретение покровительства короля считалось самым сильнейшим из всех доказательств умственного превосходства. Последствия, вызванные таким порядком вещей, будут рассмотрены в настоящей главе. Видимой причиной установления его был личный характер Людовика XIV; но истинными и преобладающими причинами были те обстоятельства, на которые я уже указал и которые установили в уме французов известные ассоциации понятий, сохранившие свою силу до восемнадцатого века. Придать этим ассоциациям особую силу и внести преобладание их во все сферы народной жизни было главной целью Людовика XIV, и в этом он совершенно успел. С этой точки зрения история его царствования становится в высокой степени поучительной, потому что мы видим в ней самый замечательный образец деспотизма, какой когда-либо встречался в истории, — деспотизма самого широкого и всеобъемлющего, — деспотизма, тяготевшего в продолжение пятидесяти лет над одним из самых цивилизованных народов Европы, который, однако же,

не только нес это ярмо безропотно, но даже охотно и с благодарностью подчинялся тому, кем оно было наложено<sup>1</sup>.

Это явление тем более странно, что царствование Людовика XIV заслуживает полнейшего осуждения, даже если приложить к нему самое невысокое мерило нравственности, чести и материального интереса. Характеристику частной жизни короля составляет самый грубый и необузданный разврат, за которым последовало самое жалкое и пошлое суеверие; в политической же деятельности своей он выказывал дерзость и систематическое вероломство, возбудившие наконец против него негодование всей Европы и навлекшие на Францию жестокое, примерное мщение. Что касается до его внутренней политики, то он вступил в тесный союз с духовенством и хотя сам отчасти сопротивлялся авторитету папы, но подданных своих охотно предал на жертву тирании духовного сословия. Этому сословию он предоставил все, кроме прав на свою прерогативу. Под его влиянием с той самой минуты, как он принял управление государством, он начал стеснять религиозную свободу, которой Генрих IV положил основание и которая до того времени сохранялась неприкосновенной. Также по внушению духовенства он отменил Нантский эдикт, которым около ста лет ранее было внесено в коренные законы страны начало веротерпимости. По тому же внушению, непосредственно перед этим нарушением самых священных прав своих подданных, желая страхом вынудить протестантов к обращению, он внезапно спустил на них целые ватаги развращенных солдат, которым было дозволено совершать над ними самые возмутительные жестокости. Страшные варварства, которые за этим последовали, рассказаны у весьма достоверных писателей<sup>2</sup>; о влиянии же этой меры на материальные интересы нации можно составить себе некоторое понятие по тому факту, что эти религиозные гонения стоили Франции полумиллиона самых трудолюбивых из ее жителей, которые бежали в другие страны, унеся с собой привычку к труду и знание и опытность, приобретенные каждым в своем занятии, которые до того времени служили к обогащению их отечества. Все это факты общеизвестные, неоспоримые и бросающиеся в глаза. А между тем и в виду их все-таки находятся люди, выставляющие век Людовика XIV как предмет восхищения. Нам всем достоверно известно, что в его царствование уничтожены были все следы свободы, что народ был задавлен невыносимыми податями, что сыны его десятками тысяч были вырываемы из семейств для усиления королевских армий, что средства страны были истощены до неслыханной степени, что злейший деспотизм пустил глубокие корни; и несмотря на то, что факты эти признаны всеми, встречаются даже и в наше время писатели, до такой степени ослепленные блеском литературной славы, что забывают ради ее о величайших злодеяниях и прощают весь вред, нанесенный нации государем, при жизни которого были написаны письма Паскаля, речи Боссюэ, комедии Мольера и трагедии Расина.

Впрочем, этот способ оценивать заслуги Людовика XIV так быстро выходит из употребления, что я не стану тратить более слов на опровержение его. Но с ним связано одно еще более распространенное заблуждение — о влиянии королевского покровительства на литературу каждой нации. Первыми распространителями этого заблуждения были сами литераторы. По обычным речам слишком многих из них мы могли бы думать, что благосклонное покровительство имеет какое-то магическое свойство возбуждать в уме того счастливицы, которому дано наслаждаться им, особенные силы. И этим мнением не должно пренебрегать, как одним из тех вредных предрассудков, которые еще держатся в известной атмосфере. Оно не только основано на ложном понятии о вещах, но и в практических последствиях своих весьма вредно. Оно много вредит тому духу независимости, которым каждая литература должна бы быть проникнута.

Поэтому мы не только не должны ожидать, чтобы короли являлись ближайшими покровителями литературы, но, напротив того, должны быть довольны, если только они не противодействуют упорно духу времени и не покушаются остановить ход общественного развития. Ибо, кроме тех случаев, когда король, несмотря на все неудобства его положения, оказывается человеком особенно обширного ума, — обыкновенно бывает так, что он стремится награждать не самых даровитых, а самых покорных ему людей и что, отказывая в своем покровительстве глубокому и независимому мыслителю, он дает его писателю, привязанному к старинным предрассудкам. Таким образом, обыкновение назначать деятелям литературы почетные или денежные награды, конечно, весьма приятно для тех, которые их получают, но оно может вести к ослаблению смелости и энергии их мыслей и, следовательно, вредит достоинству их произведений. Это могло бы быть ясно доказано обнародованием списка всех пенсий, назначавшихся европейскими монархами за литературные труды. Если бы это было сделано, то вред, произведенный как этими наградами, так и другими подобными им, стал бы очевиден. Я, с своей стороны, по тщательном изучении истории литератур, считаю себя вправе сказать, что на один пример награды, дарованной королем человеку, идущему впереди своего века, встречается по крайней мере двадцать примеров награждения людей, отставших от своего времени. В результате оказывается, что во всякой стране, где королевское покровительство долго и щедро оказываемо было деятелям литературы, дух ее, вместо того чтобы быть прогрессивным, делался реакционным. Образовывался союз между дающими и получающими. Вследствие систематически распределяемых правительством щедрот искусственно образовался жадный и всегда нуждающийся класс людей, которые, стремясь к получению пенсий, мест и титулов, подчиняли искание истины своему корыстолюбию и пропитывали сочинения свои предрассудками того круга, к которому они примыкали. Таким же образом и приобретение знаний, без

сомнения благороднейшее из всех занятий и более всех других возвышающее достоинство человека, было унижено до уровня обыкновенной профессии, в которой шансы успеха измеряются числом наград и удостоверение высших почестей зависит от произвола того, кому случится быть в то время министром или королем.

Эта тенденция уже сама по себе составляет сильнейшее возражение против мнения тех, которые желают вверить правительству, облеченному исполнительной властью, средства для награждения деятелей литературы. Но есть еще и другое возражение, которое в некоторых отношениях еще серьезнее. Каждая нация, которой будет дозволено развиваться естественным путем, без всякого контроля, легко может удовлетворить своим умственным потребностям и непременно произведет такую литературу, какая наиболее подходит к ее настоящему положению. Все сословия имеют очевидный интерес в том, чтобы производство не выходило из размеров потребления и предложение не превышало спроса. Сверх того, необходимо для благосостояния общества, чтобы сохранялось правильное отношение между умственно трудящимися и практически деятельными классами. Необходимо должна существовать известная пропорция между числом тех людей, которые преимущественно склонны мыслить, и тех, которые наиболее расположены действовать. Если бы мы все были писателями, то пострадали бы наши материальные интересы; а если бы мы все были деловыми людьми, то было бы менее наслаждений для ума. В первом случае мы оказались бы голодными философами, а во втором — богатыми глупцами. Между тем очевидно, что, по самым простым началам человеческой деятельности, необходимое численное отношение между упомянутыми выше двумя классами людей установится без малейшего усилия, по естественному побуждению или в силу, так сказать, самодеятельности общества. Но когда правительство берется давать пенсии литераторам, то оно мешает этой самодеятельности. Таков неизбежный результат того духа вмешательства, который всем нациям в мире сделал так много вреда. Так, если бы, например, правительством отложен был особый фонд для награждения мясников и портных, то достоверно, что число этих полезных людей без нужды умножилось бы. Если подобный же фонд присваивается пишущему классу, то можно также достоверно сказать, что число литераторов увеличится быстрее, чем того требуют нужды страны. В обоих случаях искусственное возбуждение произведет нездоровое действие. Конечно, пища и одежда так же необходимы для нашего тела, как литература для нашего ума. Зачем же после этого нам возлагать на правительства поощрения тех, которые пишут для нас книги, скорее чем тех, которые быют для нас баранов и чинят нашу одежду? Дело в том, что ход умственной жизни общества в этом отношении совершенно уподобляется ходу его физической жизни. В некоторых случаях слишком усиленное

предложение может действительно родить неестественную потребность, но это есть искусственное положение вещей, свидетельствующее о болезненной деятельности общественного организма. В здоровом состоянии общества не предложение возбуждает потребность, а потребность вызывает предложение. Следовательно, предположить, что за умножением писателей необходимо должно последовать распространение знаний, было бы то же самое, как если бы кто стал думать, что от увеличения числа мясников увеличится и количество доставляемой народу пищи. На самом деле это устроивается совсем не в таком порядке. Для того чтобы есть, нужно иметь аппетит, чтобы покупать пищу, нужно иметь деньги, а чтобы читать, нужно быть любознательным. Два великие начала, двигающие миром, суть: любовь к богатству и любовь к знанию. Эти два начала имеют представителями своими два главнейших класса, на которые разделяется каждая цивилизованная нация,—они же и управляют этими классами. То, что правительство дает одному из классов, оно должно взять у другого. То, что оно дает литературе, оно вынуждено отнять у промышленности, а это никогда не может быть сделано в сколько-нибудь значительном размере без того, чтобы не произошло самых губительных последствий. Естественные пропорции общества нарушаются—и оно само приходит в расстройство. Между тем как деятели литературы пользуются покровительством, деятели промышленности подвергаются угнетению. В глазах людей, считающих литературу главным делом в народной жизни, низшие классы нации не могут иметь большого значения. Мысль о свободе народа будет у них в пренебрежении; самые личности, его составляющие, подвергнутся притеснению, труд его обложится податью. Знания, необходимые для жизни, будут презрены ради покровительства таким знаниям, которые служат для украшения ее. Большинство будет разорено ради удовольствия меньшинства. Сверху все будет блестяще, а снизу—гнило. Прекрасные картины, великолепные дворцы, трогательные драмы—все это в течение некоторого времени может быть произведено в изобилии, но такое производство будет стоить нации ее самых кровных сил. Даже тот класс, для которого принесется такая жертва, скоро придет в упадок. Конечно, поэты могут по-прежнему воспевать мецената, не щадящего для них своего золота; но то достоверно, что люди, начинающие с потери своей независимости, кончают тем, что теряют и энергию. Слишком уже велики должны быть умственные силы их, чтобы не ослабеть среди болезненной атмосферы. Сосредоточив все внимание на своем меценате, они незаметно приобретут привычку к раболепству, неразлучную с таким положением, и так как сфера проявления их сочувствий будет ограничена, то и самая деятельность их дарований ослабнет. Покорность станет для них привычкой, а раболепство—удовольствием. В их руках литература скоро потеряет свой характер смелости; предание старых времен будет приводимо как

доказательство истины, и дух самостоятельного исследования совершенно исчезнет. При таких данных всегда настает один из тех грустных моментов истории, когда общественному мнению нет средства высказаться и мысль человеческая не находит исхода; недовольство граждан, оставаясь безгласным, понемногу переходит в смертельную ненависть; враждебные страсти накапливаются в тишине.

Верность начертанной нами картины вполне очевидна для всякого, кто изучал историю Людовика XIV и связь между его царствованием и Французской революцией. Этот государь в течение своего долгого царствования принял вредное обыкновение награждать литераторов значительными суммами денег и оказывать им различные знаки своей благосклонности. Так как это продолжалось более полувека и так как богатства, которые он таким образом нерасчетливо расточал, были, конечно, взяты от других его подданных, то мы не можем найти лучшего примера для объяснения того, каких результатов можно всегда ожидать от подобного покровительства. Действительно, этому государю принадлежит честь возведения в систему того покровительства литературе, о возобновлении которого многие так усердно заботятся; а какие были последствия этого образа действия для интересов знания вообще—это мы сейчас увидим. Влияние его на самих литераторов заслуживает особенного внимания тех писателей, которые, невзирая на чувство собственного достоинства, постоянно упрекают английское правительство за то, что оно не заботится о людях литературной профессии. Ни в какое время литераторы не были так щедро награждаемы, как в царствование Людовика XIV, и никогда не были они так низки духом, так раболепны и так совершенно неспособны удовлетворять высокому призванию своему—быть апостолами знания и проповедниками истины. История самых знаменитых писателей того времени доказывает, что, несмотря на образование свое и на природные умственные силы, они не могли устоять против окружавшей их испорченности. Для приобретения благосклонности короля они жертвовали тем духом независимости, который должен был быть для них дорожее жизни. Они отреклись от наследия гениев и уступили свое право первородства за блюдо чечевицы; а что случилось тогда, то при подобных же обстоятельствах произошло бы и ныне. Немногие высокодаровитые мыслители могут, конечно, быть в состоянии в продолжение некоторого времени противиться давлению своего века. Что же касается человечества вообще, то общество не может влиять ни на какое сословие иначе как чрез посредство его интересов. Следовательно, всякий народ должен заботиться, чтобы интересы литературных деятелей были на его стороне. Ибо литература представляет собою ум—нечто прогрессивное, а правительство представляет порядок—нечто неподвижное. Пока эти две великие силы разделены, они взаимно исправляют одна другую и одна другой противодействуют, и нация может сохранять равновесие. Но если обе силы

вступают в коалицию, то неизбежным результатом будет деспотизм в политическом мире и раболепство в литературном. Так было во Франции при Людовике XIV, и мы можем быть уверены, что то же произойдет в каждой стране, которая поддастся искушению последовать столь привлекательному, но вместе с тем столь гибельному примеру.

Слава Людовика XIV создана была благодарностью к нему писателей, в настоящее же время она поддерживается общепринятой мыслью, что блестящее состояние, которого достигла в его время литература, должно быть главным образом приписано его отеческой обо всем заботливости. Но если рассмотреть это мнение поближе, то мы увидим, что, подобно многим из преданий, наполняющих собою историю, оно совершенно лишено основания. Мы найдем два обстоятельства первостепенной важности, которые докажут нам, что литературный блеск царствования Людовика XIV был результатом не его усилий, а трудов великого поколения, предшествовавшего ему, и что умственное развитие Франции не только ничего не выиграло от его щедрости, но даже было стеснено его опекой.

I. Первое из этих обстоятельств заключается в том, что великое движение, сообщенное во время управления Ришельё и Мазарини высшим отраслям знания, внезапно остановилось. В 1661 г. Людовик XIV принял управление государством, и с этого момента до смерти его (в 1715 г.) история Франции в отношении к великим открытиям науки составляет пробел в летописях Европы. Если, оставив в стороне все предрассудочные понятия наши о мнимой славе этого периода, мы рассмотрим предмет беспристрастно, то окажется, что по всем отраслям знания был явный недостаток в самостоятельных мыслителях. В числе произведений того времени было много изящного, много привлекательного. Чувствам людей, конечно, льстили произведения искусства — картины, дворцы, стихотворения, но едва ли было присовокуплено что-нибудь существенное к сумме человеческих знаний. Если, например, взять математику и те смешанные науки, к которым она прилагается, то, без сомнения, всякий признает, что наиболее успешно занимались ими во Франции в семнадцатом веке Декарт, Паскаль, Ферма, Гассенди и Мерсенн. Но Людовик XIV не имеет права ни на какое участие в славе, заслуженной этими людьми, потому что они занимались своими изысканиями в то время, когда король был еще ребенком, и окончили их прежде, чем он принял управление, а следовательно, и прежде, чем начала действовать его система покровительства. Декарт умер в 1650 г., когда королю было двенадцать лет. Паскаль, имя которого, подобно имени Декарта, обыкновенно соединяют с веком Людовика XIV, приобрел европейскую известность еще в то время, когда Людовик забавлялся в детской своими игрушками и не знал даже о существовании этого человека. Его трактат о конических сечениях был написан в 1639 г., решительные опыты над тяжестью воздуха

произведены в 1648 г., а изыскания о циклоиде, последние из великих исследований его, произведены в 1658 г., когда Людовик, находясь под опекой Мазарини, не имел еще никакой власти. Ферма был один из самых глубоких мыслителей семнадцатого века, в особенности по части геометрии, в которой он уступал одному только Декарту. Самые важные открытия его суть те, которые относятся к геометрии бесконечных величин, в применении к ординатам и тангенсам дуг, и эти изыскания были им окончены в 1636 г. или еще ранее. Что же касается Гассенди и Мерсенна, то достаточно сказать, что Гассенди умер в 1655 г., шестью годами ранее, чем Людовик принял управление, а Мерсенн — в 1648 г., когда великому королю было не более десяти лет.

Таковы были люди, процветавшие во Франции перед самым тем временем, как стала действовать система Людовика XIV. Вскоре после их смерти покровительство короля начало влиять на умственное направление нации, и в течение следующих за тем пятидесяти лет не было сделано ни одного значительного приобретения ни по одной из отраслей математики, ни по какой-либо из тех наук, за исключением разве акустики (творцом ее может быть признан Совёр), к которым прилагается математика<sup>3</sup>. Чем далее подвигался семнадцатый век, тем очевиднее становился этот упадок и тем яснее можем мы проследить связь между упадком сил французов и развитием духа покровительства, ослаблявшего ту самую энергию, которую он стремился усилить. Людовик слышал, что астрономия есть наука, открывающая высокие истины; поэтому он стремился увеличить славу своего имени<sup>4</sup>, поощряя изучение этой науки во Франции. В этих видах он стал награждать специалистов ее с беспримерной щедростью и построил в Париже великолепную обсерваторию; к его двору приглашены были самые знаменитые из иностранных астрономов: Кассини из Италии, Ремер из Дании и Гюйгенс из Голландии. Что же касается самой французской нации, то она не произвела ни одного человека, который бы сделал какое-либо открытие, составляющее эпоху в истории этой науки. В других странах делались большие успехи, и Ньютон в особенности своими громадными обобщениями преобразовал почти все отрасли физики, а астрономию совсем пересоздал, распространив до самых дальних пределов Солнечной системы законы тяготения. Напротив, Франция находилась в таком оцепенении, что эти удивительные открытия, изменившие вид всей системы наук, были оставлены ею без внимания; до 1732 г., т. е. в течение сорока пяти лет после обнаружения этих открытий их бессмертным виновником<sup>5</sup>, не было ни одного примера, чтобы какой-нибудь французский астроном усвоил себе их выводы. Даже в подробностях самые значительные улучшения, сделанные французскими астрономами во время владычества Людовика XIV, не были оригинальными. Они имели притязание на изобретение микрометра — инструмента, составляющего превосходное пособие для науки и устроен-



ного в первый раз, как они утверждали, Пикаром и Озу. Но на самом деле и здесь их опередила деятельность более свободного и менее покровительствуемого народа: микрометр изобретен Гаскойном в 1639 г. или немного ранее, т. е. в такое время, когда английский король не только не имел времени покровительствовать науке, но приготовлялся вступить в ту самую борьбу, которая десять лет спустя стоила ему короны и жизни.

Отсутствие во Франции в этом периоде не только великих открытий, но и простой практической сметливости, конечно, весьма поразительно. Для исследований, требовавших строжайшей точности, все нужные инструменты, если они были скольконибудь сложны, готовились иностранцами, так как местные рабочие были слишком неискусны, чтобы делать их. Д-р Листер, который мог быть в этом деле весьма хорошим судьей и который был в Париже в конце семнадцатого века, свидетельствует, что лучшие математические инструменты, продававшиеся в этом городе, были сделаны не французами, а жившим там англичанином Бёттерфилдом<sup>6</sup>. Не более успеха имели французы и в производстве предметов непосредственной, очевидной необходимости. Улучшения, достигнутые ими в мануфактурном деле, были малочисленны и ничтожны, притом же клонились не к улучшению народного быта, но к удовлетворению роскоши праздных сословий<sup>7</sup>. Все истинно полезное находилось в пренебрежении; не было ни одного великого изобретения. До самого конца царствования Людовика XIV ни по части механики, ни по другим отраслям промышленности не было сделано почти ничего такого, что могло бы служить к сбережению народного труда, а следовательно, и к увеличению народного богатства<sup>8</sup>.

При таком состоянии не только математических наук и астрономии, но даже механических искусств и изобретений соответствующие признаки истощения умственных сил нации проявлялись и по всем другим отраслям ученой деятельности. По части физиологии, анатомии и медицины мы напрасно стали бы искать в это время во Франции людей, подобных тем, которыми она некогда гордилась. Самое великое из открытий по этой отрасли знания, сделанных кем-либо из французов, есть открытие млечных сосудов,—открытие, которое, по мнению одного писателя, пользующегося большим авторитетом, стоит наравне с открытием Гарвея—обращения крови. Этот важный шаг в развитии наших знаний постоянно относят к царствованию Людовика XIV, как будто бы он был одним из результатов великодушной щедрости; между тем весьма трудно было бы доказать участие мер Людовика в этом открытии, потому что его сделал Пэкке в 1647 г., когда великому королю было девять лет от роду. После Пэкке самым знаменитым из французских анатомов семнадцатого века был Риолан, и его имя мы также находим в числе замечательных людей, украсивших собою царствование Людовика XIV. Между тем главные сочинения Риолана были написаны еще до рождения Людовика: последнее произведение его издано

в 1652 г., а в 1657 г. он умер. После него произошел некоторый застой: в продолжение трех поколений французы вовсе ничего не сделали по этим важным предметам; они не написали ни одного сочинения, которое читалось бы до настоящего времени, не открыли ни одной новой научной истины и, по-видимому, совершенно упали духом. Это продолжалось до того возрождения наук, которое, как мы сейчас увидим, совершилось во Франции около половины восемнадцатого века. В практических отраслях медицины, в умозрительных отраслях ее и во всех искусствах, связанных с хирургией, проявляется тот же закон. По этим частям, так же как и по другим, Франция в прежнее время производила людей весьма замечательных, которые приобрели европейскую известность и сочинения которых и до сих пор не забыты. Таким образом — мы приведем только два или три примера — у них был длинный ряд знаменитых медиков, в числе которых самыми первыми по времени были Фернель и Жубер; по хирургии у них был Амбруаз Паре, который не только ввел важные практические усовершенствования, но имел еще более редкую заслугу, как один из основателей сравнительной остеологии; сверх того, у них был Балью, который в конце шестнадцатого и в начале семнадцатого столетия подвинул вперед патологию, соединив с нею патологическую анатомию. При Людовике XIV все это изменилось. При нем хирургия во Франции находилась в пренебрежении, между тем как в других странах она быстро подвигалась вперед<sup>9</sup>. Англичане к половине семнадцатого столетия сделали весьма значительные успехи в медицине, терапевтическую отрасль которой преимущественно преобразовал Сайденгам, а физиологическую — Глиссон. Век же Людовика XIV не может похвалиться ни одним писателем по части медицины, который мог бы быть сравнен с этими людьми, ни даже таким, имя которого было бы связано с каким-либо особым приращением к нашим знаниям. В Париже практическая медицина стояла несомненно ниже, чем в столицах Германии, Италии и Англии, а во французских провинциях даже самые лучшие, сравнительно, врачи отличались вопиющим невежеством<sup>10</sup>. Действительно, не будет преувеличением сказать, что в течение всего этого долгого периода французы в отношении к медицине сравнительно ничего не сделали. Они ничего не произвели нового по части клиники<sup>11</sup> и почти ничего по части терапии, патологии, физиологии и анатомии<sup>12</sup>.

В естественных науках мы также находим, что французы остановились в это время на одной точке. По части зоологии они прежде имели замечательных людей, в числе которых самыми известными были Белон и Ронделе; но при Людовике XIV Франция не произвела ни одного самостоятельного наблюдателя в этой обширной области исследований<sup>13</sup>. Также и в химии, в царствование Людовика XIII, Рэи высказал воззрения величайшей важности, упреждавшие даже некоторые из обобщений, которыми прославился ум французской нации в восемнадцатом

веке<sup>14</sup>. В развратные же и легкомысленные времена Людовика XIV все это было забыто. Труды Рэя остались в пренебрежении, и равнодушие общества в науке дошло до такой степени, что даже знаменитые опыты Бойля были неизвестны во Франции более сорока лет после обнародования их<sup>15</sup>.

В связи с зоологией для каждого философского ума — даже в неразрывной связи с нею — находится ботаника, которая, занимая средину между царствами животным и ископаемым, указывает на отношение одного к другому и в разных точках касается пределов обоих царств. Она также бросает яркий свет на отправления питания<sup>16</sup> и на законы развития; притом, вследствие разительной аналогии, существующей между животными и растениями, мы имеем весьма сильное основание надеяться, что будущие успехи этой науки вместе с успехами теории электричества продолжат путь к образованию всеобъемлющей теории жизни, которая при настоящей степени наших знаний еще не может установиться, но к которой явно стремится современное движение в науке. По этим причинам, гораздо более чем по доставляемым ею практическим выгодам, ботаника всегда будет привлекать внимание мыслящих людей, которые, пренебрегая видами непосредственной пользы, стремятся к широким, окончательным результатам и ценят частные факты лишь настолько, насколько ими облегчается открытие общих истин. Первый шаг в этом благородном труде был сделан около половины шестнадцатого столетия, когда ученые вместо того, чтобы повторять сказанное прежде их другими писателями, стали сами наблюдать природу<sup>17</sup>. Следующим шагом было — присовокупить к наблюдению опыт; но еще должно было пройти сто лет прежде, чем оказалась возможность производить опыты с должной точностью, потому что микроскоп, который существенно необходим для подобных исследований, изобретен только около 1620 г. и потребовался труд целого поколения для того, чтобы сделать его годным к точным исследованиям<sup>18</sup>. Впрочем, как только это орудие было достаточно улучшено для того, чтобы его можно было употребить при наблюдении растений, ботаника быстрыми шагами двинулась вперед, по крайней мере относительно подробностей, так как действительное обобщение фактов последовало не ранее восемнадцатого века. Но в предварительном труде собирания фактов проявилась большая энергия, и по причинам, уже изложенным в нашем введении, эта наука, подобно другим, относящимся к внешнему миру, сделала особенно быстрые успехи в царствование Карла II. Воздухоносные сосуды у растений открыты были Геншау в 1661 г., а клетчатая ткань — Гуком в 1667 г. Это было уже значительным шагом к установлению аналогии между растениями и животными, а в течение нескольких лет Грю достиг еще больших результатов в том же направлении. Он произвел множество самых точных и разнообразных диссекций, вследствие которых анатомия царства растительного стала особою отраслью науки, и доказал, что организм растений почти не менее сложен,

чем организм животных. Первое сочинение его («Анатомия растений») написано в 1670 г., а в 1676 г. другой англичанин, Миллингтон, доказал существование у растений полового различия и тем доставил новое подтверждение гармонии царства животного с растительным и единства идеи, лежащей в основании организации обоих царств.

Вот что было сделано в Англии в продолжение царствования Карла II. Спросим теперь: чего же достигли во Франции в течение того же времени под влиянием щедрого покровительства Людовика XIV? Ответ будет: ничего, никакого открытия, никакой идеи, которая бы составляла эпоху в этой важной отрасли естествознания. Сын знаменитого сэра Томаса Броуна посетил Париж в надежде прибавить что-нибудь новое к своим познаниям в ботанике; он полагал, что найдет к тому верные средства в стране, где наука была в такой чести, где деятели ее пользовались такой благосклонностью со стороны двора, а изыскания их так щедро награждались. Но к великому удивлению его, он не нашел в 1665 г. в этом большом городе ни одного человека, способного преподавать его любимый предмет, так что даже публичные лекции о нем оказались чрезвычайно неполными и неудовлетворительными<sup>19</sup>. Как в то время, так и гораздо позже у французов не было ни одного хорошего популярного трактата о ботанике, в которой они еще менее отличались усовершенствованиями. Действительно, философская сторона этого предмета была так ложно понята, что Турнефор, единственный известный французский ботаник времени Людовика XIV, даже отверг открытие полов у растений, сделанное прежде, чем он начал писать, и оказавшееся впоследствии краеугольным камнем Линнеевой системы<sup>20</sup>. Это служит доказательством его неспособности к усвоению тех широких воззрений на единство органического мира, которые одни только придают ботанике научное значение; вот почему мы видим, что он ничего не сделал для физиологии растений и что единственной заслугой его было собирание и классификация их. Притом даже и в классификации растений он руководствовался не многосторонним сравнением различных частей их, а соображениями, основанными единственно на внешнем виде каждого цветка<sup>21</sup>; он лишил таким образом ботанику ее истинного величия и унизил ее до значения искусства размещать красивые предметы. Вот новый пример того, каким образом французы тогдашнего поколения опошляли все, что желали возвысить, и умаляли всякий предмет до тех пор, пока он не войдет в размеры, подходящие к умственному развитию и вкусу того невежественного и сладострастного кружка, благосклонности которого они всю жизнь добивались, ожидая от нее наград и поощрения.

Дело в том, что в отношении к этому, как и ко всем другим действительно важным предметам, как и ко всем вопросам, требующим самостоятельного мышления или имеющим серьезное практическое значение, век Людовика XIV был веком упад-

ка,— веком бедности, нетерпимости и угнетения, веком рабства, унижения и неспособности. Такое мнение давно уже было бы всеми принято, если бы люди, писавшие историю этого периода, взяли на себя труд изучить предметы, без которых история не может быть понята или, лучше сказать, без которых она вовсе не существует. Если бы это было сделано, то слава Людовика XIV сразу умалилась бы до своего истинного размера.

Несмотря даже на опасность подвергнуться обвинению в чрезмерно высокой оценке своих собственных трудов, я не могу умолчать о том, что факты, на которые я здесь указал, до сих пор еще не были никем собраны, а оставались разрозненными, распределенными по разным сочинениям и сборникам сведений о предметах, к которым они прямо относятся. Между тем, не зная их, невозможно изучить век Людовика XIV. Невозможно определить характер какого-либо периода иначе, как проследив его развитие, или, другими словами, измерив, до чего простирались его знания. Поэтому-то писать историю какой-либо страны, не принимая в соображение хода ее умственного развития, было бы то же самое, как если бы астроном составил систему планет, не включив в нее Солнце, свет которого один дает нам возможность видеть планеты и притяжение которого дает направление планетам и заставляет их обращаться в назначенных им орбитах. Великое светило, сиянием своим озаряющее небеса, не более величественно и всемогуще, чем разум человеческий в нашем земном мире. Человеческому разуму, и только ему одному, обязаны все народы своими знаниями; а чему, если не успехам и распространению знания, одолжены мы нашими искусствами, науками, мануфактурами, законами, мнениями, обычаями, удобствами жизни, роскошью, цивилизацией,— короче говоря, всем тем, что ставит нас выше дикарей, невежеством своим униженных до уровня животных, с которыми они составляют одно стадо. Потому-то мы можем сказать, что теперь, без сомнения, пришло время, когда люди, желающие написать историю великого народа, должны заниматься теми явлениями, которые одни управляют судьбою людей, и пренебрегать ничтожными и ничего не значащими подробностями, которыми так долго нам докучали,— подробностями, относящимися к образу жизни королей, к интригам министров, к порокам и сплетням дворов.

Именно эти высшие соображения и дают нам ключ к истории царствования Людовика XIV. В это время, как и во все другие времена, за упадком умственных сил народа последовало обеднение его и политическое унижение страны; а сам упадок в свою очередь был последствием духа покровительства,— этого вредного духа, который расслабляет все, к чему ни прикоснется. Если во всем долгом течении всемирной истории что-нибудь и выяснилось более чем все остальное, так это та истина, что всякое правительство, которое вздумает поощрять умственные труды, непременно поощряет их не там, где бы следовало, и награждает не тех, которые заслуживали

бы награды. И не удивительно, что это так случается. Какое понятие могут иметь короли и министры о тех обширных отраслях знания, для успешного занятия которыми нередко нужна бывает целая жизнь? Как могут они, постоянно занятые своей высокой деятельностью, найти время для этих второстепенных предметов? Можно ли ожидать подобных знаний от государственных людей, всегда озабоченных самыми важными делами,—людей, которые то пишут депеши, то произносят речи, то организуют себе партию в парламенте, то борются с какой-нибудь интригой в королевском совете. Или—в случае если бы монарх стал удостоивать писателей своих милостей, по собственному выбору—можем ли мы ожидать, чтобы такие маловажные предметы, как философия и другие науки, были хорошо знакомы высокому и могущественному государю, имеющему свои особые и многотрудные предметы для изучения, обязанному знать таинства геральдики, свойство и достоинство различных званий, сравнительную важность разных орденов, знаков отличия и титулов, законы старшинства в придворных шествиях, права, принадлежащие аристократическому происхождению, название и значение лент, звезд и подвязок, различные обряды, с которыми жалуются та или другая почесть или вводится сановник в отправление той или другой должности, устройство разных церемониалов, все тонкости этикета и множество других специально-придворных мудростей, необходимых для исполнения высоких обязанностей, возложенных на монарха.

Достаточно только перечислить подобные вопросы, чтобы убедиться уже в нелепости преследуемого в них начала. Ибо, если только мы не предполагаем, что короли так же всеведущи, как и непогрешимы, то очевидно, что в назначении наград они должны руководствоваться или личным произволом, или свидетельством сведущих судей. И так как никто не может быть сведущим судьей ученых заслуг, если он сам не ученый, то мы доходим до той дилеммы, что награды за умственный труд могут быть или раздаваемы несправедливо, или назначаемы по определению того самого сословия, которому они жалуются. В первом случае награды будут смешны, а в последнем случае—унизительны. В первом случае ничтожные люди воспользуются богатствами, которые собираются с людей трудящихся для раздачи праздным. А в последнем случае те истинно гениальные люди, те великие и знаменитые мыслители, которые служат руководителями и наставниками всему роду человеческому, будут разукрашены пустозвонными титулами и после жалкого соперничества и драки из-за ничтожных милостей обратятся в нищих, обирающих государство и не только вымаливающих себе известную часть награды, но и определяющих размеры, в которых эта добыча должна быть между ними разделена.

При такой системе единственными результатами являются сперва оскудение и обращение в рабство самых гениальных умов, затем упадок знания и, наконец, упадок самой страны. Три раза

в истории мира произведен был этот опыт. При Августе, при Льве X и при Людовике XIV испытан был один и тот же образ действия и везде произошел один и тот же результат. В каждом из этих периодов было много наружного блеска, за которым тотчас следовал внезапный упадок. В каждом из этих примеров блеск переживал независимость, и в каждом из них также национальный дух падал под гнетом гибельного союза между правительством и литературой,—союза, чрезмерно усиливающего политических деятелей и ослабляющего литературных по той простой причине, что те, которые оказывают покровительство, естественным образом желают пользоваться покорностью облагодетельствованных ими лиц и что если, с одной стороны, правительство всегда готово награждать литературу, то с другой — литература всегда бывает готова подчиниться правительству.

Из этих трех периодов век Людовика XIV — неоспоримо худший, и только изумительная энергия французского народа могла дать ему возможность оправиться, как это он сделал со временем, от последствий этой расслабляющей системы. Но хотя французы и оправились, усилие это стоило им весьма дорого: борьба, как мы сейчас увидим, продолжалась в течение двух поколений и окончилась только страшной революцией, которая была ее естественным исходом. Действительный ход этой борьбы я постараюсь разъяснить в конце настоящего тома; теперь же, не упреждая хода событий, мы перейдем к рассмотрению той черты, которая, как мы уже сказали, составляет вторую великую характеристику царствования Людовика XIV.

II. Вторая умственная характеристика царствования Людовика XIV по важности своей едва ли стоит ниже первой. Мы уже видели, что умственные силы нации, стесненные в развитии своим покровительством двора, до такой степени отклонились от высших отраслей знания, что ни по одной из них не произвели ничего, заслуживающего внимания. Естественным последствием этого было то, что умы людей, отклонившись от высших отраслей знания, нашли убежище в низших и сосредоточивались на тех предметах, в которых не открытие истины составляет главную цель, а преимущественно ищется красота формы и выражения. Таким образом, первым последствием покровительства Людовика XIV было то, что круг деятельности гения стеснился и наука принесена была в жертву искусству. Вторым последствием было то, что и в искусстве скоро обнаружился заметный упадок. В течение короткого времени возбуждительное средство действовало, но затем последовало расслабление, составляющее естественный результат употребления таких средств. Вся эта система покровительства и наград до такой степени вредна, что после смерти тех писателей и художников, произведения которых составляют единственную искупающую сторону в царствовании Людовика, не оказалось ни одного человека, который мог бы хоть подражать им. Поэты, драматурги, живописцы, музыканты, ваятели, архитекторы, почти без исключения, не только родились, но и были

воспитаны еще при том более либеральном управлении, которое существовало до воцарения Людовика XIV. Уже начавши свои труды, они воспользовались щедростью, которая поощряла деятельность их умов. Но когда через несколько лет это поколение вымерло, то ложность всей системы ясно обозначилась. Более чем за четверть века до смерти Людовика XIV большая часть этих замечательных людей кончили жизнь, и тогда оказалось, до какого жалкого положения была доведена страна хваленым покровительством великого короля. В то время когда умер Людовик XIV, во всей Франции едва ли был хоть один писатель или художник, пользующийся европейской известностью. Это обстоятельство заслуживает особенного внимания. Если сравнить между собою различные роды литературы, то мы увидим, что духовное красноречие, на которое слабее всего действовало влияние короля, долее всего держалось против его системы. Массильон отчасти принадлежит следующему царствованию; но из других великих духовных писателей Боссюэ и Бурдалу оба дожили до 1704 г., Маскарон — до 1703-го, а Флешье — до 1710 г. Впрочем, так как король, в особенности в последние годы, очень остерегался вмешиваться в дела церкви, то мы лучше всего можем проследить действие его политики в предметах светских, потому что здесь участие его было наиболее деятельно. По этим соображениям проще всего будет рассмотреть сперва историю изящных искусств и, приведя в известность, кто именно были самые великие художники, заметить, в каких годах они умерли, не забывая о том, что правление Людовика XIV началось в 1661-м и окончилось в 1715 г.

Итак, если рассмотреть этот пятидесятичетырехлетний период, то нас поразит замечательное обстоятельство, что все истинно знаменитые произведения искусств явились в первой половине его, а за двадцать лет до конца все самые даровитые художники умерли, не оставив по себе преемников. Шесть самых великих живописцев царствования Людовика XIV были: Пуссен, Лезюэр (Lesueur), Клод Лоррен, Лебрён и два Миньяра. Из них Лебрён умер в 1690 г., старший Миньяр — в 1668-м, младший — в 1695-м, Клод Лоррен — в 1682-м<sup>22</sup>, Лезюэр — в 1655-м, а Пуссен, может быть самый знаменитый из всех представителей французской школы, — в 1665 г.<sup>23</sup> Два самые великие архитектора были Клод Перро и Френсис Мансар; но Перро умер в 1688-м, Мансар — в 1666-м, а Блондель, первый после них по славе, — в 1686 г. Самым великим из ваятелей был Пюже, скончавшийся в 1694 г. Люлли, создатель французской музыкальной школы, умер в 1687 г.<sup>24</sup> Кино, знаменитейший из французских поэтов, писавших для музыки, умер в 1688 г. При жизни этих даровитых людей изящные искусства в царствование Людовика XIV достигли своего апогея, а в продолжение последних тридцати лет его жизни они упали с изумительной быстротой. Так было не только с архитектурой и музыкой, но и с живописью, которая, находясь в большей зависимости от личного тщеславия, могла бы скорее



процветать при богатом и деспотическом правительстве. Но и дарования живописцев так понизились в своем уровне, что задолго еще до кончины Людовика XIV Франция уже не имела ни одного замечательного художника по этой части, и когда вступил на престол преемник Людовика, то искусство живописца в этой великой нации почти совершенно исчезло<sup>25</sup>.

Все эти весьма выдающиеся факты — не выражение мнений, которые могли бы быть оспариваемы, а непоколебимые числа, подкрепленные неоспоримыми свидетельствами. Если обозреть таким же образом и литературу века Людовика XIV, то мы придем к подобным же заключениям. Приведа в известность годы появления тех образцовых произведений, которые служат украшением этого царствования, мы увидим, что покровительство Людовика в последние двадцать пять лет его правления, т. е. когда оно подольше продействовало, оказалось совершенно бесплодным; другими словами — что когда французы совершенно свыклись с этим покровительством, то они стали наименее способны создавать великие произведения. Людовик XIV умер в 1715 г. Расин написал «Федру» в 1677-м, «Андромаху» — в 1667-м и «Гифолию» — в 1691 г. Мольер издал «Мизантропа» в 1666-м, «Тартюфа» — в 1667-м, «Скупого» — в 1668 г. «Налой» («Lutrin») Буало был написан в 1674 г., а лучшие из сатир его — в 1666 г. Последние басни Лафонтена явились в 1678-м, а последние сказки его — в 1671 г. «Исследование истины» Мальбранша вышло в 1674 г.; «Характеры» Лабрюйера изданы в 1687-м, «Правила» («Maximes») Ларошфуко — в 1665 г. «Провинциальные письма» Паскаля написаны в 1656-м, а сам он умер в 1662 г. Что же касается Корнеля, то из его великих трагедий некоторые написаны во время детства короля, а другие — до его рождения<sup>26</sup>. Таково было время появления образцовых произведений века Людовика XIV. Авторы этих великих произведений все перестали писать и почти все умерли ранее конца семнадцатого столетия, и мы имеем полное право спросить почитателей Людовика XIV, кто же были люди, наследовавшие этим великим художникам? Где начертаны их имена? Кто теперь читает сочинения неизвестных наемников, столько лет толпившихся при дворе великого короля? Кто слышал о Кампистроне, Ла Шапелле, Женэ, Дюсерсо, Данкуре, Данше, Вержье, Катру, Шольё, Лежандре, Валенкуре, Ламотте и других ничтожных компиляторах, так долго остававшихся самыми блестящими украшениями Франции? Не эта ли литература представляет собою последствие королевской щедрости? Не это ли плоды монаршего покровительства? Если система наград и поощрений действительно полезна для литературы и искусства, то каким же образом она произвела самые жалкие результаты тогда, когда действие ее было наиболее продолжительно? Если поощрение со стороны монархов имеет, как уверяют нас их льстецы, такое значение, то каким же образом случилось, что, чем более оказывалось это поощрение, тем ничтожнее выходили результаты его?

И эта почти невероятная бедность по замеченным нами выше отраслям знания не искупалась никаким превосходством по другим отраслям. Дело в том, что Людовик XIV вполне пережил умственную силу Франции, кроме той небольшой доли ее, которая развивалась в оппозиции его принципам и потом потрясла престол его преемника. За несколько лет до смерти Людовика, когда прошло почти полвека широкого действия системы покровительства, во всей Франции нельзя было найти ни государственного человека, способного развить средства страны, ни полководца, могущего защитить ее от врагов. И в гражданском управлении, и в военном деле все пришло в расстройство. Внутри государства везде была неурядица, вне его — везде неудачи. Народный дух Франции не устоял и был повержен во прах. Литераторы, получающие от двора пенсии и почетные награды, выродились в поколение льстецов и лицемеров, которые, чтобы угодить повелителям своим, противодействовали всем улучшениям и отстаивали все старые злоупотребления. Результатом всего этого была испорченность нравов, раболепство и обессиление нации, дошедшее до такой степени, какой еще не было дотоле примера ни в одной из великих стран Европы. Не стало национальной свободы, не стало великих людей, не стало науки, не стало литературы, не стало изящных искусств. Внутри государства — недовольный народ, расточительное правительство и разоренная казна; вне его — иностранные армии, напирающие на все его границы; и только взаимная зависть между врагами Франции и перемена в английском кабинете воспрепятствовали распадению французской монархии.

В таком безвыходном положении находилась эта славная нация в конце царствования Людовика XIV. Несчастья, поразившие короля в преклонных летах его, были действительно так серьезны, что они не могли бы не возбудить в нас сочувствия, если бы мы не знали, что они составляли результат его неугомонного честолюбия и нестерпимого высокомерия, а еще более его беспредельного, ненасытного тщеславия, которое заставляло его стремиться к сосредоточению в своей личности всего величия Франции и внушало ему коварную политику, состоявшую в том, чтобы посредством подарков, почестей и медовых речей сперва возбудить в умственно трудящихся людях восторженную преданность к себе, потом выработать из них придворных и временщиков и, в заключение всего, уничтожить в них всякую смелость воззрений, подавить всякое стремление к самостоятельному мышлению и таким образом отдалить на неопределенное время успехи народной цивилизации.

## ГЛАВА XII

### Смерть Людовика XIV. Реакция против духа покровительства и подготовка Французской революции

Людовик XIV наконец умер. Когда сделалось положительно известно, что старый король испустил последнее дыхание, народ почти обезумел от радости<sup>1</sup>. Тирания, тяготевшая над ним, исчезла; за ней вдруг наступила реакция, которая по своей внезапности и силе представляла явление неслыханное в новейшей истории. Значительное большинство людей вознаграждали себя за свое вынужденное лицемерие, предаваясь величайшему своеволию. Но среди поколения, возникавшего в то время, было несколько высокодаровитых юношей, которые имели гораздо более возвышенные взгляды и понятия которых о свободе не ограничивались вольностями игорных и публичных домов. Преданные великой идее возвращения Франции той свободы слова, которую она утратила, они естественно обратили свои взоры на единственную страну, где свобода эта действительно существовала. Решимость их искать свободу там, где она только и могла быть найдена, породила то общение французских и английских умов, которое по длинной цепи своих последствий представляет во многих отношениях чрезвычайно важный факт в истории восемнадцатого столетия.

Во время царствования Людовика XIV французы, переполненные национальным тщеславием, презирали варварство народа, который был так нецивилизован, что всегда восставал против своих правителей и в промежуток сорока лет казнил одного короля и низложил другого<sup>2</sup>. Они не могли поверить, чтобы такая беспокойная толпа могла иметь что-либо достойное внимания просвещенных людей. Наши законы, наша литература и наши обычаи были им совершенно неизвестны; и я сомневаюсь, было ли в конце XVII столетия во Франции среди литераторов или ученых хотя бы пять человек, знакомых с английским языком<sup>3</sup>. Но долгий опыт царствования Людовика XIV побудил французов призадуматься над многими из своих понятий. Он заставил их впервые заподозрить, что деспотизм может иметь свои невыгодные стороны и что правительство, состоящее из принцев и епископов, не есть неизбежно лучшее для цивилизованной страны. Они стали смотреть сперва со снисхождением, а потом и с уважением на тот странный иноземный народ, который хотя и был отделен от них только узким проливом, но, казалось, принадлежал к совершенно другой породе; — народ, который, наказав своих притеснителей, возвел свои права и свое благоденствие на такую высокую степень, какой еще не видывал дотоле свет. Те чувства, которые перед началом революции разделялись уже всеми образованными сословиями Франции, в прежнее время ограничивались только теми людьми, которые по своему уму

стояли во главе века. Можно смело сказать, что в течение двух поколений, прошедших со смерти Людовика XIV до начала революции, не было ни одного замечательного француза, который бы не посетил Англию или не учился английскому языку,— многие же делали и то, и другое. Бюффон, Бриссо, Бруссонэ, Кондамин, Делиль, Эли де Бомон, Гурнэй, Гельвеций, Жюсье, Лаланд, Лафайет, Ларше, Л'Эрितье, Монтескьё, Мопертюи, Морелле, Мирабо, Нолле, Реналь, знаменитый Ролан и еще более знаменитая жена его, Руссо, Сегюр, Сюар, Вольтер — все эти замечательные личности стекались в Лондон; то же делали и другие люди, уступавшие, конечно, в дарованиях поименованным выше, но все-таки пользовавшиеся значительным влиянием, как, например: Брекини, Борд, Калонн, Койе, Корматен, Дюфэй, Дюмарэ, Дезаллье, Фавье, Жиро, Грослей, Годэн, Д'Анкарвилль, Гоно, Жар, Леблан, Ледрю, Лескальье, Ленге, Лезюир, Лемоннье, Левэк де Пуल्ली, Монгольфье, Моран, Патю, Пуассонье, Ревельон, Сэшен, Силуэтт, Сире, Суляви, Суле и Вальмон де Бриенн.

Почти все они тщательно изучали наш язык, и большая часть из них усвоили себе дух нашей литературы. Вольтер в особенности предался с обычным ему рвением новому труду и приобрел в Англии познание в тех учениях, проповедование которых впоследствии доставило ему громкую известность<sup>4</sup>. Он первый популяризировал во Франции философию Ньютона, которая быстро вытеснила философию Декарта<sup>5</sup>. Он указал своим соотечественникам на сочинения Локка<sup>6</sup>, которые в короткое время приобрели огромную популярность и дали материалы Кондильяку для его системы метафизики, а Руссо — для его теории воспитания<sup>7</sup>. Кроме того, Вольтер был первым французом, изучившим Шекспира<sup>8</sup>, сочинениям которого он много обязан, хотя впоследствии он и старался уменьшить то уважение к ним во Франции, которое в глазах его было уже слишком преувеличено. Действительно, так глубоки были его познания в английском языке<sup>9</sup>, что мы можем открыть у него следы изучения Бётлера, одного из труднейших наших поэтов, и Тиллотсона, одного из самых темных наших теологов. Он был знаком с умозрениями Беркли, самого тонкого из метафизиков, когда-либо писавших в Англии; он читал сочинения не только Шафтсбери, но даже Чебба, Гарта, Мандевилля и Вульстона. Монтескьё почерпнул в нашей стране многие из своих принципов; он изучал наш язык и всегда выражал уважение к Англии не только в своих сочинениях, но даже в частных разговорах. Бюффон учился по-английски и впервые вступил на авторское поприще как переводчик Ньютона и Гэльса. Дидро, следуя по тому же пути, был восторженным поклонником романов Ричардсона; он заимствовал мысли для некоторых из своих пьес у английских драматургов, преимущественно у Лилло; он взял многие из своих выводов у Шафтсбери и Коллинза, и его первым изданием был перевод «Истории Греции» Станиана. Гельвеций, посетив Лондон, не мог нахвалиться нашим народом; многие из взглядов, выраженных в его великом сочинении о разу-

ме, заимствованы у МанDEVИЛЛЯ, и он постоянно ссылается на авторитет Локка, принципы которого едва ли кто из французов осмелился бы одобрить в прежнее время. Сочинения Бэкона, прежде малоизвестные, были теперь переведены на французский язык; его классификация человеческих способностей была принята за основание в той знаменитой «Энциклопедии», на которую справедливо смотрят как на одно из величайших произведений восемнадцатого столетия<sup>10</sup>. «Теория нравственных чувствований» Адама Смита в течение тридцати четырех лет была переведена в три разные эпохи тремя различными французскими писателями. Так велико было всеобщее рвение, что, как только появилось «Богатство народов» того же великого автора, Морелле, пользовавшийся тогда большой известностью, начал переводить его на французский язык; от печатания своего перевода он был удержан лишь тем обстоятельством, что раньше, чем перевод этот мог быть кончен, другой перевод был уже напечатан в одном французском периодическом издании. Койе, и до сих пор известный своим сочинением «Жизнь Собесского», посетил Англию и, вернувшись на родину, заявил о принятом им новом направлении, переведя на французский язык «Комментарии» Блакстона. Леблан путешествовал по Англии, написал сочинение об англичанах и перевел на французский язык «Политические рассуждения» Юма. Гольбах был, конечно, одним из деятельнейших вождей либеральной партии в Париже, между тем значительная часть его весьма многочисленных сочинений состоит из одних переводов английских авторов. В самом деле, можно смело сказать, что как в конце семнадцатого столетия трудно было найти даже среди самых образованных французов хотя бы одну личность, знакомую с английским языком, так в восемнадцатом столетии было почти одинаково трудно найти в том же сословии кого-либо, не знакомого с этим языком. Люди всяких наклонностей и самых противоположных направлений в этом отношении были соединены как бы общей связью. Поэты, геометры, историки, натуралисты — все, казалось, согласилось в необходимости изучения литературы, о которой прежде ни один из них и не думал. Читая вообще французских сочинителей, я нашел доказательства, что английский язык был известен не только тем именитым французам, о которых я уже говорил, но также математикам, как Д'Аламбер, Даркье, Дюваль ле Руа, Жюрен, Лашапелль, Лаланд, Ле Козик, Монтюкля, Пэзена, Прони, Ромм и Роже Мартен; анатомам, физиологам и писателям по части медицины, каковы: Бартез, Биша, Бордё, Барбё Дюбур, Боскильон, Буррю, Бэг де Прэль, Кабанис, Демур, Дюпланиль, Фуке, Гулен, Лавиротт, Лассю, Пети Радэль, Пинель, Ру, Соваж и Сю; натуралистам, как Алион, Бремон, Бриссон, Бруссонне, Далибар, Гаюй, Латапи, Ришар, Риго и Ромэ де Лиль; историкам, филологам и антиквариям, как Бартелеми, Бютель Дюмон, Де Бросс, Фуше, Фрере, Ларше, Ле Кок де Виллере, Милло, Тарж, Вэлли, Вольней и Вальи; поэтам и драматургам, как: Шерон, Колардо,

Делилл, Дефорж, Дюсис, Флориан, Лаборд, Лефевр де Бовре, Мерсье, Патю, Помпиньян, Кетан, Руше и Сент-Анж; смешанным писателям, каковы: Бассине, Бодо, Болатон, Бенуа, Бержье, Блаве, Бушо, Бугенвилль, Брюте, Кастера, Шэптро, Шарпантье, Шастеллю, Контан д'Орвилль, Де Бисси, Демёнье, Дефонтен, Девиенн, Дюбокаж, Дюпре, Дюренель, Эду, Этиенн, Флавье, Флавины, Фонтанель, Фонтене, Фрамери, Френе, Фревилль, Фроссар, Гальтье, Гарсо, Годдар, Гудар, Генз, Гиллемар, Гюйар, Жо, Эмбер, Жонкур, Кералио, Лаборо, Лакомб, Лафарг, Ла Монтань, Ланжюине, Ласалль, Ластери, Ле Бретон, Лекюи, Лео-нар де Мальпен, Летунёр, Ленге, Лоттен, Люно, Малье Дюклерон, Мандрильон, Марси, Моз, Моно, Монерон, Наго, Пейрон, Прево, Пюизьё, Ривуар, Робине, Роже, Рубо, Салавилль, Созейль, Сегонда, Сешен, Симон, Сулес, Сюар, Таннево, Тюро, Туссен, Трессан, Трошери, Тюрпен, Юссё, Вожуа, Верлак и Вирлуа. Даже Леблан, писавший несколько ранее половины восемнадцатого столетия, говорит: «Мы поставили английский язык в ряду научных языков; наши женщины изучают его и оставили итальянский язык ради языка этого философского народа; среди нас нельзя найти ни одного человека, который бы не желал учиться ему».

Вот с каким рвением устремились французы на литературу народа, которого они незадолго до того так искренно презирали. Дело в том, что при новом порядке вещей они не могли сделать иначе. Где, как не в Англии, можно было найти литературу, которая удовлетворяла бы смелых и пытливых мыслителей, явившихся во Франции после смерти Людовика XIV. В их отечестве было, без сомнения, много образцов красноречия, изящных драм, поэзии, которые хотя и не достигали никогда высшего совершенства, но все-таки отличались законченностью и удивительной красотой; но то составляет факт, и притом факт весьма грустный, что в течение шестидесяти лет, следовавших за смертью Декарта, во Франции не было ни одного человека, который бы осмелился мыслить по-своему. Метафизики, моралисты, историки — все были заражены рабством этого несчастного века. В течение двух поколений ни один француз не позволил себе свободно обсуждать вопросы политики или религии. Следствием этого было, что самые обширные умы, лишившись своей законной почвы, утратили свою силу; национальный дух упал; не доставало, по-видимому, даже материалов и пищи для мысли. Не удивительно после этого, что великие французские умы восемнадцатого столетия брали извне ту пищу, которую они не могли найти у себя дома. Не удивительно, что они отвернулись от своей родины и стали с удивлением смотреть на единственный народ, который, производя свои исследования в высших сферах разума, показал такое же бесстрашие в политике, как и в религии; на народ, который, ослабив своих королей и обуздав свое духовенство, копил сокровища своего опыта в той славной литературе, которая никогда не может погибнуть и о которой можно сказать

с полной правдивостью, что она возбудила к деятельности умы самых отдаленных рас и что — перенесенная в Америку и Индию — она уже принесла свои плоды на обеих оконечностях мира.

В самом деле, немногие явления в истории так поучительны, как то сильное влияние, которое имело на Францию изучение английской литературы. Даже те, которые на деле принимали участие в революции, — былидвигаемы преобладавшим духом. Английский язык был хорошо знаком Карра, Дюмурье, Лафайету и Лантена. Камиль Демулен почерпнул свое образование из того же источника. Марат путешествовал по Шотландии и Англии и так хорошо знал наш язык, что написал на нем два сочинения; одно из них, под заглавием «Цепи рабства», было впоследствии переведено на французский язык. Мирабо, по уверению одного известного авторитета, обязан был частью своей силы тщательному изучению английской конституции; он перевел не только Ватсонову «Историю Филиппа II», но даже некоторые места из Мильтона; и говорят, что, когда он был членом Национального собрания, он выдавал за свои слова отрывки из речей Бёрка. Мунье был хорошо знаком с нашим языком и с нашими политическими учреждениями как в теории, так и на практике; в одном сочинении своем, имевшем значительное влияние, он предлагал для своей родины устройство двух палат в видах установления того равновесия власти, пример которого представляет Англия. Та же идея, заимствованная из того же источника, была защищена Лебрёном, который был другом Мунье и, подобно ему, уважал литературу и образ правления английского народа. Бриссо знал по-английски; он изучал в Лондоне действие английских учреждений и сам говорит, что в своем рассуждении об уголовном праве он главным образом руководствовался ходом английского законодательства. Кондорсе предложил также как образец нашу систему уголовной юриспруденции, которая, как ни была она дурна, конечно, стояла выше французской. Госпожа Ролан, положение которой, так же как и способности, сделали ее одним из вождей демократической партии, усердно изучала язык и литературу английского народа. Побуждаемая всеобщим любопытством, она тоже посетила нашу страну. Наконец, как бы в доказательство, что люди всех оттенков и всех сословий действовали под влиянием того же духа, сам герцог Орлеанский посетил Англию, и посещение это не замедлило произвести свои обычные результаты. «Именно в лондонском обществе, — говорит знаменитый писатель, — приобрел он расположение к свободе и после своего возвращения он принес во Францию любовь к народным интересам, презрение к своему собственному положению и короткость с теми, кто был поставлен ниже его»<sup>11</sup>.

Такие выражения, как они ни сильны, не покажутся преувеличенными тому, кто тщательно изучал историю восемнадцатого столетия. Нет никакого сомнения, что Французская революция была в сущности реакцией против того духа покровительства

и вмешательства, который достиг своего зенита при Людовике XIV, но еще и до этого царствования имел в течение нескольких столетий вредное действие на народное благосостояние. Однако нельзя также не признать за достоверное, что толчок, которому реакция была в такой же мере обязана своей силой, сообщен был из Англии и что именно английская литература дала уроки политической свободы сперва Франции, а через Францию — и остальной Европе<sup>12</sup>. Только по этому случаю, а вовсе не из одного литературного любопытства я проследил с некоторой мелочностью ту связь между французскими и английскими умами, которую хотя часто замечали, но никогда не рассматривали со вниманием, подобающим ее важности. Обстоятельства, подкрепившие это обширное движение, будут рассказаны в конце этого тома; в настоящую же минуту я ограничусь первым важным последствием его, а именно: совершенным разъединением между литераторами и теми классами, которые исключительно управляли страной.

Те из знаменитых французов, которые теперь обратили свое внимание на Англию, нашли в ее литературе, в устройстве ее общества и ее управлении многие особенности, которых их родина не представляла примеров. Они слушали, как политические и религиозные вопросы величайшей важности обсуждались со смелостью, не известной в какой-либо другой части Европы. Они слушали, как диссентеры и церковники, виги и тори обращались с самыми щекотливыми вопросами и обсуждали их с неограниченной свободой. Они слушали публичные прения о таких предметах, о которых во Франции никто не смел рассуждать, и видели тайны государства и тайны веры, раскрываемые и прямо выставляемые напоказ народу. Особенно же должны были удивиться французы того века, когда они не только нашли известную степень свободы печати, но и слышали, как даже внутри самых стен парламента администрация короны порицалась с полной безнаказанностью, личности ее избранных слуг постоянно подвергались нападкам и, странно сказать, даже распределение ее доходов деятельно поверялось<sup>13</sup>.

Преемники века Людовика XIV, видя эти вещи и видя сверх того, что цивилизация страны возрастает с уменьшением опеки высших сословий и короны, не могли скрыть своего удивления при виде такого нового и возбуждающего зрелища. «Английская нация,—говорит Вольтер,—единственная во всем мире, которая посредством сопротивления своим королям успела ослабить их власть»<sup>14</sup>. «Как я люблю смелость англичан! Как я люблю людей, говорящих то, что думают». «Англичане,—говорит Леблан,—соглашаются иметь короля только с тем, чтобы не быть обязанными ему повиноваться». «Прямая цель их правительства,—говорит Монтескье,—есть политическая свобода; они пользуются большей свободой, чем всякая республика; и их правительственная система есть на самом деле республика, переодетая в монархию». Грослей, пораженный изумлением, воск-



лицает: «Собственность в Англии есть священная вещь; которую законы защищают от всяких посягательств; не только от инженеров, инспекторов и других людей того же покроя, но даже от самого короля». Мабли в самом знаменитом своем сочинении говорит: «Ганноверская династия может только царствовать в Англии, потому что там народ свободен и убежден, что он имеет право располагать короной. Но если бы короли этого дома стали требовать той же власти, какой домогались Стюарты, если бы они стали думать, что корона принадлежит им по божественному праву, то этим они сами произнесли бы свой приговор и сознались бы, что занимают место, которое не для них». «В Англии,—говорит Гельвеций,—народ уважается; каждый гражданин может иметь некоторое участие в управлении делами и писателям дозволено просвещать публику относительно ее собственных интересов». А Бриссо, специально изучавший этого рода вопросы, восклицает: «Удивительная конституция! Ее могут порицать только те, кто не знает ее, или те, чей язык скован цепями рабства».

Таковы были мнения некоторых из самых знаменитых французов того времени, и не трудно было бы наполнить целый том подобными извлечениями. Но я теперь преимущественно желаю указать на первое значительное последствие этого нового, внезапно возбудившегося уважения к стране, которая в предшествовавшем веке еще находилась в совершенном презрении. События, последовавшие за этим, имеют такую важность, которую невозможно преувеличить: они привели к тому разрыву между умственно трудящимися и правительствующими сословиями, в котором самая революция являлась только временным эпизодом.

Великие умы Франции восемнадцатого столетия, возбуждаемые примером Англии, прониклись такой любовью к прогрессу, что, естественно, должны были прийти в столкновение с правительствующими сословиями, среди которых еще преобладал старый дух неподвижности. Эта оппозиция являлась благотворной реакцией против того постыдного раболепства, которым в царствование Людовика XIV отличались литераторы; и если бы в возникшей из этого борьбе проявилось хоть что-либо похожее на умеренность, то конечный результат ее был бы в высшей степени благодетелен, потому что она привела бы к тому разъединению между классом мыслителей и классом практических деятелей, которое, как мы уже видели, необходимо для удержания равновесия цивилизации и для предупреждения опасного преобладания какой-нибудь из сторон. Но, к несчастью, дворяне и духовенство уже так давно привыкли к власти, что не могли вынести малейшего противоречия со стороны тех великих писателей, которых они в своем невежестве презирали, считая их ниже себя. Вот почему, когда знаменитейшие из французов восемнадцатого столетия попытались внести в литературу своей страны дух исследования, подобный существовавшему в Англии, правительствующие сословия воспылали

такой ненавистью и завистью, которая, разорвав всякие оковы, разразилась тем крестовым походом против знания, который является вторым из главных предшественников Французской революции.

До каких огромных размеров доходило жестокое гонение, которому подвергалась с этого времени литература, может вполне понять лишь тот, кто изучал во всей подробности историю Франции в XVIII столетии. То не был один из тех отдельных случаев притеснений, которые встречаются здесь и там; это было продолжительное и систематическое стремление задушить всякое исследование и наказать всех исследователей. Если составить список всех литераторов, которые писали в течение семидесяти лет, следовавших за смертью Людовика XIV, то окажется, что по крайней мере девять из каждого десятка претерпели от правительства тяжкие обиды, а большинство из них были даже посажены в тюрьму. Конечно, мои сведения об этих временах, хотя и тщательно собранные, не так полны, как бы я мог желать, но среди авторов, которые были наказаны, я встречал имена почти всех французов, сочинения которых пережили тот век, когда были написаны. Среди тех, кто подверглись или конфискации имущества, или заключению, или ссылке, или штрафам, или запрещению их сочинений, или позорному принуждению отречься от того, что ими было написано,—я нашел, кроме множества второстепенных писателей, имена Бомарше, Беррюе, Бужана, Бюффона, Д'Аламбера, Дидро, Дюкло, Фрере, Гёльвеция, Лагарпа, Ленге, Мабли, Мармонтеля, Монтескьё, Мерсье, Морелле, Рэналя, Руссо, Сюарда, Тома и Вольтера.

Простое перечисление имен этого списка уже в высшей степени поучительно. Предположить, что все эти замечательные люди заслужили полученное ими наказание,—было бы, даже в отсутствии прямых опровержений, явной нелепостью; ибо это значило бы думать, что когда между двумя классами произошел раскол, то слабый класс во всем не прав, а сильный—во всем прав. К несчастью, однако, нет надобности прибегать к одним только умозрительным доводам для определения, какая из сторон лучше. Обвинения, произнесенные против этих великих людей, найдутся перед глазами всего света; присужденные наказания также хорошо известны; а соединив вместе то и другое, мы можем составить себе идею о состоянии общества, в котором подобные дела могли открыто совершаться.

Вольтер почти непосредственно после смерти Людовика XIV был несправедливо обвинен в сочинении пафлета на этого государя, и за это воображаемое преступление без всякого суда и даже без тени улик заключен в Бастилию, где содержался более двенадцати месяцев. Вскоре после его освобождения ему была нанесена еще более тяжкая обида; случай этот, а в особенности его безнаказанность, служит разительным свидетельством состояния того общества, где такие вещи были дозволяемы. Вольтер за столом у герцога де Сюлли был умышленно оскорблен кавале-

ром де Роганом Шабо, одним из тех наглых и развратных дворян, которыми Париж тогда изобиловал. Гёрцог, несмотря на то, что оскорбление было нанесено в его собственном доме, в его присутствии и его гостю, не только не хотел вступиться, но, по-видимому, даже полагал, что для бедного поэта и то уже честь, если знатная особа каким бы то ни было образом обратила на него внимание. Так как Вольтер в первом порыве гнева отвечал одним из тех язвительных возражений, которых так страшились всегда его противники, то кавалер решился наказать его еще сильнее. Способ, избранный им для этого, прекрасно характеризует как самого человека, так и то сословие, к которому он принадлежал. Он велел поймать Вольтера на одной из улиц Парижа и в своем присутствии гнуснейшим образом избить,— причем сам лично определил число ударов. Вольтер, глубоко оскорбленный, потребовал того удовлетворения, которое обыкновенно давалось в таких случаях. Этого, однако, не имел в виду его знатный обидчик и потому не только отказал ему в поединке, но даже выхлопотал приказ, по которому Вольтер был заключен в Бастилию на шесть месяцев, а по истечении этого времени должен был покинуть родину<sup>15</sup>.

Таким образом Вольтер, посидев в тюрьме за памфлет, которого никогда не писал, затем публично побитый за то, что осмелился возражать на оскорбительную шутку наглеца, был теперь приговорен к новому тюремному заключению благодаря влиянию того самого человека, который обидел его. Изгнание, которое последовало за заключением, было, кажется, вскоре отменено, ибо немного спустя после этих событий мы находим Вольтера опять во Франции, готовящего к печати свое первое историческое сочинение «Жизнь Карла XII». В нем нет тех нападений на христианство, которые неприятно поражали в его последующих сочинениях; оно также не содержит ни малейшего намека на деспотизм правительства, от которого он пострадал. Французские власти сперва дали то позволение, без которого тогда ни одна книга не могла печататься; но как только она была действительно напечатана, позволение было взято назад и книга запрещена. Следующая попытка Вольтера имела гораздо большее значение и потому была еще резче отстранена. Во время его пребывания в Англии его пытливый ум был глубоко заинтересован тем положением вещей, которое так разнилось от всего до тех пор виденного им; он напечатал описание того замечательного народа, литература которого научила его многим важным истинам. Это сочинение его, названное «Философскими письмами», было встречено всеобщим одобрением; но, к несчастью для себя, Вольтер поместил там доводы Локка против врожденных идей. Правители Франции, от которых, конечно, нельзя было ожидать, чтобы они имели понятие о врожденных идеях, возымели, однако, подозрение, что учение Локка некоторым образом опасно; и так как они слышали, что это новость, то сочли себя обязанными предупредить ее

распространение. Вольтера приказано снова арестовать, а сочинение его было сожжено рукой палача.

Эти беспрестанно повторявшиеся оскорбления возмутили бы и более терпеливого человека, чем Вольтер<sup>16</sup>. Люди, упрекающие этого знаменитого человека в том, будто он подстрекал к несправедливым нападениям на существовавший порядок вещей, должно быть, весьма мало знают о веке, в котором он имел несчастье жить. Даже на область естественных наук, всегда считавшуюся нейтральной почвой, одинаково распространялось действие духа деспотизма и преследования. Вольтер в числе других планов, направленных к пользам Франции, желал познакомиться своих соотечественников с удивительными открытиями Ньютона, которые им были совершенно неизвестны. С этой целью он написал очерк трудов этого необыкновенного мыслителя; но здесь опять вмешались власти и запретили печатать это сочинение. Действительно, правители Франции, как бы чувствуя, что для них безопаснее невежество народа, упорно восставали против всякого рода знания. Несколько известных писателей вознамерились составить в грандиозных размерах «Энциклопедию», которая должна была содержать в себе краткое изложение всех отраслей науки и искусства. Это, без сомнения, самое блестящее предприятие, когда-либо задуманное корпорацией писателей, было сперва не одобрено правительством, а впоследствии совершенно запрещено. В иных случаях это же направление высказалось в таких ничтожных вещах, которые только по важности окончательных последствий не кажутся смешными. В 1770 г. Эмбер перевел «Письма об Испании» Кларка, одно из лучших сочинений об этой стране. Эта книга, однако, была запрещена, лишь только появилась, и единственной причиной для объяснения такого злоупотребления власти приводилось то, что в книге было несколько замечаний насчет страсти Карла III к охоте, в которых видели недостаток уважения к французской короне, потому что Людовик XV сам был страстный охотник. За несколько лет перед этим Ла Блеттери, хорошо известный во Франции своими сочинениями, был выбран в члены французской Академии. Но он, как кажется, был янсенист и, сверх того, дерзнул утверждать, что император Юлиан, несмотря на свое отступничество, не был совершенно лишен хороших качеств. Подобные преступления не могли быть оставлены без внимания в такой чистый век; поэтому король заставил Академию исключить Ла Блеттери из своей среды<sup>17</sup>. Что наказание не простерлось далее, это уже было замечательным послаблением, ибо Фрере, известный критик и ученый, был заключен в Бастилию за то, что утверждал в одном из своих мемуаров, что первые вожди франков получили свои титулы от римлян. Тому же самому наказанию подвергся четыре раза, в разное время, Ленгедю Френуа. Что касается этого во всех отношениях прекрасного человека, то тут, кажется, не было и тени повода к той жестокости, которой он подвергся; впрочем, в одном случае ему поставлено было в вину, что он издал дополнение к истории де Ту<sup>18</sup>.

Действительно, нам стоит только раскрыть биографии и корреспонденции того времени, и мы увидим со всех сторон бездну подобных примеров. Руссо угрожало заключение, он был изгнан из Франции, и его сочинения были публично сожжены. Знаменитое рассуждение Гельвеция «О разуме» было запрещено по приказанию королевского совета; оно было сожжено рукой палача, и автор был принужден написать два письма, где он отрекался от своих убеждений. Некоторые геологические взгляды Бюффона оскорбили духовенство, и знаменитый натуралист был принужден напечатать формальное отречение от тех учений, которые теперь известны за совершенно верные. «Ученые замечания на историю Франции» Мабли были запрещены, лишь только они появились; по какой причине—сказать трудно, ибо Гизо, которого, конечно, нельзя считать сторонником ни анархии, ни безбожия, нашел их достойными перепечатания и таким образом запечатлел их авторитетом своего великого имени. «История Индии» Рэналя была осуждена на сожжение, а автора приказано было арестовать. Ланжюине в своем известном сочинении о Иосифе II защищает не только религиозную терпимость, но даже уничтожение рабства; поэтому книга его была объявлена «возмутительной», признана «разрушающей всякую подчиненность» и приговорена к сожжению. Разбор Байля, Марси был запрещен, а сам автор посажен в тюрьму. «История иезуитов» Ленге была предана пламени; восемь лет спустя был запрещен его Журнал, а через три года после этого, так как он все продолжал писать, были запрещены его политические летописи и сам он заключен в Бастилию. Делиль де Саль был приговорен к вечному изгнанию и конфискации всего имущества за сочинение «Философия природы». Трактат Мэйя о французском праве был запрещен, а трактат Бонсерфа о феодальном праве—сожжен. «Мемуары» Бомарше были также сожжены; «Похвала Фенелону» Лагарпа была только запрещена. Дюверне, написавший «Историю Сорбонны», еще не издав ее, был уже схвачен и заключен в Бастилию, несмотря на то, что даже рукопись еще находилась у него. Знаменитое сочинение Де Лольма об английской конституции было запрещено эдиктом тотчас по выходе в свет. Такие же запрещения предстояли и «Письмам» Жервеза в 1724, «Рассуждениям» Курэйе в 1727, «Письмам» Монгона в 1732, «Истории Тамерлана» Марга, также в 1732, «Опыту о вкусе» Карто в 1736, «Жизни Дома» Прево де ля Жаннес в 1742, «Истории Людовика XI» Дюкло в 1745, «Письмам» Баржетона в 1750, «Запискам о Труа» Гролея в том же году, «Истории Клементя XI» Ребуле в 1752, «Школе Человека» Женара, также в 1752, «Терапевтике» Гарлопа в 1756, знаменитому тезису Луи о деторождении в 1754, «Трактату о президиальной юрисдикции» Жюсса в 1755, «Эриции» Фонтенеля в 1768, «Мыслям» Жамэна в 1769, «Истории Сиам» Тюрпена и «Похвальному слову Марку Аврелию» Тома, обоим в 1770, сочинениям о финансах Дириграна в 1764 и Ле Трона в 1779, «Опыту о военной тактике» Пюибера в 1772, «Письмам»

Буке в том же году, «Мемуарам» Терре, Кокеро в 1776. Такое произвольное уничтожение собственности было еще милостью сравнительно с тем, чему подвергались другие литераторы во Франции. Дефорж, например, писавший против арестования претендента на английскую корону, был за одно это заключен в темницу пространством в восемь квадратных футов и содержался там три года; это случилось в 1749 г. В 1770 г. Одра, профессор Тулузской коллегии, человек с некоторой известностью, издал первый том своей «Краткой всеобщей истории». Далее сочинение это уже не выходило, а было тотчас же осуждено архиепископом той епархии и автор отрешен от своей должности. Одра, публично опозоренный, увидел, что все его труды пропали бесполезно и все надежды его жизни внезапно разрушены; он не мог пережить такого потрясения — с ним сделался апоплексический удар, и через двадцать четыре часа он лежал уже мертвый в своем собственном доме.

Вероятно, все согласятся, что я собрал достаточно фактов в подтверждение моего показания о преследованиях, которым подвергались все виды литературы; но небрежность, с какою изучались обстоятельства, предшествовавшие Французской революции, привела к таким ошибочным взглядам на этот предмет, что я намерен прибавить еще несколько примеров, дабы поставить вне всякого сомнения истинное значение оскорблений, которым обыкновенно подвергались самые известные французы XVIII столетия.

Среди многих знаменитых писателей, которые хотя и стояли ниже Вольтера, Монтескьё, Бюффона и Руссо, но уступали только этим последним, тремя самыми замечательными были Дидро, Мармонтель и Морелле. Первые два известны каждому читателю, третий же — Морелле, хотя сравнительно забытый, пользовался в свое время значительным влиянием и, сверх того, имел ту особенную заслугу, что первый популяризировал во Франции те великие истины, которые тогда только что были открыты в политической экономии Адамом Смитом, а в юриспруденции — Беккариа.

Некто Кюри написал сатиру на герцога д'Омона и показал ее своему другу Мармонтелю, который, пораженный ее силой, повторил ее в небольшом кружке своих знакомых. Герцог, услышав об этом, пришел в негодование и настаивал на выдаче имени автора. Этого, конечно, невозможно было исполнить без грубого нарушения доверия, и Мармонтель, желая сделать все, что было в его силах, написал письмо герцогу, утверждая, как и было на самом деле, что сатира не напечатана, что автор не намерен распространять ее в публике, что она была прочтена немногим самым близким друзьям его. Можно было бы предполагать, что это удовлетворит даже французского дворянина; но Мармонтель, сомневаясь еще в исходе этого дела, искал аудиенции у министра в надежде получить защиту от правительства. Все было, однако, тщетно. С трудом поверят, что Мармонтеля, который был тогда

в полной славе, схватили среди Парижа, и так как он отказался выдавать своего друга, то его заключили в Бастилию. Преследователи были так беспощадны, что после освобождения его из тюрьмы, желая довести до нищеты, лишили его права на издание «Меркурия», от которого зависел почти весь его доход.

С аббатом Морелле случилось подобное же обстоятельство. Один жалкий писака по имени Палиссо написал комедию, где он осмеял некоторых самых даровитых французов того времени. На это Морелле отвечал остроумной небольшой сатирой, где он сделал совершенно невинный намек на княгиню де Робэкк, одну из патронесс Палиссо. Знатная дама эта, возмущенная такою дерзостью, пожаловалась министру, который немедленно приказал заключить аббата в Бастилию, где он пробыл несколько месяцев; между тем он не только не сделал никакого скандала, но даже не упомянул имени княгини.

С Дидро поступили еще строже. Этот замечательный человек обязан был своим влиянием главным образом своей обширной корреспонденции и блестящему разговорному таланту, в котором он не знал соперника даже в Париже. Он проявлял с большим успехом этот талант на тех славных обедах у Гольбаха, где в течение четверти столетия собирались самые значительные мыслители Франции<sup>19</sup>. Кроме того, он был автор многих любопытных сочинений, большинство которых хорошо известны всем, кто изучал французскую литературу<sup>20</sup>. Вследствие своего независимого ума и своей известности он также не избежал всеобщего гонения. Первое написанное им сочинение было осуждено на публичное сожжение рукою палача<sup>21</sup>. Такова была действительно судьба почти всех лучших литературных произведений того времени, и Дидро должен был почитать себя счастливым, что только лишился собственности, но был избавлен от заключения. Но спустя несколько лет он написал другое сочинение, в котором он говорил, что слепорожденные люди различаются некоторыми понятиями от зрячих. Такое предположение несколько не неправдоподобно<sup>22</sup> и не заключает в себе ничего такого, что могло бы кого-либо встревожить. Однако люди, которые тогда управляли Францией, открыли в этом скрытую опасность. Подозревали ли они, что рассуждение о слепоте есть намек на них самих, или они действовали только под влиянием своего дурного характера — неизвестно; во всяком случае Дидро за одно заявление такого мнения был арестован и даже без всякой формы суда заключен в Венсенский замок. За этим последовали обычные результаты. Сочинения Дидро сделались еще популярнее<sup>23</sup>, а он, со своей стороны, пылая ненавистью к своим преследователям, удвоил усилия к низвержению тех учреждений, под покровом которых могла безопасно действовать такая чудовищная тирания.

Кажется, нет нужды говорить более о том невероятном ослеплении, под влиянием которого правители Франции, делая из каждого способного человека своего личного врага<sup>24</sup>, наконец восстановили против правительства умственные силы страны.

Я хочу тем не менее привести, как достойное последствие предыдущих фактов, один пример того, каким образом для удовлетворения каприза высших сословий даже частные отношения семейной жизни могли быть публично поруганы. В половине XVIII столетия на французской сцене была актриса по имени Шантильи. В нее влюбился Мориц Саксонский, но она предпочла более честную привязанность и вышла замуж за Фавара, известного сочинителя песен и комических опер. Мориц, возмущенный ее дерзостью, обратился за помощью к французской короне. Самое обращение это уже достаточно странно, результат же его может сравниться разве только с чем-либо случающимся при восточном деспотизме. Правительство Франции, услышав об этом обстоятельстве, имело непостижимую слабость отдать приказ, повелевавший Фавару оставить свою жену и передать ее на попечение Морица, ласкам которого она принуждена была подчиниться.

Это принадлежит к числу тех невыносимых поступков, от которых кипит кровь в жилах людей. Можно ли удивляться, что величайшие и благороднейшие умы Франции чувствовали омерзение к правительству, которое делало подобные вещи? Если даже мы, несмотря на отдаленность времени и страны, приходим в негодование при одном рассказе обо всем этом, то что же должны были чувствовать те, перед чьими глазами все это на самом деле совершалось? А если к естественному отвращению, ощущаемому при виде таких дел, мы присоединим то опасение сделаться вскоре самому их жертвою, которое могло всякому прийти в голову; если вспомним также, что виновники этих преследований не имели ни одной из тех способностей, которыми даже самый порок иногда облагораживается; если мы сравним, таким образом, их умственное ничтожество с громадностью их преступлений, то мы скорее изумимся тому беспримерному терпению, которое одно могло так долго сносить подобные оскорбления.

Мне действительно всегда казалось, что отсрочка революции есть одно из самых разительных доказательств в истории силы установившихся обычаев и той стойкости, с которой человеческий ум держится старинных ассоциаций и идей. Если и было когда-либо правительство существенно и радикально дурное, то это было правительство Франции в XVIII столетии. Если и существовало когда-либо состояние общества, способное своим вопиющим, в избытке накопившимся злом довести людей до отчаяния, то Франция была в таком состоянии. Народ, презренный и порабощенный, погрязал в совершенной нищете, был задавлен страшной жестокостью законов, насилием с немилосердным варварством; вся страна была в полном, безответственном распоряжении духовенства, дворян и короны. Лучшим умам Франции угрожало безжалостное изгнание; произведения ее литературы запрещались и сжигались; ее авторов грабили и заключали в тюрьмы. Не было ни малейшего признака возможности исправле-



ния этих зол. Высшие сословия, дерзость которых усиливалась от продолжительной безнаказанности, думали только о настоящем наслаждении; они нисколько не заботились о будущем, они не предвидели дня расчета, горечь которого им вскоре предстояло испытать. Народ пребывал в рабстве до самой революции; что же касается литературы, то почти с каждым годом делались новые усилия лишить ее и той малой доли свободы, которой она еще обладала. Издав в 1764 г. декрет, воспрещавший печатание всякого сочинения, в котором обсуждаются государственные вопросы; признав в 1767 г. уголовным преступлением написание книги, способной взволновать умы общества (караемым смертной казнью), и объявив сверх того, что той же смертной казни подлежит всякий, кто нападает на религию, а равно и всякий, кто говорит о финансах; приняв такие меры, правители Франции весьма незадолго до своего конечного падения обдумывали другой, еще более обширный план. Действительно, странный факт, что всего за девять лет до революции, когда никакие земные силы не могли спасти учреждения Франции, правительство было в таком неведении об истинном положении дел и до того было убеждено в возможности укротить дух, возбужденный его же деспотизмом, что одно должностное лицо (генеральный адвокат) сделало в 1780 г. предложение уничтожить всех издателей и не позволять печатать никаких книг, исключая тех, которые будут исходить из прессы, оплачиваемой, определяемой и контролируемой исполнительной властью. Это чудовищное предложение, будь оно приведено в действие, естественно, отдало бы в руки короля все влияние, каким может располагать литература; оно довершило бы гибель Франции, принудив величайших людей к совершенному молчанию или унизив их до значения защитников одних тех мнений, распространения которых желало бы правительство.

На это ни в каком случае не следует смотреть как на мало-важное обстоятельство, имеющее интерес только для писателей. Во Франции в XVIII столетии литература была последним убежищем свободы. В Англии, если бы наши великие писатели опозорили свои умственные способности высказыванием рабских мнений, то опасность, без сомнения, была бы велика, потому что другим частям общества трудно было бы избежать заразы; но прежде чем распространилась бы порча, мы имели бы время остановить ход ее, покуда мы обладали бы теми свободными политическими учреждениями, при одной мысли о которых легко воспламенится благородное воображение смелого народа. И хотя такие учреждения суть следствие, а не причина свободы, но они, без сомнения, действуют обратно и на нее и, опираясь на привычку, могут некоторое время пережить то начало, из которого они родились. Покуда страна сохраняет политическую свободу, в ней всегда останутся ассоциации идей, которыми даже из среды умственного уничижения и из глубины самых низких пред-рассудков люди могут быть вызваны к лучшей деятельности. Но

во Франции все было для правителей и ничего для управляемых. У нее не было ни свободы печати, ни свободного парламента, ни свободных прений. У нее не было публичных митингов, не было народной подачи голосов, не было прений в избирательных собраниях, не было акта Habeas Corpus, не было суда присяжных. Голос свободы, заглушенный таким образом во всех частях государства, мог только слышаться в воззваниях тех великих людей, которые своими сочинениями просвещали народ. Вот с какой точки зрения мы должны оценивать характеры тех людей, которые часто были обвиняемы в легкомысленном разрушении старого строя<sup>25</sup>. Они, как и вообще весь народ, были жестоко притесняемы короною, дворянами и церковью и употребляли свои умственные способности на отмщение за нанесенные им обиды. Упрекать следовало высшие классы, потому что они подали первый сигнал, а не тех великих людей, которые, защищая себя от нападения, наконец успели поразить виновников, от которых нападение происходило.

Не останавливаясь, однако, на оправдании их образа действий, мы рассмотрим теперь то, что гораздо важнее, а именно: происхождение того крестового похода против христианства, который, к несчастью для Франции, они вынуждены были начать и который составляет третье из крупных явлений, предшествовавших Французской революции. Знание причин этой вражды к христианству необходимо для верного понимания философии XVIII столетия; оно должно пролить некоторый свет на общую теорию духовной власти.

Особенно заслуживает внимания то обстоятельство, что революционная литература, ниспровергнувшая впоследствии все учреждения Франции, сперва направлялась скорее против религиозных, чем против политических, учреждений. Великие писатели, сделавшиеся известными вскоре после смерти Людовика XIV, восставали против духовного деспотизма; ниспровержение же светского деспотизма досталось на долю их непосредственных преемников<sup>26</sup>. Это не тот порядок, какой был бы принят в здравом состоянии общества; нет никакого сомнения, что этой особенностью и следует приписать не в малой мере злодеяния, самоуправство и насилие Французской революции. Очевидно, что при правильном развитии нации политические нововведения идут рядом с религиозными, так что народ может расширять свою свободу, уменьшая в то же время свои предрассудки. Во Франции, напротив, в течение почти сорока лет церковь подвергалась нападениям, а правительство щадилося. Вследствие этого порядок и равновесие в этой стране нарушились; умы людей привыкли к самым смелым умозрениям, между тем как их действия подчинялись самому притеснительному деспотизму, и они признавали в себе способности, которые правители не позволяли им употреблять в дело. Поэтому, когда вспыхнула Французская революция, она оказалась не простым восстанием невежественных рабов против образованных господ, а восстанием людей,

в которых отчаяние, порожденное рабством, приобрело новую силу с успехами знания,—людей, находившихся в том ужасном состоянии, когда умственное развитие опережает развитие свободы.

Нет никакого сомнения, что этому именно состоянию мы должны приписать некоторые из самых отвратительных особенностей Французской революции. Поэтому в высшей степени интересно исследовать, отчего в то время, как в Англии политическая свобода и религиозный скептицизм шли вместе и помогали друг другу, во Франции, напротив, происходило обширное движение, во время которого в течение почти сорока лет способнейшие люди пренебрегали свободой, а между тем поощряли скептицизм и уменьшали власть церкви, не расширяя прав народа.

Первая причина этого заключается в свойстве тех понятий, на которых французы долгое время основывали предания о своей славе. Целый ряд обстоятельств, которые я старался указать, говоря о духе покровительства, упрочил за французскими королями такую власть, которая, подчиняя все сословия короне, льстила народному тщеславию. Поэтому во Франции чувство преданности королю укоренилось в народе глубже, чем в остальной Европе, исключая одну Испанию<sup>27</sup>. О различии между этим духом и тем, который проявлялся в Англии, было уже говорено; оно еще более видно из того, как неодинаково обе нации относились к посмертной славе своих государей. Исключая Альфреда, иногда называемого Великим<sup>28</sup>, в Англии никого из наших королей не любили настолько, чтобы жаловать им титулы, выражающие личное удивление. Французы уже украсили своих королей всевозможными похвалами. Таким образом, возьмем одно имя Людовик, и мы увидим, что один — Кроткий, другой — Святой, третий — Справедливый, четвертый — Великий, а самый отчаянно-порочный из всех был назван Людовиком Возлюбленным.

Таковы факты, которые, как бы ни казались они ничтожными, составляют весьма важные материалы для истинной истории, потому что служат несомненными признаками состояния той страны, в которой они были возможны<sup>29</sup>. Отношение их к нашему предмету очевидно. Ибо вследствие их и тех обстоятельств, из которых они возникли, родилось в умах французов понятие о тесной и наследственной связи между славой их нации и личною известностью их государей. Последствием этого было то, что политика правителей Франции была ограждена от порицания оплотом более непреодолимым, чем всякий другой, хотя бы воздвигнутый самыми строгими законами. Она была защищена теми предрассудками, которые каждое поколение завещало своим преемникам. Она была защищена тем сиянием, которым время окружило древнейшую монархию в Европе<sup>30</sup>. А более всего она была защищена тем жалким народным тщеславием, которое заставляло людей подчиняться налогу и рабству ради того, чтобы ослепить иностранных государей

блестящей обстановкой своего повелителя и запугать другие страны величием его побед.

Результатом всего этого было то, что, когда в начале XVIII столетия умственные силы Франции пришли в движение, мысль напасть на злоупотребления монархии никогда не приходила в голову даже самым смелым мыслителям. Но под покровительством короны возросло другое учреждение, относительно которого проявлялось менее умеренности. Духовенство, которому в течение столь долгого времени позволялось поработать совесть людей, не было защищено теми народными понятиями, которые ограждали личность государя; к тому же и никто из среды его, исключая только Боссюэ, не сделал ничего особенного для возвеличения Франции. Действительно, французская церковь хотя и обладала во время царствования Людовика XIV огромной властью, но в отправлении ее всегда подчинялась короне, по повелениям которой она не страшилась противиться даже самому папе<sup>31</sup>. Поэтому естественно, что во Франции власть духовенства подверглась нападению ранее власти светской; отличаясь одинаковым с нею деспотизмом, она имела менее силы и не была защищена теми народными преданиями, которые составляют главную опору каждого древнего учреждения.

Соображений этих достаточно для объяснения, почему в этом отношении умственные силы Франции и Англии пошли совершенно различными путями. В Англии умы людей, будучи менее стеснены предрассудками безграничной преданности королю, имели возможность при каждом последовательном шаге в великом прогрессе направлять свои сомнения и исследования как на политику, так и на религию; упрочивая таким образом свою свободу по мере уменьшения своих предрассудков, они поддерживали равновесие умственных сил нации, не допуская ни одну из них до чрезмерного перевеса. Но во Франции благоговение пред королевской властью до того увеличилось, что равновесие это было нарушено; исследования людей, не смея останавливаться на политике, были направлены против религии и дали начало страшному явлению — богатой и могучей литературе, в которой единодушная вражда к церкви не сопровождалась ни одним голосом против громадных злоупотреблений государства.

Было еще одно обстоятельство, подкрепившее это своеобразное стремление. В течение царствования Людовика XIV личный характер иерархии весьма много сделал для упрочения ее владычества. Все вожди церкви были люди добродетельные, а многие из них были люди с дарованиями. Действия их при всей своей жестокости были, по-видимому, добросовестны, и производимое ими зло может быть только приписано грубой несообразности вверять власть духовным. Но после смерти Людовика XIV произошла большая перемена. Духовенство по причинам, которые слишком долго было бы исследовать, сделалось чрезвычайно развратным, а часто оказывалось и весьма невежественным. Это делало тиранию его еще более тягостной, потому что

подчиняться ей было еще унижительнее. Великие таланты и люди безупречной нравственности, как Боссюэ, Фенелон, Бурдалу, Флешье и Маскарон, до известной степени смягчали позор, который всегда связан со слепым послушанием. Но когда они были заменены такими епископами и кардиналами, как Дюбуа, Тансен и другие, процветавшие во время регентства, то стало делом трудным оказывать уважение главам церкви, так как они были запятнаны открытой, всем известной безнравственностью<sup>32</sup>. В то же самое время, как произошла эта невыгодная перемена между правителями церкви, началась и та громадная реакция, первые влияния которой я уже пытался проследить. Итак, в тот самый момент, как дух исследования усилился, личности духовных сделались более достойны презрения<sup>33</sup>. Великие писатели, теперь появившиеся во Франции, закипели негодованием, когда они увидели, что те, которые захватили безграничную власть над совестью людей, сами вовсе не имели совести. Очевидно, что каждый аргумент против духовной власти, заимствованный из Англии, должен был приобрести двойную силу, будучи в то же время направлен и против людей, личная неспособность которых была всем известна<sup>34</sup>.

Таково было положение враждебных партий, когда почти непосредственно после смерти Людовика XIV началась та великая борьба между авторитетом и разумом, которая еще не окончена, хотя при настоящем состоянии науки результаты ее уже не подлежат более сомнению; на одной стороне было замкнутое, многочисленное духовное сословие, поддерживаемое вековой давностью и влиянием короны; на другой — небольшое общество людей, не имеющих ни чинов, ни богатства и еще не пользующихся известностью, но одушевленных любовью к свободе и справедливым доверием к своим собственным способностям. К несчастью, в самом начале они сделали важную ошибку. Нападая на духовенство, они потеряли уважение к религии. Решившись ослабить власть духовенства, они пытались подрывать основания христианства. Об этом следует глубоко сожалеть как в отношении их самих, так и в отношении конечных результатов такого образа действий для Франции; но не должно вменять им это в преступление, потому что они были вынуждены к этому самым их положением. Они видели, какое ужасное зло причиняло их родине учреждение духовенства в том виде, в каком оно тогда существовало; а между тем им говорили, что сохранение этого учреждения в его настоящей форме необходимо для самой сущности христианства. Их всегда учили, что интересы духовенства тождественны с интересами религии, — как же им было избежать смещения и духовенства, и религии в одном общем враждебном чувстве? Выбор был ужасно труден, но честным путем его нельзя было избежать. Мы, обсуждающие эти вещи по другому масштабу, имеем меру, которой они иметь не могли. Мы не сделали бы теперь такой ошибки, ибо знаем, что между духовенством какой бы то ни было формы и интересами христианства нет

никакой связи. Мы знаем, что духовенство существует для народа, а не народ — для духовенства. Мы знаем, что все вопросы церковного управления суть предметы не религии, а политики и должны быть разрешаемы не на основании преемственных догматов, а согласно с видами общей пользы. Вследствие того, что все эти предложения теперь приняты каждым просвещенным человеком в нашей стране, истины религии у нас редко подвергаются нападкам, и то со стороны поверхностных мыслителей. Если, например, мы нашли бы, что существование наших епископов с их привилегиями и богатством не благоприятствует прогрессу общества, то мы не стали бы из-за того враждебно смотреть на христианство, потому что мы помнили бы, что учреждение епископов есть его случайная сторона, а не его сущность и что мы можем уничтожить это учреждение и все-таки сохранить религию. Точно так же если бы мы когда-либо нашли, как было прежде найдено во Франции, что духовенство тиранствует, то это возбудило бы с нашей стороны оппозицию, но не против христианства, а только против внешней формы, которую оно приняло. Покуда наше духовенство ограничивается исполнением благих обязанностей своего призвания — облегчением скорбей и бед, как физических, так и нравственных, до тех пор мы будем уважать в нем служителей мира и любви к ближнему. Но если они опять когда-либо посягнут на права мирян, если они опять когда-либо станут вмешиваться с голосом авторитета в управление государством, тогда дело народа исследовать, не пришло ли время пересмотреть церковное устройство страны. Вот, следовательно, тот взгляд, каким мы смотрим в настоящее время на эти вещи. Наше мнение о духовенстве будет зависеть только от него самого, но не будет иметь отношения к нашему взгляду на христианство. Мы смотрим на духовенство как на общество людей, которые, несмотря на их склонность к нетерпимости и несмотря на некоторую узкость понятий, свойственную их процессии, составляют, без сомнения, часть обширного и благородного учреждения, смягчившего нравы людей, облегчившего их страдания и уменьшившего их бедствия. Покуда это учреждение исполняет свои обязанности, мы охотно соглашаемся на сохранение его. Если же оно устареет или будет найдено не соответствующим изменившимся условиям общества, идущего вперед, то мы имеем и власть, и право исправить его недостатки; мы можем, если будет нужно, отбросить некоторые части его; но мы не захотим, мы не посмеем коснуться тех великих истин религии, которые от него совершенно независимы, — истин, успокаивающих ум человека, ставящих его выше минутных увлечений и внушающих ему те возвышенные стремления, которые, открывая ему его собственное бессмертие, служат мерой и признаком будущей жизни.

К несчастью, не с этой точки зрения рассматривались вопросы эти во Франции. Правительство ее, даровав духовенству большие льготы, обращаясь с личностями, составляющими его,

как с чем-то священным, и наказывая, как за ересь, за все нападения на них, установило в народном понятии неразрывную связь между интересами духовенства и интересами христианства. Последствием этого было, что когда началась борьба, то и на служителей религии, и на самую религию нападали с равным рвением. Насмешки и даже брань, сыпавшиеся на духовенство, не удивят того, кто знаком с поводом, поданным самим духовенством. И хотя при последовавшем вскоре неразборчивом нападении христианство подверглось на некоторое время судьбе, которой следовало подвергнуть только людей, называвших себя его служителями,—это, однако, может только возбуждать в нас сожаление, но никак не должно удивлять нас. Упадок христианства во Франции был необходимым последствием тех понятий, которые связали судьбу национального духовенства с судьбою национальной религии. Связанные общим происхождением, они должны были и пасть в общем падении. Если бы то, что составляет древо жизни, было в самом деле так испорчено, что могло бы приносить только ядовитые плоды, то мало доставило бы пользы срубить сучья и срезать ветви, а гораздо лучше было бы одним мощным усилием вырвать его с корнем из земли и спасти здоровье общества, уничтожив самый источник заразы.

Таковы размышления, на которых мы должны остановиться, прежде чем осуждать деистических писателей XVIII столетия. Так, однако, превратны суждения, к которым привыкли некоторые умы, что люди, судящие самым беспощадным образом об этих писателях, суть именно те, чье поведение составляет их лучшее оправдание. Это люди, которые, предъявляя самые странные требования в пользу духовенства, стараются установить принцип, действие которого именно и погубило духовных. Их план восстановления древней системы церковной власти находится в зависимости от предположения о божественном происхождении ее,—предположения, которое, если оно неотделимо от христианства, совершенно оправдывает то неверие, на которое они так горячо нападают. Расширение власти духовенства несомненно с интересами цивилизации. Если, следовательно, какая-нибудь религия вводит необходимость такого расширения в число своих верований, то на обязанности каждого друга человечества лежит делать все возможное, чтобы или уничтожить такое верование, или в случае неуспеха ниспровергнуть такую религию. К счастью, мы еще не поставлены в такое страшное затруднение; мы знаем, что эти требования столь же ложны в теории, сколь были бы губительны на практике. Действительно, не подлежит сомнению, что если бы они были приведены в исполнение, то духовенство хотя бы и насладились минутным триумфом, но само приготовило бы себе гибель, проложив у нас путь к таким же бедственным событиям, какие произошли во Франции.

То, что порицали в великих французских писателях, было естественным последствием развития их века. Еще не было более поразительного подтверждения того социального закона,

о котором мы уже говорили,— что если предоставить религиозному скептицизму идти его путем, то он родит много великого и ускорит ход цивилизации; если же будет сделана попытка подавить его строгостью, то он, без сомнения, затихнет на некоторое время, но зато потом восстанет с такой силой, что будет угрожать самым основам общества. В Англии мы избрали первый путь, во Франции избран был второй. В Англии людям дозволялось высказывать их мнения о самых священных предметах; и как только с уменьшением их легковерия положены были пределы власти духовенства, тотчас же явилась терпимость, и народное благоденствие никогда не было нарушено. Во Франции власть духовенства была расширена суверенным королем; вера завладела местом разума; даже шепотом не смели выражать сомнения, и дух исследования был подавляем до тех пор, пока страна не была приведена на край гибели. Если бы Людовик XIV не помешал естественному прогрессу, то Франция, подобно Англии, продолжала бы идти вперед. После его смерти было действительно уже поздно спасти духовенство, против которого вскоре восстало все разумное в стране. Но сила урагана могла бы все-таки быть сломлена, если бы правительство Людовика XV примирилось с тем, чему невозможно было противиться, и вместо неразумных попыток обуздать мнения законами изменило бы законы согласно мнениям. Если бы правители Франции, вместо того чтобы принуждать национальную литературу к молчанию, прониклись ее внушениями и уступили требованиям развивавшегося знания, то роковое столкновение было бы избегнуто, потому что страсти, породившие это столкновение, были бы укрощены. В этом случае духовенство пало бы несколько ранее, но само государство было бы спасено. В этом случае Франция, по всей вероятности, упрочила бы свою свободу, не увеличивая своих преступлений; и великая страна, которой по ее положению и по ее средствам следует быть образцом европейской цивилизации, не была бы испытана теми ужасными жестокостями, через которые ей пришлось пройти и от последствий которых она еще и теперь не оправилась.

Нельзя, я полагаю, не допустить, что в течение по крайней мере первой половины царствования Людовика XV было бы возможно заблаговременными уступками спасти политические учреждения Франции. Следовало произвести реформы, и реформы непременно обширные и строгие. Насколько, однако, я могу понимать истинную историю этого периода, я не сомневаюсь, что если бы они были дарованы охотно и искренно, то можно было бы достигнуть всего, что необходимо для двух единственных целей, к которым государство должно стремиться, а именно — сохранения порядка и предупреждения преступлений. Но в половине царствования Людовика XV, или во всяком случае в самом начале второй половины его, положение дел стало изменяться, и в течение немногих лет дух Франции сделался так демократичен, что было невозможно даже отсрочить ту револю-



цию, которая предшествовавшим поколением могла быть совершенно устранена. Эта замечательная перемена находится в связи с другой переменной, о которой уже было говорено и вследствие которой умственные силы Франции стали почти в этот же период относиться к государству более враждебно, чем относились до этого к духовенству. Как только эта, если ее можно так назвать, вторая эпоха XVIII столетия вполне наступила, движение сделалось неукротимым. События быстро сменялись одно другим, каждое было связано с предшествовавшим, и во всей целостности их выражалось стремление, которому невозможно было противостоять. Тщетно правительство, решившись сделать некоторые уступки действительной важности, приняло меры, которые, подчиняя церковь известному контролю, ослабили власть духовенства и даже смирили орден иезуитов. Тщетно корона в первый раз призвала теперь в свои советы людей, проникнутых духом реформы,— людей, как Тюрго и Неккер, мудрые и либеральные предположения которых могли бы в более тихое время успокоить волнение умов народа. Тщетно были даны обещания уравнивать подати, облегчить некоторые из самых вопиющих тягостей и отменить некоторые самые вредные законы. Тщетно были даже созданы Генеральные штаты, и народ был таким образом по истечении ста семидесяти лет допущен к участию в управлении своими собственными делами. Все эти попытки были тщетны, потому что пришло время для переговоров и наступило время для борьбы. Самые либеральные уступки, какие только можно было изобрести, не в силах были бы отвлечь ту кровавую борьбу, которую ход предшествовавших событий сделал неизбежной. Уже исполнилась мера тому веку. Высшие классы французского общества вызвали кризис, и им следовало вынести его исход. Тут не время было для пощады, тут не было отлагательств, не было сострадания, не было сочувствия. Оставалось только решить, могут ли те, которые подняли бурю, совладать с ураганом, или не будут ли они скорее первыми жертвами того ужасного вихря, в котором погибло на время все — законы, религия, нравственность; малейшие следы гуманности были уничтожены, и цивилизация Франции не только затоплена, но, как в то время казалось, безвозвратно потеряна.

Определить последовательные перемены этой второй эпохи XVIII столетия есть задача, преисполненная трудностей не только со стороны быстроты, с какой совершались события, но и со стороны их чрезвычайной сложности и степени влияния их друг на друга. Однако материалы для такого исследования чрезвычайно многочисленны, и так как они состоят из данных, представляемых всеми классами общества и всеми интересами, то мне показалось возможным воспроизвести историю этого времени, следуя единственному способу, по которому стоит изучать историю, т. е. сообразуясь с порядком, в котором совершалось социальное и умственное развитие. Итак, в заключительной главе настоящего тома я постараюсь проследить

события, предшествовавшие Французской революции, за тот замечательный период, в который враждебные чувства людей, отклонившись от злоупотреблений церкви, обратились в первый раз против злоупотреблений государства. Но до вступления в эту эпоху, которая будет называться политической эпохой XVIII столетия, необходимо рассмотреть, согласно плану, мною начертанному, перемены, происшедшие в методе самого писания истории, и показать, какое имели влияние на эти перемены стремления предшествовавшей, если можно так сказать, церковной эпохи. Таким образом мы гораздо легче поймем деятельность того удивительного движения, которое привело к Французской революции; мы увидим, что оно не только имело влияние на мнения людей о том, что происходило перед их глазами, но изменило также и умозрительные взгляды на события предшествовавших веков и тем положило начало той новой школе исторической литературы, образование которой есть далеко не самое меньшее из благодеяний, оказанных нам великими мыслителями XVIII столетия.

## ГЛАВА XIII

### Состояние исторической литературы во Франции с конца XVI до конца XVIII столетия

Легко можно представить себе, что те сильные движения французского ума, которые я только что изобразил, необходимо должны были произвести большой переворот в методе писания истории. Смелый дух, с которым люди стали теперь оценивать события своего времени, не мог не оказать влияния и на мнения их о событиях прежних веков. В этой, как и во всякой другой, отрасли знания первым нововведением было признание необходимости подвергнуть сомнению то, чему до тех пор безусловно верили; а эта потребность, как только она пустила корни, стала расти, разрушая на каждом шагу ту или другую из тех чудовищных нелепостей, которыми, как мы уже видели, были обезображены и самые лучшие исторические сочинения. Зародыши реформы замечаются уже в XIV столетии, хотя самая реформа началась не ранее конца XVI века. В течение XVII она подвигалась несколько медленно, в XVIII уже приобрела внезапно большую силу и была ускорена, преимущественно во Франции, тем смелым духом исследования, который составлял отличительную черту того века,— тем духом, который, очистив историю от бесчисленных несообразностей, поднял ее уровень и придал ей неслыханное до тех пор значение. Зарождение исторического скептицизма и те размеры, до которых он доходил, составляют действительно такую любопытную черту в летописях европейского ума, что нельзя не удивляться, почему никто еще не пытался проследить то движение, которому одна из обширных отраслей новейшей литературы обязана своими драгоценнейшими свойствами.

В настоящей главе я надеюсь пополнить этот пробел относительно Франции; я постараюсь указать различные переходы на пути к такому развитию; и когда мы узнаем, таким образом, условия, наиболее благоприятствующие изучению истории, то нам легче будет исследовать вероятность ее будущего усовершенствования.

В отношении к этому предмету есть одно предварительное соображение, вполне достойное внимания, а именно, что люди всегда начинали с сомнения в предметах религии, а потом уже осмеливались сомневаться в истории. Можно было бы ожидать, что укоры, а в века суеверия—и опасности, которым подвергалась ересь, устрашат исследователей и заставят их, предпочитая менее опасный путь, направить свой скептицизм на вопросы литературного умозрения. Но вовсе не этого пути придерживался ум человеческий. На первых ступенях развития общества, когда духовенство имеет на все влияние, вера в непростительную преступность всякого религиозного заблуждения бывает так глубоко

укоренена, что поглощает всеобщее внимание; она заставляет каждого мыслителя сосредоточивать все свои мысли и сомнения на теологии и не оставляет ему свободного времени для вопросов, которым придается меньшая важность<sup>1</sup>.

Вследствие этого в течение многих столетий самые остроумные мыслители в Европе истощали свои силы в размышлениях над обрядами и догматами христианства; и между тем как в этих предметах они часто проявляли величайшую способность, в других, и особенно в истории, они обнаруживали то ребяческое легкоеверие, несколько примеров которого я уже привел. Но когда с развитием общества теологический элемент начинает приходить в упадок, то рвение, с каким некогда велись религиозные споры, заметно ослабевает. Самые передовые умы первые проникаются все большим и большим равнодушием к этого рода вещам, и потому из первых также начинают вникать в действительность тем самым пытливым взглядом, который предшественники их приберегали для религиозных умозрений. Это составляет важный поворот в истории каждой цивилизованной нации. С этого момента религиозные ереси становятся реже, а литературные делаются более обыкновенным явлением<sup>2</sup>. С этого же момента дух исследования и сомнения проникает во все отрасли знания, и открывается длинный путь побед, на котором с каждым новым открытием возрастает могущество и достоинство человека, и в то же время большая часть его убеждений потрясается, а многие из них и вовсе искореняются до тех пор, пока течением этой порывистой, хотя и нешумной революции не был, так сказать, прерван поток предания, пока не было ниспровергнуто влияние старых авторитетов и пока ум человеческий, по мере возрастания его сил, не научился полагаться на свои собственные средства и устранять препятствия, так долго стеснявшие свободу его движений.

Применение этих замечаний к истории Франции даст нам возможность объяснить некоторые любопытные явления в литературе этой страны. Во весь средневековый период, и даже можно сказать до конца XVI столетия, Франция, столь богатая летописцами, не произвела ни одного историка, потому что не явилось ни одного человека, который решился бы усомниться в том, чему все верили. Действительно, до выхода «Истории королей Франции» Дю Гальяна никто никогда не пробовал критически разработать материалы, существование которых было известно. Сочинение это появилось в 1576 г., и автор в заключении своего труда не мог скрыть гордости, испытанной им по случаю совершения такого важного предприятия. В своем посвящении королю он говорит: «Государь, я первый из французов написал историю Франции и изобразил в почтительных выражениях величие и достоинство наших королей, ибо до сих пор о них говорилось только в старом хламе летописей». К этому он прибавляет в предисловии: «Я хочу только сказать без всякого преувеличения и хвастовства, что я делал нечто, чего до сих пор еще никто не

сделал и чего еще никто не видывал в нашем народе; я изобразил историю Франции в таком одеянии, в котором она еще никогда не являлась». И это не было пустым хвастовством темного человека. Сочинение Дю Гальяна выдержало несколько изданий, было переведено на латинский язык и перепечатано в чужих краях. На самого автора смотрели как на славу французской нации, и он был награжден благосклонностью короля, который сделал его секретарем финансов. Итак, по его сочинению мы можем составить себе некоторое понятие о том, что признавалось в то время за идеал исторической литературы, и с этой точки зрения мы обязаны, конечно, узнать, какими материалами пользовался главнейшим образом этот писатель. За шестьдесят лет до него итальянец по имени Павел Эмилий напечатал компиляцию из разных сплетен о деяниях французов. Эта книга, наполненная странными вымыслами, была принята Дю Гальяном за основание его знаменитой истории королей Франции, и он, не задумываясь, выписывает из нее те пустые басни, которые вздумалось рассказать Эмилию. Это дает нам некоторое понятие о легковерии писателя, которого современники признали, без малейшего сравнения, за величайшего из историков, когда-либо появлявшихся во Франции. Но это еще не все. Дю Гальян, не довольствуясь заимствованием у своего предшественника самых невероятных фактов, удовлетворяет еще своей страсти к чудесному собственными выдумками. Он начинает свою историю длинным рассказом о совете, который, говорит он, был собран славным Фарамондом для разрешения вопроса — будет ли Франция управляема монархом или аристократией. Очень еще сомнительно, существовало ли когда-либо такое лицо, как Фарамонд; известно только то, что если оно и существовало, то все материалы, по которым можно было бы составить себе понятие о нем, давно утрачены. Но Дю Гальян, не обращая внимания на эти мелочи, дает нам полнейшие сведения об этом военачальнике и, как будто решившись испробовать до конца легковерие читателей, упоминает еще о двух лицах — Шарамонде и Квадреке как о членах совета Фарамондова, самые имена которых выдуманы им самим.

Таково было состояние исторической литературы во Франции в начале царствования Генриха III. Но вскоре предстояла большая перемена. Замечательным успехам в умственном отношении, сделанным французами в конце XVI столетия, предшествовал, как я уже сказал, скептицизм, являющийся как бы необходимым предвестником всякого прогресса. Дух сомнения, проникший сперва в религию, передался и литературе. Движение это тотчас же отозвалось во всех отраслях знания, и тогда история впервые вышла из униженного состояния, в которое она была погружена в течение целых столетий. В отношении к этому предмету простой перечень годов может уже быть полезен для тех людей, которые из одного отвращения к мышлению, пожалуй, отвергли бы ту связь, существование которой я желаю

доказать. В 1588 г. издано было первое скептическое сочинение на французском языке («Опыты» Монтеня). В 1598 г. французское правительство в первый раз решилось на публичный акт веротерпимости. В 1640 г. де Ту издал известное сочинение свое, которое все критики признают за первое замечательное историческое сочинение, написанное французом. И в то самое время, как происходило все это, другой знаменитый француз, великий Сюлли, собирал материалы для своего исторического сочинения, уступающего, конечно, сочинению де Ту, но все-таки непосредственно за ним, по таланту автора, по тому значению, которое оно имело, и по приобретенной им известности. Мы не можем также умолчать о том обстоятельстве, что оба этих великих историка, оставившие далеко позади себя всех своих предшественников, были доверенными министрами и близкими друзьями Генриха IV, первого из королей Франции, память которого запятнана обвинением в ереси и который первый осмелился переменить религию не по каким-либо теологическим побуждениям, а явно в силу политической необходимости<sup>3</sup>.

Но действие духа скептицизма не ограничивалось одними только первостепенными историками. Движение было уже достаточно сильно, чтобы отразиться и на произведениях второстепенных писателей. Легковерие прежних историков проявлялось самым разительным образом в двух особенностях: в безразборчивом списывании годов и в готовности верить самым неправдоподобным вещам, часто на основании неполных доказательств, а иногда и без всякого основания. Сильным доказательством того умственного прогресса, который я стараюсь изобразить, может, конечно, послужить то обстоятельство, что в течение нескольких лет оба эти источника заблуждений были устранены. В 1597 г. Сэрр был назначен историографом Франции и в том же году издал свою историю этой страны. В сочинении этом он настаивает на необходимости тщательного обозначения года каждого события, и с того времени поданный им пример не остался без подражания. Важность этой перемены охотно признает всякий, кому известно, в каком хаосе находилась история вследствие пренебрежения первых историков к тому, что теперь оказывается столь естественной мерой предосторожности. Непосредственно за этим нововведением во Франции следовало другое, еще более важное, а именно: в 1621 г. вышла история Франции Сципиона Дюпле, в которой в первый раз напечатаны рядом с изложением исторических событий ссылки на свидетельства о них. Излишне было бы говорить о пользе этого нововведения, которое лучше всего научило историков тщательно собирать источники и делать строгий между ними выбор. К этому следует прибавить, что Дюпле, тоже первый из французов, решился издать систему философии на своем родном языке. Правда, что система эта, сама по себе, имеет мало достоинств, но в то время, когда она вышла, она представляла собой нечто беспримерное и потому казалась недостойной попыткой раскрыть тайны фило-

софии, изложив ее на общепонятном языке; в этом отношении она представляет нам новое доказательство все большего и большего распространения такого смелого духа исследования, какого не знали в прежнее время. Неудивительно поэтому, что почти в тот же самый момент явился во Франции и первый систематический опыт исторического скептицизма.

Система философии Дюпле вышла в 1602 г., а в 1599 г. Ла Поплиньер издал в Париже сочинение, названное им «История историй», в котором он критикует самих историков и обзореает произведения их с тем скептическим взглядом, которому его век был столь многим обязан. Этот даровитый человек был также автором сочинения «Очерк новой истории французов», заключающего в себе, между прочим, формальное опровержение сказки, которой так дорожили прежние историки,—о том, будто бы французская монархия была основана Франком, прибывшим в Галлию после взятия Трои.

Бесполезно было бы перечислять все случаи, в которых этот развивающийся дух скептицизма теперь стал проявляться, очищая историю от всякой лжи. Я приведу еще только два или три примера из числа тех, о которых мне случилось читать. В 1614 г. де Рюби издал в Лионе сочинение о европейских монархиях, в котором он не только опровергает давно установившееся мнение о происхождении французов от Франка, но даже смело утверждает, что имя «франки» происходит от свободы, которой они издревле пользовались. В 1620 г. Гомбервилль в исторической диссертации опровергает многие из пустых сказок о древности происхождения французов, сказок, бывших до того времени в большом ходу. В 1630 г. Берто издал в Париже свое сочинение «Французский флёр», в котором он окончательно уничтожает прежний взгляд, приняв за основное начало, что происхождение французов следует искать только в тех странах, где застали их римляне.

Впрочем, как эти произведения, так и все другие, подобные им, совершенно затмила «История Франции» Мэзере, первая часть которой была издана в 1643 г., а последняя—в 1651 г. Может быть, не совсем будет справедливо относительно предшественников Мэзере, если мы назовем его первым истинным историком Франции, но нет сомнения в том, что его сочинение несравненно выше всех, какие только были до тех пор известны. Язык Мэзере удивительно чист и энергичен, а по временам достигает даже значительной степени красноречия. Кроме того, он имеет два других, еще более важных достоинства. Первое из них есть нежелание верить странным вещам потому только, что им до тех пор верили, а второе—расположение принимать скорее сторону народа, чем сторону его повелителей. Из этих двух принципов первый был слишком обыкновенен среди наиболее даровитых французов того времени, чтобы привлечь большее внимание<sup>4</sup>; но второй дал Мэзере возможность сделать важный шаг перед всеми своими современниками. Он первый

из французов отверг в обширном историческом сочинении то суеверное благоговение перед королевской властью, которое так долго до него смущало умы его соотечественников и даже сохранялось в них еще целое столетие. Естественным последствием этого являлось то, что он также первый понял, что история, чтобы иметь истинную цену, должна быть историей не одних королей, но и народов. Ясное сознание этого принципа привело к тому, что он включил в свою книгу сведения о некоторых таких предметах, которых до того времени никто и не думал изучать. Он сообщает нам все, что только мог узнать о податях, взимавшихся с народа, о страданиях, причиненных ему грабительством его правителей, о его нравах, удобствах жизни и даже о состоянии городов, в которых он обитал,— словом сказать, он говорит обо всем, что касалось интересов французской нации, так же, как и о вещах, относившихся к интересам французской монархии<sup>5</sup>. Эти-то предметы Мэзере предпочитал всем ничтожным подробностям о великолепии дворов и образе жизни королей. Таковы были важные и многосторонние данные, на которых он любил останавливаться и о которых он охотно говорил, конечно, не с той полнотой, какой мы могли бы желать, но все-таки в таком духе и с такой точностью, которые дают ему право считаться величайшим из историков, каких имела Франция до восемнадцатого столетия.

Это составляет во многих отношениях самую важную из перемен, произведенных до того времени в образе писания истории. Если бы план, задуманный Мэзере, был выполнен его преемниками, то мы имели бы материалы, отсутствие которых никакие новейшие изыскания не могут восполнить. Правда, что некоторых сведений мы в этом случае лишились бы: мы менее знали бы, чем теперь, о дворах и лагерях, менее слышали бы о несравненной красоте французских королей и величественных манерах. Мы даже, может быть, потеряли бы некоторые из драгоценных звеньев той цепи фактов, которой определяется генеалогия королей и аристократов и изучение которой доставляет такое наслаждение антиквариям и специалистам геральдики. Но зато, с другой стороны, мы имели бы возможность судить о положении французской нации во второй половине семнадцатого века, между тем как при настоящем ходе дел наши сведения о быте самого народа в этот важный период менее точны и менее обширны, чем те, которые мы имеем о некоторых из самых диких племен в мире<sup>6</sup>. Если бы примеру Мэзере последовали другие при тех новых средствах, какие представлялись бы по мере того, как все подвигается вперед, то мы не только были бы в состоянии с точностью проследить развитие великой и цивилизованной нации, но имели бы, кроме того, материалы для вывода или проверки тех основных начал, открытия которых и составляет истинную цель истории.

Но этому не было суждено осуществиться. К несчастью для всех интересов просвещения, ход французской цивилизации в это



время был внезапно остановлен. В самом начале второй половины семнадцатого столетия произошла во Франции прискорбная перемена, давшая новый оборот всей судьбе этой страны. Реакция, которой подвергся дух исследования, и умственные и социальные условия, приведшие Фронду к преждевременному концу и тем проложившие путь Людовику XIV, были описаны в одном из предшествовавших отделов настоящего тома, где я старался очертить все последствия этого губительного переворота. Теперь остается мне показать, в какой мере эта ретроградная тенденция мешала развитию исторической литературы и препятствовала писателям не только добросовестно описывать то, что совершалось вокруг них, но даже верно понимать события предшествовавших времен.

Люди, даже самым поверхностным образом изучавшие французскую литературу, должны были удивляться тому, как мало явилось историков в тот долгий период времени, когда бразды правления были в руках Людовика XIV. Это в значительной степени зависело от свойств короля. Он был воспитан с непрости-тельной небрежностью, и так как он никогда не имел достаточно силы воли, чтобы восполнить недостатки своего воспитания, то остался на целую жизнь невеждой во многих таких вещах, с которыми бывали обыкновенно коротко знакомы даже монархи. О событиях прошедших времен он буквально ничего не знал и из всей истории интересовался только историей своих подвигов. В свободном народе такое равнодушие со стороны государя никогда не могло бы произвести вредных последствий. Действительно, как мы уже видели, в высокообразованной стране отсутствие покровительства со стороны монарха составляет самое благоприятное условие для литературы; но при вступлении на престол Людовика XIV свобода во Франции была еще слишком новым явлением и привычка к самостоятельному мышлению не довольно еще утвердилась, чтобы дать нации возможность противостоять направленному против нее союзу королевской власти с церковью. Французы, становясь с каждым днем более и более раболепными, упали наконец так низко, что к концу семнадцатого столетия даже как будто бы потеряли всякое желание сопротивляться. Король, не встречая нигде оппозиции, старался приобрести такую же власть над умственными силами страны, какой он пользовался в управлении ею<sup>7</sup>. По всем великим вопросам религии и политики дух исследования был подавлен, и никому не позволялось выразить мнение, неблагоприятное для настоящего порядка вещей. Так как король был расположен тратить деньги на литературу, то он естественным образом считал себя вправе требовать от нее всяких услуг. Писатели, которых он кормил, не должны были возвышать голос против его политики. Они получали от него жалованье и обязанности были творить волю того, который им платил. Когда Людовик принял управление государством, Мэзере был еще жив, но едва ли нужно говорить, что великий труд его был издан прежде, чем система

покровительства и опеки была введена в действие. То, что случилось с этим великим историком Франции, может служить образцом вновь наступившего порядка вещей. Он сперва получал от казны пенсию в четыре тысячи франков, но когда издал в 1668 г. сокращение своей истории, то ему было замечено, что некоторые из воззрений его на возвышение податей могут возбудить неудовольствие высокостоящих лиц. Но так как в скором времени оказалось, что Мэзере был слишком честен и слишком бесстрашен, чтобы отречься от того, что он написал, то решено было прибегнуть к устрашению, и у него отняли половину его пенсии; а когда эта мера не произвела надлежащего действия, то отдано было другое приказание, которым лишили Мэзере и остальной половины пенсии, и таким образом в самом начале этого вредного царствования уже подан был пример наказания человека за то, что он честно писал о таком предмете, в котором, скорее чем во всяком другом, честность составляет самое существенное условие<sup>8</sup>.

Этот поступок ясно показывает нам, чего могли ожидать историки от правительства Людовика XIV. Несколько лет спустя королю представился другой случай выказать то же самое направление. Наставником к внуку Людовика был назначен Фенелон, твердость и благоразумие которого много содействовали исправлению молодого принца от тех пороков, которые довольно рано проявились в нем. Но достаточно было одного обстоятельства, чтобы перевесить в глазах короля огромную услугу, которую Фенелон оказывал королевской фамилии и которую он, если бы питомец его достиг престола, оказал бы в будущем всей Франции. Знаменитый роман его «Телемак» был издан в 1699 г., и, как видно, без его согласия<sup>9</sup>; но король подозревал, что под покровом вымысла Фенелон имел намерение осуждать действия его правительства. Тщетно автор защищался против такого опасного обвинения. Ничто не могло смягчить негодование короля. Он удалил Фенелона и никогда более не соглашался допустить в свое присутствие такого человека, которого он подозревал бы хотя в малейшем намеке на критику мер, принятых администрацией страны<sup>10</sup>.

Если король мог по одному подозрению поступить таким образом с великим писателем, носившим звание архиепископа и пользовавшимся репутацией святого человека, то мало было вероятности, чтобы он стал поступать мягче с людьми, стоящими ниже. В 1681 г. аббата Прими, итальянца, жившего в то время в Париже, убедили написать историю Людовика XIV. Король, восхищенный надеждой увековечить свою славу, пожаловал автору несколько наград, и сделано было условие, что сочинение Прими будет написано по-итальянски и немедленно переведено на французский язык. Но когда история эта появилась, то в ней оказалось несколько таких обстоятельств, которых, по мнению короля, не должно было разглашать. На этом основании Людовик приказал книгу запретить, отобрать у автора все

бумаги, а его самого заключить в Бастилию. То было действительно опасное время для людей с независимым образом мыслей,— время, когда ни один автор, пишущий о политике или религии, не мог считать себя безопасным, если только он не следовал вполне тогдашней моде— отстаивать все те мнения, которых держались двор и церковь. Король, отличавшийся неутолимой жадностью того, что он называл славой<sup>11</sup>, старался унижить современных историков до значения простых летописцев, исключительно занимающихся описанием его подвигов. Он приказал Расину и Буало написать историю его царствования, назначил им содержание и обещал снабдить их нужными материалами. Но даже Расин и Буало при всем том, что они были поэты, знали, что им не удастся удовлетворить болезненно развитому тщеславию короля; поэтому они только получали пенсию, а о том сочинении, за которое она была назначена, и не думали. Так было известно нерасположение даровитых людей заниматься историей, что признано было необходимым прибегнуть к вербованию литераторов в чужих краях. Мы только что рассказали случай с аббатом Прими, который был итальянцем. Годом позже такое же предложение сделано было англичанину. В 1683 г. посетил Францию Бернет и ему дали понять, что он может получить пенсию и даже удостоиться чести говорить с самим Людовиком, если только согласится написать историю деяний короля— историю, которая говорила бы «в пользу» этого государя<sup>12</sup>.

Неудивительно, что при таких обстоятельствах история в самом существенном отношении быстро падала в правление Людовика XIV. Она сделалась, как полагают некоторые, более изящна, но положительно утратила свою силу. Язык, которым она выражалась, был весьма тщательно обработан, периоды были красиво расположены, эпитеты изящны и благозвучны. То был век утонченной вежливости и услужливости,— век, вполне проникнутый почтительностью, чувством долга и готовностью платить дань удивления. В истории, как ее тогда писали, каждый король являлся героем и каждый епископ— святым угодником. Обо всех горьких истинах умалчивалось; ничего резкого и неприятного не считалось нужным высказывать. Эти скромные и покорные воззрения, будучи выражены легким и плавным слогом, придавали истории тот вид утонченного изящества и ту тихую, безобидную поступь, которые доставили ей популярность во всех сословиях, которым она льстила. Но, приобретая эту изящную форму, она теряла свою жизненную силу. В ней не стало самостоятельности, не стало честности, не стало смелости. Эта самая возвышенная и трудная отрасль знания— наука о развитии рода человеческого— была брошена на произвол всякого робкого и пресмыкающегося ума, какой удостоивал заняться ею. Явились и Буленвиллье, и Даниель, и Мембур, и Варильяс, и Верто, и множество других, которые в царствование Людовика XIV все признаваемые были за историков, между тем как сочинения их имеют только то достоинство, что дают нам

возможность вполне оценить тот век, в котором подобные произведения вызывали похвалы, и ту систему, представителями которой они были.

Чтобы дать полное понятие об упадке исторической литературы во Франции со времен Мэзере до начала восемнадцатого века, нужно было бы представить читателю перечень всех написанных в это время исторических сочинений, потому что они все были проникнуты одним и тем же духом. Но так как это потребовало бы слишком много места, то, вероятно, будет признано достаточным, если я ограничусь такими примерами, которые могут представить читателю направление того времени в самом ясном виде; с этой целью я рассмотрю сочинения двух историков, о которых я еще не говорил. Один из них был известен как антикварий, а другой — как теолог. Оба отличались замечательной ученостью, а один даже несомненной гениальностью; следовательно, их сочинения заслуживают особенного внимания как признаки умственного состояния Франции в конце семнадцатого столетия. Имя антиквара — Одижье, а имя теолога — Боссюз; по их сочинениям мы можем составить себе понятие о том, как было вообще принято в царствование Людовика XIV смотреть на события минувших веков.

Знаменитое сочинение Одижье о происхождении французов было издано в Париже в 1676 г. Несправедливо было бы отрицать, что автор ее был человеком, много и весьма внимательно читавшим. Но легковерие, предрассудки, уважение к старине и благоговение перед всем, что было одобрено духовенством и двором, ослепляли его до такой степени, которая в настоящее время может показаться невероятной; а так как теперь в Англии, верно, немного найдется лиц, читавших его некогда знаменитую книгу, то я здесь представлю очерк главных из проводимых в ней воззрений.

Из этого великого произведения мы узнаем, что именно через 3464 года по сотворении мира и за 590 лет до Р. Х. Сиговез, племянник короля кельтов, в первый раз был послан в Германию; люди, сопровождавшие его, были естественным образом путешественниками, а так как слово «путешествовать» по-немецки — wandeln, то отсюда и произошло имя вандалов. Но вандалы далеко уступали в древности происхождения французам. Юпитер, Плутон и Нептун, которых иногда считали за богов, были в действительности королями Галлии. А если заглянуть несколько далее назад, то станет очевидным, что Галл, основатель Галлии, был не кто иной, как сам Ной, так как в те времена нередко один и тот же человек имел два имени. Последующая история французов оказывается вполне достойной знатности их происхождения. Александр Великий, при всем упоении славой своих побед, никогда не дерзал напасть на скифов, которые были переселенцами, высланными из Франции. От великого народа, занявшего Францию, произошли все божества Европы, все изящные искусства и все науки. Сама Англия — не что иное, как

колония Франции; это должно быть ясно для всякого, кто только обратит внимание на сходство имени англов с областью Анжу. Именно этому счастливому обстоятельству своего происхождения жители Британских островов обязаны той храбростью и тем образованием, которым они и доныне отличаются. С такою же легкостью разъясняет великий критик и некоторые другие вопросы. Так, по его мнению, салические франки получили свое имя от быстроты своего бега. Бретонцы были, очевидно, саксонского племени, и даже шотландцы, о независимости которых так много говорили историки, были вассалами французских королей. Он, очевидно, думает, что никакое предположение не может быть слишком преувеличенным, когда дело идет о достоинстве французской короны, и что трудно даже представить себе ее блеск. Иные полагали, что императоры стоят выше французских королей, но это заблуждение невежественных людей; ибо слово «император» значит повелитель на войне, тогда как титул короля подразумевает все отправления верховной власти. Следовательно, если взглянуть на дело с настоящей точки зрения, то великий король Людовик XIV — такой же император, как и все его предшественники, знаменитые повелители Франции, правившие ею в продолжение пятнадцати веков. Несомненно также, что антихрист, который возбуждает во всех так много опасений, никак не посмеет явиться в мир, пока не рухнет французская монархия. Эту мысль, говорит Одижье, бесполезно было бы оспаривать, потому что она подтверждается многими из святых и ясно высказана св. апостолом Павлом в его втором послании к фессалоникийцам.

Как ни странны кажутся нам все эти вымыслы, но просвещенные современники Людовика XIV не находили в них ничего возмутительного. Действительно, французам, ослепленным блестящей обстановкой своего государя, должно было быть особенно приятно узнать, что он стоит выше других монархов и что не только ему предшествовал целый ряд императоров, но и он сам был в сущности император. Они должны были проникнуться благоговением, услышав от Одижье о появлении антихриста и о связи, существующей между этим важным событием и судьбой французской монархии. Они должны были внимать с благочестивым удивлением объяснению этих истин свидетельствами из писаний отцов церкви и из посланий к фессалоникийцам. Все это они должны были легко принимать на веру, потому что преклонение перед королем и благоговение перед церковью были двумя главными правилами века Людовика XIV. Повиноваться и верить — таковы были основные идеи этого периода, в котором процветали некоторое время изящные искусства, в котором понимание красоты, хотя слишком своеобразное, было, бесспорно, весьма тонко, в котором вкус и воображение в низших проявлениях своих были тщательно развиваемы, но в котором, с другой стороны, оригинальность и самостоятельность мысли были уничтожены, о самых великих и важных предметах было запрещено

рассуждать, науки были почти заброшены, реформы и нововведения возбуждали ненависть, всякие новые мысли были презираемы, и лица, проводившие их, подвергались наказаниям до тех пор, пока наконец весь избыток умственных сил не был насильственно приведен в состояние бесплодия и вообще вся умственная деятельность нации не понизилась до того уровня бесцветности и однообразия, который характеризует последние двадцать лет царствования Людовика XIV.

Никто не может нам служить лучшим примером этого реакционного движения, как Боссюз, епископ Мо. Успех и даже самое появление его сочинения о всеобщей истории с этой точки зрения становится в высокой степени поучительным. Рассматриваемая сама по себе, эта книга представляет печальное зрелище великого дарования, извратившегося под влиянием суеверного века. Но рассматриваемая в отношении к тому времени, когда она явилась, она составляет для нас неоценимый признак тогдашнего состояния умственных сил Франции; мы видим из этой книги, что в конце семнадцатого века один из самых даровитых людей в одной из первенствующих стран Европы мог добровольно покориться такому унижению ума и выказать такое слепое легковерие, которого в наше время устыдились бы даже люди с самыми слабыми способностями, и что это явление не только не возбудило негодования и не навлекло на автора каких-нибудь упреков, но было принято со всеобщим, безусловным одобрением. Боссюз был великий оратор, превосходный диалектик, владевший той туманной высотой мысли, которая так легко действует на большую часть людей. Все эти качества он несколько лет спустя проявил в сочинении, составляющем, вероятно, самое опасное из всех когда-либо сделанных нападения на протестантизм. Но когда, оставив в стороне свою специальность, он вступил на обширное поприще истории, то он не нашел ничего лучшего, как последовать в этом новом предмете произвольным воззрениям, которыми отличались люди его профессии. Сочинение его составляет смелую попытку унизить историю до степени простой послушницы теологии<sup>13</sup>. Как бы полагая, что в предметах теологии сомнение уже равносильно преступлению, он без малейшего колебания принимает за безусловную истину все то, чему привыкла верить церковь. Это дает ему возможность говорить с величайшей самоуверенностью о событиях, теряющихся в самой отдаленной древности. Он знает точное число лет, прошедших с того момента, когда Каин умертвил своего брата, когда земля была залита потопом и когда Аврааму было указано его призвание. Время совершения этих и других подобных им событий он определяет с такой точностью, что почти можно было бы подумать, что они совершились в его время, если только не в его глазах<sup>14</sup>. Правда, что еврейские книги, на которые он охотно опирается, не представляют никаких сколько-нибудь ценных свидетельств о хронологии даже самой еврейской нации, сведения же о других нациях в них замечательно скудны и неудов-

летворительны,—но так узок был взгляд Боссюэ на историю, что, по его мнению, все это до него нисколько не касалось. В тексте Вульгаты сказано, что такие-то дела совершились в такое-то время, а известное число святых мужей, называющих себя собором церкви, в половине шестнадцатого столетия провозгласили подлинность Вульгаты и взялись поставить ее выше всех других переводов Священного Писания<sup>15</sup>. Это теологическое мнение было принято Боссюэ за исторический закон; и, таким образом, решение какой-то горсти кардиналов и епископов, живших во времена грубого суеверия и совершенного отсутствия всякой критики, составляет единственный авторитет в подтверждение той хронологии отдаленнейших времен, которая своею точностью может привести в изумление всякого несведущего читателя<sup>16</sup>. Точно так же, наслышавшись, что евреи — народ избранный Богом, Боссюэ в своей так называемой всеобщей истории почти исключительно сосредоточивает внимание на этом народе и говорит об этом упрямом и невежественном племени в таком смысле, как будто бы оно составляло ось, вокруг которой вращались дела целого мира<sup>17</sup>. По его понятиям, в историю не должны входить народы, прежде всех других достигшие цивилизации,— народы, которым евреи были обязаны и теми скудными познаниями, каких они достигли впоследствии. Он мало говорит о персах и еще менее о египтянах; он не упоминает даже о том несравненно более великом народе, который обитает между Индом и Гангом, философия которого составила один из элементов Александрийской школы, утонченное мышление которого упредило все усилия европейской метафизики и который на своем родном, изящно выработанном языке излагал самые высокие исследования еще в то время, когда евреи, оскверненные всякого рода злодеяниями, были лишь бродячим племенем грабителей, скитавшимся по лицу земли,— племенем, которое на всякого поднимало руку и на которое всякий поднимал руку.

Переходя к позднейшим периодам истории, Боссюэ подчиняется тем же теологическим увлечениям. Так тесен его взгляд, что он во всей истории церкви видит лишь участие провидения и даже не замечает, каким образом, вопреки первоначальному плану, церковь подверглась влиянию внешних событий<sup>18</sup>. Так, например, самый важный факт в истории первых изменений в христианской церкви составляло влияние на нее африканской отрасли Платоновой философии; но об этом Боссюэ нигде не упоминает, и у него нет даже и намек на что-либо подобное. С видами его было согласно смотреть на церковь как на постоянное чудо, и вследствие того он совершенно оставляет без внимания самое важное событие в истории первых времен ее. Теперь перейдем к несколько позднейшим временам. Всякий, кто сколько-нибудь знаком с ходом развития европейской цивилизации, согласится, что немалой долей ее мы обязаны тем проблескам света, которые, среди распространенного кругом мрака, исходили из двух

великих центров — Кордовы и Багдада. Но эти проблески были делом магометанства, а так как Боссюз было втолковано, что магометанство есть гибельная ересь, то он не мог допустить, чтобы христианские нации почерпнули что-нибудь из такого отравленного источника. Вследствие того он ничего не говорит о той великой религии, которая молвою о себе наполнила весь мир<sup>19</sup>; и, имея случай упомянуть об основателе ее, он говорит о нем с презрением, как о бесстыдном лжеце, на притязания которого неприлично даже обращать внимание<sup>20</sup>. О великом учителе, который между миллионами язычников распространил высокую истину единства Божия, Боссюз говорит с величайшим презрением, потому что Боссюз, верный духу своей профессии, не мог найти ничего заслуживающего удивления в людях, мнения которых расходились с его понятиями<sup>21</sup>. Но когда ему представляется случай упомянуть о каком-нибудь безвестном члене того сословия, к которому он сам принадлежит, тогда он расточает свои похвалы с беспредельной щедростью. В его плане всемирной истории Магомет оказывается не достоин занимать места. Он оставляет его без внимания, а истинно великим мужем, — мужем, которому род человеческий серьезно обязан, является у него Мартин, епископ Турский. О нем Боссюз говорит, что беспримерные деяния этого человека наполняли Вселенную его славой как при жизни его, так и после смерти. Правда, что из пятидесяти образованных людей едва ли хоть один когда-либо слышал имя Мартина, епископа Турского, но Мартина католическая церковь признала святым, следовательно, его права на внимание историка несравненно выше прав человека, который, подобно Магомету, лишен был таких преимуществ. Таким образом, во мнении единственного замечательного писателя по предмету истории, жившего во времена владычества Людовика XIV, самый великий человек, какого когда-либо произвела Азия, и вообще один из самых великих людей, каких видел мир, стоит во всех отношениях ниже французского монаха, самым важным делом которого было построение монастыря и который провел большую часть своей жизни в уединении, трепеща от суеверных мечтаний, свойственных его слабой натуре<sup>22</sup>.

Таким узким взглядом смотрел на великие факты истории этот писатель, который в пределах своей специальности обнаруживал самые высокие дарования. Подобная ограниченность взгляда была неизбежным последствием его стремления объяснить сложные явления в жизни человечества общими началами, которые он усвоил себе при своих не особенно серьезных занятиях. Но никто не должен обижаться тем, что с чисто научной точки зрения я ставлю занятия Боссюз несколько ниже, чем ставят их иногда другие. Достоверно, что религиозные догматы во многих случаях влияют на дела человеческие; но одинаково достоверно, что с успехами цивилизации это влияние уменьшается и что даже тогда, когда эти догматы были на самой высшей степени своей силы, существовало все-таки множество



других пружин, которые также управляли действиями человечества. А так как изучение всей суммы этих пружин и составляет предмет истории, то очевидно, что история должна стоять выше теологии в такой же мере, в какой всякое целое стоит выше своей части. Невнимание к этому простому соображению ввело всех духовных писателей, за исключением немногих замечательнейших личностей, в весьма серьезные ошибки. Оно было причиной склонности их пренебрегать бесчисленным множеством внешних событий и полагать, что ход всех дел человеческих определяется такими началами, которые одна только теология может открыть. Впрочем, это явление составляет только результат того общего в умственном мире закона, по которому все люди, имеющие какую-нибудь любимую профессию, бывают расположены преувеличивать ее значение, объяснять все события ее началами и как бы сквозь призму ее смотреть на все явления жизни. Но в теологах такие предрассудки опаснее, чем в людях всех других профессий, потому что у них одних они подкрепляются смелым допущением авторитета сверхъестественной силы, на который многие из духовных охотно опираются. Эти сословные увлечения при поддержке со стороны теологических догматов и в такую эпоху, как царствование Людовика XIV, могут служить достаточным объяснением тех особенностей, которыми отличается исторический труд Боссюэ. Притом относительно этого писателя следует еще заметить, что в нем общее стремление его сословия еще более усиливалось его личными свойствами. Его ум отличался особенной надменностью, которая непрерывно проявлялась в виде общего презрения ко всему человечеству<sup>22а</sup>. В то же время его изумительное красноречие и то сильное действие, которое оно всегда производило, служили как бы оправданием его чрезмерного доверия к своим силам. Действительно, в некоторых из самых сильных мест в его творениях так много огня, так много величия, свойственного гению, что они напоминают нам те возвышенные и пламенные речи, которыми пророки древности так сильно потрясали души своих слушателей. Боссюэ, находясь, как он сам думал, на высоте, ставившей его выше обыкновенных человеческих слабостей, любил укорять людей их безумием и издеваться над всякими притязаниями их гения. Все, что отзывалось смелостью ума, как бы оскорбляло его собственное превосходство. Именно эта чрезмерная надменность, которой он был проникнут, сообщает его сочинениям некоторые из их самых резких особенностей. Это побуждение заставляло его напрягать всю свою энергию, чтобы уронить и унижить те дивные силы человеческого ума, которые нередко презираются людьми, не знающими их, в действительности же так велики, что до сих пор еще не родился человек, который мог бы обнять их во всем их громадном размере. То же самое презрение к человеческому уму заставляло Боссюэ отрицать способность ума выработать самому для себя те эпохи, через которые он прошел, и таким образом вынуждало его

обратиться к догмату сверхъестественного вмешательства. То же побуждение заставило его в великолепных речах, принадлежащих к величайшим произведениям искусства новейших времен, расточать всевозможные похвалы не умственному превосходству, а исключительно военным подвигам, прославлять завоевателей — этих бичей и истребителей рода человеческого, которые проводят свою жизнь в изобретении новых способов умерщвлять своих врагов и увеличивать бедствия мира. Наконец, — спускаясь еще ниже, — то же презрение к самым дорогим интересам человечества заставило его смотреть с уважением на короля, который ни во что не ставил все эти интересы, но имел ту заслугу, что поработил умственные силы Франции и расширил власть того класса людей, в котором сам Боссюэ занимал первое место.

Не имея достаточных сведений о положении французов вообще в конце семнадцатого столетия, невозможно привести в известность, насколько подобные понятия проникли в образ мыслей нации. Но, принимая в соображение, до какой степени правительство поработило самый дух нации, я расположен думать, что мнения Боссюэ весьма нравились тому поколению, к которому он принадлежал. Впрочем, этот вопрос более любопытен, нежели действительно важен; ибо не далее как через несколько лет явились первые признаки того беспримерного движения, которое не только ниспровергло политические учреждения Франции, но и произвело другой, более прочный, переворот во всех отраслях умственной жизни нации. В самый момент смерти Людовика XIV как в литературе, так и в политике, религии и общественной нравственности все созрело для реакции. Материалы, до сих пор сохраняющиеся, так обширны, что можно было бы со значительной точностью проследить весь ход этого великого процесса; но я полагаю, что будет более сообразно с общим планом настоящего введения, если я пропущу несколько посредствующих звеньев в этой цепи явлений и ограничусь теми яркими примерами, в которых дух времени проявился особенно разительно.

Действительно, есть нечто необыкновенное в той перемене в образе писания истории, которую успело произвести во Франции одно поколение. Чтобы составить себе понятие об этом явлении, лучше всего сравнить сочинения Вольтера с творениями Боссюэ, так как оба эти великие писатели были, вероятно, самыми даровитыми и уже, без сомнения, самыми влиятельными людьми в те времена, представителем которых каждый из них служит. Первое значительное усовершенствование, которое мы находим у Вольтера сравнительно с Боссюэ, заключается в большем понимании значения человеческого ума. К обстоятельствам, уже замеченным нами, мы должны еще присовокупить то, что и самый род чтения, избранный Боссюэ, имел направление, прямо противоположное развитию такого понимания. Он не изучил тех отраслей знания, в которых действительно сделаны были великие открытия, а между тем был хорошо знаком с творениями святых и отцов церкви, умозрения которых далеко не дают нам

высокого понятия о мыслящих способностях их авторов. Привыкнув, таким образом, наблюдать деятельность человеческого ума в сочинениях, составляющих вообще самую незначительную из всех отраслей европейской литературы, Боссюэ проникался все большим и большим презрением к роду человеческому, и оно дошло наконец до той крайней степени, которая так болезненно поражает нас в его последних творениях. Вольтер же, который не обращал никакого внимания на этого рода предметы, провел всю свою долгую жизнь в постоянном обогащении себя действительными, полезными знаниями. Складом ума он принадлежал по преимуществу к людям новейшего времени. Презирая ничем не подкрепляемый авторитет и не обращая никакого внимания на предания, он посвятил себя изучению таких предметов, в которых победа человеческого разума слишком очевидна, чтобы можно было не признать ее. Чем более он делал успехов в знаниях, тем более благоговел перед теми громадными силами, которыми созданы эти знания. Поэтому его уважение к человеческому разуму вообще не только не уменьшалось, но возрастало по мере обогащения его собственного ума. В той же самой пропорции усиливалась в нем любовь к человечеству и ненависть к предрассудкам, так долго омрачавшим его историю. Что таков именно был ход развития его ума, в этом ясно убедится всякий, кто сообразит различие в духе его отдельных сочинений с различными возрастами, в которых сочинения эти были написаны.

Первое историческое сочинение Вольтера было посвящено жизни Карла XII и написано в 1728 г. В это время познания его были еще довольно ограничены, и он находился под влиянием преданий рабства, завещанных предшествовавшим поколением. Поэтому неудивительно, что он выражает глубочайшее уважение к Карлу, который среди поклонников военной славы всегда будет пользоваться известностью, хотя единственной заслугой его было то, что он опустошил много земель и перебил множество людей. Но мы встречаем в историке мало сочувствия к несчастным подданным этого монарха, труды которых поглощались содержанием королевских армий; нет у него также и большого сострадания к нациям, разоренным этим великим разрушителем на всем протяжении его завоеваний — от Швеции до Турции. Восторг, с которым Вольтер смотрит на Карла, действительно безграничен. Он называет его самым необыкновенным человеком, какого только видел мир<sup>23</sup>; объявляет, что это был государь, вполне проникнутый чувством чести, и, наконец, едва порицая постыдное убийство Паткуля, рассказывает с очевидным восторгом о том, как венценосный сумасброд с сорока человеками прислуги сопротивлялся целой армии<sup>24</sup>. Точно так же он говорит, что после сражения при Нарве Карл XII, несмотря на все свои усилия, не мог воспрепятствовать выбитию в Стокгольме медалей в память этого события. Между тем Вольтер очень хорошо знал, что человек со столь сумасбродным тщеславием должен был быть весьма доволен таким прочным

знаком уважения; кроме того, совершенно ясно, что если бы это ему не нравилось, медали никогда не были бы выбиты; ибо кто бы посмел без всякой цели оскорбить в его собственной столице одного из самых деспотических и самых мстительных монархов в мире.

Можно было бы подумать, что образ писания истории еще не сделал в это время особенных успехов<sup>25</sup>. Но даже и здесь мы находим уже одно важное улучшение. В Вольтеровом жизнеописании Карла XII уже не встречается тех допущений сверхъестественного вмешательства, которые так любил делать Боссюэ и которые были так свойственны царствованию Людовика XIV. Отсутствием их обозначается первый великий шаг, совершенный французской школой в восемнадцатом веке; ту же особенность находим мы и во всех последующих историках: ни один из них не прибегнул к методу, который хотя и удобен для достижения целей теологии, но губителен для всякого независимого исследования, так как он не только предписывает исследователю, каким путем он должен идти, но даже указывает ему предел, на котором он обязан остановиться.

Что Вольтер отступил от этого старого метода спустя не более тринадцати лет после смерти Людовика XIV и что он сделал это в популярном сочинении, изобилующем опасными похождениями, обыкновенно увлекающими ум в противоположную сторону,—это составляет немаловажный с его стороны шаг, и явление это становится еще замечательнее, если взглянуть на него в связи с другим довольно важным фактом, а именно — что жизнеописание Карла XII представляет собой первый период не только восемнадцатого столетия, но и умственного развития самого Вольтера<sup>26</sup>. После того, как оно было издано, этот великий муж оставил на время историю и обратил внимание свое на некоторые из самых возвышенных предметов человеческого мышления: на математику, физику, юриспруденцию, на открытия Ньютона и умозрения Локка. Занимаясь этими предметами, он ознакомился с теми способностями человеческого ума, которые некогда проявлялись и в его отечестве, но в продолжение владычества Людовика XIV были почти совершенно забыты. Затем, уже с расширившимися познаниями и изощренным умом, он возвратился на великое поприще истории. То, каким образом он теперь отнесся к своему прежнему предмету, доказывает совершившуюся в нем перемену. В 1752 г. явилось его знаменитое сочинение о Людовике XIV; самое заглавие его уже указывает нам на процесс, через который прошел ум автора. Первым произведением Вольтера было повествование о короле, а это составляет изображение века. Произведение своей юности он назвал «Историей Карла XII», а позднейшее сочинение носит заглавие «Век Людовика XIV». Прежде он изображал личные качества государя, теперь он рассматривает явления жизни целого народа. В самом введении к своему сочинению он объявляет о намерении своем описывать «не действия одного человека,

а характеристику целой массы людей; и с этой точки зрения исполнение не ниже самого плана. Довольствуясь лишь кратким очерком военных подвигов, о которых с любовью распространялся Боссюэ, он говорит очень подробно о всех действительно важных предметах, которые до его времени вовсе не имели места в истории Франции. У него есть глава, посвященная торговле и внутреннему управлению, другая — финансам, третья — истории наук и три главы — развитию изящных искусств. Хотя Вольтер не придавал большого значения теологическим спорам, он знал, однако, что они нередко играли важную роль в делах человеческих, и потому посвящает несколько отдельных глав изложению хода дел церковных в царствование Людовика. Едва ли нужно говорить о громадном превосходстве такой системы не только над узким взглядом Боссюэ, но и над тем, который выразился в первом историческом труде самого Вольтера. Нельзя, однако, не согласиться, что мы все-таки находим в этом сочинении следы тех предрассудков, от которых трудно было совсем отрешиться французу, выросшему в царствование Людовика XIV. Вольтер не только слишком долго останавливается на тех увеселениях и развратных похождениях Людовика XIV, которые весьма мало касаются истории, но и высказывает очевидное расположение судить благоприятно о самом короле и ограждать его имя от заслуженного позора.

Но следующее сочинение Вольтера показало, что это пристрастие с его стороны было чисто личным чувством; оно не имело влияния на его общие воззрения относительно того, какое место должны занимать в истории действия государей. Четыре года спустя после появления «Века Людовика XIV» он издал свой замечательный трактат «О нравственности, обычаях и характере наций». Это не только одно из самых великих произведений XVIII столетия, но и вообще лучшее до сих пор сочинение по этому предмету. Самая уже начитанность автора, проявляющаяся в этой книге, изумляет нас<sup>27</sup> своей громадностью; но еще изумительнее то искусство, с каким он связывает различные факты и делает так, что они разъясняются один другим; он достигает этого иногда посредством одной какой-нибудь заметки, иногда же только посредством расположения этих фактов в известном порядке. Действительно, даже рассматривая эту книгу только как произведение искусства, трудно было похвалить ее сверх меры, а судя о ней как о проявлении духа времени, нельзя не заметить, что в ней нет ни следа того льстивого преклонения перед королевской властью, которое характеризовало Вольтера в молодости и которое мы находим во всех лучших писателях времен Людовика XIV. Во всем этом обширном и важном сочинении великий историк обращает весьма мало внимания на интриги дворов, на перемены министров и на судьбу королей, но старается открыть и охарактеризовать различные эпохи, через которые последовательно прошел род человеческий. Я желаю, говорит он, написать историю не войн, а общества, привести

в известность, как люди жили внутри своих семейств и какими искусствами они наиболее занимались. Цель моя,—присовокупляет он,—написать историю человеческого ума, а не набор мелких фактов; мне нет даже дела до истории могущественных баронов, воевавших с французскими королями, но я бы желал знать, каким путем люди перешли от варварства к цивилизации.

Таким-то образом Вольтер примером своим научил историков сосредоточивать свое внимание на предметах действительной важности и пренебрегать теми пустыми подробностями, которыми до тех пор наполняема была история. Что это стремление столько же происходило от духа времени, как и от личных качеств автора, это доказывается тем, что мы находим точно то же направление и в сочинениях Монтескьё и Тюрго, которые были, конечно, самыми даровитыми из современников Вольтера; оба они следовали методу, сходному с его методом в том отношении, что, пренебрегая изображениями королей, дворов и сражений, они ограничивались такими сторонами дела, которые разъясняют нам характер человечества и общий ход цивилизации. И это отступление от старой рутины сделалось до такой степени популярным, что влияние его простерлось и на других историков с меньшими, но все-таки еще замечательными дарованиями. В 1755 г. Малле издал свое интересное и в то время весьма ценное сочинение об истории Дании, в котором он объявляет себя последователем новой школы. С какой стати, говорит он, история должна быть перечнем сражений, осад, интриг и переговоров? Почему должна она заключать в себе кучу мелких фактов и годов, а не великую картину понятий, обычаев и даже склонностей известной нации. Так же и Мабли, издавший в 1765 г. первую часть своего знаменитого сочинения об истории Франции, в предисловии к ней выражает сожаление о том, что историки пренебрегли происхождением законов и обычаев, устремив свое внимание исключительно на осады и сражения. Следуя тому же духу, Вэлли и Вилляре, в их пространной истории Франции, выражают сожаление о том, что историки рассказывают о событиях жизни государя предпочтительно перед событиями жизни народа и упускают из виду нравы и характеристику целой нации, чтобы изучать действия одного человека. Дюкло также объясняет, что сочинение его есть история не войн и политических событий, а людей и нравов, и даже—странно сказать—придворно-вежливый Эно высказывает, что и он имел целью изобразить законы и нравы, которые, по его словам, составляют душу или, лучше сказать, самую сущность истории.

Таким образом, историки начали как бы переносить свои труды в другую сферу и изучать предметы, относящиеся к тем народным интересам, на которые великие писатели времен Людовика XIV даже не удостоивали обратить внимание. Нечего и говорить о том, до какой степени подобные взгляды согласовались с общим духом восемнадцатого века и как они гармонизировались с настроением людей, стремившихся отрешиться от своих

прежних предрассудков и подвергнуть презрению то, что некогда было предметом всеобщего удивления. Все это было лишь частью того громадного движения, которое проложило путь революции, подрывая старые мнения, располагая людей к какой-то подвижности, к какому-то тревожному состоянию ума и в особенности показывая равнодушие к тем могущественным личностям, на которых до тех пор смотрели более как на богов, чем как на людей, и которыми теперь в первый раз пренебрегли самые великие и самые популярные историки, оставляли без внимания даже весьма замечательные подвиги их, с тем чтобы остановиться на благосостоянии народов и общих интересах масс.

Но возвратимся к тому, что было действительно сделано Вольтером. Нет сомнения, что в нем это стремление века усиливалось врожденной обширностью ума, располагавшей его к широким взглядам и возбуждавшей в нем недовольство теми узкими пределами, в которых дотоле была стеснена история<sup>28</sup>. Что бы кто ни думал о других качествах Вольтера, но нельзя не признать, что в его умственной организации все проявлялось в громадных размерах. Всегда готовый размышлять, всегда расположенный к обобщению, он не любил изучать действия отдельных личностей, если это не могло повести к установлению какого-нибудь широкого и прочного принципа. Вот что приучило его в истории смотреть главнейшим образом на то, каким путем шла та или другая страна, а не на то, кем она управлялась. То же направление проявляется и в его менее серьезных сочинениях. Было замечено, и не без основания, что даже в каждом из своих драматических произведений он старался изобразить не столько страсти отдельных лиц, как дух целой эпохи. В «Магомете» предметом его являлся великий религиозный переворот, в «Альзире» — завоевание Америки, в «Бруте» — возникновение могущества Рима, в «Смерти Цезаря» — основание империи на развалинах этого могущества<sup>29</sup>.

Эта решимость смотреть на ход событий как на великое, логически связанное целое, привела Вольтера к нескольким результатам, усвоенным многими позднейшими писателями, которые, весьма самодовольно пользуясь им, в то же время бранят того, от кого они позаимствовались. Он был первый из историков, который, отвергнув обыкновенный способ исследования, попытался посредством широких общих воззрений объяснить причины возникновения феодализма; указанием же на некоторые из причин упадка этого учреждения в четырнадцатом столетии он положил основание философской оценке этого важного явления<sup>30</sup>. Он же сделал одно глубокое замечание, впоследствии принятое Константом, о том, что непристойные, по-видимому, религиозные обряды не имеют ничего общего с развратом в народных нравах<sup>31</sup>. Еще одно замечание его, только отчасти принятое в соображение писателями, занимавшимися церковной историей, исполнено поучительности. Он говорит, что одна из

причин, по которым римские епископы значительно превосходили влиянием своим восточных патриархов, заключалась в особенной гибкости греческого ума. Почти все ереси возникли на Востоке, и ни один из пап, за исключением Гонория I, не принял такой системы, которая была бы осуждена церковью. Это придало папской власти такую целостность и прочность, которой патриарший престол никогда не мог достигнуть; и, таким образом, римские папы обязаны частью своего авторитета первобытной тупости европейской фантазии<sup>32</sup>.

Невозможно было бы перечислить все оригинальные заметки Вольтера, которые в то время, когда он высказал их, оспаривались как опасные парадоксы, а теперь всеми оценены как глубокие истины. Он был первым историком, стоявшим за полную свободу торговли, и хотя он выражается с большой осторожностью<sup>33</sup>, но уже самое выражение такой идеи в популярной истории составляет эпоху в умственном развитии Франции. Он первый вывел важное различие между умножением населения и увеличением средств к пропитанию,—вывод, которому так много обязана политическая экономия<sup>34</sup> и который через несколько лет был усвоен Тоунсендом, а потом принят Мальтусом за основание его знаменитого сочинения<sup>35</sup>. К заслугам Вольтера относится еще и то, что он первый рассеял то детское очарование, с которым до тех пор смотрели на средние века,—очарование, созданное теми бездарными, хотя и учеными писателями, которые были в шестнадцатом и семнадцатом столетиях главными исследователями истории древнейших времен Европы. Эти трудолюбивые компиляторы собрали обширные материалы, которыми Вольтер превосходно воспользовался, чтобы опровергнуть заключения, выведенные этими самими авторами. В сочинениях его средние века в первый раз представлены такими, какими они были в действительности,—временем невежества, жестокости и разврата,—временем, в которое нарушенные права не восстанавливались, преступления оставались безнаказанными, суеверие не было изобличаемо. Есть как будто бы некоторое основание заметить, что в начертании этой картины Вольтер уклонился в противоположную крайность, не отдав должной справедливости заслугам истинно великих людей, являвшихся там и сям с большими промежутками, подобно одиноким маякам, свет которых только делал еще более ощутительным окружающий их мрак. Но, отделив от воззрений Вольтера на средние века все, что следует отнести на долю преувеличений, необходимо вызываемых всякой реакцией во мнениях, можно все-таки с достоверностью сказать, что взгляд его на этот период не только гораздо вернее взгляда кого бы то ни было из предшествовавших писателей, но даже правильнее того мнения, какое можно составить себе из позднейших компиляций, которыми мы обязаны трудам новейших антиквариев; эти последние принадлежат к породе простых тружеников, которые восхищаются прошедшим, потому что не знают настоящего, и, роаясь почти весь свой век в пыли



забытых рукописей, думают, что с жалкими средствами своей ограниченной учености они могут уместовать о делах человечества, могут писать историю различных периодов и даже присуждать каждому из них заслуженную похвалу.

Против подобных писателей постоянно воевал Вольтер, и никто столько не содействовал уменьшению того влияния, которое они некогда имели даже на самые высшие отрасли знания. Был и другой еще разряд диктаторов, авторитет которых также удалось ослабить этому великому писателю,— это именно старинная корпорация знатоков и комментаторов классической древности, которые с половины четырнадцатого столетия до начала восемнадцатого были главными распределителями исторической славы и пользовались особым уважением, ссылая за самых замечательных людей, каких производила когда-либо Европа. Первые сильные нападения на них были сделаны в конце семнадцатого века, когда возникло два важных спора, о которых я буду говорить далее,— один во Франции, другой в Англии,— и которыми было в значительной степени потрясено их могущество. Но двумя самыми страшными противниками их были, без всякого сомнения, Локк и Вольтер. Огромная услуга, которую оказал Локк, ослабив значение старой классической школы, будет рассмотрена в другой части этого сочинения; в настоящее же время мы должны только проследить то, что сделано было Вольтером.

Авторитет, которым пользовались эти великие знатоки классической древности, основан был не только на даровитости их, которая неопровержима, но и на предполагавшейся особой важности их занятий. Вообще полагали, что древняя история имеет какое-то существенное превосходство перед новой; а раз допустили эту мысль, то из нее естественным образом вытекало, что лица, занимающиеся первой, заслуживают гораздо большей похвалы, чем те, которые разрабатывают вторую, и что когда, например, француз напишет историю какой-нибудь греческой республики, то он этим докажет более возвышенный склад ума, чем когда бы он написал историю своего отечества. Этот странный предрассудок несколько веков переходил из рода в род— люди принимали его, как наследие своих отцов, против которого восставать было бы почти безбожием. Вот почему немногие действительно даровитые люди среди писателей, занимавшихся историей, посвящали себя главным образом изучению древних времен или, обращаясь даже к новейшим временам, смотрели на свой предмет не с точки зрения современных им идей, а применяясь к идеям, которых они набрались, предаваясь своим любимым занятиям— изучению древности. Это смешение нормального мерила одного времени с мерилем другого произвело двойное зло. Историки, приняв таким образом действия, поворедили оригинальности своего собственного ума и— что еще хуже— подали дурной пример литературе своего отечества. Каждая великая нация имеет образ выражения и образ мыслей,

который свойствен ей одной и с которым тесно связаны все ее сочувствия. Ввести какой-нибудь иностранный образец для подражания, как бы он ни был прекрасен, значит нарушить эту связь и повредить значению литературы, ограничив круг ее действия. Таким путем может, пожалуй, утончиться вкус, но самородная сила литературы непременно ослабеет. Даже в самом утончении вкуса очень можно усомниться при виде того, что было в нашем отечестве, где великие знатоки классической древности изуродовали народный язык примесью такого нелепого жаргона, что простому человеку трудно даже заметить то, собственно, отсутствие идей, которое они стараются скрыть под своим варварским, разнокалиберным наречием<sup>36</sup>. Как бы то ни было, но можно достоверно сказать, что всякое племя, заслуживающее названия нации, имеет в своем собственном языке весьма достаточные средства для выражения самых высших понятий, какие только оно может себе составить, и хотя в изложении предметов научных, может быть, полезно сочинять такие слова, которые легче понимались бы в других странах, но во всяком другом изложении малейшее отступление от родного языка составляет важный проступок. Еще больший проступок составляет то, когда кто вводит такие понятия и такие мерила для действий, которые годились, может быть, в прежние времена, но теперь далеко остались позади всеобщего движения вперед и не возбуждают в нас собственно никакого сочувствия, хотя и представляют, может быть, тот болезненный, искусственный интерес, который еще ухитряются создавать для них классические предрассудки первоначального воспитания.

Против именно зол и начал борьбу Вольтер. Остроумие тех насмешек, с которыми он напал на замечтавшихся ученых своего времени, может быть оценено только людьми, изучавшими его творения. Впрочем, нельзя сказать, как утверждали некоторые, чтобы он употреблял это оружие взамен доказательств, и еще менее, чтобы он делал из насмешки пробный камень истины. Никто не рассуждал правильнее, чем рассуждал Вольтер, когда он видел, что рассуждения могут привести его к цели. Но в настоящем случае он имел дело с людьми, против которых ничего нельзя было сделать рассуждениями,—с людьми, у которых вследствие чрезмерного уважения к древности остались в голове только две идеи, а именно: что все старое хорошо, а все новое дурно. Разубеждать в таких мнениях посредством рассуждений было бы действительно бесполезным трудом; оставалось одно — сделать эти мнения смешными и ослабить их влияние, возбудив презрение к представителям их. Это было одной из задач, которые задал себе Вольтер, и он разрешил ее превосходно. Следовательно, он употребил насмешку не как пробный камень истины, а как бич для тупоумия. И с таким успехом прилагал он это наказание, что не только педанты и теологи его времени глубоко чувствовали его удары, но даже преемники их не могут без боли читать его язвительные слова и удовлетворять своей потребности

мщения тем, что поносят память великого писателя, сочинения которого составляют для них вечный укор, а самое имя — предмет нескрываемой ненависти.

Эти два разряда людей имеют действительно довольно причин для той ненависти, с которой они до сих пор смотрят на самого великого из французов, живших в восемнадцатом столетии. Вольтер сделал более чем кто-либо для того, чтобы подрывать самые основы могущества духовенства и уничтожить преобладание специалистов классической древности. Здесь не место обсуждать те теологические мнения, против которых он восставал, но о мнениях относительно предметов классической древности можно себе составить понятие, рассмотрев несколько фактов, занесенных древними в историю и бывших до появления Вольтера предметом безусловной веры со стороны новейших ученых, а по их следам и всего общества.

Все верили, например, что некогда Марс изнасиловал девушку и что плодом этой связи было рождение Ромула и Рема; что их предполагалось умертвить, но, к счастью, они были спасены заботливостью волчицы и дятла: первая вскормила их своим молоком, а последний оберегал их от насекомых. Верили еще и тому, что Ромул и Рем, достигнув зрелого возраста, решились построить город и что, по присоединении к ним потомков троянских воинов, им удалось воздвигнуть Рим; что обоих братьев постигла безвременная кончина: Рем был убит, а Ромул взят на небеса своим отцом, спустившимся для этого на землю среди бури. Далее, великие ученые рассказывали о нескольких других царях. Самым замечательным среди них был Нума, сообщавшийся со своею женой исключительно в одной священной роще. Еще царствовал в Риме Тулл Гостилий, который, оскорбив жрецов, погиб от гнева их — он был убит молнией, и смерти его предшествовала моровая язва. Потом царствовал некий Сервий Туллий, будущее величие которого предвозвещено было тем, что около головы его, когда он спал в колыбели, появилось пламя. При таких чудесах нарушение обыкновенных законов смертности человеческой должно было казаться безделицей, и вследствие того нас уверяли, что невежественные варвары — первые римляне — провели двести пятьдесят лет под управлением семи только царей, которые все были избраны в цветущих летах, и притом один из них изгнан, а трое других умерщвлены.

Вот несколько из тех пустых сказок, которые доставляли столько удовольствия великим ученым и которые в продолжение нескольких веков считались существенной частью летописей Римской империи. Действительно, легкое верие людей по отношению к этим сказкам было так всеобщее, что, пока они не были опровергнуты Вольтером, было только четыре писателя, осмелившихся открыто нападать на них. Имена этих смелых нововводителей: Клуверий, Перизоний, Пульи и Бофор, но никому из них не удалось подействовать на общественное мнение. Сочинения Клуверия и Перизония, написанные по-

латыни, обращались исключительно к такому разряду читателей, которые, будучи ослеплены любовью к древности, не хотели и слушать ничего такого, что могло ослабить значение ее истории. Пульи и Бофор писали по-французски; оба они, и в особенности Бофор, были людьми со значительным дарованием, но способности их были не довольно многосторонни, чтобы дать им возможность уничтожить предрассудки, пользовавшиеся такою сильной опорой и взлелеянные воспитанием нескольких поколений.

Таким образом, заслуга Вольтера в деле очищения истории от этих глупых выдумок заключается не в том, что он первый стал опровергать их, а в том, что он первый опровергал их с успехом; и это потому, что он примешал к доказательствам насмешку и, таким образом, не только нападал на самую систему, но и ослаблял авторитет тех, которые поддерживали ее. Его ирония, его остроумие, его едкие, всепоражающие сарказмы действовали более, чем могли бы действовать самые серьезные аргументы; и нет никакого сомнения, что он имел полное право употреблять в дело могущественные средства, данные ему природой, так как с помощью их он действовал в пользу интересов истины и освобождал людей от некоторых из самых закоснелых предрассудков.

Не должно, однако, думать, чтобы насмешка была единственным средством, которое употреблял Вольтер для достижения этой важной цели. Напротив, я могу положительно сказать, по тщательном сравнении его с Нибуром, что самые решительные аргументы, представленные последним против первоначальной истории Рима, были все сперва высказаны Вольтером, в сочинениях которого и может найти их всякий, кто только даст себе труд прочитать эти сочинения вместо того, чтобы невежественно бранить их автора. Не входя в бесполезные подробности, достаточно будет заметить, что среди множества весьма умных и ученых доказательств Нибур высказал несколько таких взглядов, которыми позднейшие критики остались недовольны, но что в основании его истории три — и только три — принципа, не подлежащих никакому опровержению. Принципы эти суть: 1) что вследствие неизбежной примеси сказочного элемента к преданиям всякого необразованного народа никакая нация не может иметь достоверных сведений о своем происхождении; 2) что даже те ранние исторические источники, которые могли бы существовать у римлян, должны были быть уничтожены, прежде чем могли войти в состав правильной истории; и 3) что церемонии, установленные в память каких-либо событий, будто бы совершившихся в прежние времена, составляют доказательство не того, чтобы эти события действительно совершились, а только того, что народ верил в совершение их. Все здание первоначальной истории Рима разом рушилось, как только к нему были приложены эти три принципа; и всего замечательнее то, что не только все эти принципы выведены Вольтером, но у него ясно указано также и применение их к римской истории. Он говорит,

что ни один народ не знает своего происхождения и что, следовательно, всякая первобытная история есть непременно не что иное, как выдумка.

Далее он замечает, что и те исторические сочинения, какие действительно были некогда у римлян, погибли, когда сгорел их город, и что поэтому нельзя придавать никакого вероятия тем несравненно позднейшим известиям, которые передаются нам Титом Ливием и другими компиляторами<sup>37</sup>. А так как множество ученых занимались собиранием сведений о церемониях, установленных в память известных событий, и затем приводили эти сведения в доказательство достоверности этих событий, то по этому поводу Вольтер высказывает одну мысль, которая теперь кажется весьма очевидной, но которую совершенно упустили из виду эти ученые. Он замечает, что работа их бесполезна, так как время, к которому относятся такие доказательства, за весьма немногими исключениями, несравненно позже времени подтверждаемых ими событий. В таких случаях существование того или другого празднества или памятника доказывает только, что у людей было известное поверье, а не действительность самого события, составляющего предмет этого поверья. Эта простая, но весьма важная мысль даже и в настоящее время постоянно упускается из виду, а до восемнадцатого века никто и не думал об этом. Потому-то историки имели возможность собирать сказки, которым все верили без рассуждения<sup>38</sup>; в то время совершенно забывали, что сказки, как говорит Вольтер, в одном поколении начинают распространяться, в другом — окончательно утверждаются, в третьем — становятся предметом уважения, а в четвертом — в честь их уже воздвигаются храмы.

Я потому именно счел своей обязанностью довольно подробно поговорить об огромных услугах, оказанных истории Вольтером, что в Англии существует против него предубеждение, которое может быть объяснено только невежеством или, пожалуй, чем-нибудь еще худшим<sup>39</sup>, а также и потому, что, вообще говоря, Вольтер — едва ли не лучший из историков, каких произвела до сих пор Европа.

Необходимо, однако, заметить относительно умственных стремлений XVIII столетия вообще, что в тот же самый период его подобную же широту взгляда проявляли и другие французские историки; так в этом случае, как и во всех других, мы видим, что значительная доля того, что сделано даже самыми замечательными людьми, должна быть отнесена на долю характера того времени, в котором они жили.

Успеху обширных трудов Вольтера в деле преобразования взгляда на историю весьма много содействовали великие сочинения, которые издал в то же время Монтескьё. В 1734 г. этот замечательный человек издал сочинение, которое можно справедливо назвать первой книгой, сообщающей нам какие-нибудь сведения об истинной истории Рима, потому что в ней первой на события древнего мира брошен широкий и многосторонний

взгляд. Четырнадцать лет спустя явилось сочинение того же писателя — «О духе законов», — произведение, пользовавшееся большой известностью, но, как мне кажется, не более великое. Не подлежит, конечно, никакому спору, что книга эта имеет огромные достоинства и что их не могут умалить никакие придирки тех мелочных критиков, которые, по-видимому, думают, что, открыв случайную ошибку у великого человека, они в некоторой степени низводят его до своего уровня. Не такими мелочами можно уронить европейскую известность; и великое творение Монтескьё далеко переживет все подобного рода нападения, потому что широкие и дальновидные обобщения его сохранили бы свою цену даже и в том случае, если бы все частные факты, служащие им пояснительными примерами, оказались совсем лишёнными основания. Я все-таки склонен думать, что в отношении оригинальности мысли это сочинение Монтескьё едва ли может быть поставлено наравне с первым его произведением, хотя оно и было, бесспорно, плодом гораздо большей начитанности. Но мы не станем здесь сравнивать между собой эти два произведения: настоящая цель наша лишь рассмотреть совокупное участие их в развитии правильного взгляда на историю и связь между этим влиянием их и общим духом XVIII столетия.

Рассматривая с этой точки зрения сочинения Монтескьё, мы находим в них две главные особенности. Первая из них есть совершенное отсутствие тех личных анекдотов и тех пошлых подробностей об отдельных лицах, которые составляют принадлежность биографии, но до истории, как ясно видел Монтескьё, вовсе не касаются. Другую особенность составляет впервые сделанная им весьма важная попытка соединить историю человечества с науками, относящимися ко внешнему миру. Так как в этом именно состоят две великие характеристические черты метода, принятого Монтескьё, то необходимо дать о них некоторое понятие для того, чтобы лучше обозначилось перед нами то место, которое он действительно занимает как один из основателей философии истории.

Мы уже видели, что Вольтер сильно настаивал на необходимости преобразовать историю в том отношении, чтобы она побольше обращала внимания на жизнь народов и поменьше на их политических и военных вождей. Мы также видели, что это великое улучшение до такой степени согласовалось с духом времени, что было всеми вообще и весьма скоро принято и, таким образом, стало одним из признаков тех демократических стремлений, собственно, результатом которых оно было. Поэтому неудивительно, что Монтескьё принял то же самое направление даже прежде, чем движение это ясно обозначилось: подобно большей части великих мыслителей, он служил представителем умственного настроения и удовлетворял умственным потребностям того века, в котором он жил.

Но Монтескьё имел в этом отношении ту особенность, что у него пренебрежение к тем подробностям о дворах, министрах

и монархах, которыми особенно увлекались обыкновенные компиляторы, соединялось с таким же пренебрежением и к другим подробностям, которые представляют действительный интерес, потому что относятся к умственному складу немногих истинно замечательных людей, появившихся от времени до времени на сцене общественной жизни. Монтескьё видел, что эти вещи хотя и весьма интересны, но вовсе не важны. Он знал — чего до него ни один историк даже и не подозревал, — что в великом движении дел человеческих индивидуальные особенности ничего не значат, что, следовательно, историку нет до них никакого дела и что он должен предоставить их биографу, к сфере которого они, собственно, и принадлежат. Вследствие этого Монтескьё не только относится с большим пренебрежением к самым могущественным государям, рассказывая, например, царствования шести императоров в двух строках, но и постоянно настаивает на необходимости, даже когда дело идет о замечательнейших людях, подчинять их частное влияние более общему влиянию окружающего их общества. Так, многие историки приписывали падение Римской республики честолюбию Цезаря и Помпея и особенно глубоким планам Цезаря; Монтескьё, напротив, совершенно отрицает это. Согласно его взгляду на историю, великие перемены происходят только в силу длинного ряда предшествующих событий и в них одних мы должны искать причину того, что поверхностному взгляду кажется делом отдельных личностей. Республика, следовательно, была ниспровергнута не Цезарем и не Помпеем, а тем порядком вещей, который сделал возможными успехи Цезаря и Помпея. Поэтому события, передаваемые обыкновенными историками, вовсе не имеют никакого значения. Такие события — вовсе не причины, а только случаи, в которых проявляется действие истинных причин. Их можно назвать случайностями истории и должно смотреть на них как на нечто, подчиняющееся тем обширным и всеобъемлющим условиям, которые одни управляют возвышением и падением народов<sup>40</sup>.

Таким образом, первая великая заслуга Монтескьё заключается в том, что он вполне отделил биографию от истории и заставил историков изучать не особенности индивидуальных характеров, а состояние всего общества, среди которого особенности эти проявлялись. Если бы этот замечательный человек не сделал даже ничего другого, то и тогда за ним все-таки осталась бы та неизмеримая заслуга, что он указал истории верное средство избавиться от одного из ее самых обильных источников заблуждения. И хотя, к несчастью, мы еще не извлекли всех выгод из его благого примера — а это потому, что его преемники редко бывали способны подняться до столь высокого обобщения, — но то достоверно, что с его времени замечается приближение к таким возвышенным воззрениям даже у тех второстепенных писателей, которые по недостатку соображения не в силах усвоить их себе во всей полноте.

В дополнение к этому Монтескьё сделал еще другой великий шаг в методе изложения истории. Он первый прибегнул

в исследовании отношения между социальными условиями страны и ее юриспруденцией к помощи естественных наук, с тем чтобы определить, насколько характер цивилизации известной страны находится в зависимости от влияния внешнего мира. В своем сочинении «О духе законов» он изучает свойства связи, естественно существующей между гражданским и политическим законодательствами какого-нибудь народа и климатом, почвою и пищей, которыми он пользуется. Правда, что такое обширное предприятие ему почти совершенно не удалось, но это потому, что метеорология, химия и физиология находились еще в слишком отсталом состоянии для приложения их к подобным вопросам. Впрочем, это имеет влияние только на достоинство его выводов, а не на достоинство его метода; здесь, как и везде, мы видим, что великий мыслитель набрасывает в общих чертах план, выполнить который было невозможно при тогдашнем состоянии духа и довершение которого он должен был предоставить более зрелой опытности и более обширным средствам позднейшего века. Упреждать таким образом ход развития человеческого ума и как бы забегать вперед его дальнейшим приобретениям есть особенное преимущество умов самого высшего разряда; это именно и придает сочинениям Монтескьё вид чего-то отрывочного, временного — необходимое последствие работы глубоко умозрительного гения над материалами, не годящимися в дело единственно потому, что наука еще не привела их в порядок, еще не обобщила законов их явлений. Поэтому многие из выводов, сделанных Монтескьё, не выдерживают критики; таковы, например, выводы, относящиеся к влиянию диеты на увеличение народонаселения, посредством усиления плодovitости женщин, и к влиянию климата на изменение пропорции мужских и женских рождений. В других случаях ближайшее знакомство с варварскими народами дало возможность проверить его выводы, в особенности те, которые относятся к влиянию климата на личный характер. Так мы имеем теперь самые положительные доказательства, что он ошибался, утверждая, будто жаркий климат делает народ развратным и трусливым, а холодный — добродетельным и храбрым.

Такие возражения, впрочем, сравнительно ничтожны, потому что во всех высших отраслях знания главная трудность заключается не в открытии фактов, а в открытии верного метода, по которому могут быть приведены в известность законы фактов. В этом отношении Монтескьё оказал двойную услугу: он не только обогатил историю, но и укрепил ее основание. Он обогатил историю тем, что присоединил к ней физические исследования; а укрепил ее основание тем, что отделил ее от биографии и таким образом избавил ее от подробностей, которые всегда бывают неважны, а часто — недостоверны. И хотя он сделал ту ошибку, что изучал влияние природы скорее на людей, рассматриваемых как отдельные личности<sup>41</sup>, чем на людей в смысле целых обществ, но это главным образом произошло оттого, что



в его время средства, необходимые для такого сложного изучения, еще не существовали. Такие средства заключаются, как я уже говорил, в политической экономии и статистике; политическая экономия помогает нам связать законы физических деятелей с законами неравномерного распределения богатства, а следовательно, и с весьма многими социальными неустройствами; статистика же дает нам возможность делать проверки этих законов в самых обширных размерах и узнать, до какой степени желания отдельных личностей зависят от их прошедшего и от тех обстоятельств, в которые они бывают поставлены. Поэтому не только естественна, но и неизбежна была неудача Монтескьё в его блестящей попытке слить законы человеческого мышления с законами внешней природы. Неудача его произошла частью оттого, что науки о внешней природе были в слишком отсталом состоянии, а частью и оттого, что те из отраслей знания, которые рассматривают отношения человека к природе, еще не существовали. Так, политическая экономия не существовала как наука до появления «Богатства народов», вышедшего в 1776 г., т. е. через двадцать один год после смерти Монтескьё. Философия же статистики явилась еще позже: только в течение последних тридцати лет ее стали систематически прилагать к социальным явлениям. Прежние статистики были не более как трудолюбивые собиратели данных,—люди, ходившие ощупью, соединявшие в одно место всевозможные факты без всякого выбора или метода, и потому труды их, естественно, не могли служить для тех важных целей, к которым они были с успехом применены в нынешнем поколении.

Через два года после появления книги «О духе законов» Тюрго прочел те знаменитые лекции, о которых было сказано, что в них он создал философию истории<sup>42</sup>. Такая похвала несколько преувеличена, потому что в самых важных вопросах, относящихся к философии его предмета, он проводит тот же взгляд, который выражает и Монтескьё, а Монтескьё, кроме того что предшествовал ему по времени, стоял, конечно, выше его и по познаниям, а быть может, и по гению. Тем не менее заслуга Тюрго громадна, и он принадлежит к тому чрезвычайно малому кружку людей, которые смотрели на историю широким взглядом и считали, что для изучения ее необходимы почти беспредельные познания. В этом отношении метод его тождествен с методом Монтескьё, так как оба этих великих писателя исключали из своих планов подробности об отдельных личностях, собираемые обыкновенными писателями, и сосредоточивали свое внимание на тех обширных общих причинах, от действия которых постоянно зависят судьбы народов. Тюрго ясно видел, что, несмотря на разнообразие явлений, производимых игрою человеческих страстей, посреди кажущегося хаоса проглядывает начало порядка и правильности в ходе дел, не ускользающее от взора тех, кто смотрит на историю человека как на одно совершенное целое. Правда, что Тюрго, увлеченный потом в политическую жизнь,

никогда не имел достаточно досуга, чтобы выполнить блестящий план, так удачно набросанный; но хотя в выполнении своей задачи он, конечно, уступает несколько Монтескьё, все-таки аналогия между этими двумя людьми очевидна; очевидно также и отношение их к тому веку, в котором они жили. Они, как и Вольтер, были бессознательными защитниками демократического движения в том отношении, что подрывали благоговение, с которым прежние историки относились к отдельным личностям,— вследствие чего история потеряла характер простого рассказа о деяниях политических и духовных правителей. В то же время Тюрго заманчивым представлением картины будущего прогресса и живым изображением способности общества к самосовершенствованию усилил недовольство, с которым его соотечественники начинали смотреть на то деспотическое правительство, при котором не было, по-видимому, ни малейшей надежды на улучшения. Эти и подобные им воззрения, теперь впервые появившиеся во французской литературе, возбуждали деятельность мыслящих классов, ободряли их среди тех преследований, которым они подвергались, и поощряли их к трудному предприятию—вести народ против учреждений его родины. Таким образом, во Франции все было устремлено к одному результату, все указывало на близость жестокой, ужасной борьбы. Дух настоящего должен был вступить в бой с духом прошедшего и окончательно решить, может ли французский народ освободиться от цепей, в которых его так долго держали, или же ему суждено, не достигнув цели, еще глубже погрязнуть в том постыдном рабстве, которое даже в самые блестящие периоды политической истории Франции должно служить предостережением и уроком для всего цивилизованного мира.

## ГЛАВА XIV

### Ближайшие причины Французской революции начиная с половины XVIII столетия

В предпоследней главе я пытался привести в известность, какие именно обстоятельства почти непосредственно после смерти Людовика XIV начали готовить путь Французской революции. В результате моего исследования оказалось, что умственные силы Франции были возбуждены в деятельности примерами и доктринами Англии; и что это движение произвело или по крайней мере вызвало значительный разрыв между правительством Франции и ее литературой,— разрыв тем более замечательный, что в течение царствования Людовика XIV литература, несмотря на ее временный блеск, постоянно отличалась раболепством и тесно примыкала к правительству, которое всегда готово было вознаграждать ее услугу. Мы видели также, что, когда произошел этот разрыв между умственно трудящимся и правительственными классами, члены последнего, верные своим древним преданиям, стали наказывать тот дух исследования, к которому они не привыкли; отсюда возникли те гонения, которым подверглись почти все без исключения литераторы, и отсюда же произошли систематические попытки привести литературу в состояние подчиненности, подобное тому, в каком она была при Людовике XIV. При всем том оказалось, что великие люди Франции XVIII столетия, несмотря на тяжкие оскорбления, которые постоянно наносили им правительство и церковь, воздерживались от нападений на правительство и обращали всю свою ненависть против церкви. Этот, по-видимому ни с чем не сообразный, факт— что нападали на религиозные учреждения, а оставляли в покое учреждения политические—является, как мы уже доказали, совершенно естественным последствием, вытекающим из предшествовавших фактов истории французской нации. Мы пытались также объяснить, какие это факты и какое они имели действие. В настоящей главе я хочу пополнить это изыскание рассмотрением следовавшей затем великой эпохи в истории умственного развития Франции. Чтобы и церковь, и государство могли пасть, для этого людям нужно было перенести свои неприязненные действия на другую почву и напасть на политические злоупотребления с тем же рвением, с каким они до того нападали только на злоупотребления религиозные. Следовательно, теперь весь вопрос в том, при каких обстоятельствах произошла эта перемена и в какое именно время.

Обстоятельства, сопровождавшие эту великую перемену, были, как мы сейчас увидим, весьма сложны, и так как никто еще не изучал их в общей связи, то я рассмотрю их довольно подробно в остальной части настоящего тома. С этой стороны будет, я полагаю, еще возможно прийти к каким-нибудь

положительным и точным выводам относительно истории Французской революции. Другой же вопрос, а именно о времени, в какое произошла самая перемена, не только запутаннее, но даже по самому свойству своему никогда не может быть разрешен с совершенной определенностью. Впрочем, это недостаток — общий всем переменам в истории человечества. Обстоятельства каждой перемены всегда могут быть известны, если только свидетельства о них подробны и достоверны. Но никакая полнота свидетельств не даст нам возможности точно определить время совершения самой перемены. Внимание компиляторов в истории обыкновенно обращено не на перемену, а на внешние результаты, следующие за переменной. Истинная же история человеческого рода есть история стремлений, которые уразумеваются умом, а не событий, которые осязаются чувствами. Поэтому ни одна историческая эпоха не может быть определена с хронологической точностью, свойственной антиквариям и генеалогистам. Смерть какого-нибудь государя, проигранное сражение, перемена династии — все это предметы, вполне входящие в область чувств, и моменты совершения таких событий могут быть отмечены и самыми посредственными наблюдателями. Но те великие умственные революции, на которых основываются все другие революции, не могут быть измерены таким простым масштабом. Чтобы проследить движения человеческого ума, необходимо наблюдать его в различных проявлениях и затем сопоставить результаты отдельных наблюдений. Этим способом мы дойдем до известных общих выводов, которые, подобно вычислениям средних величин, имеют тем больше ценности, чем больше мы берем случаев. Что такой метод надежен и полезен, это видно не только из истории естествознания, но и из того факта, что он лежит в основании эмпирических правил, которыми все здравомыслящие люди руководствуются в тех обыденных случаях жизни, к которым еще не были применяемы общие выводы науки. Действительно, такие правила, имеющие большую ценность и составляющие в совокупности то, что называется здравым смыслом, никогда не собираются с такими предосторожностями, соблюдение которых должны были бы поставить себе в непрременную обязанность историки-философы.

Итак, главное возражение против общих выводов относительно умственного развития какой-нибудь нации заключается не в том, что им недостает достоверности, а в том, что они лишены точности. На этом именно пункте историк расходится с летописцем. Что, например, дух Англии становится все более и более демократическим, или, как говорят, либеральным, — это так же достоверно, как и то, что королева Виктория носит корону Англии. Но хотя оба эти показания одинаково достоверны, последнее все-таки более точно. Мы можем назвать самый день восшествия королевы на престол, мы будем знать с такой же точностью минуту ее смерти, и нет сомнения, что и многие другие частности, относящиеся до нее, сохранятся во всей точ-

ности и подробности. Если же станем следить за развитием либерализма в Англии, то всякая этого рода точность окажется невозможной. Мы можем назвать год, в который прошел билль о реформе; но кто может сказать, в каком году впервые почувствовалась необходимость такого билля? Точно так же предположение, что евреи будут допущены в парламент, столько же достоверно, как и то, что католики уже допущены в него<sup>1</sup>. Обе эти меры составляют неизбежное последствие того возрастающего равнодушия к теологическим прениям, которое очевидно для всякого, кто только нарочно не закрывает глаза. Но при всем том, что мы знаем час, в который последовало согласие короны на билль о католиках, никто из людей, живущих в настоящее время, не может сказать даже года, когда такая же справедливость будет оказана евреям. Оба эти события известны с одинаковой достоверностью, но не оба с одинаковой точностью.

Я распространился несколько об этом различии между достоверностью и точностью потому, что, как кажется, его мало понимают, а между тем оно тесно связано с занимающим нас в настоящую минуту предметом. Тот факт, что в умственном развитии Франции в течение XVIII столетия были две совершенно различные эпохи, может быть доказан свидетельствами всякого рода; но невозможно точно определить время, когда одна эпоха сменила другую. Все, что мы можем сделать,—это сопоставить различные указания, встречающиеся в истории того века, и прийти к приближительному выводу, который мог бы руководить будущих исследователей. Может быть, благоразумнее было бы не избегать окончательного вывода, но так как употребление чисел, по-видимому, необходимо для уяснения этого рода предметов, то я сделаю предварительно предположение, что 1750 год есть именно время, когда волнения общества, бывшие причиной Французской революции, вступили в свой второй политический фазис.

Что около этого времени великое движение, направлявшееся до тех пор против церкви, начало противодействовать государству,—это, по-видимому, подтверждается многими обстоятельствами. Мы знаем из лучших источников, что около 1750 г. французы начали свои знаменитые исследования по части политической экономии<sup>2</sup> и что, пытаясь возвести этот предмет на степень науки, они пришли к пониманию того, какой громадный вред принесло вмешательство правительства материальным интересам страны. Отсюда родилось убеждение, что даже в отношении накопления богатства власть, которой обладали правители Франции, была вредна, ибо она давала им возможность под покровительством торговли стеснять свободу действий отдельных лиц и не давать самой торговле идти теми выгодными путями, в выборе которых сами торговцы — лучшие судьи. Едва распространилось сознание этой глубокой истины, как не замедлили проявиться ее последствия в национальной литературе и в складе народной мысли. Внезапное размножение во Франции

сочинений, относящихся к финансам и другим государственным вопросам, есть в самом деле одна из замечательных черт того века. Так быстро распространилось это движение, что вскоре после 1755 г. экономисты уже произвели разрыв между нацией и правительством<sup>3</sup>; и Вольтер в 1759 г. жалуется в одном письме, что прелести легкой литературы совершенно забыты в общем рвении к этим новым предметам изучения<sup>4</sup>. Я не считаю нужным ни следить далее за этой великой переменной, ни изображать влияние, которым незадолго до революции пользовались позднейшие экономисты, особенно Тюрго, самый замечательный представитель их. Достаточно сказать, что спустя около двадцати лет после того, как движение это впервые ясно обозначилось, вкус к экономическим и политическим исследованиям сделался столь всеобщим, что проник даже в те слои общества, где не очень часто встречается привычка к мышлению; так, мы находим, что даже в светских кружках разговор не ограничивался более новыми поэмами и комедиями, а касался также политических вопросов и предметов, тесно связанных с ними. Действительно, когда Неккер в 1781 г. напечатал свой знаменитый отчет о финансах Франции, то желание приобрести эту книгу превосходило всякое ожидание; шесть тысяч экземпляров были проданы в первый же день, и так как спрос все увеличивался, то для удовлетворения всеобщего любопытства постоянно работали две типографии<sup>5</sup>. Но особенно становится очевидным присутствие во всем этом демократических стремлений, если вспомнить, что Неккер был в то время одним из слуг короны, так что сочинение его по своему общему духу справедливо было названо апелляцией на короля к народу от одного из министров того же короля.

Приведенное мною доказательство замечательной перемены, происшедшей в умах Франции в 1750 г. или около того времени и составляющей, как я сказал, вторую эпоху XVIII столетия, легко можно было бы подкрепить более обширным обзором литературы того времени. В самом начале второй половины этого столетия Руссо напечатал те красноречивые сочинения, которые имели огромное влияние и в которых легко можно заметить наступление новой эпохи; этот могучий писатель воздержался от нападений на христианство<sup>6</sup>, повторявшихся прежде слишком уже часто, и восстал почти исключительно против гражданских и политических злоупотреблений тогдашнего общества. Изображение того влияния, которое имел этот гениальный, хотя иногда и заблуждавшийся человек на умы людей своего и следующего за ним поколения, заняло бы слишком много места в этом введении; хотя такое исследование было бы, конечно, полно интереса и хотя весьма желательно, чтобы какой-нибудь сведущий в этом деле историк занялся со временем этим предметом<sup>7</sup>. Но так как философия Руссо была сама лишь одним из фазисов более обширного движения, то я в настоящую минуту оставляю в стороне отдельную личность, чтобы заняться рассмотрением общего духа того века, в котором личность эта играла,

конечно, важную роль, но все-таки в качестве вспомогательного деятеля. Зарождение новой эпохи во Франции около 1750 г. становится еще заметнее ввиду трех обстоятельств, имеющих значительный интерес и приводящих к одному и тому же заключению. Первое — что до половины XVIII столетия ни один из великих французских писателей не нападал на политические учреждения страны, между тем как с этого времени подобные нападения со стороны способнейших людей повторялись беспрестанно. Второе — что продолжали нападать на духовенство и отказывались вмешиваться в политику только те из лучших французских писателей, которые, подобно Вольтеру, уже достигли преклонных лет и, следовательно, заимствовали свои идеи от предшествовавшего поколения, в котором церковь была единственным предметом ненависти. Третье, еще более разительное, чем первые два, — что почти около этого времени стала заметна перемена в политике правительства; довольно странно, что министры короны стали впервые высказывать открытую неприязнь к церкви в то самое время, как мыслящая часть страны готовилась к решительному нападению на само правительство. Из этих трех положений с первыми двумя, вероятно, согласится всякий, кто изучал французскую литературу; но если бы даже они и были ложны, то во всяком случае они так точны и определительны, что легко было бы опровергнуть их, приведя только примеры, доказывающие противное. Третий же тезис, будучи более общего свойства, в меньшей мере подвержен прямому опровержению и потому налагает на защитника его обязанность подкрепить его теми специальными доказательствами, которые я сейчас приведу. Когда великие писатели Франции около половины XVIII столетия успели подрывать основание церкви, то было весьма естественно, что правительство вмешалось в это дело и стало стеснять учреждение, ослабленное самым ходом событий. Этот факт, совершившийся во Франции при Людовике XV, совершенно уподоблялся тому, что случилось в Англии при Генрихе VIII, — в обоих случаях замечательное умственное движение, направленное против духовенства, предшествовало и благоприятствовало нападению на это сословие, сделанным короной. Французское правительство сделало первый шаг против церкви в 1749 г. И как велика была до тех пор отсталость Франции в этом отношении, видно из того, что шаг этот состоял в издании эдикта против неотъемлемости недвижимых имений (*mortmain*) — простое средство для ослабления власти церкви, к которому в Англии прибегли гораздо ранее. Слава основателя этой новой политики французского правительства принадлежит Машо, только что назначенному в то время генеральным контролером. В августе 1749 г. он издал этот знаменитый эдикт, которым воспрещалось образование какого бы то ни было религиозного учреждения без согласия короны, надлежащим образом выраженного в грамоте и занесенного в протокол парламента, — существенные предосторожности, которые, говорит великий историк Франции, показывают, что Машо «считал

не только увеличение, но даже самое существование этих имений духовенства вредом для королевства».

То был уже чрезвычайный шаг со стороны французского правительства; но последующие меры показали, что он составляет только вступление к более обширному плану. Машо не только не встретил порицаний, но даже через год после издания этого эдикта, независимо от должности контролера, был сделан канцлером, потому что, как замечает Лакретель, двор «полагал, что пришло уже время обложить податями собственность духовенства». В продолжение сорока лет, которые прошли с этого периода до начала революции, господствовала та же самая антидуховная политика. Между преемниками Машо трое единственно способных людей: Шуазель, Неккер и Тюрго — были ревностными противниками того духовного сословия, которого не тронул бы ни один министр предшествовавшего поколения. Не только эти перво-степенные государственные люди, но даже и такие, как Калонн, Малерб и Террэ, видели верх политики в покушении на те привилегии, которые были освящены суеверием и которые духовенство сохраняло еще частью для того, чтобы распространять свое влияние, частью же, чтобы иметь возможность удовлетворять тем привычкам к роскоши и разврату, которые в восемнадцатом столетии были позором для всего духовного сословия.

Между тем как принимались означенные выше меры против духовенства, сделан был и другой важный шаг совершенно в том же направлении. Теперь правительство стало покровительствовать тому великому учению о религиозной свободе, одна защита которого до того времени наказывалась как опасное мудрствование. Связь между нападениями на духовенство и дальнейшим развитием веротерпимости может быть объяснена не только быстротой, с какой одно событие следовало за другим, но и тем фактом, что то и другое происходило из одного и того же источника. Машо, автор эдикта против неотъемлемости недвижимых имений, был также первым министром, показавшим желание покровительствовать протестантам против преследований католического духовенства. В этом он только отчасти успел; но сообщенный таким образом толчок вскоре сделался непреодолимым. В 1760 г., т. е. только девять лет спустя, была уже видна резкая перемена в применении законов, и эдикты против ереси хотя еще не были отменены, но приводились в исполнение с беспримерной кротостью<sup>8</sup>. Движение это быстро распространилось от столицы до отдаленных частей королевства; и нам известно, что после 1762 г. реакция была чувствительна даже в тех провинциях, которые по их отсталости всегда особенно отличались своим ханжеством. В то же время, как мы вскоре увидим, в самой церкви возник великий раскол, который ослабил власть духовенства, разделив его на две враждебные партии. Одна из этих партий действовала заодно с государством и тем еще более помогла ниспровержению духовной иерархии. В самом деле, раздоры дошли до такого ожесточения, что последний великий



удар, нанесенный духовной власти правительством Людовика XVI, произошел не от рук мирянина, но от одного из вождей церкви, от человека, который по своему положению и при обычных обстоятельствах покровительствовал бы тем самым интересам, на которые теперь ревностно нападал. В 1787 г., за два только года до революции, Бриенн, архиепископ Тулузский, бывший тогда министром, предъявил Парижскому парламенту королевский эдикт, которым вдруг устранялись всякие преграды, противопоставлявшиеся до тех пор ереси. В силу этого закона протестанты получили все те гражданские права, которые в руках католического духовенства служили долгое время наградой за приверженность к его религиозным убеждениям. Поэтому весьма естественно, что более правоверная партия осуждала, как нечестивое нововведение, меру, которая уравнием в некоторой степени прав двух сект как бы поощряла распространение заблуждения и которая, конечно, лишила французскую церковь одной из главных приманок, служивших для завлечения людей в ее лоно. Но все подобные соображения теперь ни во что не ставились. Таково было преобладавшее в то время настроение, что парламент, далеко не смирявшийся перед королевской властью, поколебался занести в свой протокол королевский эдикт; и эта великая мера получила силу закона; причем, как говорят, преобладавшая партия даже удивлялась, как можно было сколько-нибудь усомниться в мудрости начал, на которых основывалось это нововведение.

То были предвестники наступающей бури, признаки времени, которые всякому бросаются в глаза; и нет надобности в других признаках для ясного понимания истинных свойств того века. В дополнение к тому, что было только что нами рассказано, правительство в самом начале второй половины восемнадцатого столетия нанесло прямое, роковое оскорбление духовной власти изгнанием иезуитов; событие это важно не только по своим окончательным результатам, но и как доказательство чувств большинства, как пример того, что могло быть мирно приведено в исполнение правительством монарха, носившего название «Наихристианнейшего короля»<sup>9</sup>.

Иезуиты в продолжение по крайней мере пятидесяти лет после учреждения этого ордена оказали огромные услуги цивилизации частью тем, что смягчили примесью светского элемента слишком суеверные взгляды своих великих предшественников — доминиканцев и францисканцев, частью же введением системы воспитания, далеко превосходившей все до тех пор существовавшие в Европе. Ни в одном университете нельзя было найти такой обширной системы образования; и, конечно, нигде не проявилось такое умение управлять юношеством, такое глубокое понимание общих отправлениях человеческого ума. По всей справедливости следует еще прибавить, что это знаменитое общество, несмотря на его ревностное и часто безнравственное честолюбие, было в течение довольно долгого периода времени

верным другом науки, так же как и литературы, и что оно позволяло своим членам такую свободу и смелость в умозрениях, какие никогда не допускались ни в одном из других монашеских орденов.

Однако ж по мере распространения цивилизации иезуиты, подобно всякой другой духовной иерархии на свете, начали терять свое значение, и это не столько вследствие их собственного упадка, сколько вследствие перемены в духе тех, которые их окружали. Учреждение, превосходно приспособленное к ранней форме общества, не годилось для того же общества в его зрелом состоянии. В шестнадцатом столетии иезуиты были впереди своего века, в восемнадцатом же — они отстали от него. В шестнадцатом веке они были великими миссионерами знания, потому что надеялись с помощью его поработить совесть людей; в восемнадцатом же столетии материалы, над которыми они работали, оказались тверже; им пришлось иметь дело с испорченным, упрямым поколением; они видели, как быстро начинало падать духовенство во всех странах, и ясно понимали, что для сохранения своей прежней власти им оставалось только одно — задерживать развитие того знания, успехам которого они прежде так много содействовали<sup>10</sup>.

При этих обстоятельствах государственные люди Франции почти с самой половины восемнадцатого столетия решились разрушить орден, который так долго управлял светом и был еще величайшим оплотом церкви. Им помогло в этом замечательное движение, происшедшее в самой церкви. Движение это, как находящееся в связи со взглядами наибольшей важности, заслуживает внимания даже тех, для кого богословские споры не имеют никакого интереса.

Между многими вопросами, на которые метафизики истрачивали свою энергию, вопрос о свободе воли возбуждал самые жаркие споры. И что придавало особенное ожесточение их речам, это то обстоятельство, что за такой по преимуществу метафизический вопрос взялись теологи и стали обсуждать его с тем жаром, которым они вообще отличаются. С самого времени Пелагия, если только не раньше, христианство было разделено на две великие секты, которые хотя в некоторых отношениях соединялись неприметными оттенками, но всегда сохраняли главные черты их первоначального различия. Одной сектой свобода воли посилено, и часто совершенно, отвергается; утверждают, что мы не только не можем своей собственной волей сделать какое-нибудь похвальное дело, но даже если и сделаем это хорошее, то оно будет бесполезно, так как Божество предопределило одним людям погибель, другим — спасение. Другой сектой сильно поддерживается свобода воли; добрые дела объявляются существенно необходимыми для спасения; и противная партия обвиняется в преувеличении того состояния благодати, необходимой принадлежности которого является вера.

Эти противоположные принципы, доведенные до своих логических последствий, должны привести первую секту к антиноми-

анизму, а вторую — к учению о сверхдолжных деяниях. Но так как в этого рода предметах люди гораздо более чувствуют, чем рассуждают, то обыкновенно случается так, что они охотнее следуют какому-нибудь общему, всеми уважаемому знамени или опираются на какое-нибудь древнее имя; вот почему вообще последователи упомянутых двух учений примыкают, с одной стороны, к Августину, Кальвину и Янсению, с другой — к Пелагию, Арминию и Молину.

Но вот замечательный факт: учения, которые в Англии называются кальвинистскими, всегда соединялись с демократическим духом, между тем как арминианизм находил наиболее покровительства у аристократической или протекционной партии. В республиках Швейцарии, Северной Америки и Голландии кальвинизм всегда был популярным исповеданием<sup>11</sup>. С другой стороны, в те тяжкие дни, непосредственно следовавшие за смертью Елизаветы, когда нашей свободе угрожала гибель, когда английская церковь, поддерживаемая короной, пыталась поработить совесть людей и когда впервые было высказано чудовищное притязание епископов на божественное происхождение их прав, арминианизм сделался любимым учением самых способных и наиболее честлюбивых людей духовной партии. Когда же пришло время жестокого возмездия, то пуритане и индепенденты, которые были исполнителями мщений, оказались почти все без исключения кальвинистами; мы не должны также забывать, что первое открытое движение против Карла началось в Шотландии, где уже давно господствовали принципы Кальвина.

Такое различие в стремлениях этих двух верований так ясно обозначается, что исследование причин его является необходимой частью всеобщей истории и, как мы вскоре увидим, тесно связано с историей Французской революции.

Первое, что должно поразить нас, — это то обстоятельство, что кальвинизм есть учение для бедного, а арминианизм — для богатого. Учение, настаивающее на необходимости одной веры, должно обходиться дешевле, чем то, которое настаивает на необходимости дел. В первом случае грешник ищет спасения в силе своей веры; в последнем — он ищет его в изобилии своих приношений. А так как эти приношения везде, где духовенство имеет много власти, всегда получают одно и то же назначение, то мы видим, что в странах, благоприятствующих арминианскому учению о делах, духовенство получает большую плату и церкви богаче украшаются, чем там, где одержал верх кальвинизм. Действительно, даже при самом простом вычислении становится очевидным, что религия, сосредоточивающая нашу благотворительность на нас самих, дешевле той, которая направляет ее на других.

Вот первое важное практическое различие двух верований, — различие, которое может быть проверено всяким, кто знаком с историей христианских народов или даже кто путешествовал в странах, где есть последователи различных исповеданий.

Должно также заметить, что римская церковь, богослужение которой преимущественно обращается к чувствам и которая любит великолепные соборы и пышные церемонии, всегда выказывала гораздо более ожесточения против кальвинистов, чем против какой-либо другой протестантской секты<sup>12</sup>.

Из этих обстоятельств должны были неизбежно возникнуть: аристократическое стремление арминианизма и демократическое кальвинизма. Народ любит пышность и великолепие столько же, сколько и аристократы, но он не любит платить за удовлетворение этой потребности. Его неразвитый ум легко пленяется зрелищем многочисленного духовенства и пышностью хорошо убранного храма; тем не менее ему очень хорошо известно, что все это поглощает огромную часть того богатства, которое иначе перешло бы в его хижины. С другой стороны, аристократия по своему положению, своим привычкам и своему воспитанию приобретает естественным образом склонность к тем тратам денег, которые позволяют ей соединить наружный блеск с религией, пышность — с благочестием. Кроме того, она имеет приобретенное наглядным образом основательное убеждение, что собственные ее интересы соединены с интересами духовенства и что все, ослабляющее один из этих классов, должно ускорить и падение другого. Вот почему всякая христианская демократия упрощала свое внешнее богослужение; всякая же христианская аристократия старалась придать ему более блеска. И вообще можно сказать по аналогии с этим, что чем более какое-нибудь общество стремится к равенству, тем более правдоподобно, что в теологических мнениях своих оно придерживается учения Кальвина; а чем сильнее в обществе стремления к неравенству, тем скорее можно предположить в нем убеждения арминианские.

Легко было бы проследить эту противоположность еще далее и показать, что кальвинизм более благоприятствует наукам, а арминианизм — искусствам; и что по тому же самому началу первый более годится для мыслителей, а второй — для ученых<sup>13</sup>. Но, не имея притязания на исследование этих различий во всей их целости, я считаю, однако, особенно необходимым заметить, что последователи первого учения более способны приобрести привычки независимого мышления, чем приверженцы последнего; и это по двум различным причинам. Во-первых, даже весьма посредственные люди из кальвинистской партии должны по самому существу своих верований руководствоваться в предметах религии скорее своим собственным умом, чем умом других. Поэтому они вообще более ограничены в умственном отношении, чем их противники, но менее раблепны; их взгляды заимствованы, конечно, из менее обширной сферы, но зато они более независимы; они менее привязаны к древности и менее обращают внимания на те предания, которым арминианские ученые придают особенную важность. Во-вторых, те, которые соединяют со своей религией метафизику, приводятся кальвинизмом к учению о необходимости<sup>14</sup> — к теории, которая хотя часто ложно пони-

мается, но вообще полна великими истинами и более, чем всякая другая, способна развить ум человека, потому что она ведет к тому ясному пониманию закона, достижение которого есть высшая ступень, до какой может подняться человеческий ум.

Эти соображения дадут возможность читателю понять огромную важность того возрождения янсенизма, которое произошло во французской церкви в продолжение восемнадцатого столетия. Так как янсенизм есть по существу своему учение кальвинистское<sup>15</sup>, то во Франции и обнаружались те стремления, которыми отличается кальвинизм. Явился пытливый, демократический, непокорный дух, который всегда сопровождал это верование. Дальнейшее подтверждение верности только что сделанных нами выводов заключается в том, что янсенизм ведет свое начало от уроженца Голландской республики, что он введен во Франции в тот светлый промежуток свободы, который предшествовал владычеству Людовика XIV<sup>16</sup>, что он был усиленно угнетаем в это самовластное царствование<sup>17</sup> и что прежде половины восемнадцатого столетия он уже опять поднялся как естественный продукт того состояния общества, которое привело к Французской революции.

Связь между возрождением янсенизма и падением иезуитов очевидна. После смерти Людовика XIV янсенисты стали быстро распространять свое влияние даже в Сорбонне и около середины восемнадцатого столетия организовали могущественную партию во французском парламенте. Около того же периода их влияние начинает проявляться в правительстве и среди чиновников короны. Машо, занимавший важное место генерального контролера, стал открыто покровительствовать их мнениям, а через несколько лет после его удаления к управлению делами был призван Шуазель, человек с большими способностями, явно поддерживавший янсенистов. Их воззрения поддерживали также Лаверди, бывший генеральным контролером в 1764 г., и Террз, занимавший место контролера финансов в 1769 г. Генеральный прокурор Жильбер де Вуазен был янсенистом; этого же учения придерживался и один из его преемников, Шовлен, а также генеральный адвокат Пеллетье де Сент-Фаржо и Камю, известный адвокат духовенства. Тюрго, величайший государственный человек своего времени, как говорят, тоже последовал этому учению; Неккер же, который два раза обладал почти верховной властью, был суровым кальвинистом. К этому можно прибавить, что не только Неккер, но и Руссо, которому по справедливости приписывают значительную долю участия в произведении революции, родился в Женеве и почерпнул свои ранние идеи в этой великой колыбели кальвинистской теологии.

При подобных условиях невозможно было удержаться такой корпорации, как иезуиты. Они были последними защитниками авторитета и предания, и естественно, что они должны были пасть в такой век, когда государственные люди были скептики, а теологи — кальвинисты. Даже народ уже обрек их на гибель;

и когда Дамьен в 1757 г. покусился на жизнь короля, все думали, что они были подстрекателями в этом деле. Мы знаем теперь, что это было несправедливо, но одно существование подобной молвы служит уже доказательством всеобщего настроения. Как бы то ни было, но судьба иезуитов была решена. В апреле 1761 г. парламент повелел, чтобы ему представлены были их уставы. В августе им было запрещено принимать вновь послушников, их коллегии были закрыты и несколько из самых знаменитых сочинений их публично сожжены рукой палача. Наконец в 1762 г. издан был новый эдикт, которым иезуиты были осуждены без предоставления им даже права защищаться, их собственность назначена в продажу, а их орден секуляризован; объявлено было, что «существование такой корпорации не может быть терпимо в благоустроенном государстве», и их учреждения и общество были формально уничтожены.

Вот каким образом это великое общество, бывшее долгое время грозой всего света, пало под ударами общественного мнения. И падение его тем более замечательно, что предлог, приведенный в оправдание пересмотра его уставов, был так ничтожен, что ни одно прежнее правительство не обратило бы на него ни малейшего внимания. Эта обширная духовная корпорация была, собственно, судима светским судом за недобросовестность в торговой сделке и за отказ уплатить сумму денег, которую, как говорили, она была должна! Самая влиятельная корпорация во всей католической церкви, духовные вожди Европы, воспитатели ее юношества и духовники ее королей были призваны к суду и судимы во всем их составе за лживое непризнание простого долга! Все обстоятельства заранее так сложились, что признано было излишним употребить для уничтожения иезуитов одно из тех средств, к которым обыкновенно прибегают, чтобы взволновать умы народа. Обвинение, на котором был основан их приговор, заключалось не в том, что они злоумышляли против государства, не в том, что они растлевали общественную нравственность, не в том, что они желали ниспровергнуть религию. Такие обвинения встречались в XVII столетии и соответствовали духу того времени. Но в восемнадцатом веке какой-нибудь ничтожный случай уже мог служить предлогом для оправдания того, на что народ заранее решился. Следовательно, приписывать это великое событие банкротству какого-нибудь купца или интригам какой-нибудь любовницы (многие писатели приписывают уничтожение иезуитов усилиям г-жи Помпадур!) — значит смешивать причину действия с предлогом, под которым оно было совершено. В глазах людей восемнадцатого столетия действительное преступление иезуитов заключалось в том, что они скорее принадлежали к прошедшему, чем к настоящему, и что, защищая злоупотребления старых учреждений, они препятствовали прогрессу человечества. Они заграждали путь своему веку, и век столкнул их со своего пути. Это и была настоящая причина уничтожения иезуитов; ее едва ли могут заметить те писатели,

которые под видом истории занимаются только собиранием разных придворных толков и сплетен и думают, что судьбы великих народов решаются в передних министров и в советах королей.

После падения иезуитов, казалось, ничто не могло уже спасти французскую церковь от немедленной гибели<sup>18</sup>. Старый теологический дух уже с некоторого времени приходил в упадок, и духовенство страдало еще более от своих собственных недостатков, чем от тех нападений, которым оно подвергалось. Увеличение знания произвело во Франции такие же результаты, какие мы уже заметили в Англии. Возрастающая прелесть науки привлекла на ее сторону многих знаменитых людей, которые в прежнее время были бы деятельными членами духовного сословия. То блестящее красноречие, которым отличалось французское духовенство, теперь исчезало, и не слышно уже было голоса тех великих ораторов, по призыву которых переполнялись храмы. Массильон был последним из этой знаменитой породы людей, которые так поработали ум и в речах которых так много очарования, что против них и теперь даже трудно устоять. Он умер в 1742 г., и после него среди французского духовенства уже не было более знаменитых людей ни в каком роде — ни мыслителей, ни ораторов, ни писателей<sup>19</sup>; и не было, по-видимому, никакой вероятности, что оно возвратит свое утраченное положение. В то время как все общество подвигалось вперед, духовенство принимало обратное направление. Все источники его власти иссякли; у него не было деятельных вождей; оно потеряло доверие правительства; оно лишилось прав на уважение народа, оно сделалось предметом насмешек для людей того времени.

С первого взгляда покажется странным, что при этих обстоятельствах французское духовенство было в состоянии в продолжение почти тридцати лет после уничтожения ордена иезуитов сохранить свое положение настолько, чтобы безнаказанно вмешиваться в общественные дела<sup>20</sup>. Но дело в том, что этой временной отсрочкой своего падения духовное сословие было обязано тому движению, о котором я уже упоминал выше и в силу которого французский ум в последней половине восемнадцатого столетия перенесся на другую почву и, устремив всю свою энергию против политических злоупотреблений, пренебрег в некоторой степени теми злоупотреблениями духовенства, которыми до тех пор ограничивалось его внимание. Результатом этого было то, что во Франции правительство усиленно взялось за ту политику, основание которой положили действительно великие мыслители, но к которой они сами уже менее прилагали ревности. Замечательнейшие из французов стали нападать на правительство и в пылу своей новой борьбы ослабили свою оппозицию церкви. Но посеянные ими семена пускали между тем корни в самом правительстве. Все шло так быстро, что те антицерковные мнения, за которые несколько лет тому назад наказывали, как за парадоксы злонамеренных людей, были теперь приняты

и приводимы в исполнение сенаторами и министрами. Правители Франции приводили в действие принципы, которые до тех пор были просто делом теории; и таким образом оказалось, как и всегда бывает, что практические государственные люди только прилагали и выполняли идеи, давно уже заявленные более передовыми мыслителями.

Вот почему ни в одном из периодов XVIII столетия мыслители и деятели не соединялись вполне против церкви: в первой половине столетия духовенство подвергалось главнейшим образом нападениям со стороны литературы, но не со стороны правительства; во второй же половине на него нападало правительство, но не литература. Некоторые из обстоятельств, сопровождавших этот странный переход, были уже изложены и, надеюсь, ясно представляют уму читателя. Теперь я намерен дополнить обобщение, доказав, что соответствующая перемена произошла и во всех других отраслях исследования; и что между тем как в первом периоде внимание преимущественно было обращено на умственные явления, во втором — оно устремлялось более на явления физические. От этого чрезвычайно усилилось политическое движение; потому что французский ум, переменив сферу своей деятельности, перенес мысли людей с внутреннего на внешний мир и, сосредоточив их внимание скорее на их материальных, чем на их духовных, потребностях, направил против захватов правительства ту вражду, которая прежде обращалась только против захватов церкви. Всякий раз, как является стремление предпочитать происходящее извне тому, что происходит изнутри, и таким образом возвеличить материю на счет духа, должно также обнаруживаться и стремление предполагать, что утверждение, которое стесняет наши мнения, менее вредно, чем то, которое контролирует наши действия. Точно таким же образом люди, отвергающие основные истины религии, не станут заботиться о том, до какой степени эти истины извращаются. Люди, отрицающие существование Божества и бессмертие души, не обратят никакого внимания на то, в какой мере грубое внешнее богослужение затемняет эти высокие истины. Никакое идолопоклонство, никакие церемонии, никакая пышность, никакие догматы и никакие предания, которыми задерживаются успехи истинной религии, не причинят им ни малейшего беспокойства, потому что они считают одинаково лживыми и те мнения, которым не дают хода, и те, которым покровительствуют. Зачем люди, которым неизвестны трансцендентальные истины, станут трудиться над уничтожением суеверий, затемняющих эти истины? Подобное поколение не только не станет нападать на захваты, делаемые церковью, но скорее будет смотреть на духовенство как на удобное орудие для завлечения невежественных и обуздывания черни. Поэтому-то нам редко случается слышать, чтобы искренний атеист был ревностным полемистом. Но если бы случилось то, что было сто лет тому назад во Франции, если бы люди с большой энергией, находящиеся под влиянием описанных мною



выше чувств, оказались лицом к лицу с политическим деспотизмом, то они устремили бы против него все свои силы и действовали бы с тем большей решимостью, что считали бы все, что для них важно, поставленным на одну карту и имели бы не только главной, но и единственной целью земное счастье.

С этой именно точки зрения развитие атеистических идей, зародившихся в то время во Франции, становится предметом хотя и грустным, но полным интереса. Время появления этих идей вполне подтверждает то, что я только что сказал относительно перемены, происшедшей в половине XVIII столетия. Первое великое сочинение, в котором они открыто проповедовались, была знаменитая «Энциклопедия», изданная в 1751 г.<sup>21</sup> До этого времени такие недостойные мнения хотя и прорывались случайно, но не поддерживались ни одним способным человеком; к тому же при прежнем состоянии общества они не могли произвести слишком сильного впечатления на свое время. Но в последней половине XVIII столетия идеи эти имели влияние на все отрасли французской литературы. Между 1758 и 1770 гг. атеистические учения быстро утвердились, и в 1770 г. было издано знаменитое сочинение под заглавием «Система природы», успех которого и, по несчастью, талант, с которым оно написано, делает появление его довольно важной эпохой в истории Франции. Оно имело огромную популярность, и содержащиеся в нем взгляды были изложены так ясно и в таком методическом порядке, что оно заслужило название кодекса атеизма. Пять лет спустя архиепископ Тулузский в формальном адресе к королю от имени духовенства объявил, что атеизм сделался господствующим убеждением. В этом, как и во всех подобных уверениях, должно быть, много преувеличения, но что в нем было много и правды, это знает всякий, кто изучал склад ума в поколении, непосредственно предшествовавшем революции. Среди второстепенных писателей Дамилавиль, Делейр, Марешаль, Нэжон, Туссен были деятельными защитниками этого холодного и мрачного учения, которое, чтобы уничтожить надежду на будущую жизнь, заглушает в уме человека благородные инстинкты его собственного бессмертия. И довольно странно, что даже некоторые из высших умов не в состоянии были избежать этой язвы. Кондорсе, Д'Аламбер, Дидро, Гельвеций, Лаланд, Лаплас, Мирабо и Сен-Ламбер открыто защищали атеизм. В самом деле, все это было до такой степени согласно с общим настроением, что люди похвалялись в обществе тем, что в других странах и в другие дни было редким, странным заблуждением, каким-то эксцентрическим пятном, которое старались скрывать. В 1764 г. Юм встретил в доме барона Гольбаха общество самых знаменитых французов, какие были тогда в Париже. Великий шотландец, без сомнения знавший о господствовавшем тогда мнении, воспользовался одним случаем, чтобы завести речь о том, существуют ли настоящие атеисты, и сказал, что ему никогда не случалось встретиться ни с одним из таких людей.

«Вы были довольно несчастливы,—возразил ему Гольбах,—но в настоящую минуту вы сидите за столом с семнадцатью из них»<sup>22</sup>.

Этот случай, как он ни печален, представляет нам только одну из сторон того громадного движения, в силу которого французский ум в течение последней половины восемнадцатого столетия отстал от изучения внутреннего мира и сосредоточил все свое внимание на изучении внешнего. Мы находим интересный пример этого направления в знаменитом сочинении Гельвеция, бесспорно самом талантливом и самом влиятельном исследовании о нравственности, какое появлялось во Франции в этот период. Сочинение это было издано в 1758 г., и хотя оно носит название опыта «О духе», но оно не содержит в себе ни одного места, из которого мы могли бы заключить, что дух в том смысле, в каком это слово обыкновенно употребляется, существует. В этом сочинении, которое было в продолжение пятидесяти лет кодексом французской нравственности, изложены принципы, имеющие точно такое же отношение к этике, какое имеет атеизм к теологии. Гельвеций в начале своего исследования принимает как неопровержимый факт, что различие между человеком и другими животными есть результат различия в их внешней форме и что если бы, например, руки, вместо того чтобы оканчиваться кистями и гибкими пальцами, оканчивались каким-нибудь подобием лошадиного копыта, то мы вечно блуждали бы по лику Земли, не зная никакого искусства, совершенно беззащитные, не имея никакой заботы, кроме избежания нападений диких зверей и приискания ежедневно необходимого количества пищи<sup>23</sup>. Что устройство нашего тела—единственная причина нашего хваленого превосходства, это становится очевидным, когда мы рассудим, что наши мысли составляют не более как продукт двух способностей, которые в нас общи со всеми другими животными, именно: способности принимать впечатления от внешних предметов и способности запоминать эти впечатления, после того как они приняты. Следовательно, продолжает Гельвеций, внутренние способности в человеке такие же, как и во всех других животных, и потому наша чувственная восприимчивость и наша память были бы бесполезны, если бы не те внешние особенности, которыми мы в высшей степени отличаемся и которым мы обязаны всем, что для нас особенно дорого. Раз мы имеем эти положения, из них уже не трудно вывести все главные основания нравственной деятельности. Ибо при том условии, что память есть один из органов физической восприимчивости, а суждение—не более как ощущение, все понятия о долге и добродетели оцениваются по их отношению к чувствам, другими словами, измеряются просто суммой физических наслаждений, которые они могут доставить. Вот настоящее основание нравственной философии. Иметь другой какой-нибудь взгляд—значит давать себя обманывать условными выражениями, которые ни на чем не основаны, кроме предрассудков невежественных людей. Наши

пороки и наши добродетели суть только результаты наших страстей, которые в свою очередь порождаются нашей физической чувствительностью к боли и к наслаждению. Таким именно путем впервые возникло сознание о справедливости. Физической чувствительности люди обязаны ощущением удовольствия и страдания; отсюда произошло сознание их собственных выгод, и отсюда же родилось желание жить вместе, в обществах. Как только люди соединились в общества, явилось понятие об общей пользе, так как без этого общество не может удержаться; а так как действия бывают справедливы или несправедливы только в той мере, в какой они соответствуют этой общей пользе, то и установилось мерило, с помощью которого можно отличать справедливости от несправедливости<sup>24</sup>. В том же непреклонном духе и с необыкновенной полнотой положительных примеров исследует Гельвеций и происхождение других чувств, от которых зависят человеческие деяния. Так, он говорит, что и честолюбие и дружба — дело чисто физической чувствительности. Люди жаждут славы или ради удовольствия, которого они ожидают от одного обладания ею, или же потому, что видят в ней средство получить впоследствии другие удовольствия. Что же касается дружбы, то единственная польза от нее состоит в увеличении наших удовольствий или в смягчении наших страданий; с этой именно целью человек и желает поддерживать сношения со своим другом<sup>25</sup>. Кроме этого, жизнь ничего не может дать нам. Любить все доброе ради одного добра так же невозможно, как любить злое ради зла. Мать, плачущая о потере своего ребенка, побуждается к этому единственно эгоизмом; она грустит, потому что у нее отнято удовольствие и потому что она видит пустоту, которую трудно наполнить. Итак, и самые высокие добродетели, и самые низкие пороки одинаково порождаются тем удовольствием, которое мы испытываем, действуя по их внушению. Всем, что мы имеем, и всем, чем мы бываем, мы обязаны внешнему миру; и человек может быть только тем, чем делают его те предметы, которые его окружают.

Взгляды, проводимые в этом знаменитом сочинении, я изложил довольно подробно не столько по причине того таланта, с каким они защищаются, сколько потому, что они дают ключ к объяснению движений самого замечательного века. Действительно, они так вполне согласовались с преобладавшими стремлениями, что не только быстро доставили своему автору огромную европейскую известность<sup>26</sup>, но в течение многих лет приобретали все большее и большее влияние, и во Франции в особенности имели громадное значение<sup>27</sup>. Так как в этой стране возникли такие взгляды, то для нее они более всего игодились. Госпожа Дюдефан, которая провела свою долгую жизнь посреди французского общества и была одной из самых тонких наблюдательниц своего времени, весьма удачно выразила это. Сочинение Гельвеция, говорит она, популярно, потому что этот человек высказал тайну каждого.

Это правда, что для современников Гельвеция его взгляды, несмотря на их огромную популярность, имели вид тайны, потому что связь между ними и общим ходом дел тогда еще только смутно сознавалась. Для нас же, рассматривающих этот вопрос после такого промежутка времени и, следовательно, с помощью большей опытности, совершенно ясно видно, до какой степени эта система соответствовала потребностям того века, выражением и признаком которого она служит. Что Гельвеций должен был встретить сочувствие своих соотечественников, это ясно видно не только из свидетельств о его успехе, но и из обзора общего характера того времени. Когда он еще продолжал свои труды, и только за четыре года до их обнаружения, появилось во Франции сочинение, которое хотя и обнаружило более таланта и имело большее влияние, чем сочинение Гельвеция, но все-таки было написано совершенно в том же направлении. Я говорю о великом метафизическом трактате Кондильяка, составляющем во многих отношениях одно из самых замечательных произведений восемнадцатого столетия; авторитет его в продолжение двух поколений был так велик, что без некоторого знакомства с этим сочинением мы едва ли можем понять свойства тех сложных движений, которые произвели Французскую революцию.

В 1754 г. Кондильяк издал свое знаменитое сочинение об уме, самое заглавие которого уже показывает, в каком духе оно написано. Хотя этот глубокий мыслитель имел в виду ни более, не менее как исчерпывающий анализ человеческих способностей и хотя один весьма даровитый, но враждебный критик (Кузен) провозглашает его единственным метафизиком, какого произвела Франция за все восемнадцатое столетие, но все-таки он нашел, что решительно невозможно избежать тех стремлений ко внешнему, которые господствовали в его время. Следствием этого было то, что он назвал свое сочинение трактатом об ощущениях. В нем он положительным образом утверждает, что все, что мы знаем, есть результат ощущения, под которым он понимает действие, производимое на нас внешним миром. Что бы ни думали о верности этого взгляда, но то не подлежит сомнению, что он проводится с такой последовательностью и такой строгостью в умозаключениях, которые достойны всякой похвалы. Однако разбор доводов, подкрепляющих взгляд Кондильяка, может повести к рассуждениям, чуждым моей настоящей цели, которая заключается только в том, чтобы указать отношение между его философией и общим направлением его современников. Поэтому, не имея никакого притязания на что-либо вроде практического разбора этого знаменитого сочинения, я хочу просто представить свод всех существенных положений, составляющих его основание, с тем чтобы сделать очевидной связь, существующую между этой книгой и умственным складом того времени, в котором она появилась.

Материалы, из которых была первоначально извлечена философия Кондильяка, заключались в великом сочинении, издан-

ном за шестьдесят лет до него Локком. Хотя многое из того, что составляет самую существенную часть этой философии, было заимствовано от английского писателя, но в одном весьма важном отношении ученик отличался от учителя. И это различие резко обрисовывает то направление, которое начинал принимать в то время французский ум. Локк с некоторой небрежностью в выражении, а может быть, и некоторой неточностью в мысли уверял, что существует отдельная способность мышления, и утверждал, что с помощью этой способности продукты ощущения могут приносить нам пользу<sup>28</sup>. Кондильяк, движимый господствующим духом своего времени, не хотел и слышать о таком различии. Он, подобно большей части своих современников, с ревностью смотрел на всякое притязание, усиливающее авторитет внутреннего и ослабляющее авторитет внешнего мира. Таким образом, он совершенно отвергает способность мышления как источник наших идей частью потому, что эта способность есть только канал, в который устремляются идеи по выходе из чувств, а частью и потому, что вначале они и сами суть ощущения. Итак, по его мнению, весь вопрос заключается только в том, каким образом наше соприкосновение с природой доставляет нам идеи, потому что, по его системе, способности человека происходят единственно от деятельности его чувств. Суждения, которые мы составляем, говорит Кондильяк, часто приписываются присутствию в нас Божества — удобный способ умозаключения, возникший только вследствие трудности анализа суждений. Только рассмотрев действительный порядок составления наших суждений, мы можем устранить эти неясности. Дело в том, что внимание, обращаемое нами на предмет, есть не что иное, как ощущение, которое возбуждает в нас этот предмет; и то, что мы называем отвлеченными понятиями, — не более как различные виды нашей внимательности. По зарождении, таким образом, понятий дальнейший процесс совершается весьма просто. Внимать двум понятиям в одно и то же время — значит сравнивать их, так что сравнение не есть результат внимания, но скорее само внимание.

Это сразу дает нам способность судить, ибо, делая прямо сравнение, мы этим самым, по необходимости, составляем суждение. Точно так же память есть не более как преобразившееся ощущение; между тем как воображение есть не что иное, как память, которая, будучи доведена до возможно высшей степени живости, делает отсутствующее как бы присущим. Итак, впечатления, получаемые нами от внешнего мира, суть не причины наших способностей, а сами способности. Из этого неизбежно следует, говорит Кондильяк, что в человеке природа есть начало всего; что природе обязаны мы всем нашим знанием; что мы научаемся только от ее уроков и что все искусство умозаключения должно состоять в продолжении того дела, к выполнению которого мы призваны природой.

Направление этих взглядов до такой степени очевидно, что для оценки их результата мне нет нужды брать другое какое-либо

мерило, кроме степени распространения их. Действительно, ревность, с какой их начали вводить во все отрасли знания, может удивить лишь тех, которые по своему умственному складу могли изучать историю только отдельными отрывками, а не привыкли смотреть на нее, как на одно целое, и которые поэтому не замечают, что в каждой великой эпохе бывает в ходу какая-нибудь одна идея, которая, пересиливая все другие, дает свой характер всем событиям и определяет их окончательный исход. Во Франции в продолжение последней половины восемнадцатого столетия такой идеей было подчинение внутреннего внешнему. Это тот опасный, хотя и благовидный, принцип, который отвлек внимание людей от церкви и направил его на государство, который проявился в сочинениях Гельвеция, самого знаменитого из французских моралистов, и Кондильяка, знаменитейшего из французских метафизиков. Это тот самый принцип, который, возвысив, если можно так сказать, значение природы, заставил способнейших мыслителей посвятить себя изучению ее законов и покинуть другие занятия, пользовавшиеся в прежнее время большой популярностью. Вследствие этого движения сделаны были такие удивительные прибавления к каждой отрасли естественных наук, что гораздо более новых истин, относящихся к внешнему миру, было открыто во Франции в продолжение второй половины XVIII столетия, чем за все предшествовавшие периоды, взятые вместе. Подробности этих открытий, насколько они были пригодны для общих целей цивилизации, будут рассказаны в другом месте; теперь же я укажу только на те, которые наиболее выдаются вперед, с тем чтобы читатель мог понять делаемые мною далее выводы и мог видеть связь между этими открытиями и Французской революцией.

Бросив общий взгляд на внешний мир, мы можем сказать, что три самые важные силы, которыми совершаются все отправления природы, суть: теплород, свет и электричество — к этому последнему я отношу и явления магнетизма и гальванизма. Всеми этими предметами французы теперь впервые стали заниматься с замечательным успехом. Относительно теплорода не только собираемы были с неутомимым трудолюбием материалы для позднейших выводов, но даже, прежде чем прошло одно поколение, сделаны были и самые выводы; ибо в то время как Прево вывел законы лучеиспускания теплорода, законы теплопроводности были исследованы Фурье, который перед самой революцией занялся возведением термотики на степень науки путем дедуктивного применения к ней той знаменитой математической теории, которую он сам придумал и которая и до сих пор носит его имя. Касательно электричества достаточно заметить, что в том же самом периоде производились важные опыты Д'Алибара, а за ними следовали обширные изыскания Кулона, вследствие которых явления электричества подведены были под законы математики, и таким образом довершено то, что подготовил уже Эпинус. Что же касается законов света, то накопились

те идеи, которые проложили путь к важным открытиям, сделанным в конце столетия Малюсом и еще позднее Френелем. Оба этих знаменитых француза не только сделали важные прибавления к нашим сведениям о двойном преломлении, но Малюс даже открыл поляризацию света — без сомнения, самая блестящая услуга, какая только была оказана оптике со времени разложения солнечных лучей. Вследствие этого также Френель приступил к глубоким изысканиям, утвердившим на прочном основании ту великую теорию волнений света, основателями которой считают Гука, Пойгенса и больше всего Юнга и которой окончательно была disproвергнута атомистическая теория Ньютона.

Вот какие успехи сделали французы в познании тех сил природы, которые сами по себе невидимы и о которых мы не можем положительно сказать, существуют ли они в виде какой-нибудь материи, или же это не более как состояния или свойства других тел<sup>29</sup>. Громадное значение этих открытий, как увеличивающих число дознанных истин, конечно, неоспоримо; но в то же самое время сделаны были и другого рода открытия, которые, имея более осязательное отношение к видимому миру и будучи вследствие этого легче понимаемы, произвели более непосредственные результаты и, как я сейчас покажу, имели замечательное влияние на усиление того демократического стремления, которое сопровождало Французскую революцию. Совершенно невозможно, не выходя из предположенных мною пределов, дать сколь-нибудь верное понятие о чудесной деятельности, с какой французы преследовали теперь свои изыскания в каждой области органического и неорганического мира; но я все-таки считаю возможным сжать на нескольких страницах такой перечень более выдающихся сторон этой деятельности, который мог бы дать читателю некоторую идею о том, что было сделано поколением великих мыслителей, процветавших во Франции в последней половине восемнадцатого столетия.

Если мы ограничим наш взгляд обитаемым нами земным шаром, то должны согласиться, что две науки, химия и геология, не только весьма много обещают в будущем, но и содержат уже сами обширные обобщения. Причина этого станет очевидна, если мы вникнем в идеи, лежащие в основании этих двух великих предметов. Идея химии — изучение состава<sup>30</sup>, идея геологии — изучение положения. Предмет первой составляет изучение законов, от которых зависят свойства материи; предмет второй — изучение законов, обуславливающих место расположения ее. В химии мы производим опыты; в геологии — наблюдаем. В химии мы имеем дело с частичным строением малейших атомов<sup>31</sup>; в геологии — с мировым строением огромных масс. От этого происходит, что химик своей мелочностью, а геолог своим величием соприкасаются с двумя крайностями материальной Вселенной и, исходя от этих противоположных точек, постоянно обнаруживают, как я легко могу доказать, все большее и большее стремление подчинить своей власти такие науки, которые имеют

в настоящее время независимое существование и которые ради разделения труда все еще признается более удобным изучать отдельно, между тем как дело собственно так называемой философии — соединить их в одно полное, действительное целое. И в самом деле ясно, что если бы мы знали все законы, определяющие составы материи, и также все законы, от которых зависит ее положение, то мы также знали бы и все перемены, которым она способна подвергнуться самопроизвольно, т. е. когда ей не становится в этом помехой ум человека. Каждое явление, представляемое каким-нибудь данным веществом, должно зависеть или от чего-нибудь заключающегося в самом веществе, или от такой причины, которая находится вне его; при этом все, что происходит внутри материи, объясняется ее составом, а то, что случается вне ее, должно зависеть от положения ее относительно тех предметов, которые имеют на нее действие. Вот положения, применимые ко всевозможным случаям, и все, что ни случается, должно подходить под какой-нибудь из этих двух разрядов законов; даже упомянутые выше таинственные силы, исходят ли они из материи, или же суть только свойства материи, должны при окончательном анализе их оказаться зависящими или от внутреннего устройства, или от внешнего положения их физических предыдущих. Поэтому, как бы ни было удобно при настоящем состоянии нашего знания говорить о жизненных принципах, о неведомых жидкостях и упругих эфирах, подобные термины могут быть только временными, и их следует считать не более как названиями, принятыми для тех оставшихся необъясненными фактов, подведение которых под общие правила, довольно обширные, чтобы обнять все и на все распространяться, будет делом грядущих веков.

Так как эти идеи состава и положения лежат в основании всех естественных наук, то неудивительно, что химия и геология, их лучшие, хотя все еще несовершенные представители, должны были сделать в новейшие времена более успехов, чем какая-либо другая из главных отраслей человеческого знания. Хотя химики и геологи не поднялись еще до крайней высоты в своих предметах<sup>32</sup>, но все-таки может ли что быть любопытнее той быстроты, с какой они расширяли свои взгляды в продолжение двух последних поколений, вдаваясь в такие вопросы, до которых, казалось бы с первого взгляда, им нет дела, подчиняя другие отрасли исследования своим и набираясь отовсюду тех умственных сокровищ, которые, долго скрываемые в темных закоулках, растрчивались в разработке специальных, второстепенных предметов. Так как это одна из великих умственных характеристик настоящего времени, то я рассмотрю ее впоследствии с большей подробностью; теперь же я должен только доказать, что в этих двух обширных науках, которые хотя еще весьма несовершенны, но должны со временем стать выше всех других, первые важные шаги были сделаны французами в течение последней половины XVIII столетия.



Что мы обязаны Франции существованием химии как науки, с этим согласится всякий, кто употребляет слово «наука» в том единственно смысле, в котором оно должно быть употребляемо, т. е. как свод обобщений, верность которых до такой степени непреложна, что они хотя и могут быть со временем заслонены высшими обобщениями, но не могут быть разрушены ими, другими словами, таких обобщений, которые могут быть поглощены, но не опровергнуты. С этой точки зрения история химии представляет только три перехода. Первый переход составляло падение флогистической теории и основание на развалинах ее учения об окислении, сгорании и дыхании. Второй переход заключался в установлении начала определенных пропорций и применении к нему атомистической гипотезы. Третий переход — выше чего мы еще не поднимались — составляет соединение химических законов с законами электричества и успешное стремление связать в одном общем выводе разрозненные явления обоих начал. Какой из этих трех переходов имел в свое время наибольшее значение, до этого нам теперь нет дела; но то достоверно, что первый из них был результатом деятельности Лавуазье, величайшего из французских химиков. До него несколько важных вопросов были выяснены английскими химиками, опыты которых раскрыли существование дотоле неизвестных тел. Но звеньев, которыми можно было бы связать эти факты, еще не доставало, и, покуда Лавуазье не выступил на то же поприще, не было обобщений достаточно обширных для того, чтобы химия могла справедливо называться наукой; или, говоря точнее, единственный широкий вывод, принятый всеми, был сделан Сталем, но великий французский химик доказал, что вывод этот не только не полон, но даже и совершенно неверен. Сведения об обширных открытиях Лавуазье можно найти во многих известных сочинениях; нам же достаточно сказать, что он не только выработал законы окисления тел и их сгорания, но был также творцом истинной теории дыхания, чисто химический характер которого он первый доказал, чем и положил основание тем взглядам на назначение пищи, которые были развиты впоследствии немецкими химиками и которые, как я доказал во второй главе этого введения, могут быть приложены к разрешению некоторых важных задач в истории человека. Заслуга в этом деле так очевидно принадлежала Франции, что, хотя система, возникшая из этих открытий, была быстро принята и в других странах, она все-таки получила название французской химии. В то же время вследствие множества ошибок, которыми была наполнена старая номенклатура, потребовалась новая терминология, и в этом опять инициатива принадлежала Франции; великая реформа эта была начата ее четырьмя знаменитейшими химиками, прославившимися не более как за несколько лет до революции<sup>33</sup>.

В то время как одна часть французских мыслителей была занята приведением в порядок кажущихся неправильностей химических явлений, другая часть оказывала такую же услугу

геологии. Первая попытка популяризировать эту благородную науку была сделана Бюффеном, предложившим в половине XVIII столетия геологическую теорию, которая хотя и не была совершенно оригинальна, но возбудила внимание своим красноречием и связанными с нею возвышенными умозрениями<sup>34</sup>. За этим следовали более специальные, но тем не менее важные труды Руэлля, Демарэ, Доломьё и Монлозье, которые менее чем в сорок лет произвели совершенный переворот в идеях французов, освоив их со странным представлением, что поверхность нашей планеты даже там, где она кажется совершенно неизменной, постоянно подвергается самым обширным изменениям. Стали понимать, что эти вечные приливы и отливы происходят не только в тех частях природы, которые очевидно слабы и подвержены исчезновению, но и в тех, которые, по-видимому, соединяют в себе все элементы прочности и постоянства, как, например, гранитные горы, стеной облегающие земной шар и составляющие ту кору, ту облицовку, в которой он держится. Как только ум привык к этой идее повсеместных перемен, то настало время для появления великого мыслителя, который обобщил бы разбросанные наблюдения и возвел их в науку, связав с какой-либо другой отраслью знания, законы которой или по крайней мере эмпирические однообразия явлений уже приведены в известность.

В этот именно момент, когда исследования геологов, несмотря на все их достоинства, были еще незрелы и шатки, взялся за дело Кювье, один из величайших натуралистов, каких когда-либо производила Европа. Немногие превосходили его глубиной зрения, а по обширности ума едва ли кто стоял выше его; притом громадный круг изученных им предметов делал для него особенно удобным наблюдение над всеми явлениями и по всем частям внешнего мира. Этот замечательный человек был, без сомнения, основателем геологии как науки, потому что не только он первый увидел необходимость применить к ней общие выводы сравнительной анатомии, но ему же первому на самом деле удалось осуществить эту великую мысль, связав изучение земных пластов с изучением находимых в них окаменелых животных<sup>35</sup>. Правда, что незадолго до обнародования его исследований были собраны многие важные факты, относящиеся к отдельным слоям, так как первичные формации были исследованы немцами, а вторичные — англичанами; но эти наблюдения при всем их достоинстве оставались разрозненными; в них не было того широкого взгляда, который придавал бы единство и величие всему целому, связав исследования о неорганических изменениях поверхности земного шара с другими исследованиями — об органических изменениях животных, находившихся на этой поверхности.

Что этим громадным шагом мы вполне обязаны Франции, это очевидно не только из того, что сделал Кювье, но также и из признанного всеми факта, что французам мы обязаны нашими познаниями относительно третичных слоев, в которых органичес-

кие остатки наиболее многочисленны и в которых особенно много аналогии со всем существующим в настоящее время<sup>36</sup>. Сюда же можно отнести и другое обстоятельство, приводящее к тому же заключению, а именно: что первое применение начал сравнительной анатомии к изучению ископаемых костей было также делом француза, знаменитого Добантона. До него эти кости были предметом бессмысленного удивления; некоторые говорили, что они упали с неба, другие — что это гигантские члены древних патриархов, которым приписывали большой рост, потому что они были весьма стары<sup>37</sup>. Такие нелепые понятия были навсегда рассеяны Добантоном, издавшим в 1762 г. мемуар, о котором нам теперь приходится сказать только одно — что он свидетельствует о тогдашнем состоянии французского ума и что он составлял преддверие к открытиям Кювье.

Таким соединением геологии с анатомией впервые внесено было в изучение природы ясное понятие о дивной теории повсеместных перемен, и рядом с ним возникло столь же определенное понятие о правильности, с какой перемены эти происходят, и о непреложных законах, которыми они управляются. Подобные идеи, без сомнения, проявлялись по временам и в предыдущие века, но великие французские мыслители XVIII столетия первые применили их ко всему строению земного шара и таким образом проложили путь к тому еще более возвышенному взгляду, для которого их умы еще не были довольно зрелы<sup>38</sup>, но до которого в наше время быстро возвышаются самые передовые мыслители. Теперь начинают уже понимать, что каждое прибавление к нашим знаниям, принося новые доказательства правильности, с которой совершаются все перемены в природе, должно приводить нас к убеждению, что та же правильность существовала и задолго до того, как наша маленькая планета приняла свой теперешний вид и как появился на поверхности земли человек. Мы имеем самые полные доказательства, что перемены, непрерывно происходящие в материальном мире, имеют характер однообразия; однообразие это так ясно обозначается, что в астрономии, самой совершенной из всех наук, мы можем предсказывать явления за много лет до их действительного совершения; и никто не может сомневаться в том, что если бы и по другим предметам знание наше простерлось так же далеко, то и в них предсказания наши были бы не менее точны. Итак, ясно, что обязанность представления доказательств падает не на тех, кто признает вечную правильность природы, а скорее на тех, кто отрицает ее и кто определяет воображаемый период, относя к нему воображаемый переворот, во время которого возымели будто бы действие новые законы и установился новый порядок вещей. Такие произвольные утверждения, если им даже и суждено со временем оказаться верными, не могут, однако, ничем быть оправданы при нынешнем состоянии науки и должны быть отброшены как последние остатки тех теологических предрассудков, которые поочередно задерживали успехи каждой на-

уки. Эти и все подобные им понятия делают двойное зло. Они вредны потому, что извращают человеческий ум, полагая пределы его исследованиям, а более всего вредны в том отношении, что ослабляют широкую идею постоянного, непрерывно действующего закона,—идею, которую, без сомнения, немногие могут прочно усвоить, но из которой должны вытекать конечные, высшие обобщения грядущей науки.

Это именно глубокое убеждение в том, что изменяющиеся явления следуют неизменным законам и что есть начала порядка, под которые может быть подведен всякий кажущийся беспорядок, руководило в XVII столетии в ограниченной сфере Бэкона, Декарта и Ньютона, а в XVIII столетии было применено ко всем областям материального мира; на обязанности же XIX столетия лежит распространить его и на историю человеческого ума. Этой последней отраслью исследования мы обязаны главным образом Германии, потому что, за исключением одного Вико, никто и не подозревал возможности прийти к полным выводам относительно прогресса человечества, пока незадолго до Французской революции великие германские мыслители не начали разрабатывать этот наиболее возвышенный и трудный из всех предметов изучения. Сами же французы были слишком заняты естественными науками, чтобы обращать внимание на такие предметы<sup>39</sup>; и мы можем вообще сказать, что в XVIII столетии каждая из трех первостепенных наций Европы играла свою особую роль: Англия распространяла любовь к свободе, Франция—знание естественных наук, а Германия, поддерживаемая в известной степени Шотландией, возобновляла изучение метафизики и вводила новое изучение—философии истории. Из этого распределения могут быть, конечно, сделаны некоторые исключения, но то достоверно, что такова именно была отличительная характеристика поименованных трех стран. После смерти Локка (в 1704 г.) и Ньютона (в 1727 г.) в Англии оказался ошутительный недостаток в великих отвлеченных мыслителях, и это не потому, чтобы недоставало дарований, а потому, что дарования эти были направлены частью на цели практические, частью же—на политические распри. Я впоследствии займусь рассмотрением причин этой особенности и постараюсь привести в известность, до какой степени она влияла на судьбы Англии. Что результаты ее были вообще благодетельны, в этом я не сомневаюсь; но бесспорно также и то, что направление это вредило успехам науки, потому что отвращало умы от всех новых истин, исключая те, которые могли принести очевидную, практическую пользу. Следствием этого было то, что хотя англичане сделали несколько великих открытий, но у них в течение 70 лет не было ни одного человека, который бы имел действительно широкий взгляд на явления природы; не было никого, кто бы мог сравниться с теми знаменитыми мыслителями, которые во Франции преобразовали все отрасли естествознания. Не ранее как через два с лишком поколения после смерти Ньютона показали первые признаки замеча-

тельной реакции, которая быстро распространилась почти на все отрасли умственной деятельности нации. По части физики достаточно упомянуть о Дальтоне, Дэви и Юнге, из которых каждый был основателем новой эпохи; по другим же предметам я могу только сослаться, во-первых, на влияние шотландской школы, а во-вторых — на то внезапно возбудившееся, вполне заслуженное уважение к германской литературе, главным представителем которого был Колридж и которое развило в английских умах вкус к таким возвышенным и смелым обобщениям, каких не знали до того времени. История этого обширного движения, проявившегося с самого начала XIX столетия, будет рассказана в последующих томах этого сочинения, в настоящее же время я только упоминаю о нем в пояснение того факта, что до начала этого движения англичане, хотя и превосходившие французов в некоторых предметах, имевших чрезвычайную важность, уступали им в тех широких философских воззрениях, без которых не только не может принести никакой пользы даже самый терпеливый труд, но и действительно сделанные открытия не имеют полной цены, так как без привычки к обобщению невозможно заметить существующую между ними связь и сплотить их разрозненные части в одну обширную систему полной, стройной истины.

Интерес, связанный вообще с этого рода исследованиями, заставил меня остановиться на них несколько долее, чем я намеревался, и может быть долее, чем сколько это уместно в настоящем введении, заключающемся преимущественно в намеках и имеющем характер приуготовительный. Но необыкновенный успех, с каким начали теперь заниматься французы естественными науками, представляет так много любопытного по своей связи с революцией, что я не могу не привести еще нескольких примеров, особенно бросающихся в глаза, — хотя ради краткости я ограничусь только теми тремя главными отделами, которые, взятые вместе, составляют так называемую естественную историю. По всем этим отделам самые важные шаги были сделаны во Франции в течение последней половины XVIII столетия.

По первому из этих отделов, именно по части зоологии, мы обязаны французам XVIII века самыми высшими обобщениями, каких достигла до сих пор эта отрасль знания. Зоология, принимаемая в собственном смысле этого слова, состоит только из двух частей: из анатомической, которая составляет ее статику, и физиологической, которая есть ее динамика; первая занимается строением животных, вторая — их отправлениями. Обе части были разрабатываемы почти в одно время Кювье и Биша, и главные из сделанных ими выводов остаются по прошествии шестидесяти лет неизменными в существенных своих частях. В 1795 г. Кювье установил великий принцип, что изучение и классификация животных должны основываться не на их внешних особенностях, как было прежде, а на их внутренней организации и что, следовательно, не может быть действительного прогресса в этом

знании без расширения пределов сравнительной анатомии. Этот шаг, как ни кажется он прост в настоящее время, имел тогда огромную важность, потому что он разом вырвал зоологию из рук наблюдателя и передал ее в руки экспериментатора; последствием этого было достижение той определенности и верности в подробностях, к которой может привести только опыт и которая во всех отношениях важнее тех общепонятных фактов, какие дает наблюдение. Указав таким образом натуралистам истинный путь исследования, приучив их к точному и строгому методу и научив пренебрегать неопределительными описаниями, которыми они прежде увлекались, Кювье положил основание тому прогрессу, который в последние шестьдесят лет превзошел всякие ожидания. Итак, настоящая заслуга Кювье заключается в том, что он ниспровергнул искусственную систему, созданную гением Линнея, и построил на месте ее гораздо более совершенную теорию, которая давала самый полный простор будущим исследованиям, так как на основании ее все системы должны считаться несовершенными и временными до тех пор, пока будет еще оставаться что-либо не исследованным по части сравнительной анатомии животного царства. Влияние, произведенное этим великим взглядом, еще более усилилось вследствие необыкновенного умения и трудолюбия, с каким сам автор проводил его и доказывал удобоприменимость проповедуемых им начал. Прибавления, сделанные им к нашему знанию сравнительной анатомии, вероятно, многочисленнее сделанных кем-либо другим; но что доставило ему особенную славу, это та дальновидность, с какой он употреблял в дело свои приобретения. Независимо от других обобщений, он был еще автором широкого деления всего животного царства на позвоночных, моллюсков, суставчатых и лучистых,—деления, которое и до сих пор удержалось и является одним из замечательнейших примеров обширного философского взгляда, примененного во Франции к явлению материального мира<sup>40</sup>.

Но как ни славно имя Кювье, другое имя, о котором мне остается упомянуть, еще славнее. Я разумею, конечно, Биша, слава которого постоянно возрастает по мере успехов, делаемых нашим знанием, и который—если вспомнить, как недолго он жил и как далеко между тем успел зайти в своих воззрениях,—должен быть признан самым глубоким из мыслителей и самым тонким из всех наблюдателей, какие изучали до сих пор устройство животного организма<sup>41</sup>. Правда, что ему недоставало тех обширных познаний, которыми отличался Кювье; но хотя вследствие этого обобщения его были заимствованы из менее обширной сферы, зато, с другой стороны, в них было менее временного: они были, мне кажется, законченнее и, без сомнения, обнимали предметы большей важности. Внимание Биша было преимущественно устремлено на человеческий организм в самом широком смысле этого слова; цель его была—настолько исследовать этот организм, чтобы возвыситься, если можно, до некоторого знания

причин и свойств нашей жизни. Это дивное предприятие не удалось ему во всей целости, но то, чего он достиг в некоторых частях его, так необыкновенно и сообщило такой толчок некоторым из высших отраслей исследования, что я укажу вкратце на принятый им метод, с тем чтобы сравнить его с методом, которому в то же время следовал с огромным успехом Кювье.

Важный шаг, сделанный Кювье, заключался в том, что он настоял на необходимости всестороннего изучения органов животных, вместо того чтобы, следуя старой системе, описывать их привычки и внешние особенности. Это было большим улучшением, потому что на место шатких популярных наблюдений он поставил прямой опыт и тем сообщил зоологии неизвестную до того точность<sup>42</sup>. Но Биша с еще большей проницательностью заметил, что и этого недостаточно. Он видел, что так как каждый орган состоит из различных тканей, то нужно изучить самые ткани, прежде чем узнавать, каким образом из их сочетания составляются органы. Эта мысль, как и все истинно великие идеи, не была вполне выработана одним человеком, ибо физиологическое значение тканей было признаваемо тремя или четырьмя из непосредственных предшественников Биша, как то: Кармикаэлем Смитом, Бонном, Бордё и Фаллопием. Однако эти исследователи при всем своем трудолюбии не сделали ничего важного; хотя они и собрали некоторые частные факты, но в их наблюдениях был тот же недостаток гармонии и замечалась та же вообще неполнота, которой всегда отличаются труды людей, не возвышающихся до всестороннего взгляда на предмет, с которым они имеют дело<sup>43</sup>.

Вот при каких обстоятельствах начал Биша те исследования, которые по их результатам в настоящем, а еще более по тем плодам, каких можно ожидать от них в будущем, составляют, вероятно, самое ценное из приобретений, какими бывала когда-либо обязана физиология уму отдельного человека. В 1801 г., только за год до своей смерти, он напечатал свое обширное сочинение об анатомии, в котором изучение органов совершенно подчинено изучению входящих в состав их тканей. Он говорит, что тело человека состоит из двадцати одной разных тканей, которые все хотя и отличаются существенно одна от другой, но имеют два общих свойства: способность растягиваться и способность сжиматься<sup>44</sup>. Ткани эти он с неутомимым трудолюбием подвергал всякого рода исследованиям<sup>45</sup>; он рассматривал их в различных возрастах и при различных болезнях, дабы привести в известность законы как нормального, так и патологического развития их<sup>46</sup>. Он изучал, в какой мере каждая ткань подвергается влиянию влажности, воздуха и температуры; а также, насколько свойства их изменяются от различных химических веществ и даже какое действие они имеют на вкус. Этим путем и с помощью многих других опытов в том же направлении он так быстро и так далеко продвинулся вперед, что на него должно смотреть не как на простого нововводителя в старой науке, а скорее как на

создателя новой. Если позднейшие наблюдатели и исправили некоторые из его выводов, то сделали это, только следуя его же методу, достоинство которого до такой степени всеми признано, что он принят почти всеми лучшими анатомами, которые хотя и расходятся с Биша в других воззрениях, но совершенно согласны с ним в том, что будущие успехи анатомии должны основываться на знании тканей, первостепенную важность которых он первый заметил<sup>47</sup>.

Методы Биша и Кювье, взятые вместе, исчерпывают все средства, какими располагает наука зоология; так что все последующие натуралисты должны были непременно принять какую-нибудь из этих систем, т. е. или следовать Кювье, сравнивая органы животных, или следовать Биша, сличая ткани, составляющие эти органы. И так как одно сравнение приводит главным образом к познанию отправления, а другое — к уяснению строения организмов, то очевидно, что для доведения знания животного мира до возможной степени совершенства необходимы обе эти системы; но если спросить, который из двух методов без помощи другого скорее может привести к важным результатам, то я полагаю, что пальма первенства должна быть присуждена методу Биша. Если смотреть на этот вопрос как на подлежащий решению авторитета, то, конечно, большинство самых знаменитых анатомов и физиологов теперь склоняется скорее на сторону Кювье; с исторической же точки зрения может быть доказано, что слава Биша с успехами науки возрастала гораздо быстрее, чем слава его великого соперника. Но что мне кажется еще более решительным доводом, — это тот факт, что два важнейших открытия, сделанных в наше время по части классификации животных, являются прямым последствием метода, введенного Биша.

Первое из этих открытий было сделано Агассизом, который, занимаясь своими ихтиологическими исследованиями, пришел к убеждению, что классификация Кювье, основанная на сравнении органов, не достигает своей цели по отношению к ископаемым рыбам, так как отличительные черты их строения с течением времени изгладились. Поэтому он принял единственный, какой оставался затем, план, т. е. стал изучать ткани, которые, будучи менее сложны, чем органы, часто оказываются нетронутыми. Результатом этого было чрезвычайно замечательное открытие — что строение оболочной плевы рыб так тесно связано с их организацией, что если все в рыбе изгладилось, кроме этой плевы, то можно, заметив особенности этой последней, воспроизвести строение самого животного в наиболее существенных частях его. О важности этого начала гармонии можно составить себе некоторое понятие из того обстоятельства, что Агассиз основал на нем ту знаменитую классификацию, которой он один был творцом и с помощью которой ископаемая ихтиология впервые приняла точные и определенные формы.

Другое открытие, применение которого еще более обширно, было сделано совершенно таким же путем. Оно состоит в поразитель-



тельном факте, что зубы каждого животного необходимо имеют связь со всей организацией его, так что мы можем до известной степени угадать всю организацию, исследовав один зуб. Этот прекрасный пример правильности в действиях природы сделан известен не ранее как через тридцать лет после смерти Биша, но мы, очевидно, обязаны этим открытием применению того метода, который он так усердно старался ввести в употребление. Так как в прежнее время зубы не были исследованы надлежащим образом относительно их отдельных тканей, то полагали, что они не имеют собственно никакого строения или, как думали некоторые, состоят просто из волокнистой ткани<sup>48</sup>. Но посредством самых точных микроскопических исследований приведено недавно в известность, что ткани зуба совершенно сходны с тканями других частей тела и что слоновая кость, или дентин, как ее теперь называют, есть в высшей степени органическое тело: она так же, как и эмаль, состоит из клетчатки и представляет собой в сущности развитие живого мозга. Это открытие, полное значения для анатома-философа, было сделано около 1838 г.; хотя первые шаги к нему были сделаны Пюркенже, Ретцием и Шванном, но главным своим развитием оно обязано Насмиту и Оуэну, которые оспаривают его друг у друга. Кто из них имеет больше прав — не наше дело решать; я хочу заметить только одно, что открытие это сходно с тем, которое сделал Агассиз, сходно как по методу, лежавшему в основании приведенных к нему исследований, так и по своим последствиям. Обои́ми этими открытиями мы обязаны признанию основного правила Биша — что изучение органов должно быть подчинено изучению тканей — и оба они послужили самым драгоценным пособием для зоологической классификации. С этой точки зрения услуга, оказанная Оуэном, бесспорна, что бы ни думали о его правах на оригинальность. Этот знаменитый натуралист с необыкновенным трудолюбием занимался применением этого открытия ко всем позвоночным животным и доказал в своем добросовестном сочинении, специально посвященном этому предмету, бесспорность удивительного факта, что устройство одного зуба дает уже критерий для определения свойств и организации той породы животных, которой он принадлежит.

Всякий, кто много размышлял о различных ступенях, через которые проходило последовательно наше знание, должен был, мне кажется, прийти к тому заключению, что, вполне признавая великие заслуги исследователей животного организма, мы должны, однако, более всего удивляться не тем, которые сделали открытия, а скорее тем, которые указывают, как следует делать открытия<sup>49</sup>. Раз указан истинный путь исследования, остальное уже сравнительно легко. Торный путь открыт во всякое время, и трудность не в том, чтобы найти охотников путешествовать по старой дороге, а чтобы приискать таких, которые проложили бы новую. Каждый век производит множество людей со смыслом и со значительным трудолюбием, которые при всей своей способ-

ности разрабатывать ту или другую науку в ее подробностях не бывают, однако, в состоянии расширить ее отдаленные пределы. Это потому, что подобное расширение должно сопровождаться открытием нового метода<sup>50</sup>; а для того, чтобы метод был и нов, и существенно полезен, необходимо, чтобы основатель его не только мастерски владел всеми средствами своего предмета, но и обладал также оригинальностью и обширностью взгляда — двумя самыми редкими видами человеческого дарования. Вот в чем заключается истинная трудность всякого серьезного изучения. Как скоро какая-нибудь отрасль знания была обобщена в законы, она содержит, в самой ли себе или в своих применениях, три отдельные ветви, а именно: изобретение, открытие и метод. Из них первая соответствует искусству, вторая — науке, а третья — философии. В этой шкале изобретениям принадлежит самое последнее место, — ими редко занимаются умы высшего разряда. Далее следуют открытия; здесь уже начинается настоящая область мышления, так как здесь делается первая попытка искать истину ради ее самой, оставляя в стороне все практические соображения, к которым изобретения имеют необходимое отношение. Это уже наука в собственном смысле; и как трудно достигнуть этой ступени, очевидно из того факта, что все полувиллизированные народы делали много великих изобретений, а не сделали ни одного великого открытия. Но самую высшую из трех ступеней занимает философия метода, имеющая то же отношение к науке, какое имеет наука к искусству. Громадная, можно сказать первостепенная, важность ее доказывается множеством свидетельств в летописях науки: некоторые истинно великие люди не сделали решительно ничего, а только провели всю жизнь в бесплодной деятельности не потому, чтобы они мало работали, а потому, что их метод был бесплоден. Успехи всякой науки зависят более от того плана, по которому она разрабатывается, чем от действительного умения лиц, занимающихся ею. Если кто, путешествуя по незнакомой стране, истощит все свои силы, идя не по той дороге, то он не достигнет места, куда стремился, а быть может, и упадет от изнеможения на дороге в том продолжительном и трудном пути за истиной, который еще остается совершить человеческому уму и цель которого мы в нашем поколении можем видеть только издали, — успех будет, без сомнения, зависеть не от той быстроты, с какой люди будут устремляться по пути исследования, а скорее от того умения, с каким укажут им этот путь те великие и прозорливые мыслители, которые являются как бы законодателями и зиждителями знания, потому что они восполняют его недостатки не посредством исследования отдельных трудностей, а посредством какого-нибудь широкого, всеобъемлющего нововведения, открывающего нам новую нить мысли и содержащего новые средства, развитие и применение которых остаются на долю потомства.

С этой именно точки зрения мы и должны оценивать достоинства Биша, сочинения которого, подобно сочинениям всех

в высшей степени замечательных людей—подобно творениям Аристотеля, Бэкона и Декарта,—составляют эпоху в истории человеческого ума и потому могут быть верно оценены только в связи с социальными и умственными условиями того времени, в которое они появились. Это придает такую важность, такое значение сочинениям Биша, которое, конечно, немногие вполне понимают. Два величайших из новейших открытий по части классификации животных составляют, как мы уже видели, результат его учения. Но его влияние имело и другие, еще более важные последствия. Он с помощью Кабаниса оказал громадную услугу физиологии, поставив ее вне влияния той грустной реакции, которой подпала Франция в начале девятнадцатого столетия. Это слишком обширный предмет, чтобы рассматривать его в настоящее время; я могу только сказать, что, когда Наполеон не по внутреннему убеждению, а из эгоистических видов пытался восстановить могущество клерикальных начал, литераторы с постыдной угодливостью содействовали его видам; и тогда начался заметный упадок того духа независимости и нововведений, с каким в продолжение пятидесяти лет французы разрабатывали высшие отрасли знания. Отсюда возникла та метафизическая школа, которая хотя и утверждала, что держится вдали от теологии, но была в тесном союзе с ней и затейливые идеи которой по своему кратковременному блеску составляют разительную противоположность с теми строгими методами, которым следовали в предыдущем поколении<sup>51</sup>. Против этого движения французские физиологи вообще постоянно протестовали; и можно ясно доказать, что их оппозиция, над которой не могли восторжествовать даже великие дарования Кювье, должна быть отчасти приписана толчку, сообщенному учением Биша, настаивавшего в своей области исследования на необходимости отвергнуть те предрешения, которым метафизики и теологи стараются подчинить всякую науку. Для объяснения этого я могу привести два факта, достойных внимания. Первый—что в Англии, где в продолжение довольно долгого периода времени едва было ощутительно влияние Биша, многие даже из самых знаменитых физиологов проявляли заметную склонность присоединиться к реакционной партии и не только восставали против таких нововведений, которых они не могли прямо объяснить себе, но даже унижали свою благородную науку, делая из нее послушницу, покорную целям натуральной теологии. Другой факт состоит в том, что во Франции ученики Биша почти все без исключения отвергали изучение конечных причин, которого и до сих пор держится школа Кювье; естественным результатом этого является то, что последователи Биша приняли в геологии учение об однообразии, в зоологии—учение о превращении пород, а в астрономии—гипотезу туманных звезд,—обширные и величественные системы, под кровом которых человеческий ум старается укрыться от догмата вмешательства, повсюду теряющего свою силу с успехами знания и несовместимого с понятиями о предвечном

порядке, составлявшими предмет постоянных стремлений наших в продолжение двух последних веков.

Эти великие явления в истории французского ума, о которых я здесь представил только беглый очерк, будут изложены с должной подробностью в одной из последующих частей этого сочинения, где я буду рассматривать настоящее состояние европейского ума и попытаюсь определить, чего можно ожидать от него в будущем. Теперь же, чтобы дополнить сделанную нами оценку ученой деятельности Биша, необходимо обратить внимание на то из его произведений, которое некоторые считают самым ценным и в котором он стремился ни более, ни менее как к полнейшему обобщению жизненных отправлений. Хотя мне кажется, что во многих важных частях этого предприятия Биша не имел успеха, тем не менее творение его остается до сих пор единственным в своем роде и представляет собою такое разительное доказательство гениальности автора, что я намерен сделать краткий обзор лежащих в основании его взглядов.

Жизнь, рассматриваемая во всей целости, имеет две различные ветви, одна — свойственная животным, другая — растениям. Та, которая принадлежит одним животным, называется животной жизнью; жизнь же, общая и животным, и растениям, называется органической жизнью. Поэтому растения живут только одной жизнью, человек же имеет две отдельные жизни, которые управляются совершенно различными законами и, несмотря на тесную связь между собой, находятся в постоянном противодействии. Органической жизнью человек живет только для самого себя, а в животной жизни он приходит в столкновение с другими. Отправления первой — чисто внутренние, отправления же второй — внешние. Его органическая жизнь ограничивается двумя процессами: творения и разрушения; первый есть процесс ассимиляции — например, пищеварение, обращение крови и других соков и питание; второй есть процесс извержения — например, испарение и тому подобное. Это отправление обще человеку с растениями, и в естественном состоянии он не сознает его. Но отличительную черту его животной жизни составляет самосознание, ибо оно делает его способным двигаться, чувствовать, судить. В силу первой жизни он только прозябает, с присоединением же второй — он начинает жить, становится животным.

Если мы теперь посмотрим на органы, которыми выполняются в человеке отправления этих двух жизней, то мы будем поражены замечательным фактом, что органы растительной жизни весьма неправильны, а органы животной — весьма симметричны. Его растительная или органическая жизнь имеет проводниками своими желудок, внутренности и систему желез вообще, например печень, поджелудочную железу, которые все неправильны и допускают величайшее разнообразие форм и развития без серьезного нарушения их отправлений. Но в животной жизни органы так существенно симметричны, что самое слабое отступление от обыкновенного типа имеет уже вредное влияние на их

действие<sup>52</sup>. Не только мозг, но даже и органы чувств (глаза, нос, уши) совершенно симметричны; и они, так же как и другие органы животной жизни (ноги и руки), двойственны и, представляя с каждой стороны тела две отдельные части, соответствующие одна другой, образуют симметрию, неизвестную в нашей растительной жизни, органы которой большей частью одиночны, как, например, желудок, печень, поджелудочная железа и селезенка.

Из этого основного различия между органами двух жизней возникли и некоторые другие чрезвычайно любопытные различия. Так как наша животная жизнь двойственна, между тем как органическая одиночна, то в первой жизни возможен отдых, т. е. приостановление на время части ее отпавлений и возобновление их впоследствии. В жизни же органической остановка есть смерть. Жизнь, общая и нам, и растениям, никогда не находится в усыплении; и если движения ее совершенно прекратятся хоть на одну минуту, то они никогда уже не возобновятся. Тот процесс, посредством которого одни вещества принимаются нашим телом, а другие выделяются им, не допускает никакой остановки; он, по существу своему, непрерывен, потому что, будучи одиноким, он никогда не может быть пополнен, ни подкреплён. Другую жизнь мы можем обновить не только во сне, но и во время бодрствования. Так, например, мы можем упражнять органы движения, давая в то же время отдых органам мышления; можем даже облегчить какое-нибудь отправление, не переставая пользоваться им, потому что вследствие двойственности органов нашей животной жизни мы бываем в состоянии в случае утомления одной какой-нибудь части пользоваться некоторое время другой, соответствующей ей; мы можем, например, употреблять в дело только один глаз или одну руку, чтобы дать отдохнуть другому глазу или другой руке, пришедшим по каким-нибудь обстоятельствам в изнеможение; в жизни же органической такого средства не существует, так как она по природе своей одиночна.

Так как наша животная жизнь оказывается существенно перемежающейся, а органическая — существенно непрерывной, то из этого необходимо следует, что первая способна к такому улучшению, к которому вторая не способна. Не может быть улучшения без сравнения, ибо только по сравнении одного состояния с другим можно исправлять старые ошибки и предупреждать новые. Но наша органическая жизнь не допускает подобного сравнения; будучи непрерывной, она не раздробляется на различные состояния, а, напротив, если только ее не уязвляет болезнь, протекает в скучном однообразии. С другой стороны, отправления нашей животной жизни, такие, например, как мышление, слово, зрение и движение, не могут долго оставаться без отдыха, и так как они беспрестанно прерываются, то делается возможным сравнивать их, а следовательно, и улучшать. Только благодаря существованию этой возможности первые крики ребенка превращаются постепенно

в совершенную речь взрослого человека и первые нескладные мысли доходят до той зрелости, к которой может привести только длинный ряд последовательных усилий. Но органическая жизнь, общая и нам, и растениям, не допускает никакого перерыва, а следовательно, в ней невозможно и улучшение. Она повинуетя своим собственным законам и ничем не пользуется от того повторения, которому животная жизнь исключительно обязана своими усовершенствованиями. Ее отправления, такие, например, как питание и т. п., существуют в человеке еще за несколько месяцев до его рождения, когда его животная жизнь еще не началась и, следовательно, еще не может быть способности сравнения, лежащей в основании всякого улучшения. И хотя по мере увеличения объема человеческого тела его растительные органы также увеличиваются, но нельзя предположить, чтобы их отправления существенно улучшались: при обыкновенных условиях они выполняют свое назначение с одинаковым совершенством и одинаковой правильностью как в детстве, так и в зрелые годы.

Таким образом, хотя есть и другие причины, но можно сказать, что прогрессивность животной жизни зависит от ее перемежаемости, а непрогрессивность органической жизни — от ее непрерывности. Можно, кроме того, сказать, что перемежаемость первой происходит от симметрии в органах, между тем как непрерывность второй зависит от их неправильности. Против этого обширного и поразительного обобщения можно сделать много возражений, из которых некоторые, по-видимому, неопровержимы, но что в нем заключаются зародыши великих истин, в этом я не сомневаюсь; и, во всяком случае, то достоверно, что метод его выше всякой похвалы: в нем соединено изучение отправления и строение с изучением эмбриологии, растительной физиологии, теории сравнения и влияния привычки. Вот обширное, величественное поле, которое был в состоянии объять гений Биша, но на которое после него ни физиологи, ни метафизики не посмели бросить даже общий взгляд.

Это неподвижное состояние в течение настоящего столетия предмета, возбуждающего такой громадный интерес, служит решительным доказательством необыкновенного дарования Биша; ибо, несмотря на прибавления, сделанные к физиологии и ко всем связанным с ней отраслям естествознания, еще не было осуществлено ничего такого, что бы могло хоть сколько-нибудь сравниться с той теорией жизни, которую Биша был в состоянии построить с гораздо меньшими средствами. Конечно, этот громадный труд был оставлен им в весьма несовершенном виде; но даже в его несовершенствах мы видим печать великого мастера, к которому в его специальности никто еще не мог приблизиться. Его опыт о жизни может быть уподоблен тем обломкам произведений древнего искусства, которые, как бы они ни были несовершенны, все-таки носят на себе отпечаток вдохновения, даровавшего им жизнь, и являют в каждой отдельной части то единство представления, которое делает их для нас полным и живым целым.

Из предыдущего обзора успехов естествознания читатель может составить себе некоторое понятие о способности тех замечательных людей, которые явились во Франции в продолжение последней половины восемнадцатого столетия. Для полноты представленной нами картины остается только рассмотреть то, что было сделано в двух других отраслях естественной истории, а именно в ботанике и в минералогии, к возведению которых на степень науки первые великие попытки были сделаны французами за несколько лет до революции.

В ботанике, несмотря на быстрое увеличение в продолжение последних двухсот лет нашего знания относительно частных фактов<sup>53-54</sup>, мы имеем только два обобщения достаточно обширных, чтобы называться законами природы. Первое обобщение касается строения растений, второе — их физиологии. Обобщение, касающееся физиологии растений, заключается в прекрасном морфологическом законе, по которому различная наружность разных органов происходит от задержанного развития: тычинки, пестики, венчик, чашечка и подцветочки суть только простые видоизменения или переходные ступени листа. Этим одним из самых драгоценных открытий мы обязаны Германии; оно было сделано Гёте в конце восемнадцатого столетия. Важность этого открытия знает всякий ботаник; а для историка человеческого ума оно особенно интересно, как подтверждение того великого учения о развитии, к которому теперь стремятся высшие отрасли знания и которое в настоящем столетии было введено в один из самых трудных отделов физиологии животных<sup>55</sup>.

Но самая обширная истина, какая нам известна относительно растений, есть та, которая объемлет во всей целости их общее строение; и ее мы узнали от тех великих французов, которые в последней половине восемнадцатого столетия начали изучать внешний мир. Первые шаги были сделаны в самом начале второй половины столетия Адансоном, Дюгамелем де Монсо и преимущественно Дефонтемом, — тремя знаменитыми мыслителями, доказавшими практичность неслыханного до тех пор естественного метода, о котором даже сам Рей имел лишь темное понятие. Этот метод, ослабив влияние искусственной системы Линнея<sup>56</sup>, проложил путь к такому полному нововведению, какого не бывало еще в других отраслях знания. В самый год начала революции Жюсье вывел целый ряд ботанических обобщений, из которых наиболее важные тесно связаны между собой и остаются и до сих пор самыми высокими обобщениями, до каких доходила эта отрасль знания<sup>57</sup>. Из числа этих выводов мне достаточно будет упомянуть только о трех обширных положениях, которые теперь признаны за основание анатомии растений. Первое заключается в том, что растительное царство во всем своем объеме состоит из растений или с одной семянной долей, или с двумя семянными долями, или, наконец, вовсе без семянных долей. Второе положение состоит в том, что эта

классификация есть далеко не искусственная, а, напротив, строго естественная, так как по закону природы растения односемянодольные суть внутриростные (Endogeneae) и нарастают в центре ствола, а растения двусемянодольные суть внедростные (Exogeneae) и нарастают не в центре ствола, а при окружности его<sup>58</sup>. Третье положение — что когда растения нарастают в центре, то в них расположение плода и листьев бывает тройное, а когда они нарастают при окружности, то почти всегда пятерное.

Вот что было сделано французами восемнадцатого столетия для царства растительного<sup>59</sup>. Если мы теперь обратимся к царству ископаемому, то увидим, что и здесь заслуги их не менее велики. Изучение минералов есть самая несовершенная из трех отраслей естественной истории, потому что, несмотря на кажущуюся простоту этого изучения и бесчисленное множество сделанных опытов, в нем еще не открыт истинный метод исследования; еще подвержено сомнению, должна ли минералогия подчиняться законам химии или законам кристаллографии, или же должны быть принимаемы в соображение оба рода законов вместе. Во всяком случае то достоверно, что до настоящего времени химия оказывалась несостоятельной в подчинении себе минералогических явлений и что ни один химик, обладающий достаточной способностью к обобщениям, не брался еще за это дело, исключая Берцелиуса; но большая часть выводов этого последнего была опровергнута дивным открытием изоморфизма, которым, как всем известно, мы обязаны Мичерлиху, одному из множества великих мыслителей, которых произвела Германия.

Хотя химический отдел минералогии еще находится в необработанном состоянии, можно сказать в состоянии анархии, зато в другом ее отделе, именно в кристаллографии, заметны большие успехи; и здесь опять самые первые шаги были сделаны двумя французами, жившими в последней половине восемнадцатого столетия. Около 1760 г. Ромэ де Лиль подал первый пример изучения кристаллов по такому обширному плану, в который входили бы всевозможные первоначальные формы их и в котором заключалось бы объяснение их неправильностей и кажущейся произвольности их строения. В этом исследовании он руководился сделанным вперед основным предположением, что так называемая неправильность оказывается на самом деле совершенной правильностью и что действия природы неизменны. Лишь только эта великая мысль была применена к почти бесчисленным формам, в которые кристаллизуются минералы, как принялся разрабатывать ее с еще большими средствами Таюй (Науу), другой знаменитый французский ученый. Этот замечательный человек осуществил полное соединение минералогии с геометрией; применяя законы пространства к частичному строению материи, он нашел возможность проникнуть во внутреннее устройство кристаллов.

Этим путем ему удалось доказать, что вторичные формы всех кристаллов произошли от их первичных форм посредством



правильного процесса убавления и что когда какое-нибудь вещество переходит из жидкого состояния в твердое, то его частицы вынуждены соединяться в такой системе, которая предполагает всевозможные изменения, так как в нее входят даже те последующие слои, которые изменяют обыкновенный тип кристалла, расстраивая его естественную симметрию. Привести в известность, что подобные нарушения симметрии могут подлежать математическому вычислению, значило уже сделать огромное прибавление к нашему знанию; но еще важнее, мне кажется, замечаемое в этом случае приближение к той дивной мысли, что все, что бы ни случилось, управляется законом и что неустойчиво и беспорядок невозможны. Доказав, что даже самые причудливые и странные формы минералов составляют естественные результаты их предшествовавших состояний, Гаюй положил основание тому, что может быть названо патологией неорганического мира. Как бы ни казалось парадоксальным подобное понятие, но то достоверно, что симметрия для кристаллов — то же самое, что здоровье для животных; так что неправильность формы в первых соответствует появлению болезни у вторых<sup>60</sup>. Поэтому, когда умы людей хорошо ознакомились с великой истиной, что в ископаемом царстве нет, собственно говоря, ничего неправильного, им стало легче усвоить себе и еще более возвышенную истину: что тот же самый принцип имеет силу и для царства животных, хотя вследствие большей сложности происходящих в нем явлений еще много пройдет времени, пока мы приищем равносильное доказательство этому. Но что подобное доказательство возможно — это такой принцип, от которого зависят будущие успехи всякого знания как органического, так и духовного мира. И весьма замечательно, что то же самое поколение, которое доказало факт, что кажущиеся отклонения от правильности минералов строго правильны, сделало также первый шаг и к приведению в известность факта гораздо высшего разряда, а именно, что аберрации человеческого ума подчиняются законам не менее непреложным, как и те, которыми определяется состояние неподвижной материи. Подробное исследование этого повело бы к отступлению, чуждому моей настоящей цели; я могу только упомянуть, что в конце XVIII столетия во Франции был написан Пинелем знаменитый трактат о сумасшествии, сочинение, замечательное во многих отношениях, но преимущественно в том, что в нем все старые понятия относительно таинственного, непроницаемого характера умственных болезней совершенно устранены<sup>61</sup>, самые болезни рассматриваются в нем как явления, неизбежные при известных данных условиях, и таким образом положено основание новому звену в длинной цепи доводов, которая, связывая вещественное с невещественным, соединяет материю и дух в один предмет изучения, чем пролагается путь к некоторым выводам, общим для их обоих и могущим, следовательно, служить центром, вокруг которого могут смело группироваться разбросанные клочки нашего знания.

Вот какие воззрения стали проглядывать в последней половине восемнадцатого столетия у французских мыслителей. С каким необыкновенным талантом и как успешно разрабатывали эти замечательные люди каждый свою науку, об этом я распространился уже более, чем был намерен, но все-таки далеко не сказал всего, чего требует важность этого предмета. Но и сказанного достаточно для того, чтобы читатель убедился в истине доказываемого мною положения, а именно, что французский ум в продолжение последней половины восемнадцатого столетия устремился с беспримерным рвением на предметы внешнего мира и тем способствовал тому обширному движению, лишь одним из последствий которого была сама революция. Тесная связь между научным прогрессом и социальным восстанием очевидна из того факта, что оба были вызваны одним и тем же стремлением к улучшению, одним и тем же недовольством старыми порядками, одним и тем же неугомонным, пытливым, непокорным и дерзким духом. Но во Франции эта общая аналогия была еще сильнее благодаря упомянутым мною выше обстоятельствам, в силу которых деятельность страны в продолжение первой половины столетия была обращена скорее против церкви, чем против государства, так что для окончательного приготовления революции необходимо было, чтобы в последней половине столетия враждебные действия перенеслись на другую почву. Это и произошло действительно вследствие удивительного толчка, сообщенного каждой отрасли естествознания. Когда, таким образом, внимание людей было постоянно устремлено на внешний мир, то внутренний впал в пренебрежение; и так как все внешнее соответствовало государству, а внутреннее — церкви, то было совершенно согласно с этим умственным движением, чтобы враги существующего порядка вещей обратили против политических злоупотреблений ту же энергию, которую предшествовавшее поколение обращало против злоупотреблений религиозных.

Таким образом, Французской революции, как и всякой другой обширной революции, виденной до сих пор на свете, предшествовала перемена в привычках и понятиях национального ума. Но независимо от этого именно в то самое время происходило обширное социальное движение, которое было тесно связано с умственным и составляло даже часть его в том отношении, что сопровождалось одинаковыми последствиями и было вызвано одинаковыми причинами. Характер этой социальной революции я здесь рассмотрю только вкратце, так как в следующем томе мне еще придется изложить во всей подробности ее историю, объясняя менее важные, но все-таки замечательные перемены, происшедшие в тот же самый период в английском обществе.

Во Франции перед революцией народ, хотя всегда очень общительный, выказывал также и большую исключительность. Высшие классы, прикрываясь воображаемым превосходством, с презрением смотрели на тех, которые не были равны им по рождению и титулу. Класс, стоявший непосредственно под ними,

следовал их примеру и в свою очередь служил примером для других, так что каждое сословие старалось приискать какое-нибудь воображаемое отличие, которое ограждало бы его от осквернения стоять наряду с низшими. Единственные три истинные источника превосходства — превосходство нравственное, превосходство ума и превосходство знания — были совершенно упущены из виду в этой нелепой системе; и люди приобрели привычку гордиться не какими-нибудь существенными отличиями, но теми ничтожными вещами, которые, за весьма немногими исключениями, бывают делом случая и потому никак не могут служить мерилом достоинства.

Первый решительный удар нанесен был этому порядку вещей тем беспримерным рвением, с каким стали разрабатывать естественные науки. Делались обширные открытия, которые не только подстрекали умы мыслящих людей, но и возбуждали любопытство более легкомысленных классов общества. На лекциях химиков, геологов, минералогов и физиологов бывали и те, которые приходили подивиться, и те, которые искали серьезного знания. В Париже ученые собрания бывали переполнены посетителями. Залы и амфитеатры, в которых излагались великие истины природы, уже не могли более вмещать всех слушателей, и в некоторых случаях оказывалось необходимым увеличить их вместимость. Заседания Академии, вместо того чтобы ограничиваться немногими исключительно учеными, были посещаемы всяким, кто по своему званию или влиянию мог достать себе место<sup>62</sup>. Даже женщины модного света, забывая о своих легкомысленных забавах, спешили послушать рассуждения о составе какого-нибудь минерала, об открытии какой-нибудь новой соли, о строении растений, об организации животных, о свойствах электрической жидкости. Всеми классами общества, по-видимому, внезапно овладела жажда знания. Самые обширные и самые трудные исследования были благосклонно приняты теми, чьи отцы едва ли слышали даже названия наук, к которым относились эти исследования. Блестящее воображение Бюффона вдруг довело популярность геологии; то же самое сделало для химии красноречие Фуркруа, а для электричества — красноречие Нолле, между тем как удивительные чтения Лаланда заставили всех заниматься даже астрономией. Одним словом, достаточно сказать, что в продолжение тридцати лет, предшествовавших революции, распространение знания естественных наук было так быстро, что из-за них пренебрегали изучением классической древности; они считались существенным основанием хорошего воспитания, и некоторое знакомство с ними признавалось необходимым для людей всех сословий, исключая тех, которые вынуждены были существовать подневной работой.

Результаты этой замечательной перемены чрезвычайно любопытны и по быстроте и силе, с какой они обнаружили, имеют весьма решительное значение. Пока различные классы общества ограничивались занятиями, свойственными одной их сфере, это

поощряло их к сохранению своих особых обычаев, и подчиненность или как бы иерархия общества легко поддерживалась. Но когда члены различных сословий стали встречаться в одном и том же месте и для одной и той же цели, то их стала связывать новая симпатия. Самое высшее и самое простое из всех наслаждений — наслаждение, доставляемое познанием новых истин, сделалось теперь великим звеном, связавшим те социальные элементы, которые прежде держались замкнутыми в своем гордом уединении. Кроме того, они получили не только новое занятие, но и новое мерило достоинства. В амфитеатре и аудитории первое, что привлекает внимание, — это профессор или лектор. Различие оказывается только между теми, кто учит, и теми, кто учится. Субординация по чинам уступает место субординации по знаниям<sup>63</sup>. Мелочные, условные различия великосветской жизни сменяются теми широкими, неподдельными различиями, которые одни действительно отделяют одного человека от другого. С успехами умственного развития является новый предмет почтения; старое поклонение званию резко прекращается, и его суеверные приверженцы научаются преклонять колена перед алтарем чуждого для них бога. Место, где проповедует наука, есть храм демократии. Те, которые приходят учиться, сознают свое невежество, отрекаются в некоторой степени от своего превосходства и начинают понимать, что величие людей не имеет никакой связи ни с их блестящими титулами, ни с знатностью их происхождения; что оно не имеет никакого отношения ни к делениям щитов в их гербах, ни к самым щитам, ни к их родословным, ни к правым, ни к левым сторонам верхнего поля щита, ни к шеврону, ни к диагональному сечению щита, ни к голубым, ни к красным полям, ни к другим каким-либо глупостям их геральдики, но что оно зависит от величия их души, от силы их ума и полноты их знания.

Таковы взгляды, влиянию которых во второй половине восемнадцатого столетия стали подчиняться классы, долгое время, бесспорно, управлявшие всем обществом<sup>64</sup>. И доказательством силы этого великого движения служит то, что оно сопровождалось и другими социальными переменами, которые хотя сами по себе кажутся ничтожными, но делаются полны значения, если их рассматривать в связи со всей историей того времени.

В то время как громадные успехи естествознания производили переворот в обществе, внушая различным классам его стремление к одной общей цели и устанавливая, таким образом, новое мерило достоинства, — можно было заметить и другое, менее возвышенное, но одинаково демократическое направление даже в условных формах общественной жизни. Описание всех этих перемен заняло бы слишком много места сравнительно с другими частями этого введения; но достоверно, что, пока эти перемены не будут тщательно исследованы, до тех пор никто не будет в состоянии написать историю Французской революции. Для пояснения моей мысли я опишу здесь в виде примера два из

таких нововведений, которые весьма заметны и притом особенно интересны по своей аналогии с тем, что случилось в английском обществе.

Первым из этих нововведений было изменение в одежде и заметное пренебрежение к тем внешностям, которыми прежде дорожили как самыми важными из условий. В продолжение царствования Людовика XIV и даже в первой половине царствования Людовика XV не только люди легкомысленные, но даже люди замечательные по своей учености выказывали в своем наряде такую щегольскую точность, такое изящество и изысканность выбора, такое изобилие золота, серебра и кружев, каких в наше время нельзя нигде увидеть, разве только при дворах европейских государей, где еще сохраняется известный поразительный блеск. Это доходило до того, что в семнадцатом столетии звание лица можно было тотчас же узнать по его наружному виду, так как не допускалось и мысли, чтобы кто-нибудь дерзнул надеть одежду, носимую классом, стоящим непосредственно выше его. Но во время демократического движения, предшествовавшего Французской революции, умы людей слишком ревностно, слишком усиленно занялись более возвышенными предметами, чтобы заботиться о тех бесполезных выдумках, которые поглощали внимание их отцов. Презрительное пренебрежение к подобным отличиям сделалось всеобщим. В Париже нововведение это было заметно даже в тех веселых собраниях, где украшение себя до известной степени считается и до сих пор делом естественным. По замечанию современных наблюдателей, одежда, которую обыкновенно надевали на обеды, ужины и балы, до такой степени упростилась, что даже можно было смешать звания, и, наконец, всякие этого рода отличия были вовсе оставлены как мужчинами, так и женщинами: мужчины стали являться на подобные собрания в обыкновенных фраках, а женщины—в обыкновенных утренних платьях<sup>65</sup>. И это доходило даже до такой степени, что, как уверяет нас принц де Монбаре, бывший тогда в Париже, незадолго до революции даже люди, имевшие звезды и ордена, старались скрывать их, застегивая свои фраки так, чтобы нельзя было видеть этих знаков отличия<sup>66</sup>.

Другое нововведение, на которое я намекал, составляет также интересную характеристику духа того времени. Оно заключается в том, что стремление к слиянию различных сословий общества<sup>67</sup> выказалось в учреждении клубов,—замечательном учреждении, которое для нас кажется вещь совершенно естественной, потому что мы привыкли к клубам, но о котором можно смело сказать, что до восемнадцатого столетия оно было невозможно. До этого времени каждый класс смотрел с такой ревностью на свое превосходство над другими, стоящими ниже его, что бывать с ними в одном месте, на равных правах считалось несбыточным делом, и хотя известная покровительственная короткость в обращении с низшими и могла быть допущена, но в ней выражалось только признание того громадного

промежутка, отделяющего высшее лицо от низшего, при котором первое не опасалось уже употребления во зло его снисходительности. В те блаженные старые годы оказывалось должное уважение званию и рождению; и тот, кто мог насчитать до двадцати предков, пользовался таким уважением, которое мы в наш выродившийся век с трудом можем даже представить себе. Что же касается чего-либо вроде социального равенства, то такая мысль была слишком уж нелепа, чтобы могли усвоить ее; не более было возможно и существование учреждения, которое ставило бы самых обыкновенных смертных наряду с теми знаменитыми личностями, в жилах которых текла чистейшая кровь и с которыми никто не мог состязаться в делениях гербовых щитов.

Но в восемнадцатом столетии успехи знания сделались до такой степени замечательны, что новый принцип умственного превосходства стал быстро усиливаться за счет старого принципа превосходства аристократического. Как скоро этот перевес дошел до известной степени, он вызвал и соответственное учреждение; и таким образом основались первые клубы, в которых могли собираться все образованные классы, невзирая на различия в других отношениях, разъединявшие их в течение предшествовавшего периода. Особенно замечательно в этом случае то, что единственно ради общественного увеселения люди, которые по аристократическим понятиям не имели между собой ничего общего, теперь вошли в сношения и стали на ногу совершенного равенства, как члены одного и того же учреждения, подчиняющиеся одним и тем же законам и пользующиеся одними и теми же преимуществами. Требовалось, однако, чтобы, несмотря на различие во многих других отношениях, все члены были до известной степени образованны; и, таким образом, общество впервые явно признало классификацию, до того времени неслыханную: вместо разграничения благородных от неблагородных явилось разграничение образованных от необразованных.

Возникновение и развитие клубов составляет, следовательно, для наблюдателя-философа предмет огромной важности; и это одно из тех явлений, которые, как я докажу, играли большую роль в истории Англии в течение последней половины восемнадцатого столетия. По отношению к нашему настоящему предмету особенно замечательно то, что первые клубы в новейшем значении этого слова, какие существовали в Париже, были основаны около 1782 г., почти за семь лет до Французской революции. Сначала это должны были быть просто общественные собрания; но в скором времени они получили демократический характер, сообразный с духом того времени. Первым результатом их, как замечает один тонкий наблюдатель событий того времени, было упрощение манер высших классов и ослабление привязанности к формальностям и церемониям, составлявшей отличительную черту их прежних нравов. Клубы привели также к замечательному разъединению полов; и известно, что после их учреждения женщины более сходились между собой и чаще бывали встреча-

емы в публике без мужчин<sup>68</sup>. Это имело последствием развитие между мужчинами республиканской грубости, которая влиянием другого пола могла бы быть несколько смягчена. Все эти обстоятельства, изгладив черты различия между сословиями и слив все классы в один, придали их совокупной оппозиции непреодолимую силу, которая быстро ниспровергла и церковь, и правительство. Нельзя, конечно, определить в точности время, когда клубы получили политический характер, но, как кажется, перемена произошла около 1785 г. С этого времени все было кончено; и хотя правительство в 1787 г. отдало повеление закрыть главный клуб, в котором все классы обсуждали политические вопросы, остановить поток было невозможно. Поэтому повеление было отменено, клуб снова собрался, и затем уже не возобновлялись более попытки остановить тот ход дел, который был приготовлен целым рядом предшествовавших событий.

В то время как все уже клонилось к ниспровержению старых учреждений, подоспело внезапно событие, произведшее замечательное действие на Францию и составляющее само по себе резкую характеристику духа восемнадцатого столетия. По ту сторону Атлантического океана великий народ, выведенный из терпения невыносимой несправедливостью английского правительства, восстал с оружием в руках против своих притеснителей и после отчаянной и славной борьбы завоевал себе независимость. В 1776 г. американцы показали Европе ту благородную Декларацию, которой следовало бы висеть в детской каждого короля и красоваться над портиком каждого королевского дворца. Они провозгласили в выражениях, память о которых никогда не умрет, что цель учреждения правительства заключается в обеспечении прав народа.

Если бы эта Декларация была сделана хоть одним поколением ранее, то вся Франция, за исключением немногих передовых мыслителей, отвернулась бы от нее с ужасом и презрением. Но теперь настроение общественного мнения было таково, что содержащиеся в ней теории не только были благосклонно приняты большинством французской нации, но даже само правительство было не в силах противостоять общему чувству. В 1776 г. Франклин прибыл во Францию в качестве посланника от американского народа. Он встретил самый горячий прием со стороны всех классов и успел склонить правительство к подписанию договора, которым оно обязалось защищать права юной республики, приобретенные таким славным путем. В Париже энтузиазм был непомерный. Со всех сторон стекались целые толпы людей, вызывавшихся отправиться за океан сражаться за свободу Америки. Геройская помощь, оказанная этими вспомогательными войсками благородной борьбе американцев, составляет отрадную страницу в истории того времени; но подробности этой борьбы не входят в план настоящего введения, в котором я намерен только указать влияние ее на ускорение Французской революции. Влияние это действительно достойно внимания. Независимо

от косвенного действия такого примера успешного восстания, еще большим возбуждением послужило для французов сближение на самом деле со своими новыми союзниками. Французские офицеры и солдаты, служившие в Америке, возвратились на родину с теми демократическими понятиями, которых они набрались в юной республике. Это сообщило новую силу уже и без того преобладавшим революционным стремлениям, и замечательно, что из этого же источника происходило и одно из славнейших дел Лафайета. Он обнажил свой меч за американцев, а они в свою очередь ознакомили его с тем славным учением о правах человека, которое, по его внушению, было формально принято Национальным собранием. Можно даже сказать, что последний удар, какой получило французское правительство, нанесен был рукой американца; ибо говорят, что именно по совету Джефферсона народная партия Законодательного корпуса провозгласила себя Национальным собранием и тем стала в явную оппозицию короне.

Я пришел теперь к концу моего исследования причин Французской революции; но прежде чем заключить этот том, я полагаю нелишним ввиду разнообразия рассмотренных нами явлений сделать перечень их главнейших сторон и изложить, по возможности короче, весь постепенный ход того длинного и сложного умозаключения, путем которого я пытался доказать, что Французская революция была событием, вытекавшим неизбежно из предшествовавших обстоятельств. Подобный пересмотр, возобновив в памяти читателя всю сущность дела, устранит всякую сбивчивость, могущую произойти вследствие множества подробностей, и упростит исследование, которое для многих может показаться без нужды растянутым, но которое невозможно сократить, не ослабив некоторых существенных частей основания, поддерживающего проводимые мною общие начала.

Рассматривая состояние Франции непосредственно после смерти Людовика XIV, мы видели, что его политика, приведшая страну на край гибели и уничтожившая всякий след свободного исследования, вызвала необходимость реакции, но что материалы для реакции нельзя было найти в народе, который в продолжение пятидесяти лет подвергался действию расслабляющей системы управления. Такой недостаток домашних средств заставил самых знаменитых французов обратить внимание на чужие края, и это было причиной внезапного увлечения английской литературой и тем складом мыслей, которым отличалась в то время английская нация. Таким образом в расслабленный организм французского общества вдохнули новую жизнь,—отчего зародился ревностный, пытливый дух,—такой, какого не замечали со времен Декарта. Высшие классы, оскорбленные этим неожиданным движением, старались подавить его и делали страшные усилия, чтобы уничтожить любовь к исследованию, которая с каждым днем все более и более распространялась. Для достижения своей цели они преследовали литераторов с таким ожесточением,



что французскому уму, очевидно, оставалось только одно из двух: или снова власть в прежнее рабство, или смело перейти в наступление. В интересах цивилизации случилось последнее: в 1750 г. или около того времени началась смертельная борьба, в которой начала свободы, позаимствованные Францией от Англии и прежде считавшиеся применимыми только к церкви, были впервые применены к государству. Одновременно с этим движением явились и другие обстоятельства, имевшие одинаковый с ним характер и составлявшие даже часть его. Так, политэкономам удалось доказать, что вмешательство правительствующих классов делало большой вред даже материальным интересам страны и что своими покровительственными мерами классы эти только портили то, чему они оказывали будто бы покровительство. Это замечательное открытие, благоприятное для всеобщей свободы, вложило новое оружие в руки демократической партии, которая нашла еще большую поддержку в неподражаемом красноречии, с каким нападал Руссо на существующий порядок вещей. Совершенно то же стремление выразилось и в необыкновенном толчке, сообщенном всем отраслям естественных наук, успехи которых, освоив людей с идеями прогресса, поставили их во враждебное отношение к неподвижным, консервативным идеям, свойственным правительству. Открытия, делаемые в области внешнего мира, поддерживали умы в тревожном, возбужденном состоянии, враждебном духу рутины и, следовательно, полном опасности для тех учреждений, в пользу которых говорила одна их древность. Это рвение к изучению естественных наук произвело также перемену в воспитании; стали пренебрегать изучением древних языков, и, следовательно, убавилось еще одно звено, связывавшее настоящее с прошедшим. Церковь, естественная покровительница старых мнений, была не в состоянии противодействовать страсти к новизне: ее ослабляла измена в ее собственном лагере. Около этого времени кальвинизм до такой степени распространился среди французского духовенства, что оно разделилось на две враждебные партии, и не было никакой возможности, чтобы они соединились против своего общего врага. Распространение этой ереси было также важно и в том отношении, что кальвинизм, как учение совершенно демократическое, способствовал проявлению революционного духа даже в духовном сословии, так что несогласия внутри самой церкви сопровождались другими несогласиями — между церковью и правительством. Вот в чем заключались главные признаки того движения, крайним выражением которого была Французская революция. Во всем этом было видно такое анархическое состояние, такое крайнее расстройство всего общества, которое делало несомненной близость какой-нибудь сильной катастрофы. Наконец, когда все было готово для взрыва, известие об американском восстании упало искрой на эту удобовоспламеняющуюся массу и зажгло пламя, опустошительное действие которого не прекращалось до тех пор, пока не уничтожило все, что было когда-либо дорого

французам, оставив на поучение человечеству страшный пример тех преступлений, до которых может быть доведен великодушный и долготерпеливый народ постоянными притеснениями.

Вот беглый очерк того взгляда на причины Французской революции, который я вынес из моих занятий этим предметом. Чтобы я привел в известность все до одной причины, этого я нисколько не предполагаю, но, мне кажется, всякий найдет, что я не пропустил ни одной важной причины. Правда, конечно, что в материалах, из которых сложены мои доводы, может оказаться много недостатков и что более долгий труд был бы увенчан большим успехом. Все эти неполноты я сам глубоко чувствую и могу только пожалеть, что необходимость перейти на еще более обширное поле вынудила меня оставить столь многое на долю будущих исследователей. В то же самое время не должно забывать, что это первая сделанная когда-либо попытка изучать обстоятельства, предшествовавшие Французской революции, по такому обширному плану, который обнимал бы и все явления умственной жизни нации. Вопреки здоровой философии и, можно сказать, вопреки простому здравому смыслу, историки упорно продолжают пренебрегать теми великими отраслями естествознания, по которым в каждой цивилизованной стране можно яснее всего судить о деятельности человеческого ума и, следовательно, легче всего узнавать склад мыслей каждого народа. В результате оказывается, что Французская революция, бесспорно самое важное, самое сложное и самое поучительное событие во всей истории, оставлена была на произвол писателей, из которых многие проявили значительный талант, но все оказались не получившими того предварительного научного образования, без которого невозможно понять дух какого-нибудь периода или окинуть широким взглядом его различные части. Приведем только один пример. Мы видели, что необыкновенный толчок, сообщенный изучению внешнего мира, имел тесную связь с тем демократическим движением, которое ниспровергло учреждения Франции. Но эту связь историки не в состоянии были проследить, потому что им не были известны успехи различных отраслей естественной философии и естественной истории. Вот почему они представили свой важный предмет в каком-то искаженном, обезображенном виде, лишенном тех размеров, которые он должен был бы иметь. Следуя такому плану, историк нисходит до значения летописца; так что вместо того, чтобы разрешать задачу, он только рисует картину. Итак, не умоляя заслуг трех трудолюбивых людей, которые собрали материалы для истории Французской революции, мы можем с достоверностью сказать, что самая история еще не была писана; ибо люди, принимавшиеся за это дело, не располагали такими средствами, которые дали бы им возможность видеть в этом событии не более как одну из частей того гораздо обширнейшего движения, которое было заметно повсюду — в науке, в философии, в религии, в политике.

Сделал ли я или нет что-нибудь действительно важное для исправления такого недостатка, составляет вопрос, подлежащий разрешению сведущих судей. Я уверен по крайней мере в одном, что, какие бы ни были замечены несовершенства в моем труде, причина их заключается не в принятом мною методе, а в чрезвычайной трудности для одного человека выполнить в совершенстве все части такого обширного плана. С этой стороны, и только с этой одной, я нуждаюсь в большом снисхождении; за самый же план я нисколько не опасаясь; я глубоко убежден, что уже очень недалеко то время, когда история человека займет свойственное ей место, когда изучение ее будет признано самым благородным и самым трудным из всех занятий и когда все ясно увидят, что для успешной разработки этого предмета необходимо обладать обширным, многосторонним умом, щедро снабженным сведениями по всем высшим отраслям человеческого знания. Когда все вполне сознают это, то историю будут писать только те, которым по силам подобная задача, и она будет исторгнута из рук биографов, генеалогов, собирателей анекдотов, летописцев дворов, государей и вельмож,— из рук этих пустых болтунов, которые, засев на всех перекрестках, делают небезопасной эту общественную дорогу нашей национальной литературы. Что такие компиляторы выходят так далеко из свойственной им сферы и думают, что таким образом они могут пролить новый свет на дела человеческие, это одно из доказательств того, в каком отсталом состоянии находится до сих пор наше знание и как неясно еще обозначены его пределы. Если я сколько-нибудь способствовал поколебанию доверия к подобным притязаниям и если я заставил историков проникнуться сознанием достоинства их признания, то я этим оказал уже кое-какую услугу и буду очень доволен, хотя бы и сказали, что во многих случаях мне не удалось выполнить то, что было первоначально предположено мною. И действительно, что в этом томе найдется несколько случаев таких неудач, я охотно соглашаюсь с этим и могу только привести в свое оправдание громадность самого предмета, недостаточность для изучения его жизни одного человека и несовершенство вообще всякого одиночного труда. Вот почему я хочу, чтобы судили о моем сочинении не по большей или меньшей оконченности отдельных частей его, а по тому пути, который я избрал для слияния этих частей в одно полное, стройное целое. На это — по самой уже новости и обширности предпринятого мною дела — я имею некоторое право. Но я хочу еще прибавить, что если читатель встретил у меня мнения, несогласные с его мнениями, то он должен помнить, что, быть может, и я когда-нибудь имел также его взгляды, но оставил их, когда убедился путем более обширного изучения, что такие воззрения не подтверждаются основательными доводами, противны интересам человечества и гибельны для успехов его знания. Подвергать критике понятия, в которых мы были воспитаны, и отлагать в сторону те из

них, которые не выдерживают этой критики, есть такое грустное дело, что тому, кто избегает этого страдания, следует подумать прежде, чем осуждать того, кто подвергся ему. Высказанные мною взгляды могут, без сомнения, быть ошибочны, но они составляют во всяком случае результат честного искания истины, добросовестного труда, терпеливого, внимательного размышления. Выводы, к которым приходят таким путем, не ниспровергаются одним утверждением, что они опасны для каких-нибудь других выводов; их не могут даже поколебать доводы против их предполагаемого направления. Защищаемые мною принципы основаны на ясных доказательствах и подкреплены вполне исследованными фактами. Поэтому остается только решить, хороши ли доказательства и достоверны ли факты. Если оба эти условия выполнены, то этим неизбежно подтверждаются и самые принципы. Доказательства, приведенные в настоящем томе, по необходимости неполны, и читатель должен отложить свое окончательное суждение до конца этого введения, когда предмет будет представлен ему со всех сторон. Остальная часть введения будет содержать, как я уже упоминал, исследование цивилизаций Германии, Америки, Шотландии и Испании, из которых каждая представляет особый тип умственного развития и потому шла особым путем в своей религиозной, научной, социальной и политической истории. Причины этих различий я постараюсь привести в известность. Затем мы обобщим самые эти причины и, подведя их под известные общие всем им начала, получим, таким образом, то, что можно назвать основными законами европейской мысли, так как несходство между различными странами зависит или от направления, принимаемого этими законами, или от сравнительной силы их действия. Открыть эти основные законы будет задачей введения; в главной же части сочинения я буду прилагать эти законы к истории Англии и попытаюсь с помощью их выработать те эпохи, через которые мы последовательно проходили, определить основания нынешней цивилизации нашей и указать, какой путь ей предстоит в будущем.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА — 5

### ГЛАВА I

**Обзор вспомогательных средств для изучения истории. Доказательства правильности человеческих действий. Действия эти управляются духовными и физическими законами, отчего необходимо изучение и тех, и других, и не может быть истории без естественных наук — 21**

Материалы для истории.— Ограниченность познаний, замечаемая в обыкновенных историях.— Цель настоящего сочинения.— Деяния человеческие, если они не определяются неизменными законами, должны зависеть от слепого случая или от сверхъестественного вмешательства.— Вероятное происхождение идей свободы воли и предопределения.— Теологическое основание предопределения и метафизическое основание свободы воли.— Деяния человеческие зависят от побудительных к ним причин, заключающихся или внутри человеческого духа, или во внешнем мире.— Извлечения из Канта о свободе воли и необходимости.— Итак, предмет истории — действие природы на человека и человека на природу.— Статистика доказывает правильность человеческих действий относительно убийства и других преступлений.— Подобные же доказательства относительно самоубийств.— То же относительно числа ежегодно заключаемых браков.— То же относительно числа писем без обозначения адреса.— Задача историка — привести в известность, что более всего имело влияния на деяния человеческие: природа или дух человека? Поэтому не может быть истории без естествознания.

### ГЛАВА II

**Влияние физических законов на организацию общества и характер отдельных лиц — 40**

На человека влияют четыре рода физических деятелей, а именно: климат, пища, почва и общий вид природы.— Влияние этих деятелей на накопление богатства.— Влияние их на распределение богатства.— Пояснение этих общих начал примером Ирландии, Индостана, Египта, Центральной Америки, Мексики и Перу.— Действие физических законов в Бразилии.— Влияние общего вида природы на воображение и разум.— При одной обстановке природа берет верх над человеком, при другой — человек над природой.— В первом случае более усиливается деятельность воображения, чем рассудка; в таких условиях находились древнейшие цивилизации.— Воображение возбуждается землетрясениями и извержениями вулканов и вообще опасностями, а также нездоровым климатом, делающим жизнь ненадежной.— По этим причинам внеевропейские цивилизации находятся главнейшим образом под влиянием воображения, а европейские — под влиянием рассудка.— Пояснение этого положения сравнением между Индостаном и Грецией.— Дальнейшее пояснение примером Центральной Америки.— Химическая и физиологическая заметка о связи между пищей и животной теплотой.

### ГЛАВА III

**Разбор метода, употребляемого метафизиками, для открытия законов ума — 87**

В последней главе были установлены два главных факта, значительно отличающие Европу от других стран света.— Оказывается, что из двух разрядов законов, физических и умственных, большее значение для истории Европы имеют законы умственные.— Разбор двух метафизических методов, употребляемых для вывода законов ума.— Безуспешность обоих методов.

## ГЛАВА IV

**Законы духа человеческого разделяются на нравственные и умственные. Сравнение законов нравственных с умственными и исследование действия, производимого теми и другими на развитие общества — 95**

Исторический метод изучения законов ума лучше метафизического.—Прогресс общества бывает двоякий: нравственный и умственный.—Сравнение нравственного элемента с умственным.—Нет никакого доказательства тому, что врожденные способности человека улучшаются.—Поэтому прогресс зависит от улучшения той обстановки, при которой способности начинают действовать.—Форма человеческих деяний была различна в разные времена, следовательно, и причины этих деяний подвержены изменению.—Но нравственные истины не изменились.—Умственные же истины постоянно изменяются.—Умственные истины — причины прогресса.—Невежественные люди, чем искреннее, тем более делают зла.—Пояснение этого примерами из истории Рима и Испании.—Уменьшение религиозных преследований зависит от успехов знания.—От той же причины происходит и ослабление воинственного духа.—Пример России и Турции.—По мере развития цивилизации люди способные начинают избегать военной службы.—Пояснения этого примерами из истории Греции и новейшей Европы.—Три главнейшие пути, которыми действовали успехи знания на ослабление воинственного духа, суть: 1. Изобретение огнестрельного пороха.—2. Открытия, сделанные политэкономами.—3. Применение пара к средствам сообщения.—Какие из этого можно сделать выводы относительно причин прогресса общества.

## ГЛАВА V

**О влиянии религии, литературы и правительства — 125**

Перечисление предшествовавших выводов.—Нравственные чувства имеют влияние на отдельные личности, но не действуют на целое общество в совокупности.—Это до сих пор было мало сознаваемо, и потому историки не собрали должных материалов для истории.—Причины, по которым настоящее сочинение ограничивается одной Англией.—Сравнение истории Англии с историей Франции, Германии, Соединенных Штатов.—Необходимость приведения в известность основных законов умственного прогресса.—В этом отношении большую пользу может принести изучение истории Германии, Америки, Франции, Испании и Шотландии.—Дедуктивный дух в Шотландии.—Влияние религии на прогресс общества.—Пример миссионеров.—Пример из истории евреев.—Пример из ранней истории христианства.—Пример из истории Швеции и Шотландии.—Влияние литературы на прогресс общества.—Влияние правительства на прогресс общества.—Пример — отмена законов о зерновом хлебе.—Лучшее законодательство то, которое отменяет прежние законодательства.—Вмешательство государственных людей в дела торговли повредило торговле.—Законодатели были виновниками развития контрабанды со всеми сопровождающими ее преступлениями.—Они были также виновниками развития лицемерия и клятвопреступления.—Своими постановлениями против лихвы они усилили лихву.—Другими постановлениями они замедлили успехи знания.—Подобных вмешательств в Англии было менее, чем в других странах, и потому она пользуется большим благосостоянием.

## ГЛАВА VI

**Начало истории и состояние исторической литературы в средние века — 162**

Выводы, сделанные из предыдущих исследований.—Рассмотрение перемен, происшедших в исторических исследованиях, прольет свет на перемены, происшедшие в самом обществе.—Самые ранние исторические сочинения — это баллады.—Одной из причин ошибок, вкрадшихся в историю, было изобретение письма.—Перемена религии в каждой стране способствовала также искажению ее ранней истории.—Но самой деятельной причиной было в этом случае влияние духовенства.—Нелепости, которым в разные времена верили.—Пример, представляемый «Историей Карла Великого» Турпина.—Такой же пример представляет «История бриттов» Гальфрида Монмутского.—Первые следы улучшения в образе описания истории находим мы в четырнадцатом и пятнадцатом столетиях.—Но легковерие все еще преобладает, как видно из записок Коммина.—Это же видно и из предсказаний Штёффлера о потопе.—И из сочинения доктора Гюрста о золотом зубе.

**Очерк истории умственного движения в Англии с XVI до конца XVIII столетия—181**

Нелепый образ писания истории был естественным последствием тогдашнего состояния общества.—Дух сомнения был необходимым предшественником прогресса.—Отсюда громадная важность скептицизма.—Начало религиозной терпимости в Англии.—Противоположность между Гукером и Джуелем.—Скептицизм и дух исследования, проявляющиеся и в других предметах.—Направление, проявившееся в Чиллингворте.—Сравнение Чиллингворта с Гукером и Джуелем.—Дальнейшее движение в том же направлении и возрастающее равнодушие к теологическим вопросам.—Значительная польза такого движения.—В царствование Якова I и Карла I это сопротивление авторитету принимает политический характер.—При Карле II оно обращается в модное направление двора.—Влияние этого духа на сэра Томаса Броуна.—Влияние того же духа на Бойля.—Последствием этого направления является учреждение Королевского общества.—Толчок, сообщенный этим естествознанию, и попытки духовенства противодействовать ему.—Духовенство, конечно, смотрит враждебно на распространение естествознания, потому что оно ослабляет влияние этого сословия.—Пояснение этого сравнением относительно суеверия моряков и земледельцев с солдатами и ремесленниками.—Благие законодательные реформы царствования Карла II, совершившиеся, несмотря на упадок политического значения государства.—Улучшения эти были плодом скептического, пытливого духа.—Им способствовали пороки короля.—Им помогло также нерасположение короля к духовенству.—Он покровительствовал Гоббсу и оказывал пренебрежение самым даровитым личностям из духовенства.—Духовенство, чтобы сохранить свое прежнее значение, примкнуло к Якову II.—Союз этот был разрушен изданием «Declaration of Indulgence».—Тогда духовенство соединилось с диссентерами и произвело восстание 1688 г.—Важное значение этого восстания.—Но духовенство вскоре стало раскаиваться в своем поступке.—Враждебные отношения этого сословия к Вильгельму III.—Происшедший вследствие этого раскол в самой церкви.—Это дало новую пищу скептицизму.—Конвокация сперва становится предметом всеобщего презрения, а затем и совершенно отменяется.—После революции самые способные люди стали исключительно обращаться к светским профессиям и избегать духовной.—Духовенство утратило все места, которые оно занимало вне церкви, и уменьшилось число духовных членов в обеих палатах парламента.—Духовенство оправилось на время в царствование Анны.—Но оно было ослаблено диссентерами, во главе которых стояли Веслей и Вайтфильд.—Отделение теологии от нравственности и политики.—Быстрая последовательность скептических споров.—Знание начинает распространяться в массе народа и принимает популярную форму.—Политические митинги и печатание парламентских прений.—Учение о личном представительстве и идея о независимости.—Соответствующая перемена в тоне и образе выражения писателей.—Вследствие всех этих перемен стали неизбежны великие реформы.—Направлению этому благоприятствовали личные свойства Георга I и Георга II.—Но ему повредило царствование Георга III, при котором началась опасная политическая реакция.—Невежество Георга III.—Угодливость Питта.—Неспособность других государственных людей и ненависть короля к великим людям.—Палата лордов падает в общественном мнении.—Ум и познания Бёрка.—Он противился видам Георга III и потому очень низко стоял во мнении короля.—Его раздражительность под конец жизни.—Король начинает покровительствовать ему.—Политика Георга III относительно Америки.—Политика эта отразилась на Англии.—Политика относительно Франции.—И эта политика также отразилась на Англии.—Плодом ее были произвольные меры, направленные против свободы Англии.—Эти стеснительные меры становились еще тягостнее вследствие особого рвения их исполнителей.—Грустная будущность, представлявшаяся Англии в конце восемнадцатого столетия.—Но благодаря успехам знания стала готовиться контрреакция.—Этой реакции и усилившемуся влиянию общественного мнения Англия обязана своими великими реформами девятнадцатого столетия.

ГЛАВА VIII

**Очерк истории умственного движения во Франции с половины шестнадцатого века до вступления на престол Людовика XIV — 250**

Важность вопроса о том, следует ли историку начинать с изучения нормального состояния общества или же с аномального.—Большее значение духовенства во Франции, чем

в Англии.— Поэтому во Франции в течение шестнадцатого столетия теологическое направление отражалось на всем сильнее, чем в Англии.— Поэтому также во Франции была невозможна религиозная терпимость.— Но в конце шестнадцатого столетия во Франции появился скептицизм, а с ним вместе явилась и религиозная терпимость, как можно было видеть из Нантского эдикта.— Первым скептиком во французской литературе был не Рабле, а Монтень.— То же направление поддерживал Шаррон.— Генрих IV покровительствовал протестантам.— Даже королева-правительница оказывала им терпимость во время несовершеннолетия Людовика XIII.— Но самые замечательные меры в пользу религиозной терпимости были приняты кардиналом Ришельё, который действительно смирил духовенство.— Он отстаивал новую светскую систему управления государством против старой, духовной системы.— Либеральный образ действия Ришельё относительно французских протестантов.— Светские вожди покидают их, и управление протестантской партией попадает в руки духовенства.— Поэтому французские протестанты, имея во главе своей духовенство, стали отличаться большей нетерпимостью, чем французские католики, предводительствуемые государственными людьми.— Доказательство нелиберального направления французских протестантов.— Они затевают междоусобную войну, которая была скорее борьбой между сословиями, чем борьбой между верованиями.— Ришельё подавил возмущение, но все-таки воздержался от преследования протестантов.— Эта либеральная политика со стороны правительства была только одним из проявлений более обширного движения.— Пояснение этого примером философии Декарта.— Аналогия между Декартом и Ришельё.— Этот же враждебный церкви дух проявлялся и в их современниках.— Тому же влиянию подпал и Мазарини.— Оно же проявилось и в войнах Фронды.— Несмотря на сходство между Англией и Францией, проявившееся в этих современных восстаниях, было все-таки большое различие между обеими странами; преобладание во Франции духа покровительства помешало ей сделаться свободной.

## ГЛАВА IX

### История духа покровительства и сравнение проявлений его во Франции и в Англии — 302

Около одиннадцатого столетия дух исследования стал ослаблять могущество духовенства.— В то же время возникла феодальная система и явилась наследственная аристократия.— Дворянство вытесняет духовенство, и началу безбрачия противопоставляется начало наследственности звания.— В Англии дворянство было менее могущественно, чем во Франции.— Оно радо было соединиться с народом против монархической власти.— Отсюда родился в английском народе тот дух независимости, которого не знали во Франции, где дворянство было слишком могущественно, чтобы нуждаться в помощи со стороны народа.— Последствия такого различия между этими двумя странами, обнаружившиеся в четырнадцатом столетии.— Централизация была во Франции естественной преемницей феодализма.— Противоположность между этим порядком вещей и тем, который оказался в Англии.— Могущество французской аристократии.— Пример из истории рыцарства.— Тщеславие французов и гордость англичан.— Обыкновение дуэлей.— Гордость англичан благоприятствовала введению Реформации.— Аналогия между Реформацией и революциями семнадцатого столетия.— В обоих случаях противниками нововведений являлись дворянство и духовенство. Естественный союз между этими двумя сословиями.— В царствование Елизаветы оба сословия ослабели.— Яков I и Карл I тщетно пытались восстановить их могущество.

## ГЛАВА X

### Сила, которой обладал дух покровительства во Франции, служит объяснением неуспеха Фронды. Сравнение Фронды с современным ей английским восстанием — 320

Различие между Фрондой и великим восстанием Англии.— Английское восстание было войной между сословиями.— Но во Франции энергия духа покровительства и могущество дворянства сделали войну между сословиями невозможной.— Тщеславие и пустота французских дворян.— Так как подобные люди были вождями Фронды, то восстание, естественно, не удалось.— Английское же восстание удалось, потому что это было демократическое движение, во главе которого стояли вожди из народа.



## ГЛАВА XI

### **Дух покровительства, перенесенный Людовиком XIV в литературу. Обзор последствий этого союза умственно трудящегося сословия с правительствующим — 333**

Дух покровительства во Франции, породивший столько политических зол, был перенесен в литературу при Людовике XIV, вследствие чего образовался союз между литературой и правительством.— Деспотический характер царствования Людовика XIV.— Писатели питают благодарность к Людовику XIV.— Но его система покровительства литературе была вредна.— Первым последствием ее было то, что великое движение, сообщенное всем отраслям знания в управление Ришельё и Мазарини, внезапно остановилось.— Не было ничего сделано в это царствование даже по части механических искусств.— Упадок физиологии, хирургии и медицины.— Также зоологии и химии.— Не было также ничего сделано и по части ботаники.— Умственный упадок при Людовике XIV замечался по всем отраслям мысли и был естественным последствием покровительства.— Доказательства этого, заимствованные из истории искусства во Франции.— Также из всех отраслей литературы.— Упадок Франции во всех отношениях в последнее время царствования Людовика XIV.

## ГЛАВА XII

### **Смерть Людовика XIV. Реакция против духа покровительства и подготовка Французской революции — 351**

Английская литература была неизвестна во Франции в царствование Людовика XIV.— Но ее начали изучать по смерти этого короля, когда замечательнейшие из французов посетили Англию. Это повело к общению между французским и английским умами.— Удивление, возбужденное во французах Англией.— Отсюда распространение во Франции либеральных идей, которые правительство пыталось подавить.— Происшедшее от этого преследование литераторов французским правительством.— Насильственные действия этого правительства.— Во Франции литература была последним убежищем свободы.— Причины, по которым литераторы сначала нападали на церковь, а не на правительство.— Потом они стали нападать на христианство.— Но до половины царствования Людовика XV еще можно было спасти политические учреждения Франции; после же этого периода все было уже кончено.

## ГЛАВА XIII

### **Состояние исторической литературы во Франции с конца шестнадцатого до конца восемнадцатого столетия — 375**

Историческая литература во Франции до конца шестнадцатого столетия.— Улучшение в методе писания истории, обнаружившееся в конце шестнадцатого столетия.— Еще больший прогресс в начале семнадцатого столетия.— Он особенно замечен в «Истории Франции» Мезере, вышедшей в 1643 г.— Ретроградное движение при Людовике XIV.— Доказательство этого видно в сочинении Одижье.— А также в сочинении Боссюз.— Громадное улучшение, введенное Вольтером.— Его «История Карла XII».— Его «Век Людовика XIV».— Его трактат «О нравственности, обычаях и характере наций».— Его воззрения приняли Малле, Мабли, Вэлли, Вилляре, Дюкло и Эно.— Его обыкновение обращать внимание на характер эпох.— Его замечание, принятое впоследствии Констаном.— Он защищал свободу торговли.— Он упреждал идеи Мальтуса.— Его нападение на средние века.— А также на педантических поклонников древности.— Он ослабил авторитет ученых и теологов.— Ослабил авторитет людей, повторявших самые детские нелепости относительно ранней истории Рима.— Нападением на эти нелепости Вольтер упреждал Нибура.— Невежественное предубеждение против Вольтера в Англии.— Успеху обширных трудов Вольтера много способствовал Монтескьё.— Сочинения Монтескьё и достоинство его метода.— Лекции Тюрго и их влияние.— Все это приближало Французскую революцию.

## ГЛАВА XIV

### Ближайшие причины Французской революции начиная с половины XVIII столетия — 407

Пересмотр предыдущих выводов.—Различие между достоверностью и точностью.—Мыслящая часть Франции стала нападать на правительство около 1750 г.—Начинаются исследования по части политической экономии.—Влияние Руссо.—В то же самое время французское правительство стало нападать на церковь.—Оно стало также покровительствовать учению о религиозной свободе.—Уничтожение ордена иезуитов.—Кальвинизм имеет демократический, а арминизм — аристократический характер.—Так как янсенизм соединяется с кальвинизмом, то возрождение его во Франции помогло демократическому движению и обеспечило ниспровержение иезуитов, учения которых арминизмские.—После ниспровержения иезуитов падение французского духовенства было неизбежно.—Но оно было на время отвращено тем, что именнейшие французы направили свои враждебные действия скорее против государства, чем против церкви.—Связь между этим движением и развитием атеизма.—То же самое направление проявляется в Гельвеции.—Оно же проявилось и в Кондильяке.—Способнейшие из французов сосредоточивают все свое внимание на изучение внешнего мира.—Последствия этого для наук о теплоте, свете и электричестве.—А также для химии и геологии.—В Англии в тот же самый период великие мыслители были редки.—Во Франции сообщен был непомерный толчок зоологии исследованиями Кювье и Биша.—Воззрения Биша относительно тканей.—Связь между этими воззрениями и последующими открытиями.—Отношение между изобретениями, открытиями и методом; огромная важность метода Биша.—Сочинения Биша о жизни.—Великие и удачные попытки, сделанные французами в ботанике.—Заслуги Де Лилля и Гаюя по части минералогии.—Аналогия между воззрениями Гаюя и сочинением Пинеля о сумасшествии.—Все эти громадные результаты входили в число причин Французской революции.—Естествознание есть знание существенно демократическое.—То же демократическое направление можно было заметить в изменении одежды.—А также в учреждении клубов.—Влияние, произведенное на Францию восстанием в Америке.—Перечень причин Французской революции.—Общие размышления.

## ПРИМЕЧАНИЯ \*

### СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ \*

### АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН \*

\* Примечания, список источников и литературы, аннотированный указатель имен помещены во втором томе книги.

**Бокль Генри Томас**  
Б79 История цивилизаций. История цивилизации  
в Англии: т. 1.— М.: Мысль, 2000.— 461, [1] с.  
ISBN 5-244-00770-X

Генри Томас Бокль (1821—1862)—выдающийся английский мыслитель. Предлагаемое произведение являет собой памятник политической и социологической мысли XIX в., ставший бестселлером на многие годы. Книга содержит интереснейшие и оригинальные размышления над проблемами истории и развития цивилизаций, которые приобрели новую актуальность в наше время. Стоит также отметить яркую и образную форму изложения, которая позволяет рекомендовать книгу широкому кругу читателей.

**УДК 930.85**  
**ББК 71.05**